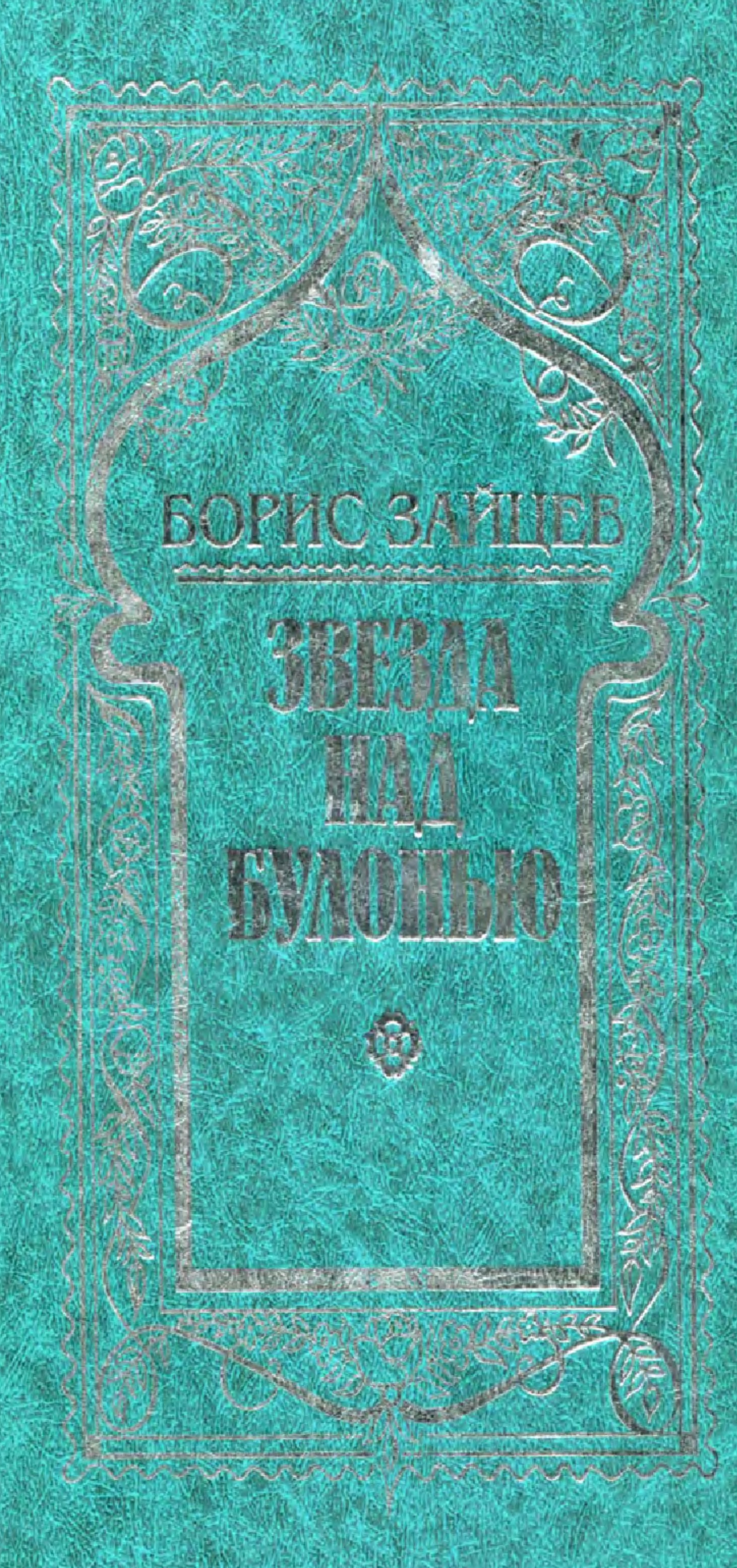
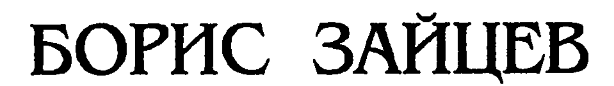
Борис Зайцев
Звезда над Булонью





БОРИС ЗАЙЦЕВ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ЗВЕЗДА НАД БУЛОНЬЮ



РОМАНЫ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

КНИГА СТРАНСТВИЯ

Москва

<< РУССКАЯ КНИГА >>

1999





УДК 882
ББК 84Р
З-17

Составитель, автор вступительной статьи и примечаний
Т. Ф. Прокопов

Издание осуществляется при участии дочери писателя
Н. Б. Зайцевой-Соллогуб

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

З-17 **Зайцев Б. К.**
Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. Звезда над Булонью: Романы. Повести. Рассказы. Книга странствия.— М.: Русская книга, 1999.—576 с., 1 л. портр.

Третий том собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972) составлен из произведений, разносторонне представляющих творчество писателя эмигрантского периода Это романы «Золотой узор» (1924) и неизвестный российским читателям «Дом в Пасси» (1933), впервые издающаяся в нашей стране книга странствия «Италия» (1923), рассказы и новаторская повесть «Анна» (1928), обозначившая неожиданные реалистические грани таланта выдающегося мастера лирической прозы.

ISBN 5-268-00427-1 УДК 882
ISBN 5-268-00402-6 ББК 84Р

ЛЕГКОЗВОННЫЙ СТЕБЕЛЬ

Лиризм Б. К. Зайцева как эстетический феномен

Читая Зайцева, критики без конца задавались вопросами: кто он? новый реалист? импрессионист? пантеист? И отвечали на все это (каждый со своими доводами): да, реалист; да, импрессионист; да, пантеист-«всебожник»; и еще: да, символист; да, мистик и т. д. Оказывается, он, как и всякий крупный художник, ну никак не желал укладываться в прокрустово ложе какого-то одного канонического «изма». Пристававшим же настырно в течение всей его долгой (70-летней!) творческой жизни с вопросом «кто он?» отвечал чаще всего: «Не знаю» — или так: «Считали меня «поэтом прозы». Несомненно также, что лирический оттенок есть во всех моих писаниях. Думаю, что черты реализма, сквозь которые проглядывает и мистическое ощущение жизни, с годами усилились. В общем же сейчас, на склоне лет, я очень бы затруднился ответить на вопрос точно: к какому литературному направлению принадлежу. Сам по себе. И в молодости был одиночка, таким и остался». Это из письма, озаглавленного: «Ответ на запрос О. П. Вороновой. О моем писании» (письмо в моем архиве.— *Т. П*).

Нетрудно заметить, что в дефинициях, которыми критики-современники наделяли зайцевские детища, пока еще отсутствует самое главное, чем лучится-светится его проза: «лирический оттенок», лиризм, может быть, впервые ставший тем эстетическим качеством, которое получило мощное и всеохватное развитие в литературе Серебряного века и определило собой весь новый облик словесности двадцатого столетия. И здесь Зайцев стоит особняком («сам по себе») и как прародитель русского лиризма нового времени, и как более всех сделавший для его утверждения в отечественной прозе.

Историки литературы в становлении лиризма неспроста самым значительным этапом называют эпоху, когда во все сферы искусства властно, демонстративно и талантливо вторглись символисты, когда наряду с ними солнечно вспыхнуло импрессионистическое отражение мира. В России это время настало как раз тогда, когда завершал свой великий путь наш первый импрессионист Чехов, когда новаторски уже

творили выдающиеся поэты Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Вяч. Иванов, Анненский... Творцы русского литературного модерна с первых своих шагов объявили войну обыденщине и заурядности во всех их проявлениях. Экзотизм, символистские условности, не боящиеся даже вычурности и манерности, экспрессивно-изобразительные приемы, похожие на гениально исполненные стилизации, пестрая фантастичность, уводящая порой в средневековье и античность, подальше от скоротечной злобы дня, от сиюминутных социальных проблем, но вводящая в царство раскрепощенного духа, свободного от диктата политики над творцом,— все это черты новой словесности, самонадеянно выступившей претендентом на роль престолопреемника той, что была создана титанами Золотого века.

Рубеж столетий дал нашей литературе доселе невиданное, в таком изобилии сосредоточенное на малом — всего-то тридцать лет! — отрезке времени многоцветье стилевых манер и художественных индивидуальностей. Это кристальной ясности язык стихов и прозы Бунина, исполненная благородства и страсти поэзия Блока, суровое в своей глубокой мудрости, ренессансной широты творчество Мережковского, гениальная загадочность «симфоний» и романов А. Белого, чудодейственная вязь творений Ремизова и Замятина. А еще — трагичные Леонид Андреев и Федор Сологуб, «самый русский» Иван Шмелев, психолог интимных страстей Михаил Арцыбашев... И рядом, не исчезая в шумном многоголосии,— негромкий, но всеми слышный, размышляющий о жизни и смерти шопеновский голос лирика Зайцева. Культурологам, искусствоведам, историкам литературы еще предстоит разобраться беспристрастно и честно в этом прекрасном феномене — мощном взлете духовного возрождения всей культуры России, который доныне аттестовался под диктовку партвластей как пора упадничества и модернистского разгула, захлестнувшего людские умы, якобы с единственной целью: отвлечь их от зреющих социальных бурь (см. об этом тенденциозно разносные статьи двух большевистских сборников «Литературный распад», вышедших в 1908 и 1909 гг. и положивших начало соцреализмовскому, насквозь политизованному неприятию новаторской словесности Серебряного века).

Время глобального обновления литературы и искусства, заслуженно названное Н. А. Бердяевым «русским культурным ренессансом», политиканствующие авторы «распадовских» сборников уничижительно окрестили эпохой «культурного невроза» (П. Юшкевич), «хрюкающего хора торжествующего декадентства» (Ю. Стеклов). Порция бранных ярлыков досталась здесь и Зайцеву. Стеклов включил его в «декадентскую банду» авторов третьего номера альманаха издательства «Шиповник», представляющего собой (тут парткритик угадал, если снять его иронию) «знамение времени». В этой «банде» наряду с редактором и автором «Шиповника» Зайцевым (он опубликовал здесь прекрасную

новеллу «Сестра») оказались также Андреев («Тьма»), Бунин («Астма»), Куприн («Изумруд»), Блок (стихи), Чулков (стихи), Сологуб (роман «Навьи чары») с их (в скобках названными) «продуктами литературной истерии».

В эту пору Зайцев еще только обозначал свои писательские претензии и пристрастия, но именно с его приходом в литературу начинается расцвет прозы лирической. «Я начал с импрессионизма,— будет он вспоминать то далекое время.— Именно тогда, когда впервые ощутил для себя новый тип писания: «бессюжетный рассказ-поэму», с тех пор, считаю, и стал писателем» («О себе»). Мимоходом тут заметим: не только рассказы, но и вершинное свое создание — романное четырехкнижие «Путешествие Глеба» — он определит жанровой формулой «роман-хроника-поэма».

Наверное, поэтому вовсе не игрой случая было то, что не критики и не литературоведы, а поэты (Брюсов, Гиппиус и Блок) первыми заметили и превознесли юного Зайцева, его «прекрасные в своей тихости,— как сказал присоединившийся к поэтам Ю. Айхенвальд,— печальные, хрустальные, лирические слова». Это уже потом, после них, повторились, лавинно умножились и стали общим местом определения: «поэт прозы», его проза и «акварельная», и «музыкальная», и «ритмически организованная», и «мистически-надмирная»... Однако, сколько ни тверди эти хорошие и правильные дефиниции, путь исследовательский и сейчас все еще остается едва начатым, он, скорее всего, только назван и обозначен, то есть эстетический феномен прозы Зайцева, охватываемый термином «лиризм», как и в начале века,— загадка и тайна. Не потому ли год от года все более ширится круг тех, кто вовлекается в эту романтически-радостную работу? Тому свидетельство — две международные конференции, состоявшиеся в сентябре 1996 и в декабре 1998 г. на родине писателя, в Калуге, и собравшие десятки исследователей его творчества.

Константин Бальмонт назвал «легкозвонным стеблем» тот вдохновенный инструмент, которым его друг Борис Зайцев создавал свои певучие творения. И Айхенвальд, восторженно прочитавший самые первые книги Зайцева, посчитал его не кем иным, как «органистом во храме нашей словесности». Действительно, так и только так принимаешь зайцевские рассказы-поэмы, когда читаешь у него: «О, ты, родина! О, широкие твои сени — придорожные березы, синеющие дали верст, ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный, и своих бедных сынов ты берешь на мощную грудь, обнимаешь руками многоверстными, поишь извечной силой. Прими благословения на вечные времена, хвала тебе, Великая Мать» («Аграфена»).

А зайцевские пленительные пейзажи... а его завораживающие восторги тем, что вокруг и радостно, и скорбно волшебствует многоликая

жизнь... Какую ни откроешь страницу, непременно встретишь ничем не удерживаемые всплески его чувств от того, например, что настало — всего-то! — утро: «Мы спим. Но что такое? Вот открываю глаза, и во все щели струями свет, свет! Скорей на воздух, не упустить минуты, за сарай, к саду. Оттуда тянет огненный бриз, точно шелковые одежды веют в ушах, и, кажется, сейчас побежишь навстречу, и пронижут всего, беспредельно, эти ласкающие лучи; волосы заструятся по ветру назад, как от светлого, плывучего тока. О, солнце, утро!» («Полковник Розов»).

Даже лютые враги Зайцева (а такие были, вопреки расхожему мнению), и они, хоть и зашоренными очами, сквозь дым и чад политической фразеологии, не могли не увидеть в нем поэта — чудодея слова и наделяли его лишь по злокозненной нужде двуликими характеристиками, в коих несоединимо сходились восхищение, с одной стороны, но с другой — вынужденные лукавые экивоки в серпасто-молоткастые догмы. В результате такого очень странного — сатанинского — смешения белого с черным, меда с дегтем, уникального в мировой словесности (такому позавидовал бы сам лукавец Эзоп), получился литературно-критический гомункулус, достойный книги Гиннесса. Об этих перлах, взятых уже не из «распадовских» политсборников, а из «Литературной энциклопедии» 1930-х гг., судите сами — вот они, вчитайтесь и подивитесь: «выхоленный *сладкопевец с весенними теплыми словами»* (сними «выхоленный» — и чем не похвала Зайцеву); читаем далее: «ржавая испуганная неприязнь к трудящейся серой массе, разъедающая *нежную лирику* зайцевских рассказов»; *«ласково зарисованные им герои* не переваривают ни трудовых низов, ни даже трудовой интеллигенции». И наконец, очень хорошо знакомое из лексикона ждановско-сусловских гробовщиков литературы: «классовая ограниченность восприятия поставила предел *незаурядному* (все-таки! — *Т. П.*) *дарованию»;* и приговор: «на миросозерцании автора — отпечаток внутренней эмигрантщины» (курсив в цитатах мой.— *Т. П.*)

Но вернемся к неологизму «легкозвонный», изобретенному Бальмонтом для описания того, о чем вещало миру поющее вдохновение Зайцева. В этом эпитете сконцентрированно запечатлелась стилистическая манера, раз и навсегда избранная писателем. «Легкий» — в значениях: не отягощенный, не напряженный, не затруднительный. Эти смыслы, слившиеся с содержанием слова «звон», ассоциируются с целой картиной, на которой видится зайцевский путник в степи, слышащий отдаленный, мягкий, зовущий голос церкви — голос именно легкозвонный, словно песнь ветвистого стебля растения или деревца, звенящего под набегами ветра осенними сухими листьями. Легкозвонный... Как это тонко и точно определяет лиризм прозы Зайцева! (Уместно тут в скобках заметить, что термины «лиризм», «лирика» идут от «лиры» — так бог Гермес назвал свой музыкальный инструмент,

изготовленный из панциря черепахи и подаренный им властелину гармонии и искусств Аполлону.)

Проза Зайцева действительно музыкальна, гармонически организованна, лад ее певуч, строй — мелодичен. Такого русская словесность еще не знала, и потому-то о поэтических созданиях Зайцева литературоведы и критики с редкостным единодушием отозвались как о феномене, украсившем наш Серебряный век.

Здесь дотошно-проницательные умы могут возразить: лиризм — вовсе не изобретение новейших веков. В самом деле так и есть: как литературный архетип возник лиризм в незапамятные догомеровские времена, может быть, даже с рождением самой литературы, ибо известно, что началась она именно с поэтического отражения мира. Только было слово в древнем искусстве звучащим, песенным. А все не звучащее, все не поэтическое относилось к прозе и считалось нехудожественным, выводилось за пределы литературы. И термин «лирика» вошел в обиход очень давно, в третьем веке до нашей эры, когда александрийские ученые впервые назвали так произведения, исполнявшиеся под аккомпанемент лиры или кефары.

Истории и теории художественного мироощущения посвятил не один исследовательский том А. Ф. Лосев. Наш великий мыслитель считает, что лирическое начало в словесном творчестве выделилось тогда, когда человек впервые ощутил себя вне «коллективной эмоциональности», вне «группового субъективизма», то есть когда веками правивший в древнем искусстве первобытный обрядовый синкретизм распался на роды и свою собственную историю повели эпос, лирика и драма. А за полвека до Лосева А. Н. Веселовский-старший досконально исследовал истоки и природу плодотворного содружества лирики и музыки, когда рождались песнопения, которые завораживали и привораживали («присушивали»), воодушевляли и уничижали, веселили и славили (см. об этом его «Три главы из исторической поэтики», 1899, и фундаментальный труд «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения», 1904, который, очевидно, был внимательно прочитан Зайцевым в разгар работы над романом-биографией «Жуковский»).

В лучших своих образцах лиризм покорял вершину за вершиной в своем вековечном восхождении к совершенству. Необходимость и закономерность такого восхождения объективны, ибо слова, как и все на свете, ветшают, приемы стареют, смыслы стираются, как пятаки. И всякий раз нужны Шекспиры и Пушкины, чтобы искусство слова приходило к людям в обновленных одеждах, оставалось живым, то есть эмоционально наполненным.

Поэтическое отражение мира всегда отличалось легкой подвижностью и смелой изменчивостью (не в этих ли «легкости» и «смелости» движитель новаторства?). Развиваясь бурно, но притом неискоренимо

сохраняя прелесть молодости, поэзия более других родов изощрилась в бесконечном поиске необычных изобразительных средств и в двадцатое столетие вошла уже в маршальском ранге литературного лидера, торителя неизведанных возможностей. Ее высокие достижения, конечно же, не могли не вовлечь в равнозначный поиск многих прозаиков, принявшихся с энтузиазмом осваивать опыт стихотворцев.

Зайцев оказался в числе таких увлеченных первопроходцев. При этом писатель не отдельными, не случайными произведениями (как некоторые из его современников), а всем своим творчеством вкупе вошел в немноголюдную когорту тех, кто предпринял отважные попытки разрушить китайскую стену между прозой и поэзией как антиподами (лед и пламень!). Поразительным результатом этих художнических подвигов новаторов литературы стали известные всему миру изумительные творения, такие, как «Песнь песней» Соломона, наше безымянное «Слово о полку Игореве», «Маленькие поэмы в прозе» Шарля Бодлера, лирические отступления в «Мертвых душах» Гоголя, стихотворения в прозе Ивана Тургенева, ритмизованные романы «Кола Брюньон» Ромена Роллана и «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса, а также почти вся проза А. Белого (вплоть до мемуарной, как и у Зайцева)...

Лирическая новизна прозы Зайцева — и это важно заметить особо — явлена в каждой его вещи в целом и в каждой ее частице. Описывает ли «черные складки ночи», «шорох-лепет листьев», «серебристый звук падающей капли»,— он словно забывает, что пишет прозу: из-под пера легко, весело выбегают на бумагу целые периоды поэтического восторга, и нам, читающим, передается взволнованная одухотворенность писателя — «органиста», «акварелиста», «сладкопевца великого страдалища», «лирика космоса», дающего, точнее, задающего всем фразам завораживающую музыкальность, влекущие ритмы, которыми сотворяется гармония всего им сочиненного, а слова, тщательно творцом отобранные — избранные! — включаются в самые непривычные сочетания и в них вспыхивают неожиданными смыслами, обогащая, одухотворяя даже скучнейшие из полисемических рядов. Зайцев знает: так работают поэты, так творили его любимцы Данте и Пушкин.

Зайцевская Ока впадает не в Волгу, а — в вечность, заметил однажды Федор Степун и тем самым выявил еще одну особенность поэтической манеры писателя. И метель у Зайцева «белое действо», и жеребенок на холме не просто жеребенок, а призрак. Не только природа, но и весь быт человека, наполняясь «символическими ознаменованиями» (А. Белый), становится сверхобобщенным бытованием и бытием, так характерным всему поэтическому. Писатель намеренно, осознанно, заданно стремится к обобщению, к синтезу, к всеобщности, уходя от конкретного, отдельного, единичного. В его рассказах не мужики деревенские пашут, сеют, справляют праздники. Нет, пишет он, это

«громаднейшее всемужицкое тело копошится по стране, тащит пасхи в церковь, ждет яркого и особенного дня» («Священник Кронид»). Не Зайцев и не его герой швейцар Никандр из рассказа «Сны», а «общечеловеческие уста» (Ю. Айхенвальд) произносят восторженные слова: «Мариэтт, Мариэтт! Вы не знаете пьяных ночей, грубой сволочи, кабаков, участков, боли дикой. Вы цветете в тишине, вы гиацинт за стеклом, ваши стройные ноги попирают землю легко: как триумфаторы прекрасного. Вот вы мелькнули в прихожей, блеснули, и поплыла ваша прелесть дальше, навстречу весне, природе, чудесному, чего вы на земле являетесь носительницей».

Если эпическое повествование обращено к разуму прежде всего, то лирическое, как и все поэтическое, взывает к душе, к чувствам. Таково творчество Зайцева. Не ищите у него занимательного сюжетца, сложной, таинственно разветвленной интриги — ничего этого нет. А есть в его прозаических стихах и поэмах покой и философское созерцание, они полны раздумчивой тишины, обращенности к душе, к ее вовсе не безучастным состояниям: она у поэта и страдает, и ликует, зовет к размышлениям; она, именно она, душа, наполняет житие его героев бореньями страстей. Мудрый душевед словно преднамеренно ведет читателей к мысли, в коей давно убежден сам: лирическое — это только то, что переживается. Неспроста зоркое критическое око Георгия Адамовича разглядело именно в эмоционально выраженном нравственном бескорыстии близкого ему по духу писателя «основу и двигатель зайцевского лиризма»: «Зайцев сострадателен к миру, пассивно-печален при виде его жестоких и кровавых неурядиц, но и грусть, и сострадание обращены у него к миру, а не к самому себе. Большей частью обращены к России».

Некоторые произведения Зайцева (например, «Авдотья-смерть», «Анна») можно было бы, долго не задумываясь, отнести к чужеродным в его творчестве, к нелирическим (вслед за Н. Оцупом, М. Цетлиным, Ф. Степуном и некоторыми другими рецензентами), если бы они не были, как и все зайцевское, так же глубоко пронизаны чувством, взволнованностью автора, передающейся и нам, читателям, возбуждающей нас, наполняющей светлым раздумьем. И это еще раз убеждает в неразрывной (без всяких исключений!) **целостности** творческого метода писателя.

Нельзя не заметить также, что все его «писания» (так ему нравилось называть свои произведения) изящно и глубинно связаны с романтическим восприятием мира (А. Ф. Лосев: «Романтизм всегда *музыкален*, и по содержанию *лиричен»*), с идеализированным и мифологизированным его отображением. Очевидно, поэтому в тексты Зайцева то и дело включаются (конечно же, опять поэтичные) молитвословия, хваления божественного в человеке. Тут невольно припоминается, что псалом по-гречески — «бряцание по струнам». Почти псаломные, гармони-

ческие по форме самоуглубленные раздумья писателя подчас обретают в ряде новелл хорошо выраженный притчевый характер, что наделяет их философской афористичностью, иносказательностью, в них легко обнаруживается поучение, сентенция. Лад и строй молитвы, мелодика возвышенных стихов Библии и стихирей Псалтири ощущаются явственно и в «Аграфене», и в «Улице св. Николая», и в «Спокойствии», и в «Белом свете», и в «Реке времен» (примеры можно множить снова и снова).

Немалое у Зайцева идет и от той поэтической традиции, что заложена в библейском шедевре «Песнь песней». Вообще, то обстоятельство, что Библия была для писателя в течение всей его жизни настольной книгой, с которой он привык общаться каждодневно, стало для него и вдохновляющим стимулом, и кладезем премудрости, и учительным образцом. В Париже он даже принял участие в подготовке нового перевода Евангелия, о чем поведал в очерке «Вечная книга»: «Вспоминаю наши «бдения» в Сергиевом Подворье как нечто «давно прошедшее», плюсквамперфектум и хорошее. Бдения над святой книгой. Пять лет сидели, каждую пятницу, по 4—5 часов, без конца перечитывали текст, сверяли, спорили, иногда волновались и чуть ли не сердились. Но надо правду сказать: над всем этим веяла благоговейная любовь к делу и поклонение неземной Книге. <...> И вот пятилетний труд отлился в 234 небольших страницы — Четвероевангелие. Не мне судить об окончательном качестве перевода. Для этого надо быть посторонним человеком, затем богословом, знатоком греческого языка. Все-таки для меня есть нечто волнующее в появлении этой Книги. Она особенная, ни на что не похожая. В церкви читают ее по-церковнославянски, для торжественности большей, хотя она как раз не громоподобна и торжественность ее — внутренняя, тихая. Смею даже думать, что простота русского языка более ей подходит, чем звон церковнославянский, хотя в музыкальном отношении по-церковнославянски выше».

Божественные тексты Библии — вдохновители многих творений Зайцева, а языковой аскетизм, лаконичный поэтический стиль житий святых им точно воспроизведен в агиографической повести «Преподобный Сергий Радонежский».

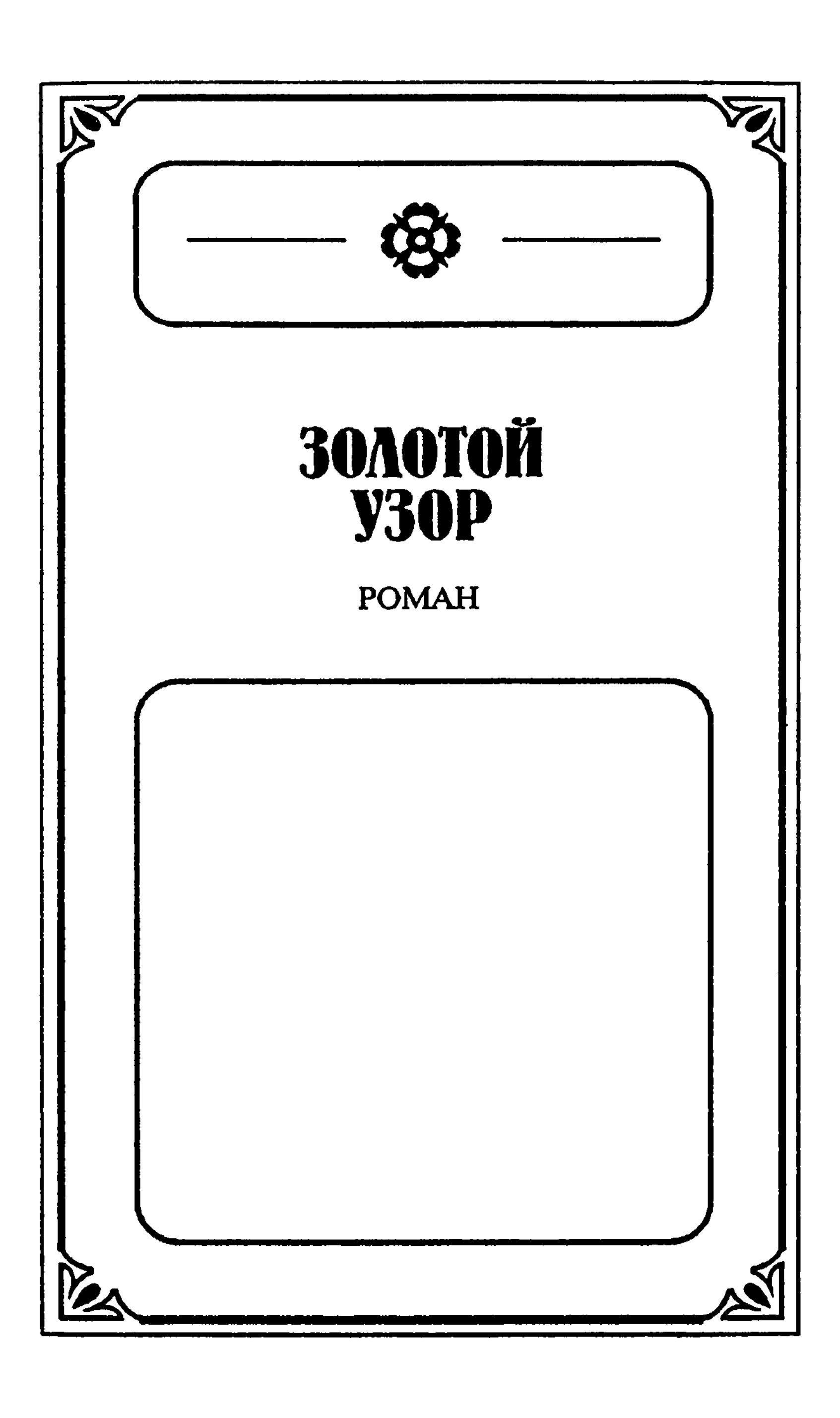
Как вспоминает Зайцев, в христианство его ввел Вл. С. Соловьев («собрание его сочинений поехало со мной в деревню, на зиму переезжало в Москву»). Замечательный русский философ и поэт, властитель дум Серебряного века «сразу почувствовался как светлый дух, с которым легко дышать,— вспоминает писатель.— В построении своем охватывал он Вселенную, над которой сияет Бог. Мир, где мы живем, таинственно соединяется с Богом и устроен так гармонически и мудро, что внушает просто радость. Зло в нем бесспорно, но тонет в потоке света. Ибо источник всего и глава — Свет». И далее поясняет: «...мне просто

открывал Соловьев новый и прекрасный мир, духовный и христианский, где добро и красота, знание мудро соединены, где нет ненависти, есть любовь, справедливость. Казалось, следовать за ним — и не будет ни национальных угнетений, ни войн, ни революций. Все должно развиваться спокойно и гармонически».

Благодаря «встрече» с Соловьевым лиризм Зайцева обрел ясную мировоззренческую окрашенность, в которой главными для него стали два этико-философских (и религиозных) понятия: милосердие и сострадание. Как раз этим его творчество и созвучно нашим дням, естественно вливается в размышления и заботы современного человека, для которого сегодняшний дефицит добра и гуманности стал самым тревожащим фактором.

В эпоху печального угасания интереса к поэзии и к лиризму вообще, когда сердца людские черствеют в жестоких междоусобицах, когда не о душе печься принужден человек, а о тельце златом и выживании, в это темное безвременье России пламенно засветилось охватившее всех увлечение поэмами в прозе Зайцева (общий тираж его изданий давно превысил два миллиона экземпляров). И это убеждает: его поэтичным книгам, его задушевному слову — жить вечно. Потому что вечна человеческая жажда любви и понимания, неиссякаемо алкание возвышенного, возносящего к горнему, чистому, где утихают наши страсти, умиротворяются горести-болести, где на троне светится в нимбе Добро, которому истово поклонялся сам и нес людям молитвенное славословие о нем Борис Константинович Зайцев.

Тимофей ПРОКОПОВ



ЗОЛОТОЙ УЗОР

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Юность у меня была приятная и легкая. Еще в Риге, где училась я в гимназии, меня девочки звали удачницей. Не со злости, нет. У меня с ними добрые были отношения. Отличалась я смешливостью, весельем, безошибочно подсказывала. Но и сама преуспевала — без усилий.

Вспоминаю Ригу с удовольствием. Я жила там у тетушки. Меня мало стесняли. По утрам бегала в Ломоносовскую гимназию, в тоненьких туфельках, платье коричневом с черным передником, встречалась со студентами из политехникума, перемигивалась с ними. Красивой я не была. Все-таки Бог не обидел. Помню себя так: глаза серо-зеленые, пышные волосы, не весьма аккуратные, светлые; тепловатая кожа — с отливом к золоту — и сама я довольно высокая, сложена стройно, и ноги хорошие: это наверно.

Приятельниц у меня было немало. Кроме гимназии ходили мы и по театрам, и друг к другу, и на вечеринки со студентами. Я помню, как катались на коньках — легко меня тогда носили ноги,— как весной, в экзамены, бродили мы по старой Риге и по набережной Двины, где корабли далеких странствий колыхаются у пристаней, пахнет смолой, канаты свернуты, торговки на ближайшем рынке с овощами возятся и тяжко башнями взирает крепость. Мир казался так далек, просторен! И в закатном, дымно-розовеющем и с нежной прозеленью небе так дальнее и невозможное переплетались. Восемнадцалетними своими ножками мы могли бы улететь куда угодно.

Раз мне студент в такие сумерки разглядывал ладонь.

— Вы родились под знаком ветра. Ветер — это покровитель ваш. И яблонка цветущая.

Он был слегка в меня влюблен, что я и одобряла. Но про ветер, яблонку мало тогда поняла. И — прыснула. Он мне руку поцеловал, серьезно на меня взглянул.

— Потом поверите.

Некую нежность я к нему чувствовала, и должна сознаться, что у взморья, майским утром, сидя на корме рыбацкой лодки (мы и по заливу иногда катались),— даже с ним поцеловались.

Я, пожалуй, изменяла этим несколько другому, чуть не с детства другу моему, Маркуше, обучавшемуся тогда в Москве. Но, каюсь, угрызений у меня не было. Ну, целовалась и поцеловалась. Так, минута выдалась. Солнце пригрело. Молода была.

Кончила я гимназию, поплакала, с подругами прощаясь, распростилась с тетей, у которой провела годы учения,— и в Москву укатила, к отцу.

Отец раньше служил в глуши, а теперь управлял огромным заводом, на окраине Москвы. Человек еще не старый, бодрый, жизнелюб великий — из помещичьей семьи. И скучал, на заводе своем сидючи. Любил деревню и охоту, лошадей, хозяйство, а завод, на самом деле, ведь унылейшая вещь.

— Труд — проклятие человека,— говорил он. За обедом, незаметно, выпивал рюмку за рюмочкой.

Мы жили в одноэтажном особняке, у самого завода, и проклятый этот завод — на нем гвозди выделывали, рельсы катали — вечно гремел и пылил, и дымил под боком. Сидишь на террасе — она в маленький сад выходила — вдруг рядом за забором паровозик свистнет, потащит, пятясь задом, какие-то вагоны, обдаст дымом молоденькие тополя в саду, и весь наш дом дрогнет. А отец, коренастый, плотный, на балконе сидит, пьет свое пиво.

— Труд — проклятие человека.

Я устроилась в двух своих комнатах отлично: у меня все было чисто, все в порядке, я всегда в хорошем духе подымалась, кофе пила сладкий и разыгрывала на рояле разные вещицы. Еще в Риге, у тетушки, я петь пробовала, и находили — голос у меня порядочный, не сильный, но приятный. Я себе пою по утрам, отец в правлении, а завод стучит-громыхает, в двенадцать гудок, рабочие расходятся, в два опять на работу, изо дня в день. А мой Чайковский или Шуман, Глинка!

По воскресеньям Маркуша приезжал из Петровско-Разумовского. С этим Маркушей мы еще детьми росли, в деревне — он как бы воспитанник отца моего был, сын его давнишнего приятеля. Теперь же оказался мой Маркуша юношей нескладным, крупным, с бородою, пробивавшейся из подбородка, и с румянцем ярким — к загорелому его лицу шел зеленый околыш фуражки студенческой. Руки у него огромные, но добрые: земледельческие. Он и был крестьянский сын.

Первый раз как увидел он меня, смутился. Покраснел. А я нисколько. Я его поцеловала дружески, но и с приятностью. От него пахло крепким, свежим юношей.

Что-то простое, честное в нем я почувствовала.

— Ты как похорошела... и нарядная какая стала.

Я его еще раз обняла.

— Маркушка, слушай, я учиться петь хочу серьезно.

Он на меня поглядел радостно, сияющими глазами.

— Ты, Наташа, так уж... ты все можешь... я уверен... все сумеешь.

Помню, я закружилась на одной ножке — не оттого, чтобы такая жажда у меня была стать именно певицей,— просто жизнь и радость во мне протрубили.

Отец меня одобрил. Он сам пение любил, и мы даже дуэтом пели с ним «Не искушай меня без нужды».

И я стала брать уроки пения, а потом и в консерваторию поступила. Маркел же мой, Маркуша, так и остался моим cavaliere servente[1].

Скоро я перебралась в Газетный, где тогда консерваторские квартиры были. Учреждение довольно странное! Жили там певицы, музыкантши — все учащиеся в консерватории. Вроде пансиона или интерната. Сразу, в коридоре же чувствовалось, что дело неладно: справа в номере пели, слева гамму разыгрывали, а подальше — упражнения на скрипке. Боже мой, дом музыкальных сумасшедших! В гостиной начальница, или метрдотельша, спрашивала посетителя, кого ему угодно вызвать. И в приемной этой, с затхлым воздухом, мебелью кретоновой поношенной, с канарейками, белыми занавесками, нередко поджидал меня Маркуша, не зная, куда руки деть, как поглядеть и что сказать. Девицы наши шмыгали по коридору, фыркали, но непременно за стеной кто-нибудь что-нибудь разыгрывал.

Главнейших посетителей у меня было здесь двое. Маркуша — приходил по средам, всегда все путал. «Ты, Наташа, ну уж ты, конечно... я вот, знаешь ли, тебе книгу принес...» — и смотрел на меня как на существо высшее. Я с ним бывала ласкова, смеялась тоже. Кажется, и не дразнила.

Отец являлся тоже часто, вымытый, приглаженный, в хорошо сшитом костюме, с конфетами. Целовал меня, целовал ручки барышням моим, анекдоты рассказывал, и с субботы на воскресенье звал к себе, на завод, с ночевкой.

— Счастливая ты,— говорила мне подруга Нилова, маленькая, худая, с огромным ртом, нечищеными зубами и сопрано резким,— у тебя отец... ну, знаешь, я в такого бы отца прямо могла влюбиться.

---

[1] поклонник *(ит.)*.

Нилова, положим, и всегда влюблялась, но, конечно, отец мог нравиться — многим и нравился.

И по субботам, отзвонив что надо из своих занятий, мы ехали ко мне, на завод. Чем занимались мы?

В столовой нашего особняка, в гуле завода, при белом свете электричества отец кормил нас ужином, поил вином. Кроме Ниловой бывали: Костомарова, Анна Ильинична, девушка серьезная, довольно полная, с темными глазами и меццо-сопрано бархатным, и Женя Андреевская. Мы много смеялись, отец за нами ухаживал. Нилова визжала, что голова кружится,— он еще подливал.

— Если кружится, надо выпить, чтобы в другую сторону кружиться начала.

Женя Андреевская примащивалась к нему кошечкой, зеленые ее, лукавые глаза блестели как шартрез. Анна Ильинична всегда была невозмутима, основательна.

Мы размещались по две в комнате и засыпали сном легким, молодым. Иногда только Нилова скрежетала зубами и бормотала что-то о восточном человеке, с которым была тогда у ней история.

Утром приходил Маркуша, мы опять пели, обедали, ели без конца конфеты, и по-прежнему наш дом подрагивал от проезжавшего у кабинета паровозика.

Женя Андреевская вскидывала свой лорнет, смотрела чрез окно на крыши мастерских в пыли, дымящиеся трубы, сети проволоки, штабеля болванок.

— Ах, как интересно все здесь!

Отец кивал, курил, пускал дым кольцами.

— Ужасно интересно. Зам-мечательно! И черт бы их побрал, все эти интересные заводы. Труд, если вам угодно,— проклятие человека.

По понедельникам отец не отпускал нас.

— Э-э, чего там ехать. Бросьте. Не к чему.

Иногда и правда мы задерживались. Он водил нас на завод. Мы проходили мимо домиков служащих, с меньшими, чем у отца, садиками, мимо трехэтажного красного здания — конторы, и через ворота — на заводский двор. Тут, по небольшим рельсам, лошадь везла вагонетку, валялись кучи ржавого железа, пахло чем-то острометаллическим и едким. Невеселая стояла пыль. Казалось, никогда над сумрачными корпусами и над трубами, откуда дым не уставал струиться,— не взойти солнцу, не восстать небу лазурному.

Отец, в фуражке, в сереньком своем костюме, коренастый, крепкий, небольшого роста, вел по мастерским. В сталелитейной

бело-фиолетовая струя ослепляла нас, над нею вились звездочки золотые. Главный мастер сквозь лиловое стекло смотрел на выпуск стали, как на солнце при затмении. Гигантским краном подымали чашу с золотом кипящим, опрокидывали в особые канавки, где остывал металл, краснел и креп. Мы видели — потом тащили эти самые болванки полуголые рабочие клещами, совали в вальцы, и с диким визгом пролетала огненная полоса — все у́же, все длиннее, выносилась наконец со свистом, и ее ловил прокатчик.

Костомарова взирала равнодушно. Женя Андреевская припадала к отцу.

— Ах, как страшно!

И в глазах ее зеленых зажигалось мление испуга. Отца сопровождали мастера. Рабочие с ним кланялись, на нас глядели.

Так проходили мы, птицы залетные. И приятно было выйти на осенний воздух, видеть, как слетают пожелтевшие листы с тополей в садике, выпить на прощанье чашку шоколаду, запить рюмочкой ликера золотистого и в холодеющей заре, со вкусным запахом Москвы осенней катить мимо Андрония к Николо-Ямской. Вдалеке Иван Великий — золотой шелом над зубчатым Кремлем, сады по склону Воронцова поля закраснели, тронулись и светлой желтизной. И медная заря, узкой полоскою — на ней острей, пронзительней старинный облик Матери-Москвы,— заря бодрит, но и укалывает сердце тонкой раной.

II

Рана-то, в сущности, неглубока. На сердце ясно, жизнь разнообразна и занятна, даже и в консерватории, для других месте тягостном,— мне сходило с рук благополучно все.

Некоторых пианисты изводили, к другим приставали, третьих инспектриса распекала за неаккуратность, шум — меня же моя Ольга Андреевна, некогда певица знаменитая, а ныне старушка в наколке, правда взбалмошная,— никогда не доезжала. Я, положим, ей все делала прилежно, и сердиться на меня не за что было.

— Ты, Наталья, в Патти, в Нильсен никогда не выйдешь, так и на носу себе заруби. Если ж я тебя получше помуштрую,— сможешь стать приятной камерной певицей. Но ты ветрена, смотри ты у меня!

Она стучала пальцем по пюпитру, седые букли у нее тряслись, глаза вдруг загорались гневом.

— Ты высокая и гладкая,— мужчины таких любят. Щелкоперов этих здесь не оберешься. Мой тебе завет: храни себя. Я

до тридцати лет девственницей была, оттого и талант сберегла... да, а то свяжешься с каким-нибудь... козлом, пойдут детишки, да хозяйство, да вся ерунда... Художник, милая моя, монах... Вот как оно-с!

Я слушала почтительно. Внутренно — улыбалась и, выбегая из бокового подъезда консерватории, все оглядывалась, не стережет ли где Маркуша.

Он осаждал меня прилежно — брал упорством, преданностью и серьезностью. «Ну, Маркуша, прыгни в воду» — он бы прыгнул, разумеется, и даже с радостью.

Когда я заходила к Ниловой, утешать в очередном несчастии — ее покинул все же армянин,— она рыдала у меня в объятиях, скрипя нечистыми зубами, бормотала:

— Ну если б у него хоть капля благородства, как у твоего Маркуши, но ведь это хам, пойми, Наташенька, ведь это хам.

Была ль она права об армянине, я не знаю, но высота Маркуши несомненна. Я же принимала все как должное. Маркушу это, кажется, как раз и опьяняло.

И когда в весенних сумерках, со смутно-розовеющим отблеском стены во дворе наших квартир, сидел он у меня в приемной, в кургузенькой тужурке, с красными руками, слипшеюся на лбу прядью, и смотрел радостными, голубыми глазами, мне становилось весело и тоже радостно, я будто бы чуть летела, в каждый миг, впрочем, могла очнуться, твердо на землю ступить, но все-таки летела.

— Отчего ты всегда такая... ну, будто ловко сшита...— он сбивался и махал рукой.— Нет, я не так, ну, понимаешь... Ты каким-то пением вся проникнута.

Мне это нравилось. Я улыбалась.

— В сумерки, в марте, благовест, и вон ледок в тени... а там заря, и еще позже звезда выйдет, и это тоже, так сказать, и все само собой понятно... все — одно. И ты вот тоже. Но еще даже легче.

Таков был мой Маркуша.

Отец над ним посмеивался. Считал фантасмагористом — признавал же лишь простое, ясное.

Когда Маркуша философствовал насчет того, что, мол, материя и дух — одно, мир есть система символов, отец лениво подпирал себе рукою щеку, полузакрывал глаза, пиво прихлебывал.

— Нечего тут гадать, нужно слова знать.

— Да, но если бы человечество... так сказать... никогда не гадало бы... ну, и если бы только зубрило эти самые... слова...

Отец отмахивался безнадежно.

— Отказать,— бормотал,— отказать!

На нас же он смотрел без огорчения. Был убежден, что рано или поздно надлежит девушке выходить замуж — «так и везде в природе». И мы с Маркушей были предоставлены себе, своей свободе, молодости, жажде жизни и любви.

Мне не забыть одной из этих весен города Москвы,— какая тихая и теплая была весна! Маркуша заходил ко мне в консерваторские квартиры, но я уж не могла быть с ним в приемной, вела к себе. У меня окно настежь, ветерок треплет кисейную занавеску, за стеной Нилова выводит рулады, и кусок бледно-золотеющего, предвечернего неба влетал к нам, мы же смеялись, сидели на подоконнике и не знали, что делать. Потом шли бродить. Мы подымались по Никитской. Маркуша задевал нечаянно прохожих, попадал в лужу, смущался, извинялся, и мы брели бульварами — Тверским, Никитским, по Пречистенскому — мир же весь раскрыт, в зеленоватом веянии весны, при пригревавшем солнце из-за перламутра облачков могли бы мы уйти хоть и на самый конец света.

На Арбатской площади Маркуша покупал фиалок, мы брели к храму Спасителя. Воздушно-нежные, мимотекучие и позлащенные узоры облаков казались нам дивной дорогой в будущее, легкими венками счастия.

Вечером же, на бульваре, юные и бледно-зеленеющие звезды глядели на нас сквозь зеленоватое кружево деревьев, мы украдкой целовались, проходя древний, вечно юный, вечно обольстительный путь любви ранней.

На Страстной Маркуша водил меня к Борису и Глебу, на Двенадцать Евангелий — он был религиозен, я же и не знаю, думала я тогда о религии или же нет. Евангелие, Страсти Господни и облик Христа всегда трогали, но могла ли я назвать себя христианкою? Не смею сказать. Помню лишь, что и тогда чтение Евангелий меня растрогало. Потом я побледнела от усталости, но мы дослушали, и нежным вечером апрельским возвращались по Никитскому бульвару, неся свечки зажженные. В полусумраке весеннем многие другие шли с такими же свечами — было очень славно. Мы старались, чтобы не задуло огоньки, и это удалось нам.

Светлую же заутреню стояли в Кремле, в древней, покосившейся церковке Константина и Елены, внизу под памятником Александру. Иван Великий и Успенский собор были иллюминованы. Густо, бархатно бухнул колокол на Иване Великом в сырой, теплой, как всегда темной Пасхальной ночи. И со всех концов загудели другие. Пушки гремели, толпа бродила, фейерверк, иллюминация. А мы с Маркушей похристосовались, перекрестили друг друга — и поехали к отцу разговляться. Извозчик, дребезжа плохенькой пролеткой, долго вез нас Солянками, Ни-

коло-Ямскими, в смутно-радостной, пасхальной Москве. Церкви сияющие встречались по пути, люди с куличами и пасхами, дети со свечечками. Колокольный гул тучей приветливой стоял над Москвой, и от Андрониева монастыря, обернувшись в пролетке, мы увидели на фоне слегка светлеющего уже неба тонкий ажур иллюминованного Кремля.

— Вот она... матушка наша... Москва православная,— Маркуша пожимал мне руку.— Ну, смотри... все как надо.

Сторож отворил заводские ворота, поклонился. Завод ворчал, но как-то тише, сталелитейная не вспыхивала белым светом.

Зато наш дом светился, и в столовой ждал отец, среди закусок, пасок, куличей, цветов. Нилова и Костомарова заседали уже за столом, в белых платьях, и отец чокался и христосовался с Женей Андреевской.

Нилова кинулась мне на шею, зычно крикнула:

— Наташка! А мы думали, уж ты и не вернешься!

Отец угощал Женю пасхой, по временам требовал:

— Ручку.

И прикладывался к ней. Нас с Маркушей встретил ласково и покровительственно, и, веселые, счастливые, мы легко вошли в тот вечер в беззаботный круг празднующих.

Наутро же Маркуша все бродил в садике, наступал на клумбы, что-то бормотал. Напоминал он несколько лунатика — но в лунатизме блаженном.

К отцу приходили поздравлять с праздником служащие и мастера. Все — в сюртуках и белых галстуках, важные, не знающие, что сказать. Отец прохаживался с ними по бенедиктинчику, рассказывал о разных замечательных охотах и облавах, гончих удивительных — они же размякали. Нилова вычистила зубы. Вымыла для праздника худую шею. Женя разыгрывала даму, занимала гостей, пела, нюхала розу, но иногда выбегала ко мне на балкон, фыркала, давилась со смеху.

— Понимаешь, я графиню из себя изображаю, а тут чех этот румяный, Лойда, верит и работает... ну, под барона, что ли, а сам всего-то «скакел пэс пшез лес, пшез зелены лонки».

Все это было глупо, но казалось также мне смешным, мы хохотали, взглядывали на таинственного нашего Маркушу, нечто замышлявшего,— и снова хохотали.

Он наконец не выдержал, вызвал меня в сад.

— Я, Наташа, знаешь... ну... уж как тут быть? Надо ведь сказать... я дядю Колю с детства... и вот боюсь...

Я его покрутила за вихры — все во мне пело и смеялось, мне хотелось целовать и небо, облака бегущие, ветерок, налетевший с Анненгофской рощи.

— Конечно, скажем.

После обеда отец сидел на балконе за пивом, с Женей Андреевской.

— Приезжайте ко мне петь в деревню. Бросим к черту все заводы. Будем пиво пить, дупелей стрелять, осенью за зайчишками, знаете... тики́-таки́, тики́-таки́, так-так, так... Я себе наконец имение купил, вот вы мне и споете там.

Я подошла к нему сзади, обняла голову, ладонями глаза зажала. Так любила делать еще с детства, и привычно он потерся мне затылком о щеку.

— Ну, что еще там?

— Маркушка в кабинет зовет.

— Ишь разбойник. А сюда прийти не может?

Я поцеловала его в аккуратный пробор — в белую, тоже с детства знакомую дорожку через голову.

— Не может. Дело важное.

— А, шутова голова.

Он крякнул, забрал папиросы, грузно встал, прошел в свой кабинет, и я за ним.

Маркуша у камина, потирает руки, будто очень холодно.

— Я, собственно... я, дядя Коля... уж давно вам собирался... я... то есть мы давно собрались уже... то есть собирались...

Отец вздохнул.

— У меня был почтмейстер на заводе. Так он к каждому слову прибавлял: «Знаете ли, видите ли». Вот раз директор приезжает, вызвал его, а тот все: «Знаете ли, видите ли»,— ну, директор предложил: хорошо, рассказывайте, а я буду за вас «знаете ли, видите ли» говорить.

Я засмеялась, обняла отца опять.

— Дело простое. Он хочет сказать, что собирается на мне жениться.

Отец закурил и ловко пустил спичку стрекачом в камин.

— Это дело. Это дело ваше.

Маркуша издал вопль, бросился ему на шею, стал душить. Я повисла с другого бока, все мы хохотали, целовались, но и слезы были на глазах. Маркуша убежал. Отец же вынул чистый носовой платок, отер глаза, поцеловал мне руку.

— Я так и ожидал. Ну, хоть не забывай меня.

Тут уже я заплакала — еще тесней к нему прижалась.

— Что ж, вспрыснуть. Невозможно, надо вспрыснуть.

Через несколько минут Женя Андреевская визжала уже на балконе, тискала и обнимала меня. Анна Ильинична поцеловала степенно.

— Поздравляю, Наташа, и желаю счастия.

Нилова даже заплакала — верно, вспомнила об армянине,— повисла у меня на шее и зубами скрипнула. Грубоватым шепотом шепнула:

— Ты счастливая, Наташка, ей-Богу правда, не сойти мне с этого места.

Мы выпили шампанского, Маркуша пролил свой бокал и наступил на ногу Жене Андреевской. Но все ему прощалось, ради торжественного дня, ради той детской радости, смущения, которыми сиял он.

Потом отец свез нас в ландо на Воробьевы горы.

Я помню светлый, теплый день, ровный бег лошадей, покачивание коляски на резинах, нашу болтовню, нашу Москву, Нескучный, дачу Ноева в бледном дыму зелени апрельской, белые — о как высокие и легенькие! — облачка в небе истаивающем — и вновь Москву, раскрывшуюся сквозь рощи Воробьевых гор, тихое мрение куполов золотых, золотистый простор, безбрежность, опьянение легкое весной, счастьем и молодостью. Возможно, нам и надо бы сказать времени: «Погоди, о, не уносись». Но мы смеялись, любовались и шалили — а Москва гудела колоколами, светилась под солнцем, струилась в голубоватой прозрачности и дышала свежестью, праздником, весельем.

Через месяц мы с Маркушей обвенчались. Кончилось мое девичество — я стала взрослой.

III

Мы переехали теперь на Спиридоновку, в тот дом, что на углу Гранатного. Он мне напоминал корабль, один борт смотрит на Гранатный, а другой на Спиридоновку. Рядом с нами, по Гранатному, особняк Леонтьевых с колоннами, в саду, как будто бы усадьба. Гигантский тополь подымается из-за решетки сада, осеняет переулок.

Теперь впервые я хозяйка, но управляться мне нетрудно. Все само собою делалось. Не очень уж я предавалась и заботам Марфы, но, должно быть, я вправду обладала той чертой — вносить благоустройство и порядок.

Мне везло даже в прислуге. Я на улице раз встретила оборвашку, настоящую хитрованку Марфушу,— попросилась она на место. Волосы у нее растрепаны, глаза слезящиеся, красный нос, как у пьяницы, в ушах огромнейшие золотые серьги. Но я взяла ее как будто по наитию — оказалась она золотей своих дутых сережек, и совсем непьющая. Она нас полюбила, прижилась. Кухонный департамент сиял.

Маркуша был мил, трогателен, нежен и нелеп. Утром вставал,

шел в университет (куда перевелся из академии). А я разучивала дома упражнения, шла на урок, в консерваторию. Я проходила уж теперь по улицам серьезней, и не побежала бы, как раньше, но я чувствовала, что я молода, любима и сама люблю с горячностию молодости. Что я живу, пою, чиста, здорова — и мне весело было глядеть на белый свет.

Немножко я боялась сказать Ольге Андреевне, что вышла замуж. Жутко и смешно как-то мне было.

Ольга Андреевна сапнула.

— Выскочила все-таки. Не удержалась.

Я приготовилась к баталии. Но она хмуро ткнула в ноты: «Продолжай». Я пела, как обычно. Она же хмурилась, молчала. Я уже забыла о своем проступке. Ольга же Андреевна меня не поправляла. Вдруг тряхнула буклями седыми.

— Дура. Идиотка.

Я не поняла, остановилась. А она вскипела:

— Только и умеете козлам на шею вешаться, дряни, потаскушки! Я до тридцати лет девственницей была, зато и пела. Ну, а ты? Небось уж с брюхом?

Мне стало весело, не страшно, вдруг я обняла ее и стала целовать. Не скрыла смеха.

Та скоро отошла.

— Фу, на тебя сердиться не могу. Очень уж складная, точеная... Тьфу, чуть было не сказала: точеная девушка.

И она сама засмеялась — кажется, меня даже простила.

Маркуша мне нередко говорил, что от меня идет ток мягкой теплоты, приветливости. Не знаю, трудно о себе сказать. Но сколько помню, люди относились ко мне чаще хорошо, чем плохо. Да и к Маркуше тоже. Так что к нам, на Спиридоновку, много всякого народу забредало, больше молодежь, студенты, барышни и дамы. Бывали и художники, поэты начинающие — из пестрой, шумной и веселой толпы лучших лет наших припоминается сейчас Георгий Александрович Георгиевский.

Любитель музыки, искусств, поклонник старых мастеров живописи, барин и дворянин, чей род из Византии шел. Изящный, седоватый человек с огромной лысиной и острым профилем. Что ему нравилось в шумной богеме нашей, где Нилова вряд ли отличила бы Рембрандта от Рафаэля,— ему, наизусть знавшему всех второклассвейших голландцев! Но он стал наш, и в нашу жизнь — шумную и летящую, входил нотой покойной.

Бывал со мной в концертах, заходили и на выставки. Живопись современную он любил мало, много морщился.

— Вот, какой-нибудь Чима да Конельяно, из простых, я рядом с ними... барин.

Я думала, что с ним, наверно, хорошо ездить по Европе, ходить в музеи, радоваться красоте, безбрежности долин, гор и морей.

Помню, раз мы выходили из консерватории, после дневного симфонического. Был пятый час, смеркалось. Над церковью орали галки, кой-где золотой огонек всплывал из сумеречной мглы и снег слабо синел. Мы шли одни — Георгий Александрович в элегантном своем пальто, высокий, худоватый, и глаза сегодня несколько усталы.

На углу Малой Кисловки нас обогнал лихач — промелькнул серый мех отцовского пальто, рядом с ним Женя Андреевская.

Я улыбнулась.

— Папаша развлекается.

Георгий Александрович закурил — приятен был дымок хорошей папиросы в сумеречный, теплый, зимний вечер.

— Я ведь говорил однажды, что отец ваш — человек крепкий, жизненный. Он идет прямо, без детуров, колебаний, в этом его правда. Ибо — его жизнелюбие.

— Что ж, я сама такая. Я ведь тоже жизнь люблю.

— И очень хорошо, великолепно.

Он помолчал немного.

— Может быть, даже завидно.

Я опять засмеялась.

— Да, у вас сегодня что-то... чайльд-гарольдовский какой-то вид... «Разочарован-ному чужды все обольщенья прежних дней».

— А-а, смешок, смешок, ну погодите, поживите вы с мое, не все смеяться станете.

Я прекратила пение и чуть подобралась. Что-то и правда задумчивое, горестное в нем почувствовалось. Он шел, молчал, потом вздохнул.

— Я жизни вовсе и не отвергаю, я люблю в ней то, что можно полюбить. Но все-таки груба она, грязна... ах, вы увидите еще, Наталья Николавна...

Он поднял голову, а я взглянула ему в глаза прямо, вдруг какая-то тоска, мгновенный, горький ток пронизал меня. Георгий Александрович остановился.

— Я думаю,— сказал он глухо,— нам предстоит темное... и странное, и страшное.

На углу Никитской он поцеловал мне руку, мы расстались.

Я возвращалась домой медленно. В парадной нашей было сумрачно, Николай снял с меня ботики. Я поднялась наверх. Прошла в Маркушин кабинет, прилегла на красный диван. Лениво наблюдала, как густели сумерки, как с улицы легли трепетно-зеленоватые узоры на стену — мне было так покойно.

Ах, ну пускай темно и непонятно будущее, пусть живут, тоскуют, но вот я вся здесь, со своим пением, любовью, голосистыми подругами. «Да, он изящен, не совсем такой, как все, но это и не важно. Ведь Маркуша-то... какой чудесный». Я улыбнулась в темноте, перевернулась на другой бок, в мозгу что-то беззвучно расцепилось, промелькнуло несколько нелепых пятен, теплых,— а потом смешалось все.

Когда я пробудилась, на столе горела лампа, Маркуша сидел в кресле, из-под абажура свет падал на его книгу, волосы взлохмачены, ворот студенческой тужурки расстегнулся. Улыбаясь, встал на цыпочках, поцеловал мне лоб.

— Вот ты спала... и удивительно, Наташа, тихо... нежно. Я читал, все время ты со мной... и нет тебя. Но у тебя было... как будто грустное в лице... И мне тоже... радостно было читать про эти электроны, и немножко я боялся... Ты так хрупка, и вообще во сне есть что-то от другого мира...

В комнате было тепло, сумеречно. Обои потрескивали над калорифером. Что-то мягкое, простое и серьезное — во всем облике Маркушина кабинета. В окне светло дымился месяц сквозь перламутровые облака.

Я потянулась, села, вдруг почувствовала тошноту. Ощущение мучительное — мне так не хотелось расставаться с теплотой, негой, безбрежностью полусна, но, видимо, старая моя Ольга Андреевна была права: новая жизнь во мне шевельнулась, глухо и томительно.

Маркуша испугался. Сел у дивана, на голову старого, лохматого медведя, нежно целовал мои коленки. Эта ласка тронула.

— Ну, теперь ты приберешь меня к рукам, совсем. Твоя жена и твой ребенок — святое право собственности!

Тошнота прошла, осталось лишь серьезное и важное, что произошло со мной, я, правда, понимала, что новые, и шелковые, крепкие нити связывали меня теперь с этим патлатым и чудаковато-милым человеком. Ну, и ладно, пусть связывали.

И я носила своего ребеночка легко.

Страдала и капризничала мало, и Маркушу изводила мало. С половины же беременности успокоилась и вовсе, и круглела, все круглела, тише только стала двигаться.

Весной отец уехал в отпуск для устройства в новокупленном имении. А мы с Маркушей проводили лето в городе: в деревню уезжать я побоялась. Как заботлив, мил со мною был Маркуша! Лето вышло знойное, но славное, с дождями — благодатное лето московское. Маркуша много занимался, уставал, и, чтобы отдохнуть, нередко уезжали мы на целые дни к Георгиевскому, на Земляной вал. Он жил в особняке, у Сыромятников, со

своими книгами, старинными медалями, монетами, картинами. Я любила его тихий дом с бюстом Юпитера Отриколийского в прихожей, с инкрустированными шкафами, маленьким зеленым кабинетом, где висел недурной Каналетто, на шкафу мрачно воздымалась маска Петра Великого с выпученными глазами, и всегда было прохладно: окошко выходило в сад, смутно струивший зеленью и влагой.

Мы обедали на балконе, выходившем в тот же сад. Георгий Александрович рассказывал нам о Помпее, Сиракузах, приносил монеты древнего царства Боспорского. Потом я в гамаке лежала, под деревьями, Маркуша засыпал где-нибудь на диване, а Георгий Александрович садился у моих ног в кресло плетеное, курил.

— Дремлите. Да, дремлите и растите свое чадо.

Солнце золотисто-зеленеющими пятнами ласкало нас, и шмель гудел. За забором улица гремела, над ней купол золотой Ильи-Пророка, а на сердце у меня покойно, скромно.

— Вы дремлете, как земля-праматерь, как русская Прозерпина в изобилии и отдыхе,— говорил Георгий Александрович.— Жизнь ваша такая же ясная, как узоры света между кленов этих, как жужжание пчелы... Вам нечего стесняться.

Я рассказывала ему, как студент мне говорил, что ветер — мой покровитель, и яблонка цветущая. Георгиевский тихо склонял голову свою точеную, уже седеющую, прозрачными, серо-холодноватыми глазами на меня глядел с сочувствием.

— Студент тот умный был, умный студент, заметивший про яблонку.

Все это лето у меня слилось в одно лишь чувство: мира, тишины, благоволения.

И когда срок пришел, Маркуша свез меня в лечебницу, вблизи Красных ворот, а сам отправился на Земляной вал, к Георгиевскому — ждать решения. Я держалась твердо. Маркуша больше волновался, у меня же было ощущение, что все пойдет, как должно, что с неизбежной, но хорошею неотвратимостью я вхожу в еще новую полосу. И как во всем доселе — и на этот раз судьба обошлась милостиво. Легче, чем другие, претерпела я назначенное. К полуночи дежурная сестра в лечебнице с привычной ласковостью говорила мне: «Ну, потерпите еще, миленькая, две-три схваточки» — а в половине первого меня поздравили с младенцем, показали красненького, сморщенного и беспомощного человечка.

Через полчаса Маркуша прилетел.

Имел вид ошалелый, и блаженно-лунатический. Разбил пепельницу, чуть было не сел в люльку, и его быстро, с ласковою,

понимающей улыбкой, сестры выпроводили. Я же заснула. Следующий, и еще ряд дней, пока лежала, у меня было легкое, светлое настроение — как после трудного, но выигранного дела. В комнате моей сияло — в августовских, теплых днях. Цветы благоухали. Множество конфет — друзья, знакомые и близкие меня не забывали. Был и Георгий Александрович. Привез букет роз, и со сдержанною нежностью поцеловал мне руку. Он казался мне все в том же светлом круге, что невидимо, но явственно очертился надо мной.

IV

Мой сын! Я не могу сказать, чтобы его приход был нежеланен. На углу Гранатного и Спиридоновки он поселился гостем дорогим. Меня вводили медленно по лестнице, поддерживая, а впереди Марфуша с торжеством несла, как некую регалию, малое существо в пеленках, одеяльце, капоре. Вид у Марфуши был такой, будто она и родила его. Серьги ее в ушах раскачивались, пряди волос торчали во все стороны, и быстрые, слезящиеся глазки бегали.

— Уж барыня! Уж милая! — кричала она в квартире, когда Андрюша водворился в своей комнате — светлой и теплой.— Уж мы теперь за ним как ходить будем. Пря-ямо!

И хлопала себя по сухим, выношенным бокам.

— Пря-ямо!

И действительно, ходила.

Как всегда бывало в моей жизни, преданно-услужливые руки оградили от всяческих треволнений, мелких забот молодой матери. Плакал ли Андрюша ночью, около него уже возилась нянька, или сам Маркуша, или же Марфуша. Молоко само подогревалось, сами исчезали и пеленки, заменяясь чистыми, сам собой засыпал мальчик. Он не болел и не кричал, кормила я его без всяких затруднений, даже без заминок отняла от груди. Эту зиму почти столько ж выезжала, и случалось, что заеду, покормлю — и снова из дому. Марфуша за ухом чесала не весьма одобрительно, и серьги дрыгали как бы укором, но я была вне обсуждений: барыня едет — стало быть — надо.

И годы наши шли легко. Маркуша изучал свои науки, я разучивала Шумана и Глинку, отец нам помогал, а мы, в молодости, в поглощенности самими нами, мало в жизнь чужую всматривались, в жизнь страны и мира, легкою, нарядной пеною которого мы были. В сущности, чего таить: мы выезжали на Марфушах, разных верноподданных старухах, на швейцарах, на официантах в ресторанах, на рабочих на заводе, где отец всем

правил,— наша жизнь и не могла иною быть, чем легкой и изящной.

Что касается рабочих, впрочем, то не так уж они были счастливы везти нас на себе: весной у отца вышла на заводе передряга. Рабочие требовали прибавки. Французы-собственники упирались. Отец настаивал, чтобы прибавили. Рабочие забастовали. Отцу пришлось их успокаивать, ему грозили. Он держался просто, чем спас положение. Все-таки была полиция, аресты — все это его расстроило и рассердило.

Когда уж забастовка кончилась, в апреле, я заехала к нему раз на завод. Отец был дома. Он сидел за пивом, на балконе в своем садике, в обычной позе, подперев рукою голову. Увидел меня, улыбнулся, потерся о мою руку щекою и поцеловал. Я его обняла.

— Ну, ты, говорят, разводишь революцию?

Он отмахнулся.

— Чушь. Все это чушь.

У него был вид, что ни о чем не хочется ни думать, и ни говорить. Правда, блистал день теплый, сквозь нежную листву дымились в небе облачка, лазурь сияла между ними. А рядом, за забором, все пыхтел, свистал, таскал свои вагоны паровозишко, и напускал дыма.

— Раз,— сказал отец,— у лошади спросили: что ей больше нравится, телега или сани. Она подумала и говорит: как ты для меня сволочь, так и ты для меня сволочь.

Я посмеялась. Отец хлебнул пива.

— Французы скареды. Они не понимают, что если прибавить человеку с рубля на рубль десять, то на цене стали нашей это отразится дробью копейки. И что жрать-то надо работающему. А те — тоже идиоты. Лезут со своими прокламациями, печатают в них чепуху, надеются ввести социализм. Какая ерунда! О, Боже мой, что за ослы!

— Ну, ты ведь все-таки рабочих защищал?

Отец глубоко затянулся, равнодушно пустил дым кольчиком.

— Потому что я ведь умный...

Я снова засмеялась.

— Хватят вас однажды всех по шапке здесь, вот будет штука, косточек не соберешь.

— И это вздор.

Отец терпеть не мог ни шума, и ни возмущений, революций. Читал «Русские ведомости» лет уж двадцать, был глубоко убежден, что в жизни все устраивается постепенно.

— Наплевал я на них. Не хочу больше ни с французами, ни с нашим хайлом работать. Я ушел со службы, вот, здесь

пиво пью, а потом в Галкино к себе уеду, буду дупелей стрелять. И вы с Маркелом и Андрюшей приезжайте, девиц наших тащи, чтобы веселее было.

Я посидела с ним, прошлась по садику, обошла наш дом, где столько прежде мы дурили и смеялись, где я пела в своей комнатке у пианино, где с Маркушею мы целовались и отец одобрил будущий наш брак: и на минуту пожалела даже этот чахлый садик, дом, вздрагивавший, как и ранее, от паровозика.

Мы так с отцом и порешили — летом я гощу в деревне — а как только все там изготовят, он напишет.

Этому был рад Маркуша. Он сдавал последние экзамены. Я пригласила и Георгиевского. Тот обещал.

Апрель я провела еще в Москве, а в мае наступило время ехать. Это был первый выезд мой с Андрюшой, и все наши волновались, как мы повезем его, я менее других. И я была права. И тут заботливые руки передали мне его в пролетку, из пролетки так же незаметно переплыл он на вокзал, с вокзала в купе поезда, и дремал мирно, пока мы катили меж полей, березовых лесочков, овражков, подмосковных наших мест. За нами выехал кучер Димитрий. В коляске, упряжи, Димитрии я узнавала стиль отца: ничего броского, шикарного, во всем мера и солидный тон. Хвосты у лошадей подрезаны, лошади кормленые, но не бешеные, идут ровно, рысью. Даже сам Димитрий — немолодой, с маленькими глазками, рыжеватыми усами — аккуратно подпоясан, аккуратно скроен, правит безо всякой удали. «Ехать надо постепенно» — вот его девиз, и за плечами долгая муштровка — таких же, как мой отец, бар.

Этот Димитрий вез нас очень чинно большаком с могучими ракитами, кой-где — столетними березами. Спускались мы под горки, подымались на подъемы, мимо белых церквушек, деревенских кладбищ, рощ, средь зеленей лоснящихся, где ходит в майском солнце грач, обгоняли баб с котомками, подводы с кладью, и часам к четырем, когда солнце золотисто иструялось из-за легких облачков, майский ветер овевал лицо нам своим плеском благовонным,— мы спускались мимо парка с горки, к мельнице села Ипатьевского. Через луг, на изволоке, блестел в свете стеклами галкинский дом.

Отец, все в том же сером пиджачке, стоял на крыльце. В зале встретила крепкая и румяная девушка, в простеньком платье, с загорелыми и огрубелыми руками: видимо, немало действовала ими в огороде.

— Это наша учительница, Любовь Ивановна,— представил отец,— бывает так добра, сюда приходит, помогает мне хозяйничать.

Девушка заалела, сильно тиснула мне руку. Серые глаза ее смотрели прочно, по-деревенски. Я поздоровалась приветливо. Про себя улыбнулась. «Около папаши, разумеется, должна быть женщина. Подцепил-таки поповну».

Нам приготовлены были две комнаты в мезонине, мы взошли туда по узкой, тесной лесенке, я распахнула окна. Через сад, полого шедший вниз, были видны луга и речка. Вдалеке шумела мельница, солнце охватило предвечерним светом те далекие березы парка, где мы проезжали, а над ними, вправо, высился бугор, весь в нежных зеленях, тоже под лаской солнца. Вот она, Россия! Вокруг меня были поля, лесочки, всходы яровых, стада мужицкого скота, деревни с ветлами, с нечесаными ребятишками — край небогатый, неказистый, но и милый сердцу моему, летевшему чрез сотни верст легко, как по родной земле.

Вечером мы пили на террасе чай. Распоряжалась им Любовь Ивановна — с большим умением и даровитостью хозяйственною. Мне казалось только, что она меня стесняется,— но я была с ней ласкова.

— Вот ты ученый, так сказать, и филозо́ф,— говорил отец Маркуше,— а сумеешь ли отличить всходы овса от ячменя?

— Да, собственно... то есть я, в сущности, не над тем работаю... но, разумеется, надеюсь...

— То-то, надеюсь. Нереальные вы люди, кабинетные. Вот, небось, Любовь Ивановна различит. А? Любовь Ивановна?

— Я к этому с детства приучена, как же не знать?

— Да ведь и он не царской фамилии. А все город, книжки. Книжками головы себе забиваете.

Любовь Ивановна вдруг что-то вспомнила. По молодому ее лицу прошла забота. Она встала, пошла к двери.

— Сто-п! Куда? Ку-уда?

— Завтра, Николай Петрович, нам навоз возить, а в Ивановское девкам не дали ведь знать.

— Умница. Эх, умница, эх, золотая голова!

Маркуша сошел в сад, где розы расцветали по бокам дорожки, шедшей прямо вниз. А я смотрела, как в закате розовели дальние березы парка, как слегка туманились луга. Телега громыхала. Вечер был так тих и нежен. И когда позже, в сумраке сиреневом, заслезилась первая звезда, мигнула, точно улыбнулась нам из бесконечности своей, странное волнение мной овладело. Не хотелось быть с отцом, слушать разговоры о коровах, пахоте и колымажках; меня не потянуло и к Маркуше. Я ушла одна, обошла весь сад, где жуки мягко и медленно звенели, облетали лепестки с яблонь доцветающих, сквозь деревья виден был в лугах зажегшийся костер. Мне захотелось быть одной.

За ужином пили вино, я веселилась, но отсутствовала. Позже, в комнатке мезонина, долго не могла заснуть. Маркуша крестил на ночь и меня и мальчика, лег на спину и беззаботно, как-то слишком благодушно и стремительно заснул, точно ребенок. «Ну, вот и муж и сын, оба здоровые, приятные, и оба спят, один похрапывает даже...» Я усмехнулась. «Все как надо. Завтра, послезавтра... и до старости доживешь, не заметишь...»

Что ж я, собственно, хотела? Чтоб с Маркушей жили мы бурней? Чтобы друг с другом ссорились и ревновали? Чтобы одолевать препятствия, воздвигнутые пред любовью нашей, а не мирно спать на супружеских постелях? Я не знала. Но та ночь не очень мне понравилась. И как-то выходило, что Маркуша еще в чем-то виноват передо мной.

V

Наша жизнь в Галкине мало чем отличалась от обычного помещичьего бытия. Лень, обеспеченность и беззаботность. Хорошо, чтобы в июне выпал дождичек, а покос убрать в погоду, ну, а если и обратно выйдет, тоже как-нибудь устроимся, разве что отец побольше поворчит да озабоченнее станет статная Любовь Ивановна.

Я пела, а Маркуша занимался электронами своими, заодно читал и философии, и мистики. Как дачники, мы всегда хотели ясной погоды, не справляясь с тем, что нужно для агрария. Лошади нас занимали столько, сколь на них можно кататься — верхом или в карфажке. Или — посылать на почту. Так что человеку деревенскому никак бы не могли внушить мы уважение к себе.

Маркуша вспоминал все же свое народное происхождение: выходил косить, навивал возы с сеном. Был он силен, работал горячо. Ловкостью не отличался.

Помню маленькое происшествие того же времени — оно имело для меня некоторое значение. Маркуша ехал на Любезной, молодой кобыле, в конных граблях. Мы сидели на балконе, он к нам приближался — вдруг Любезной под ноги собачка Дамка. Зубья грабель у Маркуши были подняты, и как случилось все — даже не сообразишь — только Любезная рванула, понесла, Маркуша кувырком, мелькнули зубья, зазвенели (у меня ноги стали ледяные) — пролетели над самым Маркушей, как насквозь его не просадили, удивляюсь. В следующий миг Любезная в отчаянии скакала уж лужайкой прямо к черной кухне. Сзади, на вожжах, бежал Маркуша, зубья же цепляли за собою что попало и заехали наконец в кучу хвороста.

— Говорил, не запрягать Любезную! Эх, чертова голова. Все мне грабли изломаешь.

Отец сердился, встал, пошел к Любезной, стал ее отпрукивать. Она дрожала. У меня же сердце билось, в воображении я видела Маркушу уж растерзанным.

— Да зачем же ты, действительно, запрег Любезную?

Маркуша был смущен, расстроен. Рукав на блузе его разорвался, штанина выпачкана зеленью.

— Как тебе сказать... я полагал...

Я тоже вдруг вскипела.

— Со страху чуть не померла, а он все полагает что-то.

Я даже всхлипнула. Маркуша утешал меня, был нежен, как всегда неловок, и конечно, я довольно скоро успокоилась. Вечером сама сгребала сено с девками, а потом мы вышли отдохнуть с Маркушей к пруду, на скамеечку. Уже смеркалось, и огромная луна, дымно-лиловая, вставала из-за мельницы. Пахло сеном. Луга туманились, дергач мило, мирно тренькал.

— Ты меня сегодня напугал, Маркуша...

Он покорно положил большую свою голову мне на колени.

— Прости.

Мне прощать нечего было. Я гладила ему волосы. Он все лежал, такой же неуклюжий и огромный, как лохматый пес, и, глядя на него, вдруг ощутила я, что очень и жалею его, и ценю, но... не мечтаю никогда. *Мое* — и вот ни капли яду, опьянения.

— Пойдем. Пора. Наверно, скоро ужинать.

Он покорно следовал за мной.

А мне стало как-то грустно — хоть несколько и по-иному, чем в ту первую нашу в Галкине ночь.

Мы ужинали на балконе, при свечах в стеклянных колпачках. В них набивались мошки, трепетали около огня, лучисто вспыхивали, гибли. На деревне девки пели. У меня сохранилось еще недовольство на отца — за недостаточность внимания к Маркуше, но теплота тьмы июньской, от свечей казавшейся темнее, запах сена, лип цветущих, милая звезда, изнемогавшая в мерцании над яблонями, пенье — весь родной облик ночи деревенской — смягчили меня.

В середине ужина залаяли собаки. Вошла Любовь Ивановна с газетами и письмами.

Отец надел пенсне, стал разбирать зеленые квитанции отправки молока. Я вскрыла телеграмму. Георгий Александрович извещал о приезде.

— Фу-ты, Боже мой, и всегда в тот день соберутся, когда нет лошадей!

Лошади, конечно, отыскались, и пока мы, баре, еще почивали в розоватом полумраке спален, на заре — Димитрий с рыжеватыми усами *постепенно* ехал среди зеленеющих полей, в блеске росы, в славе света, тепла и жаворонков на станцию *за барином.* А когда солнце выше поднялось, роса обсохла, ветерок синей рябью вздул мельничный пруд, и чайки ярче заблестели, носясь над камышами,— *барин,* в пыльнике, канотье, высокий, худоватый и прямой, с профилем, просящимся на медаль, подкатил к нашему подъезду. Через полчаса вышел на балкон вымытый, в свеженькой визитке и великолепных белых брюках.

— Вы к нам точно на курорт! — Я засмеялась, подавая ему кофе.— Только пляжа у нас нет, вот горе.

— Не смейтесь надо мной, я ведь деревню знаю и люблю, и много жил в ней.

Никому другому не простил бы мой отец белых штанов, но во всем облике Георгия Александровича такая была цельность и такая аристократическая простота, что трудно было бы иначе и вообразить себе его. Ну, Биарриц, ну, Галкино, ну, римский Форум — везде он будет одинаков и нигде фальшив.

После кофе он курил.

— Конечно, все мы баре, выросшие на изящной и спокойной жизни. Многие на это так и смотрят: иного будто бы и нет. Но это заблуждение, оно может легко и очень горестно для нас рассеяться. Да вот, я привез последние газеты. В Воронежской губернии волнения. Жгут экономии, бьют скот помещичий, идут погромы. И признаться, когда нынче я катил в коляске, то мне приходило в голову: пожалуй, что и здесь придется быть свидетелем... невольным — кое-чего в этом роде.

Отец махнул досадливо.

— Э-э, пустяки. Чего там!

Маркуша встал и зацепил ногою стул.

— Знаешь, все-таки... дядя Коля... что ни говори... такое время... здесь хоть мужики и не особенно настроены... воинственно... но мысль о земле сидит в них крепко.

Отец подпер рукою щеку, затянулся не без безнадежности.

— Все бредни, разговоры, все пустяки.

Я перебила разговор.

— Георгий Александрыч, пока нас не сожгли еще, пойдемте, я вам покажу усадьбу.

— Ты показала бы молочную, конюшню...— отец опять махнул рукой.— Что-нибудь жизненное и полезное. А то пойдут пейзажами любоваться...

— Я не знаю,— говорила я Георгию Александровичу, ведя его вниз, между рядами яблонь, к пруду,— что, сожгут нас

или не сожгут. Да право, как-то даже мало думаю об этом. А сейчас вот просто: солнышко, тепло и весело. Могла бы спеть, потанцевать.

— Вас трудно и вообразить себе хранительницею отцовского добра. Помните, как студент сказал: яблонка цветущая и ветер — ваши покровители?

Оставим на студентовой ответственности эти слова, и прав он или же не прав, но в то утро я действительно была смешлива, весела, как девочка, а не как мать уже порядочного ребенка. Мне нравилось, что и Георгий Александрович смотрел на меня с приветливостью и даже ласковое что-то было в утомленных, несколько немолодых его глазах. Мне нравилось его изящество, спокойствие, столичный облик — это как-то подбодряло, взвинчивало.

Георгий Александрович легко вошел в жизнь нашу — усиливал партию дачников, но и с отцом был хорош. Только над штанами белыми не мог тот не трунить: уж очень все это не подходило к его взглядам.

Все-таки белые штаны были полезны. В них играл Георгий Александрович со мною в теннис — худой, длинный и ловкий.

Мы сражались с ним на теннисной площадке до изнеможения.

— Ну, господин барин, Георгий Александрыч,— говорила я, отирая лоб платочком,— похвалит нас с вами папаша или не похвалит, что вот мы в уборку, в золотое время, пустяками занимаемся?

Золотые волны-свет пробивались кое-где сквозь липы легкими столбами и каскадами, зажигали воздух, без того душисто-душный. Пчелы в высоте гудели — смутной, милой музыкой. Лазурно небо. Покос медвяный, и цветенье лип.

— Жизнь проносится, Наталья Николаевна. Не будем ждать в ней невозможного. Но не откажемся от малых радостей, даримых ею. Игра, пчела, свет солнца и благоухание лугов...

— А дальше?

— Дальше я не знаю. Все от нас закрыто.

— А видите, ведут сына моего. Сын, радость малая или великая?

Он на меня взглянул внимательно, как будто даже с грустью.

— В общем вы не тип матери.

Я засмеялась.

— Кто же я? Артистка? Может быть — гетера?

— Вы просто та, кто есть вы: жизнелюбица. А сын... великая ли радость... Да, великая, но страшная.

Опять заметила я у него в глазах то выражение, как и тогда, на Никитской.

— Ах, Кассандра вы какая...

Взяла ракетку, медленно мы двинулись домой.

Мы пили бесконечные чаи на террасе нашей, увитой хмелем, и в просвете колонн мирно в солнце вечереющем теплели луга, озеро у мельницы, как серебряная инкрустация, и по взгорью дальние березы парка. Помню я хрустальность, тишину и теплоту этого вечера, одного из тех, когда жизнь может показаться сладким бредом, нежною игрой светоблагоуханья. Ничего в нем не случилось — улыбнувшись, он ушел, выведя за собой голубую ночь. Ночь будто бы текла бестрепетно, но для нас не оказалась столь покойной. Довольно поздно, но не знаю именно когда, меня разбудил шум — телега грохотала. В комнате мезонина нашего был странный, неприятно красноватый отблеск. Маркуша одевался. Внизу — голоса.

— Ты знаешь... да ты не волнуйся, ничего особенного.

Я спрыгнула с постели. В окне чернели липы, а над ними и сквозь них, туманно розовая, медленно клубилось, сладко в небе таяло — спокойное, величественное зарево. Гул доносился. Вдалеке шла драма, сюда же долетала лишь смягченная, но и тревожная ее музыка.

— Это, наверно, хуторок... Ты, пожалуйста... Наташа... не волнуйся... я бегу, может, помочь...

Я его не задерживала. Сидела пнем, и только сердце у меня плавно переливалось, как те клубы розовые над липами... «Верно, подожгли Степана Назарыча. Наверно, подожгли».

Зарево разгоралось. Теперь в комнате было светло, неестественно розовым светом. Я слышала, как вышел на балкон отец, ворчал и кашлял, я ощущала и шаги Георгиевского по дорожке, но не сошла вниз. Андрюша спал в своей кроватке. Я села рядом с ним. О, как прозрачны, нежны веки у заснувшего ребенка! Как он бесконечно кажется беспомощным.

На Андрюшу пали пурпурные отблески, и то, что его личика касались отголоски злобы, мщения, было мне неприятно. Я спустила шторы. Усталость и истома на меня напали. Сердце как-то все болело. Не вспомнила я даже и Маркушу, не думала — опасно или неопасно жить сейчас в деревне, будут ли здесь беспорядки — просто ощущала смутное давление. И только улыбнулась раз, но не без нежности: вот бы Георгию Александровичу в белых его брюках, да тушить пожар!

Через час стало светать. Другой свет, радостный и братский, занялся над миром, от него не занавешивала я Андрея. Но заснуть сама уж не могла. Маркуша, возвратившись, рассказал мне, что сгорел действительно Степан Назарыч.

VI

Степан Назарыч, хуторянин, наш сосед, раньше служил в Большой Московской. Подавал пальто, калоши разным именитым людям и считал себя знакомым чуть не со всей Россией. Упрямый, рыжеватый человек с упрямым взглядом. На гроши, собранные чаями, выстроил себе дом, развел хозяйство,— пахал, сеял клевера, насадил сад и глубоко ненавидим был односельчанами за то, что выбился в круг высший — мельников, барышников и огородников. Он уважал отца за барство, за дворянство, иногда ездил к нему: сидел часами, разглагольствовал, выпучивал для убедительности рыже-зеленые свои глаза.

— Господин Георгиевский мне даже оч-чен-на знаком,— он важно подымал веснушчатый свой палец и распирал глаза,— это даже весь-ма тонкий барин.

После пожара заявился к нам, подавленный, но сдержанный.

— Сожгли мерзавцы-с...— он задумался глубокомысленно,— и безо всякого сомнения сожгли. Сволочной народишко, Николай Петрович, даже совершенно сволочной.

Отец дал ему взаймы на обзаведенье, история же с пожаром не особенно ему понравилась. Это он скрывал. И когда заговаривали, досадливо отмахивался.

— Никаких волнений, беспорядков и не может быть. Фантазии.

Я с ним не спорила. По легкомыслию ли, беззаботности,— я мало придавала этому значения. Правда, ночь пожара, красноватый отблеск на Андрее, зарево, набат — все это неприятно, но в те годы мало я задумывалась.

Недели две еще сражались мы в лаун-теннис, ездили по вечерам в коляске — Маркуша за кучера — и встречали по дороге золотые возы со ржаными снопами. В поле, при закатном, светлом солнце, бабы в длинных белых рубахах, в шерстяных перчатках вязали, складывали в крестцы, и с изумленьем подымали лица обожженные на нас, кативших неизвестно для чего, в уборку, по полям.

И когда вечером, в большой нашей зале, с разложенными липкими бумажками для мух, я пела, то мои Чайковские, и Шуманы, и Глинки все витали в четырех тех же стенах, где Маркуша слушал преданно, отец снисходительно, Георгий Александрович задумчиво.

К концу июля он собрался. На прощанье говорил мне:

— Вы зимой должны серьезнее заняться пением. Надо вас кое-кому показать.

Мне было жаль, что он уехал. Мне нравилась его слегка обостренная ласковость, изящество,— это немного подбодряло.

Если бы Маркуша, чистосердечно всхрапывавший на своей постели, знал о смутных, беглых, но и острых получувствах, полумыслях легкомысленной своей жены, то вряд ли это очень бы его порадовало.

Время же шло. Мужики возили рожь, овес, косили и пахали под озимое. Любовь Ивановна мелькала иногда у веялки, во дворе, в красном своем платочке, или же на риге: там к посеву обмолачивали первые снопы. Никто не бунтовал, помещиков не жгли. И в поле, ночью, при огнистом лете августовских звезд, слабом благоухании нив сжатых казалось, как всегда в деревне: нет ни городов, ни людей, ни дел — лишь тишина да вечность. Но надолго остаться здесь...

И когда осенью мы трогались в Москву, то и отца жалела я здесь оставлять, и вновь Москвы хотелось — шумной, острой.

Москва же — это Спиридоновка, где у подъезда встретит нас учтивый Николай, блестя глазами и слегка попахивая водочкой, торжественно потащит вещи.

Всплеснет руками красноносая Марфуша, золотые серьги дрыгнут — хлопнувши себя руками по бокам, помчится вниз — да не забыли ль на извозчике чего, да как Андрюшенька-то вырос, да сейчас сварю, да сжарю, подмету...

И скоро вечер, и знакомый самовар клубит в знакомой маленькой столовой, зеленеет лампа у Маркуши в кабинете, бледно-зеленоватое и золотистое мерцание Москвы вечерней в окнах его мирной комнатки. О, как мне не любить тех легких, светлых лет!

Иду, молчу и подавляю вздох. Сквозь слезы, может быть, и улыбнусь.

И я пою, как раньше, и хожу с тем же «Musique»[1], и очень мало уж теперь боюсь Ольгу Андреевну. Да и она со мною по-иному.

— Наталья, ты как будто... ты недурно стала петь.

Не знаю, то ли я окрепла, голос вырос, но действительно в ту осень мне везло. Я пела как-то у себя на Спиридоновке, на небольшой нашей вечеринке. То, что студенты хлопали, что хвалил Георгий Александрович,— все это ничего. Но почему Нилова на меня кинулась, обняла, и сквозь нечистые зубы гаркнула: «Наташка, ты счастливая родилась!», Костомарова одобрила — солидно и без аффектации? И почему зеленовато-неблагожелательная искра промелькнула в глазах Жени Андреевской?

Через несколько дней я, Маркуша и Георгий Александрович

---

[1] Музыка *(фр.)*.

отправились на вечер в клуб литературный, очень тогда модный. Из мглы годов так ясно вижу предрождественский снежок вечера московского, вкусный воздух, ваньку, везшего трусцой, теплый, ярко-электрический вестибюль,— тепло и свет, нарядную толпу, духи и ощущенье легкости, волнения и опьяненья.

Был перерыв. В проходах толклась публика, со стен глядели знаменитые артисты и писатели. В дальних комнатах игроки шелестели картами, а в зале с бледно-фиолетовыми фресками резались в железную дорогу, за столом зеленым.

Мы в карты не играем, будем слушать прения о символизме, улыбаться декадентам с желтыми цветочками, ощущать праздничное, приодетое племя московское — адвокатов, врачей, актеров, будем мы вдыхать духи актрис. Когда же отбранятся мистики с позитивистами, передвинемся наверх, где в зале ресторанной все утонет в гуле, болтовне, чоканье — легком бреде опьянения.

В этот вечер Георгиевский познакомил меня с двумя старичками из дирекции. Я была приглашена петь в клубе на ближайшем вечере.

Мне и приятно было, что вот пригласили, и какой-то ветер пролетал: э-э, да не все ли равно, что обо мне подумает сморщенный человечек с лисьим и лукаво-добродушным взглядом.

Он со мной чокнулся.

В это время мимо столика нашего проходил темноволосый с проседью, крупный и распаренный человек. Галстук его съехал, борода помята, а глаза тяжелые, красивые.

Он бесцеремонно хлопнул старичка по плечу.

— Нарзаном прохлаждаетесь? Омоложение седин? А-ха-ха-ха... я ищу вас. Дельце.

— Александр Андреич! Дельце-с? Может быть, присядете? Ежели не секретное.

— Какое там секретное...

Он поклонился нам несколько грузно. Мы познакомились. Он поерошил волосы крупной рукой с ярко блеснувшим бриллиантом, повалился на стол грудью, засмеялся.

— Да, с накладочкой у вас игра, с накладочкой... это уж что там.

Старичок заволновался. «Как с накладочкой, играют только члены, выбор строгий...»

Александр Андреич свистнул.

— Зальцфиша знаете? Ну, из манжеты раз — восьмерка, два — пятерка, что понадобится. Впрочем,— он взглянул вдруг на меня,— для дам это неинтересно.

И взор его вдруг стал каким-то полным, ласковым и сильным.

Когда он отошел, я спросила у старичка, кто это.

Тот удивился. Видимо, из всей Москвы одна я и не знала лишь его — известного художника и декоратора.

— Но картежник-с, преотчаянный. И вообще беспокойный... Ах путаный, ах беспокойный какой.

— Человек большого дарования,— заметил Георгий Александрович,— но и великой распущенности. Он на дурной дороге.

«Ну и пусть на дурной,— думала я позже, возвращаясь домой в санках, рядышком с Маркушей.— Мне какое дело?»

Была я весела, даже веселее обычного. Дома все мне показалось милым и уютным. Даже с нежностью поцеловала я Маркушу. «Ах, рыцари мои, ах рыцари!» Я улыбалась, раздеваясь — представляла себе, как Георгий Александрович равнодушно, приподнявши воротник пальто, плывет на извозце к своим пенатам — бюсту Юпитера Отриколийского, папкам Вермеера, монетам древнего царства Боспорского.

«А тот? А знаменитый художник?» Я не выдержала, повалилась на постель. «Режется в железку? *Прожигает жизнь* в литературном клубе?» На меня из темноты взглянули вновь его блестящие, мужские и порочные глаза, я с наслаждением вытянулась на своей кровати,— что ж, я молода, может быть, не плоха. Пусть смотрит.

VII

За неделю до моего вечера заболел Андрей. Сначала просто перхал и чихал, потом раскашлялся, жар. И накануне — все кашляет, доктор сказал — бронхит, но сильный, с наклонностью к воспалению легких. Что тут делать? Смазывали мы его, растирали, и глотал он даже, бедненький, микстуру — температура же все прежняя. Если в легких что-нибудь, так очень плохо.

Я волнуюсь, разумеется. Маркуше не до электронов. Все сидит у него в детской. Мне же — не ждать. Андрей в жару, а у меня концерт. Колебалась ли я тут? Нет, прямо скажу. Да и Маркуше в голову не приходило дома меня оставлять, силою мужа, властию мужа. Где там! Я ведь артистка, барыня, певица. Маркуша даже был смущен — как я одна поеду — но и тут напрасно беспокоился: Георгий Александрович заехал вовремя.

Я была в белом бальном платье, легка, возбуждена, почти пьяна: волнением за Андрея, молодостью, смутным ощущением значительности дня. Поцеловала, покрестила мальчика.

— Ну, ты не простудись, Наташенька... знаешь, после концерта... Георгий Александрыч, я уж на вас...

Мне нечего скрывать, как только заперла Марфуша за мной дверь и Николай подсадил в санки с рысаком, дрожавшим под голубой сеткою, я забыла и Маркушу, и Андрея, я летела, ветер в ушах пел, снежной пылью резало лицо,— синяя ночь московская крыла меня, мои меха, нитку жемчужную на шее; и большие звезды, раскаленные морозом, пробегали надо мной,— цеплялись за деревья, за углы домов.

Ах, острота зимы, свет и волненье в сердце, визг саней, и спазма в горле...

Вечер начался уже, когда Георгий Александрович ввел меня из вестибюля в небольшую артистическую. Пианист, бритый, худой, с оттопыренными губами, отхлебывал чай из чашечки. С ним полная дама в декольте. Козлобородый поэт в сюртучке, не первой молодости, прохаживался вдоль коньяка, поглаживал в петлицу розу. Актеры, певцы, дамы. Цветы, хрусталь. Казалось мне особенным сегодня все — будто в свету. Люди известные, и с именами, я одна — неведомая ученица Ольги Андреевны. Но я не стеснялась. Значит, есть у человека, в некие минуты, гении за плечами, проносящие его беззвучно, легким летом.

Помню, я пила чай и болтала, точно у себя дома. Раза два мелькнул в мозгу Маркуша, и Андрюшино личико раскрасневшееся, но я остановиться не могла, как не могла нынешним вечером не петь. Не могла — и все тут.

Исполнители всходили лесенкой наверх, где сцена. Смутно доносились к нам аплодисменты, и оттуда же спускались отработавшие — в возбуждении, блестя глазами, поправляя платья, галстуки. Тем же путем и мы взошли с Георгиевским, сели в кулисах. Декорации, рояль; направо — зала, блеском, светом и людьми кипящая. Мне даже показалось, что оттуда бьет свет нестерпимый, что меня он всю пронизывает, я в нем трепещу.

Георгий Александрович улыбался.

— Какая вы сегодня...

— Ну?

Я взглянула на него, прямо в глаза. Он глаз не опустил, но чуть-чуть изменился. Взял за руку, слегка пожал.

Скрипач выполнил бис, ему похлопали, прошла минута, и я вышла с аккомпаниаторшей к роялю.

Свет меня полоснул, тот самый, что я видела из-за кулис. Я полегчала. Никого в зале не могла перед собою разобрать. Свет, блеск и молодость — мое, и Глинка — мой, и как услышала звуки аккомпанемента, то ощутила — я сейчас уйду от них, совсем не буду чуять ног и тела.

«Уймитесь вол-лнеиия страсти...» Голос мой шел ровно и

легко. В зале утихли, раза два цыкнули на входивших, а затем и вовсе замолкли. Мне приятно было петь. Я отошла от себя, и кто-то твердо вел меня воздушною дорогой через молчавший зал. Я сознавала все, но не могла не истекать свободной песней. Слушала ее будто со стороны. Мне было жалко кончить, я могла петь сколько угодно. Но с тою же неотвратимостью, как взял — и отпустил меня мой милый дух. Я смолкла. Поклонилась чуть-чуть публике, и двинулась. Сначала — тишина, потом вдруг прорвалось и затрещало, треск переливался, рос и опадал.

Я отошла в кулисы, где Георгий Александрович, побледневший, вновь поцеловал мне руку, но теперь иначе.

— Выходите, выходите...

Я бессмысленно улыбалась. Сбоку вновь шепнули — выходите, и я вышла, кланялась, теперь кричали бис, опять я пела, опять странствовала со своим водителем, опять был шум, и я раскланивалась.

Отделенный от меня рампою, высокий черный человек в сюртуке, с раскрасневшимся лицом, взлохмаченною головой, колотил крупными ладошами, иногда махал платочком, орал «браво». Я смутилась — в первый раз за этот вечер, и безвольно поклонилась. «Ах, какой большой и какой шумный». Александр Андреич, разумеется. «Вот какой... упорный». Что-то ласковое, бурное пронеслось во мне. Но некогда было. Да, успех, успех! Крылья победы, вы несли меня в тот вечер безудержно, ваше опьянение я помню — не забыть его.

Георгий Александрович взял меня под руку, сводя вниз винтовой лесенкой, в углу остановился.

— Все нынче вам... к вашим ногам.

Внизу мне поднесли цветы и поздравляли. Я сидела за столом, отхлебывала чай с печеньем, и все лица предо мной кружились, появлялись, исчезали, все в волшебном том тумане, из которого я только что сюда спустилась.

— Ах, вот она, певица наша, вот где... Рад и счастлив. Ручку!

Предо мной был Александр Андреич, все такой же черный и громадный, как и там, у рампы, и с такими же взлохмаченными, но уж редкими, с сединой волосами.

— Вот она, соловушка...

И, не спросясь, хочу я, не хочу, сел рядом, полуобнял спинку стула моего и, грузно, тяжело склонившись, стал болтать. Глаза блестели, и теплом и мощью от него светило. «Да, но ведь мы едва знакомы»,— мне стало вдруг немножко жутко. Я его второй раз вижу, а уж он сидит как свой, целует руку, я ему *«соловушка»,* и главное — не только не сопротивляюсь я, но

мне весело, ужасно как удобно и приятно, просто с ним — пусть он и выпил, и глаза слегка уж красные.

— Георгий Александрыч, милый, позвоните нашим, чтó там, дома...

Георгий Александрович встал и вышел.

— А? Что? Домашние заботы? Мать, жена... Мальчишка кашляет? Ипекакуана для него в аптеке и касторки.

Да, я почему-то хохотала, а Андрюша правда ведь был болен, и сама же я могла теперь домой уехать, но не уезжала, даже к телефону не пошла. И когда Георгий Александрович вернулся, мы сидели наверху, в ресторане — ужинали.

Ничего дома не случилось, все благополучно, и Андрей заснул. Со мною чокались актеры, дамы, притащился старичок из дирекции — благодарил.

Мне было весело. Дом, и Маркуша, и Андрей — все это существует, ладно, и все мило, но ведь это *там*, а здесь шум, блеск, веселье, поклонение, может быть — и слава.

После ужина Александр Андреич потащил меня играть. Он сразу изменился.

— Милая, на ваше счастье... Ну-ка, вы помочь должны... голубушка, певица, светлая моя барыня, грубому человеку и так называемому художнику... А-а, я люблю выигрывать и спускать потом люблю.

Глаза его блестели, и болезненное в них зажглось.

— Неприятен чистому существу? Но такой уж есть, хотите — принимайте, а хотите — по шеям ему, все примет... пьяница, картежник, самоед... сам себя пожирает.

Я не очень его тогда понимала. Сумбурным от него веяло, и как мало походил он на Маркушу, на Георгиевского, тоже с нами в зал последовавшего.

Игроки, дамы в бриллиантах, зеленое сукно стола, ящик для карт, табачный дым, фрески бледно-фиолетовые на стенах, и недоеденные ужины, кучи бумажек разноцветных — все мелькнуло и уносится из памяти моей, как и то время — туманное и острое для меня время.

Я помню — было поздно, и мы выходили с Александром Андреичем, на нем была шуба нараспашку с бобровым воротником, на голове шапка бобровая, и мы летели в санках к Яру, и опять звезды морозные неслись над нами, но Георгия Александровича уж не было, и когда лихач гнал за Триумфальной аркой, Александр Андреич обнимал меня рукой за талию, крепко держал и шептал, что я сегодня публике за то понравилась, что просто я такая — вовсе даже не за пение, и что все это необычайно и прекрасно. Я ничего почти не понимала, жуткое и сладкое пронизало мне душу.

VIII

Первый раз была я в мастерской Александра Андреича январским, солнечным, но не морозным утром. Оттепель! Блестела лужа на углу Староконюшенного, туманно-голубеющий свет над Москвой, и так легко, так остро дышится. Пожалуй, что ушла зима, всегда будет тепло, светло, и никогда ноги не устанут, грудь дышать не притомится.

Он занимал отдельный дом в саду, рядом с особняком. Деревья, тонкие акации шпалеркой, сетка тени на снегу ослабшем, и капéль с крыльца — и дверь на блоке, а над ней скульптура, голова Минервы в шлеме. Выше, как в оранжерее, вся стена стеклянная, и когда войдешь, сразу светло, пахнет и красками, и глиной — Александр Андреич и лепил — куски холста, торсы и ноги, кресло вращающееся, и в переднике, измазанный, всклокоченный — хозяин.

— Ага, видение весеннее, прелестно, а-а... прелестно.

Целует руку, я снимаю шубку и осматриваюсь, мне все ново здесь, все интересно, свет волной бьет сквозь оттаявшие окна, и по лесенке мы подымаемся наверх — там антресоль, логово его за портьерой: диван и стол, клубится самовар, конфеты, фрукты и вино. Видимо, меня ждали.

Мне нравилось здесь, очень все понравилось в тот солнечный и светлый день. Мне даже чересчур нравилось.

— Вот тут я живу... что называется, творю, то есть малюю и леплю, расчерчиваю свои макеты, и тащу — в театр, на выставку... деньгу гоню, в карты луплю, выигрываю и спускаю... и считаюсь я художником известным. Да, но вы думаете, меня не ругают?

Он схватил газету, хлопнул по ней.

— Меня считают опустившимся, я, видите ли, трачу дарование свое, меняю на бумажки, становлюсь ремесленником... Да, ну ремесленник, и не скрываю, и заказы исполняю, есть и подмастерья... будто и у Рубенса их не было?

Глаза его блеснули, весь он исказился и стал злым, даже и побледнел. Мне тоже почему-то это нравилось.

Он же вновь спохватился.

— А-а, к черту... гостья дорогая, а я вздор. Ругают, и ругают. Вздор. Если пришли, то значит, весело, то значит, хорошо, ершиться нечего.

И от того, утреннего посещения мастерской, солнца, света, красок и макетов — у меня осталось легкое и ясное воспоминанье. Мы пили чай с конфетами. Он развеселился, хохотал. У меня не было чувства, что я делаю плохое. Думаю, и он не

считал — впрочем, он и вообще не рассуждал, в этом мы похожи были: оба жили, как нам нравилось. Он распространял себя в этом светлеющем к весне мире, вряд ли способен был пропустить что-либо.

Я же выезжала, пела, успевала — меня тоже вела моя звезда. Да, он вывез меня в свет. Очень изменилась моя жизнь с вечера в клубе — пришел успех. Слава — я не скажу. Голос мой не из крупных. Тембр приятен, знаю. Я могу спеть романс; вкус есть, допустим; и выразительность, тонкость деталей — шарм некоторый. Публике я нравилась. Меня приглашали на концерты, и газеты одобряли. Новые знакомства появились. Все более теряла я оседлость, дом мой делался гостиницей.

Маркуша не противоречил. Я была свободна.

И свободой пользовалась. Александра же Андреича все чаще видела.

— И еще чаще желаю, чтобы приходили... чтобы постоянно в этой комнате... вы хорошо на сердце действуете, я спокойней с вами. Черт побери, в вас легкость, ну... психический озон... а-ха-ха...— он радовался, что нашел слово.— Озон, озон! А то мне — скучно. Вы молоды, жизнь не приелась вам еще, как мне, вы без озона, сами собой живы. Я тоже был...

Ах, вы послушайте, я ведь не лыком шит. Мне кое-что дано? Дано, дано, ну, а растрачено... Фу-фу, растрачено... И все поднадоело. Идиоты пишут, что я кончился, художником. Им все позволено, но ведь и я... ну не могу же я не понимать, что я не тот — уходят силы-то? А? Любовь? Мы очень резко трепетать на мир должны, коли живем, а если не трепещем, значит, к черту, к черту...

Он рассердился, бросил вниз, на пол, глиняную статуэтку.

— Видите, месяц выглянул? Вон-с, над тополевой веткой? Ну, и ладно, я любить мир должен так же остро, как заблагоухает через месяц ветка распустившаяся, но для этого мне нужно чистым, полным, напряженным быть... молодым... Ах, черт бы ее побрал, молодость! Но когда все плоско, не воспринимаешь... Ну, тогда в клуб бегу, в карты режусь, пью коньяк. Коньяк — хорошо. Не для таких... как ваш муж, а для нашего брата.

— Вы потише насчет мужа-то. Поосторожнее.

— Ах, виноват! Семья, и жизнь семейная, жена добропорядочная... А если б вы со мною были, может быть, я бы вас бил. Знаете, я ведь бил женщин близких... И ничего...

Месяц бледно и легко приподымался над моей Москвой, ложился золотым узором в мастерской, а самовар клубил по антресоли.

— Если бы я муж ваш был, я бы убил и вас, и того, к

кому вы ходите... Нет, я б не потерпел. Моя! — и все тут. Я мужчина. Нет, не потерплю.

Я не обедала в этот день дома. По тонкому весеннему ледку, при темно-синем небе и улыбке месяца прошли мы с Александром Андреичем до «Праги», там поужинали, отправились в наш клуб, играть. Мы часто там бывали. Теперь я понимала, что такое *жир,* умела банк метать, следила за мадам Бодэ, дамой толстенною, в бриллиантах, с краснопудреным лицом, в наколке на лысевшей голове. Я же играла равнодушно. Мне нравилось быть с Александром Андреичем, нравился туман игры, все притуплявший, нас переводивший в число призраков, шелестевших картами своими, выигрышами, проигрышами. Пустынен мир — как он подходит для опасной и колеблемой дороги, на которую уже вступила я!

Значит, играем. Значит, как и всегда — мне счастье, я выигрываю, Александр Андреич же спускает, злится. Вновь взъерошен, бледен, галстух съехал.

Мы выходим. Со стен взирают на нас фрески, дым синеет, утро занимается. И лихач сонный довезет меня на Спиридоновку, сонный Николай, в халате, почтительно отопрет дверь, я поднимусь наверх, опять звоню, не постыжусь взбудить Марфушу — заспанная, потрясая серьгами в ушах, она отворит мне в передней, я же весела, возбуждена, сбрасываю манто, иду на цыпочках, чтобы не разбудить Маркела. Наверно, с вечера он занимался, а теперь спит крепко. Конечно, я не много думала тогда о нем, собою больше занята была, все ж не могла не видеть — он менялся. Рассеянность в нем появилась, замкнутость. Работал слишком много. Со мной особенная вежливость, точно я посторонняя.

К моему пению охладел заметно. Сидел, слушал как будто и внимательно, любезно одобрял. Но видно было — что и это безразлично. На выступления мои совсем не выезжал — и странное еще нашел себе занятие — тоже отгораживался: шахматы. Это несколько меня сердило. В фигурках на расчерченной доске, в их непонятных для меня перемещеньях видела я для себя враждебное. Он сидел над ними в одиночестве, у своего стола, под светом лампы, и, заглядывая в книгу, где стояли некие иероглифы, временами двигал ту, переставлял другую. Ясно,— это его крепость, и уединение.

Раз я воротилась что-то слишком поздно — думаю, в шестом. Был уж апрель — светало чистым, теплым днем. Я прошла в свою комнату. Все на своих местах — у стенки пианино, ноты, письменный столик с фотографией Андрюши, и фиалки в чашке. Штора спущена, кровать открыта. Мирное, покойное, обычное.

Все — теплое и дружное. Куда же это я? Почему зеленый стол, лихачи? Рядом спит мальчик, дверь в комнату Маркуши приотворена, а я только что заявляюсь, в духах, на мне отзвук нечистой ночи кабацкой. Как дико все! И как нелепо! Подошла, шторы раздвинула, отворила окно. За Страстным солнце вставало, в веере облачков златоперистых. Прохладой, тишиной, нежностью потянуло. Воробьи оживились. Дворник мел улицу. Пахло прелестным чем-то, вдалеке пролетка зашумела. Я легла на подоконник — и заплакала. Так лежала, и мне нравилось, что никого нет, я одна. Солнце подымалось, стало пригревать мне голову. Я вздохнула, отерла платочком слезы, двинулась к постели.

В приотворенную дверь я увидала — столь знакомый! — красный бархатный диван турецкий, там обычно спал Маркуша. А теперь сидел, в ночной сорочке, в одеяле, подперев руками голову. Меня резнуло что-то. Я вошла. Тут тоже было полусумрачно от штор, стояли книги и лежал медведь, на столе шахматы — в незаконченном бою.

Маркуша поднял голову. Я приостановилась.

— Ты что... не спишь?

— Нет.

Он помолчал, взял папироску, закурил. Только сейчас заметила я, как он возмужал, и бородой оброс, бледней стал. Он выглядел совсем уж зрелым.

— Какой у тебя странный взгляд...

— Да? Разве? — Он как будто поперхнулся.— Я слышал... ты там... ты там плакала.

— А ты чего не спишь?

Я вдруг как будто рассердилась. Мне неприятно было, что он видел мои слезы.

Он усмехнулся.

— Я не сплю, ты плачешь...

— Ах, это все пустое. Вот мы с тобой бабы...

Он взволновался.

— Нет, видишь ли, не пустое... это, разумеется, не зря... Если не сплю... а ты вот плачешь... неизвестно отчего, то это не... не то... Да, в сущности, я понимаю. Дело очень просто. Ты... я... ну, одним словом... ты меня... я, конечно, вовсе для тебя... И очень ясно...

Голос у него прервался, и он побелел еще. Стал зажигать новую папиросу — не с того конца. Мне сразу сделалось смешно, внезапно ощутила я в себе силу и свежесть, само тело мое показалось легким, как тогда, на эстраде,— и я бросилась к Маркуше.

— Фу, какой чудак, ну слушай, ну Маркушка, ты совсем чудной...

Я его целовала и ласкала в неожиданном подъеме. Он смутился. Недоверчивость и робость были в его взгляде. Все-таки он потеплел.

— Позволь, ну как же так... ну почему... Но ты должна же знать...

Ах, я отлично знала все, и отлично понимала, я не знаю только и теперь, была ли тогда искренна *вполне*, или на меня нашло что-то, *накатило*. Бог разберет. И быть может, в мои вины впишет Он и это утро, когда я прельщала призрачным прельщеньем бедного Маркушу, верного и чистого моего друга: может быть, все может быть. Но тогда я не могла иначе чувствовать, и утешала, успокаивала его с нежностью, меня же самое вводившей в изумление.

IX

Не знаю, успокоила ли я Маркушу. Во всяком случае, он стал повеселей. А про себя я даже не могу сказать, была тогда я весела, грустна — это не те слова. Выдавались минуты — впадала в восторг. А потом вдруг тоска. Мне мерещилось тогда, что все мы: я, Андрей, Маркуша — обреченные.

Я выезжала, как и прежде, и бывала у Александра Андреича. С Маркушей об этом не заговаривала, если же он начинал, то я смеялась, целовала его, была ласкова.

Когда подошло время уезжать в деревню, вдруг решила: ну, пока не еду. Надо еще здесь побыть. С Маркушей рассуждала ясно. Доказала, что в деревне мне сейчас решительно нет дела, что Андрюша уж порядочный, здесь же, до конца сезона, раза два предстоит петь. Маркуша, разумеется, не возражал.

Я ласково везла Андрюшу на вокзал, дразнила и смешила в купе поезда стоявшего, и так же ласково, предательски покинула, в последнюю минуту — улизнула за спиною няньки. Помню, отошел их поезд в светлую голубизну мая, я платочком помахала высунувшемуся Маркуше, медленно, но и легко прошла перроном к выходу — меж мужиков и баб, кондукторов, носильщиков, в огромной своей шляпе, белом платье, поколыхивая зонтиком нарядным,— я шла, как существо иного мира, и я это знала, мне приятно было, что на меня смотрят с завистью, мужчины — с благосклонностью. Мне нравилось всем нравиться, вызывать удивление, недоумение, любовь.

Села на лихача, покатила Замоскворечьем с нежной зеленью садов, длинными заборами, скучными особняками, красными

громадами церквей барочистых. Мягко шины прыгали. Я развалилась, заложивши ногу за ногу, вдыхала смесь нежно-благоуханного с запахом бакалеи и лабаза. Кричали пестро трактирчики вывесками красно-синими и желтыми. Промелькнула решетка чугунная у шестой гимназии, над зеленью проплыла стая золотых, на лазури вечерней горевших куполов Кадашей, и по Каменному мосту мой извозчик ехал шагом. Вечные рыболовы в мелкой, мутной, быстро текучей Москвá-реке! И купальни, дети, бабы, голыши на откосах — направо же Кремль, туманно-златоглавый, в легенькой кисее пыли, с башнями зубастыми и плосколицыми дворцами.

Я ощущала себя в этот день очень взволнованно. Никого видеть не хотела, и была одна.

И несколько дней сидела дома, пела, в одиночестве слонялась по бульварам.

В один из вечеров села в трамвай, доехала на Земляной вал, к Георгию Александровичу.

Я поднялась прямою лестницей во второй этаж. В лучах заката, пышными и нежными кудрями разметавшимися, взглянул на меня бюст Юпитера Отриколийского. Теми же слепыми и покойными глазами смотрит он на утро, ночь, и Вечной Ночи не боится. Да, мне с ним удобно, мне легко. Я отщипнула листок с мирта, что стоял у постамента, прошла в кабинет зеленоватый, выходивший в сад.

Золотистый свет, с зеленоватым отблеском листвы, наполнял комнату. Над папкою разложенной Георгий Александрович, в пижаме. Увидев меня, встал, поцеловал руку. В спокойствии движений и в изяществе — такое ж как бы продолжение Юпитера. В папке гравюры: Терборх и Вермеер. Я наклонилась.

— Ах искусство, все искусство...

Он их сложил.

Почему мне быть против искусства? Да, но сейчас, сегодня, вряд ли взволновал бы меня Терборх.

Мы через балкончик сошли в сад.

— Дубы, липы... Вам бы нужен сад со статуями... под лаврами, и миртами, и олеандрами.

Он кивнул. Мы сели. Здесь было прохладно, влажно, сумеречно. По верхам деревьев протекало еще, нежным золотом, прощание солнца.

— Я скоро все увижу это: мирты, и оливы, кипарисы...

— Вот как!

Он взглянул — прямо в глаза мне.

— Уезжаю в Рим.

Я разметала веточкой букашек красно-черных на углу скамейки.

— И надолго?

— Да. Может быть, это нелепо все... Но был бы очень рад, если бы вы, от полноты жизни вашей, от избытка... вспомнили бы обо мне и написали... ну, хоть несколько-то строк.

— А если бы вы не поехали совсем?

— Нет, я поеду.

Я вскипела.

— А вдруг я пожелаю, чтобы вы остались и не уезжали вовсе в этот Рим?

Он на меня смотрел — долго и внимательно.

— Зачем я вам?

— Ну, просто, я бы пожелала, чтоб вы были тут? Представьте, мне приятней это было б.

Георгий Александрович слегка задохнулся.

— Теперь... нет, все-таки уехал бы. Я буду рад, если увижу ваши письма, но уж здесь... «добрым другом»... нет.

Я вдруг почувствовала, что краснею. Встала, быстро обняла его, поцеловала в лоб.

— Ну, уезжайте.

Я взволновалась, вдруг я вспомнила Маркушу и Андрея, как они далеко, скоро — далекó будет и этот седоватый человек с профилем медали древней, пусть, я остаюсь одна в Москве весенней, пьяной, нежной, жгучей.

Я недолго посидела у него. Был вечер, я пешком шла под звездами, по пустынным улицам Москвы. Да, окончательный полет! Некому поддержать, остановить меня.

И я, конечно, оказалась в клубе. Игроки приветствовали, удивлялись, почему я долго не была. А в час явился Александр Андреич. Играли до рассвета, он проводил меня домой,— вставало солнце розовое, май налетал в златистых облачках, в курлыкании голубей на Страстной площади, в нежной голубизне далей к Триумфальной арке.

В те дни я позабыла все. Были ли у меня муж, сын, отец? Не знаю. Раза два я выступала на концертах. Но интересно было только то, что связано с огромной мастерской, полной света весеннего, запаха красок, куда залетал солнечный теплый ветер, колебал портьеру, доносил дребезжание пролеток с Арбата. Александр Андреич размалевывал свои макеты, ерошил волосы, сердился, волновался, ждал меня. Когда я ощущала крепкое и грубоватое его пожатие — у меня немели ноги.

Проходило время. Маркуша мне писал, но я не отвечала. Май уже кончался. Надо было ехать,— я не собиралась. Алек-

сандр Андреич кончал эскизы декораций к осени, месяц хотел прожить на даче у Москвá-реки под Архангельским, требовал, чтобы и я там поселилась. Собирался он в Париж — подготовлять выставку.

Я ездила три дня в неделю под Архангельское, где Нилова сняла комнату у священника, в деревне, в двух верстах от его дачи.

Я жила будто у подруги, но, понятно, больше у него бывала. Впрочем, и он тоже приходил к нам, мы сидели втроем в садике поповском, с честными яблонками, распивали чаи, Нилова хохотала, показывая зубы нечищеные, убегала к себе, сотрясала окрестность гаммами.

— Наташка, а ты чувствуешь, как у меня *do* получается? Ты понимаешь?

Проходил благообразный батюшка, в белом подряснике, к своим пчелам. Солнце пекло. Москвá-река, с отмелями, куличками, разомлела от жары, мальчишки табунками голенькими проносились по песку. Брели дачницы — в мохнатых полотенцах. Тоже ложились на песке, на солнце, нежили тело нежное.

Зной, томление и сладострастие. А на той стороне, в дымке голубоватой — белеет Архангельское. Синева неба, белые облака, запах покоса и июня, кудахтанье кур в простенькой бревенчатой деревне.

И я помню, мы валялись так же с Ниловой на берегу, у лозняка, песок нежно, жадно жег тело — очень белое у меня, коричневатое — у Ниловой. Нилова беспрестанно хохотала и вертелась.

— Эх, Наташка, где же теперь твой Маркуша?

Я не думала об этом — как-то не хотелось думать.

Я слонялась среди ржей, полей, ходила в гости кое к кому из знакомых, оказавшихся поблизости, чаще же всего на дачу, к Александру Андреичу. Его дача в лесу стояла, на взгорье, и подальше от Москвá-реки. С балкона видно было Архангельское, а внизу речка протекала, среди ольхи, лозняка, темная лесная речка. Он туда ходил купаться. Возвращался мокрый и взъерошенный, прохладный, полотенце на голову накидывал. Я устраивалась на лонгшезе. Сверху было видно, как он всходит по тропинке, пыхтит, бороду расправляет, что-то про себя бормочет. Он тогда походил на морского зверя, может быть, Тритон наш русский, но лукавый, беспокойный и недобрый... «Ну, наверное, врагов своих громит и славу завоевывает...» Я его отлично видела и понимала. Знала, как злословит о товарищах, завидует успеху, жаждет денег. Да. Но не это важно.

От него шел влажный, свежий запах, я бледнела все сильнее,

глаза мои смежались, у меня такое же было чувство, будто я лежу на огненном песке Москвá-реки. Вдыхала сосны, свет ласкал мне ноги; подымая веки — видела вблизи томящие глаза, черную бороду, вихры на голове — а вдалеке синеву леса, белую голубизну Архангельского.

Одиннадцатого июня, в честь хороших вестей из Парижа, он устроил вечеринку. На террасе много пили, веселый доктор Блюм, с бобровой шевелюрой, бархатно-ласковый, спорил с профессором лысоватым, барышни хохотали, мы с Ниловой попеременно пели, друг другу аккомпанируя. Александр Андреич тоже был в ударе — пил и хохотал, по временам что-то свирепо-ласковое проносилось в его взоре.

В первом часу ночи стали расходиться. Было еще сумеречно, на востоке уже чуть побледнело. Звезд на сине-шелковом небе немного, хвоей сладко, пьяно пахло. А когда спустились к речке, черными драконами стояли ольхи, и туман чуть забелел — прохладней стало.

Александр Андреич провожал нас с Ниловой домой. Мы шли цветущей рожью. Влажные, в росе, колосья задевали нас, лаская; ноги у меня в росе, промокли, шла я молчаливо, но все так во мне напряжено, что, если б и хотела, вряд ли я могла сказать что-либо.

Я не могла войти и в комнатку к себе — мне не хотелось спать. Простившись с Ниловой, мы снова вышли. Александр Андреич взял меня под ручку, мы куда-то шли, но сознавали ль, думали ль о чем — не знаю. Помню я какую-то копенку, запах сена, звезды, полоумие...

Утром я не возвратилась к Ниловой. С рассветом мы прошли к нему на дачу, я провела там день, и еще ночь,— а наутро мы уехали в Москву.

X

По лестнице, на Спиридоновке, я взбежала проворно,— только в глазах рябило, плыли водяные точки. Марфушу тоже легко успокоила, хоть и взглянула она на меня странно. Я вошла в кабинет. Все на местах — письменный стол, книги, красный диван, над ним зеркало, медведь перед диваном. Лишь подойдя к зеркалу и себя увидев, ощутила я в спине легкий холодок, ослабла и присела на диван. За эти дни впервые я заметила свое лицо — меня в нем поразило какое-то блуждание, текучесть. Видимо, я похудела, но огонь нервный трепетал в глазах, все влек куда-то. Я не могла и на диване усидеть, встала, закурила, зашагала из угла в угол. Зеркало приняло высокую, легко-ху-

дощавую женщину со светлыми, беспорядочными волосами, забредшую случайно в чужой дом.

Да, этот дом не мой, не мой диван, где я дремала вечерами, а Маркуша занимался при зеленой лампе. Паркет поскрипывает по-чужому. Я отворила дверь и к себе в комнату — все мне показалось в запустении. Вечность не была здесь, и следа уж не осталось от меня. Дальше — беленькая комната. Зеркальный шкаф, светлые обои, иконы над кроваткою Андрея — и забытый медвежонок. Медвежонка этого я не могла вынести. Слезы путались с моими поцелуями. Потом я подошла к окну. Взглянула вниз.

«Ах, слабость, слабость!» Я вздохнула, заперла окно и положила мишку в шкаф зеркальный. И опять прошла в Маркушин кабинет. Я уже собой владела. «Ну, чего там. Что случилось, то случилось». Села к письменному столу, надо написать Маркуше ясно, просто. А там видно будет. Откинула бювар, в передней позвонили. Марфуша пролетела, я услышала знакомый голос, и через минуту в кабинете был Маркуша. Я взглянула на него, но встать, обнять, поцеловать не смогла.

— Ах, вот ты здесь... это хорошо... а я уж думал, знаешь, ты... пропала.

Он не снимал еще дорожного пальто. В деревне пооброс и загорел. Он двинулся было ко мне, остановился.

— Наташа... я писал ведь столько... ты не отвечала... я уж Бог знает... да, ведь я Бог знает что подумал... ну, ты заболела, умерла, что ли...

Если я впадала иногда в сентиментальность, то, конечно, уж не в те минуты. Я смотрела прямо, твердо и, должно быть, мертво. И Маркуша побледнел.

— По... почему же? Что... случилось?

Я молчала. Было ли мне стыдно? И могла ль я сожалеть о происшедшем? Поздно было уж об этом разговаривать. Маркуша сел. Взял со стола бечевку, туго намотал ее на палец — палец наливался кровью. Он разматывал, мучил соседний. Потом встал, посмотрел мутными, тяжелыми глазами, губы дрогнули,— резко двинулся, махнул рукою и опрокинул стул. Вышел, повалился на постель, как был, в пальто. Я подошла. Он лежал ничком. Я поцеловала его в тот затылок, жалобный сейчас, нелепый, что когда-то я ласкала нежно. Провела рукой по волосам. Я видела, как приподымались плечи в пыльном пальто дорожном.

Я встала и ушла из комнаты, из своей квартиры, где любила, была счастлива и зачала Андрея.

Я уехала к Ниловой, на Москвá-реку. Мне не хотелось видеться с Маркушей, объясняться — я же знала, это бесполезно.

Об одном старалась лишь не думать — об Андрее... С Маркушей же, действительно, не увидалась, написала ему кратко, недвусмысленно.

А в разгаре лета мы уехали в Париж.

Александр Андреич, со всегдашней своей сметливостью, нашел отличную квартирку, в пятом этаже, в Пасси. К нам вела узкая лестница, витая и светлая, а из окон вид на Сену, на Медон, за нею зеленеющий вид, поивший светом, воздухом, милою голубизной наше обиталище. Иногда я подолгу сидела у себя на подоконнике. Светло-сиреневые, голубеющие тени, пестро-теплый свет бродили по Парижу, охлаждая, зажигая. Сухой, изящный, крепкий, он лежал у моих ног, бодрый и кипучий. Здесь следовало бы мне работать, петь, свободной быть. Но как раз этого не получалось. Выступать я не могла — кто в гигантском этом городе знает меня? Даже дома, стоило мне дольше упражняться, уж стучали снизу: благонравные французы плохо выносили звуки. На свободу же мою посягал Александр Андреич. Он решил теперь, что он хозяин. И хотя сам бегал днями и неделями по делам выставки, за мною следил зорко. В сущности — из-за чего? Я была теперь в его русле, изменять не собиралась, и вела себя совсем покойно. Но уж менее всего покоен был он сам.

И от Парижа, нашей жизни в нем, пестрая осталась память. Во всяком случае, мы жили непокойно, как бурно-непокойно лето Парижа, то жара, то ливни, грозы, и то все блестит, то мокнет, под потоками. Сначала мы шикарили, обедали на Больших бульварах, по ночам шлялись в кабаре, днем я разъезжала по портнихам — Александр Андреич находился в восходящей ярости успеха, ожидал невесть чего от выставки. Я была холодней. Мне казалось, что художников здесь слишком много, нашуметь не так легко. И вышло — я права.

Выставка успеха не имела. О ней почти и не писали. Публики ходило мало, Александр Андреич получил гроши. Он впал во мрак. Иногда крайнее раздражение находило. Он не удерживал теперь уж меня дома, убегал куда-то сам, по кабачкам, и напивался. Деньги плыли, чтó же, собственно, нам делать? Впрочем, я вообще не думала, мне думать не хотелось. Просто я жила собой, своей любовью, молодостью и здоровьем — и чтó странно: даже тем не тяготилась, что не пела.

Нет, я не была помощницей Александру Андреичу. Он рыскал за заказами (в Москву решил не возвращаться, покуда не добьется своего), а я одна бродила, Парижем осенним, в теплоте и золоте, потом мокрым зимним, наконец, весенним, светло-голубоватым и к вечеру розово-дымным.

Уезжала иногда и за город. Мне нравилось слезть на маленькой станции, уйти в поля, сесть где-нибудь под изгородью — слушать жаворонков, греться в солнце и глядеть, как в свете лоснятся зеленя. Вокруг разбросаны лесочки, фермы, но просторы голубые широки, земледелец здесь царит, как будто бы у нас, в России.

Раз я лежала на спине, глядела в облака, почувствовала вдруг, что я плыву, тем же путем, как и мы ехали — с высоты неба мне видны — Германия, Польша, Россия, бедное наше Галкино. Там я увидела — Маркуша на балконе, в русской рубахе, а Андрей влез ему сзади на плечи, на пальчик ус наматывает. «Эх, сиротка!» Я очнулась, встала, и пошла.

Вот я, дама нарядная, сижу в купе поезда, мчащегося в Париж, в бешеном грохоте рельс, стрелок, мостов. «Сиротка, сиротка». Россия, Маркуша, отец, Галкино.

Чувство ушло, разумеется. «Ах, ну Андрюша, Маркел... да, но уж где тут...» Нет, я была дама нарядная.

И как раз в этот вечер мы обедали с русскими на Елисейских полях — Александра Андреича угощал меценат, заказавший портрет. Было шумно и бурно, шикарно, выпили, и поехали на благотворительный праздник французской графини. Помню потоки автомобилей, золотыми глазами бороздивших тьму леса Булонского. Помню лужайку, где из кареток выпархивали лучшие женщины и Парижа, да и всего мира. На лужайке, в лесу — фейерверки, музыка, балет — из рощ, пронизанных бенгальским светом, выносились знаменитые танцовщицы, Дианы, Нимфы, Психеи. Рога старых охот королевских трубили в лесах, кавалькады являлись — весь маскарад обрамлен небом темно-синеющим, с золотом фейерверков, и волною мужчин во фраках, дам полураздетых — изощренных француженок, ослепительных бразилианок, испанок, американок. Тысячные эспри, кружева, бриллианты, глаза подведенные, воли пресыщенные, богатства...

Александр Андреич был в полоумии.

— Д-да, это жизнь! Это — люди!

Он побледнел, волосы слиплись, такой же распаренный, как в Москве у картежников,— ну чтó он здесь, со своей неудавшейся выставкой, жаждой мучительной, тысячью франков? Я моложе его — и беззаботней — мне *просто* все интересно. Париж, так Париж! Не наше Пасси с милой квартиркою, пейзажем Медона — нет, Вавилон.

Мы возвращались с рассветом. Многомиллионный труженик спал. Париж моноклей, блудниц, фраков и декольте, бриллиантов, вилл, автомобилей тек все тою же лавиной, по голубым авеню леса Булонского, мимо зеркальных прудов с лебедями, под звездами бледнеющими.

Александру Андреичу нравилось, что вот и мы будто бы этого круга. Сидел он вразвалку, набекрень шляпа, глаза мутные, неверные. «Что за тяжесть!» Автомобиль летел, голубая ночь плескала в лицо нежными шелками, в глазах — лебеди леса Булонского, бледные звезды — почему рядом тут Александр Андреич, почему он бурчит о каких-то тысячах, никогда ведь он их не получит?

В Пасси я подымалась медленно по крутой лестнице. Мелкая жизнь за дверьми с ярко начищенными рукоятками, половичками для ног, хлебами-батонами, стоявшими в уголку, со всеми копеечниками, храпевшими в своих благоустроенных углах. У себя в комнате я вздохнула, отворила окно. Нет, мир велик, просторен, и весна чудесна, и Париж...

Ах, если за тебя придет расплата, если отольются все бриллианты, кружева, шелка и бархата́ — то есть за что, по крайности, ответить!

Я отошла к ночному столику, и под букетом сладко исструявшейся сирени, в полумгле утра майского заметила конверт. Георгий Александрович писал из Рима — просто, скромно, дружественно. В письме был также чек от отца, на две тысячи, и маленькая карточка: Андрюша в Галкине, верхом на лошади, нянька поддерживает. Да, он растет... Пока мать по Парижам, по романам... Я перечла, сложила все, и встала. Я была серьезна, раздеваясь. За полуоткрытой дверью мылся и укладывался Александр Андреич. Мне неприятно было, как он фыркает, как грузно рушится на постель, я вспомнила вдруг его волосатую грудь, которой он гордится, мне стало смешно. Что такое? Почему я, собственно, в Пасси, на пятом этаже, с волосатым, поседелым человеком, все кричащим о славе, напивающимся, в пьяном виде иногда грозящим мне, грубо ласкающим? Что́ я — влюблена, как тогда в Москве? Подумаешь, какая гимназистка! Париж, Париж, но я забросила здесь пение, живя неверной и туманной жизнью, и вообще мы скоро прогорим, конечно. Бог мой, что за глупость!

XI

Конечно, Александр Андреич ничего не получил. Портрет писал вначале в настроении, что забьет всех Ренуаров, но чем дальше дело шло, тем холоднее делалась модель к изображению — и меценат не взял портрета. Александр Андреич хотел судиться. Тогда заказчик прислал ему пятьсот франков — подачкою — портрет же отклонил решительно.

Франки он взял. Но ослабел, сильно запил, стал расползаться.

— Нисходящая звезда! Комета рушащаяся! Наталья, ты в меня все веришь?

Он переоценивал. Напрасно думал, что вообще-то очень я в него верила. А теперь совсем не нравился его рамолисмент. Рамолисмент же рос, и быстро. В начале нашей жизни за границей я над собой чувствовала силу некую, и власть, теперь же были только пьяные истерики, потом подавленность, затишье, он на меня тогда смотрел как будто бы на якорь некоторый.

— Наталья, ты не выдашь,— бормотал,— я уж знаю, на тебя можно положиться. Ты живая и живучая, живешь, идешь... Что ж, может быть, и выплывем.

Пытался он работать, но теперь мало выходило — слишком нервничал и вообще истощался. Его, конечно, надо было пожалеть. Но я жалела мало. Чтоб отвлечься, стал он бегать по притончикам картежным. Иногда и я ходила, но теперь чувство почти брезгливости вызывал он во мне — красный, с воспаленными глазами и неверным голосом свихнувшегося игрока. Коньяк, рюмка за рюмкою, не помогал. Карта его понимала — как лошадь ощущает кучера нетрезвого и склонна понести — карта казала ему мину насмешливую и предательскую. Он спустил быстро все, что оставалось, продал бриллиантовые запонки, часы — грозила нищета. Остались у меня только две тысячи отцовских. Как ни просил, я не дала ему ни франка. Но я вспомнила Москву, зиму, когда играли мы с ним в клубе, и решила вновь попробовать, сама.

Я не сказала ничего, ушла одна в притончик у Монмартра, где мы бывали с ним, там действовала рулетка. Меня пустили по условленному стуку. Притон был второсортный, грязновато и накурено, пахло духами, и за столом, с лицами зелено-бледными, сидели личности — кто знает, кто из них чем занимался там, в жизни верхней? Может быть, юноша в красном галстухе с толстыми губами подделывал доллары; чистенький и стриженый, в золотых очках — кассир, еще не арестованный. Скуластый, в шарфе и каскетке — из апашей, рядом с ним подруга, остроплечая Марго с синими кругами под глазами, пудреная и подкрашенная, с тем изяществом остроугольным и надтреснутым, какое может только у француженки быть.

Я приглядывалась, наблюдала. Видела, как равнодушно спускал гульдены свои сытый голландец с подозрительным юношей, как Марго загоралась, когда ей лопаточкой сгребали золотые. Спросила коньяку — выпила. Чувствовала себя легко, покойно.

Марго выронила платочек. Я подняла и подала. Та улыбнулась.

— Вы очень милы.

И пожала руку мне.

— Вы нынче здесь одна?

— Одна.

— Ого, вы не боитесь. Вы не американка?

Я объяснила ей, кто я и что мне нужно. Она захохотала.

— Это смешно, но неужели же вы думаете, что другие ходят сюда, чтобы проигрывать? Пьер, посмотри, смешная русская.

— А я вам говорю, что выиграю. Ну вот хотите, покажу.

И я поставила пятьдесят франков. Мне возвратили триста. Марго захлопала в ладоши: она сама выигрывала, и была добра.

Но больше я не ставила.

На другой день вновь явилась, и вновь села рядышком с Марго. С собою у меня была тысяча франков. Я ставила на красное — не выходило. Попробовала черное — опять спустила, денежки мои загребла Марго, со смехом, вновь схватила меня под столом за руку, слегка пожала.

— Видите, как вы выигрываете!

— Это еще ничего не значит.

Несколько раз удавалось мне, в общем же я проиграла восемьсот.

Дома этого не сказала, днем спала, а вечером опять шла на Монмартр, пробиралась в ворота, грязным двором, над которым звезды летние стояли, по вонючей лесенке с вытертыми ступенями — наверх, в комнату с висячей лампой.

Марго опять была здесь. Она явно чувствовала ко мне дружественность. Покровительствовала, пыталась наставлять.

— Natascha, главное, не нужно волноваться и ставить последнее. Вот смотрите, как играет Пьер.

Пьер, несмотря на свой шерстяной шарф, каскетку и татуировку, ставил по пяти франков, крепко, будто бы наверняка — и выигрывая десять, твердо, деловито прятал их в карман.

В этот вечер я играла сдержаннее, и сначала даже несколько выигрывала. Но потом зарвалась, и от второй моей тысячи осталась половина.

Марго блестела глазами.

— И завтра придете?

— И завтра.

Александру Андреичу я ничего не говорила. Но чувствовала, что должна играть, должна ходить, как в Москве некогда я знала, что должна петь — пела.

Я играла еще несколько дней. По-прежнему в притоне выигравшие напивались, голландец, проигравшись, отступил, зато явился англичанин молодой, сэр Генри,— высокий, крепкий и красивый. Твердая, ясная постройка. Может быть, он офицер,

может быть, барин, но глаза серые просты; румянец тонкий, и хороший очерк профиля.

Голубой бриллиант метал мягкий луч с пальца выхоленной руки — этой рукой легко ставил он золотые, и так же легко убегали они от него.

Все эти дни игра моя шла с переменным счастием, в общем неблагосклонно. Франки таяли, а я упорствовала. Меня признали уже за свою. Марго рассказывала, ужиная, о своих успехах. Пьер работал аккуратно, и подкапливал. Со мной сэр Генри познакомился. Я, видимо, произвела на него странное впечатление. Вероятно, он не знал, куда меня причислить. То, что я русская, несколько прояснило ему дело.

— И вы думаете выиграть? Но ведь это безумие. У вас ничего нет. Выиграть может только богатый.

— Вот вы очень богатый, а проигрываете.

Он улыбнулся и упрямо покачал своей англосаксонской головой.

Он был как будто бы и прав. В этот вечер я дошла до предела. Когда из окон стало голубеть и потушили одну лампу, я проиграла сразу три удара: на число, на красное и на zéro. Я встала.

— Слушайте, сэр Генри, у меня осталось пятьдесят шесть франков. Больше нет и дома ничего. Поглядите, как я распоряжусь ими.

Он кивнул и улыбнулся чуть насмешливо. Я почувствовала, что легчаю, замираю, будто выхожу из себя, уступая место кому-то другому, и все существо мое становится сомнамбулическим, кем-то ведóмым.

Равнодушно, не глядя на сэра Генри, я поставила пятьдесят франков на zéro. Шарик завертелся, я перевела на него взор, потом медленно повела глазами на мою пятидесятифранковую бумажку. Шарик брыкнул раз, другой,— остановился на zéro. Мне подали тысячу восемьсот. Не соображая, я поставила все их опять на zéro.

Марго ударила меня по руке.

— Natascha, сумасшедшая! Пьер, ты должен запретить, нельзя...

Я ее отстранила. Сэр Генри не улыбался, смотрел на меня серьезно. Шарик завертелся вновь, я не могу сказать даже, волновалась я или же нет,— меня по-прежнему все не было. Шарик вновь остановился на zéro. Я получила шестьдесят пять тысяч франков.

Помню, что я загребла свои бумажки в сумочку и показала Марго нос. Сэр Генри мне зааплодировал. Я не играла больше.

Все мы вышли. Я предложила ехать в ресторан, праздновать мою победу. Мы наняли автомобиль, помчались в ночной бар на Елисейских полях.

В баре пили мы шампанское, светло-прозрачные глаза сэра Генри от вина не мутнели — он со мною чокался. Платить хотела я, но оказалось, что уже заплачено. И на восходе солнца мы катили по аллеям леса Булонского, окропляемого первым золотом. Пыль неслась за нами тонкой струйкой, и благоуханно было в парке. Мне пришло вдруг в голову — уехать из Парижа вовсе — в поле, на природу. Мы завезли домой уставшую Марго, ссадили Пьера — и волшебный конь чрез несколько минут уж выносил нас, мимо Сен-Дени, в росисто-зеленеющие зеленя под Парижем. Ах, как хлестал мне в лицо нежно шелк ветерка летнего, как зеленя пахли, как чудесны были жаворонки, каким громом и великолепьем солнца пренасыщено было утро! Я неслась с почти мне незнакомым сероглазым англичанином по пути в Шантильи, я позабыла и о выигрыше своем, но летело сердце в неизвестные мне страны, и быстрее самого автомобиля — задыхалась я в июньской нежности, свете и плеске милого воздуха.

Мы видели старинный замок Шантильи, окаменевший над каналом, памятник великого Конде перед фасадом, лебедей в пруду, бродили в парках со столетними дубами,— солнце нежными руками пронимало их листву, вонзалось теплыми узорами в зеленый мох, травку, зажигало лютики и анемоны — золотыми вензелями трепетало по дорожкам. Я могла ходить сколько угодно и дышать сколько угодно, я бы проглотила это Шантильи, Париж, всю многосолнечную Францию одним глотком, я ощущала нынче, что у меня нет ног и нет усталости, нет остановки и не может смерти быть.

В скромном кафе, куда зашли мы — оно только что открылось,— сэр Генри посмотрел на меня с удивлением, но и с сочувствием.

— Вы в странной экзальтации. Впрочем, вы русская. Нам следует к вам привыкать.

Я захохотала и сказала, что, по-моему, Россия, русские — первая нация в мире, если он не хочет, пусть и не привыкает.

То, что я русских назвала первой нацией, несколько его удивило, но сейчас же серые глаза вошли в свое русло — он спросил, долго ли я пробуду здесь, в Париже. Я не сообразила и задумалась, потом без колебаний заявила:

— На днях в Рим уезжаю.

Он отнесся с тем спокойствием, как надлежит человеку далекому, моей жизни не знающему. Я вдруг изумилась: ах вот как, в Рим! Да уж, по-видимому.

И весь путь назад я иначе себя чувствовала, сэр же Генри велел ехать не так быстро, курил славную сигару и не торопясь рассказывал, что в Шотландии у него замок с парком вроде Шантильи, но там и горы есть, и запах океана. Он стреляет куропаток, ездит вдоль берегов на яхте. Может быть, он сделается дипломатом или же благотворителем, возможно, что исследователем новых стран.

Дома Александр Андреич закатил мне целую историю: я Бог знает где шляюсь, с кем знакома, я проигрываю последнее, мы же нуждаемся — нынче, например, нет уж ни кофе и ни молока.

Он был нечесан, неумыт, со злобными глазами; почему-то мне запомнились его испорченные зубы. Я слушала бессмысленно. Подошла к вазе с сиренью, стала нюхать, подняла глаза на дальний горизонт Медона, голубую Сену — вдруг почувствовала — Боже, как далек мне этот человек в утреннем халате, с волосатой грудью, мешками под глазами, с лысиной своей, со своими картинами, самовлюбленностью, корыстью. С ним бросила я дом, Маркушу и Андрея, родину... что за нелепость!

— Ты напрасно упрекаешь меня в расточительности. Я, напротив, выиграла. Взгляни.

И приоткрыла кожаную сумочку.

— Тут шестьдесят пять тысяч франков.

Мне печально вспоминать, как захватило у него дыхание, как он в лице переменился, увидав деньги. Может быть, я ранее простила бы и поняла, но теперь все не нравилось уж мне, и даже если бы хотела, я бы не могла уж подавить чувства. Он обнял меня, закружил и хохотал, но я сказала, что устала,— и ушла к себе. Я правда утомилась, наскоро разделась и легла.

Вспоминая эти дни в Париже, я как сквозь сон вижу Монмартр, рулетку, игроков, Марго и Пьера, промелькнувших в моей жизни странными виденьями, элегантного и спокойного сэра Генри, и неохотнее всего остановилось бы мое внимание на том, с кем была еще тогда соединена жизнь моя.

Я говорю «была еще», ибо через несколько дней, с маленьким чемоданчиком, в отсутствие Александра Андреича я уехала в Рим.

XII

Я основалась там в отеле над Испанской лестницей, чуть не под колоколами Trinita dei Monti. Здесь удобно и серьезно было, у меня балкончик выходил прямо на собор Петра и виден весь

Яникул, а направо уголок Монте-Марио. Когда солнце заходило за холмами ватиканскими, в щеточках пиний, а внизу Испанская площадь наливалась синим сумраком и плескал берниниевский фонтан, я глядела, как уличные девушки бегут с via Sistina вниз, Испанской лестницей, в узенькие улочки у Корсо. Вспоминала я Марго парижскую. И чувствовала, что живу. Ведь это все земля, и я иду по ней, на ней стою. Мне любопытно все узнать, впитать в себя прекрасное, многовековое, кругом отложенное.

Я читала и училась тут довольно много. А Георгий Александрович — стал как бы Вергилием моим. Мы вместе с ним бродили и по Авентину, и на Форуме сидели у Кастора и Поллукса, наблюдая рост милого клевера; а над Lapis niger он рассказывал мне, не спеша, о Ромуле. Здесь даже больше был на месте, чем в Москве, на Земляном валу.

Я посмеялась и сказала раз ему об этом — веттурин вез нас латинскою дорогой, от гробниц. Солнце спускалось за стенами Рима, зелень холма Целия темнела; и на Латеране статуи Апостолов сияли победительно. Вправо, по Кампанье, легли длинно-синеющие тени акведуков. Георгий Александрович сложил ладони на головке трости, опираясь на нее.

— Быть может, вы и правы. Рим отвечает своей сущностью моей душе. И если верить в родины спиритуальные, возможно, родина моя именно он, Рим при конце Республики, начале новой эры. Облик Цицерона... его жизнь, и философия, и гибель. Я люблю Сенеку.

— И вам отлично было бы жить тогда.

— Не думаю. Жизнь и тогда была подернута такою же печалью, как теперь. И тоже — глубоко созрела, набрала чрезвычайно много роскоши, очарований, и склонялась — тоже как теперь. Цицерон умер с горечью. Плебс и солдатчина, диктаторы залили этот Рим кровью, и Сенеке, жившему попозже, так всю жизнь и приходилось философствовать о смерти... и самоубийстве. Да не только философствовать.

— Ну, мы-то, кажется, в более мирное время живем.

Он снял канотье, обтер платочком серебрившуюся голову.

— Погодите, дорогая. Не спешите принимать за мир и за покой...

Он задумался.

Мы подъезжали к стенам Рима. Веттурин остановился, поить лошадь. Нас догнал всадник в желтых ботфортах. Поравнявшись, натянул поводья, приподнял фуражку. Я узнала сэра Генри. Он не удивился. Так же вежлив был, покоен, как в Париже, только загорел под итальянским солнцем. Я познакомила его с Георгиевским.

И мы поехали ко мне в отель ужинать.

Сэр Генри запоздал на несколько минут — переоделся у себя во «Флоре» и явился, когда мы с Георгиевским сидели на балкончике, где я велела накрыть стол. Тут было тесно, мы едва уселись, но чудесною стрелой летела вдаль via Condotti, в нежном ожерелье фонарей жемчужных, Св. Петр вычерчивался силуэтом на огне заката, и плескал нам в лицо сладко-влажный дух вечера римского. Синеватый сумрак внизу, в нем смутный плеск фонтана Бернини. С Монте-Пинчио тянуло разогретыми лимонными деревьями.

— То, что вдыхаем мы сейчас,— сказал Георгий Александрович,— называется опьянением. Не нужно забывать таких минут, по пальцам можно насчитать, сколько их в жизни. Наталья Николаевна, ваше здоровье.

Он налил красного вина в тонкий бокальчик, чокнулся со мной.

— В колыханье занавески кружевной, в постукиванье каблучков по лестнице побольше смысла, глубины, чем в море книг, падениях, завоеваниях, победах.

Мы ужинали в этот вечер в легком, светлом духе. Поддался даже сэр Генри. Он нашел уместным сообщить, что многие места под Римом превосходны — автомобиль его к нашим услугам.

Меньше других я говорила. Я была взволнована. Да, я хотела бы куда-то мчаться, вдохнуть весь этот воздух, переласкать все камни, прижать к груди звезды, спокойно, благоговейно над Римом взошедшие.

Когда, к полуночи, мужчины поднялись, я встала с ними. Была я в белом, с непокрытой головой. Мы шли по via Porta Pinciana. Из-за древних стен Аврелиана, замшелых, увитых плющом, сладкое благовоние плыло с виллы Боргезе, и страж-кипарис на углу черным копьем вздымался к золотой звезде, осевшей над его верхушкой. В нише стены слышался смех — ночь римская прикрыла две фигуры.

Георгий Александрович ушел к себе. Я провожала сэра Генри. Широкоплечий, стройный, он шагал легко и крепко. В синеве ночи видела я большой лоб, серые глаза, тонкую шею, выходящую из мягко-белоснежного воротничка,— весь он казался таким ясным и таким... нехитрым сэром Генри. «Вот кто по земле священной так шагает, будто в Шотландии у себя, в Галкине тамошнем. Хорошо бы с ним поговорить по-русски, по душам. Положим, «выяснить бы отношения».

И переходя via Veneto, вблизи его отеля, я сказала — неожиданно для себя самой:

— А знаете, сэр Генри, у меня в России муж остался и ребенок, я их бросила, сошлась с художником одним,— и от него уехала. Вы меня в гости приглашаете, а я, по-вашему, довольно подозрительная личность.

Он поглядел серьезно, как когда я ставила последние свои пятьдесят франков.

— Мы с вами встретились при странных обстоятельствах, но я имею на вас ясный взгляд. Вряд ли его переменю.

— Так что я ничего... приличная?

— Да, вы приличная. Не англичанка, но весьма приличная.

— А вот за то, что я оставила семью,— осуждаете?

Яркий свет у «Флоры» пронизывал зеленые платаны с белопятнистыми стволами и вычерчивал на тротуаре резкие многоугольники. Они струились — путались беззвучно.

— Вопрос, вами затронутый, серьезен. Если вы оставили ребенка, значит, у вас были на то основания.

«Основания». Я неторопливо шла домой. Сияющая «Флора» оставалась сзади, снова Рим, благоуханный. молчаливый. И легко ступала я. У Porta Pinciana дремал веттурин. Журчал невидимый фонтанчик. Да небо черное над головой, с узором золота.

Добредя домой, я с изумлением заметила, что ни о чем не думаю: ни об Александре Андреиче, которого, казалось, так в Москве любила, ни о Маркуше и Андрее — но и разница была. Точно бы Александра Андреича и не существовало никогда, те же, далекие, всегда есть и будут, но вот сейчас не думаю о них, просто живу здесь в Риме, завтра мы едем на виллу Джулио, поедем в Паломбару, затем я буду петь в посольстве, чай у княгини Д. Что там Георгий Александрович распространялся о каких-то кризисах, падении Рима? Падение! Рим все стоит, вон скоро заблестит в восходе купол San-Pietro, а покуда тянет запахом лимонов с Монте-Пинчио, занавеска ходит в ветерке — о ней ведь сказано: она важней падений.

Ну, и пусть падают, мы тогда посмотрим, и увидим, а пока вдохнем благоухание, заснем.

XIII

Я жила в Риме полно. Если есть дни — не пожалеешь их — таких у меня не было. Каждый вносил свой след, каждый нес отблеск и свое благоуханье. После же Парижа мне казалось, что я стала старше и уравновешенней, на душе яснее, точно небо римское в ней отразилось. И теперь мною была б довольна старая моя Ольга Андреевна: я жила здесь художницей. Занялась

своим пением — утра стали серьезнее. Мне в отеле не мешали, я наверстывала упущенное, и когда Георгиевский привез мне раз Павла Петровича, строгого старичка в золотом пенсне, он меня выслушал внимательно, сказал, что голос и манера очень подходящи для его романсов. И мы стали их разучивать. Я принялась ходить к нему, мимо милого моего Тритона, не устававшего плескать серебряной водою римской. Окна небольшой его квартиры выходили в сад палаццо Барберини. Ласточки сверкали в ясном небе; пахло померанцами, лимоном. Иногда слепые дети из соседнего приюта слушали нас внимательно и умиленно. И вечерний луч играл в бронзовой статуэтке Марка Аврелия на столе композитора.

— Главное в искусстве — дисциплина,— говорил он, поправляя пенсне.— Я никогда не признавал так называемых безумных гениев, творящих по ночам и в пьяном виде. Нет, тридцать лет уж я работаю в свои часы и от других того же требую. Вы нынче опоздали на десять минут, и это отразится неблагоприятно на работе.

Мне казалось, что я снова в руках Ольги Андреевны, и это молодило, подбодряло.

Я старалась. Павел Петрович положил за правило, чтоб я являлась, когда луч вечерний падает на Марка Аврелия. У меня возник как бы point d'honneur[1], и, отворяя дверь, я первым делом взглядывала, сияет ли конь императора.

Так мы готовились к выступлениям в Риме — в первую голову на garden-party[2] виллы Роспильози, вблизи Porta Pia,— его устраивала итальянская маркиза, проповедница русской музыки.

В свободные часы ко мне являлся мой Георгий Александрович, и мы отправлялись по святым местам — в станцы Рафаэля, на торжественные службы в катакомбы, или ехали по via Flaminia, любоваться Тибром и горой Соракто. Георгий Александрович был предупредителен и ласков, но какая-то легчайшая, прозрачная перегородка разделяла нас. Мне представлялось, что теперь он мой учитель, в высшем смысле. Я покорно пересматривала древние монеты, ездила к копиисту катакомбной живописи, работавшему в Риме много лет, читала толстые тома Вентури и Марукки. Иногда Георгий Александрович брал с собой сэра Генри. Тот ездил добросовестно, в книжечку записывал. Вероятно, так же добросовестно он смотрит состязание яхт, держит пари на скачках и автомобильных гонках.

---

[1] вопрос чести *(фр.)*.

[2] прием гостей в саду *(англ.)*.

Он послушно вез нас на своем автомобиле в Остию, безбрежными равнинами Кампаньи, где ястреба реяли, вздымалась одиночка-башня, и вечерний свет заливал просторы благовонной влагой. Мы встречали таратайку подгороднего крестьянина; опасливо на нас косился он, подбирал вожжи — но его уж нет, опять равнина, да вдали, сверкающей полосой, море Энея, да безмерный воздух в лицо плещет. Когда осматривали древний порт, раскопки Остии, казалось, что сэр Генри аккуратно все уложит в голове своей, как эти древние ссыпали сицилианскую пшеницу здесь в амбарах.

В музыке он понимал немногим больше, но вовремя явился к Роспильози, тощей одной маркизе, во вдовстве занявшейся искусством и науками. У ней бывало смешанное общество: секретари посольств и адвокаты, журналисты, люди светские, какой-то перс, красивая и сильно располневшая писательница, два-три художника. Из русских, кроме композитора — Георгий Александрович, да Кухов, журналист со смутным прошлым — человек небритый, угреватый, с грязными ногтями.

Нам подали чай на открытом воздухе, среди магнолий, лавров, мелколиственных боскетов, и аллейка кипарисов прямо упиралась в водоем, в глубине сада, с мраморною маской: одно из бесчисленных водяных божеств Рима. Композитор смотрел через свое золотое пенсне несколько сверху вниз, видавшей виды знаменитостью. Не без брезгливости ел второсортные печенья с первосортного хрусталя ваз. Кухов ершился. То ли тяготили плохо вычищенные ботинки, то ли раздражал барский облик — виллы, собравшихся.

— Удостаивает нас своим присутствием великий композитор, прямо осчастливлены, смотрите-ка, как ложечкой помешивает. Нет, мол, уж будь доволен, что на меня смотришь. Я еще ноты на рояле взять не успел, а ты аплодируй, иначе у меня нервное расстройство, к завтрему я заболею несварением желудка, не смогу в девять сесть за работу, не напишу десяти строк партитуры, а Россию это обездолит.

— Экий вы и злой какой...

— Не злой, а этих генералов всех... Да и маркиза хороша... Вобла сушеная. Вы думаете, от таких собраний процветает русская музыка? Ошибаетесь, все только для того, чтоб завтра было сказано в газетах: у маркизы Роспильози, на очаровательной вилле, состоялось garden-party, тоже блестящее, разумеется. Известный русский композитор...

— Да и вы напишете?

— Ах, ну я, ну что там... Люди маленькие. О вас, о вас, конечно, напишу, ну, непременно...

Когда хозяйка пригласила нас в салон, все поднялись. Павел Петрович вынул шелковый платочек из кармана на груди, обмахнул лоб, сел за рояль, серьезно, почти строго на меня взглянул — мы начали.

Вновь, как и некогда в Москве, я чувствовала: никого нет, я одна со звуками своими, да этот маленький и крепкий человек, с тридцатью годами славы и муштровки, дисциплины.

И мы не провалились, правда. Слушали нас хорошо, хорошо одобряли — с каждой новой пьесой ощущала я, что за спиною композитора мне как за каменной стеной.

Кухов тоже мне похлопал.

— Ну, уж теперь цари. Прямо живьем возьмут на небо.

Маркиза нас расхваливала, благодарила. На ее рыбьем лице выступили пятна красноватые. Меня она звала даже к себе во Фраскати — отдохнуть от жаров Рима.

Когда мы выходили, сэр Генри поцеловал мне руку.

— Это успех, конечно. Очень рад за вас.

И, поклонившись, сел в автомобиль свой, покатил обедать и в театр — до него столько же ему было дела, как и до моего пения.

Через несколько дней в римской газетке появилось описание garden-party с нашим участием — производство Кухова. Все было превознесено, конечно, в стиле рабском и рекламном.

— Вот он, моветон-то где,— Георгий Александрович слегка хлопнул пальцем по газете.— Этими словами или грубо льстят, или клевещут.

— Вам бы хотелось, чтобы все такими барами были, как вы сами, или та маркиза, или Цицерон.

— Нет, это невозможно. И Горацию, конечно, приходилось, proportions gardées[1], петь Мецената, чтобы получить виллу за Тиволи. Жизнь все такая же, как тысячи лет назад. И если мы, сидя в тени башен Trinità, любуемся великим Римом, философствуем о малом и великом, о консерватизме революционности, о моветоне, то поверьте, что во времена Лукулла, великого завоевателя и насадителя вишен в Риме, вот на этом самом месте, несомненно, тоже разговаривали, и, быть может,— много интересней, чем мы с вами.

Не знаю, как мне отнестись к Горацию, и прав он или же не прав, мне безразлично. Сама я пред маркизой не заискивала и была удивлена, когда она заехала и вновь настойчиво позвала во Фраскати. Мне даже что-то ней понравилось: плоское длинное лицо — трогательное в некрасоте своей, преданность высоким интересам, простота и благочестие. Быть может, неудач-

---

[1] сохранение пропорции *(фр.)*.

ливость личной жизни — траурное было в ней, истинно вдовье. Она напомнила мне Витторию Колонну. Я приняла предложение.

И вот передо мною глухая, очень темная аллея мелколиственных дубов, где солнце протекало золотыми пятнами по спинам пары худощавых лошадей, везших коляску нашу. Цветник, газоны у фасада, спокойный двухэтажный дом со спущенными жалюзи, урнами и решеточкой по карнизу крыши — залиты светом белого июля. Старичок садовник снял почтительно перед нами с головы каскетку. Лысый лакей в позументах высадил маркизу. Мы вошли в прохладный, благородный и благоуханный полумрак. Мне отвели две комнаты с балконом, и сейчас же подняла я жалюзи, хотелось света и простора: жадные мои глаза его и получили. Серебряною вертикальной струйкой прорезал фонтан весь нежно-голубой, горизонтальный пейзаж Кампаньи, на краю которой, как на краю вечности, миражем мрел, слегка переливаясь в легких струях, Рим. И лишь Сан Пиетро воздымался неизменно — средоточием вселенной.

Над окнами взметнулись ласточки: там были гнезда. Зачертили в синем небе милыми зигзагами — образы света и свободы. Мне все понравилось здесь. Петь могла я, не стесняясь, щебет ласточек, благоухание цветов, плеск голубого воздуха и золотой блеск солнца опьяняли, веселили. Скорей, чем где-либо, я чувствовала тут себя сестрою ласточкам, и немного, кажется, мне стоило бы улететь с ними.

Маркиза прожила со мною две недели. А затем уехала на Искию, я же осталась.

Как будто было странно, почему же я живу на вилле мне мало знакомой дамы, хозяйкой прохожу по ряду комнат с тишиной, зеленоватым полумраком малообитаемого места, одна обедаю в столовой, перед окнами которой цветники раскинули свои узоры — тают в свете ослепительном и легко-белом. Но потом я попривыкла. Ну, хочет так маркиза — ее воля. Я не стану притворяться. Мне удобно здесь, мне нравится, значит — и хорошо.

И эти дни я со спокойным сердцем растворяла утром окна комнаты — навстречу солнцу. Особенно запомнилось одно такое утро.

Уже в постели услыхала визг, стрекотню ласточек над своим окном. Дело оказалось просто, и печально. Вылетая из гнезда — теперь служившего просто ночлегом — ласточка зацепилась лапкой за тесемку; и на ней повисла. Ей сдаваться не хотелось. Судорожно вверх взметывала, кидалась в стороны — и падала. Стайка подруг вилась над нею, стрекоча, но не могла помочь.

С подоконника мне не достать ее. Я пробовала зонтиком, длинной метелкой, ничего не вышло. Ах, как противно! Что же делать, я пила в столовой кофе, и из головы не выходила ласточка, томящаяся на своей ножке. Я сказала подававшему мне старику Чезаре. Вместе вышли, подошла кухарка садовник, тоже все поохали — но так высоко она бьется, ничего не поделаешь. Я в огорченье совсем ушла из дому. Но сегодня ни аллеи кипарисов, ни магнолии, ни дубы на площадке, где я смотрела на Рим, меня не радовали. Не читалась книжка, с собой взятая. Я вернулась к завтраку — ласточка висела неподвижно. Неужели ж над моим окном так и повиснет жалкий трупик?

Подавая мне десерт, Чезаре ухмыльнулся.

— Синьора, мы устроим. Нам поможет Джильдо.

Оказалось, что к садовнику как раз пришел полудновать племянник, пастушонок Джильдо. Через несколько минут юноша лет девятнадцати, смуглый и бронзово-загорелый, сухой, с тонкой шеей, огромными чудесными глазами, приближался к террасе. Волосы закурчавились и блестели на солнце. Отблескивала кожа полуобнаженной груди. На ногах кожаные штаны — чуть тесемкой подвязаны.

Джильдо жевал кусок сыра. А-а, Антиной из Кампаньи, с профилем безукоризненным, смуглотой пропеченной, библейской палкою, запахом сыра и чеснока.

— Джильдо, освободи ласточку. Синьора даст тебе две лиры.

Он взглянул диковато, пристально. Ждать не пришлось. С чердака уж он на крыше, сандалии мягко, легко ступают. У карниза приостановился, лег, вытянулся, слился с карнизом, руку спустил вниз, слегка пошарил — минута — и на тесемке поднял ласточку.

Мне показалось, что она калека. Но когда он ее подал, я взяла теплое тельце руками неуверенными — птичка скользнула, нырнула — и понеслась.

Все засмеялись. Ах, милая ласточка!

Мне самой захотелось за ней, я хохотала, стало вдруг весело, я бы могла взапуски стрекотнуть с этим пастушком загорелым. Я его обняла и поцеловала.

Чезаре смеялся. А Джильдо вспыхнул.

XIV

Не могу сказать, чтоб очень я скучала по маркизе. Мне жилось неплохо. Я читала, пела и гуляла, одиночество было приятно, светлый воздух веселил. Часто забиралась я в Кампанью, выходила к Аппиевой дороге, смотрела на ястребов, высоко

ревших, закусывала в остерии, а потом лежала у дороги, в тени пиний, и, ласкаемая ветерком горячим, я глядела, как на бесконечных пустырях лениво паслись овцы и их караулил Джильдо с дедушкою, мрачным стариком. Старик не взглядывал на меня, Джильдо подходил, смотрел безмолвными своими, древними глазами, если спрашивала, глухо бормотал и убегал, а потом вновь являлся: приносил дикую розу или же пучок гвоздики. Мне приятно было на него смотреть. Он не отделялся от Кампаньи, от своих овец, от акведуков, вдалеке к Риму тянувшихся. Я с ним заговаривала. Он отвечал кратко, мало для меня понятно, на своем диалекте. От него пахло мятой, овцами и кожей, и под солнцем круто завивались черно-лоснящиеся волосы.

Иногда я видела его на вилле. Он откуда-то внезапно появлялся — из-за дерева, поворота дорожки, точно дух местности этой, полустихийное создание. Раз он играл на камышовой дудке, а я взяла палку его, и с собакой мы погнались за отставшею овцой — мне на мгновение представилось, что я здешняя, с земли кампанской и что это все кругом — мое.

Вскоре затем приняла я странный визит: Кухова с экскурсией. Тут были барышни, учителя, студенты, стадо русских из числа начавших бороздить Европу в жажде просвещения. Кухов вез их посмотреть Фраскати. Заглянул и к нам.

— Вот и мы на виллу... да, на виллу к вам, позволила кость рыбья, даже есть письмо. Покажем трудовой интеллигенции, как живут великие мира сего.

Барышни записывали в книжечки, что раньше это место называлось Тускулум и тут вблизи остатки виллы Цицерона, бородатый же педагог в чесучовом костюмчике все спрашивал, до или после Рождества Христова. Были они пестры, шумны и необразованны. Русь простая. Может быть, я встречу здесь учительницу нашу, галкинскую.

Чезаре с удивлением смотрел на странных и неряшливых людей с растрепанными волосами, обувью нечищеной, небритыми физиономиями.

Все это непонятно для Италии.

— Здесь перед вами вилла римской знати восемнадцатого века в стиле знаменитого Палладио, выстроена последователем его, Скамоцци.

— До или после Рождества Христова? — перебил учитель.

Кухов рассердился, мотнул сальными волосами.

— Фу, черт вас побери...

У экскурсантов были с собой завтраки, они поели на лужайке перед балюстрадой, насорили корками, бумажками, колбасными огрызками. И удивительно еще, что обошлось без семечек.

— Демократическая публика,— говорил Кухов.— Вам не нравится, что вот какой-то Кухов, parvenu[1], газетчик, потревожил сладостное уединение — людьми, не знающими, до или после Рождества Христова. Что поделать-с, не одним барам жить на свете, не одним Георгиевским медалями да Форумами любоваться, наш брат сошка тоже хочет жить.

Я знала, что он прав, и люди в кофточках и чесучовых пиджачках меня не раздражали, но как раз меньше всех нравился сам Кухов, со своими бегающими глазками, грязными ногтями.

Меня просили спеть. В душе я даже улыбнулась. Да, это не то, что garden-party в Риме, и, быть может, лучше б им самим изобразить «Дубинушку» привычным хором — но подавила чувство, пела.

Русь сидела смирно в зале Роспильози, слушала. Аккомпанировала я себе сама, работала для земляков на совесть. Учитель, опасавшийся смешать *до* Рождества Христова с *после,* попросил слова — в речи выразил мне благодарность *трудовой интеллигенции.* Потом опять я пела — и, взглянув в окно, увидела за подоконником знакомую мне голову, курчаво-смуглую. Тотчас она спряталась: через минуту вновь блеснули темные глаза — древнего слушателя. Да, этот вряд ли станет что-нибудь записывать, говорить речи, беспокоиться насчет Палладио и Рождества Христова. Я улыбнулась, прямо на него, с сочувствием. Больше не пела. Русь благодарила меня снова и заторопилась на трамвай — в Рим опоздаешь, поглядеть на «Колизей в лунном освещении».

Вечером, когда я раздевалась, мне в окно влетел букетик диких маков, пламенно краснеющих. «Ого!» Я подняла их, подошла к окну — и что-то шуркнуло в кустах, как будто бы большая кошка. Луна светила. Бело-голубая вязь оплела тихую дорожку у террасы. Кто теперь чем занят? Георгий Александрович читает у Сенеки «О преимуществе старости». Сэр Генри спит, видит во сне, что он посланник в Чили. В Колизее бродит Русь, любуется луной, волнуется — до или после Рождества Христова. Кухов примостился где-нибудь с курсисткой, в темноте аркад. А Маркуша? Андрей? Отец? Ах, ничего не знаю, кто прядет узор жизни моей, почему я в доме незнакомой женщины, почему лунное плетение внизу, на тускулумской земле Роспильози. Я почему-то так живу, и так хочу, мне мил, смешон этот букетик маков, мне приятны древние глаза, и я под сенью здешних лавров — седых и вечных божеств языческих.

Утром я видала Джильдо из-за изгороди, днем сидела в тени

[1] выскочка *(фр.).*

акведука, вила венок из плюща, он подошел, оперся на библейский посох — глядел пристально и не мигая. Я спросила, нравится ли пение? Он кивнул. А как он смеет бросать в спальню мне букеты мака? Он молчал и так же все глядел. «Ну, значит, смеет, больше ничего».

Что же со мной такое? Я вдруг встала, подошла, надела ему на голову венок. Вот он и Вакх. А я? Менада из Москвы, галкинская вакханка? Я обняла его, поцеловала в губы — помню запах остроты и свежести, смуглость и персик, и серьга серебряная в ухе. А я отвернулась и пошла назад, к вилле, распустив зонтик пестрый: точно хвост павлиний.

Дома Георгий Александрович ждал, привез новую книгу — о гробницах Аппиевой дороги.

— А у меня поклонник деревенской,— сказала я.— И моя нежность деревенская.

Георгий Александрович снял пенсне.

— Это меня не удивляет. Вокруг вас атмосфера эроса.

Я смеялась и рассказывала. Он слушал. Всегдашняя задумчивость, как будто грусть была на твердо-выточенном его лице.

— Вас развлекает это, значит, так и надо.

По Сенеке полагается — взирать на все с бесстрастием и пониманием, он и взирает.

И разговор наш тем закончился, что на другой день мы должны были отправиться на виллу Адриана.

Что же до Джильдо,— он отлынивал теперь от дел пастушьих,— то надо слушать, как я распеваю в зале, то тащить ежа, коробку светляков, мерцающих вечером синим у меня в комнате, то караулить выход мой. Когда я собиралась вниз, в Кампанью, то наверно можно было знать — где-то вблизи вынырнет голова Джильдо. Нравилось ли это мне? Надо сказать — нравилось. «Ну, шутка, глупость!» — все-таки не плохо. «Пусть за мной побегает, пусть поволнуется, пастушок из Кампаньи!» И я веселей шла в пропеченную жару, мимо безмолвных стад, шмурыгая по выжженной траве, под небом побледневшим и безоблачным, легко-струящим. Я ходила иногда и босиком, в одном халатике; вспугивала жаворонков. Иной раз куропатка с сухим треском вырывалась из куста, чертила острый зигзаг на Сабинских горах, бледно-снежно маячивших. Как пустынно и как чисто, тихо! Чем я отличаюсь от людей, тысячи лет тому назад здесь живших, и могу ли отделить себя от мифа, от дриад, сатиров, нимф, в речке мелководной плещущихся? Время милое остановилось тут, раскинуло шатер небесный, да пустыню, да цикад стрекочущих, да ящериц, что по камням гробниц перебегают, чешуей поблескивают.

У меня было место, нравилось — на берегу речушки, струями отсверкивавшей, заросшей камышом, с отмелями песчаными. Тут какая-то могила или храмик полустертый, маленькая пещера, вся травой заросшая. Здесь, под ее сводом, можно полежать в тени и сквозь отверстие видеть горбатый, древний мост через речку и налево даль безбрежную, струящуюся к Остии с одинокой башней. Иногда брала я книгу и читала тут, подолгу, чаще — просто отдыхала. Или вовсе раздевалась, освежалась в бледной, нежно-ласковой воде.

Я, конечно, знала, что за мною следит Джильдо,— пусть следит. В этой бездвижности пустыни не было мне стыдно. Выкупавшись, я ложилась на песке, как некогда на берегу своей Москвá-реки, слегка задремывала, солнце засмугляло мои плечи, слишком для этой страны белые. Странным образом, я никогда почти не вспоминала Александра Андреича. Возится ли он в Пасси с картинами и выставками, пьянствует ли, громит врагов — мне все равно. Все то ушло. А сейчас синева неба, жар, да туманное волненье. Не хочу прошлого, ни дум, и ни серьезности. Свет, воздух, да вот тело обнаженное — ну, пусть живет, покуда молодо, покуда нежно, сладострастно.

Однажды, лежа в гроте, я услышала напев знакомой дудочки. Как это просто! Две-три ноты, смутно-томных, я впадаю как бы в некое оцепененье, сладостное, я слабею. «Ай да пастушок...» Я медленно разделась. Мне виден был горбатый мост, через него, поскрипывая на колесах, шагом переползал тяжкий воз. Я как-то мало понимала, но воз на белизне Сабинских гор остался в моей памяти. Когда я вышла, дудочка умолкла, лишь в кустах зашевелилось что-то. Я прошла по раскаленному песку нагими, легкими стопами, нежилась и плавала в воде, и освежилась, но не успокоилась. Все так же было тихо, раскаленно в воздухе: и в небе, надо мною, плыли облачка — не досягнешь до них. В беззвучии я возвратилась к себе в грот, накинула халат, легла, и я не удивилась, когда в просвете входа увидала Джильдо, замершего, с темным блеском в завитках волос, медленно, тяжело дышавшего. Вот он, мой юный, милый бог земель италийских.

Я протянула ему руки.

XV

Джильдо не рассказывал мне о своих чувствах. Мы не «выясняли» отношений, все и так нам было ясно, да я и не знаю, мог ли он вообще-то размышлять: наверно, нет. А мне легко с ним было, и предельно беззаботно. Георгий Александ-

рович все так же безупречно приезжал ко мне с цветами и конфетами, и книгами. Мы разговаривали на террасе, любовались Римом, он курил сигару и рассказывал мне о раскопках в Остии — самоновейших, о воззрениях Стржиговского на сирийские влияния в мозаиках. Также и о делах балканских, о болгарах, сербах, их раздорах и усилившемся вызывательстве военных в Австрии.

Я слушала почтительно, как умного учителя незнающая девочка. Внимательно я наливала ему чаю, сама варила для него вишневое варенье, и если бы во время разговоров появился Джильдо, я бы прогнала его немедленно, как дерзкого мальчишку. Только бы его недоставало для Балкан, Стржиговского!

Но когда Георгий Александрович уезжал и наступала ночь, зеленая в луне, со сладостно-шелковым плащом неба, звездами огнезлатистыми, я уходила. И пусть Георгий Александрович читает о спокойной смерти по Сенеке, а Стржиговский беспокоится о Сирии — сейчас весь мир исполнен сладострастия, от несмолкающих цикад, до изливающихся звезд. Любовь сближает всевозможные уста — я тоже жизнь и тоже ласка, я ласкаю и отдаюсь ласкам беззастенчиво и без раскаяний — и пусть же светят надо мною древние глаза.

Мы спускались вниз, в Кампанью, и для нас — была она достаточно просторна и достаточно волшебно восставали призраки, Сабинские горы сиятельные, в луне нежно-белые. Мир был нам благосклонен. Шелковейным ветерком сам целовал нас.

Бледное небо, светло засиневало, когда я возвращалась к вилле Роспильози, в легоньком капотике. Что сказал бы мой Чезаре и моя маркиза вдовственная, приютившая у себя простонародную Венеру!

Но мне сошло все безнаказанно. Никто мне не мешал, и даже, кажется, никто не заподозрил.

Август кончился. Луна ушла, цикады менее трещали, осенние потоки звезд свергались бурно-пламенно. Приехала маркиза. Я горячо ее благодарила. Мне надо было уезжать. И я уехала. Сказала ли я Джильдо что-нибудь? Нет. Просто не пришла. И не видала его больше, и не знаю, огорчился ли он моим уходом или позабыл на следующий день? Но что мне было делать с ним? В Рим за собой везти? Грамоте обучать, Вентури читать вместе?

И вот я снова над Испанской площадью, под тенью красных колоколен церкви Trinitá. Снова я певица камерная, живу вольно. Занимаюсь древностью с Георгиевским, а с композитором разучиваем новые, летом написанные опусы. Небо над палаццо Барберини по-осеннему синеет, но теперь, когда вхожу, солнеч-

ный луч уже отошел от Марка Аврелия — дни стали короче. Слепые дети с тем же изумлением нас слушают, в саду оранжевеют апельсины, как на райских деревцах. Золото света сентябрьского, прозрачность, вкусность воздуха в Риме — не забыть их.

Иногда, если я приходила вовремя, хорошо пела, Павел Петрович водил меня от себя ужинать к Феделинаро, против знаменитого фонтана Треви. Как и в работе, в кулинарии Павел Петрович был взыскателен и аккуратен.

И под неумолчный, мощно-мягкий шум текучей стены Треви мы сидели в узенькой комнате Феделинаро, композитор проверял осьминога, вынюхивал треббиано и орвиетто и ел персики.

— С нового года мы займемся литургией. Там для вас найдется соло. Если только мне не помешают, напишу как следует.

Да, этот старичок так же тщательно и хорошо напишет литургию, как известны его всенощные. Сейчас он сосет персик, а завтра, у раскрытого окна в сад Барберини, погрузится за роялем в отвлеченные мелодии, и горе тем, кто помешает этому занятию.

Но чего же удивляться: я сама! Мог ли предположить Павел Петрович или кто-нибудь из слушателей моих на вечере княгини Д., в прошлую среду, кто я такая, как жила во Фраскати? На какие деньги из Парижа прикатила? Лишь Георгий Александрович знает кое-что. Но он особенный и все поймет. Он как-то раз спросил меня:

— Ну, что же римский пастушок? Забыт? И окончательно?

— Что ж — был, да сплыл.

Неверно было бы сказать, что я его совсем забыла. Дни во Фраскати отошли. Мне вспоминался запах лука от губ Джильдо, бархат глаз бессветных, древний храмик, где он подстерег меня со своей дудочкою. Но время заклубилось надо мною светлым облаком — обращало в миф все прошлое. А в настоящем я по-прежнему ни в чем себя не сокращала. И в промежутках между выступлениями, книгами, музеями я занялась еще занятием — охотой с сэром Генри. Сэр Генри вспомнил, что не только в Риме полагается смотреть развалины, но для джентльменов существует славное занятие — охота на лисиц.

Как некогда Ольга Андреевна бранила меня за замужество, так не одобрил композитор новую мою забаву.

— Что за нелепость! Боже, что за вздор! Вы будете скакать, потом простудитесь, испортите свой голос... кто же мне споет в заутрени? Вы только вообразите: мы разучим, все наладим, и вы... ну, например, ногу себе вывернете?

Он на меня смотрел с тревогой, раздражением. Голову сверну — это бы ничего, если бы голова одна могла спеть новый его опус, но не споет, и это неприятно.

— Нет, полное безумие.

Георгий Александрович взглянул иначе.

— Кровь помещицкая заиграла.

И когда ноябрьскими утрами пред моим отелем появлялся с парою темно-гнедых наездник, то Георгий Александрович, в желтых крагах, куртке и каскетке, заседал уже на сером в яблоках коне — спокойно и непринужденно, точно в жизни тем лишь занимался, что травил лисиц.

Я садилась в дамское седло. Солнце румянило верхушки Trinitá, внизу via Condotti в инее и голубом тумане. Лошади ступают звонко, воздух хрупок, свеж.

А через полчаса мы уж за Римом, на дороге Тибуртинской. Нас встречает там сэр Генри на вороном жеребце. Кампанья в серебре, тиха, чуть курится. А небо еще бледно, неземная ясность в очертаньях гор над Тиволи, на нежной бирюзе. Охотники спускают псов — и начинается игра.

Гончие подымали, борзые травили. Что было, в сущности, мне до мышкующей лисицы, игравшей в солнце на пригорке, будто подметавшей за собой хвостом пушистым? Но, верно, прав был мой Георгий Александрович: степная кровь вскипала — и от гонки не могла уж я отстать. Спокойный, и готовый каждую минуту мне помочь, скакал со мною рядом рыцарь мой, и кажется, если бы случился по дороге ров, в котором можно свернуть шею, он равнодушно и свернул бы, из учтивости и безразличия. То летели мы к берегам Анио и Священной горе — холмику скромному, куда плебеи удалялись, то проносились мимо серных вод, лазурных Aquae albuleae. Останавливались на привале у одинокой фермы с каменным двором, лапчатыми платанами.

Мы проскакали раз и мимо храмика у речки. Вдали паслось знакомое мне стадо, две фигуры вырисовывались. Знакомый акведук, знакомый плющ. Но мне далеки были эти люди полудикие, в кожаных штанах, с палками ромульскими, злобными овчарками. Нет их. Все кончилось в моей душе.

И уж внимание привлечено лисичкою, той самой, что недавно только мышковала и резвилась на пригорке, в солнце, а теперь болталась в тороках наездника.

Так протекало время.

Павел Петрович кончил свою литургию, хор должен был ее исполнить в русской церкви.

В феврале мы принялись за solo. Вновь я ощутила себя в

строгих, сухеньких и крепких руках. Сама музыка — я пела «Верую» — смутила меня важностью своею. Я сказала Павлу Петровичу об этом. Он снял пенсне, протер его платочком.

— А вы что же думаете, литургия — шутка? — Его маленькие глазки, острые и очень русские, блеснули на меня.

— Писать для православной церкви литургию несколько труднее, чем гонять лисиц в Кампанье. Да-с.

Я смолчала и ушла в некой задумчивости. Пою я «Верую», а верую ли сама? Об этом мало приходилось мне раздумывать. И пока романсы исполняла, и любила, и играла в карты, этого не нужно, но когда в церкви... Я как будто присмирела.

Выступали мы постом, на четвертой неделе. Было утро светлое, в перистых облачках, по небу разметана гигантская ветвь мира. Все в церкви легкие, нарядные. Много цветов. Я чувствовала себя тоже чисто, тихо. Мне приятно было видеть здесь Георгия Александровича и композитора моего с видом спокойным и торжественным. Сэр Генри тоже заявился поглядеть, как поют русские.

Мы пели, кажется, на совесть. Помню тишину, коленопреклоненную толпу и легкий лепет свеч, да голубые столбы воздуха с текучими пылинками, когда я начинала «Верую». Да, вот Ты, Боже, в нежном свете ощущаю Тебя, я, предстоящая со всеми слабостями, суетой, легкомыслием моим, но сейчас сердце тронуто, перед Твоим лицом я утверждаю веру голосом несильным, но бледнею, слезы на моих глазах. Вся служба очень взволновала и возвысила меня. Когда мы выходили, композитор подал мне огромный букет бледных роз и поцеловал руку. Я была легка и счастлива. Что ж, все-таки я пела. И не знаю почему, слезы все стояли у меня в глазах, пока я ехала к себе домой, в отель.

Здесь, стоя на балкончике своем любимом, ласкаемая золотистым ветром, глядя на собор Петра за голубеющей завесой воздуха, я вдруг впервые, с болью и до слез мучительно почувствовала — где же мой мальчик? Почему он не со мной, не слушал литургию, не любуется вот этой славой света? Да и кто же я? Почему здесь сижу, бросив семью, родину, мужа, отца, сына? Что я — подданною итальянской собираюсь стать?

Мысли хлынули — сама не ожидала. Я взволновалась, стала ходить взад, вперед и рассуждала полувслух, вообще все было непохоже на обычное мое бытье. В конце, когда поуспокоилась, одно наверно отложилось в сердце: как бы то ни было, а весной здесь не жить и надо ворочаться.

В этом смысле написала я отцу. Отец ответил быстро — один вид русских марок взволновал меня. Знакомым, аккуратным

и изящным почерком писал: «Мы живы и благополучны, желаем и тебе того же. Сын твой растет. Мальчик серьезный, умный, и надеюсь, вырастет серьезнее тебя, займется чем-нибудь полезным. Он учится читать, скоро пойдет на охоту. У меня ему недурно, но не одобряю долгого отсутствия твоего, мальчику надо жить при матери. Маркел работает в Москве, сдает экзамен на магистра. О себе могу сообщить ни больше и ни меньше — я женился, т. е. начал новую тридцатилетнюю войну, которую уж вел однажды и которой ты сама жизнью обязана. Впрочем, теперь будет не так длинно. Имя моей жены — Любовь Ивановна, тебе небезызвестная.— Приезду твоему все рады».

Я вновь отправила отцу письмо — на этот раз толково, обстоятельно. Выходило так, что за границей я усовершенствовалась в пенье, и в России легче мне устроиться.

Теперь стала я спокойней. Ну, значит, и в Россию еду, когда — еще увидим, но, главное, сама поверила, что за границей прожила не зря, в Россию возвращаюсь свободная и крепкая. На Страстной говела, Светлый Праздник встретила легко. Мне вспомнился Маркуша, та далекая Святая, когда мы ходили с ним к Двенадцати Евангелиям, разговлялись на заводе. Как и тогда, теплая, безлунная и тихая ночь была над Римом, я учила сэра Генри нести свечку непогашенной до дома. Он покорно исполнял все, удивлялся у меня в отеле русским куличам и пасхе.

Скоро собирался он уехать — нельзя же опоздать на скачки, дальше — должен плавать у себя на яхте, вообще много дел. Нужно еще посмотреть Ливан, Месопотамию. Также не был он на Яве.

— Вы вот соберитесь к нам в Россию, вот экзотика, вам нужно побывать... и прямо в Галкино, я покажу вам тот народ, что называется *мужик*.

Сэр Генри несколько был озадачен: он в России не бывал, и вдруг почувствовал — да, это промах для культурного и столь серьезного британца.

— Хорошо, приеду.

В мае ситцевая Русь нахлынула в Рим снова, снова Кухов появился их вожатым, и теперь в дело вовлекли Георгия Александровича — он стал главным представителем экскурсий.

Но Кухов был мрачнее.

Встретив меня, осклабился, снял пенсне с угреватого носа, поправил волосы слипшиеся.

— Возобновим знакомство, очень рад. Но теперь я, до некоторой степени, вам подчинен... ну, не вам прямо, а господину Георгиевскому, значит, косвенно...

Глазки его блеснули.

«А зависти ведь накопил порядочно в своих угрях».

Георгий Александрович читал для экскурсантов лекции по искусству и археологии. Делал все добросовестно. В жару пекся на Форуме, объяснял, выслушивал с терпением, не раздражался даже и на Рождество Христово. Я на него посматривала и посмеивалась. «Благотворное влияние Сенеки — сдержанность и кротость!» Но, действительно, профиль точеный и нос прямой, бритая седина делали родственным людям античным. Рядом с ним Кухов со своими угрями — просто дворняжка. Кухов заведывал теперь хозяйством при экскурсиях, не то был интендантом, не то метрдотелем. В сущности, и правильно. Но он пофыркивал.

— А знаете,— сказал мне раз Георгий Александрович,— я Кухову не доверяю.

— Да ведь сами ж вы настаивали, чтобы он хозяйничал?

— Как вам сказать... Когда он рассуждает о скульптуре, это еще хуже, разумеется. Вообще его призвание быть около хозяйства. Но... но и но.

На июнь Кухов, в чесучовом своем пиджачке, с партией экскурсантов — больше барышень, он их обхаживал всегда внимательно,— укатил в Неаполь. Я засиделась это лето в Риме. Почему-то не хотелось мне бросать Георгиевского, и я вообще неважно себя чувствовала — мне было грустно, чаще вспоминался дом и мальчик, Галкино, Маркуша. Одиноко что-то, бесприютно в этом Риме, столь прекрасном, так мне много давшем. Было тут, наверно, и иное. Но об этом поняла я позже. А тогда — некое давление в груди, барометр понизился.

Раз появился у меня Георгий Александрович не в обычный час — около четырех. У меня спущены жалюзи, в комнате зеленоватый сумрак, сильный запах роз — огромнейший букет на письменном столе — я была полураздета и глотала лед с мороженым. С улицы слышала крик мальчишек, но не понимала, из-за чего шум.

Георгий Александрович сел и вынул из кармана лист газеты.

— Ну, Балканы. Плохо дело. Совсем плохо.

Я лежала на кушетке, поболтала кончиком ноги с висевшей туфлей.

— Ах, все Балканы...

Значит, будут рассуждения, политика, мне предстоит прилежно слушать. Да, но, к удивленью моему, все получилось проще. Без особых рассуждений я узнала, что мне надо уезжать — просто в Россию, складывать пожитки, отступать, пока есть время.

— Смотрите, как бы через две недели не было уж поздно.

Это менее всего меня устраивало. Я даже рассердилась. Ну, в Россию ехать одно дело, но бежать, укладываться... Я запахнула свой халат и встала, приподняла жалюзи. Вниз по Испанской лестнице неслись мальчишки, с такими же листами прибавлений.

Георгий Александрович стоял сзади, тоже глядел.

— Ну вот, и начались события. То, чего можно было ждать давно.

Я плохо соображала, только сердце у меня вдруг быстро и мучительно заколотилось.

— Здесь нет вашего батюшки. Быть может, я бы мог вам заменить его. Так вот. Войны не избежать. Россия будет втянута в нее, и чем все это кончится, неведомо. Вы должны проехать ранее закрытия границ. Если б не дела с экскурсиями, я уехал бы и сам. Но мне придется подождать.

Я понемногу стала понимать. Георгий Александрович был взволнован, грустен, но владел собой. Он посидел немного и ушел телеграфировать в Неаполь, чтобы Кухов с экскурсантами немедленно же возвращался. Я не могла уж тоже оставаться безучастной, есть мороженое. Оделась и спустилась вниз.

Обычно в это время в Риме мертво — от жары. Но нынче все переменилось. Много ставень приоткрыто, и такие же, как я, малопонятливые римлянки выглядывают, через улицу перекликаются. У всех одно на устах: guerra, guerra[1]. Кто с кем будет воевать, еще неясно, но уж пробегает дрожь по городу. На via Condotti группы — даже в безглагольном «Café Greco» нынче говор. Корсо же полно, и, как обычно, стоном стонет знаменитое кафе «Aragno».

Я бродила долго. Вечером мы были на балконе у меня, с Георгиевским. Рим, как ковер, лежал перед нами. Георгий Александрович закурил сигару.

— Да, мы люди. И какую суету несем с собой! А Рим лежит, молчит. Он видел столько возвышений и падений, столько власти и безвластия, завоеваний, роскоши, позора, преступлений и триумфов — ныне на его глазах вновь погружается Европа в дикую борьбу, а Ватикан и Форум, Пантеон с такою же седою важностью станут взирать на бесконечное безумие.

— Ну, мой Вергилий, мой учитель,— говорила я,— скажите же, что будет? Что нас ждет?

Георгий Александрович молчал.

— Уже давно я чувствую — мир не в порядке. Мы слишком долго жили мирно, сыто, грешно и скопили слишком много

---

[1] война *(ит.)*.

взрывчатых сил. Смотрите, человечеству наскучило. В крови и в брани новый день. Новый день мира, поклонявшегося золоту. За золото и за машины, власть подымет руку брат на брата — никто, конечно, не достигнет ничего, все проиграют, но уж такова судьба: то, что накоплено — само же расточает человечество, думая, что чего-то достигает.

— Ах, это философия... Нет, вы скажите, что вы чувствуете о себе, обо мне.

— Мне пятьдесят два года. Умру ли я сегодня от какого-нибудь рака, или завтра от миокардита, или послезавтра на войне, не важно. Но вы...

Он встал и повернулся спиной к Риму, взял меня за руку.

— Студент однажды вам сказал, что ветер, яблонка цветущая — вот ваши покровители.— Он слегка задохнулся, крепче сжал мне руку.— Дай Бог, чтобы светлое плетенье жизни вашей...— он вдруг остановился, крепче сжал мою ладонь, и в полумгле вечера почувствовала я, как он как будто бы впился в меня душой. Мне стало жутко. Вдруг он охнул, выпустил мою руку. Вынул носовой платочек, обмахнул лоб.

— Что вы? Что такое?

— Ветер, яблонка цветущая,— пробормотал он.— Нет, ничего, верьте и надейтесь, ну, на... благосклонных гениев... в тяжелые дни жизни.

Так я ничего и не добилась. Никогда я не видела его раньше в таком странном, нервном, чуть ли не пифическом облике. Почувствовал он что-нибудь? Пригрезилось ему? Никогда мне этого он не сказал.

Мы провели несколько дней в предвоенном ажиотаже. И, конечно, вышло, что все опоздали: я, Георгий Александрович, композитор, сами экскурсанты. Война гремела уж, путь сушей был отрезан. Но Георгий Александрович свез нас в Венецию и с великими усилиями устроил на пароход. Накануне отъезда, сидя в кафе «Квадри», в шумной, нервной толпе — иностранцев было теперь мало,— он рассказал мне, что действительно с Куховым вышла история. В Неаполе он получал взятки с ресторана, где кормились экскурсии. Я слушала рассеянно. Хлопанье двери, резкий свет, темнота ночи, пестрота и напряженность возбуждали меня.

— Знаете, что он сделал? Очень странно. Стал передо мною на колени, умолял простить.

Георгий Александрович полузакрыл глаза. Отвращенье беглою струей прошло в лице.

— А когда понял, что простить я не могу, то вдруг стал груб, почти что дерзок. «Ну, теперь война, ищите с меня, там посмотрим, чья возьмет».

— Что ж тут поделать. Он плебей, вы барин. Он давно возненавидел вас, как и меня.

Георгий Александрович опустил голову.

Я недолго просидела в «Квадри». Беспокойно проходила по ночной Пьяцетте, мимо Дожей riva Schiavoni[1]. Шум, оживление и блеск Венеции не вдохновляли меня. Нет, окончилась Италия, наш свет, наша пора, беспечно-бестревожный ветерок. Я торопилась на корабль, маячивший огнями в глубине лагуны.

Утром, нежно-орумяненный зарею, снялся он, и медленно сплылась с чертою горизонта низкого Венеция. Лишь Кампанилла дольше воздымалась — стрелкою острою, да туманел купол Марка. Прощай, Италия! Я не грустила. Но была нервна, возбуждена, как и вчера. Я не жалела ни о чем, ходила взад и вперед по палубе, утренний ветер завивал мой шарфик. Зеленоватая волна разваливалась в легкую, кипяще-кружевную пену. Да, так надо, едем, нет возврата в милый Рим, и впереди Россия, неизвестно что, какая, но Россия. Как встречу я отца, Маркушу, сына? Я не знала, но была уверена, что встречу, пусть других, да ведь и я иная, все идет неудержимо, как клубится белой пеною неумолимый винт, не остановится, покуда не доставит нас в Одессу. «Начались великие события,— ну что ж, мы будем жить во времена событий».

XVI

В Одессе мы расстались. Георгий Александрович остался по делам,— конечно, экскурсантов — а я поехала к Москве и Галкину. Навстречу шла Россия — поезда с солдатами, гармоники, хохот и плач на вокзалах, погоны, лошади, орудия, лафеты, белые вагоны санитарные, хмурые облака, бездомный ветер. Август подвывал — и в полях сжатых, лесах порыжелых, черной в дожде пахоте крепкое было — и мрачное. «Да, это не Рим и не Фраскати, и не пастушонок Джильдо». Я одна сидела в купе синего вагона, — чистая, с духами, несессерами, и барыней глядела на тянувшиеся к смерти караваны. Нет, небезучастно. Я была иной, чем в Риме, но смотрела все-таки как бы с иной планеты.

— Прощай, барынька, ручки беленькие,— помирать едем, мать твою растак,— крикнули мне раз из воинского. Я не смутилась, ничего, народ, конечно, груб, но ведь война...

---

[1] берег Скьявони *(ит.)*.

В Причалах, ближней станции от Галкина,— знакомая мне тройка поджидала. В корню серая кобыла, караковые на пристяжках, и знакомый Димитрий, в красном кушаке, все те же рыжие усы, шляпа извозчичья. Снял ее спокойно.

— С приездом, барыня.

Но кто ж еще в коляске — маленький, с темными глазами, в матросской бескозырке с ленточками... Бог ты мой!

— Я приехал тебя встретить, мама!

Андрюша сказал сдержанно, лишь в глазах какой-то блеск, напряжение. «Приехал тебя встретить» — да ведь он совсем маленький, а не бросается и не кричит, глядит серьезно, кто еще такая эта мама, как с ним обойдется — он меня почти что и не знает.

Я его схватила, обняла, заплакала. Димитрий тронулся степенно, как и полагалось галкинскому кучеру. А я ревела.

— Ты чего же плачешь, мама, я здоров, дедушка тоже, ты приехала...

Он будто удивился даже. Взял за руку, поцеловал, приник. А когда строения Причал были уж сзади и мы ехали мимо крестцов овса, опушкою дубового лесочка, он закрыл глаза, опять погладил руку мне.

— Я очень рад, что ты вернулась. Я очень рад.

И еще тише добавил:

— Ты как раз такая, как я думал.

Он не спросил, где я была, что делала, отчего не писала — он ведь маленький. Глядит, доволен, что вот у него мама, такая, как он думал, настоящая.

— Отчего же папа с тобой не приехал?

— Папы нет в Галкине.

— Где же он?

Андрюша поглядел на меня темными, серьезными глазами.

— Мы получили твою телеграмму, он сейчас же сел, в Москву уехал. Я даже удивился.

Андрюше это показалось странным, мне — не очень. Все же легкая стрела кольнула сердце. Я глядела на знакомые поля. Знакомые крестцы овса стояли, вечные грачи, отблескивая крыльями, обклевывали что возможно, косо перелетывали в ветре. Ветер был прохладный, августовский. Небо в тяжких облаках, и их суровый бег, терпкая острота воздуха, шершавый облик деревушек — все имело вид нерадостный. «Да, это родина, и здесь война, здесь все всерьез».

Но я не пожелала впадать в сына блудного. Не хочет Маркел видеть меня — его дело, я же голову не собираюсь ни пред кем склонять.

Мало изменилось Галкино в мое отсутствие. Так же лаяли на нас собаки, молодые утки в ужасе шарахнулись во дворе перед тройкой.

Димитрий подкатил к подъезду полукругом — не без шику.

Отец вышел меня встретить в валенках, пальто и с палкой — на конце резиновый чехольник. Так же тщательно разглажен боковой пробор, но сильно поседел, осунулся. Болели ноги. Он меня поцеловал, и слезы выступили на глазах. Руки у него старые, мягкие, в мелких веснушках — мне стало жалко этих рук, я их поцеловала.

Он задохнулся, сел на скамеечку у подъезда и замахнулся, ласково, сквозь слезы, на меня палкой. Но тотчас заметил, что у левой пристяжной постромка коротка, и погрозил Димитрию тою же палкой.

— Ноги повыдергаю! Опять у вас Руслан зарубится, э-эх, разбойники!

С Любовью Ивановной мы встретились доброжелательно, все же она в первую минуту чуть сконфузилась — теперь мне приходилась мачехой! Как-то окрепла, раздобрела и заматерела.

Конечно, мы уселись за обед. Отец пил пиво, подпирал рукою голову.

— Скажи пожалуйста, что за чудак Маркел. Вчера вдруг взял и укатил в Москву. Тут за тобой, на мельницу, лошадей нет, а ему в Москву... Фантазеры вы какие-то все, право. Нереальные вы люди.

Он неодобрительно покачал головою.

— Вот и этот шибзик,— потрепал мягкою рукой по голове Андрюшу,— тоже уж, все с книжками, и про войну... чуть сам, что ли, не собирается... Хорошо еще, охотой занялся, к природе ближе.

Отец имел вид человека старого и мало чем довольного. Андрюша молча ел. После обеда он повел меня к себе, по крутой лесенке в мезонин. Одну из двух знакомых комнат занимает теперь он. Стоял тут стол с книжками, висело ружьецо на стенке, патронташ, ягдташ. Рядом карта войны — с флажками. А под ними верстачок, станок для переплетного занятия.

— В другой комнате спал папа. Там ты будешь теперь, правда?

Вечером, когда его укладывала, он опять ко мне прижался.

— Как я доволен, что ты здесь!

Потом сказал:

— Мама, мы победим, правда? Жаль, я маленький, я бы тоже хотел воевать... за Россию.

Долго расспрашивал меня и про войну, и про Париж, Италию — а за кого Италия, за нас или за немцев?

Уйдя к себе, я не затворила двери. Он ворочался, вздыхал, не мог заснуть. Потом затих... А я раскладывала свои вещи в комнате Маркуши. Близ полуночи отворила окна, высунулась. Как темно в деревне хмурой ночью августовской, как тяжко ветер распевает в старых липах и березах. Родина! Тьма и поля, и поезда на запад, к тому краю роковому, где гудит земля в беде.

Ну, ладно, все равно.

Наутро пробудилась бодрой. Серенький, спокойный день взглянул. Рябина закраснела за окном, по тополю гладко-серебристому взбежала белочка и поиграла раскидным хвостом, на меня метнула глазком вострым.

Пахло милой, терпкой осенью. Гудела молотилка на гумне, и мерно-однотонно мальчик вскрикивал на лошадей:

— Эй-й-о! Эй-й-о-о!

Я была снова дома, в жизни крепкой и слежавшейся, настоянной отцовским табаком, серьезной хлопотливостью Любови Ивановны, пропитанной деревней и Россией. Во мне текла помещицкая кровь, мне вкусны были запахи деревенские, и утренние дымки над избами, и туман осенний над ложбинами, и хрусткие яблоки. Хороши сумерки в зале,— мы с Андрюшей у китайского бильярдчика, рассеянно гоняет он шары, позванивая в колокольчик, я рассказываю о Париже, Риме. В столовой, рядом, самовар уже бурлит. Краснеют угольки, клокочет пар, и тяжко, волоча немного ноги, ползет отец из кабинета, после сна. Приносят почту, письма и газеты. Лампу зажигают над столом. В наш тихий круг врывались вести о сражениях и маршах, отступлениях и наступлениях. Андрюша тащил карту, начиналось размещение флажков. И тут мне становилось холодней. Волнение глухое, темное овладевало. Вот мы сидим, в уютном доме, в Галкине великорусском, барственно и крепко, из-под светлой лампы ужасаемся и восхищаемся... Нет, лучше уж не думать!

Так проходили мои дни. В сущности, я не знала будущего. Сейчас я тут, а дальше? Оставаться? В Москву ехать? А Маркуша?

Я не питала теперь уязвленности к Маркуше, явно от меня уехавшему,— здесь в России я почувствовала — он муж мой, почему же его нет, чего ему в Москве сидеть? Я написала — кратко и решительно, что нам необходимо видеться.

Я не ошиблась,— через несколько дней Димитрий выехал за Маркушей.

Маркуша очень изменился. В бородатом плотном человеке в пыльнике, с бровями сдвинутыми (вот Андрей-то где!), я не сразу разглядела прежнего Маркушу. Из тарантаса вылез он довольно грузно. Мальчик бросился к нему, он его обнял и поцеловал, потом меня увидел, улыбнулся, руку крепко мне пожал.

— Ну вот... и встретились... Ты все такая же.

Меня он *не* обнял, не целовал. Я — добрая знакомая. Хоть я и усмехнулась, все же укололо что-то.

Как всегда — вечером сидели за столом.

Андрюша притащил карту, поправлял армию флажков.

— А говорят, папа, ратников всех заберут, тогда и тебя тоже?

Отец щелкал машинкой для набивки папирос. Из-под его пухлых, слабых кожей пальцев — в молодости обожженных кислотой — летели папиросы, медленно и аккуратно. Сидел он крепко, точно сросся с этим стулом, домом и усадьбой.

— Какая чепуха! Война кончится через месяц. Призыв всех ратников. Какая чепуха!

— Я так слыхал в деревне.

Отец махнул досадливо, взял ножницы и стал срезать излишки табаку, торчавшие из папирос. Андрюша замолчал, брови опять у него сдвинулись — как у отца. Я знала уж его теперь: он очень не любил, чтоб задевали.

После ужина ко мне зашел Маркел. Я заплетала на ночь волосы.

— Ну, вот... я, так сказать, явился. Н-ну, приехал. Ты меня звала.

Я рассмеялась.

— Точно так, звала.

— Ты... почему смеешься?

Я уложила косу, взялась за другую.

— Уж очень ты со мною важен... и параден так, Маркел. Ну точно мы великие державы.

Маркуша сел и поперхнулся.

— Великие державы... скажешь... Ты, Наталья, как была, такою и осталась. Ты такая легкая, все вот... летишь, и тебе все равно, людей-то ты... ну, ты людей по легкости своей не замечаешь... Муж ли, сын ли.

Я обрабатывала другую косу. Не спешила отвечать, во многом с ним согласна. Что мне — оправдываться? Не пройдет. Возражать — нечего. Что ж. Такая уж я есть, конечно, я за это время мало о нем думала, но он мне все же свой, должен со мною быть.

Маркуша взволновался, но молчал. Потом вдруг поднялся.

— Я понимаю... ты... ну, со своею легкостью, ты хочешь, чтобы все забыто было, эти годы... и... опять с триумфом въехать к... простаку мужу... опять Маркушею командовать и ездить по концертам, Андрюшу... уезжая, на ночь покрестить, поцеловать... Я знаю, я тебя, Наталья... знаю... Да и приезжай, все к твоим услугам... только все-таки не думай, что уж я *такой* простец Маркушка... я, быть может, вовсе не такой... как ты меня... Приезжай, конечно.

Но тогда я отложила недоделанную косу.

— То есть что ж, ты думаешь, что я вот и поеду, когда *так*...

— Я ничего не думаю, я говорю, что если ты, да... то я... и весь мой дом... Одним словом, можешь всем располагать...

— Покорнейше благодарю.

Да, он довольно больно в меня выстрелил. «Конечно, ты меня и бросила, и мучила, и не могу же я как прежде, всей душой... Но дом мой, и *располагать*... что же, ты мать моего сына, и я зла не помню...»

Я спала плохо, встала мрачная, взяла с Маркелом совсем жесткий тон: гордость пострадала, я не знала, как я буду жить, но никаких авансов предложить Маркелу не могла. Он это понял. Больше объясняться мы не стали. Он уехал вновь, в Москву, к зеленой лампе и Марфуше, я же вдруг решила: ладно, остаюсь зимой в деревне. Пусть, теперь иная полоса, война и горе, будет мне порхать. Не стану петь, начну работать с сыном.

И еще представилась возможность — в селе Красном, неподалеку, открылся госпиталь. Я поступлю туда.

XVII

Конечно, наша жизнь мало с войной переменилась. По-прежнему вставали поздно, сытно ели, вечером ждали газет и с треволнением глядели на военные известия, но треволнения все эти пусты, праздны: кто куда продвинулся, кто сколько пленных взял — потом мы ужинали и ложились спать — с волнением или спокойно, это безразлично.

Мне казалось, что душой я со своим народом, готова разделить его страдания и героизм. Да как-то вот не разделялось! Я чувствовала себя мрачно, находила, что *довольно* пустой, легкой жизни. Димитрий подавал мне тройку, и я ехала дежурить в село Красное — в открывшийся там лазарет.

Эти поездки очень мне запомнились. Суровый холодок, крепко-зеленые одежды всходов, грязь по колеям и небо сумрачное, в тучах — медленная заря проглянет, и грачи завьются над

деревней... О, Россия! Горькое и сладостное, мрак и нежность, будто бы покинутость и одиночество. Потряхивает тарантас, баба с котомкой, палкою бредет, лошади хвостами крутят, грязь разбрасывают из-под ног, и кожей пахнет фартук, ветер дальний, говорит о жизни беспросветной и суровой. Да, это не Рим, и не Фраскати. Что ж, борьба борьбой, так, значит, надо.

У въезда в Лисье помахает мельница гигантскими, печальными руками. Проедем всю слободу Лисьего, и опять поля, опять березы большака, и мрачный ветер, встречные возы груженые, мужики в тулупах. Так — до Красного.

В селе же Красном нам под госпиталь дали школу новую — красный дом одноэтажный с окнами огромными — как станция. Рядом церковь александровских времен, деревянная, с колоннами. Обсажена могучими березами.

Когда я подъезжала к лазарету, в окна на меня глядели лица серые: все как бы страшно утомленные. Кажется, звон колокольчиков моих — и то их утомлял. Я подымаюсь с черного крыльца. На мне грубые башмаки, сверх пальто свита, вся в грязи. Я возбуждена ровно, сильно. Да, здесь я действую, тут надо помогать на перевязках, раздавать обеды, ставить градусники, кое с кем поговорить, ободрить. Я раздевалась в комнате дежурной. Шла в палаты. Собственно, три комнаты, в четвертой все обедали. Помню смутное, но острое волнение первой встречи: вот она и война! Вот те, кто привезли ее сюда, с полей дальних, страшных, в них она, в их грязи, ранах, в их усталости и мрачной тишине. Сначала были хмуры и со мною, но во мне нервный заряд, я излучала его, скоро все ко мне привыкли и не удивлялись — наоборот, бодростью я заражала.

Здесь разные встречались русские, но настоящие, народ. Я помню умного и тонкого Халюзина, с лицом красивым и серьезным, он всегда читал и кутался в шинель: аристократия солдатская — сын мельника. Антошку Хрена — рыжего, смешного и почти здорового — у него палец был поранен подозрительно, как будто бы нарочно. Хрен — развлечение всего лазарета. Как рассказывал! Рассказы и смешные, и свирепые, но все всегда хохочут.

— Яй — ето, на его, сукина сына, бегу, а он, мать его... испужался, едва только в штаны не выложил, и прямым сообщением драть. Но я, мать его растак, за им прямо, и все штыкем норовлю ему в спину. Ан нет, увернулся, только я ему как над задницей чикну, прямо в пердячью косточку, то, прямо сказать, штык в кости и застрянь, а он все бегить и, значит, мине за собой тащить, ах ты, думаю... ты что же, мине прямо в австрийски окёпы заволочешь?

На такой рассказ гремели дружно, лишь Халюзин морщился, плотней в шинель закутывался.

Вспоминаю и Хрисанфа, мужика самарского, немолодого, крепкого, упрямого. Вот Русь! Он мне казался именно Россией, земляною силой. Оторваны два пальца на руке, на перевязках обрезали струпья зеленеющие, с таким запахом, что голова кружилась. Стонал, кряхтел, но с места не сдвигался на волос.

— Что, Крысан, на войне плохо?

— Трижды прокляну ее, проклятую, Наталья Николаевна. Трижды прокляну.

И под шинель ложился, смотрел взглядом молчаливым в потолок. В его молчанье, замкнутости мне тó чудилось, что увидал он там, но рассказывать не хочет или же не может. Трудно с этим жить! Еще один был — Кэлка, финн. Контужен, хилый, нервный человек, с пестрою бородой, всклокоченный, плохо одетый. На всенощной, в субботу, молились все серьезно, он почти всю службу стоял на коленях, плакал, падал на пол.

— Знаете, Наталья Николаевна,— говорил Халюзин,— почему тоскует? На войне крови много пролил, вот подите, щуплый, а троих убил, не может замолить, головой об пол бьется. Зайдите к нему в комнату попозже, перед сном...

Я и зашла. Полутемно, все спят. Босой, в исподнем, Кэлка на коленях. Выставил пятки, ткнулся головой в постель. Бормочет про себя, малоразборчиво и горячо.

Узнав меня, спрятался под шинель. Я подошла, рукой его погладила.

— Вам надо спать. Вам надо хорошенько отдохнуть.

— Ни, ни, не могу отдохнуць, я стал проклятый, у меня подушка кровью пахнец...

Я успокаивала, как умела. Пылающие руки, влажный лоб, растрепанная бороденка... За «великую Россию»! Я стала напевать вполголоса, а он притих. Коптилка-лампочка потрескивала. В большой палате двое не заснули еще, резались в носы. Мне слышно было шлепанье их карт, грубые голоса. Я вспомнила Париж. Представился тот вечер герцогини, под открытым небом, и рога охот старинных, и Диана, нимфы, голубые звезды над Булонским лесом, лебеди на озере... Кэлка вдруг взял меня за руку, погладил.

— Зжена померла, маму померла, один остался, позжалеть некому.

Он помолчал.

— Я на войну боль-се не пойду. Луцьше руки на себя накладу... Покойней, покойней...— он ткнул на себя пальцем,—

когда здесь сидите, только никомю не сказывайте: не пойду я больше на войну.

Я возвратилась в комнату дежурного в волнении. Спать не хотелось. Ветер грохотал, ночь выла страшным и извечным воем. Накинувши пальто, я вышла в сени, к заднему крыльцу — рукой уверенной отворила дверь. Черная тьма ринулась на меня — влажная и душистая, крепко-могучий запах осени. Я знала, эта дверь выходит прямо в поле. И октябрьский ветер невозбранно пролетал над пустынным этим полем, напояя терпким, горьким.

Едва двигая ногами, я прошла дорожкой, к церкви. Здесь шумели в высоте березы, шумом мощным, бесконечным, и торжественная грусть предстала предо мною — в одиночестве и тьме. Я перешла тропинкою канаву и взошла на кладбище. Села на плиту, знакомую, полуушедшую под землю и замшелую. «Никто же весть ни дня, ни часа, егда приидет Сын Человеческий»,— надпись запомнила я еще днем. Великий мрак сошел мне в душу, великая печаль и умиление. Я ощутила сразу всех, и здесь лежавших, упокоившихся под землей, и жизнью наслаждавшихся в сияющих столицах, а теперь, быть может, стонущих в окопах, блиндажах, болотах и вот грозной ночью ждущих смерти. Ощутила и своих Крысанов, Кэлок и Халюзиных, и моих близких — сына, мужа и отца, себя — всех на краю бездонной бездны в черноте ночей и мраке бурь. Вот жизнь! Вот блеск, любовь и красота и наслаждение и трепет... Пусть! Трагедия, но не боюсь. Вот я одна на кладбище, и мне не страшны мертвецы. Если прохлада пробегает по спине,— от великолепия торжественного этой ночи...

Я просидела так довольно долго. А потом то, что хлынуло так бурно и победоносно, стало сваливать, и из хоралов вечности и человечности я, будто просыпаясь, перешла к обыденному. Ясней увидела наш лазарет, тусклую лампочку у Кэлки,— стало мне вдруг близко и понятно, что нельзя надолго их бросать, мало ли — Крысанов застонет, с Кэлкой что-нибудь случится...

И я встала с Апокалипсиса своего, пошла на землю.

У себя в дежурной не могла заснуть. Мерещились то мертвецы, обвалы, взрывы, то Париж блистательный, то солнце в бесконечности Кампаньи.

К полудню приезжала Марья Михайловна, врач,— полная, цветущая, покойная. Халюзину массировали ногу, стригли Крысану палец, перевязывали, бинтовали. Время до обеда незаметно. За обедом вновь я на посту, не обделить бы щами, поровну раздать кусочки мяса. Меня солдаты называли *барыня,* а не сестра. Когда, насытившись, брели по койкам и задремывали, мы обедали одни с Марьей Михайловной, в дежурной.

Марья Михайловна поесть любила. От нее пахло иодоформом, в гладком платье, гладких волосах, глазах красивых было ясное и крепкое. Она обгладывала лапку гуся, мною привезенного, и улыбалась.

— Только вы напрасно горячитесь. Сестре в работе надо быть покойной. Впрочем, вы и не совсем сестра, конечно... вы певица, и вон как солдаты вас называют: барыня. Но вы на них хорошо действуете.

Марья Михайловна никак сама уж не была нервна. Жила уединенно, занималась медициной, девочкой своей, читала Михайловского, и когда разбаливались ноги у отца, ездила к нам в Галкино. Отец благоволил к ней. Я уж чувствовала. И теперь он наказал везти ее с собою, непременно.

Часам к трем меня сменял фельдшер, у подъезда же позванивала бубенчиками тройка. С Димитрием нам высылали свиту и тулуп. Закутанные, грузные, садимся. Проезжаем мимо церкви с древними березами и мимо кладбища, где я сидела ночью. Теперь все трезво, крепко. Чуть морозит. Грязь застыла, летит несколько снежинок. Острый и холодноватый наш октябрь! Усталость бодрая, и в сердце грусть, к кому-то нежность.

XVIII

Мы катим большаком. Потом бросим его, извивами проселков, средь полей с не убранной еще и бурой викой, деревушками, где на заре осенней бабы белят на пригорочке холсты и овцы трутся о плетень, под монотонный гул от молотилок по гумнам, мимо полыни на межах, в круговороте вечно-однообразном стай грачиных на закате, мы выедем, наконец, к парку, что напротив Галкина. Отсюда развернутся и луга. Холодным серебром блеснет пруд за плотиной, и вдали — на взгорье дом наш, огонек уже зажегся: может быть, Андрюша у себя раскладывает карту, за войной следит. Да, это мирный и привольный угол, теплота, уют. Неужели только час назад была я с Кэлками, Крысанами и Хреном? Неужели здесь хоть капельку похоже на войну — у мельницы с подводами в муке, вдали, где завились дымки над галкинскими избами, или в нашем доме, крепко средь дерев залегшем?

Когда мы подкатили, у подъезда, в сереньком пальто на беличьем меху, сидел отец. В корзинке два прекрасных, запоздало-золотистых и прозрачных яблока. У стены снималка — шест с чашечкою проволочной на конце. Отец любил выйти в садик пред своим окном и добирать снималкой с верхов яблоки, там уцелевшие. Теперь поднялись, опершись на палку с наконечником резиновым, и улыбнулся нам, раскланялся.

— Перебирались бы к нам зимовать,— говорил докторше в сенях, снимая с нее свиту.— Солдат вы всех не перелечите, кому назначено, тот выздоровеет, а кто помрет, тому вы с вашей медициной не поможете.

В столовой, в сумраке синеющем, самовар клубил белó, и огоньки в его подножье красно золотели. Как-то самоочевидно появились щи горячие, пирог и ростбиф, самоочевидно надо было есть. Марья Михайловна облизывала губы нежным язычком, и с аппетитом занялась едой. Отец сел, как обычно, на конец стола, за пиво, и подпер ладонью голову.

— У меня был доктор, кум, всегда мне говорил: не пей, кум, вредно.

Марья Михайловна подымает ясные свои глаза.

— И совершенно прав был доктор.

Отец берет ее за руки, греет в ладонях теплых, слабокожих.

— Сам же, разбойник, выпивал отлично, а другим мешал. И все вы доктора — такие.

Все это старое, знакомое. И кум, и доктора, и все рассказы мы слыхали — древняя Россия!

Зажгли лампу над столом, висячую, с зеленым абажуром. Вечер деревенский, тоже древний.

Прогремела тележонка — подкатил Степан Назарыч. Такой же рыжеватый и глубокомысленный, так же знает все, глазами так же все *значительно* поводит. Куртка, сапоги высокие и руки в волосах рыжеющих.

Принесли газеты, письма и зеленые квитанции от молока.

— Ах вот, само собой понятно, и газеты, как бы говоря точнейшие военные известия. Интересно бы проверить. От вернейших людей слышал, мы уж на широком фронте — чтобы выразиться последовательно — перешли германскую границу за городом Лодзью, то есть,— он страшно выкатил глаза,— война близится к совершенно естественной развязке!

Отец надел пенсне, стал разбирать квитанции. Андрюша занялся войной.

— Что, юноша,— спросил Степан Назарыч,— как получается у нас относительно армии?

— Лодзь отдали.— Андрюша хмуро протянул ему газету.

В одном из писем мне сообщал Георгий Александрович, что с отрядом Земского союза он уехал из Москвы в Галицию.

Отец не похвалил.

— Рембрандты, Рафаэли разные там не нужны. Чего ему на войне делать?

— Напрасно ты так думаешь. Он в Риме нас отлично всех устроил, вывез, очень энергично...

— В Риме... То, брат, в Риме... А сюда к нам в белых брюках прикатил.

Отец пустил кольцо дыма табачного, полузакрыл глаза, и выразил всем видом скепсис крайний.

— Аптечки и библиотечки... Неосновательные люди.

Степан Назарыч крякнул.

— Н-д-да, господина Георгиевского я даже очненно хорошо знаю.

И длинно завел о Лоскутной, о Гучкове и Голицыне... Потом о *подлости* народа.

— Мужик — я прямо доложу без особых соображений экстренности — стерва. Пакость он вам сделает охотно — это безо всяких, поджечь порядочного человека, свистнуть там, что можно, а чтоб родину свою защитить, то на это, извините, в случае дальнейшего движения ему наплевать. К примеру, *наши* мужички, сказать бы, местные: послушать их, все баре виноваты. И на войну-то баре не идут, и все наборы будто бы для них, то есть, так говоря, для мужиков. А между прочим, первые ж они в плен и сдаются. Вы полагаете, у нас тут многие убиты? То говоря без преувеличения наличного состава факта — все в плену. Полками цельными сдаются.

Степан Назарыч вновь грозно выпучил глаза, и будто огорчился, что не много наших перебили.

Он просидел еще часа два с лишним, непрерывно разглагольствовал и всех замучил. Я пыталась играть в зале на рояле, разбирала ноты — время медленно тянулось. Долог вечер деревенский. Значит, и Георгий Александрович там же, на полях ветров смертных, где перебывали и мои Крысаны, Хрены, Кэлки. Может быть, он эту ночь так же провел, как я?

Я подошла к роялю. Почему-то я сыграла маленькую вещь Шопена, Польша мне представилась и мрак, свист ветра и атака кавалерии.

После ужина Люба села с отцом рядом за пасьянс. Было тепло. Лампа светло светила, лишь зеленый абажурчик заслонял отца. Карты складывались бесконечно и колоннами раскладывались, отец ворчал, критиковал Любино дело — она же тасовала полными руками, в кольцах ярких, маленькие карты. Жизнь, мир, война, трагедия?

Валеты, короли и тройки, дамы и десятки выходили, уходили и слагались в новые узоры. Самовар тихо поклохтывал. Мы с Марьей Михайловной стояли, прислонившись к изразцу печки.

Кто из Кэлок погибал в тот час? Мы грелись. Кто-то умирал.

XIX

Я проработала до Рождества. Пред Рождеством свернули лазарет, перевели в уездный город, верст за тридцать. Я осталась ни при чем. Могла б поехать и на фронт, но не поехала.

Я находилась в странном положении. С Маркелом мы как будто вовсе разошлись. Петь я не пела, выступать мне не хотелось. Даже в лазарете, для солдат, я не устроила концерта. О своей карьере я сейчас не думала. И склонна была к меланхолии, казалось погребенной в этом снеге — вкусном и чудесном, но таком холодном, таком белом!

От Георгиевского не получала писем и иной раз думала — да не убит ли он уже там?

Рождество мы проводили тихо, хотя елку сделали, и деревенские ребята были у Андрея в зале. Я охотно зажигала свечи, теплый запах воска тающего, хвои, милый свет златистый, на верхушке ангел — в этом есть простое, кроткое и вечно трогательное. Дети веселились. Люба, разумеется, хозяйничала, отец острил с Марьей Михайловной, а две девицы Немешаевы, веселые помещицкие дочки по соседству, танцевали со студентом. Я им играла. Но сама не танцевала, не очень было ясно на душе. К счастью, Степан Назарыч, в уголку бубнивший новому учителю и страшно на него глаза таращивший, меня не осаждал.

— Так что наши, так бы сказать, отборные части, короче говоря орлы, в соответственном наступлении действия безусловно взятием Эрзерума угрожают турецким ком-муника-циям!

Я уже слышала об этом и читала. Наши радовались, Андрюша с гордостью переставлял флажки, да и мне нравилось, что победили наконец Крысаны вековых врагов. Но иногда в метельный, святочный денек, бредя пред сумерками по ложбинке в роще Салтыковской, где на дубах кой-где звенел буро-засохший лист да заяц пролагал стежку звездистую, я представляла вдруг ущелья в горах, орудия, обозы, и засыпанные снегом трупы, и резню в метель, вой, стоны... Нет, победы уже победами, но не мое это, не моего романа, и пора кончать.

Так думала я, в легкомыслии надеясь, что все скоро кончится, и так же — легко и текуче, в музыкальной взбодренности, я встречала новогодний месяц, пробегавший над березами и тополями нашими в волнисто-жемчуговых тучках. Его свет, мреянье пятен, через тучки от него скользивших по снегу,— это мое, мне близкое и дорогое. А Крысаны, трупы изуродованные, турецкие ли, наши...

Мы не встречали вовсе года нового. У себя из мезонина послала я месяцу скитальческому одинокий привет.

Но далее, в днях года нового, со мной случилось происшествие: я получила весть от Маркуши, из Москвы. Просил приехать. Я необходима. Вот так раз!

Я колебалась, но потом — что ж, мы в Москву поедем, если нужно, и людей посмотрим.

Утром вышла в Москве на вокзале, извозчик с синей полостью вез меня переулками Замоскворечья, мимо заснеженных особняков, с галками, взлетающими с тополей в инее, осыпая серебро: все тихо, вкусно, дымок, дворники и булочники... Дальше попадались лазареты с Красным Крестом. Что-то волновало, возбуждало меня глухо.

В «Метрополе» я остановилась в теплом номере с окном зеркальным.

Через час Маркел ко мне приехал. Он имел вид удрученно-путанный, сел на край кресла, говорил сбивчиво, и что-то между нами чувствовала я: будто бы мы чужие, но и связаны. Это меня стало раздражать.

— Да ты говори прямо, для чего я здесь? Зачем ты меня вызвал?

Маркел загорячился и вспотел, взялся доказывать, что я неверно поняла в Галкине его, что ему трудно без меня, и вот он хотел видеть... только он не понимает, почему я прямо не проехала к нему, зачем гостиница...

Маркел недолго пробыл у меня, расстались мы неясно, оба как бы недовольные, холодновато: но вечером уговорились идти на «Кармен» с Костомаровой.

Вечером встретились, в партере. Театр по-прежнему был грузен, пышно-красен, пышно-золотист. Но на креслах — кроме обязательных купчих замоскворецких, молодых лабазников и адвокатов, много форм военных — бесчисленные пропорщики, земгусары и врачи. Гимны чуть не всего света слушали мы стоя, хлопали, и многие считали, вероятно, что и мы поддерживаем войско и союзников.

Костомарову я узнала сразу. Со времени юности она выросла в пении и раздобрела телом. Главная черта ее осталась — дисциплина. Выстаивала с добросовестностью, лицом к публике, все арии свои, проделанные с ясностью и чистотою богатейшими. Все что угодно было в ней, кроме Кармен.

Маркуша мрачно пыжился. Меня не раздражала Костомарова. Напротив, мне казалось, что ее спокойствие и скромность более приемлемы сейчас, чем шик купчих, смокинги адвокатов, чем сама я, неизвестно для чего явившаяся и что делающая.

В антракте Блюм бархатно-ласковый поцеловал мне ручку. Он, как всегда, румян, красив и оживлен, с легким серебром в кудрях.

— А-а, милая, из достоверного источника! У меня в штабе знакомые. Перемышль сдается, к весне конец кампании! Все предусмотрено.

Были и еще знакомые, все будто бы обрадовались, что в Москве я снова. Встреча с Женей Андреевской странно на меня подействовала. Мы расцеловались. Женя вспыхнула слегка, за нею я увидела девушку лет восемнадцати, с лицом изящным, нервным, бледным. Белые цветы были приколоты на ее груди. Женя познакомила нас — ее звали Душа, Женина племянница.

Душа как-то побледнела, поздоровавшись со мною, темные, с обводами, и как бы утомленные ее глаза слегка затрепетали.

Андреевская блеснула взором зеленоватым, ловкая и гибкая, тоже развивавшаяся за годы эти, и захохотала.

— Ну, милая моя, ну и Кармен... Отроду не видала... Это, я тебе скажу, и не в Большом театре, а ты объехала чуть не полсвета,— она метнула легонькой улыбкой,— второй такой не видела. Да, а куда же твой Маркел девался?

Маркела, правда, не было. Далеко, в дверях, мелькнула мне его фигура — путаница волос на голове и борода мужицкая — но на мгновенье.

— Ну, ладно, бесконечно рада тебя видеть. Этот вечер проведем вместе, вот позволь тебе представить, это меценат наш, добрый малый, это наш Оскар Оскарыч.

Мне поцеловал руку молодой еще, но лысый человек в пенсне.

— Специалист по меховой торговле,— объяснила Андреевская.— И не дурак выпить.

Оскар Оскарыч поклонился, бело-одутловатое лицо его слегка порозовело. Решили ехать ужинать. С Оскаром Оскарычем Андреевская распоряжалась как с предметом, но Маркел мой, *мой* предмет, сбежал. Когда поднялся занавес, в полутьме зала потухшего он оказался рядом, вид имел взволнованный, расстроенный. Бедную Костомарову зарезал Хозе, и она упала так же добросовестно, как и вела себя весь вечер. А потом с улыбкой, и слегка похрустывая корсетом, выходила кланяться. Я сочувственно глядела на ее крепкую фигуру: родить бы ей троих детей, работать по хозяйству и в свободную минуту дивным голосом петь у рояля. Она напомнила мне нашу юность — я ей аплодировала.

В «Прагу» мы попали без Маркела. Было так же шумно, светло и душисто, как и раньше. Нежные цветы и скрипки, золотой свет, белые официанты. Вдалеке, я видела, Блюм разглагольствовал за столиком с военными — наверно, взял еще две крепости. Оскар Оскарыч распоряжался основательно. Мы

ели удивительную пражскую селедку, моченную в молоке, блины с чудесной семгою, икрой, сметаной. Шампанское нам холодили.

После второй бутылки Женя наклонилась ко мне близко.

— Скажи, ты ведь с Маркелом вовсе разошлась?

Я посмотрела на нее спокойно.

— А тебе зачем?

Она как будто бы смутилась.

— Да видишь, тут... одно такое дело вышло, тонкое... Но чтобы говорить с тобой, мне надо знать, как ты относишься...

Я налила себе вина.

— Мне можно все решительно рассказывать, что интересно.

В Жениных глазах зеленых что-то промелькнуло. «Ну, мы посмотрим еще, очень интересно или нет». Пахнуло холодком ее всегдашним. Но тотчас же вновь лицо блеснуло — светом и улыбкой.

— Тебе все можно говорить, ты ведь особенная.

Я промолчала. И я пила теперь не так, как прежде, что-то лживое и острое просачивалось в душу, замутняло.

Мы сидели долго. А потом Оскар Оскарыч нас повез в автомобиле за город. Автомобиль шипел, разбрасывая комья снега отсыревшего, черный ветер оттепели налетал в окно, накидывался яростно, душисто, трепал зелень газа в фонарях и мчал нас к «Жану» за заставу. Тот же ветер гудел месяцы назад в березах Красного, над кладбищем и лазаретом, в том же мраке изначальном я дышала и сейчас, неслась в автомобиле спекулянтском в ночь грозной войны к жалким утехам. И когда в отдельный кабинет нахлынули цыгане, азиатскою тьмой залили, завели хор пронзительно-рыдающий; и всюду видела я эти лица темно-карие с белеющими зубами, то и сама чуть не взревела.

Мы возвращались к четырем. У самого подъезда «Метрополя» Женя вдруг сказала:

— Я к тебе зайду. Не хочу домой.

Оскар Оскарыч возражать не смел. Покорно снял котелок свой, над столь раннеоблетевшей головой, и красными губами на лице пухло-белом приложился к нашим ручкам.

XX

Андреевская сильно выпила, я тоже, но сегодня вино мало веселило, весь визит казался мне ненужным. Женя легла на диван.

— Меховщик Оскарыч надоел мне, прямо надоел... хотя и говорит, что мы театр свой заведем. А может, врет? А? Ты не думаешь? Я просто к жизни отношусь. Срываю, где могу, и

пробиваюсь. Я авантюристка и пролаза, если и с театром не наладится, с гастролями, открою оперетку, буду офицеров, гимназистов обольщать.

Я разделась и легла. Но не тушила маленькой лампочки у кровати. Закурила папиросу.

— Наш театр должен передвижной быть... ну, для прифронтовой полосы... развлекать здоровых и больных, раненых и... тех, что завтра помирать пойдут. Да... так я и хотела говорить с тобою,— Андреевская будто спохватилась,— вот и помоги одной тут девушке, ты нынче видела ее в театре.

— Если смогу...

Андреевская вдруг захохотала, и довольно дерзко.

— Если ты женщина занятная, как утверждают, то поможешь.

Меня несколько раздражил смех ее.

— Да чем помочь-то?

— Ну, слушай. Душа есть племянница моя, курсистка, мы курсó их называем. Курсó, курсó, имела эта самая курсó неосторожность познакомиться с твоим Маркелом. Что там между ними было, я фонариком не светила... и оно бы ничего, но дальше и пошла ерундистика. Что Маркел при всей как будто добродетельной наружности слизнул девицу, это бы и ничего. А мало того, что слизнул — впал и во мрак, в терзательное состояние, что вот он этакий, а не такой, и тут ты появляешься, значит, любит он тебя, и без тебя жизнь расклеивается, а ту целует, стало быть, преступник пред обеими, одним словом, девушку извел, о тебе три короба наговорил, у бедной Душки в голове такая чепуха, что уж теперь кажется ей — и она что-то роковая, тоже в чем-то виновата, одним словом, вздор дичайший. Идиотка, дура, но ведь восемнадцать лет, курсó, пойми.

Вот это очень мне понравилось. Дипломатия ресторанная, цыгане и ночное посещение,— и все из-за того, что я должна улаживать сердечные дела девчонки мне неведомой с собственным мужем. Браво, Женя Андреевская!

Теперь я захохотала — дерзко, зажгла новую папироску.

— Что же, мне бежать к ней и доказывать, как она счастлива с Маркелом может быть?

Андреевская несколько смутилась.

— Нет. Ты не поняла, не бежать, а я сказала тебе потому, что я... считала, что ты выше этих слов *муж, мой*... а она сама с тобою очень хочет познакомиться... потому что ты так... вдруг неожиданно между нею и Маркелом встала.

Мне становилось, правда, даже любопытно. Я глядела на знакомые зеленые, сейчас чем-то заволокнувшиеся глаза Андреевской, на ее полураздетую фигурку, что выглядывала из-под

одеяла и имела выраженье: смеси дерзости и неловкости. Лампочка на столике моем светила мягко под зеленым шелком, в комнате тепло и тихо тишиною глухой ночи. Я вдруг почувствовала себя холоднее и покойней.

— Да, но меня-то именно не занимает ни Маркел, ни твоя Душа, ни их сложности — Господь с ними, сами влезли, сами и пускай расхлебывают...

— Ну, нет, опять не то, конечно сами, но я думала, что ты войдешь... если бы ты была мещанкой, я не говорила бы...

— Просто мне неинтересно это.

— Ах, тогда другое дело.

Мой тон будто подействовал.

После нескольких фраз она замолчала вовсе. Мне тоже не хотелось говорить. Думаю, Жене нравилось бы несколько задеть и потерзать — я раздражала ее чем-то, но, увидев, что не удается, она спасовала.

Я потушила свет. Женя вертелась долго — в темноте спросила, не сержусь ли я. «Спи, не сержусь, все глупости».

Но я немножко и играла. Я тоже не могла заснуть — во мне сидела нервная тревога. Старалась ее побороть — не выходило. Была уязвлена? Роман Маркела с юною курсисткой, путаница, и меня зовут... Зачем же разговоры в Галкине? Торжественная поза? Значит, они вместе сговорились меня вызвать... Ладно. Только б *эта,* тетушка, ничего не заметила.

И я притворялась спящей, а сама вздыхала. На рассвете, когда серо-синеватый сумрак заклубился в комнате, я поймала самое себя на мысли: что же, мне Маркел не безразличен? И Париж, и Рим, и все, что было, а теперь вот, в предвесеннюю ночь московскую, я лежу чего-то ради в теплом номере отеля и не сплю? Какая глупость!

Поднялись мы с Женей поздно, хмуро. Я играла в простоту, любезность, но была довольна, когда Женя от меня ушла. У меня от ней осталось ощущение нечистоты, и с удовольствием открыла я окно, вдохнула воздуха, простого, бедного, но свежего московского.

Донеслась музыка военная. По площади, шагая тяжело, в походном снаряжении, с мешками и топориками, и лопатами, шел батальон запасных, видимо, на фронт. Шел *мой народ,* все так же помирать, как помирали уже тысячи, в угрюмой сдержанности, предоставляя остающимися и заработавшим на меховой торговле катать в автомобилях, пить вино, разыгрывать психологические положения.

Но, кажется, об этом я не думала тогда, а так, смотрела с грустью, непокойно было у меня на сердце.

Беспокойство продолжалось целый день. Я вновь обедала одна, потом ко мне зашел Маркел. Я плохо его восприняла, тускло и туманно. Наш разговор был тяжек. Маркелу трудно говорить, я неохотно отвечала, и волнение меня томило. Я загляделась на рукоятку ножа разрезального, слоновой кости, узор листа привлекал взор почти магически. Наконец подняла голову.

— Маркел, мне нужен адрес Души.

Он повернулся в кресле, кресло затрещало.

— Зачем тебе адрес?

— Нужен адрес.

Он поднял на меня глаза. Я подала клочок бумаги, он покорно написал неровным почерком: «Пречистенка, 17, 8».

— Ты, значит, знаешь...

Я надела шляпу, быстро сняла с вешалки пальто.

— Ну, а теперь я ухожу, прости.

И правда, я ушла.

Я смутно помню, как искала в сумерках дом на Пречистенке, взлетела во второй этаж, и очутилась в скромной комнатке курсячей с белою кроватью, книжками и фотографией Толстого босиком. Помню испуганные Душины глаза, беспомощный жест рук. Нелепость моих слов, нелепость всей моей затеи и восторженное сумасбродство. Помню, что она вдруг ослабела, поддалась, в глазах ее мелькнуло то же самое безумие, что у меня. Если б теперь, спокойным взглядом я могла взглянуть на этот эпизод — улыбка бы, наверно... Мы плакали и наговорили безнадежный вздор, мы убеждали каждая другую, что ей именно и надо быть с Маркелом, что ее по-настоящему он любит. Как сладострастно остр отказ от того, что стало дорого как раз теперь... Так же ли и Душа чувствовала? Может быть, и может быть — сильней, чем я. Но за меня был натиск, инициатива, опытность.

Мы ничего, конечно, не решили, я узнала только, что роман их краток и решителен, по словам Души — лишь каприз Маркела. Я же была убеждена, что именно ее Маркел по-настоящему теперь полюбит: вспоминая нашу жизнь с ним, ужаснулась, как была виновна. И теперь я буду на нем виснуть камнем? Никогда!

Я доходила и до мысли: если бы он изменял мне не однажды, это бы доказывало только, что душа его незаурядна и отзывчива на красоту.

В театре я не присмотрелась к Душе. Но теперь сочла ее прелестной, уж куда мне... И тотчас же появился у меня к ней интерес почти болезненный. Уходя — о ней думала более, чем

о Маркеле. Ночью видела ее во сне, привиделись ее темные глаза на бледном, нервно-утомленном и девичьем остроугольном лице. С этого дня началась новая моя эскапада...

Просыпаясь утром, я звонила ей по телефону, узнавала, что она идет на лекции, тогда я спрашивала, когда лекции кончаются, и на извозчике ждала у женских курсов. Вместе ехали обедать в «Прагу», в «Метрополь», пили вино, я хохотала, пожимала незаметно ее руку. Душа же конфузилась, но была нежно-ласкова. На урок я отпускала ее и одну, по вечерам в театр шли вместе. Днем заходили иногда в кафе «Сиу», сидели среди бриллиантов и мехов и бесконечно говорили. Мне интересно было все: и как росла, и юность, вкусы, нравы, взгляды. Кажется, она жила в те дни под магнетическим моим влиянием.

Знакомые на меня удивлялись — что, влюбилась я? Горю? Откуда это? Я же хохотала — да, влюбилась, разве мне впервые?

И дни мои неслись. Я ездила по магазинам с Душей, покупала ей духи, чулки, цветы, нежничала, целовала. Жила как будто тремя жизнями: своей, Маркеловой и Душиной... С Маркелом я была теперь кротка, приветлива, как с тем, чьего счастья более всего хочу. Кротостью отвечал и он, я не могла не ощущать его внимания и нежности, как бы расплавленности некоей духовной. На мою влюбленность он смотрел покорно, и как будто изумленно, но тем изумлением, которое все принимает.

Душа в первые дни вся была в моей власти — ничего не понимала, ни о чем не думала, но не спала, худела. Я сгорала тоже. Я не могла уже ходить покойно, говорить покойно, спать, и если дела не было, то просто бегала по улицам, чтобы развеять нервность.

Раз я стремилась так к дантисту — мартовским и оттепельным утром. Тротуары мокро леденели, дворники кропили их песочком. С крыш капéль выдалбливала родную каемку ямок. Опять войска прошли. И вдруг раздались крики, выскочило несколько мальчишек с прибавлениями газет, их вырывали друг у друга, кто-то закричал «ура!» — пал Перемышль. «Мир, мир!» И я рубль сунула подростку, я узнала, что австрийцы отдали нам крепость. Скоро зазвонили и в церквах. Казалось, вся Россия загудит от звона колокольного, от звона мира и победы. Слезы мне туманили глаза. На углу Машкова переулка, где дантист мой жил, я обняла хромого инвалида и поцеловала его в щеку острощетинистую.

— Мир, победа, Перемышль взяли!

Инвалид не понял ничего сначала, а потом снял шапку, закрестился. Постучал деревяшкою по тротуару, хлопнул шапкой по больной коленке.

— Вот она, ноженька! Послужила...

И заплакал. У многих были слезы в этот день, многие, как и я, поверили, что вот теперь уж мир, и кончится вся эта война. Вечером мы заседали в том же самом клубе литераторов, где некогда я выступала, в карты резалась с Александром Андреичем. Теперь большие залы были заняты под лазарет. В карты не играли, ресторан теснился в небольшой комнате. Было накурено, но весело, все в возбуждении, официанты подавали коньяк в чайниках. Пили за войну, победу.

Блюм чокался и блестел миндалевидными глазами, ласково-бархатными.

— Так ведь я же знал заранее! А-а, ну у меня же знакомые в штабе.

Я очень рада была встретить здесь Георгиевского, в военной форме, как всегда, слегка подтянутого, выбритого, суховатого. Он поцеловал мне ручку, и церемонно, как бы чуть пытливо поклонился Душе.

— Вы цветете все...— он чуть прищурил глаз, когда я полуобняла Душу.— Цветете и пылаете, легко смотреть на вас.

А через несколько минут говорил:

— Я с фронта и попал к вам на победу, на такое ликованье... Колокольный звон, все адвокаты и зубные врачи пьют коньяк, но если говорить по правде, положение-то наше ведь трагическое...

Однако в этот вечер — в первый раз — я не поверила ему. То ли мои нелепые влюбленности, то ль слезы утром, инвалид, колокола, память о Кэлках и Крысанах — так хотелось мне конца, счастья, покоя, что слова Георгиевского никак не действовали.

На этот раз мы долго не сидели. Георгий Александрович не без изумления взглянул, как я поехала на санках, по сколотому льду, лужами оттепели московской провожать Душу. Но изумился лишь мгновенье — он обучен уж давно.

Душа явно загрустила. Когда мы поднялись по скромной ее лесенке, она вдруг обняла меня, заплакала. Я стала ее целовать.

— Не надо, нет, не надо...— Душа в слезах бормотала.— Это все не может так... Невероятно, невозможно... Оба вы меня забудете и бросите, и очень скоро... Маркел меня уже стесняется.

— Я тебя не забуду,— крикнула я в исступлении.— Я без тебя жить не могу.

Но Душа плакала и слабо отвечала поцелуям моим, а как только дверь открыли, она бросилась в нее, захлопнула за собой.

Я шла домой в волнении. Ветер мартовский трепал мне платье, волосы... Если бы я начала думать, неизвестно, как бы я решила жизненный свой путь, но я не думала, а шла, в потоке чувств и странных треволнений.

Я поздно возвратилась в свой отель.

Прогулка, ветер, одиночество и ночь освежили меня. Раздеваясь, чувствовала себя бодрой, надышавшейся весенней влаги.

В утренних газетах — я читала их в постели, с кофе — было много про победу, но про мир ни слова. Мозг мой действовал отчетливо, вообще я точно стала здоровее, проще. Ну, конечно, все вчерашнее, колокола, восторг, инвалид, клуб литературный — все фантастика, бред общий. Никакого мира, все вообще идет, как полагается. Я со странной трезвостью смотрела, как текли капли дождевые по зеркальному стеклу окна. «Еще немного, в Галкино уж не проедешь,— почему-то проплыло в мозгу.— Да ведь я, кажется, не собираюсь?»

В это утро я впервые — после ряда дней — почувствовала равновесие. Да, это я, живу, спокойна, весела. Идти мне никуда не хочется, не стремлюсь видеть никого. Обычно в это время я звонила Душе, но сегодня именно не позвонила. И еще: меня как будто удивило, почему я здесь, в отеле? Вспомнилось Галкино, отец, Андрюша — Боже мой, ведь я покупок еще никаких не сделала. Что за свинья! Не могла мальчику свезти подарков.

Весь этот день я занималась собственными мелкими делами. На другой — мы с Душей встретились. Я была с ней очень ласкова, я подарила ей огромного слона — на счастье. Душа мне казалась страшно милой и застенчивой, я помнила ее слезы в день Перемышля.

— Тебе со мною скучно? — спросила она вдруг и улыбнулась.

— Что ты, что ты...

Я смеялась и была оживлена, мы пили кофе у «Сиу». Но нежный и слегка задумчивый налет — печали — я почувствовала в душе. Она подняла на меня темные свои, усталые глаза.

— Наталья, ты теперь какая-то другая.

— Чем другая?

— Ну... ты спокойная и светлая. Как будто выздоровела.

Я возражать не стала. Правда, возражать мне нечего бы было.

И так же я была покойна, когда через два дня, перед вечером, ко мне зашел Маркел. Он вид имел серьезный и торжественный. Только борода такая же все путаная, на пиджаке пух, ботинки рваные. Как всегда, в кресле ему тесно, повернется — кресло крякнет.

— Видишь ли, я, собственно, вот что... тово... считаю это все ненастоящим...

Я захохотала.

— Маркел, ты предложение мне делал, на заводе, помнишь? И совсем такой же вид имел.

— Нет, стой... я хочу... я, разумеется, как говорил уже... перед тобой виновен... какой бы я там ни был... я не совсем... то есть меня не совсем так считают, как я есть... и я перед тобой грешил, и мой последний грех...

— А, перестань ты о грехах, пожалуйста. Подумаешь, какому ангелу, ребенку, объясняет...

Я рассердилась. Все эти самоязвленья — чепуха, нелепость.

— Ну, мой последний грех есть Душа... Но дело-то все в том, что ты теперь... ты с Душей носишься... и эти нервы, и волнения... ведь это все так... так, одним словом...— он остановился, посмотрел на меня, пошевелил плечами, как будто ища слов.— Давай уедем вместе в Галкино.

Я подошла совсем близко. Он на меня смотрел упорно и подавленно, тяжко дышал.

— А помнишь, как ты говорил со мной в деревне? *Как* меня приглашал в Москву?

— Я очень был тогда... задет... тобою.

— И потом с Душей утешился?

Он молчал. Я засмеялась — смехом ровным и незлым.

— Значит, ты второй раз предложение мне делаешь?

Не моргая, все на меня глядя, он кивнул.

— Поедем.

Мне стало весело, легко, смешно. Я обняла голову его, поцеловала большой лоб, милый и нелепый, умный и кудлатый, с юности родной. Маркел ко мне прижался, всхлипнул. Я заплакала.

Так кончилась вся эскапада моя, о которой вспоминаю как бы из другого века. И правда, то был век иной, и мы были детьми. Но из того, что далека молодость, не скажешь, что и не было ее, и еще меньше — отречешься от нее.

Мы из Москвы уехали действительно. Действительно, я скоро позабыла Душу. Действительно, мир той весною не был заключен. Действительно, наши дела военные шли горестно. Весною нас разбили, и все Галкино привольное было полно стонов войны.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В один мне очень памятный июльский вечер мы, как обычно, ужинали на балконе. Как обычно, свечи в колпачках горели, освещая свежую редиску, черный хлеб и масло на серебряной

подставке. С лугов пахло сыростью обычной и всегдашней теплой нежностию сена. Отец разрезал надвое редиску, посолил, и аккуратно тер половинку друг о друга, чтобы сочнее выходило. Люба подавала нам ботвинью. Развернув газету, Маркел жадно воззрился, потом вздохнул, чуть побледнел и отложил.

— Мне... да... мне надо завтра в город ехать.

— Папу призывают,— сказал Андрюша глухо.— Так и знал, опять призыв.

Отец надел пенсне, взял лист газетный. Отложил, и налил рюмку водки.

— Надо сказать Димитрию, чтоб к утреннему поезду.

С этой минуты что-то разделило нас. Точно невидимая борозда легла, по одну сторону мы, на другом, печальном берегу Маркел. Неотвратимость и в газете этой, и в молчании Маркела, и в отцовой фразе.

Маркелу нужно было ехать за бумагами, потом в Москву, подать прошение в военное училище. Мы стали собирать его. Долго светилась наша комната. Легли перед зарей. Маркел ворочался, курил во тьме. Огненной дугой бросил папироску и вздохнул. Я тоже не могла заснуть. Тяжелый обруч давил сердце.

На рассвете он поднялся, подошел ко мне, сел на кровати.

— Ты... не спишь?

Я обняла его, поцеловала и заплакала. Но — справилась. И уже время было подыматься. Все вставали. На балконе — он совсем теперь иной, чем был вчера! — отец сидел за столом, причесанный, умытый, в теплых туфлях и пальто со штрипкою. Андрюша вылез, Люба. Маркел молча глотал чай со сливками, а у крыльца позванивали бубенцы. Димитрий заседал с великим безразличием на козлах.

— Ну, перед отъездом надо посидеть,— сказал отец.

Маркел был уже в фуражке, снял ее, присел. Мы сели тоже. Солнце, сквозь туман, едва плеснуло мягким, теплым светом по столовой. Этот свет казался милым и как будто нашим, он союзник, друг, от него трудно уезжать.

Мы поднялись. Отец, неловко двигая ногами, подошел к Маркелу, обнял и поцеловал.

— Ну, теперь с Богом...

Отвернулся, вынул носовой платок, смахнул глаза. Потом к окошку подошел, откуда видна тройка.

— Да смотри,— прибавил — уже по-другому,— чтобы левая пристяжка зря не болталась... Будете на одном коренном ехать.

Мы с Андрюшей тоже сели в транспорт и провожали до большой дороги. Потом глядели и махали, и мы видели платочек, нам отмахивавший, но все реже и слабей, и скоро вся громада

экипажа, тройки, Димитрия и нашего Маркуши, уносимого в холодно-страшный край, слилась со ржами.

— Мама,— говорил Андрюша, когда шли назад,— ты знаешь, ты за папу... не волнуйся. Ведь ему еще в училище учиться, а там и война кончится...

И как большой, единая моя опора, взял под руку и вел домой.

Но успокоить меня было уже не так легко. Да, подошло *ко мне,* вплотную, то, что прежде видела со стороны, на улице и в госпитале. «Ну и не надо поддаваться и слабеть»,— я ощущала себя крепкой, молодой, но силы и волненья что-то остро закипали, эти дни места я не находила в Галкине покойном.

Через два дня получила весть от Маркела. В городе он провел день мрачный, одинокий. «Никогда,— писал мне,— не был так один с мыслями о тебе, Андрюше, будущем». Я более не колебалась. Укатила в Москву, в лихорадке, может быть напоминавшей времена Души, Перемышля. Но теперь прошлое, как случалось раньше, для меня пропало. Ну, верно, жило во мне и меняло, только в глубине, а не снаружи.

В Москве, в жаре, нашла Маркела похудевшим, возбужденным. Летала с ним по канцеляриям и по участкам, разумеется, мне везло больше, чем ему. Его зачислили в прием декабрьский, и мы возвратились в Галкино. Всю осень жили тихо, хорошо. Были очень мирны, ласковы друг с другом. Должно быть, многое забыли друг о друге. И черта невидимая, страшная нас отделяла; это вносило грусть и нежность в отношения.

Я много пела. Я мы много были вместе, мы окапывали яблони, яблоки собирали — Маркел с корзиной и снималкой лазил по деревьям, а потом мы приносили отцу лучшие. Вместе нашли ежа. Ездили иногда на станцию, в карфажке двухколесной, и гуляли вечерами в роще. Березы Рытовки и узенькая тропка, по которой выходили мы на зеленя, покой равнин, серые вечера сентябрьские, с красной рябиною, зеркалами прудов, криком совы и лиловой луной из-за леса — все осталось как воспоминание прощальное и светлое. Кажется, в те дни мы сами были мягче, кротче. Помню, выходя из леса, нашли гнездо птички, опустелое. Взяли с собой. Зачем? Сентиментальность? Но так захотелось. Пересекли межой поле, и внизу Галкино, пруды и мельница, деревья парка. Колокольня мирно подымалась из ложбины. И спокойный, мягко-сероватый лик небес, дымки над деревнями, дальний лепет молотилки, дальняя, как облачко, стая грачей, свивавшаяся, развивавшаяся над овинами, все ясное, родное... так пронзительно-печальное, как будто мы навеки с

ним прощались. Не оттого ль, быть может, мы так бережно несли гнездо пичуги? Дни нашего гнезда кончались.

Мужики мало верили, что Маркелу предстоит война. У них довольно прочно взгляд установился — на войну идти только *им*. И Галкино было удивлено, когда по первопутку мы ехали в Москву.

Да, этим самым первым снегом, при порхающих снежинках, я везла Маркела на извозчике, Арбатской площадью, к училищу. Из переулков шли и ехали к приземистому зданию с колоннами — юноши с матерями, сестрами и женами, и одиночки мрачные. Сегодня день приема. Маркел, в высоких сапогах, придерживая чемодан, такой был тихий, грустный и смешно остриженный и так неловко-грузно заседал в санях, что трудно было на минуту допустить, что это воин, и ему придется защищать Россию.

У подъезда отпустили мы извозчика. В двери, хлопавшие поминутно, вваливались молодые люди, отаптывали снег и толкались. Тащили скромные пожитки. Пропадали в здании, гудевшем голосами.

Маркел обнял меня, и я поцеловала мокрые усы, мелькнувшие передо мной глаза, тоскливо-кроткие, я отвернулась, быстро зашагала тротуаром, на мгновенье только обернулась и махнула беленьким платочком своему Маркелу, что казался нынче арестантом.

Началось то время моей жизни, о котором можно вспомнить мне теперь с улыбкой, а тогда я принимала со слезами: время заточения Маркелова и моего вдовства. Время, когда я была — нерв, движение и напряжение. Когда тащила шоколады и устраивала бутерброды, бегала Арбатской площадью на Знаменку — поддерживать, кормить и согревать своего воина, иль арестанта, или школьника.

II

Через неделю мы идем с Георгиевским навещать Маркела.

Зимний день, предсумеречно. Рота юнкеров выходит из подъезда, и на улице выстраивается. Топочут, слегка зябнут юные фигуры, оправляют пояса, одергивают друг у друга складки на шинелях. Тоненький прапорщик выбегает. «Рота, напра-во!» Сотня шинелей легко, точно повертывается, штыки чуть звякнули. «Правое плечо вперед, шага-а-ам — ...а-рш!» Лента всколыхнулась, поплыли винтовки линией волнистой. Это вот и есть мой новый мир.

Мы входим в вестибюль, откуда вышли они, и в приемную. Юнкеров же пропускают в нее чрез дежурную. За столом

круглолицый прапорщик и седой ротный, длинный, тощий. Это уж *мое* начальство. В их руках Маркел. Георгий Александрович заговаривает с ротным. «Знаю, знаю. Так ведь надо еще сдать экзамен чести, как же выпустить?» Потом смеются, что-то говорят. Фронт, Земский союз, Барановичи... Да, знаком, конечно. Седой ротный, с глазами утомленными, но благосклонными, что-то говорит юнкеру со штыком у пояса, перед ним вытянувшемуся. В зале, у рояля, я стою и другие — дамы, барышни, приезжий бородач у стены — дожидаются своих. У кого конфеты, у кого бутерброды. И другому юнкеру, тоже со штыком, заказывают: «Телегина, пятой роты». «Андреева, одиннадцатой». Юнкер выбегает весело-почтительно. И вот, один за другим, в маленькую дверь против стола дежурной, юноши влетают, прямо к прапорщику.

— Господин прапорщик, юнкер пятой роты пятнадцатого ускоренного выпуска Телегин просит разрешения пройти в приемную!

Прапорщик подходит, запускает руку юнкеру за пояс.

— Чтобы палец мой не проходил! Понятно? Буду гнать. Ну, марш!

Какой смешно-печальный вид имел Маркел, робко приотворив дверь! Вначале в этом бородатом, наголо остриженном солдате в гимнастерке, мешком виснувшей, я признала лишь глаза да сапоги, что покупали вместе в Офицерском обществе... Он споткнулся, вытянул руки по швам, покраснел, тихо пробормотал:

— Господин поручик, юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска просит... то есть желает...

— Кругом,— спокойно сказал прапорщик — с высоты своей юности, шеголоватости.— Поручиком со временем я буду, но юнкер должен знать и свою фамилию. *Какой* юнкер просит разрешения пройти в приемную?

Маркуша тяжко и трагически приблизился к столу, опять вытянулся:

— Юнкер пятнадцатой роты второго ускоренного выпуска...

— Какая шляпа!

Прапорщик засмеялся, засмеялся ротный, наклонился к нему: «Приват-доцент, математического факультета...» Прапорщик махнул Маркелу. Тот решил, что надо вновь проделать — повернулся, как умел, кругом.

— Ну, проходите, проходите,— сказал ротный.— Вон ваша жена. Идите в отпуск, но поменьше выходите-ка на улицу.

Через минуту Маркел обнимал меня, и губы его прыгали. Георгий Александрович глядел глазами серыми, спокойными, из-под точеного своего лба.

— Привыкнете, дорогой, все проходит...

Конечно, он был прав, но трудно убедить Маркела, как арестант не верит, что окончится тюрьма, и вновь свобода, воздух, солнце.

Маркел шел с нами боязливо, все оглядывался, нет ли офицера, и кому бы отдать честь. Навстречу вяло шаркал старичок с красными лампасами, унылый, в кованых калошах. Маркел стал перед ним во фронт, и так удачно, что загородил дорогу.

— Ну, юнкер, не тово... ну, как там...— генерал зашамкал и покорно обошел его по улице. Тогда я позвала извозчика и повезла героя своего домой. Дорогой, в полусумраке, он ухитрился козырнуть и гимназисту.

Дома же поел, лег спать.

— Да, нелегко ему военное дается,— говорил Георгиевский, сидя в кресле. Мягко, равнодушно он дымил сигарой. В кабинете у Маркела было тихо. Андрей почтительно заглянул в дверь, на спящего отца, да метель декабрьская била крупою в стекла, под которыми тепло струилось из калорифера. Мона Лиза улыбалась со стены. Красный же диван турецкий вряд ли узнавал в солдате стриженом своего хозяина.

Мы ужинали лишь с Андрюшей и Георгиевским. Маркел все спал, иной раз бормотал спросонья: «Левое плечо вперед...»

— Его надо устроить в артиллерию,— сказал Георгиевский.— Так он пропадет.

Марфуша подала нам самовар.

— Как вы находите войну?

— Плохо. Вряд ли нам вывернуться.

Я раздражилась.

— Ах, вы всегда мрачный, если все так похоронны, то, конечно, победить нельзя... Ну разве можете, скажите, разве можете *вы* победить?

— Вначале я работал много. Теперь не могу. Не думайте, что это только я. Никто не верит. Ни солдаты, ни начальство.

Он улыбнулся.

— Если б вы командовали, и на карте — жизнь Маркела, или мальчика, вы, можете быть, и победили бы.

— Да. Если б *я* боролась, я бы победила.

Около двенадцати Маркел проснулся — кроткий, вялый после сна. Я уложила его набело, в постель. Он спал покорно до утра, и утром мне рассказывал, как первую ночь вовсе не заснул в училище.

— Ты понимаешь... зала наша, два ряда колонн, и койки. Рядом мальчик спит, лет девятнадцати. Ну, задремлю... проснусь

сейчас же... Полутьма, лампочка у стола дежурного... Бог мой, да где же я? Что это, правда? Или все кошмар? И вот ты заперт, ничего ведь не поделаешь... что за тоска!

Со мной, с Андрюшей был теперь особенно он нежен. Никуда не выходил, все дома нравилось.

— Знаешь,— он мне к вечеру признался.— Даже плакал, первой ночью.

В этот вечер видела я его тоску предотходную. Идти! И не удержишь. Надо, надо!

И теперь каждую субботу он рождался для меня, субботний вечер был прелестен, в воскресенье начиналось умиранье, до восьми. В восемь он уходил, я его провожала, дверь знакомая на Знаменке захлопывалась, и я знала, через день он вновь мелькнет передо мной, в приемной, среди гула голосов, средь юнкеров и барышень и офицеров, тенью горестной, хоть улыбающейся, но полуотравленной.

Под Новый год мы собрались к Георгиевскому. Маркел надел свежую гимнастерку, новую шинель, я усадила его в санки, и по Москве зимней, синей в золоте огней, мы катили к Земляному валу. Давно я не бывала тут. В прихожей лунный блеск раскинулся по кудрям и бороде Юпитера Отриколийского — все так же ясен и покоен бог, под тою же зеленой лампой кабинет со страшной маскою Петра, все те же Терборхи, Вермееры по столам в папках.

— Как у вас... славно, тихо, чинно...— Маркел улыбнулся, жал руку Георгиевскому.— Зеленовато... с золотом... ужасно нравится.

Уселся в кабинете, на диване, и сперва курил, потом откинул голову и задремал. Мы улыбнулись, потихоньку вышли. Подъезжали гости. В столовой, под старинной люстрою венецианской, накрывали стол, хрусталь позванивал, букеты роз алели. К удивлению своему, я встретила тут Павла Петровича и — Женю Андреевскую. Старичок мой был во фраке, все такой же сухенький и точный. Женя бросилась на меня — тоже нарядная, с хризантемою, в газовом декольте-платье.

— Ну, рада, рада... Что с тобой такое? Нигде не видать, не выступаешь, все с Маркушей возишься, говорят? А я стала серьезная теперь...

Зеленоватые ее глаза блеснули, задрожали смехом. Я тоже улыбнулась.

— Где ж Оскар Оскарыч?

— Брось, дорогая. Я теперь пою в кругах великосветских. Совершенно другой стиль.— Она захохотала.— Павлу Петровичу не говори. Я чуть было не соорудила оперетку, спекулянт денег

давал, два полячка довольно подозрительных, Оскарыч, я — теплая компания. Но — сорвалось, теперь стала совершенно честной девушкой, с Павлом Петровичем пою и выступаю на благотворительных концертах баронесс, одним словом, меня не выдавай...

Павел Петрович встретил строговато.

— Вы куда ж пропали? Ваше пение мне нужно, некоторые опусы у других просто не выходят, но вы почему-то все забросили... Вы занялись войной, вернее, своим мужем... Впрочем, вы и вообще слишком живы и порывисты. Вы в Риме иногда опаздывали на занятия.

Явился наконец Маркел, отоспавшийся,— произвел легкую сенсацию.

— Милая,— шепнула мне Андреевская,— он стал похож... прости меня... весь стриженый, на каторжника.

Маркел неловко поздоровался.

— У меня такое чувство... я бы в уголок куда.

— Вот тебе, в уголок! А еще воин!

Маркел покорно сел со мной за белоснежный стол, против его прибора розы млели в хрустале, и свет играл, струился в люстре с нежными подвесками. Блюм опоздал. Блестя глазами черносливными, он вкусно выпил водки, закусил икрой, обтер салфеткой ус с капелькой растаявшего снега.

— А,— кивнул Маркелу,— я вас не узнал сначала, извиняюсь. Ура, за армию и за победу до конца!

Он поднял рюмку, засмеялся так раскатисто и весело, как будто победить было ему нисколько не трудней, чем выпить эту водку.

— У меня самые свежие новости, да, мы были на волоске, едва не заключили мир... Сепаратный мир, а? Ха-ха? Как это вам понравится?

Он обвел всех взглядом ласково-победоносным.

— Сепаратный мир, когда Германия и до весны не продержится.

Георгий Александрович улыбнулся.

— А *вы* долго будете держаться?

— Да, но позвольте, вам известно, сколько теперь вырабатывают в день шрапнелей, на заводах?

Поднялся спор. Блюм распоряжался так шрапнелями и пулеметами, как будто все они лежали у него в кармане. А Маркуша мой сидел безмолвно. Это им, его жизнью и жизнями ему подобных Блюм повелевал — с такой веселостью и бодростью.

Когда полночь приблизилась и подали шампанское, Маркел

едва сидел. Но подошла черта, часы пробили, все встали, зашумели и зачокались, мне целовали руку — чрез таинственный порог мы перешли в новую меру, как всегда, волнение и грусть коснулись сердца. Я обняла Маркела, он мне руку сжал. Георгий Александрович подошел и чокнулся.

— Помните, мы с вами в Риме новый, страшный год встречали? За Рим, за Пинчио, за красоту нашу... последних римлян!

— Вы пожелайте ему лучше...— голос дрогнул у меня — я указала взглядом на Маркела.— Ему...

— О нем я много думаю,— сказал Георгий Александрович, негромко.— Мы с вами меры примем, мы должны принять.

Маркел тоже поднял бокал.

— Ну, а... за Россию? Что же, как сказать, ну за Россию пьем? Не только ж ведь за Рим?

Георгий Александрович провел рукою по усам, что расходились узкими крылами, в серебре, над византийским подбородком.

— Конечно, за Россию...

Вмешался композитор.

— Я нахожу, что слишком много рассуждают о войне, о мире, о политике, вообще о пустяках, в которых мы живем. Война сегодня. Завтра, может быть, ее не будет. А Бетховен и Моцарт всегда останутся. И вы не вычеркнете ежедневности, работы, твердости в самом создании. Я пью за это. Пью за будни, а не за события. Я не желаю их. Никто пусть не мешает мне писать то, что могу, Наталье Николаевне петь, а вам сидеть над Вермеером. Мне очень жаль ее мужа, но я нахожу, что это одеяние так же идет к нему, как шел бы мне тюрбан индусский или костюм краснокожего.

Блюм захохотал.

— Позвольте, но это же русская армия!

Павел Петрович строго на него посмотрел.

— Русская армия... Тут, государь мой, армия ни при чем.

И поднялся прощаться. «Ну, конечно, завтра встанет часов в восемь, до обеда он успеет написать пол-литургии».

Чтобы Маркел получше выспался, мы оставались ночевать. Георгий Александрович провожал последних, задержавшихся гостей. Прислуга убирала со стола хрусталь, люстра венецианская все тот же свет лила, нежно-златистый. Пахло сигарою.

В давно знакомом кабинете свет потушен и зеленоватый полумрак от легкого столба луны, ломавшегося в креслах, одевавшего диван тканью прозрачной, голубеющей. В окне, над синим снегом с бриллиантами, елочка разлаписто-остроугольна, над нею Сириус махровый, иссиня-златомерцающий. Я села на

диван, под маскою Петра, и ноги мои обнял дым голубоватый. Да, это место мне почти как отчий дом. С тех пор как здесь была, беременная, сколько колебаний, дуновений ветреной моей жизни... Пусть! Теперь вот новый год, опять неведомое, сложности и бездны, куда устремляемся, но те же дивные светила в небесах, ослепительные искры снега, тени синие и позлащенные узоры инея. Тело мое легко, и сердце вольно бьется, я иду, куда иду, кто знает?

Дверь хлопнула за последним гостем. Мой хозяин, старый византиец, голубая кровь, зашел в свой кабинет и улыбнулся на меня.

— Поэзия, мечтательность, и лунные узоры?

— Извините, мэтр.

Мэтр закурил сигару и пустил кольцо... Оно заколебалось, вошло в полосу лунную. Там расструилось, растеклось бледно-голубеющими прядями.

— Годы идут, вы все такая же. Теперь вы снова в полосе Маркела, значит, побоку и пение, вы изучаете фортификацию и полевой устав, я думаю, что вы командовали бы баталионом лучше, чем ваш муж. Но надо нам поехать к Балабанову и настоять, чтобы Маркела перечислили... В пехоте оставаться ему — глупость. Надеюсь, мы достигнем.

Он взял руку мою, в лунном серебре, с колена и поцеловал.

— Добьемся. У вас рука легкая.

III

Мы подымались в канцелярию. Как беспросветно скучно! Писаря строчат, машинки щелкают, грязь, душно, громыхая сапогами, вестовой проносится, портреты императора глядят со стен.

Изящный адъютант провел нас в светлый, но не очень чистый кабинет. Маленький генерал, в пенсне, с умным лицом, спокойным, бритым, подписывал бумаги за столом. Белый «Георгий» на груди, вид утомленный, но учтивый.

Я подала прошение. Он быстро, равнодушно просмотрел. Георгий Александрович объяснил, что Маркел — физик и приват-доцент и что полезнее всего быть ему в артиллерии.

Генерал снял пенсне, протер белейшим носовым платком, сложил его, покорно и устало. Казалось, делал что-то грустное, ненужное.

— Да,— тихо сказал,— в артиллерии... нужны высокообразованные офицеры. Я принимаю ваше заявление. По окончании училища ваш муж,— он поднял на меня глаза с морщинками на веках,— может быть зачислен к нам...

Легкая у меня рука или нелегкая, но в утро то, спускаясь вниз, я ощущала, как всегда: если хочу чего, достигну. Солдаты сторонились нас. Чести не отдавали, но шарахались. Видно, и мы с Георгиевским, хотя и штатские, имели вид начальства.

— А что же этот генерал, верит в победу, и что надо воевать, вообще?

Георгиевский поднял брови.

— Он слишком знающий и умный человек, чтоб верить.

В среду, на приеме в Александровском, у обычного рояля, среди дам, барышень и юнкеров, взлетавших бурно перед офицером, точно стайка молодых скворцов, я рассказала о своих демаршах. Маркел отнесся равнодушно. Он был беспокоен и подавлен, я уж видела. Вздыхал, слушал рассеянно. Его точило что-то.

— Да, ты знаешь... я сегодня... нынче я не могу больше с тобою быть... репетиция. То есть не то что репетиция, а тут скандал один со мной случился...

Путаясь и запинаясь, бородатый человек объяснил мне, что вчера он провалился у Каннабиха, по топографии, и нынче должен поправляться, иначе его не пустят в отпуск. Ах ты, бедный мой Маркел! Я пожалела, что сама не могу сдать репетиции. И что за глупость, ну, ошибся на каком-то спуске!

Все-таки в субботу Маркел заявился.

— А репетицию-то я... ну, на двенадцать сдал.

Вечером, неторопливо раздеваясь — платье Маркел складывал теперь на стуле по-военному — он мне докладывал о новой жизни. О свирепом капитане Жилкине, о старом генерале по фортификации — на его глазах подбрасывают отвечающим шпаргалки — и о том, как дразнятся две роты: жеребцы — извозчики. Андрюша меньше повествовал о гимназии и казался старше своего отца.

Тогда же я узнала, что сосед переменился у Маркела, и фамилия его Кухов. Что-то неприятное прошло по мне. Кухова прислали из полка, где он был унтером. По описанию, это Кухов римский. Мне не понравилось, что выплыл он, да еще присоединился к Маркелу.

— А как себя ведет?

— Покуда... ничего. Он фараон еще... но уже ловчит.

Маркел привык немного, знал словечки, с высоты двухмесячного юнкерства слегка и презирал новоприбывших «фараонов».

Мне захотелось все-таки проверить. Нередко юнкера ходили на маневры в Дорогомилово, Арбатом.

В оттепельный, светлый день февральский я подстерегла их

на углу Серебряного. Вел роту мне знакомый прапорщик, красивый юноша Николай Сергеич. В первом ряду четыре портупей-юнкера шли резво,— высоко, точно держа винтовки — узкой лентой колыхалась дальше рота, звякали штыки, отблескивая солнцем. Сотня молодых ног шлепала по шоколадному, с лужами голубыми, снегу Арбата.

— «Скажи-ка, дя-дя, ведь не-едаром...» — затянули в первых рядах.

— «Москва, спале-спаленная пожаром, француза отдана, француза отдана...» — гаркнули в середине и хвосте.

Мое военное сердце билось, я стояла рядом с тротуарной тумбой, пропуская мимо роту как бы церемониальным маршем. Николай Сергеич отдал честь, юнкера полузнакомые, но будто уж родные, улыбались мне из строя... Винтовка сильно наклонилась, штык задел соседний, лязгнул. «Глаза выколете, что вы...» Маркел прилаживал палец к петле шинели, чтоб удобней было подпирать винтовку,— и качнул чрезмерно.

Я шла с ним почти рядом и смеялась. Маркел вспотел, сбился с ноги.

— Ать-два, ать-два,— Николай Сергеич обернулся к роте и шагал спиной вперед, на легких, молодых ногах. Через двух юнкеров я увидала бритую, почтительно прищуренную физиономию с угреватым носом. Да, Кухов. Повстречавшись взглядом, будто вспыхнул, но и улыбнулся, мне кивнул.

Я повернула и тихонечко пошла Арбатом к площади. Левый тротуар чернел уже, капéль серебряная с крыш струилась. На углу Годеинского я купила у мальчишки несколько подснежников. Сзади меня подхватили под руку. Блюм был в распахнутой шикарной шубе, серебрист, румян, глаза блестели.

— Дорогая, колоссальнейшие новости! Вы не слыхали?

Он нагнулся, я вблизи увидела его большие карие, с чуть фиолетовым в зрачке глаза.

— Но в Петербурге ведь восстание... Безукоризненный источник. Полицию избивают, войска на стороне восставших... Колоссально! Сейчас еду принимать к одной купчихе, но самодержавие-то наше, вся распутинщина... зашаталась, а?

Договорить ему уж не хватило времени. Сел на извозчика, сделал мне ручкой и помчался облегчать явление на свет нового русского. Я шла проездом, у Никитского бульвара, вся на солнышке. Ручей струился у моих ног, светло-серебристы были в небе облачка. «Неужели правда революция? Как любопытно!» Я была взволнована, легко шагала, у меня такое чувство, как и при пожаре: хочется, чтобы сильней пылал... «А может, Блюм выдумывает? Россказни?»

На углу Большой Никитской, у столовой Троицкой навстречу мне неслась пара в дышло. Снег и грязь летели из-под лошадей, кучер истуканом воздымался. Мелькнула полость, сани полицеймейстерские с высоченной спинкой, генерал в серой шапке мерлушковой, с золотым перекрещением на ней. Его лицо я видела секунду. Но в позе, выражении, глазах вдруг нечто прочитала... «Нет, не соврал. События... конечно... Да, последний раз вы катите, ваше превосходительство».

Дома подтвердил мне все Андрюша. В их гимназии уж знали, старшие готовились идти в милицию.

— Ныне вечером, наверно, и у нас начнется...

Я обняла его, поцеловала.

— Ты-то еще, ты туда же!

Он взглянул серьезно, брови слегка сдвинулись.

— Что ж, и маленькие могут помогать.

В глазах мелькнуло мне знакомое, упрямо-замкнутое. «Ого!»

Когда я через несколько минут зашла к нему в комнату, он сидел с бумагой, перед ним лежала готовальня. Внимательно проводил линии. «Как Маркел шахматы свои раскладывает...» Я увидела мельком: Манеж и Кремль, Александровское училище... Какие-то казармы.

— Это что же такое?

Он хотел прикрыть, был, видно, недоволен.

— Так... тут... Размещенье войск.

Он поразил меня. Знал, где штаб округа, где артиллерия и где жандармы.

— На чьей стороне будет папа, александровцы?

Я над ним остановилась, в странном холодке. «Бог мой, он умнее меня, умней гораздо...» О Маркуше я и не подумала, а вот он в этой комнатке, с окном на двор, с тающей в солнце крышей, он уже все сообразил и понимает. Я было и ринулась к нему, чтобы обнять, прижать, но и подмерзла: точно предо мной не сын, а малолетний генерал.

С тех пор как стал ходить в гимназию, Андрюша еще дальше отошел. Занятия, товарищи и книги, ранец, комнатка своя... Со мною он был очень ласков и почтителен, как будто и ревнив... «Ну, ты моя чудесная, и мама, но у тебя жизнь своя». Он этого не говорил, но вид такой имел. Иной раз даже с покровительством на меня взглядывал: в войне, например, много больше меня смыслил.

Вечером ко мне зашел Георгий Александрович. Был спокоен, но торжественней обычного.

— Ныне в Думе заседаем. Собираются все партии.

— Ну, что же дальше?

Он пожал плечами.

— Монархия, по-видимому, пала. Что же будет? Там посмотрим... Во всяком случае, мы с вами — я не раз уж это говорил — попали в бучу величайшую...

Все это волновало. Мне хотелось соскочить, куда-то побежать, узнать скорее, что и как. Но не ушла. Чтобы развлечься, села за рояль и напевала. Ночью спала плохо. Слышался какой-то грохот, будто батареи пролетают — или так казалось? И Маркел не выходил из головы.

На другой день, чуть позавтракав, помчалась я на Знаменку. Полусотня казаков прошла Арбатом, на рысях, по-вчерашнему тепло и солнечно, и воробьи тучей беснуются на пологой крыше церкви. У колонн знакомых соскочила я с извозчика, привычно, торопливо в вестибюль вошла. Да, очень странно. Взвод юнкеров, с винтовками наперевес, занимал лестницу. Высокий рыжеватый офицер в походном снаряжении, при шашке и револьвере, загородил дорогу.

— Нельзя, сегодня нет приема.

— Как нет, нынче среда.

— Сегодня нет приема, повторяю вам.

Я стала было бунтовать. Но поняла, что ничего мне не добиться. А сидеть покойно не могла. Выйдя, с тротуара противоположного рассматривала окна второй, *нашей* роты. Юнкера томились за двойными стеклами, и сразу видно было, что у них неладно. Меня узнали, замахали и кричали. Как тут быть? Хотелось что-нибудь проведать о Маркеле, и ему дать о себе весть.

В это время — я впервые видела — разбрасывая грязь, весь ощетиненный штыками и под красным флагом прокатил Знаменкою грузовик. Папахи и шинели рваные кричали с него и махали красными флажками в окна александровцам. Я тотчас же решилась, волна меня подхватила, переулками я побежала к Думе. «Все разузнаю, все, как следует...»

На углу Воздвиженки и Шереметевского мне попалась странная толпа — солдаты и фабричные, мальчишки, несколько баб вели городовых в черных шинелях, с сорванными погонами.

— Это, брат, тебе не царский прижим!

— Теперича власть народная! Безо всяких управимся.

— Довольно нам на головы помои лили, пора и рот раскрыть.

На Тверской народу было еще больше, магазины быстро закрывались. Появились молодые люди — гимназисты и студенты, со значками.

— Граждане, не толпитесь, сходите на тротуары.

Улица, действительно, была нужна. Сверху, от губернатор-

ского дома на рысях сходила батарея. Орудия поклевывали носом. Грохотали ящики зарядные.

— Ура! — закричали в толпе.— Ходынка тронулась. Первая запасная артиллерийская!

Солдаты очень напряженно, бледные, тряслись на передках. Толпа хлынула к Думе, я за нею. «Ну, что же, ну, война, стрелять что ли, сейчас будут?» У Большой Московской, перед Думой, в несколько рядов стояли роты, школа прапорщиков; любопытные, мы напирали. Батарея выстроилась, орудия сняли с передков.

Солдаты притопотывали озябшими ногами, одни входили в строй, другие выходили, на винтовках кой-где красные флажки... На решетке Александровского сада вдруг увидела я Нилову. Рукою опиралась она на голову крепкого брюнета, вида еврейского, и хохотала. Я протолкалась к ней. Узнав меня, она развеселилась окончательно, раскрыла пасть свою, заплясала, замахала мне.

— Наташка, ты пойми, какая роскошь, арсенал берут, ведь это революция, это тебе не фунт изюму! Сейчас Кремль наш будет...

— Ну? И ты берешь?

Я тоже хохотала.

— Нет, я тут, собственно, смотрю, а это муж мой, вы знакомьтесь, Саша Гликсман, нет, он не артист, не думай, он провизор и изобретатель, это мальчик, это голова, когда ему исполнится двадцать пять лет, это будет настоящий Рубинштейн... А тут наши войска стоят, чтоб охранять временное правительство, ты понимаешь это?

Мы болтали, хохотали, Саша Гликсман тоже улыбался.

— Если тебе губной помады нужно, кремы всякие, пудры, обращайся к Саше,— кричала Нилова с решетки, показывая все те же, все нечищенные свои зубы.— Сашка страшно добрый, он тебе по себестоимости.

— Ура-а-а! — раскатилось опять сбоку, толпа опять бросилась, Нилову спихнули. Она села верхом на плечи своего Саши, замахала красным шарфом.

— Арсенал взяли...

— Таки наш арсенал,— крикнул Саша. Нилова затанцевала на его плечах.

— Первая школа прапорщиков...

— Никакого боя...

— Говорят, александровцы идут за царя...

Новая волна оттерла нас, мне издали мелькнул красный шарф Ниловой, но и тревога сжала сердце. Что, если правда александровцев поведут усмирять?

Я бросилась назад на Знаменку. Толпа стояла пред училищем, кричала: «Выходите, юнкера! К Думе! Арсенал взяли!» Я тоже тут металась, перед окнами своей роты. Но в училище молчали глухо, никого не выпускали. Скоро стало и темнеть, пришлось нам расходиться.

Домой я приобрела в волнении. Говорили, что откуда-то идут войска, что александровцев и алексеевцев выпустят на народ. Андрей тоже пропал. Вернулся часов в десять, потный, с мокрыми ногами, побледневший.

— В Думе заседание непрерывное. Наши дежурят.

Я звонила и Георгиевскому, но его не было.

Еще ночь волнений, а наутро мы узнали, что командующий войсками арестован и сдались жандармы. Я опять помчалась к своему училищу. Снова меня не пустили. Но теперь в окнах второй роты юнкера вывесили плакат: «Маркел благополучен. На ученье».

На другой день вечером юнкеров стали пускать в отпуски. Москва была полна солдат, грузовики катили поминутно, с флагами и песнями. Толпы героев серых рысью драли на вокзалы, по родным Рязаням, Тулам и Калугам.

Я встретила Маркела у подъезда. Он тоже нацепил красный значок. Когда мы шли, в угаре лихорадочном, домой, теплыми сумерками, на бульваре против дома с доской Гоголя, где когда-то целовались на скамейке, офицер с раздражением отчаяния кликнул Маркела, ткнул пальцем в бутоньерку:

— Юнкер, для чего вам эта дрянь? Вы, юнкер, александровец, какой пример!

Маркел молча снял бантик, отдал честь и повернулся. Мы с ним побежали, дальше, хохоча, и он сейчас же вновь надел отличье свое красное. И ничего не мог бы сделать в эти дни на раздраженный офицер, ни сам главнокомандующий: поплыла Россия.

IV

Было сумбурно, весело в Москве. Как будто все помолодели, все надеялись на что-то, нервность, трепет. И — что для русского всегда приятно, стало ясно, что теперь работать можно меньше. Андрюша с гимназистами ходил на митинги, солдаты продолжали разбегаться, газеты ликовали. В Александровском образовался комитет из юнкеров. Среди других туда вошли Кухов с Маркелом.

Маркел, смеясь, рассказывал, что теперь сами они вроде начальства. Комитет собирается чуть ли не каждый день. В

комнату, где заседают, набиваются и посторонние, чтоб улизнуть от лекций. Да сами репетиции и лекции стали попроще.

В средине марта весь московский гарнизон выбрал совет солдатских депутатов. Туда тоже попали Маркел с Куховым, от александровцев.

Я слушала митинги у памятника Пушкину, ходила на парады со своею ротой, где гарцевал новый командующий — широкозадый земец с лицом бонвивана и в тужурке военного,— и по-прежнему носила бутерброды и конфеты в так знакомую приемную. Но теперь бледнел там дух суровости и дисциплины, и Маркелу уж не страшно было рапортовать у входа: «Юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска...»

Первое заседание совета было в очень теплый день, при сплошных лужах, в Политехническом музее. Маркел все это утро мог не быть на лекциях. Мне тоже захотелось посмотреть, я увязалась с ним.

Амфитеатр, раньше наполнявшийся студентами, курсистками, теперь кишел солдатскими шинелями. Среди них двадцать юнкеров, стайкою жавшихся на скамейке. Мы пробрались выше, в гущу самую.

Человек с бритым лицом, мясистыми губами, влажно-южными глазами и курчаво-черной шевелюрой открыл заседание. Поношенная гимнастерка, округлялась у него на животе.

— Товарищи, первым у нас значится вопрос об отдании чести...

— Чего значится, довольно отдавали!

— Мало себе шеи наламывали?

Председатель зазвонил.

— Кто хочет говорить, прошу записываться.

Их оказалось множество. Вся та Россия, что держала на своих штыках империю, гибла в окопах, отмораживала ноги, пела хлесткие, победные якобы песни, трепетала перед начальством и служила в денщиках, вдруг пожелала говорить. Бесконечно вылезали на эстраду писаря и унтера, фронтовики и представители «гарнизона города Владимира»...

— То-ись, товаришшы, прямо скажу, я как выборный, значит, сто девяносто третьего полку, то наши товаришшы никак больше не согласны, чтобы офицерам честь отдавать, как полагающие это ненужным во всяком разе...

— Пора, товарищи,— кричал злобный писарь с чахоточным лицом,— пора нам наконец опомниться и сознать, что мы, как сознательный пролетариат...

Гарнизон Коломны поздравлял с революцией, и также гарнизон Рязани, и все находили, что отдавать честь не приходится.

Так продолжалось часа полтора. Вдруг на эстраде появился тот широкобедренный военный земец в галифе со стеком, что гарцевал со своим штабом на теперешних парадах. «Командующий будет говорить,— пронеслось по рядам.— Командующий...»

Командующий влез на стол, чтоб лучше видели его ботфорты, и заговорил привычно, бодро и достаточно толково. Разумеется, теперь свобода, и к солдату будут относиться не как к рабу, а как к гражданину. Рядом со мной рыжий бородатый солдат встал, вышел в проход. Командующий на мгновенье остановился.

— Ваше благородие,— рявкнул бородач.— Господин командующий... — и вдруг всхлипнул.— Николи с нами еще так не говорили. Вот тебе, кланяюсь... дай тебе Бог удачи...

Опустился на колени, низко поклонился и заплакал.

— Ото всей, значит, солдатчины...

Да, командующий сорвал триумф. Безмолвная толпа загрохотала, руки потянулись, и фуражки замелькали.

— Хорошо сказал! Гражданину!

— Это тебе не токма что.

— А чести все-таки не отдавать! Нипочем!

У многих тоже слезы были на глазах, многие вскочили, председатель едва успокоил. Главное, однако, было сказано. Остальное слушали покойнее. Командующий настаивал, что дисциплина требует отдания чести, так во всем мире заведено,— и успеха не имел. Окончив, он просил подумать повнимательнее, сам же вышел. Но о чем тут думать? Подавляюще постановили — против чести.

Мне безразлично было, отдают честь или нет, и для Маркела даже проще бы не отдавать, но взглянула на скамейку наших юнкеров — такими показались мне затерянными в шинелях серых...

Часам к двум я устала и мне надоело дико. Но Маркел просил подождать — выборов президиума.

Я вышла в коридор и подошла к окну. Вокруг гудели те же серые шинели, бойкие девицы пробегали, часто слышался нерусский говор. У Ильинских ворот суматоха, торговали и меняли, грязь весеннюю месили люди ловкие, торговые. Солнце мягко все ласкало. От музея шагом ехал на караковом коне широкозадый командующий, с тремя спутниками. У ворот он тронул рысью, зад его слегка зашлепал по английскому седлу. Мне стало вдруг смешно. «Наверно, воображает, что похож на полководца!» Я ничего разумно не подумала, но непосредственно, спиной я ощутила, что шинелей — море, нас же кучка. «Чего захотят, то и будет».

Через полчаса Маркел разыскал меня.

— Ну, что, идем?

— Да, теперь кончилось... знаешь, случай вышел... право странно, а вот вышел...

И он рассказал мне, что от александровцев двое прошло в президиум, один тот, кого и намечали, другой Кухов. Кухова никто не проводил, а он прошел.

— Ты знаешь, да... он сам выбрал себя... то есть нет, выбрали-то его, но... сам предложил себя... без нас... подал записку со своей фамилией, поговорил там... с этой группою руководящей...

Я захохотала.

— И околпачил час, голубчиков.

— Да, как тебе сказать... ужасно это странно, неудобно что-то вышло.

Мне не хотелось более смеяться. Да и говорить не стоило — то, что объегорили Маркела и ему подобных, странным не было, гораздо было б удивительней, если бы они надули. Э, безразлично. Все колеблется, Русь тронулась, что там загадывать, пока же — солнце, гам на улицах, у Никольской шары разноцветные, пролетки брызжут милой грязью мартовской, Маркел сейчас свободен, что же дальше — ах, посмотрим.

И пользуясь свободой, мы зашли в кафе на Тверской, полуартистическое, полуцирковое: содержал его известный клоун, там бывали литераторы, маленькие актрисы, кинематографщики. Рисунки на стенах, мягкие красные диваны, дым, барышни в передниках, френчи и беженский язык, актерские физиономии. Сейчас все показалось, как-то и развалистее, и распущенней. Еще недели две назад Маркел сюда не мог зайти.

По добросовестности, он пред первым же офицером вытянулся, просил разрешенья сесть. Тот даже улыбнулся — что вы, мол, теперь свобода, революция... И правда, заходили и солдаты, и матросы с голыми грудями в штанах раструбами, и молодые люди в гимнастерках — не поймешь, солдаты ли или главнокомандующие. Мы наскоро хлебнули кофе, закусили пирожками и ушли. На Тверской лихачи летели, юноши в различных формах по трое на них сидели. Памятник Пушкину, как всегда, облеплен шинелями, мне все казалось — это те же, что в совете только что ораторствовали.

Мальчишки сновали, и трамваи ползли переполненные. По Тверскому гологрудые матросы, сытые и бритые, гуляли с девушками, и непрерывно шли с котомками солдаты — все к вокзалам, все домой, все «в отпуска».

Дома Маркел умылся, снял военщину и надел штатское.

— А все же... не по мне вся кутерьма такая... эх, скорее бы война кончалась... можно б заниматься... я три месяца книги в руках не держал.

Вздохнув, взял с полки шахматы, разложил и погрузился в созерцание фигур и положений. Опять я улыбнулась. Где тут революции, ему бы в кабинете сидеть, над разложениями атомов, или читать Апокалипсис, а тут «мир без аннексий и контрибуций».

Положим, юнкером ему недолго оставалось уж пробыть. На Пасхе же, на отпуск двухнедельный, собрались мы в деревню.

Дни марта проходили быстро. Юнкеров водили на Воздвиженку заказывать обмундировку, и последнюю неделю ничего они не делали,— Маркел валялся у себя на койке и читал, из магазина приносили новые фуражки, шашки, френчи, галифе, а на дворе весна трепала мокрым ветром оголенные деревья, солнце перламутрово ласкало.

Настал наконец вечер, когда к дому нашему подкатил довольно элегантный бородатый офицер в новенькой фуражке и шинели, с шашкою, его стеснявшей, с серым сундучком походным. В общем был похож слегка на околоточного. Мы с Андрюшей встретили его с цветами. И Марфуша кинулась восторженно, снимать шинель.

— Уж барин наш, уж барин...— бормотала потом в кухне.— Пря-ямо!..

Вероятно, этим выражала меру восхищения перед великолепием Маркела. А Маркел, если и великолепным не был, все же вид имел как будто вымытый и принаряженный, и когда я ходила с ним по магазинам, закупать икры и табаку в Галкино, то теперь пред ним стайками взлетали юнкера, отдавали честь, из-за которой столько было споров. А солдаты сторонились, многие привычно козыряли, но иные чувствовали себя уж прочно, висли на трамваях и лущили семечки по бульварам, набивались кучами в кинематографы. Видно было — начинается их царство.

Мы особенно почувствовали это на вокзале — сплошь запруженном шинелями. Ехали все-таки во втором классе и сидели. Но в вагоне только речь о том и шла, кто из помещиков уехал, у кого землю отняли, а кого просто выгнали.

Помещицей я не была, к земле я равнодушна, но отец... уж стар, и за него мне непокойно.

Потянулись милые поля, стада, свежие березняки, речки разливные, бледная шерстка зеленей, небо весеннее, с повисшим снопом света над шершавой деревушкой — и захотелось просто воздуха, подснежников, дроздов, мглы, нежности апреля.

V

Весна выдалась теплая, с мягкими дождями, грязью радостной, и шумом вод. Водою снесло мост у мельницы. Священник наш заночевал за речкой. Мы с Любою, Маркелом и Андрюшей ходили смотреть на разлив. Дорогой много хохотали: ноги топли, мы скользили, чуть не плыли по расползшейся, тусклой землице.

В разливе есть веселое, как и в пожаре. Славно гудят воды в развороченном мосту, гнется лозняк, несутся талые обломки льда. У шоссе рухнувшего наши мужики: Федор Матвеич, Яшка, староста Хряк. Яшка, молодой, издерганный и искривленный, бледный, более похожий на мастерового, длинно сплюнул, цыкнул и перетряхнулся.

— Катить водишша, катить, и не остановишь, кол ей в хрен!

Хряк мотнул черною папахой на седых клочьях волос, злобно клюнул красно-бурым носом.

— А строил хто? Хто мост строил, я тебе спрашиваю? А? Хто строил? Земство. А советовал хто? Барин наш... анжи-не-ер... Вон оно дело-то какое.

Федор Матвеич нас заметил. Одутловатый, с беглыми и бойкими глазами, в рыжем шарфе вокруг шеи — бывший приказчик в магазине — слегка толкнул Хряка, учтиво поклонился.

— Оченно вода разбушевалась, Наталья Николаевна, так что даже и предметы волокеть, знашь-понимаешь, как, например, кошку дохлую.

Мы с Любой отошли в сторону. У самых наших ног вода бурлила, мутно пузырилась, пенная. На ивняке покачивалось прошлогоднее гнездо.

— Они, Наташа, на луга на наши зарятся. И этот Хряк, даром что старый, первый заправила. Австриец называет его «grosser Dieb»[1]. Конечно, вор, а все же староста...

По молодому ее, загорелому и несколько в хозяйстве загрубелому лицу тень прошла.

— Ну, Люба, ну и пусть берут, подумаешь, какая важность.

— Ах, что ты говоришь. И так ведь сена не хватает.

Я видела, что ей и говорить со мной не хочется об этом, как с ребенком, пустяковым существом. Пусть и не говорит. Эта красивая, крепкая женщина мало мне близка, и когда с лицом заботливым, в кофте, мужских сапогах ходит она по клетям, амбарам, молотилкам, на меня нелегким духом веет.

---

[1] большой вор *(нем.)*.

Мы недолго задержались у реки. Была Страстная. Дома ждали милые пасхальные заботы — красить яйца, набирать моху. Любое — куличи и пасхи. Отец же заседал обычно за столом, критиковал нас. Читал «Русские ведомости». Раздражался на политику.

К заутрене ходили я, Маркел, Андрюша с дочерью Федор Матвеича, востроглазою Аней Мышкой.

Темной ночью вышли мы с фонариком, на летник. Тропка уж обсохла. Детям жутко, но и весело. Налетит черный ветер, фонарик трепыхнется, желтоватое пламя осветит то колею, траву прошлогоднюю, то ямку. Мимо кладбища всего страшнее, но Андрей виду не подает. Чтоб покрасоваться пред своею дамой, он идет поверху, у канавы, из-за ней мечутся ветви ив, берез кладбищенских. Вдалеке огни церкви. Мышка жмется все ко мне, в защиту.

У церкви оживление. В ограде по скамейкам девушки с парнями, лущат семечки. Солдаты бродят. На Маркеловы погоны многие засматривают, но когда лысый о. Никодим с иконами, хоругвями, свечами золотеющими опоясывает церковь и «Христос Воскресе» раздается, светлым, легким сердце наполняется и слезы на глазах.

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе!

Где война, ужасы и окопы? Наступления и пленные? Где сутолока революции? И станешь ли вспоминать о лужках, наделах, выселениях? Над церковью нашей деревянной, скромной, ветер попритих. Древние камни могил княжеских, с темною вязью надписей замшелых, так торжественны, и так громадна сила Ангела, в сей день таинственно отваливающего плиту.

Когда мы возвращаемся, огонек движется в полях — безмолвно и загадочно. Едет ли кто? Метеор ли? Дети приустали, вновь робеют. Но не пугают мертвецы на кладбище уединенном: да, для них мы пели, слезы наши и о них, вряд ли враждебны они нам.

Дома отец у самовара. Люба за пасьянсом. Стол убран празднично, по-барски, древней Русью.

Разговлялись весело. Пили вино, отец христосовался со мною, напевал: «Христос Воскресе из мертвых...» — по привычке, как на Рождестве пел: «Рождество Твое, Христе Боже наш...»

Первые дни прошли в обычной пестроте, с окороками, куличами, поздравлениями, священниками, крашеными яйцами. На деревне девки пели песни и качались на качелях. Понаехавшие из Москвы брели в калошах новеньких через наш сад, в цветных рубахах из-под пиджаков. Весенний ветер весело трепал ситцы девушек.

Но на четвертый день...

После полудня я наигрывала в зале на рояле. Андрей гонял кием шарик по китайскому бильярдику, позванивая. Теплый дождь чуть прыскал. Зеленя над мельницей яснее зеленели.

Я слышала, как встал отец в столовой и прошел в прихожую. Обычно там садился на сундук под вешалкой,— кузнецы, прасолы, мужики примащивались на стуле у окна. Но нынче что-то неприятное... Вторгался хриплый и глухой, знакомый чей-то голос. Я остановилась. Андрюша задержал свой кий. Не соображая, с сердцем тяжко-томным, я прошла через столовую.

Отец довольно бледный, сидел на сундуке, опершись о палку. Перед ним, красный, со взмокшими патлами, Хряк мял в руках черную свою папаху с сивым верхом.

— Я говорю, что я лужки отдам, если земельный комитет так постановит. А если *ты* у меня требуешь, то это ничего не значит. Завтра ты потребуешь, чтоб я тебе лошадей запрягал или задом наперед ходил. Я,— отец слегка пристукнул палкой,— исполняю то, что по закону...

— По закону? По каму-таму закону? — Хряк вдруг хлопнул изо всей силы папахой по столу.— Нет теперь закону... Во теперь закон где, на полу валяется, плюю я на него... закону! Отдавай лужки, тебе говорят... закону!

— Если комитет постановит...

— Што там комитет, нет комитетов, сами комитет... Ты што сидишь... закону... отдавай лужки...

Я подошла к нему совсем вплотную.

— А ты как смеешь здесь орать?

Мое явленье было неожиданно. Я ощущала себя очень крепко, напряженно, в той волне, что находила иногда, несла помимо воли, и сломить ее уж невозможно. Хряк несколько запнулся.

— Орешь, орешь... Што ж, что орешь...

— А то,— сказала я,— что, если я к тебе в избу приду и буду безобразничать, ты выгонишь меня?

Хряк перевел мутные, краснеющие глазки.

— Выгонишь... тебя выгонишь.

Я вдруг взбесилась.

— Вон, живо, вон, нахал...

Хряк с удивлением попятился. А я схватила его за плечо и вытолкнула. Не мог он мне не подчиниться!

Притворила дверь, он снова ее распахнул.

— А лужки,— крикнул,— значит, за нами! И никаких! Как мы постановили... Никаких!

Отец поднялся, горбясь, и, пошаркивая валенками, вышел в кабинет. Неверною рукой налил воды, хлебнул, устало опустился на постель.

— Экая стерва!

Перевел дух.

— Ну и стерва!

В зеркале я увидела, что бледна я как бумага. Андрюша кинулся, прижался и поцеловал. На глазах слезы. Но смутился, убежал. Я подошла к окну. Все действия мои были бессмысленны, но я иначе не могла.

Отцу, наверно, это невеликая услуга. Революция... Нас завтра могут вышвырнуть, арестовать. Ну, все равно. Как делаю, так делаю.

Люба за ужином с ужасом на меня смотрела. Когда я вышла, поднялась за мной.

— Наташа, это же безумие... Хрептовичи, Булавины...

Маленький человек шмыгнул мне под руку, обнял, опять ко мне прижался.

На другой день — хмурый, теплый и туманный — встретила я в саду Федор Матвеича. На нем пальто, картуз. Высокие сапоги в калошах.

— Конечное дело, Наталия Николаевна, Хряк даже оченно без понятия, знашь-понимашь, и притом выпивши был. Но только времена теперь такие, народ непокойный... наш народ сами знаете какой... так бы поосторожней как...

Я успокоила своего дипломата. Лужки, конечно, будут их, а староста пусть лучше с мужем объясняется, и в трезвом виде.

— Потому что наш народ сами знаете какой... одним словом, что народ-то темный... а без лужков, знашь-понимашь, и нам не обойтиться.

Это я твердо понимала и без «знашь-понимашь». У меня смутное, нелегкое осталось ощущенье: да, Хряк — вор и шельма, хорошо бы его с лестницы спустить, но что же... сидеть на лужках своих, дрожать, оборонять от мужиков? Вот этого-то именно недоставало, в Любу обратиться! Главное, противно, замутнялось нежное и светлое, что наполняло сердце от заутрени пасхальной, от весны, полей, апреля...

И я была почти довольна, когда кончился срок отпуска Маркелова и мы уехали в Москву. Я оставляла отца сумрачным, Любу встревоженной. Ну, и хорошо, что уезжаем: пусть это эгоизм, мне безразлично.

В Москве тоже висело надо мной — устраивать Маркела.

Он ходил в свой полк и ничего не делал. Завтракал в собрании с тучею прапорщиков, иногда дежурил по казарме,

раз даже скомандовал: «на-кр-ра-ул!» — и удивился: сделали на караул. Но не сегодня завтра полк выступит. Какая там война? Солдаты разбегались, революция росла. И мне не нравилось, чтобы Маркел ушел на фронт. Я навестила генерала своего пессимистического. Не слыхать об артиллерии!

Маркела между тем выбрали в офицерский совет, по временам он с шашкою своей тяжелою брел в генерал-губернаторский дворец. Опираясь на эфес, подремывал под прения офицеров — в золоченом зале, мягких креслах и при нежной зелени лип, распустившихся за зеркальными стеклами.

— Знаешь,— он сказал мне раз, лениво, возвратившись с заседания,— а у нас ведь Кухов появился... Ну, как там... в совете. Он, конечно, левый... проповедует, чтоб нам с солдатскими советами... тово... соединиться.

В один из душных, пыльно-золотистых вечеров мы вышли вместе на Тверскую, я провожала его в заседанье. Запоздали, но и заседания всегда запаздывали. У кафе Бома встретился нам Кухов — потный, с лицом лоснящимся, и фуражка съехала назад. Он шел, жестикулировал, был, видимо, взволнован.

— Хм, знаете, что произошло? Вот это л-ловко! Наши остолопы... Там какой-то с фронта заявился, ужасов наговорил, паденье дисциплины и развал... и этакое благородство обуяло, тут же поднялись и дали обещанье — добровольно на фронт ехать, в наступление идти. Что за нелепость! Ну, конечно, наша группа против, но мы меньшинство... А? Вот разумники!

Я улыбнулась про себя. Ну, опоздал голубчик мой Маркуша! Кухов же и не пойдет, нечего беспокоиться.

Но Маркел разволновался. Важное решение, его не было...

— Решение не важное, а глупое,— Кухов отирал пот с угрей, острыми, недобрыми глазками на нас глядя.

— Я, разумеется, не подчиняюсь... Можете меня не уважать, Наталья Николаевна, ваш муж, по счастию, не попал в эту чепуху... а уж мы — травленые!

И он откланялся, побежал, ядовитый следок в воздухе оставил.

— Да, но позволь... и мне надо же идти... как же так... вот уж глупо вышло!

Теперь я засмеялась — откровенно.

— Ничего не глупо. Наоборот, нелепо было бы тебе идти.

И я вдруг впала в красноречие. Вернее, я сказала то, о чем давно уж думала: что вся военщина Маркелова есть вздор, если такие шляпы на фронте соберутся, то война проиграна наверняка. Нет, не ему, конечно, воевать.

Маркел возражал слабо. Мы дошли до губернаторского дома. Окна залы заседаний были настежь. Два офицера разговаривали,

опершись на подоконник и курили, Маркел взглянул наверх смущенно. Над Москвою вечер опускался, бледно-зеленеющий, с нежным золотом крестов церковных. Не хотелось возвращаться. Мы гуляли, потом зашли в клуб. На веранде, за зелеными столами, те же дамы, что во времена Александра Андреича, резались в винт и преферанс. В саду, в зеленой мгле, за столиками со свечами в колпачках, ужинали. В беседках под трельяжами хохотали компании.

К нам тотчас подошла Нилова, с Сашей Гликсманом. Саша изобрел новую помаду, заработал на ней, и теперь вспрыскивал. Я рассказала о Маркеле. Саша с Ниловой захохотали одновременно и равно весело.

— Ах, да оставьте себе эти глупости,— говорил Саша и выпячивал губы,— ну этот фронт и наступления, это же пустяки. Война проиграна. Разве ж не видно, что мы на вулкане, где же воевать! Нет, вы оставьте войну до мирного времени. Умный человек и сейчас может заработать. И взгляните, я какую камею Шурочке купил... Вот мы с вами сидим, из-под полы пьем водочку, а завтра, может быть, придут и скажут: ну-ка, господа буржуи, не угодно ли по шапке? Вы думаете, что теперь спокойно можно по трамваю ехать? Или отлучиться из квартиры? Если носите с собой бумажник, его вытащат, не обижайтесь... ну, если вора накроют, то в трамвае же и забьют насмерть, все-таки я не советую ничего с собой возить... господа солдатики в серых шинелях, это же такие мастера девяносто шестой пробы...

Мы засиделись долго. Красное вино нам подавали в кувшинах, коньяк в чайниках. Чуть бледнело небо на востоке, но зеленый сумрак наполнял площадь Страстного, когда возвращались. Вдруг с Димитровки раздались выстрелы. Мгновенно толпа собралась, тени бросились к Путинковскому. Стрельба шла четко и забористо.

— Грабят,— пронеслось откуда-то.— Бандиты, перестрелка.

— Ну, я не говорил? Нам с Шурою на Долгоруковскую, и вы думаете, что я, как иди-ёт, туда и сунусь? Нет, извиняюсь. Перекладываю керенки в задний карман, и прямо по Тверской идем, благодарим Бога, что не в нас стреляют...

И премудрый Саша, хоть и брал с Ниловою арсенал, из осторожности повел нас Палашевским.

— Душка моя,— целовала меня Нилова, когда прощались в нашем переулке,— ты же видишь, какой Саша умный? Все предвидит и все понимает. Если же тебе духи там или же помада, то по себестоимости...

— Ах, что за пустяки, Шурочка, с твоих друзей себестои-

мость... Просто говорите: Саша,— три флакона, Саша,— пять коробок.

Когда мы поднялись к себе в квартиру и я раздевалась, некоторые звуки привлекли мое внимание. Я позвала Маркела. В открытое окно, чрез улицу, мы ясно разглядели человека, осторожно пробиравшегося от одной трубы к другой, по крыше.

— А ведь действительно... тово... надо бы меры принять... сторожа ночного...

Маркел надел было гимнастерку, взял свой кольт.

— Если б захотеть... я бы из кольта этого... я бы его свалил, конечно... но ведь это...

Снизу раздались свистки. Я засмеялась.

— Уж и правда! Если б захотеть! Эх ты, вояка!

Джентльмен на крыше взволновался и заторопился. Мы развеселились. Заперли мы окна, положили кольт под изголовье, чтоб его еще не утащили, и заснули. Бандиты, так бандиты. Шут с ними.

На другой день, в лагере, Маркелу подали бумагу о переводе в артиллерию. А полку приказ выступить на юго-западный фронт.

VI

Андрюша это лето жил в деревне, Маркел ходил в Николаевские казармы — там обучали его артиллерии и верховой езде. Я же то в Галкине, то в Благовещенском. Чем больше разжигалась революция, тем сильнее чувствовала: не могу оставить ни большого, что похож на маленького, и ни маленького, рано выросшего в большого. В Москве мне непокойно было за Андрюшу, в Галкине же — за Маркела.

Я взволновалась, возвратившись к августу в Москву: нашла Маркела своего в жару, с кашлем мучительным. Воспаление легких! Маркел залег пластом. За этот месяц, среди грохота восстаний, поражений, митингов, речей, разгромов, самосудов, я узнала в точности кривые температур, компрессы, банки, кровохарканья и дигален для сердца. Маркуша очень изнемог. Исхудал дико. Борода бурьяном разрослась. И без труда получил отпуск полутораместячный для поправления здоровья.

Я взяла его в деревню еще слабого и хилого. И знала ль, сидя в купе поезда, на *сколько* времени везу?

Лишь, позже, размышляя о пережитом, я поняла, что кто-то, до поры до времени, упорно уводил нас от событий. А они шли.

Отец с неудовольствием читал теперь газеты. Но наступил

день, когда и их не привезли. Быстро донеслось до нас: в Москве восстание.

Почтенная Прасковья Петровна, многолетняя кухарка, женщина дородная, пессимистическая, собирала непреложные известия; и, топя плиту сухим березняком и хворостом, докладывала Любе: «Юнкеря и господа в Москве бунтуются. Горить Москва, горить...»

И в наше Галкино, и кругом в деревни ежедневно беженцы являлись: выходило, что Москва почти уж взорвана, Кремль уничтожен и откуда-то идут казаки, а откуда-то еще — войска.

Отец мрачно курил на обычном своем месте, у конца стола. Орали галки. Ранний снег белил клумбы, и таял.

— Сумасшествие какое-то. Прямо ополоумели.

К характеру его не подходили революции. Всю жизнь считал он, что мир движется по «Русским ведомостям». А теперь было иное. Но мы все ведь думали по-привычному. И когда пришло наконец первое письмо от Георгиевского, где ясно все описывалось, тотчас решили, что новая власть более двух недель не выдержит.

— А мужики говорят,— докладывала Прасковья Петровна,— теперича и скот заберут, и, значить, всех помещиков посгоняють, потому что такой декрет вышел.

Бесстрастно посыпала она луком красные котлеты, напоминающие сердца.

— И так что нас, значить, прямо всех отсюда вон. А то говорять, даже и уйтить не дадуть, прямо ночью дом обложуть, керосином збрызнуть, и конец...

В деревне правда становилось беспокойно. Возвращалась молодежь с фронтов, хотелось развернуться. И нередко в саду нашем я встречала юношей в фуражках на затылок, с коком и в обмотках.

— Дедушка наш удивляется... не понимает, что ли...— говорил Маркел,— или не хочет... ну, тово, понять... Но ведь... земли давно хотели... и вообще, мы, баре... давно раздражали их. Я больше удивляюсь, почему нас... до сих пор еще не разгромили... я считаю это... самым удивительным.

Конечно, мы с прислугою своей, роялями, Шопенами и экипажами, и книгами совсем здесь ни к чему. Но нас не выгоняли, и не обливали дома керосином. Заступились ли за отца годы достойной жизни, школы выстроенные, дороги и мосты? Или прельщало мало Галкино? Не знаю. Жили мы тогда тревожно.

Помню утро позднее в конце января. Я допивала кофе, а отец сидел, как всегда, за концом стола. Дверь в прихожую

отворилась. Вошли Яшка и паренек Ленька. Видно было, сзади напирают. Отец поднялся, опираясь на палку с резиновым наконечником, медленно пошел навстречу. Яшка дрыгнулся. Ленька, в шинели, розовый, весело-плутоватый, с напуском волос из-под фуражки и в обмотках, сделал бойкий жест приветствия.

— И так что, на основании декрета, и как мы слыхали, что у вас есть оружие, то предлагаем немедля его выдать. Да. А то придется обыск произвесть. Теперича и пулеметы зачастую.

Отец сел на сундук.

— А ты сними-ка шапку, в дом пришел, тогда и будем разговаривать.

Ленька не противоречил.

— Мы как по декрету, то вы должны сдать оружие.

— Отдавай, тебе говорят! — крикнул голос из сеней темных.— А то хуже будет!

Я вышла к ним. Ленька раскланялся, и даже с вежливостью. Я дожевывала бутерброд.

— Вот что,— сказала я,— у нас на чердаке четыре пулемета, пушка.

— Четыре пулемета...— Ленька чуть было не поперхнулся от восторга, но сообразил и засмеялся.

— Оно, конечно, что не пулеметы, а охотничьи ружья и револьвер, как ваш муж военный...

— Это что ж,— спросила я,— неужели все из Галкина из нашего народ?

— Как же, барыня, своих не узнали?

На минуту мне неловко стало. Годы прожили бок о бок, а теперь деревня вся слилась в одно лицо. Я не ломалась. Но, кроме Яшки и Хряка, двух-трех девчонок, остальных я не узнала.

Это был первый наш прием гостей незваных. Отцу я подмигнула, чтобы он не вмешивался. Сошел Маркел с антресоли, от своих занятий, в очках и тужурке.

Всем распоряжался Ленька. Но отчасти был разочарован. Ожидал сопротивления, войны и подвигов, а оказалось все ужасно просто. Я смеялась и была даже любезна. Мне нравилась эта игра. Приятно было подавлять своей беспечностью и равнодушием к вещам. Маркел взял тот же тон. Так простодушно и приветливо показывал свой кольт и объяснял устройство, силу боя, предостерегал от всяческих неосторожностей. Я предлагала Яшке монтекристо и еще раз уверяла Леньку, что в чулане у нас склад ручных гранат.

— Мы, конечное дело, Наталья Николаевна, понимаем, что вы не как иные прочие, но по декрету... мы ж должны проверить...

Будто бы он даже извинялся, что побеспокоил нас. Девчонки шмыгали в восторге — первый раз они *как следует* в барском доме, и все ново, кажется дворцом, свет, чистота и блеск необычайный. Из стариков был только Хряк, другие постеснялись. Впрочем, у других нашлось занятие поинтересней: отбирали скот у арендатора нашего, латыша Анса Карловича.

Когда ушли все визитеры, я почувствовала вдруг усталость. Да, больше мне смеяться не хотелось. Все эти ружья ни к чему, коровы Ансовы не нужны, но не нужны тоже Леньки, вовсе их к себе я не звала. И все наши пейзане, деловито, с жадностью около скотного толокшиеся,— мало восхищали.

Люба все вздыхала. Отец мрачен, молчалив. После обеда попросил съездить меня в совет и заявить, что взяли скот у Анса и у нас оружие.

Когда я выехала, в дохе, в маленьких санках, на ершистом Петушке, около Ансовой избы — бывшей молочной — толклись наши мужики. Со мной раскланялись очень почтительно. Я запахнулась в дивную свою, песцовую доху и отвечала холодно, умышленно по-барски. И по-барски важно проезжала через деревушки.

Село Серебряное по бокам речки Беспуты, на нагорном церковь александровских времен, огромный дом помещичий и парк, на низком — почта, школа — в ней теперь совет.

Несколько розвальней стояло у подъезда, лошади жевали сено из привязанных мешков. Я поднялась на три ступеньки. В комнате накурено, портреты Ленина и Троцкого. Несколько мужиков в тулупах, с шарфами, облокотясь на стол, что-то доказывали человеку в гимнастерке, с белокурым лицом, вида фельдфебельского. Робко дожидались бабы. И сердитый писарь, белобрысый, бешено строчил, иногда сплевывая.

Я держалась ровно, с холодком. На доху мою поглядывали. Я глядела тоже не без любопытства. И была готова на отпор. В писаре чувствовала врага, фельдфебеля немного знала: Иван Чухаев, из зажиточных крестьян, председатель. Выслушал меня тоже прохладно. Скот у крестьян возьмут в совет. Оружие же у помещиков, конечно, оставлять нельзя.

— Я не прошу, чтобы оставили. Я заявляю. Только и всего.

Когда я села уже в санки, председатель появился на крыльце, сошел и оглянулся.

— Насчет оружия, конечно, можно возвернуть, только умеючи, Наталья Николаевна... Ужо вот с комиссаром вашим переговорю...

Он вовсе не был так величествен, как перед писарем и бабами. Глазенки даже заиграли несколько.

— Теперь, сударыня, надо умеючи, иначе дело все испортишь.

Я улыбнулась, тронула рысцой. Мне захотелось навестить Немешаевых, в Серебряном.

Петушок шагом перевез меня чрез речку, незамерзшую на этом броде, холодно-серебряно струившуюся. А потом мы подымались в гору. Парк закрывал огромными дубами, вязами старинный дом. В просвете он взглянул белым фасадом с куполом стеклянным, и в молочном небе развевался еще флаг над ним. «Не хочет сдаться! Не привык!»

Проездом мимо елочек свернула я направо. Стеклянная дверь в вестибюль заперта, я поднялась знакомой и вонючей лесенкой в буфетную. Девка Танька, круглолицая, босая и могучая, будто времен крепостнических, сняла мою доху. Из залы слышался рояль. Две легенькие барышни, брюнетки, танцевали. Увидевши меня, бросились обнимать. Из кресла встала и хозяйка, седоватая и кареглазая, с папиросою в мундштуке. Она имела вид неторопливый, несколько и безразличный.

— Ну, видите, живем, танцуем. Во, Коля за роялем, а мои... им все равно, хоть мир перевернись, они себе танцуют...

Марья Гавриловна улыбнулась, морщинки собрались у карих, некогда красивых глаз. Папироску вынула из мундштука.

— Табак дорог становится, беда...

— Наталья Николаевна,— говорила Муся, младшая,— вот мама все смеется, что танцуем. Что ж нам делать? С утра до вечера слушать про революцию, ждать, когда выгонят, или большевики падут?

У Муси черные глаза, как у сестры, но тонко, очень крепко и изящно вычерчены губы. Смотрит на меня с вопросом, ожидая нападенья.

— Большевики падут! А-ха-ха-ха...

Лена присела вся от хохота, большой рот ее захлебнулся, карие, как у сестры, глаза залиты смехом.

— Падут, падут... фу, чепуха, ничему не верю.

Марья Гавриловна вздыхает.

— Вот вы поговорите с ними!

— Мне, право, все равно. По-моему, большевички даже милы, вы не находите?

Муся смотрит почти дерзко. Страшно хочется поспорить с кем-нибудь, сказать особенное.

— Лена, правда, милые? Мы их обучим танцевать, все дело только в том, чтобы большевичков танцам обучить, они отличные же кавалеры... Не находите? У нас гусар один, в совете, прямо прелесть! Он Лене нравится... Глаза у него синие и синие штаны. Чудесно? Коля, ты зачем сюда прилез? Нет, твое

дело музыка, играй. Наталья Николаевна, дорогая, вальс со мной...

И мы, конечно, прошлись вальсом, а потом я с Леной танцевала, а потом и гости стали подъезжать — помещицы, попадья, учитель Петр Степаныч и еще помещики, и видно было, что живут здесь ежедневно так — пусть гости уезжают, вместо них другие, а рояль пока звучит, и камин топится, о чем же думать.

Учитель Петр Степаныч мне понравился: человек немолодой, застенчивый, чисто одетый, с мягкою бородкой.

— Во, смотрите,— говорила Марья Гавриловна,— из крестьян, в Ивановском театр устроил ученический, любитель астрономии... конечно, долго здесь не просидит. Переведут повыше.

Улыбнулась.

— К нам все ходит. Мусю обучает астрономии. То-то наука... От Ивановского и в мороз, во вьюгу, нипочем...

Муся подлетела, ухватила его за руки.

— Фокстрот? Петр Степаныч?

— Видите, что с ним выделывает? И всегда так.

Он ей шепнул что-то на ухо. В полутьме залы, где горела лампа на столе с зеленым абажуром, да на рояле две свечи, я разглядела все-таки его лицо, глаза. Любовь, любовь! Да, от меня не скроешь. Легкое волнение прошло по мне.

Муся приостановилась, ко мне повернулась, под руку с Петром Степанычем. Он так же был все красен.

— Наталья Николаевна, умоляем спеть, он страшно хочет, то есть просить хочет, но боится, а я тоже... и правда, это лучше фокстрота... Ну, я вас прошу!

Резко очерченные губы сжались, темные глаза глядели почти с вызовом. Ей опять казалось, что сейчас я буду спорить и протестовать. Петр Степаныч только кланялся из-за нее.

Но я и не артачилась. Покорно встала, подошла к роялю.

— «Уй-ми-тесь вол-нения страсти...» — я давно не пела, но мой голос шел довольно ровно, крепко. Холодок струйкою потек по спине. Любовь, любовь! Я видела влюбленные глаза Петра Степаныча, вокруг сидели люди, жизни и судьба которых — все на волоске, и неизвестно было, не подкладывают ли уже солому, политую керосином, под столетние бока дома александровского. Пусть! А я пою. И сладостно-щемящее...

Когда я кончила, Муся меня поцеловала. Губы ее вздрагивали. Глаза влажнели. Но тотчас она рассмеялась.

— Когда вас будут поджигать, в Галкине, вы спойте это тамошним большевичкам.

— Дайте вина,— сказала я,— стакан, бутылку...

— Чудно,— закричала Муся,— выпьем, а потом еще споете, а потом устроим банк, засадим Чокрака, Колгушина... и будем пить и играть в карты...

Так мы и сделали. Я, правда, пела. Пела много, и цыганские романсы. Муся угощала меня коньяком.

Банк держал Чокрак, огромнейший помещик в верблюдовой куртке. Руки у него мягки, слонового размера. Ими он метал привычно и тепло. Стоявшая за ним дочь говорила иногда: «Папочка, не увлекайся, можешь взволноваться».

Мы с Мусей резались отчаянно. Выигрывал Колгушин, Петр Петрович, блондин высокий, розовый, и тоже крепкий, с густым бобриком, в поддевке.

— А я бы, знаете, большевичков костыликом, костыликом...

Он улыбнулся, складывая кучкой керенки. Папочка подымал глазки на лице мясистом.

— А я слышал, что уже казаки идут с Дона, прямо на Москву.

— И мы тогда большевичков костыликом, костыликом,— улыбался Колгушин.— Я комиссару своему скажу: ты у меня спер, голубчик, все колеса от коляски, ну, так снимай штанишки сам... Да, да, так, так. Свеженькой кашки не желаешь ли.

Я мало слушала. Я находилась в нервном опьянении, пила вино, бессмысленно спускала свои керенки, и что-то прежнее, как я бывала с Александром Андреичем, в Москве, Париже, просыпалось. Подняв голову, глядела на Петра Степаныча. Любовь, любовь! Меня преследовало нынче это слово.

— Надоел,— шепнула Муся.— Что его, фокстроту обучать?

Играли мы до трех часов. Меня уламывали ночевать — время опасное, одной, и поздно... Но я не осталась. Муся в желтом полушубке, валенках, платочке, Петр Степаныч в башлыке, вышли провожать. Морозило. Валенки наши похрустывали. Петр Степаныч вывел из конюшни Петушка — даже под попоной тот заиндевел, ноги в белых лохмах, он пофыркивал.

— Это что за созвездие? Петр Степаныч, говорите же скорей, какой там это Водолаз?

Орион дивно блестел в ветвях. Петр Степаныч подтянул чересседельник, скромно Мусины познания поправил.

— А, все равно, пусть Орион. Так революция, Наталья Николаевна? Слышите, какая тишина, ночь, и собаки лают, звезды светят... и в такую ночь отлично могут нас поставить к стенке. Не находите? За грехи родителей, за ар-исто-кратическое происхождение. Мне, впрочем, наплевать. Я с вами хочу прокатиться, а вы, Петр Степаныч, отправляйтесь-ка домой, вам

ведь в другую сторону. И по дороге разыщите мне, пожалуйста, звезду с названием Сердце Карла. Непременно! Так уж я хочу звезду.

Когда мы выехали вдвоем, мимо старинной церкви, сада нового за ней, обсаженного по канаве липами, она прижалась вдруг ко мне, при свете звезд глаза ее блеснули.

— Я его вовсе не люблю. А ведь любить надо? Где герой? Кого мне полюбить?

За садом я ее ссадила.

— Ну-ка, Муся, возвращайтесь вы домой.

— Вы не хотите разговаривать со мной. Вот вы все видели, любили, вы артистка, вам неинтересно... впрочем, глупости. Я напилась. Прощайте!

Она меня поцеловала, и в тулупчике своем, как девушка крестьянская, побежала назад.

Я ехала одна. Петушок, мохнатый, фыркающий, резво семенил заиндевелыми ногами. Почему девчонка задает мне все эти вопросы? Ах, что любовь и где герой! А я-то знаю?

Мы проезжали деревушки; подымались в горки и спускались к мостикам в овражки. Было тихо. Звезды леденели золотистыми узорами. Страсти великие — знала ли я их? Герой, любовь, сжигающая душу? Маркел спит мирно, мирный, милый спутник мой. Трепет, грозность и величие... Да, звезды говорят о беспредельном, в пустыне смерть расхаживает, и кто гибнет в этот миг, чьею кровью орошается земля моя? И если смерть близка, понятна, может сторожить в любом лесочке, то любовь... О, неизведанное и безумное, где ты?

Когда совсем уж близко было к Галкину, виднелся сад наш, вдруг как будто бы я выпала из мира, дикий ужас... В черном, страшном небе предо мною заклубился красно-огненный фонтан, каскадами, тепло-кроваво-пурпурными. Ах, как он бил! Ах, как он бил!

Петушок шел шагом. В поту как бы предсмертном я очутилась у ворот нашей усадьбы.

VII

Отцу пришла бумажка — явиться тотчас же. Он продал лошадь, из оставленных четырех в пользование — за это тоже угрожали карой — будто бы и арестуют.

Маркуша предлагал сам съездить. Но отец надел доху, шапку сребристого барашка, и молча, как на эшафот, уселся в сани желтые, запахнулся, закуривши папиросу, велел Димитрию бесстрастному на козлах трогать. Я смотрела из окна. И мне казалось, что отец не возвратится, что нельзя уж приучить и

приручить его к самоновейшей жизни. Вошла я в кабинет. Беленький тулуп на кровати, на столе книжки инженерские, верстак с рубанками и наковальней и пила садовая. На рогах оленьих старые патронташи, знакомые мне с детства, вытертый ягдташ с застрявшим в сетке перышком, коричнево-запекшеюся кровью — барские забавы прежних лет. А из овального портрета на меня взглянул и сам отец, в дни молодости, юношей годов шестидесятых. С ним рядом мать, с чудесными косами, в отложном воротничке. Ушедшее, былое! Да, это все закончено. Отца не существует. Мы — живем. И как-то *мы* пройдем?

Отец вернулся в сумерки, привез Петра Степаныча. Все обошлось прилично. Барышник тоже вызван был, отец возвратил деньги, получил лошадь клейменую. Он был спокоен, молчалив, но темен. Ушел к себе, покорно лег, укрывшись пледом. Петр Степаныч попросил у меня том Островского — для ученического вечера. Пил робко чай с лимоном, перелистывал книгу в красном переплете с золотом — давнишний мне подарок от отца.

— Николая Петровича обидеть все-таки не могут. Не посмеют. Все ведь его знают.

Я играла, пела в слабо освещенной зале. Слушатель с Островским и в очках, со звездами и астрономией, был мне приятен.

Я не окончила последней арии: шлепая туфлями, вошла Прасковья Петровна.

— С деревни Яшка пришел, там у Федор Матвеева собранье, сходка, что ли ча, так дедушку зовут... Насчет оружия...

Она привычно почесала пальцем у себя в затылке.

— Возвернуть будто хотят... Да кто их разберет, мужиков-то...

Она имела вид скептический, как всегда недовольный.

Мне не хотелось подымать отца. С Петром Степанычем, мимо молочной, тропкою по молодому саду шли мы к Галкину. Ну вот, я отдаю визит. Изба. Взошли мы на крыльцо, я отворила в темноте дверь в сенцы, там, в такой же тьме, мы долго ощупью искали ручку двери, внутренней. Наконец, дернул Петр Степаныч. Передо мной открылся четырехугольник. Я ступила вниз на земляной пол. В закопченной избе по лавкам человек пятнадцать мужиков. В красном углу иконы, небольшой стол с коптящей лампочкой. На нем, трофеями, в порядке, наши ружья, кольт... Какая чепуха! Зачем я тут, на что все это мне? Но, раз театр, так надо уж играть. Я поклонилась. Ответили мне вежливо, будто смущенно. В кислой мгле я разглядела у икон, под рушником и вербами засохшими Хряка со слипшимися прядями волос и красным носом, одутловатого Федора Матвеича, «богача» Силина с черною бородой. Под ноги толкнулся мне

теленок. За большою печкой поросенок хрюкал. Баба выглянула из-за занавески и платок поправила. Мальчишка шмыргнул носом, подзатыльник получил и снова шмыргнул, высунулся. Вот она, деревня. «Революционное крестьянство». Граждане мои, соседи. Грязь, тьма и вши, сопливые ребята, одни валенки на всю семью, коптилка, тараканы...

Я даже улыбнуться не могла. И не хотелось сесть, хоть мне и подали изъеденную табуретку.

— Так что вы теперь, Наталья Николаевна, вполне можете орудием распоряжаться, знашь-понимашь.

Федор Матвеич слегка волновался и подергивал на шее пестрый шарф.

— По постановлению обчества его вам возворачивают.

— Что же, возьму.

Вдвоем с Петром Степанычем мы подняли со стола «добро». Я видела десятки глаз, на нас направленных,— смесь любопытства и смущения.

— Зачем же все-таки вы отбирали?

Хряк крякнул и хотел что-то сказать, но перебил Федор Матвеич:

— Признаться говоря, одно недоразумение.

Седой, пухлый, покойный плотник наш, Григорий Мягкий, зевнул, перекрестил рукою рот.

— Прямо сказать, все молодежь... Сваляли дурака.

— Эх вы!

Я вышла. Несколько мальчишек выскочило с нами — будто щели все полны были мальчишками. Мы шли назад. В мартовском небе звезды вновь раскинулись узорами златыми. После духоты избы, нелепых слов, нелепых действий чуть морозный воздух так казался вкусен, так бессмертно небо.

— С ними трудно жить,— сказал мне Петр Степаныч.— Но их надо знать и понимать.

И я кивнула молча.

— Сейчас они в угаре, в помутнении, как вся Россия, впрочем. Не надо быть к ним строгим.

Я это знала. Но мне было грустно. О, бедная жизнь наша! Злоба и грызня, тьма, нищета!

— Скажите, вы нашли тогда для Муси Сердце Карла?

— Я очень хорошо знаю эту звезду.

Он приостановился, прислонил ружье к стволу яблонки, посаженной моим отцом.

— Вот она, над нами. Меж Большой Медведицею и Драконом.

Я остановилась тоже, мы рассматривали небо. Из-за берез вдруг вылетел ослепительно золотой шар, плавно и бесшумно

тек он над деревнею, оврагом, царственно стал удаляться к роще Рытовской.

— Метеор...

Мы замолчали. Холодок чуть тронул спину, волосы. Таинственный, залетный гость над жалким миром.

VIII

В Москву мы возвращаться не решались, вести были плохи, жить казалось невозможным. Но и здесь нехорошо. Как будто мы осаждены, на положении бесправном, неестественном. Иной раз раздражало меня даже, что и я, значит, помещица, и меня выгнать могут, взять заложницей. Я никакая не помещица! Я вольный человек, люблю весну, благоуханья, солнце... Я понимаю Мусю. Может быть, хочу любви — великой, неосуществимой. И хочу искусства. Да, искусства... самое и время подходящее!

Мы летом жили уже без газет, почти разъединенные с Москвой, и только слухи, все нелепей и сумбурнее, отягощали душу. Маркел с Андрюшей изучали движения и отступленья, отмечали вновь на карте. Степан Назарыч появлялся иногда, глаза таращил и докладывал: «В развитии, военных действий наступательных аппаратов уже Пензе и Рязани угрожают». Я то верила, и мне казалось, не сегодня завтра все и кончится, то впадала в нервность и тоску: да не хочу я никаких войн и насилий и расстрелов, обысков, арестов. И с Маркелом я неважно себя чувствовала. Бывала и резка. Что он сидит там над своими книгами — науки теперь нет и никому не нужно ничего, а в Апокалипсис все равно не проникнуть, и главное, опять эта политика, политика... Взяла бы вот да в Рим уехала, с Павлом Петровичем разучивать его обедни.

В таком падении я находилась это лето, даже в церковь не ходила и довольно много была без Маркела. Я одна гуляла, но природа мне не открывалась. Часто ездила я к Немешаевым. Там танцевали мы в огромной зале, все еще не занятой, и Муся хохотала, нервно целовалась с Колей, но и говорила, что гусар в синих штанах в совете нравится ей больше. Впрочем, и гусар ни к черту не годится, а вот не открыть ли нам с Натальей Николаевной игорный дом, тайный кабачок? Марья Гавриловна притворно возмущалась. Я рассказывала, как в Париже я когда-то выиграла шестьдесят пять тысяч и какой был мой сэр Генри. Петр Степаныч слушал почтительно. Поникал бородкою своей учительскою, когда Муся убегала за гусаром или с Колей шла на антресоли.

— Сэр Генри милый был? Правда, он очень милый? Вот

бы его сюда! Пускай бы посмотрел большевичков, в теплушке бы проехался, тиф получил! Он страшно милый? И по-русски ни словечка? Мы бы его с папочкой в железку засадили, пусть бы хоть Колгушина обчистил.

Иногда мы ездили на пикники, еще в шикарном шарабане, и я чувствовала, может быть, что мы ведем себя нелепо, но какой-то дух противоречия, почти скандала мной владел: я несколько раз с Мусей напилась. Колгушин мчал нас ночью, и мы пели песни: а чрез два дня эту самую коляску у него забрали. На пикниках папочка варил раков, поедал их, а Колгушин привозил с собою спирту и устраивал настойки. «Да,— говорил, подхохатывая,— когда большевички падут, то я устрою грандиознейшую выпивку. И мы уедем за границу. Да, да, Наталья Николаевна. Вот вы всюду были. Париж, Италия, это, наверно, интересно. Италия, как же, она объединилась. А француженки все очень щупленькие, так, цыплятки, я бы из Парижа одну вывез, поселил в Корыстове. Пусть бы там бегала и наших баб изяществу учила. Да, да. Париж — изящный город. Очень интересно. И в банчок играют? И рулетки есть — а то и в Ниццу следовало б съездить. Мой ближайший сосед осенью всегда уезжал в Ниццу. Уберет урожай, и в Ниццу. Уберет — и в Ниццу».

А папочка молча ел слоновыми своими пальцами раковые шейки и докладывал, что через три недели непременно власть падет.

Иногда Маркел мне говорил:

— Наташа... ты... я вот смотрю... что тебе интересного... со всеми ними... и как странно вы себя... тово... Такое время, а вы хором...

— И буду! Захочу, и буду! Офицер несчастный, шляпа!

В осень ту, под кровь расстреливаемых заложников, я на ура готова была выкинуть все, что угодно. Была глупа, дерзка с Маркелом и несправедлива, жила дурно и вожжалась с мне неподходящими людьми. Маркел, конечно, прав. Но сдерживать себя я не могла. И не могла сидеть покойно. Иногда казалось: будь бы я Маркел, я села бы на лошадь в офицерской форме и проехала бы через всю Москву. Дико, ну и ладно. Назло всем. Пускай бы расстреляли.

Но это все фантазии. Когда понадобилось, я иначе действовала.

Помню один вечер в октябре. Писала я в Москву. Было светло, пустынно в бледно-зеленевшем небе. Солнце недалеко от заката. Вдалеке пруд блестит, березы парка нежно-золотисты.

Выстрел. И еще, еще.

Маркел с Андрюшею окапывали яблони, отец спал в кабинете. Я строчки так и не докончила — били в набат. Фу, черт возьми, это же что? Я раздражилась, взволновалась, и сбежала вниз. На кухне встретила меня Прасковья Петровна, мрачная, но и встревоженная.

— Значит, мужики поднялись. Аленка сказывает, на Зарайск идут, а там и на Москву. Большевиков бить.

Радио кухонное! Да, восстание. В деревне шел галдеж, ругались, спорили и на закате стали запрягать. Издалека, с большой дороги, слышен был грохот телег. Тронулось Игнатьевское, Дурино, гонцы скакали по всем волостям. Рассказывали, что уж три губернии поднялись на Москву.

Отец поеживался за вечерним чаем, морщась и краснея папироской в сумерках.

— Какое идиотство! Боже мой, что за ослы! С вилами на пулеметы.

Маркел молчал, я тоже. Я трезвела быстро. И когда Яшка заявился в кухню и просил, чтобы мы отдали оружие и Маркел принял бы *командование над деревней,* я его быстро выставила. Поезжайте сами, никуда муж не пойдет. Он нездоров. Андрюше настрого я запретила выходить в деревню. Но его приятельница Аня Мышка, прибежала и сообщила, что отца чуть не побили мужики за то, что отказался ехать.

— Уж прямо! — говорила Мышка, блестя глазками.— Уж мужики руга-ались! Мы, говорят, городских переколотим, они там гладкие сидять, и только хлеб наш жруть... Уж пря-ямо!

По глазам Андрюши видно было, что и он отлично бы удрал в поход, но опоздал: уехали все, кроме Федора Матвеича.

Я понимала очень хорошо, в чем дело. В городе уж расстреляли несколько заложников. Восстание, конечно, безнадежно. Подстрекателями же мы окажемся. Расправа будет с нами. Маркел, тужурка офицерская, галифе с кантами... Нет, уж нельзя тут оставаться. Но куда же ехать? Если правда поднялся уж весь уезд, то как пробраться...

Ночью, при звездах осенних, мы с Маркелом вышли за усадьбу. Чуть морозило. В деревне лаяли собаки. По земле подмерзшей гулко грохотало — ясно слышно, как гремят телеги на большой дороге. Так же громыхали, верно, скифские повозки и такое ж небо черно-бархатное было с золотыми разрисовками.

Ночью я спала премерзко. Днем вернулись мужики. Съехалось чуть не пол-уезда. Но до города и не дошли. Опомнились перед рассветом у кустов белявинских и повернули. Советы в нескольких местах поразогнали, наш Чухаев сутки под арестом просидел.

Все-таки я хотела, чтоб Маркел уехал завтра же. Но он уж успокоился. Засел за книги свои, рукописи, шахматы. Окапывал малинник и рубил дрова. Я не была покойна. Я закопала кольт в сарайчике инструментальном, военную Маркелову одежду отвезла к Степан Назарычу.

Дней через пять я увидала из окна столовой всадников, остановившихся у Анса Карловича. Я сразу ощутила, что ног нету у меня, и села. Ничего не соображала, но взяла Андрюшу за рукав.

— Беги в малинник и скажи отцу, чтоб уходил на мельницу.

Андрюша побледнел, пулею вылетел. Всадники спешились и привязали лошадей. Потом они довольно долго шли. Я постучала в кухню. Прасковье Петровне, Любе и отцу успела передать — Маркела нет, вчера в Москву уехал.

Через минуту предо мною были уже двое: матрос с револьвером у пояса и хохол с рыжими усами. Матрос сел, не снимая бескозырки. Кожаная куртка, на руке голубоватая татуировка: череп с якорем. Лицо почти красивое, с резко белой шеей. Глаза серые и умные, очень покойные и с холодком.

— Вы здесь хозяйка?

— Да.

— Просил бы вас дать нам поесть.

«А, побежденная страна! Ну, что же. Принимаю».

Я снова постучала в кухню.

Прасковья Петровна принесла им щей. Матрос улыбнулся.

— Восстания устраиваете, а живете все по-барски.

— Мы не устраиваем никаких восстаний.

Он поднял на меня глаза. Но я своих не опускала.

— А вот там разберем, кто не устраивал, а кто устраивал.

Хохол чавкал, обтирая усы свои салфеткой.

— Они увси буржуи говорять — хиба мы? А глядь, и орудие. И здесь бы пошукать, товарищ.

Матрос на него покосился.

— Я и так знаю, что туть есть оружие.

Помолчал, оглянул комнату. Как будто замутнился. Отложил ложку. Незаметное, но явственное проступило через бритое его лицо. Так продолжалось несколько секунд. Полузакрыл глаза, вновь их открыл. Опять он здесь присутствовал.

— Было, а теперь уж нет.

Я с любопытством на него смотрела. Новые люди... Вспомнила Георгиевского, Маркела. Улыбнулась.

— Вы незамужняя? — спросил матрос.

— Нет, замужем.

— А где ж ваш муж?

— В Москве.

Он чуть прищурил серые глаза.

— Крестьяне ваши дурачье. Сами бы не додумались. Тут не без офицеров. И помещиков, конечно.

Что отвечать, если б спросил, чем занимается мой муж... Ну, ладно, он ученый, физик.

— Одного такого мы арестовали уже, Колгушина. Дурак первейший. Со своей деревней выехал. Теперь в чеку заехал.

Я не поддерживала разговора. Где-то в глубине стучало лишь одно: а вдруг Андрюша не нашел Маркела, и сейчас он явится. Пообедавши, матрос поднялся, прошел в залу. Улыбнулся на рояль.

— Музыкой развлекаетесь.

— Я певица.

— А, певица, ну так спойте что-нибудь. Петрачук, хочешь послушать барыню?

— Я не буду петь.

— Почему такое?

— Не хочу.

— Для бар поете, значит, только?

— Пою, когда хочу. А сейчас не намерена.

— Ишь вы... какая!

Он будто бы в лице переменился. Но сдержался.

— Товарищ Красавин, треба у Серебряное трогатися, бо не запоздать бы...

— Собирай наших, сейчас приду.

Петрачук вышел. Красавин подошел к этажерке. Увы, всего я не убрала. Карточку Маркела, в офицерской форме, он заметил сразу.

— Вот где муж ваш служит.

— Этой мой двоюродный брат.

Красавин улыбнулся, холодно и злобно.

— Немало я таких решил. В Кронштадте молотками забивали... по дворянским черепам.

Я не ответила. Но взгляд мой, верно, выразителен был.

— Вы ндравная...

После его ухода я подошла к роялю. Перелистывала вяло ноты,— о, мои Шопены и Моцарты, Глинки и Чайковские, Рамо, как в них легко. Нет, не отдам! Облокотившись о рояль, я крепко сжала так знакомые тетради. Царственный Шопен, в коричневом овале, на одной из них вдруг показался мне орлом, поднявшим лапу...

— Не отдам!

Потом взяла рог охотничий, и вышла на балкон. Дождь

мелко сеялся. Я затрубила длинно и призывно — сигнал обычный к чаю, ужину. Теперь он звал домой Маркела с мельницы. «Беглец полуизгнанник!» Горечь охватила меня, но и возбужденье. «Как я позволила ему остаться! Как не отослала раньше! Полоумие!»

Маркел вернулся с сыном — оба мокрые и нервные.

— Ну, это ж сумасшествие, ведь это прямо идиотство, что ты здесь сидишь.

Маркел не возражал. Отец был тоже очень разволнован, кутался в тулупчик свой. А меня нельзя уж было утихомирить. Вечером мы запрягли тележку и отправились в Ивановское.

Петр Степаныч жил за селом, снимал избу напротив кладбища. Я знала, что хозяйки его нет, уехала в Москву. Это отлично.

Маркел захватил книги, шахматы. Петра Степаныча застали — переписывал он роли из Островского. Маркелу удивился, но сочувственно. И подтвердил, что сейчас жутко: в Телякове тоже стал отряд, арестовали Чокрака, вообще дурные вести.

— Ну, ничего,— он скромно улыбался в узкую бородку,— мы пробудем с вами несколько деньков, а потом лучше вам в Москву на время...

Я все-таки уехала встревоженной.

А на другой день мы узнали в Галкине, что Чокрака убили. Застрелили в собственном же парке, вблизи склепа князей Вадбольских, ранее имением владевших. Аня Мышка, задыхаясь от волнения и возбуждения, передала подробно:

— Он здоровый, а они неловкие, до семи раз стреляли, пря-ямо! Он как падет, да подымется, кричит: «Стрелять вы не умеете, анафемы», так смотреть собралась вся деревня, как его решали. А уж барышня, дочь, билась, все просила, чтобы папочку не убивали, пря-ямо! Только комиссар уж догадался, ка-ак ему в затылок из винтовки дал, сразу и кончил...

Андрюша слушал молча. Ничего он не сказал, а только побледнел, ушел наверх. Потом оделся и бродил в саду — почти его я и не видела.

Отец тоже молчал. И почему-то принялся столярничать. Стругал, пилил на верстаке своем, и так умаялся, что ужинать не вышел, лег в постель. Я не могла остаться дома. Побежала я в Ивановское, к заточенному Маркелу. Там застала Мусю. Маркел с Петром Степанычем играли в шахматы, завесив окна. Малая лампочка с зеленым абажуром освещала стол их, с книгами, босым Толстым, астрономическою картою. Чисто, тихо, точно в комнатке курсистки. Муся мрачно заседала на постели, подобрав ноги и накинувши пальтишко.

— А у нас отряд. Красавин действует. Сегодня Кольку в город отвезли.

Учитель волновался и краснел. Настроение невеселое.

— Нас завтра выселяют в красный домик. Наплевать, конечно. Вы как думаете, Кольку расстреляют? Вот и «папочка»... А мы смеялись. Петр Степаныч, что вы можете сказать со звездами своими, когда... до семи раз?

— В человеческой свирепости не виноваты звезды.

Мы сидели в этой комнатке простого человека как союзники и заговорщики. Союз и заговор наш был такой, чтобы спасти кого возможно. Тьма гудела за стенами. Ветлы кладбища завывали, и суровым, грозным колотило в рамы. Во мне не было теперь упадка. Есть великая любовь, или же нет ее, хочу ли я искусства, света, жизни — надо вызволить Маркела, как и Муся эта кареглазая думает о своем Коле.

И мы условились: Маркел скрывается здесь до дня, пока Красавин со своим отрядом не уйдет.

IX

На этот раз отец слег окончательно. Покорно он лежал, не жаловался, укрывался беленьким своим тулупчиком. Каждое утро заходила я к нему.

— Ну, как?

— Ничего. Позови мальчика. Фуфайку.

Андрей носил фуфайку серую, он так и звал его: фуфайка. Андрюша очень с ним дружил и раньше. А теперь главное отцово развлечение — смотреть, как тот строгает, лобзиком выпиливает. Отец его критиковал, и поправлял, с той же дотошностью, как следил за Любиным пасьянсом. Андрей не огорчался. Иногда звал он его к постели и рукою слабой, слегка холодеющей гладил по голове, пальцы ласкал. Смотрел недвижно и спокойно.

— Если подать тебе чего, ты говоря. Я с удовольствием, дедушка.

— Нет, ничего.

На Любу иногда отец ворчал и морщился, кряхтя переворачивался, жаловался. Андрюшей же всегда доволен. А взгляд его был очень удален, ко всем как будто равнодушен, кроме мальчика. О Маркеле только раз спросил — в происходившем ничего особенного не заметил.

Нам сообщили из Серебряного, что отряд уходит. Расстреляли еще пчеловода одного, мужика зажиточного. На деревни наложили контрибуцию. Колгушина и Колю выпустили — это обо-

шлось в несколько тысяч, несколько пудов пшена и воз крупчатки.

Димитрия я не хотела трогать и сама свезла Маркела от Петра Степаныча — в скромной тележке, чтоб не привлекать внимания.

В Серебряном над белым домом красный флаг. Подводы, тележонки, мужики и бабы — совет перевели сюда из-за реки. А Немешаевы перешли в «красный домик» с мезонином — там гнездились барышни.

Мы привязали Петушка в елочках, с заднего крыльца вошли. Коридор, навалены какие-то попоны, хомуты, дверь приотворена, там сундуки. В столовой, светлой комнате с гудящими по окнам мухами, Марья Гавриловна в поддевке возится у печки — поправляет дымные дрова. Барышни сбежали сверху.

— Во, видите, куда загнали! Ничего, живем. Раздевайтесь, будем завтракать. А, в Москву везете? И отлично. Подзакусим, и поедете.

Лена с Мусей снова хохотали. Мать поправила седую прядь и закурила.

— Видите, не унимаются. Им хоть бы что. Колю вернули, мы опять все вместе, вот вам и хохочут.

— Знаете,— Муся блестела выпуклыми глазами,— Красавин тут к Лене прицепливался, нет, вообразите, вот нахал, но все-таки в нем что-то есть, вы не находите?

Я улыбнулась. Женщины! От века было так, до века будет. Конечно, тип с татуировкой должен действовать. Кровь на нем — это не важно, даже не занятней ли?

Мы не дозавтракали еще, я кисель глотала, вдруг Муся вскочила, кинулась к окну. Потом в переднюю, заперла дверь.

— Лена, веди Маркел Димитрича к себе. Красавин возвратился.

По блеску дерзких глаз, по изменившемуся голосу мы сразу поняли все.

— Тарелку, вилку его уберите.

Лена выхватила моего Маркела, утащила в коридор. Я убрала прибор. Мгновенно стало у нас тихо — и серьезно, так серьезно...

— Вы сказали, что ваш муж в Москве? — шепнула Муся.— Офицер! Как скверно.

Рукоятку двери тронули.

— Мама, отпирай не сразу.

Сама Муся тоже выбежала.

Марья Гавриловна отворила медленно. Я ела свой кисель со странною теперь внимательностью. Все для меня сошлось на вкусе киселя несчастного.

Красавин вошел хмуро. Шея у него белела неприятно.

— Портфелик позабыл. Пришлось вернуться.

Я в окно смотрела. У елок, где привязан Петушок, двое красноармейцев отпускали лошадям подпруги. Значит, не сбежишь.

— А, вы... Я вас помню. Что ж ваш муж, еще в Москве?

— В Москве.

Он улыбнулся, но тяжелое что-то в лице прошло.

— Обманываете, скрываете...— вздохнул, обвел вокруг глазами.— Понятно, своих жалко.

Он сел, и замолчал. Зацепенел, глаза сонные стали. Знакомое и неприятное прошло. Красавин встал, вышел, медленно стал подыматься в мезонин.

— Куда вы?

Он мне улыбнулся, медленно и дерзко.

— Портфельчик свой ищу.

Я тоже за ним двинулась. Дверь в комнату притворена. Толкнул. Дверь приоткрылась, но опять захлопнулась.

— Нельзя, переодеваюсь.

Голос Муси резок, звонок.

— Ну, подожду... мне надо.

Я взяла ручку двери, загораживая вход.

— Ждать нечего,— крикнул Муся,— войти нельзя, я нездорова и ложусь.

— Нужно!

Он было двинулся, но предо мной остановился.

— Там не одна барышня,— пробормотал,— я знаю... не одна... Я чувствую.

— Муся нездорова. Вы слыхали? Вы туда войти не можете.

Он молчал, и я молчала, на него глядела. Как все ясно, все меж нами бессловесно шло! Враги... Сейчас решается. Но и во мне зажглось, другого цвета, от меня, я знала, тоже шел поток, невидимый, но шел.

— Эх-х, бабы!

Красавин повернулся, быстро вниз спустился. Я стояла. Ноги мои занемели, и за дверью было тихо, точно умерли все трое. А в окно я видела, как вышел с заднего крыльца Красавин, Танька подала ему портфелик, подошел он к елочкам. Красноармейцы завозились у коней. Вскочил, мотнулся тяжко в нашу сторону, револьвер выхватил, дважды на воздух выстрелил. Ударил лошадь, грузно поскакал.

Я отворила дверь. Девицы несколько бледны, Маркел мрачно сидел у стола.

— Фу, черт... какая мерзость... ну, тово... еще минута, я бы вышел сам.

Лена захохотала.

— Как глупо! Выдали бы и себя, и нас.

Муся бросилась ко мне и обняла.

— Наталья Николаевна, молодчина! Прямо вырвала зубами.

— С волками жить, по-волчьи выть.

И больше я не мешкала. Чрез полчаса мы ехали уже с Маркелом по пустым полям. Мы были молчаливы. В каждой деревушке вглядывалась я, не видно ли где всадников. Казалось, все нас знают, все следят, что вот везу я мужа-офицера. Но нами мало кто был занят. У всех довольно и своих забот.

На станции Маркел вскочил в вагон товарный. Я заглянула и туда. Мальчики с ковригами, баба толстенная, явно обложенная под одеждой снедью, несколько солдат, две-три скамейки, холод, угольная пыль на полу... Маркел пытался было примоститься в уголок, но баба сердобольно отсоветовала.

— Не садись, барин, там нагажено.

Все-таки поезд их ушел. Мне стало легче. Возвращаться домой поздно, далеко. И я отправилась к Колгушину — там ночевать.

Колгушин жил с старушкой матерью в крошечном домике — прежний сгорел еще в войну — и рядом строил новый. Теперь постройка уж не двигалась. Но он водил меня меж полувыведенных стен кирпичных, из углов крапива выбивалась. Так же весело хохотал и потирал руки, бобрик свой поглаживал.

— Жаль папочку, да, жаль, да, но и меня чуть не ухлопали. Мужички подвели, сами же и вытащили на восстание, но и я не так дурак. Доехал с ними до большой дороги, а потом вернулся. Вот тут и доказывай...

— Когда все кончится, то я дострою. Да. Вот тут столовая, тут кабинет мой, видите, на пруд выходит, здесь мамашу мы устроим. Маленькая комнатка, ну, да старушке многого не надо. Да, на новоселье, милости прошу...

Пока же революция шла и его таскали по чекам, он развлекался тем, что вечером тащил из собственного же амбара, запечатанного, собственные вещи. Лазил ночью чрез оконце слуховое, разбирал накат, и на могучих плечах выволакивал шлеи, колеса, хомуты, мешки с овсом и рожью.

Как у Петра Степаныча тогда, я чувствовала у него себя по-заговорщицки, и, если б нужно, я бы помогала в воровстве. Мы провели вечер в жаркой комнатке с гудевшими от тепла мухами, при крошечной коптилке-лампочке. Пахло душным, сладковатым, и немножко копотью. Я отдыхала от волнения. Ела коржики с вареньем, говорила о Москве, Париже и Италии, а на дворе гремел ноябрь. Мы были бесконечно далеко от

прошлого моего. Но в том убожестве, где находились, грустно-умилительно мне было вспоминать о молодости.

X

Шли дни, недели, а отец не подымался. Лежал покорно на своей кровати, не страдал, но угасал. Всем это было очевидно. Мы не подымали разговоров.

— Мама,— сказал мне Андрюша,— это все *они.* Дедушку уморили. Как убили Чокрака, он слег.

Я и сама так думала. Вообще с Андреем мы о многом полагали одинаково — быть может, плоть от плоти, да и рос средь нас...

В Москве квартиру нашу захватили и Марфуша неизвестно куда канула. Маркел устроился у Георгия Александровича, на Земляном валу. Я рада была этому. И тоже очень я порадовалась, когда сообщил Георгиевский, что едет к нам. «Надеюсь обменять две старых своих пары у крестьян на хлеб,— писал.— И нас с Маркелом это поддержало бы».

Я *очень улыбнулась,* прочитавши. Помнит ли Георгий Александрович, как некогда приезжал к нам, в белых брюках, с Димитрием, в коляске? Не эти ль брюки он везет и продавать? Димитрий только что покинул нас, а у коляски утащили все колеса, и безногий кузов заседает безнадежно на земле промерзшей.

Но все-таки за ним послали розвальни, ездила Прасковья Петровна, я же за нее готовила. Она ждала поезда семь часов. В дороге пассажиры вылезали, и Георгий Александрович рубил дрова, потом путь чистили, но — одолели.

Георгий Александрович так же прямо и невозмутимо заседал на мешке с сеном, как в коляске и автомобиле сэра Генри. Так же выглажены и со складкой были брюки. Лишь усы над византийским подбородком побелели вовсе.

Обогревшись и оттаявши, прошел к отцу.

— Ну, как вы живете?

Отец ответил тихо:

— Умираю.

Я подошла, поцеловала его в лоб и поласкала руку — бедную, больную руку с кожей обваренной, мне милой с детства. Он слабо гладил пальцы, и смотрел. Я не забуду взгляда этого. «Ах, я ведь умираю, помоги же, защити».

Я обняла его.

— Ты нынче много лучше выглядишь.

Вздохнул, двинулся на подушке. Георгий Александрович

сидел недвижно и рассказывал. На отца глядел с тем же спокойствием, точно какой-нибудь Габиний Марцеллин времен Сенеки наблюдает уход друга, неизбежный. Взор же отца — ко мне. Я его дочь, меня он знает с люльки.

Я тоже знала, как Георгиевский, что пора отцу, и даже лучше, что уходит. Но кинжал вежливо переворачивался в сердце.

Да, нынешний приезд Георгиевского мало походил на прежний.

— Чем я могу развлечь вас? — говорила я ему.— Вы любите вино, устрицы, спаржу, камамбер, а у нас нет рюмки водки. Сахар мы едим вприкуску. Кофе желудковый. Кашу из ободранной пшеницы.

Георгий Александрович покрутил ус.

— Ну, это не беда. Мы слишком много объедались. Между тем уж древние отлично понимали, что такое воздержанье.

— Вот вы и будете у нас умеренны.

— Отлично. Но сейчас, по правде говоря, мне интересней то, смогу ли я и как продать костюм — вернее, обменять его на generi alimentari[1].

Отчасти Петр Степаныч в этом нам помог. И мелочи Георгиевского — зеркальце, два полотенца, башмаки ушли к учительской хозяйке-спекулянтке, за пшено и пуд муки. Костюм решила я снести к Степан Назарычу.

Степан Назарыч жил в давно отстроенном после пожара, красном безобразном доме у пруда, отдельно от деревни. Нижний этаж сдавал школе, в верхнем, грязно и зажиточно, жил сам. Приходом нашим был польщен, глаза таращил более обычного, угощал чаем с медом и завел длиннейше-утомительнейший разговор с Георгиевским.

Мне надоело слушать, и я развязала узел.

— Н-нда, разумеется дело, кто с понятием, костюм подобный, не говоря уже о добротности видимого аглицкого товара и, как бы сказать, замечательной работы, не может умственно не по-индравиться...

Он колупал его, разглядывал на свет, нашел два пятнышка, прореху и заплатку, отложил.

— Для такого человека, как Георгий Александрович, за энту пару мог бы даже предложить побольше в понятии трудного положения, но неурожаишко...— Он сделал страшные глаза.— В возможности лишиться и последнего будем говорить о пуде мучки...

---

[1] вещи первой необходимости *(ит)*.

Хлеб он убрал отлично, и никто его не трогал — как крестьянина. Я это знала. Мы опять сложили узел наш. Георгий Александрович взял его легонько, на отлете, точно нес коробку с именинными подарками, и под собачий лай, среди мальчишек, высыпавших на большую перемену подышать воздухом, мы зашагали вниз через плотину и домой, снежной дорогою.

— Сегодня неудача,— говорил Георгиевский,— это ничего. Всего лишь мелкие misères de la vie[1]. К ним в столь трагическое время отнесемся лишь философически.

Я засмеялась.

— Мы напоминаем с вами двух почтенных нищих. Даже палки в руках. Только нет котомок за плечами.

— Могут оказаться и они. Мир очень стар. И человечество всегда любило забавляться перетряхиванием слежавшегося, с восторгом наблюдало, как одни тонули, вместо них всплывали новые.

Я рассердилась.

— Да вот вовсе я не собираюсь утопать! Я человек, художница, мать и жена и жить хочу, пересидеть *это,* пусть и в бедности, в трудах, но я живая, я могу работать и дышать, и вовсе не желаю покоряться...

Георгий Александрович взял узел левою рукой.

— Быть может, и переживете. Вы не стары и сильны, решительны. И я хотел бы тоже. Но я сед. Вряд ли удастся. Вернее, мне придется уходить, как вашему отцу. Я вспоминаю одного старого римлянина — извините мне пристрастие...

Нет, я сердиться не могла. Сухенький старик со своими римлянами на равнинах Галкина, с английскими штанами в узелке опять почти развеселил меня.

— Кореллий Руф страдал жестокой, безнадежною подагрою. Всю жизнь он мучился. Считал, что лучше бы вскрыть вены. Но терпеть не мог Домициана, императора-тирана, и решил, что должен пережить его.

— Что ж, пережил?

— По-видимому.

Может быть, и Кореллий Руф чем-нибудь походил на Георгиевского, но наверно не выменивал своих костюмов на пшеничную муку.

А мы, действительно, философически отнеслись к неудаче. Провалившись еще в двух местах, были вознаграждены в третьем, у сапожника Антона Григорьевича. Этот спокойный, скромный старичок, весь день сидевший за колодками, в очках, связанных ниточкой, принял нас с простотой высшего аристократизма.

---

[1] трудности жизни *(фр.).*

Георгий Александрович получил еще два с половиной пуда и мог уезжать. Но я просила подождать — близилось неизбежное с отцом.

Отец с Андрюшей более уж не играл, не наставлял. Лишь когда я входила, он смотрел все тем же, долгим и безмолвным взглядом. В доме нашем стало еще тише, и грустней. Рождество наступило — печальнейшее в моей жизни.

Я вызвала Маркела. Он приехал в день, когда Марья Михайловна, по-прежнему еще красивая и пахнущая аптекой, выйдя из отцовской комнаты, сказала мне:

— Самое большее, до вечера.

Отец лежал на спине, высоко на подушках, тяжело дышал, с хрипом. Маркела он уже не узнал. Андрюша подошел к нему, ласкал и целовал руку. Что-то — как улыбка со дна моря, куда погружался, всплыло на лице.

— Фуфайка...

В этот день мы не могли уж разговаривать. Молча сидели за столом. Чтобы убить время, я гоняла шарик на бильярдике китайском, а Маркел с Георгиевским курили. Поочередно охраняли мы отца. Люба сумрачно, почти сурово, целыми часами на него глядела, сидя рядом. По всему дому хрип. Иногда вздохи прерывали, он стонал, переворачивался. Раз мы расслышали: «Волю... отпустите... волю». В девять он шепнул:

— Фуфайка...

И опять легкий трепет, дуновение нежности. К полуночи дышал уж реже, и слабей. Я положила ему между рук, державшихся за одеяло, старинную иконку Божией Матери Ахтырской. Мы стояли у его постели, все. Необычайно тихо! Слышно, как колотится твое сердце. Хрипы тише, грудь под одеялом движется все медленнее, все покойней.

В молчании — благоговение. С ним отошел его последний вздох. Был первый час.

XI

Прасковья Петровна с Любою омыли тело. Мне показалось грустно-непочтительным присутствовать. Я вошла позже. В чистом белье, причесанный на боковой пробор, с седой бородкою, отец лежал покорный, еще теплый. Люба смахивала слезы. Любила ли его эта женщина с именем Любви? Я думаю, что да. Но сейчас та, с длинными косами, в старомодных отложных воротничках, что смотрит со стены, должна принять его.

Беспомощен и беззащитен! Когда я помогала провести руку в рукав инженерского сюртука, нежность, умиление вновь под-

ступили. Да, он слаб, податлив, бывший жизнелюбец, женолюбец, барин-вольтерьянец. Мы сложили ему руки. В холодеющие пальцы дали свечку и прикрыли одеялом. Он помолодел. Лицо стало изящным, он напомнил мне себя таким, как в детстве моем был, и как изображен рядом с матерью. Но странная неравномерность на лице: левая половина так ясна, покойна, правая скорбна безмерно. Маркел с Георгиевским сидели в зале.

— Отец имеет такой вид,— сказала я,— точно одна часть его души уж примирилась с вечностью, другая же тоскует.

Шел третий час. Андрюша спал на диванчике, не раздеваясь. Было тихо — тишиною деревенской зимней ночи, при далеком и загадочном беге луны в зеленоватых облачках. Ее свет дымно-голубой ложился по полу, ломался на диване и печальной, смутной бледностью одел голову мальчика моего.

Я обняла Маркела.

— Вот и отдых!

— Да... ты знаешь... я ведь... очень дедушку любил... а теперь... рад... он, тово... освободился... за него рад...

Георгиевский заложил нога за ногу.

— Николай Петрович избрал лучшее. Я неизменно чувствую, как он теперь недосягаем.

— Знаешь, да... надо Псалтырь достать... у меня есть, наверху... будем над дедушкой читать... тово... если мы любим, и поможем ему... ведь нелегко душе теперь.

— Из всех нас настоящий верующий — Маркел. Электрон... и мистик.

— Это ничего не значит... электрон. Истина одна... С какого конца подойти.

— Будем читать по очереди,— сказал Георгий Александрович.— Мне трудно счесть себя христианином, но я христианство уважаю. Думаю, что не было б кощунством...

Маркел улыбнулся.

— Я знаю... вы... Сенека... Но к Сенеке церковь хорошо... относилась.

И Маркел поднялся. Грузным своим телом, с осторожностью, чтобы не разбудить Андрюшу, двинулся, но сильно скрипнул половицей. Андрюша встрепенулся.

— Не надо, не надо,— забормотал,— я через речку иду, зачем держите, не держите...

Маркел неуклюже, нежно к нему наклонился.

— Спи, спи... это я.

Андрюша приподнялся, бледный со сна, в лунном свете, обнял его.

— Папочка, да... и мама тут?

Я подошла, тоже его поцеловала. Он сейчас же повалился. И вздохнул, зевнул.

— Дедушка умер. Да, я знаю.

Он сказал это так просто и печально. Тотчас же заснул.

Маркел пошел к себе наверх, за Псалтырем.

Георгий Александрович недвижно сидел у окна, и лунный свет недвижно серебрил серебряные его усы. Мы молчали.

— Друг, о чем вы думаете?

Он взял руку мою.

— Когда мы вблизи смерти, мы ведь склонны размышлять с повышенной позиции. Особенно, если вот как сейчас, дело идет о вас... О той, рядом с чьей жизнью протекло столько моих годов...— Он прислонил лоб к моей ладони.— В неразделенной нежности.

Что мне сказать? Отец ушел, в какой-то степени седой мой византиец занять должен его место. Я так и отвечала: мы теперь теснее, ближе, потому что одиноче. Он вздохнул.

— Конечно. Много лет я наблюдаю вашу жизнь, с любовью, преданностью... Иногда бывает страшно. Да, иногда боюсь за вас. В ужасном времени...

Он крепко, неожиданно тоскливо сжал мне руку.

— Давно я не боюсь уж за себя. За вас... о, Боже мой! За легкий ваш узор...

— Маркел сказал бы,— отвечала я,— на все Божья воля.

— Божья воля... Ваш муж христианин, да еще русский. Это значит, все покорно, и пассивно. Стоики иначе чувствовали. Оттого они и ближе.

Лунный луч упал на его руку. Хризолит на пальце отсверкнул зеленовато.

— Помните, в Риме я рассказывал вам о Сенеке? Он, да и они все, освобождали себя смертью, добровольно.

— Это на вас новое кольцо?

Он поиграл слегка пальцем.

— Нет, не особенно. Я вставил другой камень, в первые дни революции.

— Можно поглядеть?

Он снял кольцо.

— Был бриллиант, я вставил камушек попроще.

Я повертела его. Обыкновенное кольцо, и камень не из удивительных. Облако отошло с луны, опять лучи, и ярче прежнего, заиграли в камне. Показалось мне, в его зеленовато-дымной глубине как будто пятнышко.

— Какое пятнышко? Ничего нет, просто луна так осветила. Дайте-ка сюда.

Как у ребенка, взял кольцо, опять надел. Точно остался чем-то даже недоволен.

Я встала, и мы вышли в комнату отца. Он лежал на постели, торжествующе. Две свечи в головах, одна в ногах, и так спокойно, истово сложены на груди руки, с Ахтырскою в бледных пальцах.

— «Боже! Ты знаешь безумие мое, и вины мои не сокрыты от тебя.

Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Владыка, Господь Саваоф. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев!

Потому что за Тебя несу я посрамление, стыд покрывает лицо мое».

Маркел стоял у столика с грудою книг. На верхней Библия. Свеча прикреплена. Читал он громко, возбужденно, и не путался. На щеках, под глазами, подсыхали слезы. Серебрились слегка в свете.

— «И вины мои не сокрыты от Тебя... Стыд покрывает лицо мое»,— я стала на колени, и заплакала. Да, вины его не сокрыты, но сейчас стыд лица не покрывает. Горечь и спокойствие в его лице. А я вот маленькая, чуть не девочка у ног простертого моего пред Вечностью отца. И горше, горше все я плакала. Это *мое* лицо стыд покрывает, это я мало любила и ласкала его,— ах, как мы ничтожны, равнодушны, и мы вспоминаем, узнаем, когда уж поздно.

— «А я беден и стражду; да оградит меня помощь Твоя, Боже!

Я буду славить имя Божие в песни, буду превозносить Его в славословии».

Георгий Александрович поддержал меня и поднял. В дверях Люба сумрачно стояла, иногда крестилась, низко кланялась.

Я помню и Георгиевского в эту ночь, над Псалтырем. Он стоял вытянувшись, недвижно, и читал спокойно, невысоким и приятным голосом, задумчиво, но неторжественно. В пять мы легли, а с десяти возобновили чтение.

Теперь я встала. В первых словах слезы помешали, а потом окрепла, голос шел ровней и гуще.

Странно было мне читать над собственным отцом. Я много слышала — покойников боятся. Но мне не страшно было. Я его теперь больше любила, чем при жизни. Мне казалось, что смерть выравняла и очистила его. Ушло мелкое, опущенность его последних лет. Лучшее выступило. И, читая, я как будто говорила: «Да, вот прими! Через день ты навсегда скроешься, я твоя дочь, прими, прости!»

Довольно скоро я услышала — дверь отворилась, валенки зашаркали. Сморкаются и шепчутся. Баба в тулупе подошла к отцу, и поклонилась низко, важно.

Открылось непрерывное паломничество. Приходили молча и серьезно. Кланялись, крестились, некоторые руку целовали. И как, когда являлись с обыском, то больше было молодых, так теперь — старых. Хряк снял перед отцом мохнатую папаху. Стоял, слушал Псалтырь и утирал красный свой нос, распухший от мороза. Федор Матвеич в буром шарфе дважды приходил: «Обчество, знашь-понимашь, могилу будет рыть, от себя, барину». На дворе метель гремела. Приезжал батюшка, служил панихиду. Кабинет отца, с инженерскими журналами, скромным верстаком, ружьями злосчастными, оленьими рогами, — превратился в этот день в часовню. Пахло елочками, ладаном, легкой копотью свечей. Мы мало разговаривали. Все теперь покойны и серьезны. Молча мы обедали и ужинали, и хоть уговору не было, говорили вполголоса. Неизмеримое безмолвие шло из отцовой комнаты.

Вечером сидели без огня, у печки. Глядя на златисто-огненное пламя, вспоминали отца, мелочи и словечки его. Поздно ночью привезли гроб — сделан из сосны нашего парка, давно срезанной и разделенной между «обчеством» и нами. А заботливая Люба уж давно и досок распорядилась напилить.

Андрюша спал, когда огромный, бурый гроб въехал в дом наш — посетителем суровым и безмолвным. Это тяжкая минута. Суд и Смерть являются в облике простом.

А на другое утро, в этом же гробу, на руках мужчин наших и мужиков деревенских торжественно выплыл отец из своего дома. Двери настежь все отворены. Задуло ветром, снег врывался в маленькие сени — отец их называл «фонарь» — а он победоносно уходил из дома, в сумрачном триумфе, на руках тех, перед кем так беззащитен был при жизни.

Служили литии на морозе. Вся деревня снова собралась. Конечно, в бедной и убогой жизни это снова развлечение.

Все тот же Петушок, единственный конек, оставшийся у нас, в розвальнях, шагом вез своего бывшего хозяина. «А я беден и стражду; да оградит меня помощь Твоя, Боже!» Мы с Любой гроб придерживали. Маркел, Георгиевский и Андрюша — на других розвальнях, Федора Матвеича.

Я помню резкий ветер, заметюшку, сыпавшую сухим снегом под мохнатые бабки Петушка, оленью шапку на Андрюше, грузного Маркела, Георгиевского, как всегда прямого и покойного. Помню на ветру замерзшие слезинки на ресницах Любы. Церковь, плохо топленную, отпевание, присмиревших барышень

Немешаевых, глубокомысленного, глаза таращащего Степана Назарыча в лисьей куртке.

И на лбу венчик, и прощальное целование. Метель разыгравшуюся, в метель непокрытые головы мужчин, и как Андрюше не хотелось, чтобы голову ему я завязала шарфом — все-таки я завязала.

И, когда спустили гроб в могилу, комья застучали, его внезапный, безудержный вопль:

— Дедушка! Дедушка!

Слышал ли он? Сквозь смертный сон шепнул ли он: «Фуфайка!»

Я долго целовала, успокаивала на морозе сына. А могилу засыпали. Через полчаса мы ехали уже домой, и все обертывались и крестились, все всматривались сквозь метель — в тот белый крест, что и осталось от моей молодости, моего отца.

XII

Я не могла уже сидеть в деревне — в январе мы тронулись.

— Наталья Николаевна,— говорил Георгиевский,— запомните, Москва теперь не та, оттуда Галкино покажется дворцом.

— А, глупости! Не могу больше.

Георгиевский уехал раньше. С Маркелом и Андрюшей совершала я первое свое «революционное» путешествие. Вновь ехали на двух розвальнях. Высоко наложили сена, на него попону, на попоне я сидела, в дохе, толстая, как купчиха: по телу вся обложена мешочками с мукой, пшеном. Андрюша притулился у меня, а Маркел — на других розвальнях. Нас вез Федор Матвеич. Вновь мы проезжали мимо кладбища. Я всматривалась в белый крест, полусхороненный в снегах. Прощай, отец!

На гору вылезли мужчины из саней, шли рядом. Так же подымались мы и прежде мимо парка, когда ездили на тройках, с Димитрием, и так же с этой горы отходило Галкино,— вниманье переваливало на Москву. Я улыбалась. Вот и удачница, и легкий узор жизни моей, вот сижу тумбою в розвальнях, и едем шагом, и муж меряет дорогу, точно Меньшиков в изгнании или протопоп Аввакум.

В городе достать билеты нам помог мсье Трушка, профессиональный вор, родственник Федора Матвеича,— имел большие связи в «уточке». Стояли мы в очередях и получили все соизволения — Маркел с терпением и кротостью, я бурно, но ни его смирению, ни моему наскоку не поколебать судьбы: попали

первыми к вагону,— налетели вдруг солдаты с пересадочного поезда, отбросили. В темноте, толпе орущей, воющей, мы ждали следующего — узнали мрак, ругань, вонь и духоту вагонов.

В Москве с вокзала мальчик на салазках вез поклажу серединой улицы, за ним, по снеговым ухабам, мы брели. Племена индевелые и в пару шли по трамвайным линиям Садовых, мимо заколоченных лавчонок, но таких же пестрых, милых и нелепых домиков, садов, заборов, куполов. Заборов, правда, стало меньше. Открылись широкие сады, и пролегли тропинки — сокращая расстояние.

Знакомый двухэтажный дом на Земляном валу. Такой же все подъем к нему от тротуара, но в заборе явственная брешь, и с улицы клены видны, скамейка, елочки, засыпанные снегом. В сенях, покрытый инеем и слегка треснувший, победоносно и спокойно воздымается Юпитер из Отриколи. И сам хозяин, в валенках, ушастой шапке и с пилой в руке, встретил у входа, как всегда.

— Ну, и чудно, комната для вас уже натоплена. Пришлось действительно пустить кое-какую ветошь с чердака, но что поделаешь.

Георгиевский отворил дверь в залу, пропустил нас и вновь запер.

— Вот, Наталья Николаевна, обиталище ваше.

Прежде тут стоял рояль, мягкая мебель, и висело несколько картин. Теперь же — рыжей глиной мазанная печка, с длинною трубой железной. Как лампионы на иллюминации, под ней висели чашечки с загадочною, черной жидкостью. Огромная кровать, диванчик, стол Маркела у окна, и сквозь кисейный, чуть синеющий дымок от сыроватых дров — на стене прежняя картина: «Вакханка» Бруни.

Я размотала все свои мешочки — снова похудела. Разложили вещи, стали мы устраиваться: да, мы в экспедиции на север, на затертом льдами корабле. И вот зимуем. А Георгий Александрович — наш Норденшильд.

Так началась vita nuova[1].

Она трудна была, конечно. Много все работали. Я оказалась не слабей, и чувство, что должны в беде бороться, возбуждало: погибает, нам казалось, вся страна и мой любимый город на моих глазах разваливается. Я не скрывалась — и громила все, направо и налево.

— Я вас предупреждал,— говорил Георгиевский,— отсюда Галкино будет казаться раем. И удивительно, что вы еще не

---

[1] новая жизнь *(ит)*.

на Лубянке. Очень странно. Впрочем,— прибавлял покойно, зажигая примус,— вам закон вообще не писан.

Сам он, с Маркелом, относился ко всему философичней.

Маркел надолго уходил в университет, что-то читал в полузамерзшей аудитории, таскал пайки и дома днем мне помогал, а вечером сидел над книгами и шахматами. В воскресенье выходил с Георгиевским на Сухаревку продавать: подсвечники и этажерки, книги, башмаки. Спокойно запрягались они в санки и тащили скарб.

А я стирала, волновалась и варила на своей печурке, пропадала от сырых дров и картошки мерзлой.

Среди других занятий наблюдал Маркел за лампионами — чтобы не капало из труб дегтярной жидкостью.

— Да,— говорил,— я упражняю в этом... волю... ну, и покорность. Мы сейчас в плену... но наша сила именно в упорстве.

Я фыркала.

— Упорство! Воля! Я была б мужчиной, я б не потерпела, чтоб меня снег чистить гнали.

Георгиевский покручивал ус свой серебряный.

— Вы женщина, Наталья Николаевна, и порывистая. Вам рукой махнуть, и чтобы улетело все. А мы попали крепко, верьте. Я давно уж готовлю.

— Ну, а по-вашему, что ж делать?

— Молодым — терпеть, ждать лучшего. А старым... Да, старым есть разные способы.

Он замолчал. Как будто тень прошла по бритому его — и теперь хорошо выбритому лицу.

Андрюша подошел, обнял меня.

— Я думаю, как мама.

Я знала это. Знала, что вообще он очень повзрослел, особенно как умер дедушка и мы перебрались сюда. Многое он узнал — в суровой жизни, ни с чем не сравнимой. Стоял теперь в очередях, бегал за сахаром к Саше Гликсману, разыскал прежних товарищей и однажды мне заявил:

— Наши за мукой едут, в Саратов. Гимназисты. Я поеду. Тоже.

Я, конечно, не пустила. Но не изменишь хода интересов: о пшене, мешочниках и заградительных отрядах говорили все: и мы, и гимназисты, Нилова и Саша Гликсман, промышлявший теперь чем попало, и чахоточный рабочий Мушкин, живший рядом с нами, в другой половине дома. Сын его торговал спичками, дочь пекла пирожные, жена работала на Сухаревке. Всех их знал Андрюша. И с Егоркою ходил на вокзал с салазками: оттуда везли вещи — подрабатывали.

Мушкин человек серьезный, блондин с умными глазами, впалыми. Раньше работал на заводе, где отец мой был директором.

— Барин правильный, шутник... Конечно, нелегко тогда жилось. А вам — полегче. Ну, а теперь всем клин единый.

Мушкин держался сдержанно, покойно, и как с равными. Когда же к нему поселили молодого коммуниста Муню, он вдруг рассердился, и пришел к нам жаловаться.

— Лоботряса мне доставили, Георгий Александрыч. Морда во, кровь с молоком, как говорится, а уж пулю получил, где-то на фронте, и на излечении был, видите ль... Так теперь ко мне вселили, к потомственному рабочему завода Гужона. Прямо лоботряс и есть.

Но Мушкин был чрезмерно мрачен.

Верно, Муня краснолиц, велик, и возмутительно здоров, и правда, что приехал с фронта — собирался же учиться живописи, не был виноват, что так силен и что его вселили именно к потомственному пролетарию. Ходил в шинели, на ногах обмотки; черные, слегка курчавые на голове волосы, и щеки в огненном румянце.

Он малым был доволен, спал в проходной комнате, шинели не снимал, курил, валяясь на складной постели, и таскал дрова. За меня чистил снег на улице. Подметал комнаты. Раз, когда нужно было двинуть шкаф с книгами, налег на него так, что старик с покорностью, но и неудовольствием пополз по давно не тертому паркету.

— Хочу учиться,— говорил Георгиевскому,— у вас все об искусстве. Хорошо бы почитать.

Карие глаза и огненные щеки, руки пудовые имели такой вид, что всю науку, и искусство, философию он может сдвинуть с той же легкостью, как и сундук, и полсажени дров. Георгиевский относился к нему просто, без высокомерия.

Иной раз, вынося ведро, я видела, как Муня, лежа на постели, шевелил губами над историею живописи, разбирал гравюры в кабинете у Георгиевского.

Столовая принадлежала теперь Мушкину. Он желчно ел там сладковатую картошку, и ворчал:

— Науки все, науки... Георгий Александрыч век на этом просидел, а он — на вот тебе... в профессора готовится, что ли ча?

Впалыми глазами, с темно-потными кругами, раздражительно он взглядывал на Муню.

Не так далеко уходил Муня в науках, к нам же относился хорошо, хотя я не стеснялась поносить при нем правительство,

партию и террор. Он ухмылялся. Приносил сухих дровешек, воблы, как-то съездил за мукой, и в трудную минуту уделил нам.

— Жизнь общая теперь, и новая... Многие думают, что мы разбойники. А мы хотим жизнь лучше сделать.

— Разбойники из вас не все, но большинство.

— Конечно, есть элемент... малосознательный.

И иногда по вечерам, в кабинете Георгия Александровича, происходили заседания и философствования. На передвинутом шкафу маска Петра белела выпуклыми глазами. Хозяин, в валенках, сидел над примусом, где кипяток готовился. Муня печурку раздувал. Маркел на диване, в теплой куртке. Приходил Мушкин.

Мушкин был против всего — и Бога, и правительства, и коммунистов, и богатых. Нельзя было понять, чего он хочет. Маркел соединял науку с христианством. Георгий Александрович — за искусство, простоту и личность. Разливая чай, вытаскивая из сундучка своего сахар — уже редкость в ту эпоху — хмуро заявлял Муня, что спасение лишь в коммунизме: отжил старый мир.

За окном ветер рвал февральскою метелью.

Сквозь полузамерзшее окно, в белесом свете видны были елочки, тропинка чрез разобранный забор, шпалерка тоненьких акаций, трепетавших в линии погибшего забора. Я тоже в валенках. Дверь к нам полуотворена. К диванчику приставлены три стула, чтоб тюфяк не падал. Стулья подперты тяжелым креслом, на горизонтальной трубе печки, между лампионов, сушится стиранное днем белье, и в полумгле лампочки Вакханка Бруни на стене, нежная и теплая, в виноградных листьях, улыбается все так же томно-сладострастно на философический бедлам.

XIII

Морозы выдались порядочные. Мы уже давно сожгли забор, и чтобы дотянуть до теплого, Муня раздобыл ордер на полсажени дров. Но надо их еще завоевать. Маркел был занят, у Георгиевского ангина, мне пришлось отправиться самой.

Дул резкий, солнечно-колючий ветер. Мы с Муней шли проулками под Курскую дорогу, а потом садами, новыми тропинками средь фабрик, что на Яузе, и огромных корпусов таможни пробрались к Золоторожской.

Тут еще сильнее, с плаца, жег ветер ножами. Муня крепче нахлобучивал наушники, хлопал рукавицами. Мы подходили к цели.

У небольшого домика стояло несколько розвальней и люди копошились. За углом старенький сарайчик — несколько человек раскачивало его крышу — с нашим появлением рухнула она, в столбе пыли. Муня показал свой ордер. Как другие, стали и мы тоже отдирать добычу. Наняли розвальни. На них тащил Муня усердно доски и шелевку. Что потяжелее, волокли мы вместе. Я была в шубейке, выкроенной из отцовского пальто, в валенках и платке.

Сновали бабы, дети подбирали щепки. Их ругали, но они шныряли, юркали, хватали из-под рук обломки.

Мы работали сначало рьяно. А потом я приустала. Села на уложенную в сани рвань, и огляделась. От сарайчика торчали только ребра, он обглоданный, как будто туша лошадиная, обгрызанная псами. За ним блестело нестерпимо поле снежное — и я мгновенно же узнала это место: вон там роща была Анненгофская — ее свалило ураганом — а правее подымались трубы: столь знакомый мне завод. Да, там в особнячке и жили и мы с отцом, и этот красный корпус помню, крышу над прокатной — отец ее построил, и на Золоторожской я бывала. Все знакомое, и все какое новое! Как и отец, завод наш умер: не пылит, не громыхает, трубы не дымят. Быть может, дом наш тоже разбирают на дрова.

Мне не хотелось впадать в меланхолию, воспоминанья. Я вздохнула, встала, чтобы вновь приняться за работу.

Сзади проскрипели розвальни. От большой лошади, в пару́,— тень на снегу — со мною рядом. Я обернулась. Из саней вылез человек в барашковой шапке, пальто, подвязанном ремешком, в огромнейших калошах. Полуседая борода, и так знакомо, так уж очень мне знакомо — трепаные кудри из-под шапки.

— Фу-ты, Господи! И вы тут... Собственной особою, певица, Наталья Николаевна...

Да, былое возвращалось. Все такой же шумный, темный, с беспокойными глазами, видом русака, Александр Андреич.

— Неужели ж и вы по дрова? А? Ха-ха-ха...

Он жал мне руки и смеялся неестественно.

Я подтвердила: за дровами.

— Ах, черт возьми! Вот жизнь! Вот приключенья! А? Вы не находите? Париж... а, ха-ха... Европы, утонченности, искусства. Впрочем, что ж, искусство существует. Старый мир рушится, вот вы же и крушите его, это вы ломаете сарайчик... ч-черт возьми! Ломаем, значит, надо. Давненько не видались. Но теперь искусство пойдет новыми путями. Заграницу побоку, я здесь, на родине... и вы не удивляйтесь, я служу, работаю со всеми этими людьми... С новою жизнью. Это ваш товарищ? (Указал на Муню). С ними. Ведь нельзя же вечно со старьем.

Европа прогнила, я знаю. Помните, меня уж отпевать собирались? Но теперь я вновь притронулся земли, рабочего народа, и вновь набираю сил...

— Для «них»-то надо помоложе.

— Я разве так уж постарел? Ну, это, может, борода седеет, но мой дух все тот же, я работаю как черт. Я в наилучших с ними отношениях. А вы? Ах, да, интеллигентство и брезгливость, но ведь надо же... вы понимаете,— он понизил голос,— ведь нельзя же, чтобы сиволапый, вон как этот молодец, стал сразу джентльменом. Но они страшно ценят, если мы, прежние, к ним уважительно. Товарищ, вот мой ордер от Наркомпроса.

Он подал распорядителю бумажку, стал доказывать, что для мастерской больше нужно, чем указано, и в бегающих, растревоженных глазах, ненужной торопливости и ласковости было непокойное: как будто оборвут сейчас.

— Ясно,— Муня показал ордер распорядителю.— На полсажени, как и у меня.

— Но я художник, понимаете, ведь я художник, и работаю на республику.

Распорядитель хмыкнул.

— А товарищ кровь за республику проливал. В два счета ясно. Получаете, сколько написано.

Александр Андреич сделал вольт, как-то отъехал.

— Разумеется,— бормотал,— суровы несколько: нельзя же требовать... Вы где живете? Ах, у вас коммуна... Слышал. Георгиевского тоже помню. Да, прошлое прошло, другая жизнь. Георгиевский... Человек знающий, его бы по охране памятников старины.

Муня наложил последние доски в розвальни.

— Ну, больше не поднять.

Мы попрощались. Я влезла на свою добычу. Муня с возчиком шагали рядом. На досках сидеть удобно. Воз покачивался. На раскатах плавно вбок сползал, оставляя за собой зеркально вытертую полосу. Я цеплялась и клонилась на другую сторону. В ухабах мягко ухали концы досок, чертили борозду по снегу. Я глядела в небо. Мимо плыли домики. Мы проезжали под мостом Курской дороги, тяжко подымались в горку у Андрония, той самою дорогой, по которой некогда катала я в консерваторию. Теперь за монастырскими стенами концентрационный лагерь. В пятнадцатом столетии там жил Андрей Рублев, писал иконы знаменитые. Сейчас полковники и генералы в нем расплачивались за былую жизнь, по временам сходя в печальные, напитанные кровью подземелия Лубянки.

— А не понравился мне этот господинчик...— Муня мрачно шагал рядом.— Вертляв. Я, говорит, художник. А норовит лишнюю доску спереть.

Ну что ж, и мне он мало нравился. А было время... Я задумалась. Да, что и говорить. Вся жизнь моей любви... И сколько глупостей! Но это все прошло. И если на возу, сейчас, представить себе... То покажется ненужно грустным и так растравляющим. Любовь, любовь! Нежность и умиление...

Ветер притих. Пообогрело солнце предвесеннее, клонившееся на закат. Вдали видна Москва. Единый в мире облик нашего Кремля и купола соборов нежно золотеют. По небу задумчивыми прядями узоры облачков. Ударил колокол — к вечерне.

— А это вот вам нравится?

Мунино лицо совсем багрово. Карие глаза взглянули прямодушно.

— Нравиться — нравится. Да не наше.

Пронзиться, замечтаться он не мог. Другая жизнь, другие люди. В девятнадцать лет Муня командовал отрядом и сражался, рисковал за то, что считал не меньше важным, чем считаю я религию, искусство и природу.

А сейчас, в смешной позиции — певицы на ободранном своими же руками трупе здания, я ощущала себя более смиренной, не склонна громить, бранить и бунтовать. Бывало это иногда и раньше. Но теперь яснее, крепче: и *мы* виноваты, прежние, во многом.

— Наталья Николаевна,— закричал веселый голос из соседнего проулка.— А я к вам, здравствуйте! Как раз к вам. Здорово вы на досках уселись. Топливо? Отлично. Это чудно будет полыхать. Ко мне Андрюша заходил. Что? У Георгиевского ангина? Мы подправим, только бы лекарств достать.

Блюм был все в той же шубе, в какой первый мне сообщил о революции, шел бодро, ласково блестел красивыми глазами. Из-под бобровой шапки серебрились волосы.

Он подошел сбоку и пожал мне руку.

— А у меня новости, из первого источника.

Я не хотела, чтоб при Муне он распространялся, и мигнула.

— Послушайте,— забормотал Блюм.— Это же разбойники. Но их песенка спета. Я даю вам слово, с наступлением весны...

Георгий Александрович лежал у себя в комнате, на диване. Горло у него завязано, температура. Все же выбрит. Выглядит спокойной мумией. На примусе Андрюша греет чай. Вернулся и Маркел. Живо разгрузили они с коммунистом воз, нарезали дощечек, и печурка в кабинете затрещала весело — даже

недымно. Мушкин мрачно преподнес ему ложку повидла, гнусного подобия варенья, нас тогда прельщавшего.

— Для специального заболевания. Здоровому бы не дал, но как вы больной, имеете паек.

Георгиевский благодарил.

— Вы видите,— сказал Блюму, бодро руки гревшему у печки,— мы не лишились социабельности. Человек и хуже, но и лучше, чем о нем привыкли думать. Те, кто полагает, что, разбивши некоторые цепи, он тотчас создаст жизнь праведную и прекрасную, столь же не правы, как и те, кто думает, что человек в основе своей зверь и может быть удержан только в клетке. А он — причудливейшее созданье. И лучше всего, если бы его поменьше опекали.

— А по-моему,— сказал Маркел,— да... теперь люди разделяются... тово. Время разделения людей. Люди... к людям. Звери... ко зверям. И это, значит... испытание для человека. Теперь не спрячешься уже: какой ты есть... таким себя и выкажешь. Сильнее выкажешь, чем раньше. Прежде жили так себе: ни шатко, ну... там, и ни валко, а теперь,— он грузно махнул в воздухе рукой, точно бы отрезая что-то,— теперь... начистоту. Предъявляй, что имеешь. Время... тайных орденов, братских. Чтобы друг дружку узнавать... по знаку... креста. Люди, орден людей.

Блюм считал пульс.

— А-ха-ха... тайное братство для преодоления невзгод жизни. Очень хорошо. Союз скромных и порядочных людей. Но я бы предпочел, чтобы можно было жить, не заключая никаких союзов, а для этого...— да, отверните, пожалуйста, рубашку, глубже вдохните, глубже. Да. Я бы предпочел, чтобы эта звериная жизнь в один прекрасный день ахнула в тартарары...

Он оглянулся.

— Товарищей не видать, я вам скажу, из верных первоклассных сведений: весной начнутся операции — господству *их* два месяца. Ах, я же знаю!

Блюм так был жизнерадостен, самоуверен, как и на всех позициях разнообразной жизни своей, и в войне, и в мире. Ездил некогда по Москве на лошади, от пациентки к пациентке. Потом на трамвае, а теперь ходил пешком. Лечил болезни всякие. Любил комфорт и модность, но по доброте сердца, мягкости характера и благорасположенности, не размышляя, гнал и через пол-Москвы к безденежному пациенту, старался всюду быть, все знать.

Выслушав, выстукав Георгия Александровича, весело заявил:

— Стрептококковая жабочка. И с осложнением на сердце. Дигалену трудно будет раздобыть. Вам и придется,— обратился

он к Маркелу,— вот вам и придется добывать сочленов ордена, чтоб помогли.

Вспоминая это время, я склонна с Маркелом согласиться: правда, разделялись люди, очень разделялись. Если возросла свирепость, то теснее сблизились и в доброте. Приятно было видеть, как едва знакомый Саша Гликсман рыскал по Москве, разыскивая для Георгиевского снадобья, как приносила Нилова кусочки белой булки, а Павел Петрович сельдь из пайка. За Георгиевским все ухаживали мы по мере сил. Блюм оказался прав. Задето сердце. Но вытянул — проболев долго. И уже была весна, когда вторично к нам зашел Павел Петрович и опять принес, завернутый в старую газету, кусок баранины из нового пайка. Он очень мало изменился с той поры, как мы разучивали с ним обедню в Риме...

Жил в прежней своей квартире, тоже уплотненной. В холоде работал, одевался старомодно-чисто, от властей держался в стороне и, как всегда, считал, что труд — первое у художника.

Баранина его была завернута в «Русские ведомости».

— Так неужели же вы думаете,— сказал он мне, не без внушительности,— что я буду завертывать в «Известия»? Газеты у меня хранятся, все в порядке, а вот почему вы пение свое забрасываете?

— Ах, вот, действительно, в такое время петь!

— Именно петь. Все эти смуты, революции и казни отойдут, искусство же останется.

Но я махнула на него листом газеты и пошла жарить баранину. Печка была разожжена. И скоро сладкий синеватый дымок лег слоями в воздухе. Бесстыдно-нежная Вакханка со стены глядела так же розово, тепло. Насмешливо ли? Ну, да Бог с ней. Жаря, развернула я официоз московский — бывший. «Еще к вопросу о борьбе с оврагами». Я улыбнулась. И мне вдруг не захотелось ни читать, ни думать. Я бросила газету в печку. Она ярко вспыхнула. Мгновенно мысли честных стариков о безлошадных, общине и хуторах стали блеснувшею игрою света и тепла, и загудели весело в трубе. Баранина сильнее зашипела. Я ее перевернула, и пошла к Мушкиным — за солью.

Когда вернулась, золотой луч солнца плавал в синеватом, точно ладан, чаде. От Георгиевского доносился разговор — там был Павел Петрович.

У плиты стоял Андрюша.

— Мама, я хотел стащить кусочек этого барана.

— Что же, бери, ешь.

Но он вздохнул.

— Нет, не возьму.

Он имел вид что-то очень уж серьезный.

XIV

Муня с Андрюшей не сошелся, я довольно скоро это поняла. Андрюша ежиком держался, а когда на юге снова поднялась война, стало и вовсе трудно. Андрюша бегал все к каким-то скаутам, мальчикам и гимназистам, к Муне же ходили юноши в обмотках и с начесами. Мы были хороши с ним, но нас разделяла грань. Он это чувствовал.

Однажды, в мае, к Муне зашел посетитель. Я из коридора, где стирала, услыхала с неприятным холодком голос, где-то слышанный. Мушкин вышел, тяжело закашлявшись.

— Еще один пожаловал. При-я-тель! Все товарищи, зубастые все, черти, так и норовят, кому бы в глотку половчей вцепиться.

В полуоткрытую дверь видно было — на конце стола обеденного гладила жена Мушкина, а у другого, верхом на стуле и спиной ко мне, сидела кожаная куртка с неприятно белой шеей. Огромное румяное лицо Муни невесело. Красавин быстро обернулся. Увидав меня, чуть улыбнулся серыми покойными глазами.

— Вот нам везет встречаться.

— Да, везет.

Муня вздохнул.

— На фронт меня опять, Наталья Николаевна. Под Ростов. С товарищем Красавиным.

Я обтирала руки мыльные о фартук.

— Что ж вам пожелать?

Муня молчал.

— Ему надо желать победы,— холодно сказал Красавин.— Ну, конечно, вы не пожелаете.

— Быть бы ему просто Муней, вот здоровым парнем, подучиться, влюбиться...

Красавин встал.

— А ведь вы прятали тогда кого-то. Наверху, во флигельке. Сознайтесь.

Я дерзко ухмыльнулась.

— Муня, помогите мне нарвать кленовых веток.

Он спустился за мной в сад. Сквозь нежную листву сияли купола Ильи Пророка. Ветер мягко и тепло струился в кленах. По дорожкам золотые блики.

— Завтра Троица, хочу украсить дом.

Муня покорно мне нарезал. Красавин стоял молча, иногда слегка посапывал.

— Завтра легкий и прекрасный день, тот день, который освящает жизнь и наполняет ее светом, Духом. Обедня длинная,

торжественная, трудная, с цветами. Женщины все в светлом. Не особенно ведь плохо, Муня?

— Каждому свое, Наталья Николаевна. Вам одно, а нам другое.

Красавин ничего не удостоил возразить, хмуро кивнул и чрез разобранный забор, тропинкою в акациях вышел на улицу. А мы с Муней расставили ветви по углам скромных комнат, и они стали наряднее, живее, как-то духовней. Ветви были и под Ахтырскою, ветвями же я убрала Зевса из Отриколи в прихожей. Может быть, он требовал бы лавра, ну, пускай довольствуется русским кленом и березкою.

На другой день вся наша коммуна поделилась: Мушкин в церковь, разумеется, не двинулся, Муня колебался, а Георгиевскому просто не хотелось — мы отправились с Андрюшей и Маркелом.

Я замечала еще смолоду: служба сближает, не мужа и жену, а человечески. Теперь же вообще такая жизнь, сильней товарищи, меньше любовники. И в это солнечное утро майское, на литургии Троицына дня, рядом с Маркелом я была будто со старшим братом. Андрюшу меньше ощущала. От Маркела же, среди чудесных песнопений, золотого света, запаха цветов и ладана, шло ясное и крепкое. Особенно — на молитве Троичной. Как становился он своим тяжелым телом на колени, как стоял — казалось, да, его не сдвинешь, нескладного моего Маркела, *шляпу,* не умеющего будто бы ни встать, ни сесть. Здесь же, в толпе светло-взволнованной, полуголодной и намученной, но сейчас нарядной, он отлично знал, как быть.

Выходя из церкви, я ему сказала это, и поцеловала.

— Учит жизнь нас... да. Многому учит... многого не знали.

Мы переходили через улицу. По тротуарам шел народ, а экипажей не было. Егорка Мушкин вез в тележке чемодан с вокзала, на углу баба продавала леденцы, мальчишка папиросы предлагал. Мне легко, весело, я голодно-взволнованна.

— Ладно,— говорила я Маркелу,— ты проповедуешь смирение и самоуглубленье, мне же до смирения далеко, но вот иногда, как нынче, я могу обнять весь этот мир, поцеловать его.

Дома Георгий Александрович, в фартуке, засучив рукава, готовил нам обед: печка пылала, суп варился. В глиняном горшке допревала каша.

— Люди разных мыслей, верований и желаний,— обратился он к нам,— господин Мушкин и товарищ Муня, предлагаю вам сообща вкусить от скромного обеда, мною изготовленного. Было время — некоторые из нас любили завтракать и в «Прагах», в

«Эрмитажах». А сейчас святая бедность нас объединила, добродетель, коей поклонялись все подвижники.

Был ли чудодействен день Св. Троицы, или столь пестра и внеразумна жизнь вообще, но мы обедали так весело, как не было давно. Вынесли в сад два столика, накрыли свежей скатертью, и солнечные пятна непрерывно обтекали нас, струились золотом по убогим кашам и супам. Тяжелого как будто не было. После обеда Муня вздумал наломать акаций, для букета.

— Нынче еще можно,— сказала я,— а завтра земля именинница. Завтра Духов день.

Муня задумался.

— Земля именинница... Не знал.

Он многого, очень многого вообще не знал!

А вечером, когда утих наш праздничный подъем, когда за долго,— в первый раз я спела, под пианино уцелевшее, Муня сказал:

— Не хочется мне уезжать, а надо. Ах, какое время... С вами быть не могу, а с ними скушно.

— Оттого и скушно, что они все мрачные. Вот ведь и молоды, жизнь перестраиваете, а чего же все такие хмурые?

— Да, большинство товарищей...— Муня насупился.— Вы знаете, Красавин, например. Такая у него способность: на расстоянии врага определяет, чувствует, где спрятано оружие. Точно в гипнозе.

Мне тоже стало грустно.

— Ну, видите, что же веселого.

— А мне опять служить с ним.

Да, но хотел, или не хотел этот румяный и нехитрый малый воевать, командовать — он уж запряжен.

И через несколько дней правда уехал.

В Москве же становилось беспокойнее, и нервнее. «События» шли с юга. Опять по городу ходили слухи, Блюм торжествовал.

— Ну, я же и предсказывал! Увидите.

Георгий Александрович был скептичнее. Маркел гораздо меньше занят этим. Но Андрюша — целиком. А у меня вновь что-то замутнялось на душе. Слишком подвержена страстям! Тогда еще все я кипела, мне хотелось поражения одним, другим — победы, это как-то обостряло, мучило, нервировало. Жизнь от газеты до газеты. Издали-то ясно, как ничтожно это все, и как бесцельно. И как бесконечно выше то душевное, светло-веселое, что посетило нас на Троицу. Но в это лето было мало таких дней. Я одурманивалась — Боже, как слепа была!

В сентябре Люба вызвала меня письмом к себе — для борьбы с наступлением на нее. Она надеялась, я помогу. Хо-

телось мне захватить Андрюшу, но он отказался начисто. Вид имел странный, возбужденный. Все ходил к скаутам своим. Уезжала я с не совсем ясным сердцем. И с Андрюшею мы попрощались необычно.

Он обнял меня, посмотрел туманными, невидяще-восторженными глазами, вдруг заплакал.

— Мамочка, я так тебя люблю!

Все это показалось странным. Но Маркел сказал — наверно, переломный возраст. В замкнутом и скрытном мальчике вдруг прорывается...

И я уехала.

В Галкине было сумрачно. Пустым и грустным показался без отца наш дом. Все в кабинете на местах, все мертвое и молчаливое. В пустынном садике пред окнами пустынно дозревало в небе яблочко на длинной ветке. И некому достать его снималкой, принести в корзиночке домой. Люба осунулась. За «добро» цепко держалась: резалась из-за бани — ее свез родственник председателя совета. Отбивала свой сарай трехсрубный. Один сруб увез солдат-фронтовик, сарай остался без стены. Смешно, нелепо был раскрыт он сбоку, чуть-чуть забран кольями. В доме завела библиотеку, чтоб удерживаться, как в окопах. И деревенские Машутки, Ани Мышки и Аленки приходили к ней за книжками Андрюшиными, шмурыгали в передней носом.

Подбирались все-таки и к дому. Мне раза два пришлось быть и в совете, и у Немешаевых. Они все жили в красном домике. Муся собирала астры, хохотала.

— Ваш дом вряд ли возьмут. Велик, и взятку надо дать порядочную. Чухаич вряд ли этот дом упустит даром. А у мельника на взятку все-таки не хватит.

Но было и другое: Чухаев с рыжеватыми своими усами стал вдруг тише и скромнее: с юга наступали белые. Колгушин потирал руки.

— Да, да, Наталья Николаевна, надо прямо говорить: сроку осталось месяц. Да. А потом — костыликом. Знаете, под одно место. Я своему комиссару скажу: ты у меня, голубчик, спер колеса, ну снимай штанишки.

Я входила вновь в этот угар!

Он прерван был для меня просто и ясно.

Раз, в холодный, медный вечер конца сентября, когда вернулась я от Немешаевых, с газетами мне подали и телеграмму: «Андрюша заболел. Немедленно приезжай помощь Маркел».

За ужином Люба говорила:

— Не волнуйся. Мало ли, простуда. Одному Маркелу трудно.

Я слушала рассеянно. Ела редиску и покачивала под столом

ногой. Нога как будто не совсем живая. Доужинала я в тумане. Люба рано легла спать. Я постелила себе, как обычно, у отца. После Москвы как тихо было! Сова гукала. Сквозь голые ветки голубым, зеленым звезда помаргивала, ластилась к неотлетевшему листу. Я не могла спать. Тяжело на сердце. Тишина комнаты — могила. Там, на кровати, умирал отец. Я вдруг зажгла свечу. Свет упал на газету. Поднялась, в ледяном холоде подошла к столу. На нем газета, неразвернутая. Я развернула. «Раскрытие нового заговора»...

— Люба!

Босиком, в одной рубашке, кинулась я в комнату рядом. Там яблоки сложены, в углу ссыпана рожь. Люба спит под отцовской шубкой. Недовольно посмотрела сонными и серыми глазами с красного лица.

— Его арестовали!

— Полно вздор молоть. Маленького! Спи. Ничего особенного. Яблоков объелся.

Я дрожала мелко. Кожа стала вся в гусиных лапках.

— Нет, уж знаю. Нет, я знаю.

XV

Москва! *Та* осень. Как мне говорить о ней? Зевс из Отриколи взглянул на меня белым, немым взглядом.

Ну?

Георгий Александрович первый встретил — в старенькой пижаме, валенках. Поцеловал руку.

— Да, Андрюшу взяли. Но не беспокойтесь. Выпустят, конечно. Недоразумение.

Через час пришел Маркел — от Кухова. Тот служил теперь следователем.

Маркел был потный, темный с лица. Увидев меня, охнул, что-то в горле у него заклокотало, как рыдание. Сел, обнял, привалил патлатую свою голову мне на плечо.

— Наталья, мы недоглядели, мы...

— Ну, так. Ну, да. Что Кухов говорит?

— Ничего... слава Богу, что ты? — Он вдруг оторвал голову от плеча, с ужасом, смешанным с улыбкою, на меня взглянул. Этой бессмысленной улыбки, ужаса я не забыла.

— Конечно... ничего. Ведь это ж дети. Их там пятнадцать человек и оказалось. Общество... ну, скаутов каких-то. Кухов говорит — все-таки следствие... и время ведь должно пройти. Во всяком случае, мне в Петербург, тово, надо, сейчас же... хлопотать. А ты здесь... действуй.

Вечером он говорил мне:

— Верить надо... понимаешь? Надо верить, добиваться... Если вера есть, все будет, и ни дня не пропускать.

Наутро он уехал, а я начала борьбу.

Были октябрьские, холодные, сухие дни. Вдруг выпал снег. Голодная, с утра бежала на Лубянку. Тащила сыну передачу, еду, одеяло, я снесла раз и икону, но латыш с бешенством швырнул ее на пол. Бунтовать уж не могла теперь. За грязными стенами, за махоркою, штыками — сидел мальчик. Увидать его я не могла! Разве напора во мне было мало? Нет, я летала — не ходила. Завывали ранние октябрьские метели. Звонили в церквах. Желтые фонари утром, вечером резали глаза мертвым своим, ужасным светом. В днях, сумрачно-белесых, предо мной мелькали кабинеты, лица, стук машинок, холод ненависти ненавистных, бедра секретарш, развязно дрыгавших остриженными волосами, френчи, куртки кожаные, пиджаки сытых сановников, в сознанье власти принимающих от барышни трубку: «А, Франц Вениаминыч! Приостановить нельзя? Да. Мы успели бы еще!» Кабинеты светлые, с зеркалами и диванами, и мрачные логова на Лубянке, ругань часовых и вонь приемных с ошалелыми людьми, тащущими скарб последний для последних часов милых сердцу. И винтовки, и обмотки, и цигарки, сумасшедшее мельканье голых, пустых дней, боль от усталости — в затылке, туман голода, намученные ноги в стоптанных ботинках, мокрых,— и кровоточащий палец. На седьмой день я хромала. Приходила я домой — не приходила, приплеталась — и лежала у себя в холодной комнате. Георгий Александрович приносил мне чашку супу из моркови, но и он куда-то часто отлучался. Приходилось и одной лежать. Вакханка Бруни ласково и сладострастно улыбалась со стены. Ветер рвал крышу прогнившую. Я не шевелилась. И пустой, страшный вихрь метался у меня в мозгу.

Маркел не возвращался. Он до Петербурга ехал трое суток. Часто вспоминала я о нем. И мне казалось, что в кровавых и седых туманах так же мечется он сейчас, драный и замученный, от одного врага к другому.

И я попала, наконец, к «главному».

Мне не забыть длинной, узкой комнаты его. Сухой, остроугольный, и без возраста. За столом. Плед на ногах. Желтая рука с перстнем спокойно и безостановочно строчит. Поднял на меня бесцветные глаза, тонкие губы чуть-чуть шевельнулись. Франц Вениаминович — писатель и любитель музыки.

— Дело вашего сына не кончено.

Я подала ему письмо. Взглянул, и отложил. «Дело» Андрюши!

Желтый свет лампочки, желтый пушок на руках, желтый отлив неживой кожи на лице.

— Нам пишут много таких писем. Следствие продлится еще две недели.

— Но ведь он ребенок.

Франц Вениаминович продолжал писать, и на мгновенье поднял глазки, но не на меня, куда-то вбок.

Когда я вышла, пустота ревела вокруг вихрями — острой метелью резала глаза и щеки. «Пожалеет?» Обогнула угол здания, прислонилась к стене дома. Часовой меня прогнал.

Я медленно пошла к Арбату. На Кузнецком пусто, и темно. Метель свистит. На тротуаре то наметен пласт, то ноги скользят по льду. Магазины заколочены. И шибко ветер подгоняет вниз, к Неглинной.

Театр Художественный, клуб литературный. У Никитских ворот груда камней — столовая Троицкой, да обгорелый костяк дома Коробова.

Но переулок у Арбата прежний. По нем иду, как много лет назад, не думаю, ноги ведут.

Забора перед мастерской уж нет. Но дверь все та же. Блок скрипит. Над притолокою голова Минервы в шлеме.

— Кто там?

Нет, не «весеннее видение» и не «соловушка». Куски холста, торсы и ноги, кресло на вертушке, холод с антресоли — тень огромная со свечой в руке.

Я поднялась наверх, нахрамывая.

— Ба-атюшки мои!

Александр Андреич был в тулупе, седой, всклокоченный. На столе — тарань, кусочек хлеба, полбутылки. Спиртом пахнет.

— Ну вот, ну вот, ну что такое? Почему замучены, милая голова?

— Что это, водка?

— Не так чтоб очень, собственного выгона...

Я налила в его же рюмку, выпила.

— Послушайте, вы, там... Вы с ними близки.

И рассказала про Андрюшу. Стало теплее. В голове кружилось, но я говорила медленно, и тяжело.

Он соскочил, забегал, шмыгая валенками.

— Вы думаете, я могу? Ну да, конечно, я портрет сейчас в Кремле пишу, я их всех знаю, да, но сам... Ах, Боже мой. Андрюша, милая голова, фу-ты, несчастие. Но меня ведь знаете... За мной следят, ах, что за время. Для вас, но понимаете, я сам жду... у меня знакомства прежние, компрометирующие. Если

бы не эти белые... Не можете себе представить, что там за хаос сейчас...

Я налила себе еще.

«Боится потерять заказ, паек, тарань...»

Он говорил мне еще долго, смутно, путано. Я поднялась.

— Куда вы? Посидите, обогрейтесь... Хотя тут у меня... Вы знаете, я все-таки живу как пес... Вы замечаете, ниже нуля. Но иногда тепло. Да, это все... ужас. Понимаю. Я и сам иной раз напиваюсь, в раздражении, с молодыми друзьями. У меня поэты молодые, и художники. Приходят, безобразничают. Но мы и все на волоске. Вы думаете, если *те* завтра придут в Москву, мне уцелеть? Я знаю, мое имя в списке. Говорят, я пьянствую в Кремле, с сановниками... это клевета. Нет, иногда мальчишки тащут меня в гнусную дыру, к извозчикам, перепиваются ханжой... Постойте, я хоть провожу... Да. Земляной вал далеко, но ведь и грабят...

Пожалуй, что и грабят. Это верно. Да уж мне и все равно. Я отказалась от его «сопровожденья». Нет, куда там. Ведь *моя* Москва, родина и любовь — блестящая ль, разрушенная. Безразлично.

Я возвращалась медленно домой. Иной раз отдыхала на бульварах, на скамейке. На Чистопрудном шла проездом. Такие ж заколоченные магазины, и заброшенный трамвай. Рысак обогнал меня — трое на нем. Догнав, попридержали, шагом. Оглядели пристально, внимательно — рванули, полетели. Нет, брать-то с меня нечего. Что ж, не ошиблись.

Георгиевского дома не было. Явился позже, сумрачный, усталый — но покойный.

— Куда вы-то все ходите?

Не раздеваясь, я лежала на постели.

Он сел рядом и взял меня за руку.

— Я бы желал, чтоб вы хоть временно уехали отсюда. На неделю, на две. К Ниловой, что ли.

— Для чего?

Георгий Александрович вздохнул.

— Мне было бы покойнее.

— А, пустяки.

Он гладил мою руку.

— Я сам уехал бы, если бы мог. Но мне... уж поздно.

— Что ж такое?

— Это к Андрюше не относится. Мы — сами.

Он не сразу выговорил все.

— А, значит...

Он кивнул.

— Иначе я не могу. Мне тяжело, не тронули б и вас, если вы тут.

Я повернулась. Печка наша дотлевала. За приоткрытой дверцей млели, огненно струились угли. Красноватое дыханье их ложилось на постель, руку Георгиевского. Кольцо на ней блеснуло.

Теперь я гладила его пальцы.

— Этого кольца давно у вас не видела. Зачем надели?

— Так уж надо.

До трех часов топилась у нас печка. Георгиевский жег бумаги, письма, книжечки. Я тоже побросала многое. Мы пили ночью кофе желудковый.

— Теперь уж не врасплох...

— Верили вы в это дело?

Он разорвал гравюру Терборха.

— Ни во что и никогда не верили. Зачем же шли? Разве могло вам что-нибудь удаться?

— Верила молодежь. А я... не мог отказываться.

«Молодежь!» Андрюша?

Я впала в отчаянье.

— Послушайте, но неужели эти дети? Скауты там какие-то? Георгий Александрыч, ради Бога, что вы знаете?

Он успокаивал. Наверно, недоразуменье. В их организации никаких скаутов не было.

— Теперь я должен вас поддерживать. Вы мне сказали раз: если бы я боролась, я бы победила.

Я очень плохо спала ночью, а с утра опять кинулась по делам. Да, победить должна, все это дикая нелепость... Где гении моих удач? Навстречу завывал октябрь — свирепою метелью. В этот день была у Ниловой, у Павла Петровича, мы вспоминали и выдумывали все доступные нам щелки, чтоб нажать на Франца Вениаминовича. Блюма пригласили лечить в Кремль — и на него надеялась я. Мой напор огромен. А враги сливались с обликом метели, дико завывавшей, и слепившей. «Если бы не он, все можно было бы, все можно...» Франц Вениаминович, его сухие, желтенькие ручки...

Вечером молилась — горячо и сладостно. Плакала в темноте холодной комнаты, казнила себя, разрывала сердце угрызеньями за невниманье, себялюбье, легкомысленную, грешную всю жизнь мою. Легла в постель как будто полегчав. Андрюша был со мною, рядом. Я заснула крепко, беспробудно.

Разбудил шум. Рядом со мной женщина с винтовкой, хромой с револьвером рыскает по углам, в дверях бородатый человек записывает что-то в книжечку. И ломятся к Георгиевскому.

Мне предложили показать документы. Хромой ухмылялся. Мне казалось, что в обмотках у него запрятан нож и он все только ищет, как бы половчей, в кого бы его всунуть. Этот хромой, со шрамом на щеке, мехом наружу куртке,— навсегда образ бреда. Увидав Георгиевского, даже хрипнул — в ярости ли, наслажденье? Ах, с восторгом он глотнул бы крови византийца, бледного сейчас, но выбритого и спокойного.

Нам приказали собираться. Сборы недолги. Вот мимо Мушкина трепечущего и Юпитера Отриколийского, немого, белоглазого, в курчавой бороде, мы сходим вниз по лестнице. Георгий Александрович меня поддерживает. «Мой старый джентльмен, на смерть спускаемся мы с вами по старинной лестнице, но будем просты, молчаливы, и скромны, пусть ярость окружает — ничего».

Метель утихла. У крыльца стоял автомобиль — к великому удивленью моему — открытый. Улица пустынна. Луна светит на ненужно ранние сугробы, мы садимся, точно едем на прогулку, концерт, в ресторан.

Забыть ли мне эту прогулку?

Автомобиль летел легко, звезды неслись над ним по небу, мы сидели рядом, рука в руку, несколько откинувшись назад. Андрюша и Маркел, Георгиевский, звезды и луна, Москва, те улицы, по каким носились в молодости, все слилось теперь в одно, в то ощущение надземного и полуобморочного, когда *переступаешь*... Можно ли думать? Чем, о чем тут думать? Ты почти уже не человек. Ты помнишь сладостное ощущение прощанья и холодный, слабый бриз, ледком тянущий...

Быстро мы катили! Так казалось? Временами все-таки желанье: встретить своего, знакомого, махнуть. Но Москва уходила. Поздно. Спят намученные. Кто махнет прощально?

На площади Георгий Александрович снял кольцо и положил в рот, за щеку. А чрез минуту, как к подъезду оперы, подкатили мы к ярко светившимся дверям.

— Прощайте, друг Сенека.

Он поцеловал мне руку. Я его перекрестила.

XVI

Странное, но не самое страшное время мое — сиденье. В большой комнате с нарами, спящими женщинами, электричеством белым, первое, что ощутила: отдых. То, чем жила и волновалась — вдруг захлопнулось. Ничего нет. «Контора Аванесова», прежде стучали тут на машинках, а теперь мы лежим, по деревянным скамьям: и учительницы, проститутки и спекулянтки, просто бабы и дамы («шпионство для иностранцев») — все, проигравшие свои жизни. Разные разно себя ведут. Нюхают

кокаин, рыдают, другие молятся, третьи бранятся. Каждый день привозят новых. По ночам уводят нам знакомых. Ночью стучат, громыхают моторы грузовиков. Фабрика в действии. Смерть — так домашня... Удивляться? Но чему? Все ясно.

В эти дни я не молилась. Была в отупении. Лежала и дремала. Не слушала никого. Кончилось «действие» мое, борьба, наступленье. Удивительно: почти не могла думать об Андрюше. Ощущала его вместе, с собой. Мы — одно. Вот он тут, рядом,— и вечность за нами. Мы неразлучимы. Тут же Георгиевский — будто мы все заснули. А Маркел ужасно где-то далеко...

Первую посылку, сверток, получила все же от Маркела: одеяло, сахар, кусок хлеба и подушечка. Под наволочкой, на бумажке крошечной: «Господь храни». Все, кто на свободе, помните и знайте, что для узника пакетик с воли! Это главная радость тюремная, главная.

Бумажку ухом нащупала, ночью, лежа на подушечке, глядя, как клоп выполз из расселины, как проститутка выцарапывала на стене: «Пра-ща-юсь с жизнью ми-лай». Буквы Маркеловы я целовала нежно, а из-под ресниц слезы бежали — уж теперь неудержимо.

Эту ночь плохо спала. Но утро принесет и радость: когда камеру метут, несколько минут воздуха. Вереницею кружили мы по дворику, между стен пятиэтажных. И над нами — небо! Птица пролетела в нем однажды — галка! Милая, чудесная моя! А вечером, просясь в уборную, перебегая дворик этот наискось, в холодной, чуть морозной ночи дважды увидала я небо со звездами. Узор их золота над нашей бездной так пронзителен... И даже я увидела Кефея, даже Сердце Карла я узнала — в том кусочке черной сини, что над головой.

Допросы. Несколько их было. Это хуже. Тяжек, крестен путь по коридорам, глухой ночью, неизвестно, к палачу ли, следователю. Многое зачтется испытавшим это. Я попала к Кухову.

— Прошу вас, да, в кресло. Как же (улыбочка легкая) — приходилось встречаться.

Кухов был подкормлен, чисто выбрит. Но угри остались, и весь общий, неискоренимый вкус плебейства. В глазках, зеленеющих под электричеством, скользило что-то. Иногда руки потирал, холодноватые и влажные.

— А теперь к делу. Я потому выбрал вас, что многое знакомо, в прежней жизни. Пси-хо-логия...— он слегка чмокнул, точно проглотил устрицу.

На допросе стал еще прохладнее, играл в некоторое величие. Иногда запугивал, как полагается, но не грубил. Старался намекнуть загадочно, «изящно» на «возможные последствия».

— Вы знаете отлично, что ничем ведь я не занималась. Бросьте!

— Прошу не волноваться, разберемся.

«Когда перед Георгиевским ползал на коленках... Разве он это простит?»

— Мне известно и о вас, о сыне и о муже. Мы все знаем.

— Слушайте, мой сын...

— Отлично-с, и великолепно, правильно все идет... Потрудитесь отвечать.

В конце первого допроса он вдруг закрыл глазки, пожмурился, и улыбнулся.

— Ну, теперь кончено. Деловая часть.

Встал, подошел к двери и портьере, выглянул в коридор, плотнее притворил ее.

— Несколько слов... По-домашнему. А-ха-х-с, ну перемена. Кухов! Кто такое Кухов! Мразь, в Риме голодал и унижался. Господин Георгиевский, Наталья Николаевна, певица... та-ак вот могли переехать... как улитку, сопляка. Сопляк! Темная личность. А теперь вы все — вот, в кулачке здесь, в кулачке. Наша взяла! — вдруг крикнул.— Наша! Не смотрите с пьедесталов со своих, я добрый, я ведь только так... Мы ведь давно знакомы, и конечно, вы-то мне и ничего не сделали плохого. Нет, я не зверь. Я самый мягкий из всех следователей, сказать по правде, я бы вас и выпустил. Сразу — нельзя. Но — власть! Вы понимаете, я — власть!

Я понимала очень хорошо. Для неудачников, обойденных, ничтожеств...

— Что же касательно Георгиевского...

Но постучали в дверь, и он не досказал.

Следующий раз была я у него дня через три. Он суше выглядел, подобраннее и нервней.

— Знаком вам этот почерк?

Подал мне бумажку. На ней знакомой, твердою и аккуратною рукой написано: «Всегда о вас. Н. Н., прощайте. Вспомните Сенеку».

— Древности, и философии, Сенеки! Сыграл-таки старик, разыграл роль, как в театре. Подвала, видите ли, не желаем, и предупреждаем... Откуда у него кольцо с ядом, вы должны знать, вам и написано, нет, вы должны ответить...

Я перекрестилась.

— Царство небесное!

Знак креста дурно подействовал на Кухова.

— Мистики! Христиане! Погодите, доберемся до попов ваших...

Но я его не слушала. Неинтересен. А мне было и холодно, и так безмерно одиноко в ту минуту... Потерла лоб рукою, выпрямилась. Будто легче.

Что ж, не подался. Галкино, смерть отца, ночь, луна. Черное пятнышко в кольце. Не сдался мой византиец.

Должно быть, я имела очень отошедший вид... Кухов стал приставать. Я посмотрела на него холодно, отдаленно.

— Напрасно вы волнуетесь. Вы знали ведь Георгиевского. Он вас не уважал, Кухов. Что ж удивительного, что был против? Всегда читал и ценил стоиков, давно предчувствовал и войну, и революцию, и гибель свою — и завел кольцо. Когда мы ехали сюда, он положил его в рот. Очевидно: чтоб не отобрали. А теперь вас раздражает, что не вы его прикончили.

— Ваше показание очень важно.

И Кухов стал подробно, обстоятельно записывать все о кольце.

Когда окончил, я спросила, глухо:

— Слушайте, а что же сын?

Он сделал неопределенный, но развязный жест.

— Видимо, на свободе. Если не вчера, то нынче, завтра выпустят.

Он стал катать шарики из бумаги, ловко, далеко стрелял ими в угол.

— Георгиевского мы, конечно... Он был в заговоре. А вы?

Вдруг быстро перекинул на меня глазки.

Начался опять допрос.

На этот раз была я как-то очень уж тиха, печальна. Мальчик на свободе! Бедные, и милые мои, Маркел, Андрюша, как вы думаете обо мне теперь, как вам сейчас трудней, чем мне... А у меня странное чувство: никогда не выйду я отсюда. В первый раз за мою жизнь, пеструю и бурную, я ощутила, что уж не могу бороться за себя, что кончилось мое «везенье», отступились «яблонка цветущая», и «ветер» — покровители. Я отвечала просто, без сопротивленья. Если бы он оскорблял, вряд ли смогла бы защищаться. Но Кухов почему-то был довольно милостив. Лишь иногда, при взгляде на меня, некая судорога внутренняя пробегала по его лицу. Точно еще знал что-то — не хотел сказать. И ненавидел, и стыдился.

— Вы все такая ж барыня, как были. Вы под стать Георгиевскому.

Он потер руки.

— С барами и трудней всего, и всего слаще.

Я посмотрела равнодушно. Безразлично мне, сладко или горько френчу обращаться с «барами».

У себя в камере на этот раз я стала на колена, и молилась долго, истово, за ушедшего моего друга. Во сне стонали женщины. Проститутки, в прошлый раз писавшей на стене, уж не было. На ее месте старуха — колена к подбородку, руками охватила ноги. Растрепались ее космы. И в глазах увидела я то безумие тюрьмы и смерти, которое уж мне знакомо.

— Что молишься, всех передавять, нечего молиться...

Она, однако же, ошиблась.

Через неделю, днем, в камеру вошли двое чекистов, и средь названных фамилий была и моя.

— С вещами, живо...

Через полчаса, свернув Маркелов пледик, я шагала уже по Мясницкой, к Земляному валу. Мелкий бледный снег кружился с неба, одевал меня так бережно, так мягко застелил все мостовые, тротуары, оседал на проволоках и туманил купола. Я все дышала, не могла я надышаться. Была возбуждена, и не устала, но я чувствовала себя странно: точно вывихнулось что-то, мне не по себе, я не могу себя найти, не знаю, где я, что я. И под нервным оживленьем — сотрясающее беспокойство. Все будто бы и так. По улицам люди идут, везут салазки, на бульваре галки тяжело летают и орут. Но уж с Покровки не могла я совладать с собой: почти бежала.

Дверь открыли дома не сразу.

Вид Маркела, в куртке, с воспаленными глазами, мятой бородой...

— Андрюша?

Он бессмысленно на меня глядел. Я быстро поднялась наверх, во мне какое-то одно дыханье было, возносило по знакомой лестнице. Но ничего я не видала.

В передней Мушкин колол щепки. Увидав меня, поднялся, и с его лицом что-то произошло — ничего особенного, для меня же...

— Где Андрюша?

Мушкин кашлянул.

— Что говорить, Наталья Николаевна. Более недели. Маркел Димитрич панихиды уж служили.

Маркел обнял меня, сзади. Вопль, тяжесть навалились. Замелькали комнаты. Зачем-то мы все бегали из одной в другую. Помню мокрую бороду Маркела, белый зимний день, белый изразец печки, о который бились головами. Печки были так прохладны. «Мальчик! — кричал Маркел.— Мальчик!»

Легче было — колотиться головою о спокойный, равнодушный глянец изразца.

XVII

Дома каждая *его* книжка, запыленные башмачки под кроватью, карта на стене, с флажками на булавках, наводили на одно, всегда на одно страшное виденье: как спускался он по коридору... Как в последний раз переступал порог. Тут в голове моей рвалось,— если не падала, не разбивала себе лба, то только потому: здоровая я все-таки, двужильная! Иной раз я, в отчаянье, с презреньем даже на себя смотрела в зеркало — на плечи, руки голые. Ну вот, ты ходишь, дышишь, белотелая, и ты жива... По улицам еще ужаснее было ходить. Во сне бывает, что все то же видишь, но оно *другое.* Москва стояла как и прежде, такой же снег, такие же дома, и серенькое небо. Но выражение лица! Это не та Москва, которую я знала в юности, где я любила, пела, и катала, это новый город, полный злобы и безумья. Я не могла медленно ходить. Мне все хотелось бы бежать... Или убежать? Пустыня, галки, мрак — проклятые места.

Меня тогда Маркел поддерживал. С ним легче. За него держалась крепко. Голодные и рваные ходили мы к обедне каждый день, потом к вечерне, и ко всенощной в субботу — мы старались проводить побольше времени в церквах. Там иной мир. Плакали неудержимей и молились средь таких же, как и мы, измученных и обездоленных. Лишь в пении, в словах молитв и стройном, облегченном ритме службы чувствовали мы себя свободнее, здесь мы дышали, тут был воздух, свет. Но страшно возвращаться — в полуразгромленный и окровавленный наш особняк. Укладывалась я теперь с Маркелом. Шершавая теплота тела огромного оживляла. Просыпаясь в страшные, предутренние часы, я первым делом трогала рукой Маркела — тут ли? Он покашливал, и он не спит, я приникала к нему на плечо, и плакала. Не знаю даже, как, откуда слезы брались? Он меня гладил грубоватою рукою по щеке, и в беспросветной тьме ночи легче было рядом с тихо кашлявшим Маркелом.

Так проходили наши дни. Мы мало кого видели. Наверно, были страшны для живых. Мы зачерпнули уже смерти, как два Лазаря. Наверно, всем казались мы укором. Но зато сильнее связывало это, ибо во всем свете только двое мы и знали все, всю грозную бездну ужаса нашего.

Мы разыскали все-таки могилу сына. Через весь город, за Таганку, шли мы в валенках к Калитниковскому кладбищу.

Роща, и кресты, могилы — все завеяно декабрьским, белым снегом. Вдалеке трубы завода, где когда-то я жила, цвела и

хохотала. Мы бродили долго около конторы кладбища, ждали заказанного креста. Летали галки над березами заиндевелыми.

С путей Курской дороги — свистки — пронзавшие невыразимой скорбью. И почему так беспредельно горестны, в зимний денек и при пустынно-сером небе, эти дальние свистки?

Наконец, сторож возвратился — немолодой, мрачный человек с рыжеватыми глазками.

— Пойдемте, покажу.

Маркел взял у него крест — длинный, свежевытесанный, и взвалил на плечи. Сторож шел впереди, узенькой тропинкою между могил, сугробов и решеток. За ним Маркел, с крестом на плече, и сзади я. Спускались мы какою-то низинкой, шли у прудка замерзшего и вышли за ограду. Кладбище окончилось — то кладбище, где почивали с давних лет мирно умершие, приявшие «христианские кончины». Дальше шло пространство до дороги, вроде выгона, взбуровленное свежими песками, глинами, мерзлыми комьями.

Проводник хмуро зевнул.

— Каждый день таскают. И не надоест, анафемам. В грузовиках волокуть, ночами. Рази с ними выспишься?

Здесь — кладбище отверженных, убиенных и замученных, здесь завершается вся фабрика Лубянки.

Маркел шел, слегка сгибаясь под крестом. Да, вот она, Голгофа наша.

— Дай...

Я подошла, взяла у него крест. Маркел был красен, потен. Могильщик сковырнул лопатой мерзлый ком.

— Тяжело будет, не донесть.

Но крест мне показался даже легок. Было ощущенье — пусть еще потяжелей, пусть я иду, сгибаюсь, падаю под ним, так ведь и надо, и пора, давно пора мне взять на плечи слишком беззаботные сей крест.

— Вот...— сторож приостановился, у бугра, уже засыпанного снегом.— Тут их всех и закопали. Человек пятнадцать... молодежь все, барышни, мальчишки...

Заступом своим разрыл, всковырял землю. Поставили крест, притоптали снегом.

— По весне, как отойдет земля, поглубже закопаем.

Получил, что нужно, и ушел. Одни остались мы. Одни стояли на коленях, в снегу, перед пустынным небом, перед свистками паровозов, перед Богом, так сурово, но уж значит, по заслугам, наказавшим нас.

Трудно вспоминать то время. Но было бы несправедливо, если б умолчала я о Ниловой, о Саше Гликсмане, преданно и сердечно мне помогавших. Нилова не стеснялась предо мною огромного своего рта и нечистых зубов, продырявленных валенок — не стеснялась рыдать и оплакивать мое горе. А в промежутках таскала мне — то муки, то масла, то картошкою делилась.

— Ай,— говорил Саша, скорбно шевеля семговыми губами,— и это жизнь! Наталья Николаевна, голубчик, это не жизнь, но это и хуже смерти. Если я не хочу умереть с голоду, я занимаюсь маленькими комбинациями. Губная помада сейчас не нужна, но... понадобится! Так я себе работаю по сахару, ну, там немножко спиртику, но надо мной всегда та же история висит, что и над бедным вашим мальчиком. И это называется жизнь!

Да, одинаковость борьбы и одинаковость гонимости сближали, отдаляли. И маленький «спекулянт» Саша Гликсман, вечно рисковавший жизнью, чтобы не погибнуть, мне был ближе давней подруги Андреевской, что служила теперь в музыкальном отделе, иногда летала на автомобиле по Волхонке.

На сороковой день мы служили службу «парастаз» — торжественное поминание убиенных.

В церкви у Ильи Пророка собрались все, кто помнил, знал нас, может быть, любил. Георгиевского не было. Его могилы я не знала даже. Худой, задумчивый священник в черно-серебряной ризе, читал пред аналоем, окруженным золотевшими свечами, дивные слова. Я полувисела на руках Маркела и Павла Петровича — очень изнуряли, очень потрясали меня самые рыданья. Сквозь них видела я сумрачную глубину церкви, теплый блеск, струение свечей, и угловатый облик нашего священника.

Потом мне жали руки, плакали и обнимали. Помню и Нилову на этой службе, и Сашу Гликсмана. Ольгу Андреевну, в накидке допотопной, совсем старенькую и худую, с изжелта-голодным лицом, и Марфушу мою, память молодости и собачьей верности — волчком завилась она передо мной, в слезах, все так же потрясая золотыми дутыми серьгами — так же с жидкими, прилизанными волосенками и видом хитрованки-пьяницы.

— Матушка, барыня,— бормотала, в пароксизме.— Андрюшеньку... анафемы! Ведь на руках таскала!

Надо сказать правду: бедные и последние пришли разделить горе наше. Не было Блюма, не было Александра Андреича, не было Жени. Трудно, думаю, подъезжать на автомобиле на служебном к церкви, где молились за ребенка, этим же автомобилем и раздавленного. Блюм получил практику в Кремле.

Александр Андреевич... но его я и не вспомнила. Покойно, крепко прижимала меня к груди Анна Ильинична Костомарова — меццо-сопрано из Большого театра, теперь певшая по клубам для красноармейцев.

Когда вернулись мы домой и разоренная квартира, залитая кровью, смертью, на меня взглянула — тот же кабинет Георгиевского, зеленоватый, маска Петра, Вакханка Бруни, Зевс Отриколийский на площадке — я почувствовала ясно: здесь мне жить нельзя.

И мы решили переехать.

XVIII

В Москве дыры свободной не было, вдруг оказалась комната — у Саши Гликсмана. Он как-то ее *спрятал*. А потом стал опасаться, чтоб не отобрали — отдал нам.

Мы переехали. Свой скарб везли мы на салазках, через всю Москву, из Сыромятников на Спиридоновку, недалеко от дома, где я родила Андрюшу. Печку Маркел тащил в несколько приемов, и тяжки были на ухабах кирпичи ее, и горестно позванивали колена труб железных. Я тоже помогала. Мы уставали, задыхались. И прохожие иной раз взглядывали — точно с сожалением.

За пшено и за обеды старый князь, ныне занимавшийся печничеством, сложил нам нашу печку. С торжеством мы затопили, в ледяную постель легли в первую ночь открывшейся новой жизни.

За стеной же, в двух соседних комнатах, кипела Нилова и Саша Гликсман. Вечно Саша рыскал, вечно приходили к нам таинственные люди, приносили то вино, то сахар, то какие-то платки, то шубы, то картины. Видимо, мы торговали всем. Иногда забегал доктор Блюм, и с Сашею шелестели они длинными долларами. Блюм такой же бархатный, румяный и веселый.

— Ну, конечно, жестокость, но ведь жизнь перестраивается, а-а, не говорите, я лечу в Кремле, я многих знаю, среди них есть и культурнейшие люди... Но необходимость, что поделать.

— Ах, перестаньте вы себе,— Саша сердился,— благодарю вас очень за культурность. Чтоб они ее на своей шкуре испытали.

— Им многие... знаешь, Наталья,— говорил Маркел,— им... тово... многие поклонятся... И поцелуют.

— Ладно. Пусть и кланяются.

Мы жили сами по себе. Не очень даже занимались революцией. Пусть развивается, как хочет. Пусть примыкает к ней, кому приятно. Пусть и враги ей назначают сроки — тоже я

не слушаю. Я попросту живу, *несу*, что надо мне, борюсь за день, за хлеб, за своего Маркела. Такова жизнь, таинственная и густая ткань ее! Хочешь ты, не хочешь, рад или печален, надо утром выбегать за молоком, раздобывать картошку, разжигать печку, варить суп на примусе.

Вспоминая этот год, после погибели Андрюши и Георгиевского, я думаю: как живучи люди! Как могущественны силы жизни! Да, мы были пронзены, сердца сочились, по-иному подымалось солнце, заметал снежок, и по-иному мы друг к другу относились, по-другому мы молились, спали по-другому: в пять часов почти всегда в тоске мы просыпались. И другие сны мы видели...

Конечно, о, конечно!

Все-таки... мы жили. Хоть и в полусне — справляли те необходимые обряды, что и есть день буден, день обычный. Да и больше: мы ведь и смеялись, и ходили в гости. Если было где — пили вино. Была я и застрелена, и все-таки хотелось иногда и туфель, платья нового.

Чтоб зарабатывать, я стала даже петь. Выступала в клубах — у железнодорожников, красноармейцев, где придется. Получала: сало и крупу, муку, орехи, свечи, иногда десятки тысяч тех рублей, на которые купишь три пирожных. Когда я пела, то передо мной, в шинелях и обмотках, и заломленных фуражках ведь сидели... может быть, убийцы моего Андрея. А много и таких, что никогда и ничего не слышал, не знал того, чем красна была *наша* жизнь, и вот теперь приходят, слушают моего Глинку, Даргомыжского... Мне было с ними тяжело, и я не знала, как себя держать.

Особенно запомнился один наш вечер, с Костомаровой,— на окраине Москвы.

В убогих розвальнях нас подвезли к фабричному двору. Фабрика не работала, но в клубе — концерт. Мало походило на концерты, где я выступала в молодости. В уборной дико холодно, дуло, керосиновая лампочка мигала жалобно — вот-вот ее задует. Нам предложили по стакану яблочного чая с отвратительным повидлом. Приходили, уходили молодые люди с бантами.

И эстрады, где под ногой гнулись половицы, стены убраны лентами и гирляндами, мы пели в копотную залу за чертою лампочек — не снимая шубеек.

— Нам бы что повеселей, товарищ! — крикнул кто-то сзади.

Посмешил, впрочем, рассказчик. В половине «представления» к нам вдруг явилась Женя Андреевская — в белых валенках, сером шикарном тулупчике и серой шапке мерлушковой.

— А, вот так встреча! Все свои. Я от Музо. Наташа, ты как будто изменилась.

— Ты тоже изменилась,— отвечала Костомарова.— Ты крепче что-то стала, Женька, и еще бойчей. У тебя что за поясом, не револьвер?

— Глупости. Я не чекистка. Не такая дура, чтоб себя компрометировать. Я по культурной части. Но, конечно, времена другие. Теперь нужна энергия, и бодрость. Конец лиризмам и расслабленностям. Иная жизнь. И нужно принимать ее. А-а, нравственна она, безнравственна, шут с ней,— новая. Наташа, помнишь,— она вдруг засмеялась,— тут недалеко завод, где мы с твоим отцом в прежние времена финтили?

— Отец теперь в гробу.

Женя задумалась, потом тряхнула головой.

— Как вся *та* жизнь. Отец занятный был. Мы иногда с ним весело болтали. Но не хочу жить прошлым. Ладно. Мы идем за новым.

Когда окончился наш вечер и мы выходили, Женя предложила свой автомобиль. Я с удивлением на нее взглянула. Средь разбредавшихся красноармейцев, девушек, рабочих выглядела Женя чем-то вроде комиссара, и, быть может, правда, есть в кармане и револьвер.

Мы замялись, на мгновенье. Не сговариваясь — отказались.

На тех же розвальнях мы ехали другой дорогой. Было холодно. Ветер налетал и падал, желтый месяц пробегал в нестройных тучах. Мы дремали, прислонившись спинами друг к другу. Все тянулись грязные улочки, убогие — я их не замечала. Вдруг в сердце потянуло холодком. Как бы сквозь сон тяжелым защемило, непонятным, но так явственно давящим. В ужасе я будто и проснулась: да, роща знакомая, оснеженная, под мертвым месяцем, ограда и кресты. Я вспомнила. Я сразу вспомнила, проснулась окончательно, я соскочила с розвальней, и быстрой, и уверенной походкой целиком по снегу зашагала к столь знакомому кресту. Да, видно, пересек мою дорогу крест!

Я подошла, с размаху рухнула к его подножью, желтый месяц обливал нас с высоты прохладно-мертвым своим золотом, и золотой узор снежинок на терновом венце сына моего был мрачен.

Я целовала крест. Потом я встала, оглянулась. Дико, и пустынно! Ветер по-разбойничьи гуляет, пробирает холод, может быть, я волк заблудший, заплутавшийся в суровой ночи? Нет, не волк. Нет, я живу и верю, да, сын, лежащий здесь, прости, за все, я искупаю ныне свою жизнь, но я люблю, и я живу, и

в сердце моем крест, и в сердце моем страсть, и с нею я пойду. Как жизнь трудна, как тяжко очищение, но... это путь, иду...

Я быстро догнала шагом тащившиеся розвальни. И Костомарова взглянула удивленно. Ах, напрасно! Нечего на меня удивляться. На глазах моих не было слез. Я чувствовала себя крепкой и решительной, как будто эта ночь, и ветер, воровской месяц возбуждали меня к делу и борьбе.

Мы добрались домой довольно поздно. Нилова и Саша не дожились еще, раскладывали сахар по пакетам: получили контрабанду и готовились к разноске. Нилова дала мне чашечку кофе крепкого, огненного. После холода это приятно.

И войдя в свою комнату, синюю в месячной полумгле, я не разглядела спавшего Маркела. Голова закинута, тяжело дышит, и так он странно жалобен на этом узеньком диванчике с приставленными креслами. Кажется, повернется, и разрушит все, сам тяжким своим телом рухнет на пол. Мне на мгновенье стало жаль и моего Маркела.

«Одни,— думала, раздеваясь,— только вдвоем. А третий с нами — Бог». И, забираясь под перину, ощутила вдруг могучее присутствие. Да, Бог был с нами, в этой синеватой, с золотистыми узорами в заиндевелых окнах комнате. Он подымал меня.

Наутро Маркел поднялся хмурый, мутный. Целый день был не в себе. Не выходил, мерз, кутался. А через сутки, к вечеру, слег... Сразу стал покоен, лежал тихий и довольно слабый. Но температура быстро подымалась. Забежал Блюм, такой же все серебряно-пушистый, меховой и ласковый. Как прежде назначал дни падения, так говорил теперь:

— Ах, я их лечу, у меня сведения из первоисточника... Их положение блестящее...

О Маркеле этого не утверждал. Через три дня, рассматривая его грудь, вздохнул:

— Тифозная сыпь, ясно.

Маркел наутро исповедался и причастился. Когда священник вышел, я вошла, он лежал на спине, глядя в потолок, был очень тих. Меня ласково взял за руку.

— Не бойся, ничего... Все... хорошо.

Я не боялась. Пружина во мне свертывалась, точно заводили меня, как часы. Пружина придавала силу, легкость. Я не себе уже принадлежала.

А Маркел мой, уходивший в странный мир, как будто чувствовал, когда позвать священника: последние минуты, и последние слова сознательные.

Через день он был уж в чуждой власти. Вскакивал, зигзагами

бросался через комнату, в изнеможенье падал около дивана, весь в поту. Насилу вновь его укладывала.

— Все рушится, все валится, не понимаешь? Лезут... Почему вы в грязь меня кладете, это ведь болото. Ты меня в болото, и ты тоже, нет, ты с нами, не поклонишься... Ante, apud, ad, adversus, circa, circum, citra, cis...[1] Андрюша, приведите мне Андрея.

Вслух читал гекзаметры латинские и требовал, чтоб говорила я по-гречески. Одну ночь он провел в религиозных муках: представлялось, падает и разрушается великая сосна христианства, нужно поддержать и вновь собрать, а он не может. И стонал, в отчаянье.

А на следующую — та же сосна, в хрустально-нежной музыке, вновь воздвигалась.

XIX

Да, время бдения! Могу сказать, я не ленилась. На шестую ночь мою, бессонную, первою я услыхала стук в нашу квартиру, и у первой у меня похолодели ноги — холодом уже привычным. Отворяла я и первой увидала — так знакомые уж куртки, и револьверы, и лица прежних бредов. Вероятно, в воспаленном, и отравленном мозгу Маркела моего грезились, бушевали существа подобные. А может быть, и сами они бред всей страны...

На этот раз бред направлялся не на нас. Но через нашу комнату им приходилось проходить к Ниловой и Саше. В кресле спала фельдшерица — не проснулась. Но Маркел метнулся, точно ледяным ветром на него дунуло.

— Что за больной? — спросил вожатый, в меховой ушастой шапке.

— Тиф.

— Опять в болоте, зачем под меня кишки кладете, не могу, Наташа, ну, когда же это кончится... Я все в болоте.

Ушан махнул рукой и отворил дверь в коридорчик.

Я подошла к окну. Наружное стекло его разбито — сотрясением взрыва на артиллерийских складах — в нем трепалась паутина, призасыпанная снегом. Через улицу, в окне виднелся свет. Как и у нас, до самого утра не угасал: тоже больной. И тоже тиф. Трепалась паутина, горестно окно светилось. За стеной выходцы обшаривали комнаты, и ночной ветер налетал, летел глухою ночью над великою страной. Мгновенно мне представились поля в снегу, и поезда со вшивыми мешочниками, трупы

[1] Латинские предлоги. *(Примеч. ред)*

детей обледенелые; знакомые, в крови, подвалы, стоны, смрадный и свирепый тиф, терзающий народ мой, и мой крест, тот, что несли по очереди мы с Маркелом, что пустынен, одинок сейчас над сердцем заметенного снегами сына.

Была ли моя молодость, мои романы, приключения, скитанье, свет, веселье...

Наутро Сашу увезли. Как некогда — покинутая армянином — вновь рыдала Нилова на моем плече, но я не плакала, я очень хорошо все понимала, и моя душа была с ней целиком, плакать же не могла: мне некогда. Мое сраженье разгоралось. С каждым днем Маркелу становилось хуже.

Так что теперь пылало все в нашей квартире: Нилова спустилась в преисподнюю, которую пережила я в дни Андрея, я же погружалась в собственные бездны.

Девятая моя ночь, бессонная...

С Маркелом что-то делалось, но я не понимала что. Сводило руки, ноги. Шепотом стал бормотать. Медленно ночь тянулась! Утром я позвала Блюма.

— Сейчас же делайте вливания.

На этот раз Блюм даже не острил, и о политике не заикался.

В полдень было еще два врача. Велели впрыскивать дигален. Бросились искать его — и не достали. У меня мутилось в голове. Но я держалась. «Жив и будет жив. Ну, ничего...» Да, только не сдавать, все дело в твердости и вере...

В половине третьего вдруг раздался стук, и в той же прорванной шинели, так же красный и громадный, появился в дверях Муня.

— Ну, что? Говорят, муж у вас заболел? — Он улыбнулся было, но, увидав меня, весь боевой кавардак нашей комнаты, вытянувшегося Маркела с крепко сжатыми на груди руками — посерьезнел.

Я близко подошла к нему.

— Дигалену. Понимаете? Достаньте дигалену. Умирает.

Наверно, магнетизм во мне какой-то был. Я прочитала себя в Мунином лице, как в зеркале.

Напряжение медленно прошло по лбу его, упорному и молодому.

— Хорошо. Достану.

И он вышел.

Нилова подошла к Маркелу, и заплакала.

— Наташенька, лучше бы мне лежать на его месте. Посмотри, как руки скорчило.

— Перестань плакать. Иди воду греть.

Муня вернулся через два часа. Он дигален достал. Собст-

венно, *завоевал*. Вломился силою в закрытый уже склад медикаментов, вспомнил свои наступления и походы. Воля, одержимость моя...

Пришел племянник Ниловой, студент-медик, и мы пустили в ход и дигален. Но сердце все-таки слабело. Пульс учащался, до полутораста. Вечером был вновь консилиум. Знаменитый старичок поглядел на меня пристально.

— Вероятно, менингит. Леченье правильное. Что же, надо продолжать. А там посмотрим-с...

В эту ночь я знала, что меж нами смерть. Но я не подавалась. Наоборот, пружина во мне завернулась туже.

К полуночи Маркел одеревенел совсем. Нельзя уж было расцепить рук, судорожно сжавшихся, язык едва ворочался, и непрерывно, жалобно-идиотически бормотал он шепотом. Ничего не поймешь! Лишь меня в самые тяжкие минуты будто узнавал, что-то озарялось на лице, мгновенно уходило. А потом стал икать. Как странно, я не поняла сначала. Показалось — даже это хорошо. Но, увидав ужас в глазах Ниловой, я сообразила, что хорошего-то мало.

Положила на подушку, рядом с головой его, простенькую, скромную иконку Николая Чудотворца. И пошла сбивать сосульки, для пузыря на голову.

Я взяла палку Маркела, вышла в темную, пустую и глухую улицу. Окно наискось не светилось. Слабый огонек лишь там виднелся, точно разжигали примус. Ах, как одиноко, и пустынно! Бесприютен ветер, злобно налетающий, и так сжимает кто-то сердце... Я сбивала палкою с крыш сосульки, и теперь не сдерживалась, слезы мои проливались. Кто со мною в глухой час? Да, я держалась и крепилась там, на поле брани, у Маркеловой кровати, но сейчас уж я не воин. Просто женщина, уставшая и ослабевшая. И только Бог, грозный, но и милостивый... Ты призвал сына моего, и муж мой на пороге, и в Твоей руке вновь облить кровью мое сердце...

Женская фигура подошла ко мне.

— Вы чего тут, милая?

Она была немолода, вроде прислуги.

— Вот, ледяшки собираю.

Я не узнала ее. И она меня не узнала. Но в пустынную и страшную минуту я сказала, точно мы давно знакомы:

— У меня муж болен. Очень ему плохо. Это для компресса.

— Дайте-ка, я с тумбы, так ловчее...

Опираясь на меня, поднялась на тумбу тротуарную и сбила грандиозный сталактит.

— Тиф, тиф... Держите сумку-то, я положу... Так. Ну, старайтесь, миленькая, постарайтесь, может, и ослобонит.

Она так просто, и так добро говорила! Кто ты, неизвестная мне сестра, встретившаяся в минуту гибели? Я в темноте не разглядела даже твоего лица, и если встречу тебя, не узнаю, но я сохранила в сердце навсегда...

Да, навсегда. Иду, молчу.

Я притащила свой кулек добычи. Переменила на Маркеле ледяной пузырь, зажгла в кухне примус. Я была теперь тиха, растрогана, покорна, и хотя слезы стояли на глазах, я все шептала про себя имя Маркела... я уж не знаю что, молилась я, или всей расплавленностию своею посылала ему токи благосклонных сил.

Вдруг вошла Нилова.

— Наташа, погляди.

В звуке голоса мне показалось что-то новое.

Я машинально двинулась. В кресле спал студент, а на диване фельдшерица. Лампа приспущена — все тут же скорбный облик комнаты, где умирает мой Маркел. Но было и иное.

Маркел вздохнул глубоко, разжал руку.

— Маркуша, это я... Ты узнаешь?

Он слабо улыбнулся, и пролепетал, едва-едва, но слышно:

— Тебя ли не узнать мне...

Мы переглянулись с Ниловой. А на подушке у Маркела, простенький, седой и древний старичок русский, Николай Угодник глядел со своей иконки.

— Наташенька...— Нилова задохнулась, обняла меня и скрипнула зубами.— Душенька, он выздоравливает. Провалиться мне, жив.

Ноги отказались — и я села на краю постели.

А остаток ночи, когда Маркел медленно, но верно выходил из смерти, я жила в странном коловращении... Мы варили непрерывно кофе, и студент, и фельдшерица мне казались уж друзьями, и родными.

Утром я заснула, спала крепко — первый сон за девять суток.

— Ну, могу поздравить,— говорил мне знаменитый старичок.— Выходили. Правду говоря, мне не хотелось даже заходить, так был уверен в его смерти. Мозговое осложнение... и вдруг остановилось. Случай хоть для клиники.

Я и сама знала это — я не врач. Теперь Маркел с каждым днем, хоть и неторопливо, возвращался. Все же был неузнаваем! С бритой головой, худой, с разросшеюся бородой — долго пластом еще лежал он, долго я его выкармливала и выпаивала.

Глядя на него, иногда думала, что он выходит теперь в

садик, на апрельский свет московский уж иным, и мне казалось — может быть, в болезни он дошел и до последних бездн. Но то же ощущала и в себе. Если б он умер, это было б знаком поражения и для меня. Сейчас же, через беспредельную усталость, ветерок весенний навевал и мне какую-то прохладу, ясность.

И жизнь вокруг менялась, медленно, но неизменно.

Я покупала для Маркела кур и куропаток. На Никитской и Арбате продавались дивные эклеры, открывались магазины, чистились дома, чинился тротуар. Сухаревка и Смоленский торговали уж открыто. За что расстреливали еще недавно, было уже дозволено.

В один апрельский день к нам возвратился Саша Гликсман. Опять все плакали. И у Маркела слезы побежали по щекам, заросшим волосами. Прибежал Блюм, захлебывался.

— Так они же понимают, что вы ничего недозволенного не делали! Ну, война прошла и они победили, и теперь они уж мягче!

— Ай, оставьте эти разговоры! — Саша вспыхнул, рассердился.— Все меняется, и они уступают, потому что иначе не могут... Ну, а сами они... Ах, да перестаньте говорить, я же сидел в той самой камере, где и Андрюша...

И особенно был нежен Саша и со мною, и с Маркелом. Может быть, он что-то знал, не говорил? Но клялся, что не знает ничего.

И еще более мы удивились, когда раз пришел к нам Павел Петрович и привел с собою сэра Генри. Сэр Генри был такой же крепкий и румяный, и покойный, как в игорном доме, и на вилле Роспильози, и в Кампанье на охоте. С ним вошла в наше логово Европа.

Здесь он ничему не удивлялся.

— Помните,— сказал,— вы приглашали меня посетить Россию. Я приехал. Это очень интересно, и я не раскаиваюсь.

Потом, с улыбкою, он мне напомнил, как я в Шантильи ему сказала, что Россия — первая в мире страна.

— Во всяком случае,— прибавил,— ни на кого и ни на что не походящая. На одной улице я видел, как сдирали в церкви с икон ризы, на другой — в уже ободранной такой же церкви народ на руках нес патриарха. Но впервые ощутил Россию я давно, первый же раз, как с вами встретился, тогда, на Монмартре. Не поймите меня дурно, но теперь мне кажется, что именно в самой же вас Россия.

Павел же Петрович шевельнул пенсне на носу, отвел меня в сторонку.

— Я получил уж заграничный отпуск. Вам здесь тоже оставаться пока нечего. Муж должен поправляться. А вы — работать. Здесь не скоро все наладится. Я всегда считал, что революции и войны и приходят, и уходят. Но искусство остается. Вы должны в нем совершенствоваться, а не прозябать. Когда придет ваш час, вы возвратитесь. Ну, а сэр Генри вам имеет кое-что сказать.

Сэр Генри в это время рассуждал с Маркелом. Он с интересом и вниманием рассматривал и нашу печку, и дрова, и примус, будто все старался поспокойнее заметить.

Потом мы с ним спустились в садик.

— Я больше месяца в России. Вероятно, напишу целую книгу. Что же до вас, вашего мужа, то я с удовольствием помог бы вам и материально — если бы вы захотели выехать.

Тополя в садике выпускали почки — клейкие и духовитые. Сквозь узор ветвей над нами было небо. По немой синеве летели белые, разорванные облачка. Веселый ветер трепал, солнце то выхватывало золотым куском угол дома, влажную дорожку, грело, то туманело, сквозь облачко кидало вниз прохладу и вуаль.

Так значит, отдых, собиранье... Солнце, и весна, широкий ветер.

Я в волнении пожала руку сэра Генри.

XX

Маркел не возражал. Он медленно еще ходил, и задыхался, больше все лежал. Но волосы на голове уж отрастали. Было ясно — если есть возможность, надо пользоваться.

Хлопотами по отъезду я заведывала. Странно чувствовала я себя теперь! На душе смесь — радости и возбужденья, грусти и задумчивости. Вот, прощай, Россия! И насколько? Новый поворот, и новое дыхание судьбы, и новый ход «удачницы». Доллары сэра Генри появились так же неожиданно, как некогда шестьдесят пять тысяч на Монмартре. Все менялось. Я могла одеться, я одела и Маркушу, и прислуга появилась. Я решила твердо — снова побывать в Риме — и иной раз, проходя по улицам Москвы, где так недавно мы влачили свое горе по булыжным мостовым, я как сквозь сон воображала: Боже, снова Рим, и Пинчио... Возможно ли? После всего?

В один из майских дней автомобиль обогнал меня на Арбатской площади.

Солнце ласково заливало, ветер хлестал шелково в лицо немолодому комиссару и сидевшему с ним рядом Блюму. Блюм, без шляпы, откинулся назад. Седые бархатные кудри его летели,

влажные глаза полузакрыты. В упоенье говорил он что-то своему соседу и сиял, блистал сознаньем близости к сильному мира сего.

Пусть! Пусть летят. Пускай и радуются, торжествуют. Я им не уступлю. Пусть успокаиваются, обрастают жиром и благополучием на крови Андрюши, Георгиевского... я не поклонюсь. Пусть жизнь идет, куда ей нравится. А я — своим путем, на этих крепких, еще быстрых, на моих ногах.

Дома я нашла Маркела в садике. Он сидел в кресле. То же солнце, что блистало в комиссаровом автомобиле, золотою чешуей по нем скользило, сквозь листву. Меня тронул именно затылок моего Маркела. Я подошла сзади. Он склонился и держал платок у глаз. Я обняла, припала. Да, я знала — что оплакивает он, я опустилась на колени, положила ему голову на грудь. Так мы сидели несколько минут безмолвно.

— И мы живем... мы все живем... и даже едем... как бы сказать, мы мечтаем...

— Едем, и живем,— сказала я.— Так надо. И нам надо постараться лучше жить, достойнее и чище, чтоб заслужить пред *ними,* отошедшими.

И в этот миг, стоя на коленях перед мужем, чудом спасшимся моим Маркелом, ощутила я вдруг всю прошедшую мою жизнь, как перед смертью,— все забавы, увлечения, романы, себялюбия мои, и всю вину перед Андреем и пред этим бедным другом — с ним ведь тоже был у нас роман когда-то! — а теперь он просто мой, опора, брат.

В саду, в тот день, под майским солнцем, братски мы просили друг у друга отпущенья всех взаимных прегрешений.

Мы уезжали в жаркий день. Через всю Москву везли нас два извозчика к Виндавскому вокзалу.

Артельщики в полотняных блузах отобрали вещи, было тихо и светло в огромном зале — даже странно после наших путешествий в революцию. Спокойно подали солидный поезд. Нилова и Саша Гликсман, Костомарова, кое-кто из знакомых — вышли на платформу. Дождичек пробрызнул, освежил воздух, и когда мы трогались, стояли у открытого окна, в лиловой туче, над Москвою, вознеслась радуга. Мне радостно, приятно было видеть эту радугу над родным городом.

— Скорее возвращайтесь, ждем, Наташка! — кричала Нилова своим огромным ртом, помахивала платочком. Глаза у ней — да не у ней одной — влажнели.— Поскорей!

Да, поскорее.

И уплыла наша Москва, и потянулись в золотистом вечере знакомые наши края, великорусско-подмосковные. Я все стояла у окна. Маркел, по слабости, лежал. Я все следила за извивами и блеском речек в солнце, за лугами, деревнями, за волнистыми изволоками ржей, за васильками в них, за полем с ровными кучками навоза и за плугом пахаря, двоящего пары.

Вот та земля, где упокоился отец, где сын мой, мучеником, лег, вот та земля, в которой расцветала моя младость, грозно зрелость грянула. Вот та земля, что я сама. Проклятая, но и чудесная моя земля.

Долго не могла заснуть той ночью, в комфортабельном купе. Все думалось — все дальше уходила родина, под плавный, *русский* стук колес.

А на другой день, под вечер, переезжали мы границу. Из букета, что везли с собою, бросили мы с мужем на родную землю по пучочку незабудок. Не забыть — прощай, Россия!

И вот я снова в Риме, в том же и отеле, в тени башен Trinita dei Monti. Тот же собор Петра на горизонте, пинии и Монте-Марио — спокойный, вечный пейзаж, как ровен и покоен купол, небо и Кампанья. Все такой же Рим! Так же журчат Берниниевы фонтаны, цветочницы выставляют букеты на Испанской лестнице, безмолвно «Кафе Греко», и по улочкам вокруг Condotti столь же беззастенчиво торгуют собой девушки. Не сдвинуть Рима времени! Оно кладет лишь краски — не им изменить облик. Если ярче и пестрее сейчас Корсо, больше блеска и нарядов, и автомобилей, черных фесок и рубашек, то и их Рим приращает, так же безраздельно и естественно, как естественно зарастает травой двор Фарнезины. Если чинят мостовую на виале к Пинчио, то неизменно выражение лица у мелколиственных дубов виале, и, как и прежде, благовонны пригреваемые солнцем апельсины и лимоны.

Здесь Павел Петрович. А Маркел в Германии лечится, отдыхает. Я живу спокойной, чистой жизнью. Как во времена, теперь доисторические,— мы разучиваем с Павлом Петровичем его произведения, а я готовлю и иные — для турне с нем по Германии. Мы выступали уже здесь, в Августеуме, и, быть может, через год тронемся в Париж, Америку.

К осени обещал приехать и сэр Генри. Снова будет он катать нас в Остию, Витербо и Орвиетто, а пока я и одна, как раньше, брожу в Тиволи и с виллы Адриана созерцаю дальний музыкально-возносящийся над равниною купол Петра. Я побывала во Фраскати и на вилле Роспильози. Я с улыбкою взглянула

вновь на храмик и горбатый мост в Кампанье, где когда-то целовалась с пастушком Джильдо.

Это все прошло. Иной раз, глядя на спускающееся к морю солнце, на Кампанью в розовом дыму, я думаю, что та любовь, безмерная и фантастическая, о которой промечтала я всю жизнь, так и не посетила. Пусть! И пусть за горизонтами моя Россия, и могилы сына и отца, сладостней, еще мучительно-пронзительней люблю блеск солнца на мостовых Рима, плеск его фонтанов, голубые океаны воздуха, сверканье ласточкиного крыла и легендарную полоску моря. И я вздохну, я улыбнусь всему — чрез тонкую вуаль слезы.

Маркела нет со мной — я ощущаю его издали, теперь как старшего. Когда-то я считала так Георгиевского, теперь Маркел занял место его. На днях я получила от него письмо — оно мало походит на его прежние письма, это уж скорей послание, вот каков тон его: «Истина, Наташа, все неколебимее и тверже входит в меня. Если б я жил в древности, наверно, я ушел бы в монастырь, оттуда бы, молитвою, помогал миру, глубоко погрязшему. То, что произошло с Россией, с нами — не случайно. Поистине и мы, и все пожали лишь свое, нами же и посеянное. Россия несет кару искупления так же, как и мы с тобой. Ее дитя убили — небреженное русское дитя распинают и сейчас. Не надо жалеть о прошедшем. Столько грешного и недостойного в нем!

Но не думай, что я предлагаю тебе «постриг». Слишком хорошо знаю тебя — художника. У тебя в руках искусство, а ведь сказано: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил». И несмотря на все случившееся,— может быть, именно благодаря случившемуся, ты должна еще усердней и страстней идти по этому пути, как и я не брошу же своей науки.

Мы на чужбине, и надолго (а в Россию верю!). И мы столько видели, и столько пережили, столько настрадались. Нам предстоит жить и бороться, утверждая *наше*. И сейчас особенно я знаю, да, важнейшее для нас есть общий знак — креста, наученности, самоуглубления. Пусть будем в меньшинстве, гонимые и мало видные. Быть может, мы сильней как раз тогда, когда мы *подземельней.*

Светлый друг! Я знаю всю горячую и страстную твою природу, и я видел все узоры твоей жизни — воздушные и золотистые, и страшные. Да продолжают быть — яблонка, цветущая и ветер покровителями для тебя, но от моей дальней, и мужниной любви желаю лишь тебе сияние Вечного Солнца над путем... ну, ты поймешь».

Солнце заходило, дымно пламенели тонкие облачка над угластыми стенами Рима. Мы с Павлом Петровичем только что поднялись из галереи катакомб Св. Каллиста. Мы видели гробницу первых пап, крипту Св. Цецилии. С зажженными свечами, за монахом и тремя простолюдинами мы обходили смутные, таинственные подземелья, полные ушедших вздохов, шорохов тысячелетних туфов. И теперь сидели на скамеечке под кипарисами. Аллея, среди виноградников, шла к Аппиевой дороге. В небольшой будке белые монахи продавали разные реликвии. Я держала у груди маленький мешочек с катакомбною землей. Волнение слегка холодило, когда пальцами перебирала вековой, мелкоистертый этот прах.

Закат забагровел. Монахи в будочке зажгли огонь. И пилигримы уходили. Синело между кипарисами аллеи, под стенами Рима залегал сумрак, с легеньким туманом над болотцем. Вышли звезды. Смутно, розово теплились верхи гор.

Мы поднялись. Я прижимала к сердцу прах моих дальних собратьев, мне казалось, что дыханье вечной жизни шло из этого смиренного остатка.

Пустынна была Аппиева дорога. Мы шли по камням ее тысячелетним, и тысячелетние могилы нас сопровождали. У часовенки Quo vadis я остановилась. Опустилась на землю, поцеловала след стопы Господней. Все кипело и клубилось во мне светлыми слезами.

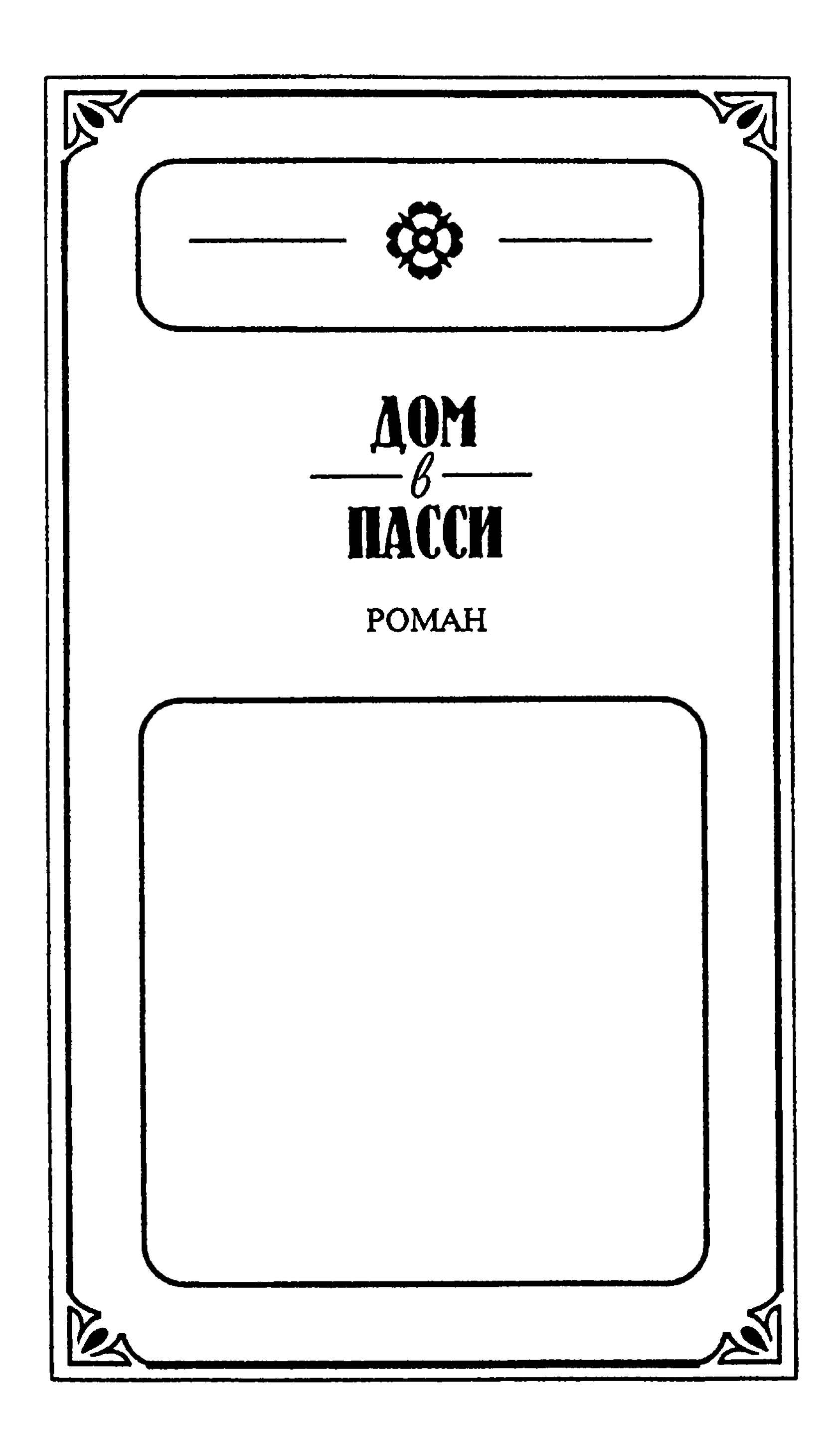
Павел Петрович поднял меня с земли.

— Ну, будет. Ну, поплакали, довольно.— А спустя минуту он прибавил: — Завтра жду вас за роялем. В три. Пожалуйста, не опоздайте.

Мы спускались к каменистому Альмоне. Недалек был Рим. В ближайшей остерии пели песни, раздавались голоса и смех, и свет ложился полосою на дорогу.

Над воротами Сан Себастиано затеплился огонек.

1923—1925



ДОМ *в* ПАССИ

РОМАН

У ПОСТЕЛИ

Черноглазый мальчик, аккуратный и изящный, отворил дверь в комнату Капы. Он увидел полосу света — осеннего, бледного, легшего на пол и слегка обнявшего постель с голубым шелковым одеялом. Под ним лежала Капа (головой к вошедшему: он рассмотрел только ее затылок — сбившийся узел светлых волос, да полуголую руку, да папиросу — она дымилась струйкой на краю стула).

— Здравствуйте, вы еще спите? А уже одиннадцать.

Капа повернулась, оперлась на локоть.

Щеки у ней были красны, глаза мутноваты. Низкие над глазами брови, точно бы сдавливавшие (серые глаза смотрели из-под них, как из пещер) — приподнялись. Капа улыбнулась.

— Недоволен, что я долго сплю?

Рафа заложил руки за спину, слегка расставив ноги, смотрел на нее — спокойным и благожелательным взором.

— Мне все равно, спите хоть до миди. Но это странно... Мама давно ушла, мы с генералом скоро начнем готовить завтрак, а вы все лежите. На службу надо рано выходить. А то могут вас конжедиэ.

— Ты очень строгий. Строже моего хозяина.

Рафа подошел ближе, внимательно всматриваясь.

— Почему же у вас щеки красные?

— Я нездорова.

— Наверно, грипп, я знаю, мама имела грипп, у нее тоже были такие щеки.

Он вздохнул.

— Вам нужно доктора. И позвонить на службу.

Рафа стоял теперь перед ней, загораживая свет, руки в карманах, слегка покачивая голыми, не совсем правильными коленками. В нем было спокойное, не вызывающее, но глубокое сознание своей правоты. Спорить тут нечего! Он показался Капе самим здравым смыслом, к ней пожаловавшим.

— Да там и телефона нет.

— Не может быть. На службе всегда бывает телефон.

У Капы болела голова. Свет из окна резал глаза. Она закрыла их рукой.

— На моей службе, правда, нет телефона.

— Нет? Ну, я извиняюсь.

— Рафочка, будь добр, сходи в бистро, позвони Людмиле. Скажи, я больна, прошу зайти. Вот тебе франк на телефон. Элиззэ, пятьдесят два, тринадцать.

Под затылком у нее нагрелось. Она переложила тяжелую голову на холодное место.

— Номера не забудешь?

— Нет.

«Он не забудет... он не спутает».

Рафа подошел к двери, отворил, остановился и сказал:

— А все-таки напрасно у вас на службе нет телефона.

Притворив дверь, вышел на площадку — добросовестно, как и все делал, собирался исполнить Капино поручение.

Лестница некрутыми маршами спускалась вниз, образуя пролет — довольно просторный. Просторны были и площадки. Рафа знал все это наизусть. Сверху, где жил генерал, падал тот же рассеянный, белесый свет. В двери квартирки матери торчал ключ (как и у Капы) — тоже давно знакомое. Да если бы ключа и не было, Рафа поднялся бы к генералу или к Валентине Григорьевне, или еще выше, где жил художник: все это свой мир, давно привычный. Всякий дал бы ему ключ, всякий ключ отворил бы дверь.

Он держался рукой за перила, спускался не торопясь, погружаясь понемногу в сумрак нижнего этажа. Поручение Капы отчасти и развлекало его.

Улочка была тихая. Рафа перебежал ее наискось, к угловому бистро на рю де ля Помп — улице оживленной и опасной. Сюда иной раз посылал его генерал за папиросами, мать за марками и открытками («только, пожалуйста, осторожней, там такие автобусы!»). Тут его знали. И он знал: и ленивую, несколько сонную хозяйку на стуле перед кассой, и хозяина, толстого человека, лысоватого, в вязаном жилете, занимавшегося двумя делами: или он пил аперитив с завсегдатаями, или играл в карты — с ними же.

— Не достанешь до трубки,— сказал Робер, худенький гарсон с гнилыми зубами.— Да и рано тебе вызывать дам по телефону.

— У меня есть дело,— ответил Рафа.— Дайте, пожалуйста, жетон.

Войдя в душную будку с надписями на стенах, сняв кольчатую металлическую кишку таксофона, Рафа приложил к уху трубку, сказал номер, и в далеких недрах, точно с того света, перебежали голоса барышень, передавших заказ, таинственные значки пронеслись еще куда-то (в другую бездну), там сухо и негромко затрещала дробь — а потом началось... очень простое, к чему все привыкли, но и очень странное: мальчика Рафа номерами и значками вызвал из бездонной тьмы Парижа Капину подругу к телефону.

* * *

Капа полежала на спине, потом перевернулась к свету, открыла глаза. Свет не был особенно радостен, но в окне виднелись каштаны — за невысокой стеной, отделявшей двор от соседнего владения. Сквозь полуоблетевшие листья — небольшой дом, тихий и старомодный, с зелеными ставнями. Если бы жить только в своей комнате, видеть вот так каштаны да ветхую крышу, можно бы думать, что и нет никакого Парижа, порога вселенной, где обитает эта Капа, мальчик, отправившийся говорить по телефону, и другие люди русских островков. А есть только провинциальная глушь. В этом доме с каштанами живут старенькие французы — Капа немножко знает их — мсье и мадам Жанен. Усадебка принадлежала им. Раньше они были зажиточные, а теперь обеднели и пускают жильцов. Там у них тоже русская живет, шляпница — ее окно правое угловое. Говорят, еще жилец переехал на днях... да не все ли равно, какие Жанены, кто где комнату снимает... все равно, все равно.

— Ничего не изменишь,— сказала Капа вслух.

В это время вошел Рафаил. Он опять стоял на пороге, со своими голыми коленками. Прекрасные его глаза глядели с прежней вежливостью.

— Капитолина Александровна, Людмила приедет иммедиатман[1]. У них два часа дается на завтрак, она возьмет такси и приедет.

Капа мутными глазами на него посмотрела.

— Спасибо, здравый смысл.

Рафа несколько удивился.

— Вы что такое сказали, я не все понял...

— Если бы была здорова, я б тебя поцеловала... а так ничего, все хорошо. Ты умник, все отлично сделал.

— Я имею еще немного времени. Можно мне у вас посидеть?

---

[1] немедленно (от *фр* immédiatement).

Капа опять закрыла глаза.

— Можно. Даже хорошо.

Некоторое время она молчала. Рафа сел у небольшого столика.

— Правда, что у Жаненов новый жилец? — вдруг спросила она.— Ты должен знать. Ты все знаешь.

Рафа спокойно посмотрел на нее.

— Правда. И тоже один русский.

— Ну и что же еще о нем известно?

— Больше ничего не знаю. Мне говорила blanchisseuse. Un Russe bien èlveè[1].

— Русские, русские,— пробормотала Капа.— Везде мы русские.— И, помолчав, неожиданно сказала: — Все равно ничего не изменишь. Ни-че-го.

При последних ее словах Рафа посмотрел на нее, но теперь с видом человека опытного, взрослого. «Она больная. Спросонку шутится». И, взяв лист бумаги, начал выводить разные закорючки. Лицо его приняло очень серьезное, задумчивое выражение. Большие уши розовели, просвечивая жилками. Он слегка от усердия посапывал. Тер голые коленки.

Рафа ошибался, думая, что Капа «шутится», но как мог мальчик его возраста (хоть и сосед), знать, что делается в голове этой Капы, невысокого роста, слегка сутулой девушки, которой лицо казалось ему не очень красивым, но глубоко сидящие глаза, тяжкие, почти сросшиеся брови, глуховатый голос и некая внутренняя напряженность вызывали чувство смутное: уважения, расположения — но и чего-то не совсем понятного. Ему нравилось, как она быстро и решительно спускалась по лестнице, как говорила — негромким и горячим голосом. Знал он, что, запершись, громко иногда она плачет (но не понимал, почему).

Раз даже мать его, Дора Львовна, ходила к ней с валерьяновыми каплями (и потом долго пахло эфиром, противным для Рафы запахом). А мать как бы про себя сказала:

— Что же удивительного, что одинокую девушку доводят до такого.

Может быть, и сейчас Капа несколько взволновалась. Может быть, под закрытыми веками и выступило на ресницах несколько слезинок — но болезнь отупляла: просто давила сумрачной дланью.

И когда вошла Людмила, в комнате было очень тихо: Рафа рисовал, Капа лежала на спине, все тот же бледный день осенний лился из окна — иногда с гудком автомобиля, с дальним, раздирательным трамваем.

---

[1] прачка. Русский хорошо воспитан *(фр.)*.

— Видишь, как я живо...

Людмила быстро села. В самом ее вхождении, в том, как закинула ногу за ногу, скрипнув шелком чулок, в худощавом, тонко сделанном лице, в лодочке на голове и манере снимать перчатки с раструбами, в струйке духов было именно то, что с великим совершенством впитывают русские: не узнаешь на улице, Москва или авеню Монтэнь.

Капа встрепнулась.

— Спасибо, что зашла.

Рафа, сидя у себя за столиком, побалтывая ногами, смотрел на Людмилу ласково и улыбался. Она обратила на него внимание.

— Это ты мне звонил?

Рафа встал и подошел. Застенчивая, нежная улыбка была на его лице.

— Я.

Он смотрел на нее почти с восхищением.

— Можно сказать одну вещь?

— Ну, ну...

— Вы очень красивая. И хорошо одеты. Я люблю, чтобы были такие изящные чулочки.

Людмила улыбнулась холодноватыми своими, синими глазами — но не очень: чтобы морщинки не набегали.

— Капитолина, смотри ты, какого кавалера себе завела...

— Это мой сосед.

— Ну, конечно, здесь в русском доме все у вас особенное... Записки на дверях приколоты, ключи торчат... и поклонники десятилетние.

В потолок сверху постучали.

— Генерал меня зовет,— сказал Рафа.— Я обещал ему помочь чистить яблоки для варенья.

Людмила взяла его за ухо.

— Что ж поделать, господин Дон Жуан. Обещал, так иди.

Рафа попрощался с ней, потом подошел к Капе, поцеловал в лоб и шепнул:

— А что это Дон Жуан?

— Который красивых любит,— так же тихо ответила Капа.

Когда он ушел, Людмила встала и прошлась.

— Реже приходится видеться, я как будто от тебя и отстала.

— Спасибо, что приехала.

— Ну, это что ж, пустяки... Да, я давно тут не была... бедно все-таки ты живешь. Комнатка маленькая, и обстановка...

— Это ничего.

— Знаю. Все-таки, с деньгами лучше.

Капа закурила.

— Ты немножко снобкой стала у себя там в кутюре[1],— Капа улыбнулась.

— Нет, не снобка, но хорошую жизнь люблю, это верно.

— Зарабатываешь по-прежнему?

— Да. Теперь я premiere vendeuse[2]. На процентах. Тоже надо умеючи. Убедить клиентку, доказать ей, чтобы купила...

— Людмила, пойди сюда...— Капа взяла ее за руку.— Я рада, что ты пришла. Бодрая такая...

— Уж там бодрая или не бодрая, веселая или не веселая, а кручусь. Иначе нельзя. Не люблю задумываться, останавливаться. Начнешь думать, ничего хорошего не надумаешь. Лучше просто делать. Жить так жить. И возможно лучше.

— А я тебе еще в Константинополе надоедала...

— Что там надоедала. Какая есть, такой и всегда будешь. Помнишь, ты больная тоже лежала, а я в ресторане место потеряла, и мы голодали. Ты еще мне предложила: свяжемся вместе — и в Босфор.

— Мне тогда умереть хотелось... и я думала, что нам выхода, правда, нет...

— Ах, чего этими кошмарами заниматься. Хорошо, что мы с тобой еще девками не сделались... Рада бы была, если бы старый мерзавец турок, который меня за две лиры купить собирался, глотнул бы этого Босфора! — Людмила встала, прошлась, подошла к окну.

Садик, каштаны, довольно мило.

Она стала внимательней всматриваться.

— Постой, этот павильон фасадом на переулок выходит?

Капа подтвердила.

— Ну, разумеется, так и есть: я на днях здесь была, только ход с переулка, в этом самом домике. Там старички французы живут?

— Да. И еще шляпница русская. Ты что же... шляпу заказывала?

— Нет, милая моя, я была у нового жильца, нашего прежнего с тобой приятеля, Анатолия Иваныча. Ты разве не знаешь, что он тут поселился?

Капа слегка побледнела.

— Нет, не знаю.

— Да, ну уж все эти ваши сложности и туманности... Не в моем характере.

— Никаких сложностей. Я с Анатолием Иванычем давно не

---

[1] в швейной мастерской, ателье (от *фр.* couture).

[2] первая (старшая) продавщица (*фр.*).

встречаюсь... и ничего нет удивительного... ничего удивительного, что не знаю.

Людмила заметила знакомые, глухие нотки в голосе Капы — признак, что та начинает сердиться.

— Здесь кругом сколько угодно русских. Войди в метро, в синема... русский квартал... ничего нет удивительного, что Анатолий Иваныч нанял комнату в доме рядом с моим.

— Конечно, ничего.

Капа сумрачно помолчала.

— Ты зачем у него была?

— Написал. Просил зайти. Я нисколько и не сомневалась. Деньги. Он в большой нужде — естественно. Но такой же прожектор и фантазер... Ах, раздражают меня эти авантюристы...

— Он не авантюрист. Ну, а фантазер...

— Ты за него горой, по обыкновению.

— Я хочу быть только справедливой,— сухо ответила Капа.— Он мне ни свет, ни брат. Я не имею к нему никакого отношения.

— И слава Богу. Пора. Сейчас-то ему, разумеется, туго. Одним кофе питается. Хозяевам задолжал так же, как и в предыдущем отеле. Но теперь, оказывается, у него вексель: три тысячи! Он у меня и собирался их достать.

— Ты не дала.

— Во-первых, у меня нет. Второе: если бы и были, ни за что бы не дала. Пятьдесят франков — et c'est tout[1]. Все эти расчеты, что продаст картину греку, двадцать тысяч получит — чушь! И имей в виду, если ты для него попросишь — тоже не дам.

— Удивляюсь еще, как ко мне сегодня приехала. Наверное, тоже думала, что деньги нужны.

Людмила подошла. Волна легкого шипра потянулась за нею.

— Ты другое дело. Ты свой брат, мастеровой. Тебе бы дала. А ему — нет.

Капа закрыла глаза, замолчала. Разговор как-то пресекся. Людмила несколько раз пробовала его завязать — безуспешно. Посидев еще некоторое время, она поднялась.

— Ну, выздоравливай. Мне пора. Если что понадобится, пусть этот мальчуган звонит.

Капа осталась одна — в задумчивости и молчании.

ДРУЗЬЯ

Михаил Михайлыч Вишневский, генерал-лейтенант и бывший командир корпуса, ныне обитающий над Капой, проходил од-

---

[1] и все (*фр.*).

нажды в потертом летнем пальто по переулку — шагом правильным, крепко неся негнущееся тело — с лицом чисто выбритым, седыми подстриженными усами: они сделали бы честь любому маршалу. (Но глаза Михаила Михайлыча были слишком русские — оттого, может быть, и разнствовала его судьба с маршальской: он собирал объявления для газетки.)

На углу своей улицы неожиданно наткнулся он на трех мальчишек — двое с азартом наскакивали на третьего, черноглазого, отступавшего к забору. Он пытался отбиваться, но дело его было плохо: вихрастый враг с рыжими веснушками уже дал по уху, глаза его готовы были налиться слезами и предстояло бегство — с потерей обозов и коммуникаций.

Тут-то, однако, и появилась из-за угла крупная фигура генерала, спокойная и, как судьба, неотвратимая. Она разрезала пространство. Слева, у забора, оказался Рафа, справа веснушчатый враг и другой, худенький, черный, в школьническом берете.

— Колоннами и массами,— сказал генерал.— Прекратить б... (тут он прибавил сильное военное слово).

Французы слова не поняли, но отскочили. Рафа тоже не понял, но почувствовал, что подошла подмога. И ослабев, заплакал.

— Мсье... мсье... они всегда ко мне пристают... паршивые.

Генерал всмотрелся в него.

— Ты где живешь?

Рафа сквозь слезы назвал.

— Ну, нечего нюнить, идем.

И, взяв его за руку, зашагал.

— Они... всегда дразнятся...— бормотал Рафа, припадая к старческой руке и чувствуя себя под защитой (от генералова пальто пахло табаком — этот мужественный запах был Рафе приятен). Обернувшись, он погрозил врагам.

— Sales gosses! Crétins![1]

— То-то вот и кретэн. Они, брат, может, и не такие кретины. А самому тоже надо уметь драться. Ты меня знаешь?

— Я... я... (Рафа опять стал всхлипывать). Вы на той же лестнице, где мы с мамой. Мою ма-му... зовут Дора Львовна. А вы... недавно переехали.

— Правильно.

Генерал тоже легко вспомнил черноглазого мальчика и его мать — крепкую, довольно полную брюнетку. С утра уходила она из дома — занималась массажем.

---

[1] Грязные пацаны! Кретины! *(фр)*

Он довел малого до дома, поднялся с ним до его квартиры. Дора Львовна случайно оказалась дома. На стук она и отворила (звонков нигде не полагалось: чтобы консьержка по стуку знала, кто к кому пришел).

У Рафы остались еще на щеках сохнущие разводы слез, и, увидев мать, он снова расплакался. Дора Львовна встревожилась.

— Мсье заступи-ился... а они, паршивые...— начал было опять Рафа.

Михаил Михайлыч объяснил, как было дело.

— Очень вам благодарна,— сказала Дора Львовна серьезно.— Рафа, ты сейчас же пойдешь мыться. Там зеленое мыло, слева на верхней полочке.

И за крепкими, белыми руками матери, от которой всегда пахло свежестью и чем-то медицинским, Рафа почувствовал себя окончательно в домашней твердыне.

Когда он вышел, Дора Львовна вновь обратилась к генералу.

— Это в значительной мере моя вина. До сих пор не могу устроить его в лицей. Он и болтается зря. Если б нашелся человек, которому я доверила бы его подготовку...

Генерал ничего не ответил, неопределенно фукнул.

Но с этого дня знакомство его с Рафой завязалось. Михаил Михайлыч редко, больше по соседским делам, заходил к Доре Львовне. А Рафе чрезвычайно нравилось стучать в таинственную (как ему казалось) дверь генераловой квартирки — и тихонечко входить в нее. Комната была обычная, с хозяйской мебелью, кухонкой, с окном в тот же сад, небольшой печуркой. Генерал держал все здесь в порядке: с семи утра слышала Капа над головой шум передвигаемой мебели, генерал все подметал до соринки, натирал паркет, методически обтирал пыль — методически чистил и обувь, платье, чинил его, ни в чем не отступая от тех правил, что вошли в него с утренней трубой кадетского корпуса.

Но не стол, не паркет, не узенькая кровать занимали Рафу. Весь этот высокий, прямой старик, как будто бы и строгий (а главное — совершенно непререкаемый), был неким иным миром, вовсе неведомым и загадочным. Рафа знал, что такое бистро, сольды, терм, ажаны,— но когда генерал впервые показал ему свои ордена (вытащив их из дальнего ящика комода), он онемел. Красные ленты, золотые узоры, изображения святых, беленький и как будто простой крест на черно-желтой ленточке (его особенно торжественно показал генерал) ...где найдешь это в Пасси? У какого бистровщика нашего квартала?

Замечательными казались также две гравюры в рамках, на

которых были изображены военные: один в белом кителе, с черной бородой, другой в темном мундире и эполетах (у этого сильно пробрит подбородок).

А на столе? Рядом с чернильницей? Под стеклом фотография монаха в белом клобуке, с огромным посохом в руках. Лицо простое, русское, с серыми небольшими глазами под бровями нависшими, с тяжелым носом, седой бородой. На груди не то иконки, не то ордена — Рафа боялся даже расспрашивать. На вопрос, кто это, получил ответ: патриарх — непонятное слово, музыкой отозвавшееся в сердце. Вечером, ложась в постель и побалтывая голыми ногами, неожиданно, с мечтательной улыбкой он сказал матери:

— Патриарх!

— Зубы вычистил? — спросила Дора Львовна.

— Вычистил. Я сегодня видел патриарха.

— Какого патриарха?

— У Михаила Михайлыча. Мне он все объяснил. У архиреев черные клобуки, у митрополитов белые, а у патриарха тоже белый, но так, знаешь, вроде платочка или шапочки, и с обеих сторон концы висят, как полотенца... на полотенце крест вышит.

Дора Львовна усмехнулась.

— Теперь наслушаешься от своего генерала.

— Он даже очень интересно рассказывает.

— Руки сверх одеяла, вот так, и на правый бочок. Потому что с левой стороны у нас сердце, и не надо на него надавливать.

— А то что будет?

— Будешь видеть плохие сны.

Рафа зевнул, через минуту сказал:

— Я хочу видеть хорошие. Я хочу видеть во сне патриарха.

* * *

Когда он теперь поднимался по лестнице от Капы, из двери генерала вышел почтальон — и не захлопнул ее. Рафа, как свой, проскользнул без стука. Генерал, сухощавый и стройный, в переднике сквозь пенсне на горбатом носу читал письмо, держа его довольно далеко. По его расставленным ногам, отдувающимся ноздрям, легкому подрагиванию рук видно было, что он взволнован. На Рафу не обратил внимания. Тот скромно, «с достоинством», как человек, понимающий, что друг может быть занят, прошел в кухню. Там стоял на огне суп, а на газетном листе лежали яблоки. Их-то и предстояло чистить и разрезать: генерал любил яблочное варенье (а значит, любил и Рафа).

Солнце нежно и не по-парижски охватывало мальчика, сидевшего на табуретке, тихо резавшего яблоки. Было в этом светлое и мирное, хорошо, что сияние задерживалось в маленькой кухне дома в Пасси — и, быть может, Рафа под ковром воздушным и светящимся лучше делал свое дело.

— Молодец,— сказал генерал, входя.— Занимайся. Люблю аккуратность.

Рафа улыбнулся застенчиво, слегка покраснел. Он всегда робел пред генералом, с ним самоуверен не был никогда.

— Сегодня хорошее известие. Хорошее известие. Из России.

— От большевиков?

Генерал весело захохотал.

— Не-е-т, они со мной переписываться не станут. Да и я с ними. Я насчет Машеньки получил письмо. Она сюда собирается. Понимаешь, разбойник? А?

Генерал подошел к нему сзади, крепкими руками взял за щеки и стал делать из его лица кота — любимая генеральская игра (когда он в духе).

— Ну, ну...— смеялся Рафа.— Нет, мне уже больно.

— «Мне уже больно!» — когда ты будешь по-русски правильно говорить?

— Почему я сказал неверно?

— «Уже» — вон. Уже вон. Просто больно.

— Мне таки и действительно больно.

Рафа потер рукой щеку и вновь принялся чистить яблоки. Генерал рассердился было на «таки», но предстояло поглядеть за закипавшим супом, да и вообще не до чистоты языка. Машенька собирается сюда! Так написано в этом письме с красноармейцем на марке. Написано хоть не самой Машенькой (боится переписываться с отцом), но дамой верной, престарелой, Машеньку знавшей ребенком. Написано условным (смешным для Запада) языком — что поделаешь, маскировка, вечный страх, под которым живут уже годы! Главное: решилась, наконец, начать хлопоты. Разумеется, нужны деньги. Очень понятно. У нее ребенок, вроде этого, что режет яблоки. Воображаю, как она там будет собирать червонцы!

Генерал сел с Рафой, взял яблоко, стал его чистить. «Питаемся больше картошкой, мяса почти не видим. А уж особенно трудно с обувью... Ваня иной раз в первую ступень и пойти не может, сапожник в долг отказывается чинить, денег, разумеется, нет, а к новым башмачкам не подступиться...»

— Рафаил! — сказал генерал почти грозно.— Мы с тобой в последний раз яблоки чистим!

Рафа опасливо посмотрел на него. Характер генерала, его

странности он знал, и теперь полагал, что будет что-нибудь не совсем обычное.

— Вам не нравится этот конфитюр?

— Нет-с, мне яблочное варенье (а не конфитюр!) очень нравится, но я желал бы, чтоб и Машенька могла его есть. А для этого-с...

Суп кипел, но перекипать ему не дали. Яблоки кончили, накрыли тут же для двоих к завтраку. Генерал налил стакан красного пинара.

— Колоннами и массами. Трах-тара-рах-тах-тах!

Рафа чинно и с тайным благоговением смотрел на него. Генераловы шутки, выкрики, манера громогласно сморкаться, пощелкивать пальцами сложенных за спиной рук — все казалось необыкновенным. Самый завтрак в этой кухонке тоже нечто особое. Разве можно сравнить с завтраком дома? (Где все так разумно и гигиенично.)

Например, сегодня. Генерал столько рассказывал о Машеньке, о ее сыне, как жили они вместе в имении, как пришлось ему потом бежать — на юг, в Добровольческую армию — и вот сколько уже лет они в разлуке.

— Но теперь начинается новое, ты понимаешь? Машенька решилась... надо только ход найти, чтобы ее выпустили. И деньги! Самое важное. Только это, братец ты мой, тайна. Понял? Обещаешь никому не рассказывать?

— Обещаю.— И сейчас же Рафа спросил: —А почему тайна?

— Потому, что если до большевиков дойдет... ты понимаешь? что Машенька сюда едет, к отцу, вот такому, как я — то не только ее не выпустят, а еще в Соловки сошлют.

Рафа облизнул ложку, которой ел компот, и спросил, что такое Соловки. Генерал объяснил. Рафа даже побледнел от волнения. Значит, ему доверено такое... Он почувствовал себя взрослым.

— Я даже маме не скажу. Знаете, у нее столько визитов к разным дамам...

Генерал допил алжирское свое вино, всполоснул литр под краном, тщательно его обтер, высушил, потом достал из жилетного кармана монетку и бросил в горлышко. Она со звоном упала на дно.

— Что это вы... делаете?

— А это, братец ты мой, такая будет у нас тайная бутылка. «Фонд благоденствия». Я туда бросил первый полтинник. От варенья отказываюсь, курю вдвое меньше, и так далее — все, что освобождается, идет сюда. Полный литр — чуть не тысяча франков... для приезда Машеньки. Понятно? Ну, а теперь отъели,

пора за урок. Что мы читали прошлый раз? Жилина и Костылина? Ну, и живо, идем ко мне в комнату.

И как всегда бывало в этот день, начался урок русского языка. Рафа читал толстовский рассказ, генерал следил, объяснял, поправлял ударения и произношение. Но сегодня оба были не весьма внимательны. Генерал думал о дочери — никак не мог сосредоточиться на Кавказе и горцах. Рафа все шарил по карманам курточки и штанишек — генерал, наконец, недовольно спросил, чего он ерзает?

— Это я ничего, так...

А когда урок кончился, быстро выбежал к себе в квартиру, порылся и принес новенькую, совсем сияющую монетку в пятьдесят сантимов. Бутылка стояла в углу.

— Можно? — спросил робко.

Генерал кивнул. Потом отвернулся. Рафин полтинничек звякнул так же.

ДВИЖЕНИЕ

Дора Львовна происходила из богатой еврейской семьи. Училась в Петербурге, на Медицинских курсах, но не кончила: полюбила студента технолога и сошлась с ним. Лузин был настоящий русский интеллигент, довоенного времени, типа «какой простор». Жаждал быстрого установления земного рая, верил в это и вместе с Дорой Львовной посильно приходу его содействовал. От марксистов, однако, отдаляло его мягкое сердце. От эсеров — несклонность к террору. Партию он избрал себе безобидную — народных социалистов. Но тут подвернулась некая максималистка товарищ Люба — и от Петра Александровича Лузина остались рожки да ножки. Он мучился и рыдал, то говорил, что одинаково любит обеих, то пытался «выяснить отношения», то казнил себя безнадежно. Доре Львовне чужда была расплывчатость. После полагающегося количества бессонных ночей, выяснив все, что надо, она на седьмом месяце беременности от него ушла — углом треугольника быть не пожелала. Старая Берта Исаевна, мать ее, много по этому поводу плакала: «Ай, Дорочка, Дорочка, вышла бы за хорошего еврея, ничего бы этого не случилось. Подумать только, беременная...» А отец вовсе негодовал. Но Дора Львовна домой не вернулась. Родила своевременно Рафу, и в дальнейшем потопе была вынесена на Запад. Не такая она, чтобы потеряться и здесь! Сначала в Германии, а потом в Париже занялась делом — хоть не на высоте прежнего, лишь полумедицинским, все-таки дававшим заработок. Дора Львовна клиентуру свою развивала. Ее

спокойствие, некий крепкий и достойный тон, ощущение порядочности и солидности, остававшееся от нее, создавали ей хорошую прессу (да и работала она неплохо). Именно в этом году начала даже откладывать, стала мечтать о том, чтобы взять квартиру со своей мебелью, в новом доме с удобствами. О муже ничего не знала и знать не хотела. Она его просто вычеркнула. Жила одиноко, холодновато. Рафу очень любила, но без сантимента. Да и не так много его видела — целый день была в бегах. Любила рассматривать старинную мебель в витринах (кое-что, в Salle Drouot[1], и покупала, тащила в Пасси). Иногда ловила себя на том, что хочется вкусно поесть. «Ну что же, это моя потребность, надо ее удовлетворить»,— заходила завтракать в небольшие ресторанчики у Мадлен, ела устрицы, по-мужски спрашивала сухого белого вина. Как врач, прохладно наблюдала за собой. И находила, что в еде несколько выражается ее чувственность. «Конечно, моя женская жизнь слагается ненормально... Нет еще сорока лет...» Но ей действительно никто по-настоящему не нравился. Легкие же авантюры она не одобряла.

Нынче вечером, возвратившись домой, Дора Львовна узнала, что больна Капа. По неписаному уставу дома, все русские должны были друг другу помогать в беде, и если бы захворала сама Дора Львовна, у нее тотчас бы появилась и Капа, и генерал, и жилец сверху. Так что в десятом часу она сидела у Капы.

— Ваш сын уже навещал меня,— сказала Капа, слегка улыбнувшись.— Я даже немного его эксплуатировала... он был страшно мил.

Дора Львовна сидела совсем близко и смотрела в воспаленные, несколько тяжелые и затаенные глаза Капы. «Странная девушка... очень странная»...— и не совсем даже давала себе отчет, почему странная. Но такое оставалось ощущение.

— Я сына мало вижу. Так жизнь складывается. Что из него выйдет, не знаю... мне всегда кажется, что я недостаточно на него влияю.

Капа перевела глаза с темными, влажными кругами в сторону — будто не слушала и вовсе не интересовалась тем, что может из Рафы выйти. Дора Львовна почувствовала это и смолкла.

— Доктор у вас был?

— Да... Дора Львовна, знаете какое дело,— вдруг сказала она решительно, точно вернувшись из того мира, где только что находилась,— мне нужны деньги.

---

[1] Зал Друо *(фр.)*.

— Разумеется, вы нездоровы... Сколько же? Я могла бы вам предложить.

— Нет, предложить... не вы. Мне довольно много. Посоветуйте, где занять... У вас есть богатые дома, где вы массируете. Я могу вексель подписать. За меня на службе поручатся.

— А какая сумма?

— Три тысячи.

— Да, порядочно. Лично я не смогу.

— Я и не говорю, чтобы вы,— сказала Капа холодновато.— Скажите мне, к кому обратиться?

— На что вам такие деньги?

— Нужны.

— Именно три тысячи?

— Именно.

Дора Львовна задумалась. Конечно, среди клиенток ее много состоятельных, есть и очень богатые, для кого три тысячи не деньги. Но не деньги лишь для себя. Дать же взаймы такой Капе... Дора Львовна слишком хорошо знала жизнь, слишком ясно сознавала и свое положение (среднее пропорциональное между учительницей музыки и шофером), чтобы верить в успех. Но добросовестно перебирала в уме фамилии и имена. Гарфинкель? — не вернулись еще из Сен-Жан де Люс. Олимпиада Николаевна? Жалуется на плохие дела... и вечная возня с польским имением... Эйзенштейн? — выдают дочь замуж, сошлются на расходы... Трудно, трудно.

— Что же, вы хотите на юг, что ли, съездить, полечиться на эти деньги? — спросила она — просто чтобы дать выход некоему недовольству.— Или собираетесь зимнюю вещь шить?

— Эти деньги мне необходимы.

Лицо Капы приняло упорное, несколько даже неприятное выражение. «Да, характерец... не скажет, разумеется, ни за что».

Дора Львовна не любила никаких душевных угловатостей. Ее несколько раздражали даже такие, как она считала, «дефективные» черты. Но в ней сидел и врач, спокойный наблюдатель человеческих несовершенств. Врач знал, что на «дефективных» нельзя сердиться. Она пересилила себя — и в ту же минуту нечто сверкнуло в ее мозгу.

— Знаете, вернулась из Америки Стаэле...

— Неужели?

Капа оживилась.

— Вызвала меня пневматичкой. Я у ней уже была, работала. Но она нисколько не худеет. Все такая же полная. Да ведь вы ее хорошо знаете. Одним словом, все такая же, несмотря на

режим. И такая же восторженная. Обратитесь к ней, попробуйте... скажите, что вам на лечение нужно.

— Стаэле... Я ее так давно не видала. Что же она делает теперь?

Дора Львовна усмехнулась.

— Чего вы хотите от миллионерши. Что вздумается, то и делает. Хорошо еще, что у нее сердце доброе. По крайней мере, не все деньги зря тратит. В Америке приют для негритянских детей устраивала, теперь у нее, кажется, совсем нелепые идеи, но ничего, может быть, и удастся направить ее в разумное русло.

«Разумное русло,— бессмысленно повторила про себя Капа,— Разумная Дора... она всегда все делает разумно». И молча смотрела на крепкие, белые руки Доры Львовны. «А я все неразумное... но безразлично, к Стаэле я пойду».

Дора Львовна сидела прочно, удобно в кресле (она имела особенность: так сидеть, так стоять, так спать в постели, будто сделано это раз навсегда — солидно и никак не опрометчиво). Она рассказывала, что теперь г-жа Стаэле увлекается древне-византийской живописью и носится с особенной мыслью: купить у турецкого правительства право на расчистку одной мечети, где подозреваются ранние фрески.

— В сущности, вы, как хорошо ее знающая, могли бы извлечь из нее и некоторую пользу для эмиграции. Всюду столько нужды. Детские приюты, убежища для престарелых, вместо этих нелепостей с турецкими мечетями...

«Началось разумное... и доброе, и полезное,— думала Капа, все бессмысленно глядя на Дору Львовну.— Ничего, она честная массажистка и член разных обществ. Так и надо. Она и поможет. Устроит. На таких мир держится... А я свое сделаю. Я не такая добрая, на беженские дела мне наплевать, но я сделаю. Свое сделаю. Хочу и сделаю».

— Спасибо,— сказала она.— Мне только нужно теперь выздороветь. Я непременно схожу к Стаэле.

* * *

То, что предлагала Дора Львовна, могла бы сообразить Капа и сама. Но Стаэле вела настолько кочевую жизнь (нынче в Америке, завтра в Сирии, а там в Копенгагене), что Капа не считала ее здешней. И когда мысленно прикидывала, к кому обратиться, о ней не подумала. Впрочем, были причины и особые... О т о й полосе жизни своей она не любила вспоминать. Но теперь Дора Львовна как бы разбудила ее. В приоткрытую

дверь былое поползло. Капа разволновалась. Если бы Дора Львовна, мирно спавшая сейчас в своей прохладной и гигиенической постели, знала, что у Капы даже температура повысилась, вряд ли осталась бы она довольна. А Капа вертелась, вспоминала, раз поднялась даже, подошла к окну и посмотрела в сад. Было темно. Каштаны иногда шелестели под ниспадавшим ветром, да на Эйфелевой башне, видневшейся в узкой полоске меж крыш, пробегали таинственные нервные сигналы: голубовато-зеленое струение, а над ним вдруг грозно мигал красный глаз. Спят все, кроме ночи да дьявола. Легкое зарево Парижа над полуоблетевшими деревьями — трепещет, тоже имеет двусмысленное выражение. Да и вся тьма эта полна неблагожелательного, мрачного. Ах, если б можно было прижаться к кому-нибудь, если б не вечное это, проклятое одиночество!

Она вдруг рассердилась и на Анатолия Иваныча. Зачем, собственно, он поселился тут под самым ее носом? Ну ладно, было и было, да ничего больше нет, она и видеть его не хочет — а вот нужно почему-то здесь постоянно о себе напоминать...

Капа вернулась на постель озябшая, ее знобило и она была почти зла. Мысленно послала даже к черту и Анатолия Иваныча и Стаэле.

Не так легко было заснуть, не так легко и спалось. Но утром сразу оказалось, что ничего ей более не интересно, кроме э т о г о. Жизнь, служба, болезнь — полусон, полупрозябание. Одно настоящее. Одно нужное — и теперь из-за случайных слов Людмилы, Доры Львовны жизнь вновь направляется в неожиданную сторону.

Поскорее выздороветь и бежать... Т у д а, пока Стаэле не уехала.

И несколько дней-ночей минуло незаметно: в днях — зашел доктор, навестил генерал, Рафа, Дора Львовна. В ночах — тяжелый сон и зарево Парижа.

* * *

Очень тихое утро, серо, влажно. Оставшиеся на каштанах листья совсем буры — так намокли, что по временам падают с них капли. Блестят асфальтовые мостовые. Шоферы медленнее шуршат по ним: из опасения поскользнуться. Но сам изящно-серый Париж ведет вечный свой круговорот — в непрерывном потоке прохожих, скользящей волне машин, в запахе сырости, бензинового дымка, дамских духов.

Мимо Прюнье проходит Капа, еще не совсем оправившаяся, с глубокими подглазниками, к Этуали. Вокруг Арки бессменное

движущееся кольцо. Все в одном направлении, вечно куда-то ввинчиваясь, бегут автомобили, сколько их, куда — но не остановишь, без конца, без начала льются...

Капе все здесь насквозь знакомо. Вот трехэтажный дворец с садиком, вот rue Tilsitt[1] — Стаэле тут недалеко, в улице близ этой карусели-Этуали.

Тяжелая калитка, гравий, мокрые кусты, окна зеркальные... И глицинии под окном — и ее собственное окошко в третьем этаже, рядом с комнатой прислуги. К этой самой калитке подавал года два назад Анатолий Иваныч в белом кожаном пальто и черной фуражке тяжело-легкий автомобиль: темный, блестящий, с зеркальными стеклами, куколкой внутри и букетом фиалок. Вместе со Стаэле выходила она — Капа, тогда была лучше одета, но скромно... как mademoiselle de compagnie[2] и учительница русского языка. Фантастика, фантастика!

Но теперь без фантастики позвонила — отворила сухая, застарелая горничная с каменным лицом. Капа передала карточку.

— Мадемуазель пьет кофе. Вам придется подождать.

«Знаю, что пьет. Десять часов — все то же». Капа проходит в серую гостиную, садится под голубой вазой с золотыми разводами. Обстановка — светлый модерн. Со стены глядит все тот же Вламэнк (мрачный осенний пейзаж с лужами), как же все в чистоте слепительно, безмолвно, музейно. Зеркальное окно полно серебряного света — заливает он куст мелких розовых цветов, перед окном стоящих. Дверь в столовую приоткрыта. Знакомый женский, слегка заикающийся голос:

— Но я х-хочу еще яйцо...

Другой, тоже женский, методический и несколько суровый... неразборчиво, но, видно, отрицательно.

— Мне ма-мало одной чашки и яйца.

— Вам по режиму утром можно только яйцо, без хлеба. А вы уж столько съели! И еще съедите два яйца, если вам позволить.

— Да я просто, я не хочу никакого режима!

— Зачем же было заводить его?

— Я ду-мала, что похудею, но ни-исколько не худею, а только порчу себе настроение...

Капа усмехается.

«Все то же. Прежде я ее окорачивала, теперь другая. И

[1] улица Тильзит *(фр.)*.
[2] компаньонка *(фр.)*.

также все безуспешно». Голоса умолкли, слышится звук отодвигаемого в сердцах стула. На пороге г-жа Стаэле.

С тех пор, как Капа ее не видела, она еще пополнена. Шеи совсем не стало. Голова как на блюде лежала на груди и плечах. От красных щек белее казались простые, добрые глаза. Видимо, не так легко и ногам двигаться. Сейчас явно была она не в духе.

— А, это вы...

Она подала ей очень маленькую, не соответствующую туловищу ручку.

— Вы куда-то совсем пропали. Вы похудели.

«Завидно!»

— Хворала. Только что с постели поднялась.

Стаэле села в кресло, где было ей тесновато. Кончики ног попробовала скрестить — ничего не вышло — это несколько тоже ее расстроило.

— А где же мсье Анатоль? Он тогда так внезапно покинул мой д-дом...

«Ну, вот теперь еще я за него отвечаю». Капа, когда шла сюда, то считала, что просто попросить для себя помощи — по старой памяти. Но сейчас, частью по капризу, частью в приливе раздражительной дерзости, мгновенно переменила план. Именно потому, может быть, что это неразумно, она и брякнула:

— Мсье Анатоль был тяжко болен. Он переутомился. Сейчас без работы. Ему надо на юг, в хорошие условия...

Недовольство выступило на лице Стаэле. Она нервно стала постукивать носком туфли.

— И вот он посылает вас... просить у меня денег... Это всегда так. Не зво-нят, не заходят... являются лишь, когда нужны деньги.

Капа побледнела.

— Он меня не посылал. Я сама к вам обращаюсь... вы ведь добрый человек.

— Д-добрый, доб-рый...

— Я не знаю, почему он не давал вам о себе знать. Вероятно, просто думал, что вам неинтересно. Но сейчас дело ясное. На поездку и отдых нужны три тысячи. Могли ли бы вы дать ему их?

Капа старалась сдерживаться, но голос ее звучал все глуше. Лицо Стаэле покрылось пятнами. Губы вздрагивали.

«Какая нервная! А говорят еще, что мы нервны!»

Стаэле встала, тяжело переваливаясь телом.

— Я не могу дать вам этой суммы... у меня с-сли-ш-ком много расходов.

И продолжая волноваться, слегка заикаясь, объяснила, что ее осаждают со всех сторон, и если она будет удовлетворять все просьбы, то скоро останется без гроша. Кроме того, у нее сейчас огромное дело: переговоры с турецким правительством насчет мозаик.

Капа поднялась тоже. Когда она подходила к двери, Стаэле вдруг остановила ее.

— Оставьте мне свой адрес...

Капины провалы под глазами, мрачный блеск самих глаз и тоже нервное подрагивание губ — точно бы немного смутили ее.

— Для чего адрес? Я только раздражаю вас. Это понятно. Бедные всегда раздражают богатых.

Стаэле еще больше разволновалась.

— Вы не-несправедливы... Вы знаете, что я очень много... помогаю и нисколько на бедных не раз-дражаюсь.

— Адрес мой на визитной карточке, которую вам подали.

— Я по-смотрю... может быть, мне и удастся что-нибудь...

«Да ну ее к черту...» — Капа спускалась в сдержанно гневном настроении.

На улице несколько поостыла, хоть неприятное ощущение вглуби сидело. Почему эта Стаэле обязана давать деньги? Что ей Анатолий? Шофер, правда, интеллигентный и, как редкость, забавный (она и держала его потому, что он бывший дипломат) — потом не совсем ловко исчезнувший... Никаких о себе вестей не давал, а теперь вдруг, пожалуйте.

Наступил полдень, midi, знаменитый час, когда банки, конторы и магазины по таинственному значку выливают бойкое и живое человечество. Капа спустилась в метро. С ней спускались такие же девушки, на подземных перекрестках Жоржи ждали Жюльет, нежно целовались и бежали к ближайшему поезду. В людском множестве все Жоржетты казались похожи на всех Жюльет и все Эрнесты на Жюлей. В теплой живой толпе, ею несомая, с ней дышащая, Капа спускалась, подымалась летейскими коридорами, полными человечьего дыхания, тепло-влажно-пыльного воздуха. По подземным путям в переполненной ладье неслась в даль смутную, гулкую. Сотни чужих мыслей, чувств и желаний прошли сквозь нее, и ее собственные чувства, незаметно для нее, изменились. Сон была уже Стаэле и ее паркет, и Вламэнк. Завтра надо самой на службу — вот в такой толчее утром лететь в один конец, вечером в другой. Не дала, так не дала. А чулки эти придется подштопать, это уж очевидно.

...Она благополучно доехала и обычно докончила день — один из многих одиноких своих дней. И когда менее всего

думала о Стэле и даже об Анатолии Иваныче, к ней заявилась также застарелая горничная с письмом. Стэле писала, что просит ее извинить: утром была расстроена и несправедливо резка. Осмотревшись, нашла, что и просьбу может исполнить. Прилагался чек на три тысячи.

«ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...»

Из окна было видно, как мсье Жанен, сухенький старичок в туфлях и старом, засаленном рединготе, без воротничка вынес тазик золы и проходил наискось через двор: тут у него кусты крыжовника, он иногда подсыпает туда пепел и угольки из печурки. Капа спрятала в сумочку три тонких, слабо хрустевших лиловых бумажки. Ей предстояло спуститься по лестнице, взять за углом мимо бистро, откуда говорил Рафа по телефону, войти чрез калитку во владение Жанен, это не более ста шагов. Но тогда — все другое: ее дом, ее комната, генералово окно, квартирка Доры Львовны вовсе по-иному представляются отсюда. Она может видеть себя и «своих» со стороны. И действительно, когда вошла под тень каштана (едва хранившего последние свои листы), вдруг вспомнила Людмилу, как та не сообразила, что ведь это рядом с Капой.

В новом мире подошедшему с тазиком старичку сказала, кого желает видеть. Горбоносый старичок кратко, но любезно указал.

Капа поднялась в первый этаж (по узенькой французской лесенке). Ей представлялось, что идет она просто так, к человеку чужому, малознакомому, застегнувшись душевно, как застегнут на ней не первой свежести темненький костюм. Несколько сутулясь, постучала в дверь.

— Entrez![1]

Начался еще третий мир. Небольшая комната с окном в переулок, довольно светлая, с камином и зеркалом в золотой раме над ним — с часами на подзеркальнике, все, как полагается в истинно французском старом доме. Но не полагается, чтобы на подзеркальнике лежали галстухи, воротнички. Странны также кораблики — искусно сделанные — на шкафу: бриги, фрегаты в парусах, точно модели из музея мореплавания. Странен стол у окна — простой, вроде кухонного, застланный толстым сукном. Когда дверь отворилась, сухощавый, высокий, с небольшой лысиной человек без пиджака склонялся над столом, спиной к окну: в великом прилежании разглаживал штаны, слегка ды-

---

[1] Входите! *(фр)*

мившиеся. Увидев на пороге Капу, тоже ощутил новый мир, и не сразу оторвался от портновского. Держа утюг, остановившимися голубоватыми глазами глядел на дверь. Потом улыбнулся — улыбкой милою и почти детской — утюг поставил на подставку, легкими молодыми шагами подошел к Капе, протянув вперед руки.

— Очень рад... тебя видеть.

Капа молча подала руку. Он ее ласково поцеловал. Подняв голову, не выпуская руки, все улыбаясь, неподвижно смотрел на нее. Что-то очень далекое, щемящей нежности и очарования вдруг ощутила она.

— У тебя такой вид, будто ты хочешь спросить: зачем пришла? — да не решаешься.

Анатолий Иваныч сел на диванчик, Капе пододвинул стул.

— Нет, я ничего,— сказал простодушно, все продолжая на нее глядеть прозрачными, голубоватыми глазами.— Ты так... очень неожиданно... мы ведь давно не виделись.

«Все такой же... Нет для него времени».

— Анатолий, как ты живешь?

— Вот и живу, ты видишь...— он неопределенно провел рукой по воздуху, будто указывая на свою комнату, обстановку, строй жизни.— Разумеется, Капочка, туговато... теперь времена трудные.

Он опять с ласковостью и упорством уставился ей в глаза.

— Времена трудные, Капочка, все дела в застое.

— Да уж ты такой делец...

Он несколько оживился.

— У меня дел много, ты не думай. Но все неудачи. И с кораблями слабо, — он указал на модель брига на шкафу.— Единственно, что могу еще продавать, это маленькие яхточки для тюльерийского прудка, знаешь, там внаем дети берут. Да это все мелочи, пустяки платят. А серьезная работа, фрегат, линейный корабль, никого более не интересует.

«Все то же полоумие...» Капа помнила это еще по Константинополю. Анатолий Иваныч в беженство вывез целый чемодан моделей, инструментов, бечовок для оснащивания... и никогда с ним не расставался. Обожал он корабли. С удивительным искусством строил их сам, читал книги по кораблестроению, в портовом городе нельзя было оторвать его от набережной.

— Третьего дня был я на Монмартре у одного грека, в особняке... знаешь, рю Ларошфуко. Кападопулос. Ах, Капочка, какой особняк... там у него и фарфор старинный, и табакерки, и картины. Мы с Сережей Друцким продаем ему одного Фра-

гонара... Если выйдет, я тебя у Ларю завтраком угощу. Или у Прюнье. Ты устрицы любишь? Да, помню, любишь... Капа, когда мы продадим ему Фрагонара, то все вместе поедем: я, ты, Сережа. Но знаешь, не завтракать. Нет, лучше обедать, а потом в дансинг. Меня недавно один знакомый угощал... недалеко от Люксембургского сада. Ты... ты, Капочка, представить себе не можешь, какой там поросенок.

Анатолий Иваныч совсем развеселился. Видимо, и Фрагонар, и Ларю, и поросенок люксембургский уже лежали в кармане.

— Или же можно устроить так. Пока там еще мы продадим греку картину, но вот около Елисейских полей я знаю один ресторанчик — это уж совсем дешево... замечательные мули и креветки. Да. Квартал дорогой, но это простенький ресторанчик, вроде бистро. Называется Tout va bien... а? Как хорошо называется! Tout va bien — все великолепно!

Анатолий Иваныч раскрыл свой большой рот с изящным, волнистым очертанием — и захохотал детским смехом.

— Мы туда непременно пойдем, Капочка. Хозяин бретонец, черненький такой, худощавый... и получает мули каждый день из Бретани. Он меня любит! Ты знаешь,— лицо Анатолия Ивановича вдруг стало серьезным, глаза остановились на Капе,— он мне всегда кредит оказывает. Мы можем прийти, позавтракать и ничего не заплатить!

Капа молчала. Точно бы повернулось в ней некое колесо, возвратило года на полтора назад. И ничего не было! Для него — ничего не произошло. Все такой же, будто вчера расстались. То, что происходило с ней, жила она или умирала, этого он не знал да и не интересовался. Все то же, что было в Константинополе, что было у Стаэле. Все так же ласков, мил. Так же ни до чего нет дела, кроме Фрагонаров и кораблей, ресторанов и фантастических греков, которые якобы могут его обогатить, и все те же глаза, те же руки...

— Что же ты не спросишь, как я жила? Все про рестораны...

— Да. Капочка, ты... ведь, действительно, мы давно не видались. Ты какая-то бледненькая...

Он взял ее руку, погладил и поцеловал. Потом опять погладил.

— Ты тогда так внезапно исчезла...— Он смотрел на нее расширенными глазами, точно, правда, был очень удивлен и поражен, что она от него ушла.

Капа закрыла лицо руками. Тело ее стало слегка вздрагивать. Она вынула платочек, приложила к глазам. Другой рукой сжала руку Анатолия Иваныча — жестом вековечным, женским жестом любви, прощения, отдания.

— Ты... нарочно снял комнату рядом с моей? Знаешь, что я живу через двор?

— Да, Капочка, да...

Анатолий Иваныч заранее не придумал, что сказать, и мгновение находился в нерешительности. Но только мгновение: с обычно нежным лукавством тотчас же все сообразил.

— Я слышал, Капочка, что ты где-то здесь поблизости. И у меня, знаешь, было такое чувство,— он широко раскрыл глаза, точно выражая ими нечто таинственное и сложное,— что какая-то сила именно сюда меня влечет, вот так и тянет...

Капа продолжала плакать. Она знала, что он лжет, но приятно было, что именно так лжет — ласково и благосклонно. В сущности, что она ему теперь? Бывшая подруга, отравлявшая жизнь ревностью, мучениями. И теперь едва влачащая существование. Нет, в эту минуту он бескорыстен.

Капа сунула платочек в сумку и рука ее наткнулась на хрустящие билеты. Чрез минуту, несколько овладев собою, села прямо и защелкнула сумку.

— Расскажи мне, как ты это время жил.

Анатолий Иваныч заморгал глазами.

— Вот так и перебивался, Капочка. То что-нибудь продавал... картины... раз мне бриллиантовое кольцо удалось перепродать... И раза два, знаешь, я продал маленький бриг собственного изделия, потом каравеллу... я точно такую сделал, на какой Колумб Америку открыл. Один португалец купил.

— Португалец... откуда же ты его достал?

— Так, я встречался...

Капа знала, что всегда у него были какие-то таинственные знакомые, и целая занавешенная часть жизнь, куда ни проникнуть нельзя, ни разузнать ничего. Он или отмалчивался, или переводил разговор. На этот раз она сразу решила, что португальца подсунула ему Олимпиада. «У этой коровы всегда какие-нибудь португальцы...»

Настроение стало меняться — точно после мартовского парижского солнышка налетела (тоже краткая, но неприятная) тучка-жибуле.

— Ну, а теперь как? Правда, что тебе очень трудно?

Анатолий Иваныч взял ее за руку и расширил глаза.

— Очень, Капочка. Так трудно, знаешь ли...

Он снял руку и одной ладонью, как ножом, провел по другой, точно срезая или счищая.

— Как никогда. Платить за комнату нечем, долг и даже вексель... главное, француз... Он, Капочка, все, что у меня есть, опишет.

— Что же можно описать у тебя, кроме штанов?

— Он опишет.

«Ничего не опишет, разумеется, но дела плохи, нет сомнения. И теперь дура Капитолина должна выплывать... тоже бриг парусный».

Она вздохнула, вынула из сумочки лиловые билеты. На лбу означились две вертикальные морщинки. Серые глаза тяжело блестели из глубоких гротов.

— Мне Людмила сказала, что была у тебя.

— Да, Людмилочка... Да, заходила...

— Заходила... Ты ее сам звал. Ну, одним словом, я все знаю. И достала денег. Вот, бери.

— Это... мне?

Глаза его с волнением остановились на билетах. К деньгам было у него восторженное отношение. Он их обожал. Они давали ему полет, развязывали фантазию. Он не мог хранить деньги — они утекали от него. Если шли к нему, то по вольной их воле, он не зазывал. Никогда в поте лица не зарабатывал денег Анатолий Иваныч. Но поддавался им. И сейчас голодный блеск глаз его ударил по Капе, сгустив тучку-жибуле.

— Да, тебе, без отдачи.

На мгновение взор его почувствовал тучку. Умоляющее выражение в нем мелькнуло. Но восторженность взяла верх. Побледнев, протянул руку. И холодок нервным содроганием прошел к сердцу.

— Ну, вот,— сказала Капа глухо,— теперь не опишут.

Он бессмысленно повторил:

— Теперь не опишут.

Капа встала.

— До свидания.

— Куда же ты, Капочка?

— Домой.

— Почему же так скоро...

— Нужно.

Капа медленно и тоже взволнованно надевала перчатки — ей нравилось, что вот как настоящая дама надевает она их (а внизу ждет автомобиль!), что уходит под занавес.

— Если захочешь меня видеть, вечером я чаще всего дома.

* * *

Поднимаясь к себе по лестнице, шагом быстрым и сосредоточенным, она услышала голоса, с площади генераловой квартиры. Увидела голые коленки мальчика, опершегося на перила, и край черной рясы.

— Генерала нет дома,— говорил Рафа.— Если вам что-нибудь нужно передать, я могу. Я его сосед.

— Сосед, сосед... да мне бы самого Михаила Михайлыча.

Голос был негромкий, певучий. Капа выставилась со своей площадки в пролет, подняла голову, чтобы лучше рассмотреть. Увидела невысокого монаха, худенького, с огромной седой бородой. Поглаживая ее одной рукой, другой он подобрал рясу, нерешительно делая первые шаги вниз.

— Огорчительно, что не застал. Так ты,— обратился он вдруг к Рафе, следовавшему за ним,— сосед генералов?

— Сосед,— ответил тот не без важности.— И друг.

Старичок рассмеялся.

— И друг! Ах ты мальчонок какой разумный. Да такой ловкий! И друг...— Он обернулся, положил руку на Рафину голову и слегка поерошил курчавые его волосы.

— Что называется, старый да малый.

Но Рафа чувствовал себя несколько неловко. Показалось, что ему не верят.

— Вам и Капитолина Александровна может подтвердить...— сказал он натянуто, увидав Капу.

Она отворила дверь к себе, но войти медлила. Монах обернулся, увидел ее, улыбнулся.

— Тоже русские будете?

— Да.

— Вот как приятно! Весь дом русский. Утешительно.

Капа взглянула на маленькие свои ручные часы.

— Половина седьмого. Михаил Михайлыч скоро вернется. К семи непременно.

— Ах, как обидно! Подумайте, ведь откуда приехал, с самого с Гар дю Нор!

— Зайдите ко мне,— сказала Капа,— подождите генерала, что же вам понапрасну...

— Ну какая милая барышня! Прелюбезная. А ежели я вас стесню?

— Чем же стесните? Вы стеснить меня не можете.

— Премного благодарен, так, та-ак-с! Ежели разрешите, воспользуюсь.

— Рафа, заходи и ты. А это действительно друг генерала, он вам правду сказал.

— Да я и не думал, что неправду. Это ведь по глазам видно, что друг. А теперь разрешите и мне, вступая в ваше помещение, столь мне добросердечно предложенное, представиться: иеромонах Мельхиседек.

Войдя в комнату, он быстрым, легким взором осмотрел ее,

по монашеской привычке и, увидев в углу образок, потемневший, в запыленном окладе — Ахтырской Божией Матери,— широко перекрестился. Лицо сразу стало серьезным, сухенькое, старенькое тело подобралось. Что-то серебряное, как показалось Капе, вошло в комнату.

А Мельхиседек сел, расправил полы рясы и опять широко улыбнулся.

— Во святом крещении имя Капитолина? Так, так... хорошо.

Он разложил теперь по груди белую, веерообразную бороду так, что она закрыла даже священнический крест. Небольшие пальцы привычно крутили пряди волос в бороде — пряди слегка волнистые, электрически сухие и удивительно легкие. Рафа внимательно его рассматривал. Потом подошел к Капиному стулу, оторвал клочок бумаги, что-то записал.

Посматривая иногда на Рафу небольшими, некогда голубыми, а теперь выцветшими глазами, вокруг которых собрались сложные сети морщинок (то расправлявшихся, то вновь набегавших, точно рябь на озере от ветерка), Мельхиседек беседовал с Капой. Разговор был простой. Замужняя ли она? Чем занимается? Сколько платит за квартиру? Узнал, что незамужняя, служит в русской кондитерской — там знаменитые пирожки и кулебяки. Когда дошло дело до семьи, спросил:

— Из купеческого звания?

— Нет,— Капа слегка улыбнулась,— из духовного.

— Вот как, вот как...— морщинки о. Мельхиседека приятно расправились.— Я думал, имя Капитолина нередко дается среди купечества. Из духовного звания, значит, тем ближе нам...

— Мой отец был инспектором духовного училища. Но по правде сказать, у меня не особенные остались воспоминания о духовных. Священники больше хозяйством занимались, отец был неверующий, да и многие семинаристы, кого я знала, тоже были неверующие. Сплетни, дрязги, жадность. Нет, извините меня, я не любительница нашего сословия.

Мельхиседек вздохнул.

— Да, бывало, всяческое, разумеется, бывало... Батюшка ваш неверующий, да, так... Ну, а вы сами, разрешите спросить: верующая?

— Д-да... но не совсем по-церковному.

Мельхиседек тихо и добродушно рассмеялся.

— Нередко так говорят, и даже на исповеди: «Верю, батюшка, но по-своему». Иной раз это значит, что и вовсе не верю. Так, так...

Капа чувствовала себя нервно. Впечатления этого дня мешались, двоились. Из-за старичка с белой бородой выглядывал

временами высокий сухощавый человек с безразлично ласковыми голубыми глазами. А старичок, неизвестно откуда взявшийся, сидел в креслице, будто полжизни здесь просидел, и говорил так, будто она ему не первая встречная, а внучка. Ни противиться, ни рассердиться на него никак нельзя было — он какой-то неуловимый и неуязвимый — станешь возражать, он начнет покручивать серебряные пряди в бороде да улыбаться... И Капа ничего ему не сказала насчет угловатостей своих.

Он же, помолчав, сам перешел на другое.

— Михаила Михайлыча я давно разыскиваю. Перебравшись сюда из Югославии, намереваюсь вновь восстановить знакомство. Я его еще с России знаю... Он к нам в Пустынь в бытность полковым командиром не раз приезжал. Имение находилось по соседству. А там, знаете ли, когда началась война, то, слышно, сначала бригадой командовал, потом дивизией... а затем даже целый корпус получил. Лицо, разумеется, значительное, и дальше пошел бы, но тут революция... Да-а, много натерпелся, сердечный... и телом едва спасся. А видный собою был.

— Он и теперь видный.

— И слава Богу. Да уж теперь-то таким, как ранее был, не будет. Оно, может, и к лучшему. Мне недавно епископ один говорил: «Я прежде — в России, то есть до революции — цельный дом занимал, одиннадцать комнат, в карете ездил, в шелковой рясе ходил и все это мне казалось естественным, обычным. Как же, мол, архиерей да не в карете... А теперь пешим порядком, или в метро в ихнем, во втором классе с рабочими... да что же, говорит, здесь настоящее мое место и есть, именно во втором классе с тружениками, а не с нарядными дамами, поклонницами архиереев. И по совести, я себя в теперешней моей каморке ближе к Богу чувствую, чем в прежнем архиерейском подворье». Так что жизнь, знаете ли, весьма людей меняет. Как бы уж там видный ни был из себя Михаил Михайлыч, все же таки не то, чем когда корпусом командовал.

При других обстоятельствах Капа тотчас же вступила бы в спор. Для чего это нужно унижать лучших наших людей? Жить так жить,— но тогда надо бороться, а не поддаваться судьбе — и многое в подобном роде. Но сейчас ничего не сказала. Мельхиседек же во время слов своих не раз взглядывал на Рафу. Тот слушал почтительно и вежливо, но мало понимал. Слова Мельхиседека казались ему приятной песнью на иностранном языке. И когда Рафа отвернулся к окну, Мельхиседек встал, очень быстро, проворно, не совсем даже по возрасту — и, протянув руку к столу, взял бумажку.

— Ну, что ты там изобразил?

Рафа сконфуженно бросился было к нему, но Мельхиседек уже прочел и засмеялся.

— Melchisèdeck, nom etrange,— произнес он вслух с тульским выговором.— Jamais entendu[1]. Спросить у генерала.

Мельхиседек продолжал улыбаться. Теперь и Капа не могла не усмехнуться. Ее положительно заражала хорошая погода на лице гостя.

Рафа как бы оправдывался.

— Я не понимаю этого имени, и никогда раньше его не слыхал...

— Имя редкое,— ответил гость.— Ты, милый человек, не удивляйся, что не слышал. Редкое имя и высокое... Трудно даже его носить. Таинственное. Царь Салимский, священник Бога Всевышнего. Вот как!

Мельхиседек опять сел, взял Рафу за руку и худенькой своей рукой принялся гладить его ладонь. Лицо его стало очень серьезным.

— Библии-то, небось, и не видал никогда? И святого Евангелия... Кому учить, кому учить,— проговорил как бы в раздумье.— Мы, старшие, виноваты.

Рафа стоял перед ним с чувством некоей вины и грусти, но не страха. Этот старичок с веерообразной бородой нисколько его не пугал. И захотелось показать себя с лучшей стороны.

— Я знаю, чем архиерей отличается от патриарха.

— От патриарха?

— У архиерея на голове черный клобук с таким шлейфом, а у патриарха белая шапочка, и с обеих сторон висят полотенца. На них крест и вышит.

— Вон он какой знаток! Прямо, братец ты мой, знаток!

— Это все генералова наука,— сказала Капа.— Его мать, Дора Львовна, просто удивляется, откуда у него все такое.

В это время над потолком раздались звуки, похожие на шаги. Рафа мгновенно вырвал руку у Мельхиседека — бросился к двери.

— Генерал вернулся, он таки уже вернулся! — крикнул с порога.— J'en suis sûr[2]. Сейчас сбегаю!

И выскочил на лестницу.

Мельхиседек поднялся.

— Душевно благодарю, Капитолина Александровна, что помогли. Странника неведомого пустили к себе.

— Ну, это пустяки...

---

[1] Мельхиседек, имя странное. Никогда не слышал *(фр.)*.

[2] Я в этом уверен *(фр.)*.

— Мир и благодать дому вашему.

Капа сложила руки лодочкой и подошла. Он осенил ее трижды небольшим крестным знамением.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Не доходя до двери, остановился.

— Полагаю, что теперь у меня будут с Михаилом Михайлычем некоторые сношения. Ежели бы я вам чем-нибудь понадобился... побеседовать или какие трудные вопросы, обстоятельства, вообще что-нибудь, то передайте лишь через него, я всегда могу прийти.

Капа поблагодарила. Он ушел. А она потушила свет в комнате, приблизилась к окну. Сначала в темноте виднелись лишь светлые щели жаненовских ставень. Потом и особнячок с каштанами своими выделился — глаз привык. Вышла из двери старушка Жанен, понесла коробку с объедками в угол сада, к мусорной куче. «У французов никогда нет настоящего крыльца или террасы... Почему у них нет балконов?»

...А внутри было сложно-взволнованное. Путалось, переплеталось. Хорошо, или нехорошо? Страшно, и радостно. Старичок со странным именем. «Если бы понадобился, могу прийти...» А тот разглаживает, наверное, свои галстуки, пересчитывает деньги. Тот-то придет?

КЕЛЬЯ

На этот раз генерал быстро выпроводил Рафу. Тому очень хотелось поговорить с Мельхиседеком, порасспросить его. Но пришлось подчиниться. Противоречить он никак не мог, да и довод был серьезный: «На лестнице встретил мать, она будет сердиться — вечно ты по гостям...» Мельхиседек на прощанье поцеловал его в лоб.

— Он действительно мой друг,— сказал генерал, когда Рафа вышел.— Как бы и внук. Впрочем, у меня настоящий внук есть. В России. Вы, отец Мельхиседек, может быть, помните, когда мы к вам в Пустынь приезжали с Ольгой Сергеевной, то с нами девочка была, такая маленькая, все мать за ручку держала. Да-да-да-а... Это и есть Машенька.

Генерал налил чаю Мельхиседеку и себе.

— Ольга Сергеевна в самом начале революции скончалась в Москве. Надорвалась. На салазках дрова таскала, через всю Москву. В очередях мерзла, мешочницей в Саратов ездила. Сыпняк захватила. Царство небесное, царство небесное. Я в то время под Новочеркасском дрался.

Генерал встал, подошел к комоду, где лежали гильзы, табак, машинка — принялся набивать папиросу.

— Стар становлюсь, слаб. Часто плачу, отец Мельхиседек. Вот и сейчас, увидел вас. Все прежнее... Но ничего, смелее, кричал лорд Гленарван. Колоннами и массами!

Он примял палочкой табак в машинке, вставил в гильзу, втолкнул содержимое — папироса отскочила. Обрезал ножницами вылезавшие хвосты, закурил.

— Ольга Сергеевна такая и была-с... да, прямая, трудная — она, может, и вовремя умерла, генеральшей жила, генеральшей скончалась. Все равно не могла согнуться. Ну, а Машенька стала не то что девочкой, а давно замужем, и у нее сын, Ваня, постарше вот этого малого. Тоже она бьется. Я даже не знаю по совести, как изворачивается. Пока муж был жив, так-сяк. Он там в какой-то главрыбе служил, но и муж помер. Да с другой-то стороны и хорошо, что помер...

— А как звали ее мужа? — спросил Мельхиседек.

И когда генерал сказал, вынул из кармана книжечку, надел очки и записал.

— Почему же хорошо, что зять ваш умер?

— Эту самую главрыбу через полгода по его смерти всю раскассировали, кого в Соловки, большинство к стенке — там у них это просто-с. Так по крайней мере он естественной смерти дождался, не насильственной от руки палача.

Мельхиседек уложил вновь очки в глубины рясы.

— Так-так... Ну, это разумеется.

— Машенька же теперь одно решение приняла.

Фигура генерала высилась над столом прямо, плечи слегка приподняты. Свет сверху освещал лысину. Лицо в тенях, с сухим и крепким носом, казалось еще худощавей.

— Об этом один только мальчик этот знает, да теперь вы. Машенька сюда едет, вот в чем дело.

Генералу трудно было удержаться. То садясь, то вставая, рассказал он про дочь все, что знал. И бутылку литровую, где позвякивало теперь десятка три желтеньких полтинников, тоже показал Мельхиседеку.

— Фонд благоденствия, о. Мельхиседек. Счастлив был бы, если бы там золотые лежали, но и простые полтиннички, трудовые французские грошики — и то сила!

— А еще бóльшая сила, Михаил Михайлыч, в желании, то есть стремлении обоюдном встретиться. Если Бог благословит — то великая сила-с... Душевно сочувствую, душевно. Машеньку-то я помню — ну, теперь, разумеется, и не узнал бы.

Они замолчали. Генерал в потертом пиджаке, мягких туфлях,

ходил взад и вперед по комнате, пощелкивая пальцами сложенных за спиной рук. Мельхиседек опрокинул чашку, сидел смирно. Генерал вдруг остановился.

— Очень рад, что вы пришли нынче ко мне, о. Мельхиседек. Неожиданно. Яко из-под земли восстаху. Клопс и отделка. А ведь вы один, пожалуй, во всем этом Париже помните Ольгу Сергеевну, Машеньку знаете, мое имение... Вы мне сказали — из Сербии приехали? Что же тут думаете делать?

— Что мне назначат, Михаил Михайлыч. Мало ли дела... всего за жизнь не переделаешь. Но если уж сказать, имеется для Парижа и особенное. Может быть, из-за него преимущественно я сюда и приехал в этот Вавилон-то ваш, как это говорится, всемирный Вавилон город Париж. И у вас я не совсем напрасно.

Мельхиседек распустил вдруг морщинки у глаз легким и несколько лукавым веером.

— Я ведь не такой уж простодушный монашек-старичок, я, знаете ли, и умыслы всякие имею, и на вас, Михаил Михайлыч, как на давнего сочувственника рассчитываю.

— Одну минуту, отец Мельхиседек. Подогрею.

Генерал взял чайник, вышел с ним в кухню и поставил на газ. Седые его брови пошевеливались, усы нависали над сухим подбородком. Вернулся он с неким решением.

— Независимо от того, что вы мне расскажете, предлагаю остаться у меня ночевать. И никаких возражений. Чем через весь город в свой отельчик тащиться, переночуете у меня. Да. И никаких возражений. Прекрасно. А теперь слушаю. К вашим услугам.

Отпивая свежий, очень горячий чай, Мельхиседек рассказал, в чем состояло «особенное» его дело. Уже несколько времени находился он в переписке с архимандритом Никифором, проживающим в Париже,— с этим Никифором встречался еще во время паломничества на Афон, и не со вчерашнего дня возникла у них мысль: основать под Парижем скит, небольшой монастырек. Никифор кое-что присмотрел — именно старинное аббатство. Оно в запущении. Надо его несколько восстановить, приспособить — и тогда отлично все устроится. А потом завести при нем школу, воспитывать и обучать детей. Кое-что удалось уже собрать и денег.

Генерал вдруг засмеялся.

— А меня в этот монастырь игуменом? Посох, лиловая мантия... исполай ти деспота?

Мельхиседек внимательно на него посмотрел, но не улыбнулся.

— Нет, я не за тем к вам обращаюсь, Михаил Михайлыч.

В игумены вам еще рано... У нас настоятелем, видимо, будет архимандрит Никифор. А вот ежели бы вы к этому серьезно отнеслись, то как мирянин нам могли бы посодействовать. Могли бы к содружеству наших сочувственников примкнуть. Поддерживали бы нас в обществе, может быть, что-нибудь и собрали бы среди русских — на подписном листе.

— Так, так, все понял. И с благословения архиепископа? Вы как — под здешним начальством, или под тамошним сербским?

— Принадлежу к юрисдикции архиепископа Игнатия.

— Ох, эти мне ваши архиерейские распри... Архи-гиереусы... Архи-ерей, архи-гиереус, значит первожрец...

— Первосвященник, а не первожрец,— тихо сказал Мельхиседек.

— Ну да, да, конечно, первосвященник... Извините меня, о. Мельхиседек — срывается иной раз. Да. Что же до содействия, то охотно, хотя прямо скажу: более по личному к вам отношению, о. Мельхиседек. Ибо в эмигрантской жизни монастырь... м-м! м-м! — генерал несколько раз хмыкнул.— Такая страда, все бьются. Не сказали бы: роскошь, не по сезону в сторонке сидеть да канончики тянуть. Для вас, во всяком случае, о. Мельхиседек, охотно.

— А вы не только для меня.

Поднялся разговор о монастырях. Мельхиседек неторопливо и спокойно объяснял, что скит задуман трудовой, все монахи должны работать и окупать свою жизнь. Они будут одновременно и обучать детей и их воспитывать. Тут особенно видел Мельхиседек новое в православии: в прежних наших монастырях этого не бывало.

— Очень хорошо,— сказал генерал.— Все это прекрасно. Что же говорить, я сам, вы ведь помните, к вам в Пустынь приезжал. И мне нравилось... гостиница ваша, чистые коридоры, половички, герань, грибные супы, мальвы в цветниках, длинные службы... А все-таки — только приехать, погостить, помолиться, да и домой. Нет, мне трудно было бы с этими астрами и геранями сидеть... А теперь и тем более. Я слишком жизненный человек. А вы мистики, Иисусова молитва! «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — и это произносите вы в келье на вечернем правиле десятки, сотни раз. Извините меня, это может Богу надоесть. Возьмем жизненный пример: положим, взялся я любимой женщине твердить — раз по пятисот в день: люблю тебя, люблю тебя, спаси меня... Да она просто возненавидит...

— То женщина, Михаил Михайлыч, а то Господь.

Генерал захохотал.

— Разу-меется, это армейская грубость. Еще раз прошу извинения. Я сам в Бога верую и в церковь к вашему архигиереусу хожу и религию высоко чту, но этот, знаете ли, монашеский мистицизм, погружение себя здесь же в иной мир — не по мне, не по мне-с, о. Мельхиседек, как вам угодно...

Мельхиседек поиграл прядями бороды.

— Я и не жду от вас, Михаил Михайлыч, чтобы вы жили созерцательной жизнью. Я вашу натуру знаю.

— Да, вот моя натура... Какая есть, такая и есть. Хотя я за бортом жизни, но боевой дух не угас. Если бы вы благословили меня на бранное поле, на освобождение родины, а-а, тут бы я... атакационными колоннами... Мы бы им показали — по-прежнему один против десяти, но показали бы. А вы бы на бой благословили, как некогда преподобный Сергий противу татар...

Мельхиседек улыбнулся.

— И мне до Сергия далековато, и вы, Михаил Михайлыч, маленько до Дмитрия Донского не достали... Да и времена не те. Другие времена. У Дмитрия-то рать была, Русь за ним... а у вас что, Михаил Михайлович, позвольте спросить? Карт д'идантите[1] в бумажнике, да эта комнатка-с, более на келью похожая, чем на княжеские хоромы.

Генерал опять захохотал — и довольно весело.

— Все мое достояние — карт д'идантите! А вы лукавый, правда, человек, о. Мельхиседек! Так, с виду тихий, а потихоньку что-нибудь и отмочите.

* * *

Мельхиседек не сразу согласился ночевать. Но генерал настаивал.

— Искреннее удовольствие доставите. Свою кровать уступаю, сам на тюфяке, на полу.

Но Мельхиседек поставил условием, что на полу ляжет он, и в прихожей. Так меньше для него стеснительно.

Занялись устройством на новом месте.

— Вот вы о ските говорили, о. Мельхиседек, а ведь знаете, тут у нас в этом доме, в своем роде тоже русский угол — скит не скит — а так чуть ли не общежитие, хотя у каждого отдельная квартирка, или комната.

— Знаю, я у соседки вашей даже был — у Капитолины

---

[1] Удостоверение личности (от *фр.* carte d'identité).

Александровны. Русское гнездо в самом, так сказать, сердце Парижа. Утешительно. Что же, согласно живете? — то есть я хочу сказать: здешние русские?

Генерал стелил простыню на матрасике в прихожей.

— Ничего, согласно. Да ведь большинство и на работе целый день.

— Трудящиеся, значит.

— Да, уж тут у нас маловато буржуев-с...

— Так, та-ак-с... Небезынтересно было бы, если бы вы сообщили имена их, также краткие характеристики.

— Имена! Характеристики! Для чего это вам, о. Мельхиседек?

— А такое у меня обыкновение: где мне дают приют, там я в вечернее правило вставляю всех членов семьи и молюсь за благоденствие и спасение их. Здесь у вас, собственно, не семья, но мне показалось, что есть некое объединение, потому и нахожу уместным ближе ознакомиться.

И он опять вынул свою книжечку.

— Извольте,— сказал генерал.— Поедем снизу. Ложа консьержки, гарсоньерка — мимо. С первого этажа начинается Россия. Капитолина Александровна — одинокая, служит. Возраст: двадцать шесть, двадцать семь. Своеобразная и сумрачная девица. На мой взгляд — даже с норовом.

— Знаком-с. У меня и отметка есть.

— Напротив нее — Дора Львовна, массажистка, с сыном Рафаилом, вам также известным.

— Дора... по-нашему Дарья? Иудейка?

— Да, происхождения еврейского. А замужем была за Лузиным.

— Несть еллин ни иудей. Все едино.

— Затем я. Против меня Валентина Григорьевна, портниха, с матерью старушкой. Немудрящая и, что называется, чистое сердце. Шьет отлично. Вдова.

— Очень хорошо-с. Дальше.

— Надо мною художник, патлатая голова. Выше там шофер Лев и рабочий на заводе, имени не знаю. Ранним-рано по лестнице спускаются. Тоже все русские. Но должен сказать, есть еще жилица, напротив художника, эта будет француженка. Именем Женевьева.

— А-а, имя хорошее. Святая, покровительница столицы.

— Та-то была святая, только не наша Женевьевка. Наша нам несколько дело портит. Тут уж до скита далеко, это, я вам скажу, такой получается скит... м-м... и не дай Бог.

— Чем же занимается она?

Генерал запнулся. Седые брови его сделали неопределенное движение.

— Что же тут говорить... Блудница. Так и записать можете, о. Мельхиседек. Без ошибки.

Мельхиседек покачал головой.

— Ай-ай-ай...

— До трех дома, а там на работу. По кафе, по бульварам шляется. Изо дня в день.

— Как неприятно, как неприятно! Же-не-вье-ва...— записывал Мельхиседек.— Сбившаяся с пути девушка. Ну, что ж что блудница. И за нее помолимся. За нее даже особо.

— Вы думаете, это Соня Мармеладова? Пьяненький отец, нищета, самопожертвование? Очень мало сходства. Мало. Она лучше всех нас зарабатывает. И ее гораздо больше уважают. В сберегательную кассу каждую субботу деньги тащит.

— Нет-с, я ничего не думаю. Разные бывают... А характера какого?

— Бог ее знает, встречаю на лестнице. Тихая какая-то, вялая. Ей, наверное, все равно...

— Закаменелая.

Мельхиседек дважды подчеркнул слово «Женевьева» и спрятал в карман книжечку.

— Что же до вас касается,— обратился к Михаилу Михайлычу,— то главным, что движет сейчас вашу жизнь, насколько я понимаю, является желание встретить дочь?

— Совершенно правильно. А еще-с: свержение татарского ига и восстановление родины.

Мельхиседек слегка улыбнулся.

— Задачи немалые.

На этом они расстались. Мельхиседек притворил дверь, снял рясу и похудевший, совсем легонький, с белой бородой-парусом стал на молитву. «Канончик» его был довольно сложный, занимал много времени.

Генерал же разложил пасьянс. Он раскладывал его тщательно, карту к карте. Самый вид стройных колонн доставлял ему удовольствие. Оно возрастало, когда пасьянс выходил. И еще росло, если выходил на заказанную тему. Нынче генерал загадал на Машеньку. Приедет, или нет? Карты долго колебались. Он задумчиво группировал, подбирал разные масти в колоннах — сложными маневрами довел, наконец, до того, что оставшимся картам вдруг нашлось место. Валеты, тройки, девятки покорно ложились куда надо. Генерал любил этот момент.

— Прорвались...— бормотал про себя.— Трах-тара-рах-тах-тах!

Ему казалось, что таинственный противник сломлен. И сложив орудия производства, перекрестив на ночь лоб, стал раздеваться. Из его маленькой передней, совершенно сейчас темной, худенький старичок долго еще посылал безмолвные радио.

ВВЕРХ И ВНИЗ

Когда кому-нибудь в доме не спалось, первые звуки, определявшие время, были шаги по лестнице — вниз. Это шел на завод рабочий, снимавший верхнюю комнатку. Несколько позже спускался шофер Лева, худоватый блондин с холодными глазами, изящный, в кепке и коричневом пальто. Позже Дора Львовна, в халате, выносила коробку с сором. Шла за молоком Валентина Григорьевна — начинался день русского дома.

Если бы стены лестницы могли записывать мысли, чувства проходивших, узор получился б пестрый. Главное, впрочем, были бы мелкие житейские вещи... но не они одни.

Валентина Григорьевна, оторвавшись от фасончиков, «сборов» и «складов», звонила к соседке. В полуоткрытую дверь, улыбаясь, шептала:

— Дора Львовна, дуся, не достану у вас маслица? Мама безусловно забыла купить, знаете ли, спускаться в эписри не хочется...

В другой раз сама Валентина Григорьевна «одалживала» Капе яйцо или дуршлаг. Меньше всех имела дела с соседями Женевьева. Эта просыпалась поздно, в постели пила кофе и читала романы. Завтракала, мылась, долго и тщательно расчесывала ресницы, работала пуховкой и румянами. Равно в три уходила, неторопливо спускаясь по лестнице. Ее изящное и равнодушное лицо было покойно — ничего не выражало. Женевьева знала, что лицо не имеет значения. «Меня кормят бедра»,— говорила подруге (впрочем, выражалась прямее...). И проходила, или не проходила Женевьева, следа не оставалось — как от тени.

С некоторых пор стал появляться на лестнице человек в изумительно глаженых брюках, дорогой серой шляпе. В первое посещение, вечером, принес Анатолий Иваныч Капе чудесный букет роз.

Она даже смутилась. Кто, когда делал ей такие подарки?

— Капочка, ты не можешь себе представить, как меня выручила. Я тебе страшно, страшно благодарен. Просто я не знаю, что бы без тебя делал.

Капа, слегка закрасневшись, поставила розы в стеклянный, голубоватый кувшин.

— Что же, ты заплатил по векселю?

— Разумеется... теперь все улажено, Капочка — и лишь благодаря тебе...

Он встал, подошел к зеркалу, принялся поправлять галстух — сравнивать концы бабочки. Зеленоватые, чуть ли не детской ясности глаза глядели на него из зеркала. Он на минуту и сам поверил. Ну, если уж не совсем так... все-таки вексель переписан и отсрочен. До весны свобода — в этом-то он прав. А там продадут картину, можно и на скачках выиграть, мало ли что...

Капа отлично знала эти глаза. Но теперь находилась в размягченном состоянии. Из ее же денег и розы...— «Все-таки, он очень ласков и внимателен.»

Анатолий Иваныч и действительно был ласков. Посидел немного и ушел, оставив ее в сладком отравлении. Яд этот ей знаком давно — чтó сделаешь против него? Жизнь как она есть — день в кондитерской, одинокий вечер дома, синема раз в две недели?

Но теперь нередко спускалась она по лестнице с сердцем полным, бежала за угол, в калиточку дома Жанен. И случалось, подолгу засиживалась у Анатолия Иваныча — настолько долго, что мадам Жанен несколько и смущалась. Впрочем, русским закон не писан. Да и сам жилец так любезен, воспитан — ну пускай там у него une petite amie — дело житейское.

Бывал и он у Капы. Не все с цветами, но всегда ласковый. Иногда водил ее обедать в ресторан, ел устрицы, запивая вином, впадал в фантазии и разговоры. Капа и сама любила это. Из сумрачной своей, пещерной жизни, надев единственное выходное платье, попадала в светящуюся суматоху пестрого ресторана у Елисейских полей. И будто сама менялась. Подъезжали небольшие машины, иностранки с молодыми людьми, блиставшими приглаженными проборами — не то это Америка, не то Испания. Анатолий Иваныч тоже не весьма походил на русского. Минутами ей казалось, в смехе окружающих, блеск стекла, запах духов, что этот сидящий пред ней человек действительно вдруг увезет ее на острова Таити. Иногда же, глядя на его перебегающие, зеленоватые глаза, тонкую руку, держащую над столом граненый стакан с вином — что вот он сейчас встанет, уйдет и не вернется — даже по счету не заплатит.

— Ты знаешь, Капочка,— говорил он через стол, низко нагибая голову, быстрым, несколько сумасшедшим шепотом,— у меня тут есть одно такое дело, такое... Знаешь! Оно выйдет, я уверен.

Он таинственно-утвердительно кивал головой.

— Я уже маршрут составил. До Марселя на автомобиле,

сам довезу. Там на пароходе... с заходом в Неаполь. Афины — жара, красные маки на Акрополе. Капочка — потом острова Архипелага! Там такие закаты, павлиний хвост, и замечательное греческое вино. Я хочу именно с тобой... да, ты понимаешь, любовь и красота. Я ведь не могу, я всегда теперь только о тебе думаю... вот так, знаешь, постоянно. Встану — ты со мной. Помолюсь — ты тоже.

— Ты молишься?

— Непременно. Я верующий...

Капа смотрела на него пристально. Потом отводила глаза. Они были полны — одновременно — смеха и слез.

Когда он в такси подвозил ее к дому, когда подымалась она по лестнице, не могла понять, что это все значит: хорошо, или плохо. «Ну, все равно. Зато необыкновенное».

Раздевшись, долго не засыпала. «Я теперь уж не та... Не та дура, как тогда, в доме Стаэле». Сейчас она взрослый и опытный, столько переживший человек. Но и вот — стоит подойти, позвать, приласкать, и... вновь! Начинается. «Да, да, вновь, пусть так, хочу! Люблю, и мое дело!» — Она горячилась, и точно бы с кем-то спорила. Мрак же комнаты этой, да и весь Париж — вся людская его пустыня совершенно были безразличны к тому, сошлась ли вновь какая-то Капа с каким-то Анатолием Иванычем или нет.

— Ничего, ничего, пожалуйста, — ответила бы ночная бездна.— Занимайтесь любовью, мне все равно.

Так же все было безразлично и тогда, когда в жарких мечтаньях своих дошла Капа до воспоминаний — вот венгерка, которую он встретил в таком же кабаке, из-за нее все и вышло...

Тут она вдруг вскочила, села на постели, впотьмах схватила металлическую пудреницу, запустила в потолок. В венгерку, все-таки, не попала.

* * *

Генерал мог бы удивиться странному ночному звуку — удару небольшого предмета и падению его — но не обратил внимания, хоть и не спал. Именно тоже не спал, в той же зимней ночи, лежа на своей постели прямо над Капиной головой (как и над его головой спал художник).

Генерал тоже думал, но совсем о другом. Вчера вечером медленно подымался он к себе по лестнице — не без задумчивости. На первой же площадке остановился: передохнуть. Войдя в переднюю, захлопнул дверь и, как был, не снимая ветхого пальтишки (зимнее в чистке), сел.

— Так-та-ак-к-с! Так. Так.

Посидев, пальто снял, снял и ботинки, надел туфли. Заложив руки за спину, привычно щелкая пальцами, принялся ходить взад вперед по диагонали.

— Мерзость, больше ничего,— говорил, доходя до конца ее, и поворачивался.

Газетка, для которой собирал объявления, с нынешнего дня закрылась. Что в этом удивительного? Скорее удивительно, что так долго вертелась... Генерал и не удивлялся. Отступление в порядке, с охраною коммуникаций. На заранее подготовленные позиции.

— Мерзость, больше ничего!

В углу стояла литровая бутылка. Взять ее за горлышко, поболтать. Полтинники жиденько зазвенели. Вот он, мощный валютный фонд, на который Машенька должна приехать! Подумав, генерал так определил положение:

— Временный отступательный маневр с переходом в общее наступление, как только позволит обстановка.

И спокойным движением вновь поставил бутылку. Прошел в кухню. Там взял другую, с вином, налил полстакана и выпил.

— Бог дал день, Бог даст и пищу.

Сварил макароны, поджарил свиной грудинки, сел обедать. Ел много и довольно бодро. Запивал красным вином. По временам вслух говорил — Бог дал день, Бог даст и пищу.

Или:

— Трах-тарарах-тах-тах! Колоннами и массами!

Перед сном записал в дневнике: «День важный. Может быть, нечто и обозначающий. Лишился заработка. Но не унываю. Потерял родину, жену, не вижу дочери — это почище. Разумеется, жизнь трудна. «La vie est dure»[1],— сказала вчера торговка. Буду вышивать, раскрашивать сумочки, разносить конверты. Мало ли что. Полковник Серебровский служит ночным сторожем, охраняет ювелиров на Вандомской площади».

Все-таки заснуть в эту ночь было трудно. За всеми словами и разумными рассуждениями стояло неразумное — самое сильное. Находилось оно будто вдали, а одновременно и вглуби. Невидимо, неслышимо. Тень же бросало. И эта тень — как некий яд отравляла воздух, которым мирно дышал он в другие ночи. В нынешнюю ворочался, вставал, пил холодную воду с черным хлебом (собственное его средство от бессонницы), все же слышал и Капину пудреницу, и бой часов в недалеком жандармском управлении, и спуск Лёвы по лестнице.

---

[1] Жизнь тяжела (*фр*).

Утром зашел Рафа спросить, пойдут ли гулять. День хороший, яркий, в изморози. Розовеющее небо в садик Жанена.

— Да,— сказал генерал.— Пойдем. В три часа.

— Уже так рано?

— «Уже» можешь и не прибавлять. Да, в три. Я сегодня не выхожу на занятия.

Рафа, спокойный и вежливый, неотступно глядел на него черными своими глазами.

— Почему?

— Потерял работу.

— Разве вы нехорошо собирали анонсы?

— Нет, хорошо. Газета закрылась.

Рафа опять помолчал. Но что-то свое думал, за агатовыми глазами.

— Это плохо. Значит, вы chômeur?

— Да.

— Чем же будете платить за квартиру?

— Постараюсь найти работу.

Рафа ушел задумчивый. В два часа вновь явился. В руке у него была узенькая коробка с шоколадными дисками, завернутыми в серебряную бумагу.

— Это мне вчера тетя Фанни привезла. Дарю вам от всей души. Я такого шоколада терпеть не люблю.

Генерал захохотал.

— Ловкий ты, братец мой... А если бы самому нравился, так и не подарил бы?

— Вам бы подарил.

— Но уж не от всей души?

Рафа улыбнулась, стала подавать ему пальто. И через минуту вновь спускались они по улиткообразной лестнице своего пассийского дома.

Эти прогулки всегда одинаковы. Шли по rue de la Pompe, мимо Испанской церкви и русской съестной лавки — за витриною балыки, икра. Быстрые автобусы лавировали между камионами и такси. Рафа жался к генералу, когда совсем рядом проносилась, с теплым запахом масла и бензина, такая смерть. Они встречали элегантных, чуть подсушенных пассийских дам, с собачками или без них и со всегдашнею, всегда одной и неизменною волной духов (нечто прохладное, не романтическое). Попадались худенькие молодые люди с книжками, в роговых очках, с чудно заглаженными назад волосами — вечные типы французского юноши, которому весной сдавать башо.

— Меня мама на будущий год отдаст в Жансон,— говорил Рафа.— Я одену берет...

— Не одену, а надену.

— Хорошо, надену. Но какая разница?

Генерал объяснил.

Подошли к Мюэтт. В кафе за столиками любители тянули аперитивы — несмотря на ранний час. Двухместные машины скользили в Булонский лес. В них за рулем сидели старшие братья, или дяди юношей из лицея Жансон — те же гладкие волосы и роговые очки, но на сорокалетних. Дамы, тех же духов, всегда много моложе.

В парке Мюэтт уже много нянек с детьми в колясочках, мамаш с младенцами, играющих ребят постарше. Тут обычно садился генерал на скамеечку, смотрел на зеленую лужайку со статуей, на игры, на голоногих мальчуганов с мячами, на аккуратных французских старичков с почетным легионом, догуливающих последние свои деньки под холодеющим парижским солнцем.

— Котик,— говорит дама сыну,— что ты все по-французски. Скажи просто по-русски: «папа́ прибудет в полшестого».

Генерал к этому привык. Да и всех мамаш не переучишь. Одесса, Киев останутся. Он сидел на скамейке, опираясь на палку, глядел на вечный водоворот этой жизни — молодой и старой, французской и русской. Найдет ли он работу или нет, умрет ли в своей квартирке на руках Машеньки, или полуголодным стариком в госпитале Кошен — все будет так же пестро, весело и грустно на этой лужайке. Такие же дети, дамы, старики с красными бутоньерками, автомобили преуспевающих. И все так же будут спускаться и подыматься жильцы по лестнице дома в Пасси. «Ничего, ничего, все как полагается. Не удивляюсь. Законы мироздания. И не удивлюсь, когда Рафаил вырастет, примет французское подданство, будет служить в колониях, окончательно забудет русский язык.»

Будущий колониальный деятель как раз подбежал к нему. Он раскраснелся, слегка вспотел, черная прядь волос локоном выбилась из-под шапочки.

— Там такой паршивый мальчишка один... все неправильно играет.

— Рафаил,— сказал генерал,— ты когда большой вырастешь, будешь меня помнить, или нет?

— Да... Да я и довольно скоро вырасту. Вы знаете, в понедельник мое рождение! Ах, да, забыл! Мама просила вас непременно к нам. Будут гости. Я ожидаю довольно много подарков.

* * *

О том, что генерал потерял работу, в доме узнали быстро. Все — за исключением Женевьевы. Та жила в другом мире, ни с кем, ни с чем не сливавшемся. Женевьева знала, что всюду дела теперь идут хуже — в том числе и ее собственные. Некоторые товарки уехали в деревню, менять промысел. Вообще же ей ничто не интересно. И в самом доме пассийским существует лишь лестница, по которой аккуратно спускается и подымается она ежедневно.

Лёву тоже не очень занимал генерал. Он вел свою серую и тяжелую жизнь за рулем. Но с дружелюбием взглянул на Валентину Григорьевну, на лестнице сообщившую ему новость. «Со взбитыми сливками»,— определил про себя блондинку, сочувственно и почти завистливо. «Эх, проклятая жизнь!»

Шалдеев сам сидел без работы: кончилось даже рисование порнографических открыток для таинственного издательства.

Капа задумалась.

— Дуся,— говорила ей Валентина Григорьевна.— Михаилу Михайлычу ведь будет трудно. Ах, знаете, со всех сторон такое слышишь... Та дамочка кутюр закрыла, эта ищет где бы фамм де менаж заменять. А ведь он, в общем, старенький... знаете, куда ж ему...

— Трудно, конечно. Спрошу на службе, может, что по счетоводству.

Наиболее серьезно отнеслась Дора Львовна.

— Нет, надо искать. Так он пропадет. Надо искать.

Ее честная голова заработала.

ПРАЗДНИК

Из всех квартир пассийских Дорина содержалась наилучше, и сама Дора Львовна считалась жилицею солидной. То, что снимает она меблированное помещение, объяснялось (среди лавочников и консьержек) надеждой на скорое возвращение в Россию. «Oh, c'est une femme de bien,— говорили в околотке.— Elle sait vivre»[1]. В комнатах у нее порядок и чистота («как у французов»), ковры хорошо выбиваются и on fait très bien l'aeration de draps[2]. Фамм де менаж[3] каждый день, по четыре часа. Madame хорошо зарабатывает, за квартиру платит минута

[1] О, это добродетельная женщина... Она умеет жить (*фр.*).
[2] хорошо освежаются простыни (*фр.*).
[3] приходящая прислуга, экономка (*фр.*).

в минуту, и у ней текущий счет в Лионском кредите. «Oh, elle est brave, celle dame-çi»[1].

Это мнение было довольно справедливо — от шума революционной молодости, богемского бытия прежних лет мало что уцелело у Доры Львовны. Теперь она любила порядок, культуру, буржуазность.

И Рафино рождение решила отпраздновать попараднее (кстати, и ответить некоторым клиенткам, «поддержать отношения»).

Несмотря на всегдашнюю чистоту, пол лишний раз натерли. У Валентины Григорьевны пришлось подзанять чашек, стульев, у Капы табуретку — получалось пестровато, но ничего не поделаешь, «на чем-нибудь сидеть надо». Мадам Мари, высокая, веселая прачка с красным лицом, всегда в подпитии, принесла огромную ослепительную скатерть, парадную, для раздвигаемого стола. Узнав, что Рафа рожденник, хриповатым баритоном поздравила его.

Завтракали в кухне. К двум часам столовая приняла боевой вид, готовая для отражения атак: два букета на камине, белокрахмальная скатерть до полу (под ней ножки стола связаны накрест: чтобы не расползался). Торты, варенья, конфеты. На небольшом столике у окна ровный строй чашек.

Недоставало только вина. Дора сама не пила, но для такого случая вино необходимо. Захватив клеенчатый черный сак, отправилась в виноторговлю. «Чего-нибудь сладкого возьму»,— думала, входя в просторное и светлое помещение с зеркальными стеклами, со сложным набором винных бутылок по полкам — точно это выпивательная библиотека.

Заведующий разговаривал с посетителем. Дора подходит. Анатолий Иваныч обернулся, кланяется. На нем просторное пальто. С худощавого, тщательно-выбритого лица глядят ласково-зеленые глаза. Галстух бабочкой, складка брюк безупречна.

— Пожалуйста. Я... я успею!

Дора Львовна мало его знала — изредка встречала на лестнице.

— Vous desirez, madame?[2]

— Deux bouteilles de Grave...[3] — Дора запнулась. Дальше «грава» женская фантазия ее не шла.

— Если вы хотите белого бордо, то у них тут есть отличное... и на ту же цену.

Анатолий Иваныч оживился, глаза его блеснули.

---

[1] О, она честна, эта дама (*фр*)

[2] Чего желаете, мадам? (*фр*)

[3] Две бутылки белого... (*фр*)

— «Château Loupiac»[1].

Дора усмехнулась.

— Извольте. Я ничего в этом не понимаю.

Анатолий Иваныч как будто немного смутился.

— Я ведь тоже... я не то чтобы какой-нибудь знаток. Но, все-таки, беру здесь вино нередко.

— Тогда помогите мне выбрать.

Дора Львовна считала все, связанное с вином, несерьезным — вроде картежной игры. Но раз нынче праздник и пьющие существуют, мудрить нечего.

Красавец-заведующий дважды спускался в погреб. Дора дала стофранковку и получила немного сдачи.

— Вы будете довольны,— говорил Анатолий Иваныч, придерживая клеенчатый сак, пока заведующий укладывал в него бутылки.

— Лупиачек не выдаст. И анжу тут хорошее. А вот эту бутылочку, Brâne Cantenac... зря не пускайте в ход. Да? — Он засмеялся.— Придерживайте ее! И только понимающему.

Сак оказался переполнен.

— Позвольте, я помогу... донесу.

Он довел Дору до дому, поднялся по лестнице.

— Большое спасибо, вы так добры. Сегодня день рождения сына, заходите... Кстати, и попробуете сами... Как это вы назвали? Бран, бран...

Дора совсем весело рассмеялась. Сложные названия вин, дегустаторы, о которых успел рассказать Анатолий Иваныч... совсем несерьезно. «Но во всяком случае он очень любезен. И вообще приличен».

* * *

Атаки развивались нормально. Первые гости обнаружены были часа в три. («Манера рано приходить! Только что успела убраться».) Но, отворяя на звонок, Дора уже приветливо улыбалась. Да и правда, теперь беспокоиться нечего: все на своих местах, машина заработала. Ранний же гость настроен скромно, сам немножко смущен — не слишком ли ретиво разбежался? — и спешит отыгрываться на подарках.

— Тут вот тебе, Рафочка, маленькая забава...

Рафа подарки принимал любезно, но и сдержанно: не виноват, мол, что нынче рождение. К сластям относился и вовсе равнодушно.

---

[1] «Замок Лупиак» *(фр.)* — сорт вина.

Змей, заводной поезд, альбом для марок занимали больше.

— Рафа, ты даже не поблагодарил Розу Марковну...

— Ах, что вы, Дорочка, такие пустяки!

В кухне — мадам Бельяр, худая, черноволосая католическая менажка (к каждому слову прибавляет: «Жезю, Мари!»[1]). Дора не ослабляет внимания: тому торта, этому пирога, подлить чаю. Главное, чтобы хватало посуды. Рафа в чистенькой курточке, с безукоризненным отложным воротничком — не так особенно охотно, все же повинуется: носит отработанные чашки, блюдца из-под варенья в кухню. А мать пускает уже в ход баньюльс, разливая по рюмкам: у дам он успех имеет.

В пятом часу народу понабралось. Стульев еще хватало. Основные же позиции заняты. Становилось ясно, что дальнейших гостей придется или сажать на сомье, или сплавлять к Рафе. Но его комната — вроде игрушечной лавки.

Разговоры разнообразны. Веселая и нарядная барышня говорит соседу:

— Моя специальность редкая: мою, стригу собак.

— Никогда не сказал бы...

— Занятие не из блестящих, но надо тоже уметь. Брала уроки, на таких собачьих курсах. Клиентки у меня больше иностранки.

Лева наливает вторую рюмку баньюльсу Валентине Григорьевне, слегка раскрасневшейся.

— Вы, Лев Николаевич, и представить себе не можете, какие эти дамочки капризные. Я никогда не буду говорить о женщине, пока не увижу, как она примеряет платье.

— ...Когда мы пуделей моем, то опустишь его в воду, только нос и лоб чтобы наружи остались. И все насекомые, которые на нем — сюда на сухенькое и собираются... ха-ха-ха... тут с ними разговор короткий.

— Да, видно, что вы своим делом как следует заняты.

— Я сегодня в хорошем настроении. Видела во сне, что купаюсь в море.

— ?

— Уж так знаю. Если сон, что в море купаюсь, значит, не сегодня завтра будет хорошая собака для мытья.

— ...Сложена, знаете, такими колбасами, прямо опара. Анш у нее сто два, это еще ничего, но, извиняюсь, груди... и шея... в общем, требует, чтобы к шее все воротничок прилаживать, и им були прикрывать на этих местах (показывает на плечи). Не женщина, а пробка.

---

[1] Иисус Христос, Мария *(фр)*.

Лева катает шарик.

— Да, разумеется, у каждой профессии свои энконвениан. У нас тоже, смотря какого клиента шаржнешь.

— Дора, Дора! — кричала из Рафиной комнаты тетя Фанни, только что подарившая племяннику маленькую рулетку.— Поди сюда, объясни мне, сделай милость, что это за портреты у него понавешены?

Тетя Фанни, полная нервная брюнетка на коротких ножках, говорила вообще без умолку. Торопилась, волновалась, сама себя перебивала и вечно была в возбуждении.

— Ну, он у тебя очаровательный. Но скажи, пожалуйста, ты его в монахи готовишь?

Дора Львовна находила, что Фанни слишком истерична. По лицу ее прошла тень.

— В какие монахи? Что ты такое говоришь?

— Ну, посмотри, что у него над кроваткой развешано... тут всякие игумены и митрополиты.

Рафа, действительно, вырезал из газет и вообще откуда попадется изображения духовных лиц и пришпиливал у себя над постелью. Кроме патриарха Тихона тут висели митрополиты Владимир Петербургский, Евлогий, даже Сербский Патриарх... Дора Львовна не особенно это одобряла, но мер не принимала: стояла за свободу в воспитании.

— Ему так нравится,— сказала с холодком.

— Нет, да ты посмотри, сколько их тут!

— Ему дает уроки один бывший генерал, наш сосед. Это, конечно, его влияние. Вот и теперь он познакомился там с одним монахом. Я забыла имя. Такое известное, но странное.

Рафа имела несколько недовольный вид. Он не любил, чтобы мешались в его дела.

— Его зовут Мельхиседек.

Фанни хлопнула себя по толстым ляжкам.

— Мельхиседек! Да это прямо откуда-то из Святого писания!

Рафа мрачно посмотрел на нее.

— Мельхиседек был царь Салимский, или иначе Иерусалимский...

— Ну, так я же и говорила, что ты его в семинарию готовишь.

В это время на пороге показался Анатолий Иваныч. Он улыбался всем длинным, изящным своим ртом. Глаза блестели и отсвечивали. В руках держал он мачтовый корабль, очень тщательно сделанный. Увидев Рафу, протянул ему его.

— На память. Моего собственного изделия. Из бортов глядят пушки. Английский фрегат восемнадцатого столетия.

* * *

Первая партия гостей схлынула. Появилось даже несколько свободных мест. И наступал час, когда хозяйка не без ужаса думает: «Ну вот, кто теперь подойдет, наверно останется ужинать».

В это именно время к подъезду подкатила коричневая машина с серо-серебристыми дисками колес. Из нее легко выпрыгнула Людмила. Не так легко Олимпиада Николаевна и совсем трудно, переваливаясь ожиревшим телом, Стаэле.

— У Доры подъемника нет, мы с вами попыхтим,— сказала Олимпиада Николаевна.— Да может быть, это и полезно. Вы знаете, нас Дора массирует, а в сущности, если б поменьше денег — это у вас, у вас! — мне всегда не хватает, да побольше пешком бы ходить, так мы и Доре доходов бы не доставляли.

— Если... пешком х-ходить, я бы просто... погибла бы...

Говорила «мы» Олимпиада из любезности. Ее никак нельзя сравнить со Стаэле. Высокая и белотелая, несколько полная, она стройна и могущественна. Надеть корону, дать в руку меч, облокотить на щит — была б «Россия» дореволюционной иллюстрации. Правда, несколько ленивая. Правда, слишком любила сласти. И некую часть жизни проводила в борьбе между опасением располнеть окончательно и искушениями еды. В этой борьбе и помогала ей Дора.

Появление граций, сразу заполнивших собою (и подарками) прихожую, Дору не испугало. Напротив. Очень мило с их стороны, что несмотря на разницу средств и общественных положений, все же заехали. Прямо мило.

Стаэле краснела и кивала приветливо — направо, налево. Ей дали стул из квартиры Валентины Григорьевны, особенно прочный, и засадили за торт. Она покорно ела. Все это — русское, значит, необыкновенное. Рядом с ней оказался генерал («бывший командующий армией»,— шепнула Дора) — тоже необыкновенное. Олимпиада Николаевна задержалась в дверях с Анатолием Иванычем. Людмила подсела к Капе, мрачно допивавшей чай.

Дора же Львовна, сквозь шум гостей, стрекот Фанни, подхохатыванье Валентины, засевшей с Левой в Рафину комнату, не теряла мыслью генерала. Вот он сидит, со своими белыми усами, в бедно-приличном костюме... А есть-то ему, собственно, нечего. Что-то надо для него сделать.

— Давно не видать вас,— говорила Олимпиада Николаевна Анатолию Иванычу.— Верно, разбогатели. Ни картин не несете, ни жемчугов.

— Как-то все не приходится, я собираюсь...

— А ведь дело может выйти.

Глаза Анатолия Иваныча приняли нервно-вопросительное выражение. Но как раз тут попался он взору Стаэле.

— Мсье Анатоль! Мсье Анатоль!

Стаэле благодушно сияла. Двинувшись к ней, перехватывая сумрачный взгляд Капы, вдруг ощутил он беспокойство. Но — лишь минутное. Не впервые находился в смутном положении.

— Вы уже, уже з-здесь? — спросила Стаэле, когда он подошел.

— Д-да.

— Он недавно с юга вернулся,— громко сказала через стол Капа.

Анатолий Иваныч обернулся, посмотрел на нее внимательно. Капа нагнулась к Людмиле.

— Я ей тогда наврала, что он болен, что ему надо поправляться в санатории под Ниццей... Он даже не собрался к ней зайти поблагодарить за деньги.

Людмила усмехнулась.

— Ну, теперь наговорит сколько угодно.

Она не так далека была от истины. Анатолий Иваныч быстро ориентировался. Явно, он больной, нервное переутомление, жил под Ниццей, у одного доктора... он и врача назвал, не запнувшись. Оглядев участок стола вблизи, заметил бутылку лупиака. Легким жестом налил стаканчик для Стаэле. Себе — рюмку коньяку — и совсем укрепился.

— Санатория эта над городом, знаете, в Cimiez... (о такой санатории он слыхал раньше — сейчас ему стало почти казаться, что и он там был). У меня окно прямо выходило на Корсику. Я вам бесконечно благодарен, madame, вы меня так выручили...

Он вдруг взял, тем же привычным жестом, как бутылку, ее руку и поцеловал. Стаэле не ожидала — слегка смутилась. Он не выпускал руки, все улыбался.

— Когда был у вас шофером, никогда в Ниццу мы не ездили. Прекрасный город. В нем такая широта, разверстость... Недели через две как поселился в санатории, я уж спускался вниз, в старый город. Очаровательна смесь Италии, Прованса, Франции... и древней Греции, а может быть, и Финикии.

— Фи-Финикии...— Стаэле с удивлением подняла на него глаза.

— Все побережье было некогда греческой и финикийской колонией.

Людмила вынула дорогую ппиросу, закурила.

— Далеко заедет. Ну, а ты, скажи, пожалуйста...— она придвинулась к Капе,— как с ним? Все прежнее?

Капа опустила глаза.

— Ты же его видишь, знаешь...

— Я нахожу в особенности отголосок древности в типе ниццской женщины. Уверен, что это греко-финикийское. А какая прелесть платаны, зеленая темнота улиц, маленькие ресторанчики. Если бы мы заехали в Ниццу, я повел бы вас в такую удивительную rôtisserie...[1] в закоулках старого города.

Стаэле обратилась к генералу.

— Р-русские всегда любят по-этическую сторону ж-жизни. Не правда ли? И еще: где бы они ни путешествовали, всегда по-омнят, где какое вино.

Генерал пришел к Доре не в особенно веселом настроении. Скорее даже был мрачен. (Рафе подарил старинную гравюру — вид Кремля. Тот сейчас же прикрепил ее над постелью, рядом с митрополитами.) Но потом шум, оживление, вино несколько его развлекли. И теперь он даже с известным доброжелательством разглядывал свою многотелесную соседку.

— Совершенно правильно насчет вина. Что же касается поэтической стороны, то, конечно, многие русские к этому склонны — если позволяют обстоятельства. А ежели в кармане один свист, то, извините, тут и не очень до поэзии. Больше думаешь, как бы с голоду не подохнуть.

Стаэле изобразила на раскрасневшемся лице сочувствие тому, как неприятно подыхать с голоду.

Нагнувшись к Олимпиаде, Дора шепнула:

— Видите старика рядом со Стаэле? Это генерал один, над нами живет, приятель Рафы и кое-чему его учит.

Олимпиада взяла лорнет, и волоокими, несколько выпуклыми глазами стала рассматривать генерала — спокойно, почти бесцеремонно.

Дора же Львовна толково, как все вообще делала, объяснила ей, что генерал безработный и его надо куда-нибудь приткнуть. При ее знакомствах, связях...

— Человек он прошлого времени, но почтенный. Рафаил мой его обожает.

Олимпиада опустила лорнет.

— Представьте его мне. А там посмотрим.

* * *

Лева провел время около Валентины Григорьевны неплохо. Они переговорили о разных интересных вещах, главное же было интересно то, что у Левы красивые серые глаза, несмотря на

[1] харчевня, закусочная *(фр.)*.

грубоватую профессию он сохранил оттенок изящества и «чистенько одет». Валентина Григорьевна полновата, приятна. В бодрой, веселой ее натуре заложены уже некие ответы... Лева, несколько бледный, с напряженными глазами, проводил ее до площадки, поцеловал руку.

— В общем, будем видаться? — сказала Валентина Григорьевна. Он слегка задохнулся.

— С великим удовольствием.

«Настоящий мужчина»,— не без некоторой внутренней дрожи подумала Валентина, входя к себе.

Внизу же, у Доры, все протекало нормально. Мадам Бельяр мыла чашки исправно, тортов хватило, их хвалили. Вина тоже достаточно. В восьмом часу главные силы противника отступили. Неожиданных атак не оказалось.

Людмила не поехала с Олимпиадой Николаевной — зашла к Капе.

Без четверти восемь столовая представляла такой вид: неубранные чашки, кое-где пепел на могучей скатерти, объедки сладкого на блюдечках, несколько недопитых бутылок, усталый синеватый от папирос воздух и разнокалиберные стулья в беспорядке. Среди всего этого прочно засел у вина Анатолий Иваныч.

— Вы довольны? — спросил он Дору.— Сегодняшним днем?

Дора собирала блюдца. (Рафа, у себя в комнате, приводил в порядок сокровища.)

— Кажется, было оживленно.

Она остановилась, подняла руку, пальцами другой руки стала застегивать на рукаве пуговку. Лицо ее разрумянилось. Черная прядь выбилась на виске, темные, как у Рафы, глаза внимательно следили за движениями пальцев. Грудь сильно выдавалась вперед. И как всегда, здоровьем, свежестью, безукоризненной чистотой от нее веяло.

Анатолий Иваныч пристально смотрел на нее.

— Выпейте со мной рюмку порто.

— Я не пью.

Он все-таки налил. Дора застегнула, наконец, непокорную петлю.

— Я думаю, что такая, как вы, должна все делать разумно и удачно.

— Вот как!

— Если прием, так уж прием... у вас непременно удастся.

— Пить неразумно, а нынче уж выпью. Ладно!

Они чокнулись.

Дора сама удивилась, почему это выпила? Но вино приятно

подействовало. Дора неожиданно улыбнулась. Анатолий Иваныч ответил, с несколько странным, иным выражением глаз. «Глаза-то у него во всяком случае красивые...»

И она некоторое время смотрела прямо на него, упорно.

Тем же легким, точным движением, как со Стаэле, не отводя от нее взора, взял он ее руку и поцеловал. Потом поднял свой стакан вина.

— За вас пью, и вас целую.

Он опять, действительно, целовал ее руку, со странным и абсолютным упорством, точно это его собственность. Она мутно на него смотрела. Она попыталась было отдернуть руку. Но он слишком хорошо знал этот молчаливый, бессмысленный женский взгляд.

И обнял ее.

* * *

В это время Людмила сидела у Капы и курила. Капа лежала на постели.

— Я считаю возмутительным, что он опять с тобой волынку разводит.

— Отстань,— глухо сказала Капа.

— Ну да, опять Константинополь. Как угодно. Нет, больше не переношу сердечных историй. Да и некогда! Работаешь как чорт, а дела все хуже. Знаешь, наш кутюр вот-вот и закроется.

Она вытянула стройные ноги в шелковых чулках.

— Американки ничего не заказывают. А кто закажет, норовит не платить. Да, кончено дело: бросаю. На содержание идти не хочу...— она вдруг рассмеялась холодновтым смехом,— да и трудно. Конкуренция велика. Тут одно занятие себе присмотрела.

— Людмила, помнишь, мы с тобой раз в Босфор броситься собирались, связавшись...

— Помню, и вспоминать не хочу.

— Да, конечно...

Капа ничего больше не сказала. Продолжала лежать. И Людмила молчала. Потом встала, нагнулась к ней, обняла.

— Сумасшедшая ты. Всегда была сумасшедшая.

Капа заплакала.

ДЕЛА

Холодно. Город в рыжем тумане. Едва видно солнце — из другого мира — блеклое, розовато-кирпичное. Угольщики не успевают втаскивать мешки по винтообразным лестницам. Мрут

немолодые французы от удара. Особенно полны бистро — лицами багровыми, шарфами, каскетками. Вечером, в синеющей мгле, туманны огни и страшны на заиндевелом асфальте автобусы, грозной судьбой проносящиеся.

Город Париж дымит всеми глиняными трубами над черепицами крыш — не надымится. Холодно людям старых домов, среди них и дому в Пасси, русскому. Лишь у Доры Львовны тепло вполне: две саламандры. У Валентины Григорьевны полутепло (мать заведует топкой). У Капы на четверть тепло (после службы затапливает крохотную печурку). О генерале и Леве лучше не говорить: одному не на что, другому некогда. Анатолий Иваныч протапливает последние стаэлевские деньжонки. За годэном следит замечательно. От старичка Жанена научился аккуратно вынимать угольки из пепла — отдельно, и опять в печку, чтобы не пропадали.

Несмотря на холод, много выходит. Правда, у него теплое пальто со скунсовым воротником, гетры, плюшевая шляпа. Это для теплоты и удобства. А для солидности палка с серебряным набалдашником. Оба Жанена — и родовитая жена с белыми буклями, бархоткой на шее, и худенький старичок в старом жакете и туфлях уважают его за скунса, за трость, за любезность. «Это большой русский барин,— говорит мсье Жанен угольщику.— У него в России огромные поместья. Временно ему трудно... но ведь революция! Впрочем, у него есть богатые родственники в Швеции. Ему присылают деньги из Стокгольма».

Когда Анатолий Иваныч идет в три часа по улице Помп, вид у него вполне пассийский: можно подумать, хороший текущий счет, сейф, своя машина... (Жена уехала на ней в Канн, муж садится в первый класс автобуса. Но ведь не так легко отличить и Женевьеву, в эти же часы выходящую на службу, от пассийской честной барышни, тоже с выцвеченными волосами, накрашенными губами и равнодушным холодом глаз.)

В один такой день ехал Анатолий Иваныч в первом классе, сидел лицом вперед. Женевьева во втором у окна, лицом назад, и ее левой ноге мешал овальный кожух колес. Перед его глазами торчал на высоте шофер в кожаной куртке с шарфом на шее и обгорелым от холода лицом. Перед ней, за дамой, покачивались на площадке пассажиры. Ни он ее заметил, ни она его. Оба, однако, дышали одним воздухом: смесью бензина с духами. Автобус мягко покачивался, дрожал масляно-бензиновым сердцем.

В самом движении его — теплая, стремительная сила. Как во сне струились Этуали, авеню Фридланд с каменным Бальзаком; вниз стремящаяся к церкви св. Филиппа Рульского узкая

улица Фобур Сент-Онорэ. Такие же неслись навстречу автобусы, с такими же мордато-обгорелыми шоферами, звонками, тормозами.

Какие мысли у Женевьевы? Никаких. Иной раз взглянет на фасон шляпки, на собачку с давленою мордочкой... ждет остановки у Мадлэн. И Анатолий Иваныч не решал мировых вопросов, когда по авеню Габриэль мчал его автобус мимо ресторанов Елисейских полей, мимо скверов, садов, мимо дома налево, единственного в Париже, чей фасад в колоннах, как в русской усадьбе. Может быть, вспоминал губы Доры Львовны и бессмысленный ее взгляд — столько взглядов за жизнь, столько губ! Или думал о Капе: «Капочка отличная, но тяжелый характер...» Тоже не редкий случай. Дора очень славная, хорошо, что разумная и не психопатка. Все это мило и симпатично, и никак жизнь не устраивает.

Он слез. Женевьева поехала дальше — тонкое и равнодушное ее лицо до самой Оперы покачивалось за стеклом. Он же шел медленно мимо Вебера международного, мимо taverne Royale[1], где заседали раньше французы окрестные, перед панно прошлого века (с сюжетами увеселяющими). Все эти места выхожены. Все-таки не теряют прелести. Всегда приятно чувствовать за спиной площадь Конкорд с обелиском и стрелами автомобилей — перед собой же тяжеловатые колонны Мадлэн.

У знаменитого ресторана Анатолий Иваныч остановился. Это он уважал. Небольшие зеркальные окна со шторами, красного атласа диваны и кресла, зеркала, несколько всегда сонных лакеев во фраках. Старомодное и неброское, вроде московского Тестова.

Перед фасадом Мадлэн поглазел по обычаю, перешел улицу, когда ажан остановил поток автомобилей, и бессмысленно пошел вдоль левой стороны храма. В небольшую дверь с навесиком на тротуар вошли две дамы. Старушка в черном вышла. «Капелла Антония Падуанского!»

Он когда-то слышал о ней. «Хороший был, Падуанский... с мальчиком всегда изображается». Анатолий Иваныч вдруг почувствовал себя смирным и маленьким. Вот у него этот меховой воротник, трость, десять франков в кармане, комбинации в голове и неизвестность на завтра. А в прошлом? Тоже, может быть, лучше не вспоминать? Но для таких и жили Падуанские. Если бы все были добродетельны, то и святыни бы не надо.

Из низенькой передней повернул он направо — тоже низенькая, узкая и длинная комната со сводами. Горит много свечей. Стоят стульчики. Сразу же слева — розовый св. Антоний

---

[1] Королевская таверна *(фр.)*.

на пьедестале с младенцем Иисусом на руках (это и есть «с мальчиком»). Яичко золотое. Цветы, медальки, образки — вся нехитрая бутафория католицизма. В стенах плитки с надписями: «Remerciements»[1]. Анатолий Иваныч по-православному перекрестился и неловко стал прямо против розового Антония, загораживая дорогу. Чувство детскости, смирности и ничтожества возросло. «Ты ведь знаешь, какой я, и что... помоги, святой Антоний, вот я к тебе всею душой... Помоги».

Что имел он в виду? Удачную продажу? Выгодную женитьбу? Возможно. Розовая статуя святого много перед собой перевидала. Ничтожеству ли, слабости ль человеческой удивляться? И может быть, не весьма огорчился святой малому обращению человека в катакомбной крипте.

* * *

В эти же самые часы Женевьева работала с той бессознательной добросовестностью, которая одинакова: в ней, в барышне за прилавком, дактило за машинкой. Она знала, что вялое свое гибкое тело с плавными бедрами (основой заработка) надо в некоторые часы выставлять: как на рынке овощи, фрукты, рыбу. А для этого следует делать круги по бульварам, с видом независимо горделивым: дама, вышедшая за покупками. Потом по неписаному закону зайти в кафе (здесь уже аллюром мисс Вселенной). И над чашкой кофе сидеть долго, в безразличии оцепенения. Впрочем, переводя взор по посетителям. Старику из провинции, с красными жилками на лице, поющему у окна витель — загадочно улыбнуться. Начать флирт с веселым толстолицым коммивояжером — и как только поднялся он и ушел (зря пропали заряды), вновь омертветь и пустыми глазами глядеть на проходящих гарсонов — единственных людей, с ней разговаривающих по-товарищески (некоторых знает она и ближе, но никого не помнит по именам. И ее все в лицо знают здесь, но никто не знает, кто она).

Женевьева может быть парижанкой, может происходить из Гренобля, Тура или Нанта: никому до этого нет дела и никто этим не интересуется. На своей службе она дельная работница. Прогулов не знает. Обязанности исполняет добросовестно и равнодушно. Когда очередной cheri[2] спрашивает, есть ли у нее кто близкий, Женевьева покойно отвечает:

— Non, monsieur[3].

---

[1] «Благодарность» (*фр.*).
[2] милый, дорогой (*фр.*).
[3] — Нет, господин (*фр.*).

Впрочем, вопросы такие редки.

...Ныне работа не весьма клеилась — из-за холода. Это обычно. Она не огорчалась. Потеплеет, все будет наверстано. Сделала круг мимо магазинов Лафайет, поглазела на световые каскады, на катанье со снеговых гор в окнах, на безликих манекенов, медленно за стеклом вращающихся (ей они очень нравились). Искупалась в зеленом и фиолетовом свете, поочередно сверху насылаемом... Предрождественская толпа — толстые мамаши с детьми, очереди перед панорамами. Долго ей тут не приходится быть. Людской поток, что стремится к Прэнтан — бесчисленное море тел, лиц, взглядов, смывающих, замывающих каждое отдельное лицо — вынес ее, с одним-двумя перебоями у боковых улиц (волны поперечных автомобилей), к улице Троншэ, тоже сверкавшей красной пестротой света — столь изящно дробного, рассыпанного, такого парижского... Тут уж свободнее. Две знакомых товарки подрагивали на углу улицы Матюрен. Женевьева улыбнулась им и кивнула. Они улыбнулись тоже. Как проходящие корабли — Женевьева взяла курс на Мадлэн, а Жоржетта с Денизой на Лафайет. Их дальнейшее плавание в сине-туманном Париже, пронзаемом тысячью острых огней, гудков, скрежетов автобусных, не совсем одинаково. Жоржетта направилась в кафе, Дениза получила ангажемент, Женевьева спокойной своей походкой дошла до Мадлэн, и, когда огибала храм справа, столкнулась с изящным господином в скунсе, выходившим из капеллы Антония Падуанского. По скунсу собралась было выстрелить, но заметила знакомое пассийское лицо — при потушенных огнях прошла мимо. Соседей в клиентуре быть не могло. Анатолий Иваныч при всей рассеянности своей тоже обратил на нее внимание, хотел было поклониться. Но Женевьева уже вдали покачивала на ходу бедрами, оставляя эротическую фосфоресценцию. Это на занимало его сейчас: не без задумчивости брел он к метро — собирался навестить Олимпиаду Николаевну.

А равновесие трех встретившихся девиц быстро восстановилось. Через полчаса Женевьева получила ангажемент, а Дениза сидела в кафе, потом обе делали круги дальнейшие, а выступала со своим номером Жоржетта. Потом все трое в разных кафе сидели, в разных отелях лежали — сочетаний оказалось порядочно. Зимний Париж, холодный, предпраздничный, тасовал их как хотел.

* * *

Олимпиаде Николаевне было под пятьдесят. Но на вид не более тридцати пяти. Она обладала удобным свойством, не

столь редким у парижских дам с бюджетом от пятнадцати тысяч в месяц: если не молодеть, то удерживать позиции. Это не так трудно ей и давалось: помогала гигиена, техника и ровный характер. Основное правило жизни ее — не волноваться. Она любила себя спокойной, самоуверенной любовью, твердо верила в свою звезду и со всеми данными этими прожила довольно бурную жизнь. Бурность связана была с красотой. Если Женевьева считала, что бедра кормят ее, то белотелая, могучая Олимпиада с гораздо большим правом могла сказать: «Квартира моя — это я. Платья мои — я, бриллианты тоже я».

Происхождения средненизшего, она рано вышла замуж в Калуге за доктора. Потом ее увез актер, в Нижнем застрелился. На ней женился пароходовладелец. Потом влюбился инженер, потом попала она к крупному картежнику в Москве. Началась война — она в Польше с санитарным поездом. Наряд сестры милосердия весьма шел к ней. И в «малом Париже» познакомилась она с лодзинским фабрикантом — начался развод с судовладельцем. Тот умер вовремя. Олимпиада превратилась в польскую гражданку. По окончании войны много шатались они с мужем по Европе, играли по всем Биаррицам и Довиллям. Муж проигрывал. Олимпиада выигрывала (ей везло). Правда, в случаях ее проигрыша платил он, она же ему своих выигрышей не отдавала (но и проигрывала редко — опять-таки дар характера и некоторый опыт молодости — уроки ушастого игрока из Москвы).

Наступила минута, когда муж окончательно ей надоел. Она устроилась так, чтобы жить в Париже, его же почаще, подольше засылать «на корону» — управлять там делами и именьями. Это давало ей свободу. Польская гражданка из Калуги посещала премьеры, пила чай у Ритца, причесывалась у Антуана и каждое утро Дора Львовна разминала ее все еще прекрасное, с розовеющей нежностью блондинки тело. У ней было много друзей и среди французов — титулованных или промышленников. Называли ее la belle Olympe[1]. С русскими тоже водилась — без особенного разбора. Что-то русское, почвенное сидело в ней, несмотря ни на какие Парижи: скучно с одними иностранцами. И потому — с неким опасением хлопот и просьб о помощи — перед соотечественниками все же не закрывала она дверей.

Анатолий Иваныч сел в метро на бульваре Османн. Через десять минут сороконожка станции Трокадеро выносила его из глубин. Рядом ахали две мидинетки — вечным аханьем при-

[1] прекрасная Олимпия (*ит.*).

творного страха — как бы не оступиться при выходе — хохотали, держались друг за дружку. Анатолий Иваныч любил эти лестницы. Поднявшись, оглянулся — нельзя ли опять спуститься и подняться? Но было уже поздно, сонный тип в будке — сзади. Зато выйдя на свет Божий, пересекши синюю в вечерней мгле площадь с золотыми огнями, он на улице Франклэн не сел в подъемник дома Олимпиады, а пошел пешком: насколько любил ползучие гусеницы метро, столь же ненавидел лифты — боялся их. И медленно подымался сейчас по тихой, в ковре, лестнице. Олимпиада жила в четвертом этаже, с балконом, видом на Трокадеро и заречье Парижа. Богатые французы обитали за массивными дверьми... Все здесь порядок, «благообразие». Шаги не слышны по бобрику. «У консьержки, наверное, les quelques six-sept cents milles francs d'economie[1]. Да, у них все прочно, у французов».

Отворила горничная — из тех безразлично послушных парижских существ, что с парадной своей стороны, обращенной к хозяевам и гостям, напоминают летейские тени, в действительности же полны той самой жизни, страстей, зависти и желаний, как и их повелители. Такая тень — нынче Жюльетта, завтра Полина — прошептала, что мадам несколько сейчас занята. «У мсье rendez-vous[2]?» И безразличным жестом пригласила в гостиную. Столь же привычно повернула выключатель — в люстре вспыхнул нежный свет, сразу выхвативший комнату из небытия. Мягкий ковер — будто бобрик с лестницы забрел и сюда. Виды Варшавы на стенах, мощный диван ампир из деревенского дома под Кельцами. Карельской березы рояль, узенький, старомодный: не Шопен ли играл на нем некогда? Куст бледной сирени в корзинке.

Летейская тень удалилась. Анатолий Иваныч потушил свет. Комната тотчас угасла, зато другой мир явился: за окнами, дальше решетки балкона, за башней Трокадеро замерцал золотистой чешуей Париж. Мрак синел и туманел. Но дракон шевелился в нем, отливая бесчисленными, огнезлатистыми точками. Анатолий Иваныч сел в кресло. Было тепло, тихо, покойно. Из двери справа узенькая стрела света по ковру. Голоса. Олимпиадин узнал он сразу, другой, мужской, будто тоже знакомый.

Над драконом в окне вознеслась узкая золотая цепочка башен, задрожала, обнаружила над собой красную голову, а на теле выскочила цифра 6, и красная голова заструилась, замигала переливчатым пламенем.

---

[1] какие-то шесть-семь сотен тысяч сбереженных франков *(фр.)*.

[2] свидание *(фр.)*.

В комнате двинули стулья, встали. Дверь отворилась. Олимпиада вошла плавной, медленной, точно паж должен нести шлейф королевского ее платья.

— Какая тьма...

Опять тайная сила пронеслась в люстру. Мантии на Олимпиаде не оказалось, просто атласный пеньюар с мехом. Сзади Михаил Михайлович.

Анатолий Иваныч подошел к ручке. Давнее знакомство, еще с Польши, баккара с мужем, некие общие предприятия с Олимпиадой, все это установило как бы товарищеские, слегка запанибрата отношения.

— А мы с генералом целые проекты строили... Да, трудные времена.

Все тем же плавным шагом подошла она к сирени, тронула ее у корня. Глаза стали серьезны. Тяжеловатые ноздри раздулись.

— Helène[1].

Летейская тень вынырнула из глубины.

— Вы не поливаете сирени. Совсем сухая!

— Я поливаю.

— Нет, сухая.

Тень покорно исчезла. В передней раздался звонок. Олимпиада взглянула на ручные часы.

— Это мой адвокат. Дела, дела... Генерал, попробуйте, как я советую. Может, что и выйдет. Я ведь дала вам карточку. Так. Анатоль, чай будет в столовой, мне только несколько слов, да подписать две бумаги. Вот. У вас, разумеется, тоже неважно? Да, поговорим. Михаил Михайлович, если меня не дождетесь, то передайте Доре Львовне, чтобы захватила завтра эту книжку.

И la belle Olympe, положив руль вправо на борт, выплыла в свой кабинет.

Анатолий Иваныч ласково улыбнулся генералу.

— По-годите уходить. Выпьем по чашке чаю.

Генерал имел вид несколько подавленный.

— Что же мне здесь чай пить. Я как проситель, с письмом.

Анатолий Иваныч взял его за рукав, слегка погладил.

— И я. И я тоже. Это... ничего!

Он серьезно, по-детски расширил глаза.

— Вы на халаты атласные... не обращайте внимания. Это — так полагается. А стесняться... Не надо. Она вам обещала?

— Д-да-да... что-то вроде консьержа в замке под Парижем.

Генерал вынул карточку, повертел в руках. Слегка пожал плечами.

---

[1] Элен! *(фр.)*

— Я могу и консьержем...

— Консьержем, консьержем...

Анатолий Иваныч все улыбался — лукаво и поощрительно. В такое дурацкое, мол, время ничему удивляться не приходится.

Но в столовой внимание его быстро отвлеклось. На столике стояла шхуна, изящно сделанная. Он показал на нее генералу.

— Это... мой подарок. И вместе — реклама!

Он хитро улыбнулся.

— У нее здесь бывает немало народу, видят... иной раз и мне заказ перепадет. Есть ведь любители кораблей. Она меня познакомила с одним стар采еньким французским адмиралом, премилейшим... Два брига заказал и фрегат... А иногда мы с ней и большие дела устраиваем.

Анатолий Иваныч блаженно улыбнулся. Вновь переживал радость хорошей комбинации. Но и генерала несколько подбодрила шхуна.

— Ведь замечательно сработана, действительно... Вы что же, моряком были, что ли? Инженером корабельным?

— Нет! Никогда. И даже боюсь моря. Я по дипломатическому ведомству.

Генерал посмотрел на него пристально. «Со странностями малый. Прямо чудоковат».

Когда тень с именем Элен внесла чай, они сели у тяжелого дубового стола с дневной скатертью — добротной красноватой материи.

Анатолий Иваныч задумался, побалтывая ложечкой в стакане.

— Я был младшим секретарем посольства, и казалось, все так навсегда, и служба, Россия. А теперь видите... тоже очень нуждаюсь. Пожалуй, не меньше вас. Тоже... борюсь, но иногда падаю духом.— Он помолчал, потом вдруг взял опять генерала за рукав, приветливо и как бы с грустью.— Вот и подумаешь: к чему? Вечно возиться, бороться, бегать, занимать... Я сегодня к Антонию Падуанскому заходил, помолился ему... Это, как вы думаете, поможет?

В комнате тихо, светло. Отопление слегка потрескивает. Иногда по трубам что-то мелодически перебегает. Генерал сидит под струящимся светом, в незнакомой комнате полузнакомой хозяйки, глядит на малознакомого обитателя Пасси — полусоседа, полутоварища. Ему тоже кажется, что приоткрылась некая стена из светло-теплой столовой. Море житейское! Ему ли не знать по нем плаваний?

Но сейчас он бурчит:

— Что ж это к Падуанскому? Вы разве католик?

— Нет, православный.

— Тогда лучше уж к Сергию или Серафиму.

Анатолий Иваныч вдруг забеспокоился.

— Напрасно к Падуанскому? Значит, скорее бы вышло, если бы обратился к преподобному Сергию?

Генерал слегка фукнул.

— Опасаетесь, что вместо Маклакова попали к Моро-Джиафферн?

— Нет, но, конечно, естественнее мне, как православному...

— Ничего, Бог даст и Падуанский поможет.

Генерал помешивал чай ложечкой, задумчиво смотрел на Анатолия Иваныча. Он уже несколько освоился и с местом. Вежливый человек с мигающими глазами, будто чего-то стесняющийся, не раздражал его.

— А по правде говоря, очень многим русским здесь нужна сейчас помощь. Дело серьезное-с, очень серьезное...

— Серьезное,— отозвался почтительно Анатолий Иваныч.

— И не столь в смысле материальном. Разумеется, всем трудно. Приходится вот так пороги околачивать. Но главное не в этом. Мы, военные, отлично знаем, что такое в борьбе моральная сторона. Самый ловкий и правильный маневр может разбиться о духовную стойкость. Вспомните у Толстого, Шенграбенское сражение. Да таких примеров можно и из нынешней войны привести десятки. А так как нынешняя жизнь по напряженности своей очень похожа на войну, то и приходится с опытом войны считаться.

— Конечно, война! Совершенно правильно.

Анатолий Иваныч все сочувственнее на него смотрел. Этот сухощавый старик, бедно одетый, среднее между испанским грандом и аристократическим консьержем, нравился ему все более.

— Я даже скажу вам так: наше положение походит на труднейшую фазу военных действий — на отступление... Как мы в Польше, в пятнадцатом году, летом отступали... Сохранить в отступлении порядок и не пасть духом, не разложиться — это, знаете ли... Здесь не место, разумеется, рассказывать. Но как вспомнишь эти ночи июльские — в темноте полк движения, и с трех сторон зарева. Только узенький коридорчик туда, где Россия. С трех сторон немцы. Как они нас, почти безоружных, вовсе не окружили — удивляюсь.

Генерал помолчал.

— Здесь, в эмиграции, многие не выдерживают, как и у нас на фронте случалось. Выскочит из окопа молоденький прапорщик. Скажем, у него зуб болит. Да из-за зубной боли трах, в лоб себе из нагана. Вы замечаете, как часты стали у нас

самоубийства? Газ, веронал, мало ли что. Даже и преступления появились — ослабел народ, оно понятно. Вот где духовная поддержка и нужна-с. Это все равно, разумеется, Сергий или Антоний, важна бодрость в отступлении, чтобы его достойно вынести. На заранее подготовленные позиции! Знаем мы эти позиции. Вроде тогдашних окопишек — бухнешься в них на заре и лежишь целый день. Но что поделать, приходится... и теперь как тогда в младших бодрость поддерживать. В нашем, военном кругу, есть здесь известное товарищество, связь. В некоторой степени крепит. А нужно бы и вообще на всю эмиграцию.

— Вот именно на всю! Вы правильно сказали, совершенно правильно. На всю!

Анатолий Иваныч вполне оживился. У него был такой вид, что он готов сейчас же поддерживать и укреплять не только военных, но и всю эмиграцию. А пожалуй, и весь свет.

* * *

Он это и показал. По его мнению, русские должны были объединиться, устроить содружеские артели, образовать общий фонд и в конце концов избрать себе правительство, в противовес третьему интернационалу. Центр должен быть в Париже, а отделения разбросаны по всему свету.

Генерал допил чай, встал. Ему вдруг стало несколько не по себе. Что-то уж очень того... занеслись. И сам он впал зачем-то в разглагольствования и воспоминания — в чужом месте, куда попал отступая — перед полузнакомым человеком двусмысленного, несолидного тона...

Анатолий Иваныч стал его удерживать — будто был тут хозяином. Генералу это еще меньше понравилось. Он вежливо, но прохладно попрощался и вышел.

...Несколько слов и две бумаги Олимпиады затянулись. Ожидая ее, Анатолий Иваныч подошел к невысокому буфету и достал коньяку. Вид бутылки со звездочками и коричневато-золотистой жидкостью не огорчил его. Первую рюмку он выпил сразу, не отходя, вторую налил до краев, бережно донес к столу и уважительно поставил на серебряный подносик: к этакому коньяку не мог отнестись легкомысленно. Эту вторую выпил уже медленно, заедая кусочком сахара. Но фатально вторая повлекла третью, погружая в коричневато-золотистые фантазии.

В этом состоянии — мечтательной расслабленности — и застала его Олимпиада. Из гостиной выходил адвокат. Она была

несколько недовольна, поправляла у зеркала волосы. Светлые глаза глядели хмуро.

— Столько всяких неприятностей. С этой Польшей черт ногу сломит. И еще был бы рядом толковый мужчина... А вы ведь знаете, он там по части скачек да карт. Дела все на мне. Вы, конечно, уже выпиваете. Дайте и мне рюмку. Устала. Толстеешь от коньяка... обращусь в Стаэле. Ну, одну рюмочку.

Анатолий Иваныч налил, она прочно, по-мужски опрокинула. Ноздри слегка раздулись.

— Вот. Теперь тепло.

Она провела рукой по горлу и верхней части груди.

— Анатоль, у вас, конечно, тоже нету денег? Вы потому и пришли? Скажите прямо: занимать или советоваться?

Анатлий Иваныч стал ласково и бессмысленно улыбаться. Олимпиада налила себе вторую.

— Коньяк неплохой, это мне подарок. По вашей улыбке я вижу, что и занимать, и советоваться. Превосходно. Взаймы я вам дам пятьдесят.

Он встал, поцеловал ей ручку.

— Мне нравится в вас эта бессмысленная улыбка и вообще ваша бессмысленность. Я вам ничуточки не доверяю, и все-таки веду с вами дела, потому что у вас приятный характер. А я больше всего не люблю раздражаться, волноваться.

Она села в кресло, вытянула могучие ноги, опершись пятками на низкий пуф, и ее крупное, холеное тело как бы успокоилось в удобном футляре. Полузакрыла глаза, подняла голую руку и опять поправила волосы — низкий завиток знаменитого парикмахера: точно ленивый зверь.

Начался разговор о деле — все о той же картине, которую греку он, разумеется, не продал, и теперь решил без Друцкого попробовать с Олимпиадой. Она сначала посмеивалась. Потом стала серьезней. Фрагонар... да, отказываться нельзя. Были и собственные предложения, но это мельче. Она сделал над собой усилие, встала. Села к столу и в спокойном, деловом тоне принялась обсуждать, к кому обратиться, что спрашивать.

ПОВЕДЕНИЕ ДОРЫ

— Ай, какие пустяки! Если тебе Фанни говорит, что берет твоего святошу в Ниццу, так уж она зря не скажет!

Дора сделала несколько заключительных пассов по округлым, с жирком и начинающим сбиваться (как кисель) ляжкам Фанни — отошла от постели.

— Я нисколько и не сомневаюсь, что ему будет хорошо у тебя. Все-таки жаль расставаться.

Под струею воды в умывальнике она мыла руки.

— Ну, да, да, что за сентиментальности. Я же ему двоюродная тетка. Он меня обожает. Какой-нибудь месяц-полтора на Кот д'Азюр. Подумаешь, велика радость одному целый день сидеть и с этим твоим генералом об орденах и архиереях разглагольствовать...

Фанни лежала на постели совершенно голая, в голубом чепчике, с намазанным кремом лицом. Крем клался для того, чтобы предотвратить морщины, но живые глаза, нервность и подвижность Фанни портила все. Да и годы мешали. Она соскочила с постели, подошла к весам. Неважно сложена Фанни — с полным бюстом, низким тазом, не совсем правильными ногами (кое-где синели на них узлы вен). Но бодрое, неунывающее не покидало ее никогда.

— Дора, ты великая массажистка. До тебя я приняла полкило, а теперь убавляю.

— Очень рада. А насчет Рафы — конечно, ему очень полезно пожить в новых условиях, и на солнце. Я не совсем знаю, как он сам относится...

Зазвонил телефон. Фанни накинула халатик, подошла к аппарату.

— Софья Соломоновна? Да, я. Ну, как вчера сошло? А Иезекииль Лазаревич? Выиграл? Ну, ему всегда везет. В пятницу? Я, кажется, занята. Если не ошибаюсь, бридж у Дубовских.

Дора, слегка улыбаясь, вытирала руки о мохнатое полотенце. Все это знала она наизусть: вечные перекрещивания примерок с дневными синема, бриджей с покерами, благотворительных балов с вечерами писателей. Да, телефон Фанни работал. По финансовому положению мужа и по доброте характера состояла она в черном списке всех союзов, комитетов, землячеств. Все присылали ей билеты. Если бы ходила аккуратно, то и ног не хватило бы.

Но сейчас это лишь мелькнуло перед Дорой. Занята она была другим.

— Ну, так имей в виду, в среду я уезжаю. Решай не позже понедельника. И позвони. Советую попросту спросить молодца. Он умный. Поймет, что у тети Фанни скучно не будет.

Дора Львовна оделась и вышла. Начинался ее трудовой день — от грудей к животам, от спин к ляжкам,— если бы внезапно остановились весы и замолкли доктора, отправляющие здоровенных дам на отдых, тотчас лишилась бы она и скромной квартирки в Пасси. Но весы действовали. Доктора не унывали.

И материальное пока Дору не угнетало. Душа же не была покойна.

Во-первых, Рафа. Конечно, сидеть с генералом, слоняться по дому и по квартирам русских не такое уж замечательное занятие. Учится он мало и случайно; действительно набирается от генерала всякой старомодной премудрости. Теперь не то, вовсе не то нужно! Этаких генералов поставляли барские усадьбы. А в эмиграции, при борьбе за существование... Нет, скорее в лицей — надо было еще осенью отдать. Будет он бегать в беретике, пойдут всякие compositions[1], башо[2]...— и незаметно станет инженером, уедет в колонии. Дальше думать не хотелось. Дальше опять начинались какие-то печальные вещи — вроде одинокой старости на непрерывных чужих животах и ляжках. Дора Львовна вздыхала, помалкивала. «Об этом незачем думать. Природа так создала, значит, и надо жить».

А вот сейчас: отпустить, все-таки, Рафу на юг или отказаться? Тоже вопрос — это второе, что ее занимает.

Конечно, ему любопытно. Но весь дух Фанниной жизни... «Бестолковщина, роскошь, карты, шум, синема...» В будущем видела она Рафу юношей серьезным, трудолюбивым, никак не снобом в широких штанах. «Эти замашки легко прививаются, а изволь-ка от них отвыкнуть».

Здравый смысл говорил, что, скорее, пускать не следует. И весь день, передвигаясь с авеню Анри Мартэн на Малаков, с Малакова на Токио и Кур ля Рэн, от больших животов к малым, от одних вен к другим, ощущала она какую-то занозу — к вечеру надо принять решение. Оно будто бы и вполне ясно, но не так легко дается. «Надуваю как-то себя...» — подумала, садясь в автобус, с которым всегда возвращалась.

Сошла с него и медленно брела про улице Помп.

Порошил снежок, таял, делая пестрыми тротуары: следы печатались черным в белесой мгле, кое-где прерываемой проталинами. Машины скользили. Пешеходы тесней жались к домам, и желтый свет кондитерских, бистро, книжных магазинов косым столбом выхватывал культурно-европейские снежинки неба парижского. Здесь, свернув в переулочек, можно было увидеть за невысокой стеной каштаны дома Жанен. Может быть, одно окно светится — то, настоящее, которое как раз и нужно. А может быть, только что оно погасло, и некий худощавый и высокий человек, так удачно тогда помогший купить вино, подняв скунсовый воротник, с пустым

---

[1] контрольные работы (*фр.*).
[2] экзамены (*фр.*).

желудком вышел за добычей и вот-вот с ним встретишься, хоть бы у той лавчонки.

А можно ли, встретившись, не взволноваться? Рафино рожденье... Как все неожиданно случилось! Ну, конечно, слабость... От волнения, смущения не спала ночь. «Рафа ведь раздевался у себя в комнате, мог войти». «Как последняя...» «Да, но с другой стороны... Не маленькая, свободный человек, захотела и полюбила. Тело тоже имеет свои права» — и шли естественнонаучные размышления.

А он, сам-то он? Случайность? Может, завтра будет стыдиться, не узнает на улице?

На другой день никуда не годилась согрешившая Дора — все массажи ее чуть дышали, животы и груди удивлялись, как небрежно, слабо, неумело обращались с ними крепкие прежде руки.

«Ну да, ну все это чепуха, мало ли что бывает с одинокой женщиной...» «Да и он не подумает обо мне вспомнить...» Но как раз тем же вечером, как решила это и частью даже успокоилась (эпизод, пустяк), он и явился, около десяти. Рафа уже спал. Сидели вдвоем. И все эти мысли ушли. Опять он улыбался, был тих, очень нежен, настолько нежен... Стыда она не чувствовала. Подозревала ли Капа, что он тут же, чуть ли не за стеной? Что ушел в третьем часу ночи и вновь Дора не спала, теперь уже вовсе ослабевшая, в блаженной усталости, в ощущении жизни, любви, силы?

Уходя, Анатолий Иваныч сказал, что придет на другой день вечером. Дора купила бутылку Brâne Cantenac[1], спрятала его, спрятала и угощение, расставила все, лишь когда Рафа заснул. Чтобы не будить его, входную дверь не заперла.

Сыр честер, заварной черный хлеб, ветчина и шпроты так и простояли до полуночи — никто их не тронул. Подогрелся и Brâne Cantenac — никто не откупорил его. Неприятное чувство хозяйки... Дора одно лишь подумала — что-нибудь вовсе особенное его задержало? Но прошло еще два-три дня, и еще семь дней. «Это уж совсем странно...» А он не нашел нисколько странным. В некий момент встретил ее, выходя от Капы, так же любезно и мило, как тогда в виноторговле — на недоуменный взор улыбнулся, взял под руку и повел по улице Помп, объясняя, что тогда никак не мог, неожиданно его вызвали по делам. «Отчего же потом не зашли?» А вот все разные пустяки. Но он всегда и с великим удовольствием зайдет, например завтра. Дора смотрела на него сбоку, видела, как он слегка нагибал

---

[1] Марка вина.

вперед голову, точно близорукий — кто он ей, свой, чужой, любовник, учтивый сосед? Нужно бы сразу решить: или идти по-другому, или совсем не идти. Но она именно шла и смотрела и не совсем по-разумному шла. А назавтра он действительно явился и действительно так, что и Рафа спал, и честер опять был. И Brâne Cantenac не пропал понапрасну.

Когда уходил, она спросила:

— Вы часто у Капы бываете?

— Да, бываю. Она прекрасная девушка, но с тяжелым характером.

Дора смотрела пристально.

— Она вновь ваша любовница?

— Я служил одно время шофером у Стаэле. Она жила там лектрисой. Мы очень дружили.

— Конечно, любовница...

— Я иногда захожу к ней. Она прекрасная девушка.

— Я не ревнивая,— сказала Дора покойно.— И не имею на вас никаких прав. Но мне хотелось бы все-таки... ну, например, как держаться с Капитолиной Александровной? Она знает... что вы ко мне заходите?

— Это неважно. Лучше ей, разумеется, не знать...— Он говорил рассеянно, как о неинтересном.— У нее тяжелый характер.

«Хорошо,— думала Дора, оставшись одна.— Конечно, она болезненная девушка, меланхоличка и, должно быть, истеричка. А я здоровая массажистка сорока трех лет. И так легко сблизилась с ним, что, понятно, никаких на него прав не имею. Таких, как я, у него были десятки. И мы, здоровые и случайные, должны оберегать этих достоевских девушек, которые, впрочем, тоже довольно легко отдаются, но потом разводят бесконечные истории». Дора долго чистила зубы, мылась, причесывалась, все старалась делать медленнее и покойнее, чтобы несмотря ни что получше заснуть и вообще не терять сил понапрасну: завтра ведь трудовой день. Действительно, улеглась очень покойно. Чтобы лучше спать, приняла таблетку диаля и в конце концов правда спала. А на другой день работала, все шло разумно и философично, но нельзя сказать, чтобы в глубине покой. Что-то должно прийти, как-то окончательно выясниться. Тогда-то, собственно, настоящее и начнется. Дора все эти дни ждала. И когда Фанни предложила взять Рафу на февраль в Ниццу, ее именно то и смутило, что хоть это и неправильно, а все же что-то есть... Рафы не будет, все иное, она свободная и помолодевшая, Становилось даже стыдно — точно Рафа мешает? Он чудный мальчик, единственное, что прочно привя-

зывает ее к жизни...— раньше Дора покойнее к нему относилась, но сейчас вдруг предстал он в особо пронзительном, сентиментальном роде. Стало казаться, что только в нем все — вместе с тем так же сильно хотелось, чтобы сейчас он уехал.

Так подходила она к своему дому в мокром, летящем снеге. Окно у Жанен не светилось... Скунсовый воротник стрелял уже где-то по Парижу.

* * *

Почти у подъезда встретила Капу. Та шла, наклонив голову в небольшой шляпке, угловато, не совсем складными шагами. Держала в руке сумочку и как будто на нее внимательно смотрела. Оттого лишь в последний момент и заметил Дору — когда та взялась за медную шишку — особый прибор в их доме: надо потянуть, и немолодая, нелегкая дверь с резьбою медленно приотворится. Дора не оказала на нее никакого действия: Капины серые глаза равнодушно глядели из пещер — на Дору ли, на дверь, на тротуар, кому какое дело?

Дора первая протянула руку — белую, сильную свою руку, и взглянула спокойным, медицински основательным взором: с истеричками иначе нельзя.

— Сыро сегодня. У меня ноги промокли.

— У меня тоже,— ответила Капа.

Они в скудном освещении поднимались по лестнице.

— Сейчас же снимите чулки, разотрите ноги спиртом. Самое время гриппа.

Небогатый свет скользнул по лицу Капы, усталому, с большими кругами под глазами. Глаза на этот раз, встретившись с Дориными, чуть пристальней на них остановились. Она слегка улыбнулась.

— Хорошо. Так и сделаю.

Вкладывая ключ, Дора еще раз обернулась.

— Наверное, у вас холодно. Рафа вам мгновенно затопит. У нас и растопки есть, и булетки. Прислать его?

— Нет, благодарю вас. Я сама.

— Как хотите.

Дора вошла к себе, зажгла свет в передней. Рафа был дома. Она не видела его в эту минуту — он занимался чем-то у себя, но, как всегда, безошибочно определила его присутствие: квартирка была живая, в глубине ее маленький человек занимался какими-то своими нехитрыми делами, наполняя собою все.

Раздевшись, Дора через столовую прошла к нему, в их общую комнату — больше походила эта комната на Рафу

впрочем. Его стол, кровать, игрушки, книги, архиереи в изголовье. Дора все это знала и любила. Но сейчас чувствовала себя не блестяще. «Почему это я о ней вдруг так забеспокоилась?» Показался натянутым самый тон. «Фальшь, неправда...» Ее смущало, почти раздражало что-то. «Еще я же и виновата выйду? И буду извиняться?»

— Я знаю, что это мама пришла. Я твои шаги еще на лестнице узнаю.

Лампа с темным абажуром, бросавшая резкий свет на стол и бумагу, оставляла несколько в тени лицо Рафы с черными локонами над черными глазами. Но белая, изящная рука ярко была освещена. При входе матери он встал, держа эту бумагу, подошел, прислонился головой к теплой материнской груди. Дора его поцеловала.

— Что это у тебя?

— Подписной лист. Я должен собирать со знакомых, кто сколько может.

Дора взяла бумагу. «Комитет помощи Свято-Андреевскому скиту близ города Бовэ»... «Архимандрит Никифор»... И на первом месте в списке пожертвований: «Рафаил Лузин, 5 франков».

«Пожалуй, что Фанни права. У него здесь действительно слишком однообразные впечатления».

— Откуда ты это получил?

— Листы принес генералу иеромонах Мельхиседек. Я там присутствовал.

— И тебе дали лист?

— Pas exact[1]. Отец Мельхиседек сначала стал смеяться. Но потом, когда я настаивал, сделался более серьезный и в конце согласился. Генерал также одобрил. Он сказал, что если я и мало соберу, все-таки это будет хорошо.

У Рафы был очень значительный, почти важный вид — человека, уверенного в своей правоте и готового отразить нападение. Дора Львовна, впрочем, и не собиралась нападать. По ее педагогическим взглядам, не надо оказывать давления на ребенка: кроме свободы, которую всегда защищала, помнила она и закон обратного действия: стоит лишь приказать, как раз вызовешь чувство противоположное — сопротивления, вражды. И она стала развивать обходный маневр.

— Значит, ты теперь мытарь?

Рафа не знал, что такое мытарь.

Она объяснила, но он не согласился: те взимали налоги, а

[1] Не совсем *(фр.)*.

он собирает пожертвования. Дора спорить не стала. Велела ему накрывать на стол. Сама живо поджарила свиные котлетки с капустой, и за обедом спросила, помнит ли он, как они три года назад были под Ниццей, в Cagnes. Рафа отлично помнил. И удивился, почему его об этом спрашивают.

— Тебе там ведь нравилось?

— Да, хорошее место.

— Тетя Фанни приглашает тебя в Ниццу, на месяц.

Он неопределенно поболтал головой. Докончив обгладывать ножку котлеты — с лоснящимися разводами на щеках — сказал:

— А она позволит мне собирать подписку?

— Тетя Фанни тебя очень любит.

Рафа спокойно и несколько равнодушно смотрел на мать черными своими прекрасными глазами. То, что тетя Фанни любит его, Рафу не удивляло. Он привык к любви. Странно было бы его не любить! Разумеется, тетя Фанни сделала ему на рождение хорошие подарки.

И он милостиво согласился.

— Пусть подарит мне хорошее ю-ю...

— А ты будешь по мне скучать? — вдруг спросила Дора.

Он улыбнулся, встал, обнял ее.

— Да. Так себе. Если будет весело, то соскучаюсь не очень.

— Соскучусь,— поправила Дора и вдруг нежно его поцеловала.— Хорошо, что тут нет генерала твоего...

Сидя у нее на коленях, он рассказал, как гуляли они сегодня с генералом в парке Мюэтт. «Там, знаешь, одна девчонка, Симони, все меня дразнила. Она мне кричала aịn si: chameau, chameau![1] Я хотел тоже ее обругать, но вспомнил, генерал говорит, что с девчонками нельзя ругаться. И я удержался».

Дора Львовна порадовалась. «Ну, видишь, какой умник».— «Да, и не обругал ее. Но потом, знаешь ли, все-таки немного побил».

«В этой неустроенной жизни он довольно сильно от меня отвык...» — думала Дора позже, когда Рафа уже спал, и нежные детские его черты стали еще нежней, трогательней на белизне подушки. Этот маленький человек будто бы был предложен в беззащитном своем сне, как агнец — таинственной бездне... Он дышал ровно, легкая тень лежала вокруг глаз, придавала невыразимую грусть лицу с прозрачной кожей, синими кое-где жилками — в них стучало вечным, неумолкаемым стуком сердце.

---

[1] так: верблюд, верблюд! *(фр.)*

— Они считают, что в человеке живет бессмертная душа и продолжает жить после смерти. Это было бы очень хорошо... Но это непонятно!

Под «они» разумела она странных людей, вроде генерала, Мельхиседека и еще других — их появилось в последнее время много в интеллигенции. Дора Львовна в юности считала религию признаком реакции, но теперь относилась несколько иначе. Все-таки это для нее чуждый мир. И сейчас, глядя на Рафу, она даже вздохнула: ей бы очень хотелось, чтобы у него была бессмертная душа. Но она уверена была, что этого нет и не может быть.

— И ведь я в первый раз расстаюсь с ним.

* * *

На Лионском вокзале под огромным стеклянным навесом клокотали и дымили паровозы. Линия пригородов тащила маленькие старомодные вагончики. На путях дальнего следования стояли пульмановские составы гармонией, со спальными и вагоном-рестораном. По временам паровозы прочищали себе внутренности — пускали из поршней облака пара со свистом и шипом, наводя оцепенение. Пар клубами валил к железостеклянной крыше — на минуту становилось похоже на баню. Носильщики катили вагонетки с вещами. У третьего класса гоготали солдаты в голубом — вечным гоготом молодых жеребцов. Пожилые дамы марсельского происхождения, с усиками, в черных платьях, с дешевенькими чемоданчиками и кульками, расправляя юбки, чинно усаживались в купе. Виднелось несколько смуглых марокканских рож — сухой, противный говор.

Фанни катила по перрону к первому классу, едва поспевая за носильщиком, стараясь не потерять ныряющую его ладью на колесиках. Суета, многословие, волнение расходилось от нее кругами, как от камня, брошенного в пруд.

— А, вот и путешественник! Таки уж он здесь, пора, сейчас займем компартиман, у тебя все с собой, ничего не забыл? Здравствуй, Дора, устроим его отлично... Все хорошо.

Рафа и Дора Львовна ждали уже у синего вагона, где африканцам быть не полагалось. Только что вошла худенькая англичанка, потом сытая французская дама с мужем. Рафа в каскетке, новом пальто, спортивных штанах ниже колен — дальше пестрые чулки, желтые башмаки: хоть бы и не из русского дома в Пасси. В руке очень приличный чемодан.

Проволновавшись сколько полагается, раза три пересчитав

вещи, Фанни уселась с видом довольной изнеможенности на бархатном диване с белой кружевной накидкой — P. L. M. Обмахнула лицо платком.

— Дора, ты можешь быть совершенно покойна. У тети Фанни твоему молодцу плохо не будет. Привезу жирного, веселого...

Рафа не очень ее слушал. С видом знакота осматривал купе, вышел в коридор, потрогал оконное стекло.

— Это старый вагон. На P. L. M. все вообще плохое. И постоянные крушения.

— Ты слышишь, как он рассуждает? Откуда ты это знаешь?

Рафа пожал плечами с таким видом, что стоит ли, мол, разглагольствовать с теткой о вещах самоочевидных?

Дора Львовна держалась покойно. Собою владела, считала, что распускаться не следует. Но было у нее не совсем приятное чувство: точно перед Рафой она в чем-то виновата. Сплавляет? Нет, пустяки, конечно. «Очень глупо было бы не дать ему возможности провести месяц на юге...»

Когда подошел час последних поцелуев и веером стали захлопываться двери, Рафа тоже присмирел. Дора крепко и нежно, слегка побледнев, его поцеловала.

— Если соску... чусь, сейчас же к тебе приеду.

— Непременно. Пиши!

Фанни кивала из окна. Он вспрыгнул на площадку. Дверь захлопнулась, содрогание прошло по телу поезда, он качнулся и тронулся. Личико Рафы с темными локонами было видно за стеклом. Дора шла за поездом. Потом тяжкая змея все сильней стала наддавать, обращаясь в стрелу, пущенную из лука — ей лететь в вечереющей мгле полей французских, громыхая и блестя огнями — к дальнему морю. Буржуа и марокканцы, Рафа, Фанни и солдаты в голубых шинелях — все уравнено в некоем небытии.

Странно как-то: был мальчик и вот нет его.

ПАРОХОД «КАПИТОЛИНА»

— Редко-Конопленко, Редко-Конопленко, Редко-Редко...— напевал генерал,— Редко-Конопленко...

В ветхом пиджачке, в мягких туфлях, но выбритый, он ходил по диагонали комнаты. Обстановка определялась так: полдень предвесеннего парижского дня, теплого и погожего, с высокими облачками на небе нежно-голубом. В окне расчерчено оно тонкими ветвями каштанов жаненовских. Нет еще почек, но скоро будут — бледный свет, реющий, с летящим в нем голубем,

обещает неплохое. Каждый год спускается весна на город этот, одевает зеленью каштаны, синеватым дымом дали.

Таков пейзаж генеральский. Внутреннее же положение: газета, которую подсовывает по утрам Валентина Григорьевна, прочитана. Кофе выпит. Есть кусочек черного хлеба и луковица, но лук он ест на ночь, заедая жареным черным хлебом: днем неловко, запах...

— Редко-Конопленко, Редко-Конопленко... Редко-Редко...

Под фамилию из объявлений легче ходить, при напеве, похожем на барабан. (Если бы Рафа присутствовал, это доставило бы ему истинное удовольствие. Он сказал бы, что генерал «шутится». Но Рафа далеко).

Черный хлеб очень пригодится. Кроме него ничего нет. Угля для печурки не съешь, да и его дала Дора Львовна. Из Олимпиадиной рекомендации ничего не вышло: нанялся уж художник-француз. Набежала за эти дни работишка — раздавать рекламы на улице. Роздал, за три часа десять франков в карман. Служба не предосудительная, но случайная. В тот же день ночной шофер, капитан Бехтерев, завел в бистро и за стойкою рассказал, как можно заработать: бродить у подъезда знаменитого публичного дома и ждать, когда русский шофер привезет когонибудь. «Мы, русские,— сказал капитан,— не звоним для ночного клиента — брезгуем. Французы звонят, получают от дома франков по тридцати. Есть же особые типы, которые ждут именно нашего брата, и как он остановится — раз, позвонил. Ему и перепадает».

Капитан рассказал этот «так вообще», но генералу показалось, что не ему ли рекомендует он...

— Колоннами и массами! Трах-тарарах-тах-тах...

И снова:

— Редко-Конопленко, Редко-Конопленко...— чудно маршируешь под такую фамилию.

Генерал именно и маршировал, когда в дверь постучали.

Дора Львовна заглянула осторожно. Генерал любезно поклонился. Дора вошла, деловито окинула кухонку (уголь кончился, на плите готовки не видать. На столе чашка допитого черного кофе. «Молока нет!»).

— Мне раз в неделю доктор велел сидеть дома, чтобы сердце не переутомлять. Сегодня именно такой день. Я хозяйничаю, сварила борщ. Рафаила нет, одна я терпеть не могу завтракать. Заходите ко мне, Михаил Михайлыч...

Она смотрела на него черными глазами внимательно, серьезно и благожелательно. «Я прекрасно понимаю, что ты горд и не захочешь показывать своего нищенства, но ведь и я зову тебя совсем просто, как равный равного».

Дора была осторожна: разумеется, генерал не такой, как Капа, все же опыт показывает, что когда даже со здоровыми обращаешься, как с дефективными, выходит лучше.

Она приготовилась к возражениям. Но генерал сразу согласился.

Через несколько минут он сидел уже у нее. Перед ним тарелка борща со сметаной, в борще плавают шкварки. Нашлась даже пузатенькая бутылочка с травинкой — остаток зубровки от Рафина рождения. Генерал повеселел. Он уговорил и Дору выпить за здоровье «будущего колониального деятеля».

— Ну как он там, на юге, а? Веселится? Смотрите, не оглянетесь, за дамами начнет ухаживать.

Дора засмеялась. Рюмка зубровки прошлась теплым туманом. Какой приятный день — весенний! В три придет Анатолий, может быть, они вместе уедут в Фонтенбло, на неделю... и вообще, все должно же выясниться. Но во всяком случае отлично. Он сказал — нужно искать вместе квартиру. Разумеется. Хотя он и не ходит теперь к Капитолине, все-таки она на той же лестнице.

— Мой Рафаил все под вашим влиянием, Михаил Михайлыч. Знаете, он и в Ницце, среди разных еврейских дам собирает на вашу церковь...

— Не церковь-с, а скит, это Мельхиседекова затея. Я и сам не знаю, чтó из всего этого выйдет. Если такие сборщики будут, как я, то Никифор с Мельхиседеком далеко не уедут. Разве вот Рафаил выручит. С еврейских, говорите, дам на православных монахов? Молодчинище!

Генерал откровенно захохотал. Дора тоже улыбнулась.

— А вы, кажется, дочь свою сюда ждете, из России?

Генерал перестал смеяться.

— Да, жду. Да, жду. Пока еще не выпустили. Семь раз отказали. Но она упорная, упорная. В восьмой добивается. И нужны деньги. А вы думаете, их легко мне достать?

Дора знала о генеральской бутылке с полтинниками. Но сейчас не заикнулась: опытным глазом видела, как он жадно ел — какие уж там полтинники... Впрочем, она ошибалась в одном: сбережения были целы. Генерал их не тратил, но решил: пока нет работы, копить нельзя. И насколько упорен был в одном, столько же и в другом. Новенькие монетки, попадавшиеся при сдаче, несколько жгли руку. В бутылку он их все же не клал. «Безработный, не имею права-с... должен держаться. В стрелки не пойду-с...»

Завтрак кончился. Генерал собирался уходить, подошел к ручке Доры. На лестнице послышались голоса. Дора отворила

дверь. Генерал вышел на площадку, высунулся в пролет — быстро побежал вниз. Дора нагнулась над перилами. Кого-то медленно, поддерживая, вели вверх. Показалась фуражка шофера, Людмила. Генерал поддерживал Капу с другой стороны.

Ноги Доры похолодели. Неприятно было бы двигать ими. Капа бесцветными, несколько осоловелыми глазами провела по всему окружающему, пока Людмила вставляла дверной ключ. Запахло Людмилиными духами.

Через несколько минут, уложив Капу, Людмила мыла в кухне руки. Ее худое, изящное тело было в некоем волнении. Брызги из-под крана попадали на рукава.

— Вечные с ней истории. В двенадцать часов съела в ресторанчике мерлана. И, конечно, именно ей и попался несвежий. Тошнота, рвота... хорошо, что и я нынче случайно там завтракала...

Дора стояла лицом к свету. Была несколько бледна, черная выбившаяся прядь, как и древние глаза, придавали ей оттенок Рахили.

— А какой у нее пульс?

— Я того же самого мерлана ела — мерлан как мерлан, ничего не случилось... Ну, впрочем, ведь это Капка. У нас в Севастополе пароход один такой был. То пожар на нем, то взрыв большевики устроили. Выйдет в море — сейчас буря. Просто двадцать два несчастья. Назывался он как раз «Капитолина».

— У нее сердце слабое,— сказала Дора.— Я еще по гриппу помню. У меня есть дигиталис. А вы пульс пока посчитайте.

Генерал поднялся наверх («если что нужно, пусть постучат в потолок»). Дора прошла к себе, принялась разбирать на полке скляночки. «Я снова при ней... Сейчас придет Анатолий, а я тут». Все получается как-то странно. «Пароход «Капитолина...» Эта угловатая девушка со своими глазищами и невропатологической конституцией просто входит в ее жизнь. Дора знала себя. Теперь уж не может она не найти дигиталиса (да и вот он как раз с беленькой наклейкой, капельницей при склянке). Доктора никакого не надо. Эта Людмила посидит десять минут, оставит след дорогих духов и уедет в maison[1]. Но кормить и лечить будет она, Дора, полудоктор, полумассажист, полублагодетель человечества. «Это всегда так было. Деньги, помощь, лекарство, это я. Тот самый Бог, в которого верят генерал с Рафаилом и все Рафаиловы архиереи, выбрал для разных христианских дел меня, еврейку, а не христианку». По добросовестности своей Дора тотчас же поправилась: «Впрочем, я не

[1] фирма (*фр.*).

возражаю. И не отказываюсь. Тем более, что и Бог, если он существует, конечно, один и для христиан и для евреев».

Все это так — и все же... что-то связывало ее с этой «Капитолиной». И не спрашивали ее, хочет она того или нет.

Когда Дора вернулась, Людмила грела на кухне воду. Пульс оказался, конечно, слабый. Капа покорно приняла дигиталис. Лежала на постели, укрытая старой шубкой, остроугольная, ставшая совсем небольшой. Дора сидела с ней рядом, будто здоровье и судьбу ее взвешивала на медицинских весах белыми своими руками.

— Теперь вам будет лучше. Сердце правильней заработает. Организм легче одолеет яды.

Дора говорила ровно, твердо, как с больными. Но собственное ее сердце, хоть без дигиталиса, билось довольно сильно — несколько больше, чем бы полагалось. «Все равно надо молчать, сохранять спокойствие».

Она не потеряла его и когда раздался стук в дверь ее квартиры.

— Ко мне прачка. Я потом зайду еще...

— Людмила,— сказала Капа, когда она ушла.— Как ты думаешь, справедливость существует на свете?

— А на что она тебе?

— Ну, да так это я говорю, вообще...

— Нет. Не существует.

— И я так думаю.

Людмила не весьма одобряла философствования. И промолчала. Но полежав немного, Капа опять заговорила.

— Это Дора ко мне всегда очень добра. Я ничего кроме хорошего от нее не видела. И все-таки ее не люблю. Разве это справедливо?

Она перевела на Людмилу серые, пещерные глаза и вдруг холодно доложила:

— Просто не люблю! Она сиделка из больницы.

Людмила усмехнулась.

— Твое дело. И твое право. А в жизни, милая моя, существует только сила, ловкость да удача.

— А у кого нет удачи?

— Нет, Капка, я не стану с тобой разглагольствовать. На-ка вот тебе грелку.

И положила ей к ногам горячие бутылки.

— Я эту Дору вовсе и не хочу видеть, а она тут. Если бы Анатолий зашел... но его именно и нет. Совсем пропал. Все дела, дела. В Фонтенбло надо картины американцу предлагать...

«Все врет, разумеется, какие там американцы» (Людмила вслух этого не сказала).

— Говорит, если хорошо заработает, повезет меня летом на юг.

На месте Доры сидела Людмила. Глаза ее действительно были сини и холодноваты. Но Капа с любовью взяла ее длинную руку с тонкими, такими изящными пальцами, погладила.

— Я думаю, он никуда меня не повезет.

Теперь Людмилину руку поднесла к глазам, погладила, поцеловала.

— Как мне тепло от твоей грелки. Я скоро оправляюсь. Очень тебя люблю.

Людмила докурила, решительно затушила окурок, нагнулась к Капе. В глазах ее что-то дрогнуло. Она поцеловала Капу.

— Ну, если у меня одно дельце удастся, то тебе действительно перепадет. Тогда везу тебя в Жуан-лэ-Пэн.

* * *

Анатолий Иваныч сидел на сомье, слегка расставив ноги. Пестрые носочки выглядывали из-под брюк — чудно разглаженных. Блестели ботинки. Голубые глаза его ласково улыбались, седоватые волосы разобраны на боковой пробор. Увидев Дору, он встал, все улыбаясь, поцеловал ей руку.

— Дорочка, я страшно рад вас вдеть.

Дора Львовна, слегка смутившись, поцеловала его в лоб.

— Ну и я тоже... Да видите какая история.

Она рассказала про Капу.

— У нее сердце слабое. Сами по себе явления отравления несильны, все-таки я дала дигиталис.

— Ах, Капочка... да, бедная Капочка.

— Понимаете, ведь она лежит тут совсем рядом, чуть не за стеной.

— Да, за стеной...

— Опасности нет, но... да.

Дора Львовна не совсем могла выразить, что-то ее смущало. Надо бы ехать в Фонтенбло...

Анатолий Иваныч рассеянно, не совсем покойно пробежал глазами по комнате.

— Дорочка, вы знаете, у меня такие дела... Но на ближайших днях должно выясниться. Мы с Олимпиадой Николаевной одну перуанку обрабатываем, если удастся — а уже на девяносто процентов удалось, она в принципе покупает... то не менее

тридцати тысяч. Все это требует расходов... ах, ужасно трудно, Дорочка...

Дора Львовна сидела, слегка потирая крепкие свои руки. Ей определенно теперь казалось, что река, довольно быстрая, с неким головокружением в водоворотах, несет ее...

— Только бы мне сейчас перевернуться, эти несколько дней. А там мы могли бы уехать.

— Будем говорить прямо,— голос Доры был покоен, лишь слегка глуше.— Нужны деньги? Сколько?

Анатолий Иваныч изобразил на лице тревогу, удивление, некоторое волнение.

— Мне... мне ужасно неловко.

Дора Львовна встала.

— Я не Стаэле,— сказала она, подходя к письменному столу.— Больше пятисот не могу дать.

— Через несколько дней...

Она улыбнулась.

— Ну, там увидим.

В окно глядело все то же нежно-голубоватое небо с сеткой тонких ветвей садика Жанен. В фонтенблоском лесу грандиозные дубы еще сложнее, могущественней простирают ввысь арматуру свою. Как далеко!

«Что же тут удивительного? Разве могло быть иначе?»

Дора опять села у окна. Анатолий Иваныч спрятал бумажник. По лицу его ветерок носил улыбку — смесь ласковости и униженности — что-то хотел сказать, да не выходило.

— А в Фонтенбло соберемся, как только немножко с делами...

«Это естественно. Вольно же мне было лезть со своими романами».

— Дорочка, вы как-то расстроились, почему это?

Он подсел совсем близко, взял ее руку, гладил, пристально на нее уставился. Опять глаза изменились. В голубизне их что-то подрагивало, влажнело. Дора тоже пристально на него смотрела. «Нет, все-таки не жиголо. Все-таки он не жиголо».

— Если вам неприятно, что я попросил взаймы, то могу вернуть...

«Если бы был настоящий жиголо, проще бы и вышло». Он отнял руку, потянулся к боковому карману с бумажником. Глаза в тайной глубине своей отразили такую тоску... Дора улыбнулась.

— Мне ничего не неприятно.

Он в нерешительности остановил руку — ехать ли ей дальше за бумажником, повернуть ли к ласке Дориной руки? Но последнее было приятнее. И выгоднее.

— Я сам очень стесняюсь брать у вас... но всего на несколько дней.

— Напрасно стесняетесь. Ничего нет плохого.

«Как глупо, что я Рафаила отправила. Ах, как все глупо!»

— Насчет Фонтенбло вы не оправдывайтесь,— сказала она вдруг твердо, как полагалось Доре прежних, рассудительных лет.— Куда же там ехать.

И встала. День кончался. Некая дверь захлопнулась. Из-за той двери, тем же разумным голосом произнесла Дора:

— Мне пора к Капитолине Александровне. Во всяком случае, надо следить за сердцем. Я бы советовала и вам зайти, но позже. Не надо, чтобы она знала, что вы были здесь.

* * *

Людмила действительно скоро ушла. Дора сменила ее как раз вовремя, вовремя сняла грелки, дала теплого молока, померила температуру — вообще захватила Капу в некую медицинскую сеть. Капа испытывала двойное чувство: раздражения и необходимости быть благодарной. Что она могла возразить? В чем упрекнуть? Дора делала все первосортно. Все — необходимое и полезное. Людмила была мила, но уехала. Дора же въехала. Людмила подруга, Дора соседка. Но из Дориной сети не выбьешься, да и выбиваться не надо — все ведь и правильно, и полезно. Сопротивляться нельзя. «Если она сейчас банки решит ставить, то и поставит, если найдет полезным дать касторки — проглочу». А если не было бы Доры? «Ну, и лежала бы одна, как собака... разве генерал бы зашел...» Значит, нельзя не быть благодарной.

А Дора как, нарочно, в ударе — вся полумедицина эта ее заполонила.

Физически Капа чувствовала себя к вечеру уже прилично. Она лежала с прищуренными глазами, смотрела, как Дора, у стола, в больших роговых очках читала газету. Капа — одна замкнутая крепость, Дора другая. Дора не знала, что делается в этой голове с серыми глазами, полузакрытыми. Дора для Капы далеко не та, что в действительности — и за белыми ее руками нельзя распознать, что газету она читает машинально, мало что понимая. Но чувствовали обе одно, общее: невесело, неловко друг с другом.

— Как вы думаете, много в меня яду попало?

Дора отложила газету, сняла очки.

— Не особенно. Все-таки, этот рыбий яд очень силен.

— Еще какую-нибудь косточку пососала бы и конец?

— Возможно.

Капа помолчала.

— Нет, гадость эти отравления. Я бы травиться не стала.

— Ну еще бы, надеюсь!

«Хорошо надеяться... Здоровенная, живет отлично, сына обожает».

И не совсем доброжелательно спросила Капа:

— Что же, вы очень боитесь смерти?

Дора смотрела на нее пристально. Черные ее глаза овального разреза, нос с горбинкой, полноватые щеки показались Капе особенно еврейскими.

— Всякий разумный человек боится смерти.

— А я не боюсь,— сказала Капа вызывающе.— Я даже люблю смерть. Во всяком случае, больше, чем жизнь.

— Люблю смерть... Не очень-то верю, что это вы серьезно.

Капа почувствовала глухое раздражение. Что-то злое в ней поднималось.

— Вы, евреи, особенно всегда цепляетесь за жизнь. Животное чувство!

Дора тоже начала волноваться.

— Вы признаете и самоубийство?

Капа поморщилась.

— Гадость. Мерзкое занятие. Крюк, петля или разные эти вероналы.

— По христианскому учению, как я слыхала, самоубийство грех?

— Считается. Мало ли что считается.

— Вы же ведь сами против.

— Против. Но грех или не грех, это совсем другой вопрос.

— Я не знаю, грех или нет,— сказала Дора.— Но, по-моему, самоубийство слабость. Вы упрекаете нас в животном чувстве, но если мы боимся смерти, то не боимся жить. А ведь бывает так, что для жизни не меньше нужно мужества, чем чтобы умереть.

Капа отвернулась к стене.

«А я, может быть, как раз жить-то и боюсь, но все равно никогда ей этого не скажу. Не люблю и не скажу. Она добродетельная, а я не люблю. И вообще ничего не хочу говорить. Вот еще, затеяли философские рассуждения...»

Дора надела роговые очки и опять принялась за газету. Сердце ее билось. Она читала о каких-то сменах в министерстве и о том, что в Германии непокойно. Теперь уже все понимала, но волнение ее не улеглось — скорее, даже возросло, лишь в несколько иную сторону. Мало было дела до министерств,

партий и раздоров. Все это скользило. И не удивилась она за своими очками, когда вдруг из-за газетного листа выплыла набережная Ниццы. Аккуратный мальчик в спортивных штанах поглядел на нее милыми, темными глазами. Рафа, Рафа... И он, конечно, уйдет. Но сейчас еще с ней, какая радость... «В сущности, ведь сегодня ничего и не произошло...»

На поверхности это так, в глубине не совсем, но сейчас Дора больше склонна к поверхности и, заглушая в себе что-то, перестраивалась на обычный лад — как неразбитая армия на другой день после не совсем удачного сражения.

— Дора Львовна,— сказала в некий момент Капа со своей постели из глухого, одинокого своего мира,— я совсем отдышалась. Благодарю за заботу. Идите, что же вам тут со мной...

Дора ее осмотрела и нашла, что правда ей много лучше.

— Я пришлю к вам Валентину Григорьевну. А перед сном зайду сама.

УДАЧИ

Перуанка живет в Булони, недалеко от парка. Такси летит по длинной, прямой аллее, мимо оранжерей. Кое-где зелень, нежная еще, весенняя. Цветы промелькнули. Каштаны, сводом нависающие. Анатолий Иваныч держит между колен небольшую картину, тщательно завернутую и перевязанную. Смотрит на счетчик. Никакие почки, шелка Веронеза в небе не занимают его. В кармане семь франков. На повороте выскочила цифра девять. Машина несется теперь по avenue Victor Hugo. Анатолий Иваныч снял шляпу, обтер лоб.

Остановились у хорошей виллы — с решеткой, чистым палисадником, дроздами в нем, с плавным блеском зеркальных стекол. Калитку отворил человек в фартуке. Анатолий Иваныч держал теперь картину под мышкой и, слегка расставив ноги в брюках свежейших, вопросительно на него смотрел.

— Madame только что выехала.

— Мне назначено в три с половиной.

Фартук спросил имя.

— Да, есть письмо. Сейчас.

И зашагал в дом. Анатолий Иваныч так же стоял, в той же позе. Шелка Веронеза с неба отражались в глазах его, сзади счетчик нащелкивал за стоянку.

Письмо оказалось кратко — не уверена, сможет ли купить, просит обождать. Через неделю сообщит окончательно.

Анатолий Иваныч вновь отворяет дверцу такси.

Снова Булонь, в обратном потоке, а затем и весенний Па-

риж — по заказанному, в мгновенном прозрении адресу. «Ну, а если и того нет дома?»

Остановились близ Этуали, у подъезда антиквара. Анатолий Иваныч не глядел уже на счетчик. На него же смотрели из двух небольших окон лукутинские табакерки, иконы в серебряных окладах, старинные перстни, ждущие покупателя.

Хозяин, веселый русачок из неунывающих, встретил очень приветливо.

— Денег? Сию минуту!

Вынул бумажник, осмотрел, спрятал, отодвинул ящик старинного столика с инкрустациями. «Ах, скажите вы ей, цветы мои, как люблю я ее-е...»

— Не видать, не видать... Да, в жилете посмотреть, во вчерашнем.

В жилете оказалось три франка.

— У меня тут такси, надо заплатить...— Анатолий Иваныч бледноват, но русак успокаивает.

— Пустяки, подождите минуту, я тут у знакомого портье всегда занимаю.

И выхватив голубенький платочек-пошетку, слегка надушенную, выскочил без шляпы на улицу. Его стриженая голова промелькнула на тротуаре — «как люб-лю-ю... я е-ее...»

Анатолий Иваныч сидел молча. Глаза бессмысленно глядели на улицу. Автомобили, камионы, пешеходы в них проплывали.

Хозяйская голова вновь проследовала под окнами — в обратном направлении. В лавке он слегка загрустил.

— Вообразите, у портье как раз нынче выходной день! Он мне всегда охотно... сотню, другую. А такси ваше все тут...

Анатолий Иваныч ослабел. Тощий утренний кофе у стойки, хлопоты, волнения дня... Забраться бы под столик у витрины, притулиться, тихо сидеть, чтобы никого, никого... и такси проклятого бы не было...

Вдруг хозяин взял его за руку, другую поднял, в знак молчания — немая сцена, как из «Ревизора». Но не жандарм в дверях, женская голова остановилась перед витриной. Анатолий Иваныч пригнулся. Хозяин его как бы гипнотизировал — да пожалуй и ту, на улице?

И вот наружная голова медленно повернулась, в направлении входа. Англичанка вошла, действительно, в первую комнату, и туда же выпорхнул хозяин, и на заморском своем языке изъяснила она, что хочет купить небольшую икону.

Так внезапной Судьбой появилась англичанка в апрельский день в лавке и, оставив двести франков, с посредственною

иконкой удалилась в пространство. Хозяин же вскочил во вторую комнатку — перед носом Анатолия Ивановича положил сотню.

— Вывезла! Вы-вез-ла!

И вновь прискакнул.

Ушла вся гроза такси.

* * *

Худенькая старушка Зоя Андреевна с утра ушла — понесла сдавать разрисованные сумочки. Давно апрельское солнце стоит над переулком. Но Валентина Григорьевна еще в постели: долго сидела ночью над платьем к сроку. Солнце пустило золотой нож сквозь щель портьеры — он перемещался и дополз до светловолосой головы, полной «складов», «сборов», «годэ»[1]. Усталая голова не двинулась. По улице, куда глядело окно, медленно проходил с козами овернский пастух. На дудочке наигрывал простенький напев (точно и не в Париже находишься — в далекой деревенской стране). Этой дудочкой предлагал козье молоко, тут же выдаивая. Или кусочек овечьего сыра — сыр вез на двуколке.

Козы мирно постукивали копытцами. Мелодия переливала двумя-тремя нотами. Каштаны в саду распустились зеленью светлой — скоро зацветут: один белыми свечками, другой розовыми.

Валентина Григорьевна проспала дудочку — хоть и любила ее («безусловно пастушок хорошо играет, но у нас в Сапожке разве такое было стадо!»). Она проснулась позже, когда золотой нож полз уже по стене. В комнате было тепло, надышано, слегка пахло духами.

На столе недоделанное платье, утюг, булавки, ножницы — все нехитрое вооружение портнихи. Понежившись, Валентина Григорьевна встала. Как всегда, накинула розовый халатик, довольно «миленький», вышла в столовую, где спала Зоя Андреевна. Столовая как столовая, и старушка, уходя, оправила свое сомье, на столе холодный кофе. Все как будто обычное — и вдруг сердце остановилось: левый угол — поток, ручей, с потолка струящийся. Уже озерцо на полу, обои холмисто вспузырились по пути новой реки. «Боже мой, наводнение!» Как была в розовом халатике, лишь придерживая бюст, выскочила на лестницу, кинулась наверх, в коридор одиночных комнат.

У Левы выходной день. Он пришил уже себе две пуговицы, разгладил брюки и занялся делом деликатным: разоблачил сомье,

[1] От *фр.* goder — топорщиться; особый покрой юбки.

поставил стоймя и из насосика, заранее припасенного, стал опрыскивать флейтоксом. Лева аккуратен и хозяйствен. Одет прилично, «чистенько», из заработка откладывает, и мечтает купить кусок земли под Парижем. На сберегательной книжке у него тысяч десять.

Стук в дверь смутил его. Развороченное сомье, подозрительный запах...

Никак не улыбалось, чтобы застали за этим занятием. Быстро накинул пиджак, проскользнул в коридор: дверь за собою закрыл.

— Лев Николаевич, прямо ужас, к нам течет, короче говоря, как река сверху, наверно, кран забыли закрыть...

Из-под двери соседней комнаты выступила в коридор лужица, все увеличивающаяся.

— Это у проклятого китайца... ушел, мерзавец, забыл кран закрыть... То-то я слышу, журчит что-то рядом в комнате...

— Ведь нас там затопит...

— Не беспокойтесь, Валентина Григорьевна...

Лева в свое время воевал, наступал и отступал — вообще видал виды. Его худое лицо, с красивыми глазами, было довольно твердо и не нервно. Он ясно знал, где правая сторона, где левая, как сидеть у пулемета или за рулем.

— Консьержку, консьержку,— кричала Валентина Григорьевна.

Лева пробовал открыть своим ключом. Ключ не подходил. Внизу, на генераловой площадке, отворилась дверь.

— Что такое? — спросил генерал громко, недовольно.— В чем дело? Кто шумит?

Но Лева уже летел к нему.

— А-а... наводнение! Так, та-а-ак-с... Желаете попробовать моим ключом? Могу.

Лева оказался очень быстр в движениях. Но генерал тоже заинтересовался — медленно стал подыматься, в пиджачке своем, еще не бритый, с таким видом, как обер-полицмейстер прибывает на пожар. Вежливо, но «с достоинством» поздоровался с Валентиной Григорьевной.

— Короче говоря, как река у нас по стене...

— Да, уж эти домишки... Н-да, разумеется. А? Молодец поручик, поглядите, открыл.

Лева с сосредоточенным, почти злым лицом, точно врывался во вражеские окопы, вскочил в комнату соседа.

— Неприятельская позиция взята,— сказал генерал.— Трах-тарах-тах-тах, колоннами и массами. Хотя по законам республики и нельзя взламывать чужих дверей, но для русских орлов нет законов.

Лева быстро закрыл кран. Бедствие прекратилось. Началась идиллия. Валентина побежала к себе за тряпками, Лева пустил в ход свои. Хотя он и быстро открыл и закрыл дверь, генерал успел увидать водруженное ложе. Пахнуло флейтоксом.

— Осторожней с огнем, поручик, выведение клопов преопасная штука...

Лева сердито на него взглянул. Снизу подымалась разрумянившаяся, засучив рукава, с тряпками и шваброй Валентина Григорьевна.

Китайскую комнату быстро подтерли. Дверь опять заперли. Генерал поглядел, сделал два-три замечания. В виду успешного конца боя, отбыл к себе в штаб.

— Ну это прямо какое-то безобразие,— говорила Валентина Григорьевна.— И притом, надо еще у нас в квартире убрать... просто хоть на лодке плавай.

Лева вызвался помочь. Это естественно. Хотя виделись не часто (слишком завалены работой оба), все же некая дружески-кокетливая близость установилась. «Безусловно порядочный человек, почти красавчик, чистенько одет».— «Вполне приятная дама, очень...— тут Лева загадочно про себя улыбался.— И отличная хозяйка».

Благополучные пожары, кораблекрушения сближают. Лева и Валентина Григорьевна чувствовали уже себя соратниками. В столовой порядок быстро восстановился — Валентина все подтерла. Тело ее легко и весело изгибалось, лишь рукою упорно и стыдливо придерживала она ворот халатика — чтобы не распахнулся.

— Теперь, в общем, по-человечески. Я всегда была чистюлей. Мамаша, разумеется, ужаснется, но кто же виноват? А вот, если вы смелете кофе, то у нас уже и пти деженэ[1] готов...

Лева молол с удовольствием. Валентина кипятила молоко, потом перед ним мелькала ее белая шея, очень нежная и теплая. Солнце светило, каштаны зеленели.

— Какая вы... хозяйственная. (Лева хотел сказать что-то другое, но не вышло).

— Видите, кофе в два счета. В нашей жизни безусловно на все руки надо: и тебе фасончик для дамочки, и на кухне, и стирка... Мне покойный муж еще говорил: ну, ты у меня быстрая... А уж мой характер такой — люблю, чтобы все вокруг кипело, терпеть не могу скукоты всякой...

«Да уж с ней не соскучишься»,— думал Лева, глядя на ее кругловатое и миловидное лицо с мелкими чертами, светлыми

---

[1] легкий завтрак (*фр.* petit dejeuner).

и немудрящими глазами — все вывезено из родного Сапожка, и никакие Европы ничего не поделают.

— Ужасно, как томительно одному жить,— сказал вдруг Лева.— Возвращаешься, знаете, вечером, как в берлогу.

— Это, разумеется, понятно.

— Целый день машина да машина. Только и смотришь, кого бы шаржнуть[1]. Нервы устают. На минуту зазевался — аксидан[2]. Контравансион[3].

Он задумался.

— Тогда вам надобно жениться,— вдруг сказала Валентина.

— Из наших многие и на француженках женятся... — Лева говорил несколько смущенно, точно оправдывался за «наших».— Впрочем, есть и русские.

Валентина Григорьевна встала.

— Конечно, и на француженках...

Лева не совсем понял, но как-то само вышло, он взял ее за руку. Серые его глаза, красивые глаза, на Валентину уставились.

— Но есть и русские... Русские-то сердцу ближе,— сказал тихо, глухо.

Валентина Григорьевна покраснела.

— Пустите руку...

Но он крепче пожал ее.

— Русские-то сердцу ближе.

— Ну вот, как это все... в общем... такой разговор...

Руки она не отняла.

* * *

Капа спускалась по Елисейским полям. Воскресенье, шесть часов вечера. Сереющий, струистый воздух. Арка и обелиск вдали мерцают — плавно катится к ним, легкой дугою, двойная цепь уходящих платанов. Плавно летят, двумя птоками, без конца-начала машины, поблескивая, пуская дымок. Вечная международная толпа на тротуарах.

Капа хмуро глядела. Париж, Париж... Знает она эти авеню, сухих крашеных дам, узеньких, худеньких, со стеклянно-пустыми глазами, все зеркальные стекла с автомобилями. Собачки, синема, запах бензина и духов, молодые люди в широких штанах, с прямоугольными плечами.

В большом кафе назначила ей встречу Людмила. Сквозь

---

[1] От *фр.* charger — грузить, загружать, нагружать.

[2] авария (от *фр.* assident).

[3] Протокол (от *фр.* contravention).

воскресную толпу за столиками не совсем ловко прокладывает она себе дорогу. Не сразу Людмилу и найдешь! Но уселась она удобно — пред фонтанчиком с водоемом. Слева оркестр. Диван мягкий. В грушевидной рюмке порто.

— Опаздывает Капитолина, как всегда! Медленный пароход. Да, и тебе порто. Я угощаю. И везу обедать с Андрэ.

Капа садится. Черный свой выходной костюмчик недавно взяла из чистки, но угловатость, пещерность глаз, но походку не переделаешь. В кондитерской за прилавком это одно — здесь чуждо все. Порто слегка туманит. Веселит ли?

Людмила поигрывает длинными пальцами, закуривает папиросу. Оркестр играет. Духовитые дамы толкутся. Капа устремляет к ней взгляд серых глаз.

— Это кто же, Андрэ?

— Инженер французский. Мой товарищ — компаньон.

— Компаньон!

Людмила смеется.

— Ты думаешь: un petit vieux bien propre, qui crache bleus?[1]

— Я ничего не думаю.

— Капка, мне в конце концов повезло, как и полагается. Помнишь, я говорила, что одно дело налаживается? Вот и выходит.

Капа улыбается.

— Ну и что же, он тебе хоть жених?

— Там видно будет. Вроде этого. Но главное, я сказала: компаньон.

Капа совсем смеется.

— Людмила акционерное общество основала? Банк открыла?

Людмила смотрит длинными, прохладными глазами.

— Не смейся. Слушай.

И за столиком елисейского кафе начинается странный разговор русских девушек. Вернее, рассказ. Одна, скромно одетая и угловатая, слушает — отхлебывает временами порто. Другая, высокая и нарядная, рассказывает. Если б тургеневская Лиза забрела сюда, третья?

— ...Я одно время интересовалась серебряными ларцами. Есть такая работа — эмалью по серебру. А тут в мезоне[2] у нас дела все хуже и хуже, рассчитывают, сокращают. Я к антиквару одному: «Как насчет такой работы?» Он — вот уж un petit vieux bien propre! — аккуратный такой старичок, у которого наверно молоденькая содержанка: поморщился, гово-

---

[1] старая рухлядь, которая поплевывает на новобранцев (*фр.*).

[1] торговый дом, фирма (от *фр.* maison).

рит: «Эмалью не интересно. Мастику бы какую-нибудь открыть...»

Румыны играют. Дамы входят, выходят. Фонтанчик поплескивает, сумерки чуть густеют: скоро белый свет вспыхнет. И видно в рассказе, как начинает Людмила, бросив кутюрье, занимается мастиками, катает теста химические, пробует так и этак. Знакомится с молодым инженером — он как раз химик. И помогает. Но ничего не выходит. Людмила не отчаивается, продолжает месить составы.

— Но тут-то, милая моя, и начинается!

Она закуривает новую папиросу, она возбуждена, порозовела, но собой владеет.

— Ты вообрази: заходит как-то вечером ко мне Дора Львовна, со своим мальчиком — один массаж у моей бывшей клиентки наклевывался. Рафаилу скучно, он начинает все рассматривать у меня в комнате, трогать разные мои шкатулки, вещички. И попадает на эту самую мастику — последнее мое création. Мнет, катает из нее какой-то шарик. Потом слоняется по комнате с шариком этим — вижу, к стеклу его хочет прилепить,— за это уши надо бы надрать, но он такой важный и самоуверенный...— одним словом, я не обращаю внимания. Мы продолжаем с Дорой разговор, вдруг — трах, погасло электричество во всей квартире. Что такое? Пробка перегорела? Нет, оказывается, пробка цела — ты представь себе, этот тип от скуки взял да и ткнул шарик мастики моей в выключатель — он был не в порядке...— мастика залепила все и выключила.

— Что же тут хорошего?

Людмила засмеялась.

— Я и сама так думала, и Рафаил был смущен. Дора Львовна его пробрала. А на другой день я рассказываю об этом Андрэ, он подумал минуту, говорит: «Очень серьезно...»

— Ничего не понимаю.

— Не нашего с тобой ума дело. А оказалось: я случайно, делая из разных составов теста, наткнулась на такое, которое совершенно неэлектропроводно!.. Потому и погасло все сразу — он ток прервал.

...Андрэ стал пробовать — результаты замечательные. В электрической же промышленности как раз над этим и бьются — именно не могут достичь *полной* изоляции. Мы с Андрэ теперь патент взяли.

Капа усмехнулась.

— Так что ты, Людмила, вроде Эдиссона?

— Смейся. От одной фирмы уж аванс получили.

— А с Рафой поделились?

— Не болтай глупостей. Мастику я открыла. Он мне электричество испортил. Он и знать ничего не должен. Поняла?

Ее большие, ставшие вдруг строгими глаза уставились на Капитолину. «Бросить все эти глупости. Никаких нет Рафаилов и мастик. Тебе перепадет. И тебе только. А вот и Андрэ. Значит, семь часов».

МЕЛЬХИСЕДЕК

Кролики попрыгивали в саду. Кудахтали куры. Monsieur Жанен, старенький, худенький, в туфлях и заношенном рединготе окапывает куст крыжовника. Каштаны одевают зеленеющей, струящейся тенью крышу его дома и его кур в клетках, и его жену с бархоткой на шее. Каштаны зацвели! Один белыми, пухлыми свечками, другой розовыми.

К генералу постучал почтальон. «Из России!» — мелькнуло у Михаила Михайлыча, когда он увидел книгу расписок. И замерло сердце, в сжатии холодеющем. Но письмо вовсе оказалось не из России, а за краснорожим почтальоном с пропинаренными щеками появилась легкая седая борода над монашеской рясой.

— А-а, милости прошу! Пожалуйста, о. Мельхиседек!

В маленькой прихожей произошла толчея: все трое сгрудились у двери, и почтальон немало удивился, когда один старик в поношенной военной гимнастерке сложил руки лодочкой, подходя к другому в рясе, и поцеловал ему руку. А тот его в висок. Нигде в почтовых отделениях, ни в бистро не видал Жан Лакруа таких странных приветствий.

Военный старик не сразу нашел крестик против своей фамилии, подписал и, сказав с иностранным выговором: «attendez un moment»[1] — стал шарить по карманам. Лакруа знал, что русские охотно дают на чай, даже невзрачные. Но тут вышла заминка — очевидно, не оказалось мелочи. Тогда старик в рясе запустил руку в свой карман, сказал что-то, и полтинник переехал к почтальону.

— Спасибо, о. Мельхиседек, выручили. Рад вас видеть, всегда рад!

Мельхиседек перекрестился, вошел в комнату.

— Давненько у вас не был, Михаил Михайлыч. По правде говоря, и дел много, вне Парижа странствовать приходится.

Генерал вскрыл ножичком заказное письмо.

— Я оказался плохим вам помощником, о. Мельхиседек: как, впрочем, и думал, да и вас предупреждал. На подписном листе всего пятьдесят франков, от жильцов здешнего дома...

---

[1] «подождите минуту» *(фр.)*.

Мельхиседек поклонился.

— Сердечно благодарю. И от себя, и от лица братии новооткрытого Свято-Андреевского скита.

Генерал прочел письмо, улыбнулся.

— О. Мельхиседек, вы добрый вестник. Смотрите, в письме сто франков. Олимпиада Николаевна, дай Бог ей здоровья... Ладно. Еще пять вам приписываю, на лист. А скит, говорите, уже открыли? Ну, пожалуйста сюда, к окошку.

Мельхиседек поблагодарил, сел в небольшое креслице. Худые свои руки сложил на коленях, слегка поигрывая пальцами.

— Открыли, Михаил Михайлыч. О. Никифор уже геройствует. Архиепископ освятил.

— Так, так-с, и великолепно. Поздравляю.

Мельхиседек помолчал.

— А как вы поживать изволите, Михаил Михайлыч?

— Да ничего, ничего... В сущности, табаковатисто — но креплюсь. Машеньку жду.

Он прошел взад и вперед, слегка пощелкивая за спиной пальцами.

— Да, жду, продолжаю ждать. И такие мысли приходят: ну, дождусь, приедет она к голодному отцу, да не знаю еще, где ее встречу. За комнату третий месяц не плачено. Пока терпят. Из-за прежнего. И что же... еще на Машенькины плечи себя встаскивать?

— Вы этого никак не знаете. Мало ли как может обойтись.

— У Машеньки уж будто все готово. Через три недели обязательно. Да вот и сомневаться начал. Тянут и тянут ее, анафемы...

— Сами знаете, что за страна. А ведь я,— Мельхиседек опять улыбнулся выцветшими, голубыми глазами,— я ведь вам предложить хотел к нам съездить. Думаю: наверное, ему нелегко в Париже этом, в городе-Вавилоне, а у нас бы пожили недельку-другую, ведь деревня всего-то отсюда час езды и не дороже станет, чем здесь по метро по этим околачиваться.

— Вы хитрый человек, о. Мельхиседек, я вас давно ведь знаю.

— Где же тут хитрость-то, Михаил Михайлыч?

— Ну, уж я знаю...

Генерал замолчал. Мельхиседек смотрел в окно на женевские каштаны.

— У нас в обители древние дерева. Много этих постарше — и поболее. Один дуб — сам святой сажал, говорят, основатель аббатства. И лесов кругом много. Тишина, благоухание... Намоленное место, Михаил Михайлович, сами увидите.

Генерал внезапно перед ним остановился.

— Да, позвольте, я не договорил. Тут у нас в доме еще один благотворитель оказался, я и забыл... А-а, ха-ха! Сейчас вам его доставлю. Этот посолиднее меня. Его с колокольным звоном встречать...

И генерал быстро прошел в переднюю, отворил дверь на лестницу, вышел.

Через несколько минут стоял он перед Мельхиседеком с Рафой. У того в руках была бумажка.

— Подписной лист номер сорок третий. Позабыли, наверное, о. Мельхиседек? Мы еще тогда смеялись, а посмотрите-ка...

Рафа был несколько смущен, но сдерживаемая гордость в нем чувствовалась. Он поднял черные свои глаза на Мельхиседека.

— Я ездил в Ниццу и жил там у одной моей тети Фанни. Она позволила мне собирать на ваш... couvent[1]. Я объяснял нашим дамочкам, что это на бедных детей, т. е. для сирот и еще разных других. Они говорили, что если там приют для детей, то они согласны давать, а вот...— тут сто пятьдесят франков.

— Молодчина, Рафаил,— сказал генерал.— И мать обобрал, и тетку, разных бриджевых дам. И сам подписал, из собственных сбережений. Как же не с колокольным звоном.

— Одна знакомая голландка, госпожа Стаэле,— продолжал Рафа уже совсем важно,— обещала мне вносить за какого-нибудь мальчика ежемесячно, если только ей пришлют фотографию всего... etablissement[2] и портрет ребенка, и его письмо.

— Какой славный мальчик! Милый мальчик,— сказал Мельхиседек, перекрестил Рафу и поцеловал его в лоб. Потом взял за обе руки и, глядя прямо, продолжал тихо и очень серьезно: — Ты помог и нам, и таким же мальчикам, как и ты сам.

— У нас, милый человек, уже десять живет ребят, да не таких, как ты. У тебя мама, она тебя любит, у тебя квартирка, ты начинаешь учиться... Одет хорошо. А наши дети — в большинстве сироты или попавшие в чужие семьи, иногда столько зла, горя, грубости уже видевшие. Мы стараемся их отогреть, просветить, научить закону Господа Иисуса. Наш общий друг Михаил Михайлыч говорит, что тебя надо с колокольным звоном встречать: это шутка, но я действительно тебя очень благодарю.

Рафа слегка застыдился.

— А можно мне было бы посмотреть тех мальчиков?

---

[1] монастырь (*фр.*).

[2] Здесь: семейство (*фр.*).

— Отчего же нельзя. Разумеется можно. Приезжай с Михаилом Михайлычем. Даже — раз уж у тебя такие знакомства: просто нужно приехать! Посмотришь, поговоришь с каким-нибудь мальчиком, чтобы он голландке этой написал...

— Так что вы считаете,— вдруг перебил генерал,— что я-то уж еду? Решенное дело?

Мельхиседек мгновение помолчал. Потом поднял на него свои голубые, выцветшие глаза, сказал серьезно, почти с некоторой даже грустью:

— Думаю, Михаил Михайлыч, что решенное.

Генерал не ответил. Рафа задумался — пустит ли мама?

* * *

«Мельхиседек у нас летательный»,— говорил о нем архиепископ Игнатий. Архиепископ, высокий, нестарый и плотный монах в золотых очках, бывший профессор догматического богословия, любил пошутить.

— О. Мельхиседек столь легок, что ему и аэроплана никакого не надо. Как некое перышко по воздуху воспаряет.

И давал ему поручения: съездить туда-то, наладить то-то, помирить одного с другим. Мельхиседек запахивал ветхую свою рясу, расправлял серебряную бороду, и действительно поддуваемый ветерком, как легкий парусник плыл: нынче в Гренобль, завтра в новый скит Андрея Первозванного, а там в городишко северной Франции.

Теперь вызван он был в Париж на несколько дней, заменить иеромонаха Луку, навещающего русских в больницах,— да кстати проверить и всю организацию посещений.

На этот раз особо настойчиво потребовал генерал, чтобы он у него остановился.

— Я соглашаюсь ехать в скит, но и вы должны прожить у меня эти дни.

Мельхиседек колебался.

— Да я, собственно, Михаил Михайлыч, на Подворье бы.

Но генерал взял его за руки, крепко сжал.

— Прошу вас. Когда вы тут...— на сердце не так тяжко.

Мельхиседек смолк. Это «на сердце тяжко» слышал он от сотен, кого за долгую жизнь исповедовал: вечная усталость, бремя, копоть души.

И остался. Впрочем, он мало бывал собственно у генерала. День проводил в разъездах, да в госпиталях севера, юга, востока и запада Парижа. Чтобы не привлекать внимания, надевал вместо клобука шляпу. И худенького старичка с белой, провеянной бородой можно было встретить и в Charitè, и у Кошена, и в

Сальпетриэр — как и в уголке второго класса метро. Он возвращался под вечер усталый, иногда даже грустный.

— Мне в Париже вашем нелегко,— говорил генералу.— Тяжкий город. Не по мне. Душно. А вот Русь-то наша, одинокая, заброшенная по больницам.

Он остановился, легким прикосновением взял руку генерала — точно хотел погладить.

— Жалко всех, разумеется. Сколько несчастий видишь...

Но через минуту прибавил:

— А в печаль нельзя впадать. Мне недавно архиепископ рассказал про одного монаха, католического. Тринадцать лет с прокаженными проживал, и сам заразился. Умирая, написал в последнем письме: «Будьте, говорит, всегда веселы, что бы ни случилось. Малейшее проявление печали мне всегда было тяжело — оно обидно Богу».

Генерал задумался.

— Это мудро выражено, о. Мельхиседек, и как все мудрое — трудно выполнимо. От печали, воспоминаний, сожалений очень трудно избавиться.

— У нас, в монашестве,— тихо сказал Мельхиседек,— первое правило — никак воспоминаниям не предаваться.

— Я не монах. Я не могу. Во мне все прежнее живет-с, о. Мельхиседек, несмотря ни на какие Парижи... Да и вы сами — я уже говорил вам — для меня часть этого прежнего...

— Значит, не все еще перемололось в вас, Михаил Михайлыч.

...Мельхиседек хорошо действовал на генерала. Ему приятно было, что этот сухенький старичок к вечеру как бы вплывал в его квартиру, иногда усталый, иногда нет, но всегда ровный, чаще всего улыбающийся и приветливый. Генерал сшивал бисерные половинки мешочков для балов. Разрисовывал яйца — выцарапывал, золотил и чернил узоры двуглавого орла. На ночь раскладывал пасьянс. А в прихожей Мельхиседек разбивал нехитрый свой шатер: всего-то тощий тюфячок. И становился на вечернее правило. Кроме всегдашних имен за кого молиться (с жильцами дома в Пасси), прибавились теперь новые: сведенный ревматизмом штурман Петров из Charitè, капитан Кобозев из Cochin — у этого туберкулез шейного позвонка — более года лежит недвижно, без подушки.

О жильцах же дома за эти несколько дней тоже узнал Мельхиседек кое-что новое.

* * *

— Конечно,— говорила Дора,— Михаил Михайлыч имеет большое на него влияние. Сама я, как вам известно, не пра-

вославная, но к религии отношусь терпимо. Влияние генерала считаю скорей даже хорошим — но согласитесь, о. Мельхиседек, что ведь это случайность, пожалуй даже и странность... Рафа, конечно, попадет во французскую школу, где все это совершенно ни к чему. Вот и сейчас: ему очень хочется съездить с вами и Михаилом Михайлычем в этот скит... Отчасти я ничего и не имею: генерала уважаю, о вас много слышала и уверена, что ничего плохого для Рафы от поездки в деревню не будет.

Дора произносила слова связно и покойно. Они имели определенный смысл, но жили от нее отдельно.

Мельхиседек тихо сидел на кончике стула.

— Может быть, его даже поразят поэтические стороны ваших служб, но для чего ему, скажите, пожалуйста, все это в лицее Жансон, куда осенью он поступает?

«И у этой женщины тайные скорби,— подумал Мельхиседек.— На уме одно, в сердце другое — тяжесть».

Когда она смолкла, он поднял на нее глаза.

— Уважаемая Дора Львовна, я ведь никак не настаиваю. Первое — хотел просто вас поблагодарить за поддержку детей наших, а второе,— я думаю, на такую поездку можно бы смотреть просто как на прогулку в деревню.

— Ах, ну да, разумеется...

— Позвольте спросить,— сказал вдруг Мельхиседек,— у вас есть ведь, кажется, муж в России?

— Да. А... что?

— Нет, ничего. Так это мне в голову зашло. Все, знаете, теперь такое неустроенное... Рафаил, стало быть, отца почти и не помнит?

— Мы с мужем давно не вместе.

Дора встала, подошла к окну. Солнце заливало каштаны. Розовые свечи еще держались, белые уже облетели. Филемон и Бавкида под зелеными волнами тени возились со своими курами, крыжовниками. «Все сложилось, конечно, неправильно и горько. Но я никого не должна винить. Если бы я была достоевская девушка, то устраивала бы сцены и истерики. Но я не истеричка. И отлично понимаю, что когда тебя не любят, то никакой силой не заставишь полюбить. Истерики бессмысленны. Да и разве он виноват? Слабый, несчастный человек. Но любить никого, вероятно, не может. Он вечно подпадает своей чувственности и беззащитен от нее».

Кто-то невидимый взял несколько быстрых воздушных нот. В паузе этой слышал ли их Мельхиседек? Дорино сердце они

пронзили. Она обернулась, встретила спокойный, задумчивый, странно задумчивый взор Мельхиседека.

— В конце же концов,— сказала тихо,— если Рафа хочет, то пусть едет, разумеется. Поручаю его вам и генералу.

Мельхиседек поклонился.

— Благодарю вас за доверие, Дора Львовна. Думаю, что раскаиваться не будете.

Воздушные ноты замолкли. Все опять стало по-прежнему, обычное и будничное. Дора Львовна Лузина со своим неудачным романом, со своими заботами, чувствами и занятиями входит во всегдашнюю свою жизнь, и в конце концов неважно, поедет или не поедет Рафа с этими двумя стариками в ненужный ей скит. Вообще ничего неважно.

Когда Мельхиседек ушел, она стала собираться — надо пойти позвонить к мадам Габрилович насчет завтрашнего массажа. «Забыть, забыть, забыть...» Габрилович, Гарфинкель, Эйзенштейн...

Мельхиседек возвратился в квартирку Михаила Михайлыча. Генерала не было. Мельхиседек не ходил нынче по больницам, он присел у генеральского столика и стал писать письма: в скит о. Никифору, знакомому в Югославию, священнику в Лилль. Майский Париж был за окном. Он посылал пестрые, нервные свои звуки — смесь напевов из радио, гула автомобилей, протяжного, отдаленного визга трамваев — все жило в солнечном свете и сливалось с зелеными веяниями, беглыми гаммами каштановых листьев под ветерком. Вероятно, эта колкая, острая (хоть и приглушенная) музыка и вызывала некое беспокойство у Мельхиседека.

Впрочем, в половине последнего письма он ощутил и новые звуки, совсем уже странные, доносились они как будто из окна и снизу.

«Все вышеизъясненное заставляет меня обратиться к Вашему боголюбию»,— писал Мельхиседек круглым почерком с большими, однако, завитками на «боголюбии». Он только было размахнулся изложить, чего ждет от боголюбия, как звуки, неопределенно ему не нравившиеся, стали определенным криком — женского, пронзительного голоса. Мельхиседек встал, подошел к окну и наклонился. «Да нет, Капочка, я ничего...» «Всегда врал, всю жизнь...» — голос Капы взлетал до высоких нот. Мельхиседек поморщился, отошел. Опять другой голос возражал, приглушенно и невнятно: будто волна спадала. Но Мельхиседек все пожимался,

неуютно себя чувствовал — волна же вдруг снова закипела забурлила, возросла...

Что-то хлопнуло, зазвенело. Мельхиседек вышел на площадку. Внизу, из квартиры Капы распахнулась дверь, быстро выскочил, пятясь, Анатолий Иваныч.

— Иди к своей дряни, иди, негодяй... через лестницу, близко... иди!

Она отскочила назад, опять что-то схватила — белая чашка ударила прямо в лоб Анатолия Иваныча — рассыпалась мелкими кусочками.

— Благодетельница человечества! Дрянь! Развратная дрянь! Лгунья! Такая же...

Капа захлопнула дверь. Дрогнула ветхая стена, зазвенело внизу. Где-то открылась дверь, кто-то в недоумении на шум высунулся. Но как раз стало могильно тихо. На площадке стоял худощавый человек в серых брюках со складкой, вытирал безупречным платочком кровь с оцарапанного лба. Потом медленно, деловито стал собирать осколки. Подняв голову, увидал белую бороду Мельхиседека — улыбнулся: нельзя сказать, чтобы улыбкой веселой!

Мельхиседек видел его на днях у генерала. Теперь спустился к нему. Анатолий Иваныч молчал и виновато улыбался. Губы его дрожали, в платочке он держал собранные осколки. И глубокая беспомощность была во всей позе — так бы и стоять неизвестно сколько, зачем?

— Пойдемте к Михаилу Михайлычу,— сказал тихо Мельхиседек.— Там хоть положите. Да и кровь опять выступила. Надо обмыть.

Анатолий Иваныч покорно за ним поднялся. Положил черепки на кухне, обмыл лоб под краном, умыл лицо.

— Как неприятно вышло... ужасно неприятно. Капа — больная девушка. Такая нервная... как рассердится, не удержишь... И начинает метать предметы. Совершенно напрасно...— вообразит себе Бог знает что...

Анатолий Иваныч глядел на Мельхиседека светлыми вопрошающими глазами.

Будто малый ребенок невинно пострадал от обидчика.

«Ему трудно уже теперь не лгать. Даже очень трудно,— думал Мельхиседек покойно.— Так все и выходит, одно к одному».

— Мне очень стыдно перед вами, о. Мельхиседек. Ужасно неловко.

— Передо мной ничего-с. Передо мной чего же стыдиться. А коли вообще стыдно...— так это даже и неплохо.

* * *

Генерал вернулся в сумерки — относил мешочки свои комиссионеру (тот устраивал их в магазин).

Мельхиседек давно кончил письма. В садике Жанена сильно сгустилась тень под каштанами. Кролики засыпали. Куры замолкли. На улице уже бледные фонари, и зеленая искра трамвая ломается, крошится в воздухе фиолетовом. Нежно-зеркален асфальт мостовой. Рубин над входом в метро струйкой стоячей отразился в асфальте. В таком вечере хорошо бродить близ Сены, меж Конкорд, дворцом Бурбонским. Но генерал был на rue Didot в прогорклом Париже старых бедных улиц, тупичков еле освещаемых, булыжных мостовых. А Мельхиседек и никуда не выходил, но смотрел в пролет между стеной и каштанами: там сияли, странно сблизившись, две крупные звезды.

— Как прожили день, о. Мельхиседек,— спросил генерал.— Как чувствовали себя под моим кровом?

— Слава Богу, Михаил Михайлыч. Хотя день был довольно странный.

Генерал зажег газ, стал разогревать суп.

Мельхиседек сначала рассказал про Дору Львовну. (Передав внешнее. О внутреннем умолчал — давно привык умалчивать о внутреннем, слишком много исповедовал, слишком знал много.)

— Так что мы теперь втроем едем, Михаил Михайлыч. И Рафаил.

— Великолепно.

— Ну, а затем попал в баталию.

Рассказал вкратце и об этом. (Спокойно и без удивления — точно так и должно было быть.)

— Да-а, ферт этот, ферт...— сказал генерал.— Доигрался. Действия на два фронта — одновременно. Контратака противника во фланг и прорыв к обозам. Но насчет Доры Львовны не полагал-с... Вот по видимости и аккуратная, солидная — да и возраст не из детских...— а тоже значит слаба. Сердце-то женское слабое, любви ищет, о. Мельхиседек. И никакими вашими постами не залить любви-с...

Мельхиседек погладил свою бороду.

— Мы и не собираемся заливать, Михаил Михайлыч. Не думайте, что мы уже такие дети, жизни не знающие. Но когда к нам приходят люди истерзанные этой жизнью и этой любовью, мы стараемся утешить...

— Так, так... Вот вам и дом пассийский, помните, вы тогда «скитом» его назвали? Хорош скиток! Нечего сказать.

— Скит, конечно, не скит, это просто жизнь, Михаил Ми-

хайлыч. Удивляться нечего, не в раю живем. Впрочем и сама скитская жизнь не без трудностей. Хоть и других конечно.

Мельхиседек помолчал, потом вдруг улыбнулся.

— Еще одно посещение было, попозже. Стучат в дверь, отворяю. Молодой человек, блондин, вида довольно аккуратного и, пожалуй, приятного... не совсем в моем вкусе, впрочем, но это не важно. Спрашивает вас. Говорю — дома нет. Он тогда извиняется и отвечает, что, собственно, ему как раз меня и надо, но что хотел вашего содействия. Тоже жилец дома.

— Чувствую. Шофер сверху.

— Верно. Именем Лев. И объясняет этот самый Лев — тароватый, видимо, парень...— прослышал, что я тут у вас бываю и даже сейчас живу, то не помогу ли в одном дельце... Охотно. А каково дельце? Хочет жениться. Тоже на одной русской, портнихе их этого дома, из улья русского. Что же, мол, по вашему возрасту дело и совсем подходящее. Чего же содействовать? Пошли в церковь, перевенчались. Он немножечко жмется. Вижу, не все так просто. «Я, говорит, о вас много слышал, хотел бы, чтобы вы именно перевенчали»... Что же, я не против, только монахам венчать не полагается. Это у нас не принято, в православии. К белому духовенству относится. Вижу, он непокоен. Расспрашиваю, так да этак — оказывается, у невесты не все в порядке. Она вдова, но где-то в беженстве, в Болгарии, что ли, еще раз ухитрилась выйти замуж, пожила с мужем и разошлась. Сейчас он неизвестно где, слуха о себе не дает, но развода нет... Тут-то я и понадобился, нельзя ли, мол, как-нибудь обходным манером...

— Ловчит Лев, словчить хочет, ясное дело. Он у нас дошлый.

Мельхиседек продолжал улыбаться.

— И как это их тянет, женский пол... Ведь дважды была замужем, нет, подавай третьего. Уди-ви-тельно! Да, так что в этом деле я ему никакого содействия оказать не мог.

— Не огорчайтесь, о. Мельхиседек. И без вас как-нибудь устроится.

— Я и сам так полагаю,— сказал Мельхиседек и принялся устраиваться на ночь: разостлал тюфячок, положил подушку.

Парижский день кончился. Для Мельхиседека был это день обычный. Если он видел кого-то, с кем-то говорил, кому-то мог помочь, кому-то нет, кто-то ему понравился, кто-то не понравился, это не могло вывести его из многолетней, прочно сложившейся устойчивости. Лично с е б я он почти никак не ощущал. Иногда был более бодр, иногда менее, несколько веселей, несколько грустней, но в общем его жизнь шла по рельсам. Всем он сочувствовал, ни к кому не был привязан.

«Я с младенчества моего монах»,— говорил о себе. И ничем нельзя было ни взволновать, ни поразить этого худенького, легкого старичка.

На этот раз в вечернее свое правило он включил и Анатолия Иваныча. Ложась, спросил вдруг из темноты:

— А в присвоении чужой собственности господин сей никогда не был замечен?

Генерал удивился.

— Почему вы так думаете?

— Я ничего-с, просто осведомляюсь. Мало ли что случается.

Генерал фукнул.

— Нет, с этой стороны о ферте ничего не знаю. А вы... да, вот вы какой, о. Мельхиседек. Вы ведь, пожалуй, и обо мне так «осведомляетесь»?

Мельхиседек тихо ответил:

— О вас не осведомляюсь.

Они замолкли. Потом генерал спросил, не менее неожиданно:

— А вы обратили внимание, что Юпитер подошел чрезвычайно близко к Марсу? От вас видно? В кузне?

— Сейчас не видно, но я заметил. Это как раз в газетах пишут, чрезвычайно редкий случай.

— Редкий...— генерал вздохнул и сел на кровати. Ему стало грустно. Он сделал над собой усилие, как бы встряхнулся, меняя тон.

— Значит, в пятницу едем?

Мельхиседек подтвердил.

СКИТ

...По преданию, огромная рыба выплеснулась из реки на берег, когда святой молился, ища место для монастыря. Он пожалел ее, бросил обратно в воду — и приняв это за указание, основал невдалеке обитель. Много столетий прошло с той молитвы. Было аббатство и малым и великим. Норманны сожгли его. Во времена крестовых походов оно отстроилось — замечательный собор из камня пористого, белого, и посейчас стоит — узкий, длинный, проросший кой-где плесенью, вырастивший березку в одном из карнизов, опирающийся на древнейшую, еще романскую абсиду. И как бы продолжением его воздвигалась Sainte Chapelle[1] — великого изящества и чистоты стиля раннеготического. За остатками стены река в осоках. Пестроцветные птицы низко, чуть воды не касаясь, чертят над самым зеркалом, на закате, прямые горизонтали от одного лозняка к другому.

---

[1] Святая капелла *(фр.)*.

Рыба поплескивает, но уже нет той таинственной, что во времена святого выражала волю Бога. Маленьких плотичек, пескарей да кой-где краснoперого окуня выудит рыболов с плоскодонки.

Аббатство в запустении. В соборе служит, правда, старый кюре в шапочке, похожей на корону, сухой, довольно крепкий, неприветный. Но корпус с кельями долго пустовал. Был там пансион для католических девиц, во время войны госпиталь, потом опять пустыня, пока нынешней зимой не появились здесь вполне странные люди в черных клобуках.

Сова вылетела из угла залы капитула, когда архимандрит Никифор и валаамский монах Авраамий впервые осматривали помещение. Никифор, худой, высокий, с чахоточной грудью и вставными серебряными зубами, вздыхал, глядя на паутину, на потолки провисающие, не запирающиеся двери. Но веселый Авраамий решил дело.

— Ничего, о. Никифор, обойдется. Церковь я берусь вам самолично переделать, кроваток нам понавезут... А главное-то дело, место больно хорошее. До чрезвычайности душевное местечко.

Авраамий был очень здоровый, мужиковатый монах, шутник, бывший столяр, не весьма твердо знавший, чем несториане отличались от моноелитов, но прекрасно понимавший, что такое жизнь, и Бога чувствовавший так, будто Он с ним всегда рядышком. Место и действительно ему понравилось — лесами, уединенностью, тишиной. До Валаама, конечно, далеко. Что вообще может равняться с Россией! Все-таки, река... Тоже не то, что наша, но тут одно Авраамия прельщало: сам он рыболов. Река медленная, полноводная. Стрижи, бабочки, зеленая осока, рыбка поплескивает. Он об этом не сказал Никифору, но настаивал горячо, чтобы тут основаться.

Игумен помолился, поколебался и решил снять. Когда через неделю казначей Флавиан увидал помещение, то пришел в ужас. Плотный, несколько сумрачный, с умными, но не столь добрыми небольшими глазками иеромонах Флавиан недавно прибыл из Польши (не ужившись в знаменитом монастыре). Он считал, что игуменом следовало быть ему, а не тощему и чахоточному Никифору, вся заслуга которого в том, что у него серебряные зубы и стаж несколько лет на Афоне. Теперешний шаг Никифора только подтверждал, по мнению Флавиана, его неспособность к управлению. И хотя это было не совсем законно, Флавиан написал длинное письмо архиепископу, прося решение Никифора отменить. (Сырая местность, постройки ветхи и т. п.)

Архиепископ же, приехав, посмотрев сквозь золотые очки на собор, реку, на будущие спальни мальчиков и кельи монахов,

на огромную залу, уже прозванную за пустынность Сахарой, покручивая пряди темной с проседью бороды и как бы соглашаясь с Флавианом, благословил контракт подписать.

Авраамий был в восторге. Строгал, пилил; засучив рясу, мыл полы, вставлял новые шпингалеты и, поглядывая на реку, предвкушал лето с удочкой в промежутках между службами.

* * *

Так осела здесь эта Русь, в латинском месте раскинув свое становище. Зимой было холодно. Печурки дымили. Стены покрывались плесенью. Сырой, затхлый воздух. К маю стало легче. Понемножку устраивалась церковь. Из Ниццы прислали икону. Из Парижа — расшитые херувимами воздухи — рукоделие офицерских шоферских жен. Главное же: солнышко появилось. Распустились столетние вязы, липы, каштаны. Плющ завил статую Иосифа Обручника перед двухэтажным зданием аббатства. Запестрели в клумбах цветы Авраамия. И лягушки загукали по болотцам — перекликались ночью с совами. Авраамий поймал первого пескаря. Появились первые дети.

Мельхиседек, Рафа, генерал, все по-разному чувствовали себя, подъезжая к аббатству. Для Мельхиседека это было обычное — еще день, нынче в Сербии, завтра во Франции, послезавтра в Берлине или Греции, куда понесет его ладью ветер, все в том же ровном, сребристом дне. Для Рафы — странное и занимательное путешествие, чуть не в глубины Африки (при всей своей самоуверенности он все же придерживался генерала: вблизи этого сухого, прокуренного плеча будет покрепче).

Генерал все глядел в окно, отвертывался. Перед самым монастырем шоссе пересекало ложок с луговинкой, болотцем. С кочки поднялся, медленно, качаясь, закивал в воздухе русский чибис. Рафа заметил, что ближайший к нему глаз генерала мокрый.

— Вы, наверное, засорили? Я имею чистый платок. Если хотите, кончиком вам выну.

— Имею, имею... Нечего вынимать. Все в порядке. Сейчас приедем.

Автобус ссадил их на деревенской площади. Середина ее — зеленая лужайка, огороженная перилами — в глубине обелиск с водоемом и струйкой воды. Тихие дома вокруг, и за другой лужайкой, по другую сторону дороги громада собора, как бы грозная, прекрасная вечность. Со своими чемоданчиками под готической аркой входа прошли они двориком к Иосифу Обручнику и Пресвятой Деве.

— Вот, привез гостей из Парижа,— сказал Мельхиседек появившемуся на крыльце Флавиану.

Генерал снял шляпу, подошел под благословение. Рафе стало несколько жутко — в Париже он проще здоровался с Мельхиседеком. Тут что-то совсем другое.

И он сложил ладони, поцеловал волосатую, не весьма ему понравившуюся руку.

— Генерал Вишневский? Слышал, слышал,— говорил Флавиан.— А это что ж мальчик — к нам в общежитие?

Флавиан смотрел тускло, небольшими глазками — средне-приветливо. Он уже оценил, что богомольцы не из важных.

Мельхиседек объяснил: генерал и Рафа друзья обители, кое-что собирают, будут и впредь помогать. А приехали посмотреть и немножко отдохнуть.

— Так, та-ак... милости просим.— Флавиан посмотрел на Рафу, слегка усмехнулся.— И ты собираешь? Такой маленький?

Рафе показалось, в тоне его насмешка.

— Я собрал для мальчиков полтораста франков,— ответил он тихо, твердо.— Может быть, и еще соберу.

Флавиан опять усмехнулся, опять не совсем ясной усмешкой.

— Мы, разумеется, всегда благодарим благодетелей. Пожалуйте, однако, я укажу вам комнату.

И, поднявшись в первый этаж, пересекши огромную пустую залу — Сахару, провел их в небольшую комнату с окном в сад. Пахло сыростью, кисловатым. Было прохладно.

— Не взыщите,— сказал Флавиан генералу,— обитель весьма бедная, гостинника нет, я за всех. Вот кровать, диванчик для молодого человека, тут и утешайтесь, ежели вы любитель монастырского жития. Насчет питания, предваряю: довольно скудное. Но, возможно, разумеется, и прикупить.

Когда он вышел, Мельхиседек отворил окно. Майский воздух поплыл, теплый, золотой. Внизу огород, дальше вековые каштаны, дубы, мощная зеленая туя. И голубоватые леса на горизонте. Снизу из церкви пение — шла всенощная.

— Мне довелось быть на св. Афоне,— сказал Мельхиседек.— Там у них, знаете ли, кроме главных храмов устроены еще малые, в корпусах с кельями, называются параклисты. И вот так же пение как бы пронизывает всю обитель.

Генерал погладил свои усы.

— Какая прелесть! Солнце садится. Тишина, благодать... прямо тут расцветаешь!

Мельхиседек пристально на него поглядел.

— Михаил Михайлыч, вам бы поговеть здесь. Исповедуйтесь, причаститесь и пречудесно будет...

— Я и прежде, к вам в Пустынь наезжая, всегда говел. И Ольга Александровна, покойница. Боже ты мой! Опять русский монастырь, опять вы, о. Мельхиседек...

Генерал был в некоем возбуждении. Рафа распаковывал чемоданчик. В возбуждении он не находился. Ему не так особенно нравилось тут. Флавиан и совсем не понравился. Но он молчал. Вынимал зубную щетку, полотенце, мыло. Предложил помочь и генералу — тот отклонил.

Так как трапеза отошла, их покормили отдельно, но за тем же длинным столом в сыроватой трапезной. Пахло щами, мухи гудели в вышине. С каменных, недавно перекрашенных стен смотрел св. Серафим с медведем. Афонская гора, архиепископ с длинной бородой. Рафе стало немножко грустно. Мама сейчас в Париже ужинает, о нем думает. И вообще... все проще в Пасси! Можно выбежать на улицу, прокатиться по тротуару на ролике, пойти в синема... Мало ли как провести время. А здесь старые стены, сырость, летучие мыши. Генерал сказал, что выйти из обители уже нельзя, калитку запирают, как солнце сядет.

Мельхиседек немного с ними посидел, а потом отлучился — Рафе показалось, что растаял в этих мрачных стенах — и следа не осталось от легкой, белеющей бороды. Но Мельхиседек не таял — просто отправился к игумену. А Рафа страшно устал и в глазах у него двоилось: в десятом часу насилу добрел до диванчика.

Генерал долго не мог уснуть. Сначала еще ходили где-то внизу, посуда постукивала на кухне, голоса доносились. А потом все замолкло. Генералу казалось — не то, что нет звуков, а даже есть некое действенное беззвучие. Звуки и возникнуть не могут в бездонной этой ночи. «Так будет после смерти. И Ольга Александровна в такой же тишине сейчас».

Встал, подошел к окну. На дороге вспыхнул свет — сразу погасли от него звезды, но черней выступили лапы каштанов. Автомобильный сноп все ближе, выхватывает из ночи зеленые купы кустарников, тополей, дрожа, струясь по изгородям...— в жужжанье мотора все это пронеслось, сгинуло, как падающая звезда.

На звездном небе близок от Юпитера красноватый Марс. Редкостные соседи!

* * *

Дора Львовна ошиблась, думая, что Рафу поразят «поэтические стороны служб». Этого не случилось, В церкви его заинтересовала лиловая мантия Никифора и то, что тот наизусть читал Шестопсалмие (длинное, без книжки, рассказывал он

потом матери). Но в общем он нашел, что все это «немножко очень длинно». И добавил: «Немножко глупо, что я ничего не понимаю».

Монастырские службы действительно длинны. Генерал и сам не все выстаивал. Рафу же никак не принуждал, и тот себя не мучил: заходил в церковь, когда вздумается, долго не оставался. Вне же церкви проводил время даже интересно. Тактика его была такая: не попадаться на глаза Флавиану (его он сразу невзлюбил). Не пропускать Авраамия, когда тот идет удить рыбу — за ним он нес червей, ведерко для рыб. Но самое интересное было новое знакомство.

Вообще говоря, с мальчиками нелегко было сблизиться. То они сидели в школе, то чинно шли через Сахару в церковь, пели на клиросе, возвращались рядами под наблюдением Авраамия или монахов помоложе. Учили уроки. Оставались краткие часы свободы.

Но Дмитрий Котлеткин, мальчик лет четырнадцати, с рыжеватой щетинкой на голове, находился на особом положении — выздоравливающего после брюшного тифа.

Большую часть дня он лежал в раздвижном кресле на солнце, у статуи св. Девы. Иногда бродил немного в своем халатике. Умные небольшие глаза, старше возраста, смотрели спокойно и самоуверенно. Некрасив был Котлеткин, грубоватой русской некрасотой — с широким носом, несколько вздернутым, в веснушках, с красными руками — но Рафе все казалось в нем необычайным.

Героическое окружало Котлеткина: он бежал с отцом из России, через Днестр! И если отец служит сейчас в Париже, то полгода назад пули шлепали вокруг них ночью в днестровской воде. Это, конечно, такое дело, о каком в Пасси и подумать жутко — никто не думает, да и слово «Днестр» неизвестно.

— Мы с папкой цельный день в камышах пролежали, хайлом в землю. Нельзя двинуться. Пулемет так и чешет.

Рафа холодел. Сколько тут было правды, не ему судить, но выходило грандиозно. С Рафой Котлеткин был снисходителен, но немного свысока, как вообще с Европой. И стреляли-то по ним русские пограничники как-то особенно: на то она Россия! Можно было подумать, что Котлеткину даже нравилось, что так лихо стреляют русские. А Европа... первые дни в Берлине все магазины казались ему «распределителями». Товару много, хорошо бы «прикрепиться». И не без труда он поверил, что покупать тут можно и без карточки. Много, впрочем, в распределителях Берлина им забрать не пришлось. Передвинулись в Париж. Отец попал на завод, сын в общежитие.

Про монастырь Котлеткин говорил покровительственно.

— Ничего, хорошо. Старички не обижают. Вроде детотдела... Конечно, у нас служители культа лишенцы. Элемент контрреволюционный. Им не только ребят не доверяют, им и пайка нет. У нас там физкультура, а тут церкви да служба.

Рафа слушал с восторгом. Генерал поправлял его беженский язык, здесь же был перевод с русского еще на некий новый, не совсем понятный, но такой же замечательный, как сам Котлеткин.

— А почему же вы с pará бежали?

Котлеткин посмотрел на него, слегка прищурился и сплюнул.

— Жранца было мало.

Рафа понял — чего-то нужного не хватало. Но чего именно, спросить не решился.

— Да меня и отсюда скоро монахи погонят.

— Почему?

— Папку сократили, он теперь шомажник.

Рафа почувствовал себя прочнее.

— Chômeur?[1]

— По-здешнему так. Из каких же ему капиталов за меня платить? А без деньжонок, наверное, на улице окажешься. Да мне только бы выздороветь.

Разговор произвел на Рафу впечатление. Героя Котлеткина, спасшегося на Dniestr'е от пуль, исключать из-за chômaga'a! Он рассказал об этом генералу.

— Чего там исключать... Как-нибудь устроится.

Генерал мало заинтересовался Котлеткиным.

Рафа почувствовал это, ничего не сказал, но нечто затаил. И решил действовать сам.

Он подстерег в саду Мельхиседека и подошел к нему.

— Парижанин, гость и друг...— сказал Мельхиседек.— Ну, как себя чувствуешь?

Мельхиседек сидел за деревянным столом, под каштаном. Но столе перед ним ученические тетрадки. Над столом, в вышине лапчатые листья — густая сень. Как из купола поток зеленой тени, прорываемой солнечно-золотыми столбами. Золотые кружочки кое-где на тетрадках, на седой голове...

Рафа поблагодарил и перешел к делу. Правда ли, что Котлеткина исключат из общежития?

Мельхиседек снял очки, стал протирать их. Солнечный луч отблеснул от стекла, скользнул по рукаву Рафиной курточки.

— Откуда ты это знаешь?

---

[1] Безработный? (*фр*)

— Мне сказал Дима. Если его отец chômeur, то как же он будет за него платить?

Мельхиседек помолчал.

— Мне неизвестно то, о чем ты рассказал. Как же тебе ответить? Монастырь очень беден, ты знаешь. Мы не можем держать детей совсем даром. Но Котлеткин мальчик способный, к тому же и прибывший из России. Поддержать его надо. Во всяком случае, постараемся что-нибудь сделать. Дело не спешное. Он ведь и выздоравливающий.

В конце дорожки, от аббатства, показались два монаха.

— Да вот и сам о. игумен. Он тебе все объяснит лучше меня.

Никифора Рафа уже немного знал и не боялся. Рядом с ним шел Флавиан. Когда они приблизились, Мельхиседек поднялся, низко, почти до земли поклонился. Рафа не знал, как поступить: кланяться в ноги этому тощему, очень длинному и еще не старому монаху показалось странным. Подходить под благословение он побоялся — издали неуклюже поклонился.

— Садитесь, о. Мельхиседек,— тихо сказал Никифор.— Мы вас не будем отрывать от дела.

Он положил худую, как бы чахоточную руку на ученические тетрадки.

— Все их науку контролируете?

Рафу поразили его серебряные зубы. Что-то надломленное, кроткое и обреченное было в этом человеке. Рядом с ним Мельхиседек казался и моложе и бодрее.

— Пишут несамостоятельные телятки, кто как может. Довольно, впрочем, грамотно, ваше преподобие... Сожалею, что нет работы этого мальчика из России, Котлеткина.

Игумен продолжал постукивать пальцами по тетрадкам. Улыбка осветила усталое его лицо.

— Тот уж самостоятельный.

Мельхиседек разгладил серебряную бороду, распустил морщины и из-под очков не без лукавства посмотрел на Рафу. Флавиан сидел молча с недовольным видом.

— Сей Котлеткин,— продолжал Мельхиседек,— по словам гостя нашего, Рафаила Лузина, обеспокоен возможностью исключения из общежития, так как отец его стал безработный и не может платить.

Флавиан пожал плечами.

— Мы и так едва живы.

Никифор задумчиво смотрел на Рафу.

— Безработный, не может платить,— повторил как бы про себя.

Потом неожиданно обратился к Рафе.

— Поди-ка сюда, мальчик.

Тот подошел не без смущения. Никифор слегка погладил темные Рафины кудельки.

— Это ты на приют нам собирал среди знакомых?

— Я.

Никифор поцеловал его в лоб — болезненными, бледными губами. Руфа ощутил запах ладана и чего-то сладковатого («от бороды пахло дымом и духами», рассказывал потом матери).

— Я боюсь,— прошептал Рафа,— что вы выгоните Котлеткина. У него отец безработный. И он сам очень... больноватый.

— А ты не бойся,— тоже тихо ответил Никифор.— Бог даст и не исключим.

Рафа несколько осмелел.

— У меня есть одна знакомая дама, госпожа Стаэле. Она может дать... une bourse[1]... нуждающемуся мальчику. Она обещала. Надо только портрет, письмо. И чтобы вы тоже попросили за него...

— Ну, вот видишь! Чего же бояться? Все уже сделано!

И Никифор поднялся.

* * *

Генерал решил говеть на совесть. Стал поститься, с некоего дня выстаивал уже все службы, до окаменения в ногах и голодной легкости в сердце. Мельхиседек поддерживал его в этом. Просил также «просмотреть умственным взором всю жизнь, все в ней подобрать» — и даже на бумажку занести как можно обстоятельней. В день исповеди ничего не «вкушать» и прочесть книжечку наставлений кающемуся.

— Высочайшее дело, Михаил Михайлыч, имейте в виду. У вас есть такое иногда... вольное отношение и взгляд... но не для сего момента, я прошу вас!

Он напрасно опасался: генерал был настроен серьезно. Никаких улыбочек, никаких задираний.

Вечером перед исповедью сидели они у источника, на зеленой лужайке против Собора и входа в аббатство. Смеркалось. Тучи тихо стояли, сгущая мрак. Иногда зарницы проблескивали. Было душно.

— Гроза идет, я чувствую,— сказал Мельхиседек.— Я никогда не ошибаюсь в природе, Михаил Михайлыч. Нынче будет очень громовая ночь.

---

[1] стипендию (*фр.*).

К источнику — прозрачной, холодной струе из небольшого обелиска — подходили с ведрами и кувшинами дети, женщины, старики. Генерал и Мельхиседек сидели на двух белых камнях-тумбах: как два сторожевых льва. В полутьме перекидывались словами соседки, подставляя ведра. Потом уходили, и лишь серебряно, однообразно усыпительно журчала струя. Зарницы зеленовато освещали сидевших. Иногда вдалеке, за их спинами, возникал свет на дороге. Обелиск начинал дрожать узкой тенью на древнем аббатстве — автомобильно-золотой сноп все ближе, тень растет, и тень грибообразного строения дрожит как на экране, и когда бешено вылетит автомобиль — вдруг поползут эти тени вбок, а все зазолотеет в свете — только на мгновенье — автомобиль уже за углом, подняв за собой белую пыль.

— Вот вам и вечность,— Мельхиседек показал на струю,— и мгновение (на унесшуюся машину).

— Я, о. Мельхиседек, теперь более в вечности,— ответил генерал.— Но у меня есть и смутные темные вещи-с.

— Я на это надеюсь, иначе зачем бы вам исповедоваться. Я надеюсь, что вы не так собой довольны, как та дама, что недавно у меня исповедовалась. Что ни спросишь, ни в чем не грешна. «Ну, говорю, может на прислугу иногда сердитесь?» «Никогда». «Пересудами занимаетесь?» — Тоже нет.— Да вот так все нет и нет. Я ей наконец и говорю: «Стало быть, вы святая».

Вдалеке загремело. Зеленоватый зев раскрылся, мигнул, охватил фосфорическим светом Собор, лужайку и сидевших. Несколько капель сильно по сухмени травы хлопнули.

Мельхиседек поднялся.

— Даже и скорее, чем я думал. Нет, идем ко мне, и там и договорим. Да и пора. Запрет Флавиан обитель, что мы с вами будем делать тогда?

Они прошли под готическим сводом ворот. В садике около Иосифа Обручника еще сидело несколько мальчиков — Котлеткин, Рафа. Но уже Авраамий уводил их. Рафе разрешили на эту ночь лечь в общей спальне воспитанников.

В келье же Мельхиседека, небольшой узкой комнатке с высоким потолком, киотом в углу, где теплились разноцветные лампадки (чашечка одной из них покоилась на серебряном голубе, распростершем крылья) — при неясном мерцании и вспышках бело-зеленых молний за окном началась беседа. Мельхиседек сел на свое ложе, такое же сухое, худенькое, как он сам. Генерала посадил у стола.

— О. Мельхиседек,— начал Михаил Михайлыч, не сразу, как бы раздумавшись.— Вот я и перед вами... Я и вообще

много о себе размышляю, а эти последние дни ввиду исповеди и особенно. Да... что же могу сказать? Жизнь моя прошла — так ли, иначе ли...— все равно. Много я в ней нагрешил по характеру своему строптивому, но много ли сейчас о грехах мучаюсь? По правде говоря, не очень... Ну, разумеется, не так ангельски покоен, как та дама ваша... «святая». Все-таки меньше, наверное, угрызаюсь, чем бы следовало. Но некие странности в себе замечаю или неприятные вещи, разумеется, отрицательные. И хотел бы их высказать.

Он опять помолчал.

— Ведь жизнь как будто бы, о. Мельхиседек, смиряет меня? Бывший командир корпуса, ныне безработный и полуголодный. Ну, вообще последний человек. Да. А я не смиряюсь! Мне будто говорят: вот ты последний! Опусти главу, взор долу, как полагается. А я не опускаю. И не чувствую себя последним. Не то, конечно, чтобы мои заслуги какие или дарования...— этого у меня немного. Но откуда, скажите, это ощущение... как был корпусный командир, барин и начальник, и купить меня нельзя, и на подлость никогда не пойду, так и остался. Подумаешь — какая сила! А не могу от себя отрешиться, о. Мельхиседек — какие бы бисерные мешочки ни сшивал и сколько бы двуглавых орлов ни царапал на яичках.

— Это все разумеется. Я так вас и понимаю, Михаил Михайлыч. Вам очень трудно смириться.

— А между тем, это главное у нас, о. Мельхиседек?

— Главное,— почти грустно ответил Мельхиседек.— Самое главное. Но и самое трудное-с. Так что вы не извольте удивляться, что малого достигли.

— Да, я не совсем таков, как вам хотелось бы, о. Мельхиседек. Я все помню. И не все могу прощать. Я очень многое не простил, хотя Господь сказал, что прощать надо до семижды семи раз. Я знал одного полковника в гражданской войне, у которого замучили всю семью. Он потом очень любил смотреть, как большевиков вешали. До страшного цинизма доходил. Быть может, это уже начало безумия... Садился пить чай на крылечке, а чтобы перед ним петлю на человека накидывали. Это жизнь. Я подобного не проделывал, но все-таки... все же сказать в такую даже минуту, как сейчас, что я простил тем, кто Россию мою распял... Это будет неверно. Нет у меня сил простить, о. Мельхиседек. Если бы дал Бог...

— Только молитва,— сказал Мельхиседек.

— Как понимать это?

— Когда вы молитесь, вы с высшим благом соединены, с Господом Иисусом — и Его свет наполняет вас. Лишь

в этом свете вы и можете стать выше человеческих чувств и страстей.

— Ну, так, видимо, я не становлюсь.

— А надо,— тихо, с некоторым упорством сказал Мельхиседек.

— Сказано: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Я тоже не могу, о. Мельхиседек. Во-первых, себя я бесконечно больше люблю. И ничего с этим не поделаешь. Второе: мне просто очень трудно любить! Я любил покойную Ольгу Александровну... Страстно-с, и деспотически... Но это не по-христиански, другая любовь. Теперь люблю Машеньку — опять иною, отцовскою любовью, но тоже деспотически. (Приедет она, может, ей и нелегок покажется характер отца? Все может быть.) Ну, еще наберется несколько человек, кого — не то что люблю, а уважаю, «хорошо отношусь». А к большинству — вполне равнодушен! Других просто терпеть не могу! Мне иногда, о. Мельхиседек, просто приходится сдерживаться... Почему я, нищий, чувствую себя здесь таким барином и судьей? Мне все кажутся лавочниками. Знаете, бистро... бистрошниками. Сытые лица за кассой, красные щеки, раскормленные жены, су, су... аперитивы, автомобильчики, вся, знаете, эта воскресная пошлость, мещанство... Я в России не так чувствовал... Иногда едешь в метро, смотришь на разных рабочих, старух, жирных с бородавками, на грязные руки, обкусанные ногти, на какого-нибудь храпящего приказчика...— вы, конечно, жалеете их, о. Мельхиседек, а я только думаю: «Господи, как они мне противны...» Вы вот окошечко отворяете, вам, пожалуй, душно от моих слов стало, но ведь я же человек, во мне ничего ангельского нет. Самый обыкновенный человек-с.

Мельхиседек действительно отворил окно. Гроза шла стороной. Все же от грома дребезжали иногда стекла, и в зеленых вспышках вставал на мгновение сад, каштаны, столик под деревьями. Но ветер стих. Шел ровный, очень теплый дождь.

На последние слова генерала Мельхиседек улыбнулся.

— Нет, я не для того отворил окно. А я люблю-с такой дождичек, и благоухание... очень прекрасно.

— И я люблю. И деревню люблю, покос, солнце... Уродство же с трудом выношу, и чем дальше, тем больше. Вы любуетесь сейчас благоуханием ночи, а я вам еще расскажу...

И рассказал, как ненавидел недавно в метро старуху, похожую одновременно на овцу, лошадь и англичанку — розовую, с белыми волосами, упорно ковырявшую в носу.

— Михаил Михайлыч,— тихо перебил Мельхиседек,— а вас смущает, что вообще зла и безобразия в мире как бы слишком

много? Точно бы и не продохнуть человеку? Дурные торжествуют, богатые объедаются, сильные мира сего продажны?

— Да, о. Мельхиседек. Именно. Меня именно это смущает. Почему вы, однако, задали мне этот вопрос?

— Насколько я вас понимаю, по характеру вашему этот страшный вопрос действительно весьма трудный для понимания, должен особенно вам беспокоить. И думаю, вы не прочь были бы сразиться со злом так, как некогда воевали в окопах.

Генерал, волнуясь, стал говорить о царстве зла.

. . . .

Было около одиннадцати, когда разговор кончился. Генерал сидел на подоконнике, молчал. Говорить ему более не хотелось. Он смотрел в ночь — в непроглядную, безмерную тишину. Все уже спало в монастыре.

Мельхиседек поднялся с постели.

— Вот вы и высказались, Михаил Михайлыч. И смириться, и полюбить ближнего цели столь высокие, что о достижении их где же и мечтать... Но устремление в ту сторону есть вечный наш путь. Последние тайны справедливости Божией, зла, судеб мира для нас закрыты. Скажем лишь так: любим Бога и верим, что п л о х о. Он не устроит... Я полагаю, что вы теперь успокоились. Приступим же к таинству покаяния.

Мельхиседек надел ветхую епитрахиль, подошел к небольшому аналою пред киотом, где лежало Евангелие. Голубь Духа Святого простирал под лампадкой горизонтальные крылья. Вспышки молний освещали седые, тонкие волосы Мельхиседека, худенькие руки. «Мельхиседек, священник Бога Всевышнего,— вспомнил вдруг генерал.— Прообраз таинственный... священник Бога Всевышнего».

Он стал на колени. Мельхиседек накрыл его епитрахилью и прочел вслух молитву перед исповедью — генерал повторял за ним слова. Как бы плавный, но мощный удар нисходил на него, стирая годы. Под епитрахилью был он как младенец. Как младенец тихо признавал вины. И по младенческим, не старческим щекам слезы текли, когда знакомый, слабый, близкий и далекий голос таинственного ныне Мельхиседека произнес сверху:

— Властию, данною мне от Бога, я, недостойный иерей...

* * *

— Ладно,— говорит Котлеткин.— Напишу твоей голландке. Да она — по-русски и не понимает?

В церкви идет литургия. Котлеткин и Рафа сидят близ

Иосифа Обручника, в садике при аббатстве. После ночного дождя все сияет, блестит. Свежи капельки в настурциях. Бойки воробьи, скачущие вокруг лужицы. И так сине небо с легким и туманным паром!

У Рафы в руках письмо — только что почтальон подал.

— Ничего, что по-русски. Ей переведут.

Котлеткин смотрит на письмо.

— Это что же, из ССР?

— Да, генералу.

Оба рассматривают конверт.

— У него там дочь,— говорит Рафа не без важности.— Он ее сюда выписал. Она должна очень скоро прибыть.

Небольшие колокола (ими управляет Авраамий, дергая из коридора веревки), звонят к Достойной.

— Генерал нынче... как это... fait sa communion...[1] Я должен его поздравить?

— Вот и не прозевай. Теперь он как раз скоро причащаться будет.

— Вы уверены?

— Меня, брат, уж тут старички обучили.

Рафе не хочется уходить от великолепного Димы Котлеткина. Пусть тот даже и не благодарил его за вмешательство и голландку — ничего. Он особенный, ему все можно.

Все же в известный момент Рафа идет в церковь. И попадает как раз вовремя. Никифор, улыбаясь серебряными зубами, поздравляет Михаила Михайлыча. «С принятием св. Тайн!» и Мельхиседек, и другие. Рафа подходит, тоже поздравляет. Целует жесткие, прокуренные усы, видит над собой глаза старческие, влажные — уже не спрашивает, не попала ли соринка.

В левой руке у него письмо. В нем сообщают, что у Машеньки от хлопот и волнений случился припадок сердца.

Через несколько минут узнáет генерал, что похоронена Машенька в Дорогомилове.

КОЛЕБАНИЕ ДОМА

Дора Львовна вышла утром за молоком. В этот час мужчины отправляются на службу. Коробки с объедками и сором стоят у дверей. Консьержки в матерчатых туфлях метут у подъездов. Проезжает на велосипеде юноша с огромными хлебами.

Дору Львовну приветствуют знакомые булочницы и молочницы, с утра нетрезвая прачка Мари. Летний день сияет над

---

[1] причастился (*фр.*).

ней, легко веет листами на каштанах. Огибая угол нельзя не взглянуть на домик во дворе. В комнате Анатолия Иваныча жалюзи спущены. Уехал? В деревню? В Ниццу? Или просто сбежал, не заплатив Жаненам?

У «Maggi» в очереди замечает она знакомый профиль. Пока крепкая брюнетка за прилавком, с красными руками, отливает свои литры кружечками и завертывает пакетцы масла, Дора Львовна успевает сообразить, что это тоже сосед, шофер Лева.

Через несколько минут из прохладно-кисловатой молочной попадают они в булочную, дышащую теплом и вкусной сухостью, сладким, пряным. Лева вымыт, «чистенько» одет, любезно кланяется. Нагруженные добром своим, с крынками и саками, булками, кофе возвращаются они по переулку.

— Извиняюсь, госпожа Лузина, вам, кажется, довольно много приходится бывать по клиентам. Не попадалась ли случайно квартирка... a louer[1]? Три комнатки, комфор модерн, шоффаж?

Дора Львовна ответила, что сейчас не знает, но будет иметь в виду.

— А это, собственно, для кого?

Лева слегка ухмыляется.

— В моей жизни произошли некоторые перемены... вам, кажется, трудно? Разрешите понести сачок... Короче говоря, я женюсь.

— А-а, поздравляю! Да, пожалуй, и догадываюсь на ком.

— В нашем доме все как на ладошке, ничего не утаишь... В отношении бумаг были у Валентины Григорьевны кое-какие затруднения, но теперь все улажено. На будущей неделе намерены перевенчаться и переменить квартиру... потому что с Зоей Андреевной нам будет уже тесно. И как мы оба работаем...

Они поднимались уже по винтовой лестнице. До первого этажа шел коврик, дальше дубовые, слегка выщербленные, но натертые ступени. Рассеянный свет стекал сверху — и, поднимаясь, входили они из полумглы все яснее в эту область света. У своей двери Дора Львовна поблагодарила. Слегка задохнувшись, сказала:

— Ну, желаю счастья. Значит, вы нас покидаете?

— Так точно.

Дверь напротив — Капина — безмолвна. Дора Львовна вложила ключ, медленно вошла в свою квартирку. Неуютно она себя чувствовала! Каждый раз теперь, проходя по площадке, испытывала нечто тягостное, щемящее — смесь мрака, стыда...— и сейчас просто позавидовала этому Леве, что он уезжает.

---

[1] внаем (*фр.*).

«Заведет себе un lit national[1], будет в выходной день заседать с женою в синема, носить по субботам деньги в сберегательную кассу».

Капина квартира безмолвна. Хозяйка рано ушла. Если бы Дора Львовна духом невидимым могла проникнуть туда, охватила бы ее щемящая пустота: будто и не жила тут живая девушка. Будто бы ничего вообще не было.

Но в столе, в ящике могла бы посетительница найти ученическую тетрадь с ровными линейками — и в ней записи.

Дора вынимает из клеенчатого сака провизию. Ясно ей представляется новая квартира. Новый дом, недалеко от лицея Рафы. И все заново. «Тут как на ладошке...» — да, уж конечно. Все жильцы, эписьерки, консьержки насквозь тебя знают.

Молодец Лева!

* * *

...Ни порядка, ни обстоятельности в записях Капы не было. На одной странице просто слово:

— Поповна!

На другой рисунки — какие-то рожицы, бесконечный зигзаг в виде молний, как изображают на рекламах — усталая рука безвольно чертила их.

«А Мельхиседек был славный человек»...

Эта память Апухтина тянулась тоже чуть не через всю страницу — одна под другой строчки:

«А Мельхиседек был славный человек».

Но чаще записи более связные, и подлинней. Кое-где даты, кое-где нет. Можно понять, что всем этим занялась она с весны. На одной странице наклеена вырезка из французской газеты. Там рассказывалось про старого литератора, некогда писавшего о парках и садах Франции, церквях Парижа, ныне же погибающего в нищете. Хозяин грозит выселить его и, главное, выбросить рукописи, весь архив. Журналист, побывавший у старика, добавлял: «Может быть, тело некоего полуслепого историка и вытащат пред термом из Сены». Внизу Капиной рукой подпись: «Справиться у нашего генерала. Не удивишь, француз. И не растрогаешь». Потом совсем иное. Например:

«Людмила начинает процветать. Патент на изолятор получила, денежки загребает. Купила автомобиль. Жених обучил править. В воскресенье возила меня в Шартр, куда французы ездят из Парижа с любовницами. Жених называется Андрэ, инженер не

---

[1] национальную кровать (*фр.*).

то химик, не то электротехник. Нет, кажется, химик, Bien gomme[1]. И в роговых очках. Помог патент выправить. Людмила начинает забывать по-русски, в ней есть уже иностранное, какой-то привкус...— и высокомерие к русским. Ну да, мы нищие, за что нас уважать? А тогда, в Константинополе...

Но меня она еще помнит. Удивляюсь. Скоро забудет и меня, как и все впрочем (последние слова подчеркнуты). Да наплевать. Она меня назвала «Пароход Капитолина» — это в детстве нашем такой пароход был: все на мель садился! Пожалуй, верно назвала. Вспомнишь жизнь...

...Городишко русский. Какое убожество! А там война, революция... Мель и мель. Нет, чего вспоминать. Ужас. (Ведь девчонкой, прямо из захолустья на гражданскую войну попала!)

...18 мая. В самый этот день я отлично могла погибнуть. Госпиталь наш захватили, раненых у нас на глазах добили. Меня и сестру Елену назначили в баню, мыть «красных казаков». Нашелся человек, спас нас в последнюю минуту. То есть, вернее, меня. Елена успела уже принять яду (а я была в таком отупении, что даже отравиться не сумела). Но ушла ночью в степь. Неделю зверем жила. И добралась к своим.

Вот нынче какой славный юбилей! Моего спасения — неизвестно для чего. Вернее, для того, чтобы потом в Константинополе чуть не утопиться, встретить Анатолия, здесь служить в кондитерской, чтобы Анатолий рядом поселился и началось бы опять все...

22 мая. Вчера заходил монах, Мельхиседек. Он тут у генерала бывает. И со мной знаком немножко. Старичок довольно славный, но, вероятно, считает назначением своим спасать ближних. Я недавно прочла, что Толстой находил у себя болезненную черту: манию исправления человечества. То есть, мол, никак без него не обойтись. Он все знает и своим толстовским пальцем укажет, где истина.

Этот старичок потоньше. Он не напирает и не пристает. Он, пожалуй, больше собою действует, своим обликом, скромным голосом, седою бородой. Если бы жизнь состояла из таких стариков, т. е. вообще таких безобидных и благожелательных людей, то, возможно, было бы и приятно жить.

Или: если так верить, как они: в посмертный суд, в торжество справедливости там... Загробная жизнь! Не могу себе этого представить. Чтобы я умерла, а потом воскресла... нет, не понимаю! Я когда. Евангелие читаю, то часто плачу, а только все-таки не понимаю. Потому, должно быть, и распяли

---

[1] Хорошая резина (*фр.*).

Его, что такой был... неподходящий Он для нашей жизни. А воскрес ли? Может быть, это только сказка?

Мельхиседек говорит, что нужно молиться, и побольше. Тогда все смоет, все пустяковые сомнения. «Это,— говорит,— у вас сейчас просто раздражение естества и дух противоречия. Тяжелый дух, преодолеваемый лишь молитвой, т. е. общением с высшим благом».

Очень хорошие слова. Но мне от них не легче.

25 мая. Заходил Анатолий. Я его не приняла. Нет, довольно. Начнет плакаться — я как дура раскисну.

Хотя, впрочем, теперь и не раскисну... Это еще все по-прежнему я считаю. А в сущности: сейчас душа моя вовсе бесплодна, вовсе выжжена. Ни-че-го! Когда была сестрой, раненых жалела. Потом жалела Анатолия. Потом себя. Теперь никого. Может быть, я погибаю? Может быть. И это ничего не значит. Париж так же будет грохотать и без меня, как и со мной. Мир также будет в руках мерзавцев...

Июнь. Наши уехали в монастырь — генерал, Рафа, Мельхиседек. В доме остались одни бабы: я, благодетельница человечества Дора, дура Валентина и grue[1] Женевьева. Небольшая, но теплая компания. Дора могла бы бесплатно перевязать всех раненых мира. Валентина — сшить всем дамам платья годэ или со «сборами». Она выходит замуж за шофера и они будут разводить себе подобных. Женевьева из них самая основательная: ходит по кафе, торгует собой en gros et en détail[2], если бы ей предложили мыть красных казаков, она спросила бы, почем с головы, и снесла бы трудовые денежки в сберегательную кассу.

15 июня. Вчера после службы домой не вернулась. Надоели свиные котлетки, жарить их на сковородке, изо дня в день...

Около Rond-Point попался ресторанчик: «Tout va bien»[3] — и там мы иногда с Анатолием обедали (креветки, мули). Грязновато, вроде бистро. Хозяин черненький бретонец, все тот же. Я села на воздухе, под парусиной. От тротуара отделяли кадки с зеленью. Столики, скатерки в пятнах, комья серой соли в солонках. Приказчики и такие же служащие девицы, как и я. Солнечный луч, косой, закатный. Ела я «шатобриан» и просто продохнуть не могла...— кажется, слезами бы вместо вина запила «Tout va bien» — почему, почему bien?

Потом солнце село и я вышла на Елисейские поля. К этому самому Rond-Point. Как красиво! Фонтаны... На одних хрусталь-

---

[1] шлюха *(фр)*.

[2] оптом и в розницу *(фр)*.

[3] Все хорошо *(фр.)*.

ные голубки, на других белочки грызут орехи — кедровые, должно быть? И все это вечно моется туманом брызг — фонтаны вроде букетов, так и бьют из голубей и белочек, и на них ниспадают. Позже зажгли внутри их свет, стали эти букеты белыми с золотым отливом. А вокруг — автомобили, целыми потоками по авеню, без конца-начала. Красные, фиолетовые рекламы к Этуали. И толпа, толпа...

Замечательно красиво. Но холодно, все же. Все будто выщелочено. Как льняные парижские волосы у дам, кислотой травленные.

Я долго бродила. Под каштаном, в зеленой мгле, где вход в метро, увидела на скамье Анатолия. Он смотрел на фонтан, на бассейн. Край бассейна был залит брызгами. Анатолий меня не видел. Он держался рукой за бок, точно болело что. У меня, конечно, похолодели ноги. Так уж полагается. Что-то дрогнуло... подойти? Нет, прошла. И с горделивым таким видом, точно победительница. Глупо, конечно. Ну, что поделать.

17-го. Мне иногда бывает ужасно, ужасно себя жалко.

18-го. Встретила Женевьеву. Она завела себе собачку. Если не помру, тоже заведу. На домике Жанена появилась надпись: terrain à vendre[1]. Прожились старички.

21-го. Буду ли плакать, молиться, биться головой об стенку, ничего не изменится. Какая есть моя судьба, такая есть.

...Наши возвратились. И генерал и Рафаил. У генерала умерла дочь в России. Теперь нечего ему ждать. Все идет правильно. Меня преследует последнее время стишок, давно когда-то, еще в России, заскочивший:

Жизнь, молвил он, остановясь
Средь зеленеющих могилок,
Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок.

Последних строк не понимаю. Но от них хочется плакать.

10 июля. Заезжала на автомобиле Людмила с Андрэ. Они только что вернулись с юга, собираются теперь в Вену и назад через Италию. Андрэ зашел ко мне и из окна увидел вывеску, что продается земля. «Да, тут следовало бы построить новый дом, современной техники».— «Наверно, скоро и снесут»,— сказала я. (И действительно так думаю.)

Людмила пригласила меня прокатиться за город. «Ты мне не нравишься. У тебя одичалый вид». А Адрэ в своих роговых очках все присматривался к нашим квартиркам, лестнице, садику. «Одной той земли мало. Но если бы ваш хозяин согласился

---

[1] участок продается (*фр.*).

продать место, где стоит этот дом, тогда... Владелец мог бы войти пайщиком в наше предприятие».

Он сел за руль. Мы выехали мимо Этуали, по скучной дороге в С.-Жермен. Но там, дальше стало лучше. Направо засинели дали, мы проносились деревушками, где глазели на нас тощие ребята, а потом свернули проселком к реке. Это место такое, называется Pergola. Ресторан и отель на берегу Сены. Сюда тоже французы ездят с дамами.

Мы сидели на террасе у самой реки, нам чай подавали под зонтиками, с разным добром — кексы, печенья, я это не очень люблю, надоело в кондитерской. У Андрэ вид самоуверенного, богатого человека. Да он такой, впрочем, и есть. Говорил за чаем, что и Олимпиада даст денег на дом: как раз ищет надежного помещения средств.

Я смотрела на Сену. Удивительны ее струи. Напротив островок с ивами, тополями. Течением тянет и вьет в воде травы, куличок низко пролетел, сел на отмель, запрыгал... За рекой коровы, луга, даль сизая.

Людмила смотрит на меня синими, холодными глазами. Может быть, они вовсе теперь залакированы, раз навсегда закрашены. Мне казалось, что я так же одна, как в тот вечер на Елисейских полях.

— Капитолина, ты нынче отсутствуешь,— сказала Людмила, когда мы садились в машину.— Где ты? Что с тобой?

12-го. Париж пустеет. Послезавтра они будут праздновать свою Бастилию... С ума можно сойти от веселящегося народа. Людмила и Андрэ уехали — все порядочные люди разъезжаются.

Даже и français moyens[1], у кого есть èconomies[2], повезут своих Жаков и Жоржетт на океан, куда-нибудь в Порнишэ.

От жары я вышла вечером на Сену, сидела на узком островке с поэтическим названием: Jle des cygnes[3]. Но мало поэзии. Что-то вроде бульварчика, убогие деревца, купальни на Сене. Немножко прохлады. Кое-где парочки — тоже третий сорт. И поезд метро, с регулярностью маятника проносящийся по виадуку Пасси. Я сидела бессмысленно. Сена так Сена, Париж так Париж. Поднялась, постояла на мосту. Какая мгла сухая над городом!

Солнце мутно, тяжело закатывалось. В розоватом тумане храм Sacrè-Coeur[4], на Монмартре. Вот уж подлинно «корабль»...— плывет над городом — ни до чего не доплывает.

---

[1] средние французы *(фр.)*.
[2] сбережения *(фр.)*.
[3] Остров лебедей *(фр.)*.
[4] Святое сердце *(фр.)*.

18-го. Они отпраздновали свою Бастилию. Мне нет до них ни малейшего дела. Жара давит. Очень плохо сплю. Вчера опоздали на службу. Никого не вижу — и не хочу. Кругом наши русские, за этими стенами — мне все равно.

...Вечером читала странную вещь: один решил покончить с собой, нюхал яд. И записывал. Записи эти остались. Очень интересно. Это было ночью, на рассвете (чаще всего на рассвете люди умирают — и родятся тоже). Он лежал в номере гостиницы. На кровати. И наблюдал за собой. Тут же часы. Взглянет, и запишет. 4 ч. 32 м.— звон в ушах. 4 ч. 35 м.— звон сильнее, левая рука холодеет. И дальше в таком же роде. Какая-то драма — кто знает! (У него близкие были, где-то в провинции. А он приехал в Париж один. Врач. Смерть занимала с научной стороны!.. Как, мол, это делается?) Успел мысленно и с семьей попрощаться. Ну, Бога-то не вспомнил. Мельхиседек остался бы недоволен этой историей. Да. Но ни добродетельной Доры, ни добродетельного Мельхиседека, к счастью, при нем не оказалось, и он успел записать: 4 ч. 55 м.— плывет, сливается. Почти ничего не чувствую. Едва пишу. 4 ч. 57 м.— уми...— вот это и есть смерть. Ничего больше. Трагедия, называется? Или мистерия? Не знаю. И никто ничего не знает. Притворяются.

...Так его и нашли. На кровати, все в порядке, лежит навзничь. Рука упала. Рядом книжечка, часы. Они остановились. Из сочувствия?»

НОЧЬ

В самом имени «Валентина» было для Левы что-то круглое и благозвучное. Круглотой, теплотой и уютом представлялась будущая с нею жизнь. Квартиру они наняли в три комнаты. Одна предназначалась Зое Андреевне. «Старушка вряд ли долго протянет,— рассуждал Лева.— У нее был уже припадок грудной жабы. Значит, до второго». После же «второго» в комнате ее поместят ребенка (ранее он не появится).

Лев не был сентиментален. Он знал жизнь, не выпускал сбережений и собирался устроиться прочно.

Валентина Григорьевна подзапустила портновскую деятельность, надо обзаводиться, хозяйство, мебель. Ездила на Marchè aux puces[1], выбирала, волновалась, и на каком-нибудь «жесете» тащила в новую нору то ширмочки, то кресло, то зеркало.

— В общем, знаете, как трудно,— говорила Доре Львовне.— Надо сообразить...— И наморщивала брови над голубыми не-

[1] Барахолку *(фр.)*.

мудрящими глазами.— Все время, знаете... так, голову напрягаешь.

Голова же не особенно была склонна к напряжению.

— Ведь все я одна... Конечно, Лев Николаевич на машине утром как выедет, то уж на цельный день, ему некогда. И сидит там, на своем Ситроене, как верблюд в пустыне. А мамаша в годах и слабая. Ее астма мучает, и этот еще у нее... как это...

Лоб опять наморщивается — нелегко вспомнить...

— Ну как это... еще от чего давление доктор мерит...

— Склероз?

— Именно. Этот самый. Мамаша едва по дому успевает управиться, так что она в этом уже не помощница.

У своей приятельницы Котеньки, из дома Жанен, заказывала она себе шляпы. (У этой Котеньки все завалено болванами для шляп, шляпами полуготовыми, иногда в пакетах. На стене огромный план Парижа. Там записаны телефоны и долги — последние по мере выплаты счеркиваются. По шляпам через утюг шествует временами кот — равнодушно или прыгая.)

Валентина не очень любила, чтобы заказчица с ней капризничала. Но сама действовала с разбором.

— Извини, пожалуйста,— говорили Котеньке.— Эта шляпочка у меня на голове как детский кабриолетик!

Котенька, высокая, худая, несколько восторженная, не смущалась.

— Безумно тебе идет. У Rose Descat модель сперла.

Возились, переделывали. Котенька перескакивала с ноги на ногу, быстро трещала, наводила порядки. И мало-помалу «обстановочка», платья, белье, принадлежности кухни принимали подходящий браку вид...

Самый брак близился. После ряда визитов в управление архиепископа Лев уладил все. Шафера — знакомые шоферы. Рафа — мальчик с образом (он считался теперь знатоком церковных дел... После поездки в монастырь Фанни уверяла, что Дора рехнулась и готовит его в монахи.)

В день венчания Лев блистал «чистеньким» выходным костюмчиком, с уголком сиреневого платочка над сердцем. Горели его лакированные туфли. Лицо розово, серые глаза красивы, холодны и несколько жестоки. (Это и нравилось Валентине: «хорошенький, но видно, что не тряпка».)

Галлиполийцы-шафера сияли. Невеста в подвенечном платье с белой фатой и флердоранжами, взволнованная, раскрасневшаяся (а не бледная, как обычно невесты), была хороша — русской мещанской миловидностью, неистребимым духом Са-

пожка и Темникова, здоровьем, недалекостью — особой женской теплотой.

Все шло удачно. В меру светило солнце, не было жарко. Резво неслись машины. Не так долго ждал жених на паперти невесту. И совсем повезло в том, что от вчерашней богатейшей свадьбы не убрали еще чудного ковра через всю церковь.

Дом в Пасси был представлен генералом и Дорой Львовной — Капа находилась на службе. На свадебного генерала Михаил Михайлыч мало подходил. Прямо навытяжку простоял все венчание, худой с побелевшими усами — как стаивал некогда на молебнах и обеднях. Замкнуты, как бы отъединенны были черты его сухого, крепкого лица.

Дора, когда сталкивалась с православными, их службами, испытывала некое недоумение. Хорошо поет хор. Хорошо соединяет руки новобрачных священник...— все это очень поэтично. Но неужели можно серьезно верить? Придавать этому глубокий и таинственный смысл? Они говорят — можно. Странно. Очень странно. Искренно ли все это?

Галлиполийцы держали над новобрачными венцы. Вуаль нежно колебалась. Прекрасно было то, что надевают кольца, обручают друг друга. Взволнованных и лишь теперь побледневших обводят Льва и Валентину вкруг налоя. Шаферы с венцами тянутся за ними. Солнце голубым снопом пронзает купол. Дора сочла это первоклассным театром — без дальнейших последствий. «Во всяком случае желаю им счастливой жизни...»

С этими словами, когда венчание кончилось, подошла она к Валентине, обняла ее. Генерал улыбнулся, поцеловал ручку. Котенька в слезах кинулась на шею. Шафер расплачивался в сторонке. Внизу ждали машины.

Дом в Пасси не был еще покинут. Еще в него возвратились, на тех же машинах, в том же сияющем, летнем, полупустом Париже. У раскрытых дверей квартирки ждала Зоя Андреевна.

Вновь слезы и поцелуи. Квартирка в цветах, белоснежная скатерть, закуски, батарейка шампанского. Это шампанское скромных сортов открывали на кухне. Оно пенилось в разносортных бокальчиках. Со всех сторон к новобрачным тянулись руки — красные, к празднику вымытые, привычные больше к рулю. Чокались, хохотали. Кричали «горько». В три часа Женевьева, спускавшаяся по лестнице (как обычно, и в этот день выходила на службу), слышала хохот, ура, шарканье ног под граммофон — и приостановилась. Ничего не говорил выцветенный взор. Ничего не сказал и тогда, когда вспомнила она вчерашние слова консьержки: «У русских завтра свадьба». То, что русские должны шуметь, это естественно, так же естественно,

как и то, что она, Женевьева, поколыхивая вялым телом и глядя стеклянным взором, сядет в автобус, покатит к Мадлэн и начнет свои деловые скитания.

Котенька лепетала что-то кудрявому шаферу — не без восторга. Рафа старался съесть побольше сладкого и держался близ Зои Андреевны — тут сытнее. (И не ошибся.)

К семи отплясали что полагается, сколь полагается накричались — молодым пора трогаться: уезжали в Сен-Жермен. Та же шумная ватага провожала их вниз к машине. Зоя Андреевна плакала. Дора подобрала Рафу, повела к себе — опасалась, что от сладкого будет у него завтра расстройство желудка. Вспоминалось ей нечто очень давнее, тоже шумная свадьба, когда Рафы еще не было, когда соединила она свою жизнь с Лузиным. Для чего это было? Разве можно понять? И вообще — можно ли что-нибудь понять?

Вечер опустился над Парижем. Шофер — приятель примчал молодых в Сен-Жермен. Генерал долго, безмолвно сидел у себя в комнатке, смотрел в окно, видел жаненовские каштаны, слегка тронутые уже коричневатым. Эйфелева башня мигала загадочным глазом и не было в небе Юпитера с Марсом: сблизившись, разошлись они, как полагается. На стене висел портрет Машеньки в черном крепе. Пустая бутылка литровая, откуда вынул генерал свои полтинники, медленно покрывалась пылью.

В разных местах происходило разное. Одно в Париже и другое в Сен-Жермене. Мельхиседек собирался в Париж с сердцем не особенно веселым, вышли «скорби» и Никифор отправлял его с докладом к архиепископу.

Генерал стал на вечернюю молитву. Трудящийся Париж засыпал. Над Парижем черная августовская ночь. Эйфелева башня давно мигать перестала. На облаках розоватое отражение огней. Поезд Мельхиседека отходил очень рано, и до станции мерял он пешочком одинокое шоссе — к тому дальнему зареву, полному электрических напряжений, волн радио, трепетаний света, что и есть Париж.

Старый дом в Пасси, с винтовой лестницей, дубовыми ступенями, небольшими квартирами, спал. Все казалось в нем мирным. И особенно тихо было в одной квартирке, занимаемой барышней Капой, которую называла ее подруга «Пароходом Капитолиной». Так тихо, будто никого уже там не было — между тем, Капа вернулась как всегда и легла спать вовремя.

Из щелей же квартирки, наружу рассеиваясь в холодном предрассветном Париже, а из двери выползая на лестницу, сочился противный запах: светильного газа.

* * *

Смерть всех влечет. Все поспешили заглянуть: и худенький гарсон Робер с гнилыми зубами, и прачка Мари, и газетчица, недавно выдавшая дочь, и приказчик из мясной. Мари ахала. По ее мнению, mademoiselle Сара любила женившегося Leon'a. «Oh, vous savez, il est très joli, ce garson aux yenx gris! Oh, pauvre mademoiselle, oh, vous savez...»[1] Мари вновь забежала в cafè-tabac[2], хлопнула un cassis[3].

Мсье Жанен прибежал в старом, засаленном жакете без воротничка, в домашних туфлях — он только что щупал кур и задавал корм кроликам. Тоже выразил сожаление, но нашел, что покойная поступила неосновательно.

— Можно покончить с собой,— говорил он Роберу.— У меня был племянник, молодой человек как вы, он выпивал по шести литров в день и под конец впал в меланхолию.

Робер несколько обиделся.

— Мсье Жанен, я не выпиваю и двух.

Но Жанен не обратил на него внимания.

— Mais il etait sage, mon neven...[4] Он выбросился на мостовую из окна пятого этажа.

И Жанен почти ласково рассказал, как Этьенн проломил себе висок — это ничего не стоило родным.

— Tandis que cette insensèe[5] — подумать только, всю ночь газ был открыт, сколько это выходит кубических метров? А кто будет платить?

Робер ничего не мог ответить. Он заметил лишь, что русские вообще странные люди.

— Dèsèquelibres[6],— решили оба и направились в бистро: один, чтоб непрерывно наливать и кричать — un bock, un![7] или в кассу, бросая монету: soixant-quènze sur deux![8] — другой «освежиться» при помощи un sain autentique Pernot[9].

Комиссар, плотный, хорошо выкормленный человек, напоминавший церемониймейстера на похоронах, управился довольно

---

[1] О, вы знаете, он очень красивый, этот мальчик с серыми глазами! О, бедная мадмуазель, вы знаете... *(фр.)*

[2] кафе *(фр.)*.

[3] наливки *(фр.)*.

[4] Он был рассудительный, мой племянник... *(фр)*.

[5] Тогда как этот рассудительный человек *(фр.)*

[6] Неуравновешенные *(фр.)*.

[7] еще кружку, еще! *(фр.)*.

[8] семьдесят пять умножить на два *(фр)*.

[9] бодрящего настоящего перно *(фр)*.

скоро. Самоубийство очевидное — преступления нет. Смерть установил врач — хоронить можно. На вопрос, есть ли родственники и кто хоронит, сначала получил от консьержки неопределенный ответ, но спустившиеся в ложу дама и военного вида старик, бедно, но аккуратно одетый, заявили, что похороны берут на себя русские, а старик — дальний родственник. Он просит разрешить доступ в квартирку, чтобы отслужить панихиду и читать Псалтырь.

Комиссар не счел нужным мешать этим русским, показавшимся ему приличными.

С той минуты ключ от квартиры и все распоряжение останками соседки перешло к генералу и Доре (ей и пришла мысль назначить генерала родственником).

Комиссар уже уходил, когда новое лицо появилось у входа: маленький старичок в шляпе, с седою бородой, под которой на рясе золотел крест. Un vrai pope russe»[1],— определил комиссар и еще более утвердился в правильности принятого решения. Они станут заниматься своими религиозными суевериями и читать разные заклинания, но в республике давно уже объявлена веротерпимость и ему совершенно безразлично, будут ли бессмысленные, но не нарушающие порядка rites[2] совершаться на русском, еврейском или еще каком языке.

Комиссар откланялся и ушел. Мельхиседеку тут же сообщили о Капе. Он снял шляпу и перекрестился.

— Ах, Боже мой, Боже мой...

Дора очень взволнована, сдерживается. Генерал молчит. У него особенно каменный вид. Ключ перешел к нему. И втроем, медленно они поднимаются.

Любопытные уже разошлись. Генерал не совсем твердой рукой вложил ключ в скважину. У двери стоял Рафа — бледный, черные его глаза бессветны.

В квартирке не совсем выветрился еще запах. Он будто пропитал собою вещи, стены. Рафа прижался к матери. Он никогда еще не видел мертвых. Сердце билось, когда вошли в комнату, которую отлично знал он, обычную, как у него.

Капа лежала на постели очень покойно, навзничь, с закрытыми глазами. Нечеловеческая тишина вокруг. Снаружи, через сад, могли доноситься какие угодно звуки, хоть бы и грохот, стрельба, здешнего безмолвия нельзя было нарушить.

Генерал и Мельхиседек перекрестились. Дора с Рафой стояли в сторонке. Все молчали. Генералу представилось, что вот так же лежала в Москве его Машенька.

---

[1] Настоящий русский поп *(фр.).*

[2] обряды *(фр).*

Он стоял и не мог оторваться от лица Капы, терявшего уже жизненность, переходившего в мир недоступный.

— Самоубийц прежде не отпевали,— сказал Мельхиседек.— Грех это, действительно, тяжелый. Ну... теперь службы разрешаются.

Рафа вспомнил, как она лежала тут больная, на этой же постели, а он сидел и рисовал у стола. Захотелось подойти, погладить ее руку. Но стало страшно.

— Мама, она совсем умерла?

— Совсем.

— И никогда не оживет?

— Никогда.

Дора хотела было прибавить, что есть люди, как Мельхиседек и генерал, которые надеются, что «оживет», но удержалась: понять это невозможно, к чему забивать мальчику голову фантазиями?

Перейдя в кухню, стали говорить о практическом: как хоронить. Мельхиседек предложил — через сестричество. Будет проще, дешевле. Он сейчас едет в церковь, привезет облачение для панихиды, поговорит с сестрами.

Дора взялась достать денег.

— А вы, Михаил Михалыч,— сказал Мельхиседек,— потрудились бы начать чтение Псалтыри.

Генерал поклонился как бы даже с покорностью.

— Принесите Библию, я укажу, что именно.

Генерал вышел и скоро вернулся с книгой. Мельхиседек загнул углы некоторых страниц. Поставили столик, на столик шкатулку, на шкатулку Ларусса — получилось вроде налоя. Консьержка и Дора должны обмыть тело, одеть и приготовить к гробу. Тогда генерал начнет чтение.

Когда Мельхиседек спускался вниз, у входа встретился с веселой француженкой, mademoiselle Denise, приказчицей соседней съестной лавки — у нее в руках была бумажка. Вместе с Женевьевой собирала она среди жильцов, соседей на похороны «бедной маленькой русской».

Рафа же поднялся к генералу. Что-то томило его. Он молчал, хмурился, старался иметь такой вид, что все знает и понимает, но ничего не мог понять. Знал же одно, только с матерью и генералом ему легче. Это свои, у них можно укрыться в привычную милую жизнь среди ужаса и странности случившегося. И когда генерал сел у окна, Рафа приник к нему, головою к плечу. Генерал вздохнул. Рафа увидел в углу бутылку знакомую темно-зеленого стекла. Она была покрыта пылью.

— А давно мы туда полтинничков не клали...— и вдруг осекся, замолчал.

Генерал гладил его по голове старческими сухими и прокуренными пальцами с рыжими пятнами табака. Ласкал у виска, щеки. Рафа тяжело всхлипнул.

* * *

Началась панихида. В траурной ризе с серебряными цветами Мельхиседек стал торжественней. Бледный свет свечей, желтый и тонкий, был Рафе страшен. Пришла Зоя Андреевна, художник сверху, генерал, консьержка. Капа лежала убранная, с двумя букетами красной гвоздики — лицо ее приняло восковую хладность, с темно-синими провалами у глаз.

— Почему она открыла газ? — спросил Рафа у матери, сжав ее руку, когда панихида кончилась.— Она нездоровая? Почему всегда была такая... немножко вроде сумасшедшая?

— Да, да, нездоровая...— Дора не без волнения, но рассеянно обняла его.

Мельхиседек разоблачался. Она подошла и попросила к ней зайти, если он свободен. Мельхиседек выпрастывал седую голову из-под разреза ризы, оправлял волосы. Взгляд его был спокоен и серьезен.

Через четверь часа он сидел в столовой Доры. Рафу она услала прокатиться на тротинетке — не все же сидеть с панихидами да смертями! Генерал остался читать Псалтырь. Дора предложила Мельхиседеку чай с печеньями.

— Сын спросил меня сегодня, почему она покончила с собой. Я сказала... первое попавшееся. Но меня самое не удовлетворяет...

Дора слегка волновалась, сдерживала полную свою грудь.

— Скажи, ведь она была православная?

Мельхиседек держал в руках блюдечко с чаем и дул на него.

— Православная.

— Я спрашиваю потому, что у меня с ней был очень довольно странный разговор — в тот день, когда она по нечаянности съела несвежей рыбы. Говорили как раз о самоубийстве. Капитолина Александровна двусмысленно выразилась — выходило, что она против самоубийства, т. е. на словах, но грехом как будто не считала, и к жизни относилась презрительно.

Мельхиседек допил чай, поставил блюдечко и обтер белые усы огромным носовым платком — извлек его из глубины рясы.

— Это весьма похоже на ее образ мыслей.

— Но она... исполняла обряды, ходила в церковь?

— В церкви бывала и под благословение ко мне подходила.

— Так что была христианкой?

— Да. Но с некими уклонами.

Дора продолжала волноваться.

— Вы меня извините, мне это ведь чуждо... Я врач. Занимаюсь телом. Понимаю все обыкновенное, земное, мистицизма во мне нет. Тогда же покойная Капитолина Александровна упрекнула меня в сердцах в том, что во мне сильно плотское чувство, что я terre à terre[1] — и даже вспомнила о моем еврействе. Хорошо. Я и думаю: если я неверующая и для меня темен смысл жизни, то вот вы, исповедующие непонятную мне веру, должны быть счастливы, обладая ею. Вам главное открыто. Вы верите в бессмертие души, в вечную жизнь, во всеблагого Бога — несмотря на всю тяжесть и мрак окружающего. Вы верите в высший мир, где и происходит последний суд. И вдруг...— что же такое? Я, неверующая и еврейка, с не особенно... легкой жизнью! — все-таки живу, работаю, сына воспитываю. А христианка — пусть даже со странностями — открывает газ. При этом знает, что самоубийство грех, и отягчает себе будущее. Мне казалось, что религия дает спокойствие и счастье... хоть на земле, по крайней мере. Оказывается же, среди вас такие же несчастные, такие же самоубийцы.

— Совершенно верно-с.

— Но тогда — какой смысл? Какая польза от религии, которая не спасает даже верующих от жизненных трагедий?

Мельхиседек улыбнулся.

— Вы представляете себе дело так, что у нас сообщество таких, знаете ли, не совсем нормальных, что ли. Признаем все одну программу, параграфы устава. Для здравомыслящих параграфы эти — пустое, но для тронутых ничего, они верят и не только верят, а и вроде подписки дают: параграфы исполняю. А за это — радостное настроение на земле и надежда. Разумеется, это я так... для краткости и простоты. Но все ж таки — и вы слишком просто берете. Вы думаете, существуют какие-то...— знаете, тут еще называются у вас: патентованные средства. Проглотил и развеселился. Попил две недели вытяжки из желез, и стал бодрым, молодым... Нет, на самом деле все гораздо сложнее.

— Ну, с лекарствами я не сравниваю. Но должно же миросозерцание воспитывать, укреплять. Что же оно — бесцельно в практической, т. е. моральной жизни? Ведь тогда спросят: *для чего* ваше христианство, если христиане еще слабее, а может быть, даже порочнее *не* христиан? Вон и Анатолий

---

[1] практичная *(фр.)*.

Иваныч христианин тоже в церковь ходит, но уж я предпочту, чтобы мой Рафаил был просто порядочным и трудолюбивым человеком, хоть и без христианства.

— Вполне ваша воля-с. Упреки мы должны принять, т. е. плохие христиане, а таковых нас большинство. Учение же Господа Иисуса тут ни при чем. Оно есть истина и путь даже вернее: сам Господь Иисус — путь. Вот Он пришел к нам, показал, явился...— а уж там наше дело, как к Нему прикоснуться. Один больше Ему сердце открыл, другой меньше. Истина-то и свет укрепляют, конечно, и возвышают. Да только не насильно. А по нашей же доброй воле.

Дора встала, прошлась, опять села. Мельхиседек помолчал.

— Мир, уважаемая Дора Львовна, создан таинственно. Никогда мы до дна его не исчерпаем. Нет таких простых правил, лекарств, которые бы могли переделывать людей, механически исцелять. Указан лишь путь — Христос. Но всегда были и останутся страшные дела, как вы скажете: трагедии. Мир ими наполнен, и нехристианский, и христианский. У каждого своя судьба. Вот и Капитолина Александровна... Вы верно изволили заметить — смерть ее есть противоречие всему христианскому духу. Радоваться тут нечему. Мы и скорбим. В ней было всегда некое противление, или озлобленность, что ли. Она своей трудной жизни не преодолела. Наверное, и мы, окружающие, виноваты. Подойти не сумели. А потом неудачная любовь...

Дора покраснела. Мельхиседек глядел на нее спокойными, не удивляющимися и слегка грустными глазами.

— Ах, Капитолина Александровна... горько закончила. А и еще хуже бывает, и с самыми нашими православными. Я знаю случай, когда девушка исповедалась и причастилась, потом наняла автомобиль и в нем застрелилась.

Пересилив себя, Дора сказала:

— Вы как будто сами признаете слабость христианства.

— Нисколько-с, значит, неясно выражаюсь. Слаб человек, а не христианство. Оно величайшая и единственная истина. А христиане разные бывают. И побеждающие, и побеждаемые.

— Но все-таки, кто по-вашему выше: христиане или нехристиане?

Мельхиседек опять улыбнулся.

— Что же вас обижать... Да и трудно нам говорить, что вот такие мы замечательные. Может быть, так следует ответить: нам дальше видно, но с нас и спросится больше.

Дора задумалась и замолчала. Странный мир, о, какой странный... и странные люди.

— Покойная Капитолина Александровна,— сказал Мельхи-

седек,— шла мучительным, знаете ли, тяжким путем. Все старалась закрывать себя от людей, Бога. И возмущалась горечью своей жизни. Вот... Нам закрыта тайна ее судьбы. Она совершила большой грех. Но высшего суда над нею мы не знаем. Остается лишь молиться за нее, т. е. поддерживать в ином мире, где находится сейчас ее душа. Все ведь соединены. Все как бы вместе. Слабость, грех, ошибки — общие.

— Может быть, вы и действительно счастливее в конце концов,— неожиданно сказала Дора.— Несмотря ни на что.

— Какие бы ни были, нам уже потому легче, что мы знаем, куда глядеть.

...Дора перевела разговор на практическое: что будут стоить похороны, каковы формальности.

Мельхиседек выпил еще чашку чаю, поднялся.

— Вы долго будете читать?

— Надо бы всю ночь. Обещала из церкви прийти сестра. Будем чередоваться.

* * *

Утро. Солнце над Пасси. Пастух медленно проходит с козами по переулку. Он играет на дудочке, везет небольшую тележку. Кто хочет, может остановить его: он тут же подоит козу, нальет теплого молока. Если угодно, продаст деревенского сыру.

Мельхиседек тихо, чтобы не будить генерала, отворяет ключом дверь квартирки. До пяти генерал читал над Капой, а теперь семь — Мельхиседек кончил свои два часа, да сегодня и вообще все кончается: отпевание — и далекое кладбище на окраине Парижа.

Он умывает в кухне руки. С улицы слышна дудочка пастуха и под эту дудочку да под плеск воды просыпается генерал. «А, это вы, о. Мельхиседек... Который час? Восьмой? Так. Встаю. Там Дора Львовна кофе, сахару дала...»

Мельхиседек, вытирая руки полотенцем, входит в комнату.

— Все есть, Михаил Михайлыч. Все Господь дал.

На улице начинается жизнь — вечны хозяйки, консьержки, заботы о дне насущном. Часы отсчитывают время. Генерал одевается, вместе пьют они кофе.

— А я ведь из скита в Париж с другою целью ехал,— говорит Мельхиседек.— Не для того, чтобы читать Псалтырь. Да вот так вышло.

— С какой же целью?

— Вы знаете, у нас ушел Александр Семеныч...— кто

математике-то детей обучал. Он и в саду у нас занимался. Да с Флавианом не ужился.

— Так. Ну и что ж?

— А то, что мы с о. игуменом и рассудили: вы ведь с высшим военным образованием, что вам эта наша математика. Детская игра. Знать мы вас знаем, работой вы здесь не связаны. Одним словом: предлагаем вам занять место Александра Семеныча.

Генерал молчит, жует сухарь.

— Не только не связан, но если бы не Дора Львовна и Олимпиада Николаевна, то просто помер бы с голода.

— Ну, вот... Место для вас подходящее. Но существуют и трудности-с... С людьми нелегко, Михаил Михайлыч, сами знаете. И с мирскими, да и с нашим братом, духовным. У о. Флавиана тяжелый характер. С детьми тоже надо уметь себя поставить. Александр же Семеныч был особо нервный человек, и с самолюбием исключительным.

Генерал усмехается.

— И у меня самолюбие было немалое.

Мельхиседек подмигивает — не без лукавства.

— Только ли было-с, Михаил Михайлыч?

— Ну, ну, осталось, извольте... Все же таки сивку и укатали горки.

— И слава Богу, Михаил Михайлыч. Возраст не тот, времена другие. И слава Богу — с помощью Его и управитесь, и уживетесь у нас.

Опять сидят, молчат, допивают охладевший кофе. Мельхиседек рассказывает о беседе с Дорой. Часы бьют восемь, половину девятого. Дом пробуждается вполне. Все знают, что нынче вынос. Капа лежит уже в гробу — разубрана цветами.

В девять часов в комнату ее, где последний порядок наводят Дора с консьержкой, входит высокий, худой человек с голубыми глазами, в хорошо глаженных серых брюках. Но мягкий воротничок рубашки смят, пиджак не в порядке, ботинки не чищены. Он не брит. Даже будто и не умывался. У него вовсе больное, страшно исхудалое лицо.

Анатолий Иваныч крестится, кланяется гробу.

ПУТЕШЕСТВИЕ ОЛИМПИАДЫ

— Да, конечно... Алик, только не опаздывать. В половине одиннадцатого извольте быть у меня.

В телефоне забурлило, затрещало. Олимпиада улыбалась.

Голос ее приобрел тот певуче-рокочущий оттенок, как всегда в таких случаях.

— Ну, я знаю вас, знаю, вы нехороший...

Ветерок налетел в окно белой спальни из-за Трокадеро. В голубом, мягко струистом воздухе там плыла Эйфелева башня с головой чуть не в облаках. Дора только что кончила массаж. Олимпиада сидела в одной рубашке и голубом халате, в туфлях на босу ногу. Улыбнувшись еще раз, положила трубку.

— Этот Алик пресмешной мальчишка...

Потом обернулась могучим, розовеющим телом к Доре.

— Вы думаете, это мой жиголо? Ах, ну просто мальчишка, говорит разные нежности. Мы друзья, но... ни, ни! Мы берем его в Довилль, прокатиться. Я еду в машине со Стаэле, а его вперед, к шоферу. Вы вот плохо над Стаэле работаете, она все толстеет, и теперь влюбилась в какого-то русского моряка. Милая, закрой окно, мне холодно. Ах, да, она мне рассказывала, что вы приводили к ней сына, и ваш Рафаил совсем ею завладел. Там какой-то у него приятель в общежитии монашеском, и чтобы она ему bourse устроила... Да, да, И такой Рафаил важный, рассказывала, как взрослый — ну что ж, два сапога пара. Так ее распропагандировал, что мы нынче и в монастырь этот заезжаем. По дороге ведь... там какие-то русские.

Олимпиада сидела перед зеркалом. Разрисовывала и обласкивала свое лицо — слегка отяжелевшее, но со знаменитыми серыми глазами — работала кисточками и пуховками, кремами и пудрой.

— Русские, русские...— только пусть не подумают,— сказала вдруг строго,— что я пожертвования делать буду. Нет, уж пусть Стаэле обрабатывают. У нас сейчас такие дела... с Польшей совсем knapp[1], как немцы говорят. Но наши соотечественники разве на это обращают внимание? То есть, что мне трудно? Постоянно шатаются. Отбою нет. Я уж велела прислуге принимать только знакомых, или у кого rendez-vous[2]. Ну, а этот ваш Анатолий... Бог знает что! У вас, кажется, с ним флёртик был? Сознавайтесь, мы кое-что знаем...

Дора защелкнула свой саквояжик, подняла глаза, твердо сказала:

— Анатолий Иваныч погибающий человек, Олимпиада Николаевна.

— Да, я вас знаю, вы сидите в этом русском доме и у вас там все какие-то заморенные... И самоубийца эта... Но Анатолий!

---

[1] скудный *(нем.)*.

[2] свидание *(фр)*

А? Только подумать! Ходил ко мне, пил мой коньяк, занимал понемножку... Кораблики свои носил — я какой-то фрегат старичку адмиралу чуть не за пятьсот франков подсунула. Потом Фрагонара мы с ним вместе устраивали. Перуанку-то я ему и нашла, она этого Фрагонара купила. На нашу долю четыре тысячи комиссии... Но где они, я вас спрашиваю? Куда их Анатолий забельшил? Сам не идет, пишу — не отвечает. А потом оказывается — его видели на Монпарнасе: совершенно пьяный с девчонками. Вот где мои денежки гуляют!

— Он сейчас болен,— сказала Дора.

Олимпиада окончила все ласки лица, огляделась, поправила ресницы, встала.

— Будешь, милая, от такой жизни болен. А придет к вам, вы и таять готовы. Ах, ну, впрочем, мы все бабы дуры.

Она потянулась, вытянула крепкие свои руки. Улыбка вновь прошла по лицу — точно она что-то вспомнила: не без приятности.

— Нет, Бог с ним,— сказала опять серьезно.— Деньги небольшие, но если он к вам заявится, то внушите ему...— у меня коньяка больше нет и никогда не будет. Денег тоже нет...— достаточно, что я этому вашему старичку, генералу, сколько передавала...— вы думаете, другая бы на моем месте это сделала?

Олимпиада вообще считала, что мало в жизни ошибается. У нее были нехитрые, но твердые правила. По решительному своему характеру редко от них отступала (разве что по «женской слабости», как она говорила — именно тогда и начинала загадочно улыбаться и говорить певучим голосом...). Если же доходило до того, сделала бы что-нибудь «другая» на ее месте, это значило, что Олимпиада считает свою позицию неприступной. Она действительно раза три помогала генералу, и это подняло ее в собственных глазах. («Он мне совершенно не нужен... Так, старичок... Разве другая бы это сделала?»)

Когда Дора ушла, она принялась укладывать несессер красного сафьяна, подарок мужа. Большой сундук с металлическими бляхами по углам, уже наполнен всяким добром — его оставалось лишь закрыть. В несессере блестели флаконы, пудреницы, щетки, все ловко прилаженное и дорогое. Олимпиада любила вещи. В комнате был еще беспорядок, но пахло духами, на спинке кровати висели шелковые чулки, летняя светлая кофточка задыхалась под шалью наверху сундука, и все отзывало уверенной, несколько беспорядочной роскошью.

Алик не опоздал. Этот худенький Алик в очках, с бойкими карими глазами, туго зализанными назад волосами, учился в

колониальной школе, хорошо говорил по-французски и занимался хождением по разным дамам. Со временем рассчитывал получить место в Индокитае или Западной Африке, а пока целовал ручки, являлся на завтраки. Охотно отправлялся сейчас в Довилль.

Он не опоздал («пропустить такой случай»). Олимпиада встретила его приветливо-играючи, притворно пыталась журить, но в сущности не за что было. Потом заставила запереть крышку сундука. Завязать последнюю картонку. Потом засадила рассматривать альбом фотографий («Это я в гимназии. Тут кормлю ребенка. Здесь мы путешествуем в Крым»).

Альбом был хороший признак для Алика. Голос ее рокотал не без бархата. Алик прилежно рассматривал, какова она была в гимназии. Олимпиада укладывала последние мелочи.

В одиннадцать коричневая машина с серо-серебристыми дисками колес остановилась у подъезда. Подъемник весь наполнила собою Стаэле. Плавно, как в хороших домах, вознес он ее к Олимпиаде.

* * *

«Многоуважаемая Дора Львовна, пишу Вам из скита св. Андрея, где нахожусь уже более месяца. Преподаю детям математику, да занимаюсь немного в огороде. Работы не так много. Чувствую себя довольно хорошо. Но, конечно, есть и трудности.

Передайте, пожалуйста, Рафаилу, что часто его вспоминаю. Пусть бы собрался и мне написал. Это бы ему было и упражнение по-русски. Только прошу без ошибок и французских словечек! Отдаете ли его в лицей? Пора. Больше ему шататься так зря нечего. Вы ведь переезжаете из того дома? Тоже пора. А мне все кажется, что некая полоса моей жизни кончилась: началась другая. Что это будет? Еще не знаю. Но уж так вышло, значит вышло...»

Генерал сидит у себя в комнатке нижнего этажа. Небольшой деревянный стол с чернильницей и бумагой у самого окна. Выходит оно на внешний двор — перед глазами портал белого Собора, с полукруглой папертью, слегка поросший травкой, с могучей дверью в резьбе и розеткой высоко над ней. Собор отсюда и величествен и горестен — в вековом запустении...

Михаил Михайлыч дописал последнее слово, поднял от бумаги голову — вдруг увидал огромную, белую в пыли машину, тихим зверем выкатившуюся справа, из-под готических ворот. В недоумении сделала она несколько шагов, под окном генерала остановилась.

Олимпиада замахала платочком. Генерал вышел встретить. Она лениво высвобождала ноги из машины.

— Ну вот, вот, видите — вас не забывают!

Генерал подошел к ручке. Олимпиада, улыбаясь королевскою улыбкой, слегка прищурив серые глаза, высоко, привычным жестом поднесла руку к его губам. Алик суетился у дверцы, помогая вылезать Стаэле (задача не из легких: она выставила слонообразную ногу, платье слишком высоко поднялось, она смутилась, залилась краской, и поправляя юбку, чуть не выломала дверцу машины).

— Видите, какую вам, осетрину привезла? Это по благотворительной части. А мы, остальные, не по благотворительной. В Довилль пробираемся. Ну, подавайте нам теперь свое начальство. Или уж и вы сами теперь вроде игумена по штатским делам? Мне Дора что-то говорила, вы тут ребят обучаете математике?

— Совершенно правильно. Но дела управления никак ко мне не относятся.

Стаэле, наконец, вылезла. Он повел их через калитку в садик перед аббатством. У дальней стены, где Дева Мария держала в руках гипсового младенца, а кругом рос плющ и дикий виноград, они уселись на скамеечку. В клумбах цвели астры и настурции. Малыши, игравшие в песке, с недоумением — смесь ужаса с восторгом — взирали на приезжих. Древние стекла аббатства отливали кое-где радужным.

— Я хотела бы видеть... этого мальчика,— пробормотала Стаэле, заранее смущаясь и краснея.— Который бежал из России и не имеет средств учиться. Я хотела бы также поговорить с... supèrieur...[1]

Последнее было не так легко сделать. Все эти дни Никифор был нездоров, почти не выходил и никого не принимал. Котлеткин на уроках. Флавиан в бельевой. Генерал отправился его разыскивать...

Флавиан, оторвавшись от своих простыней, взглянул на него не совсем дружелюбно.

— А-а, благодетельница... Как же, как же. Должны принять, благодарить. Не знаю уж, как там о. игумен...

И с недовольным видом направился к Никифору.

Через десять минут генерал провел Стаэле длинным коридором мимо трапезной, где недавно обедали и на грязноватой клеенке стола валялись еще кое-где крошки. Постучал в дверь комнаты Никифора. Слабый голос ответил оттуда:

---

[1] выше качеством; старшим *(фр.)*.

— Аминь.

В комнате было светло, огромные окна выходили в сад, где вдали, по каштановой аллее, медленно шли Олимпиада с Аликом. По стенам фотографии монахов, в углу киот с нежно мерцающими лампадками — разноцветными: синими, красными. Письменный стол, диванчик, клобук на узенькой постели под серым, почти больничным одеялом. Шкафик с книгами. Тихо. Несколько душный, сладковатый воздух — букет увядающих цветов на столе.

Перед приходом Стаэле Никифор лежал на диванчике — у него был жар, небольшой, но неделями не прекращавшийся, как и неделями покашливал он и отхаркивался.

Услыхав стук, встал. Стоя встретил Стаэле у стола. Низко ей поклонился, указал место на диванчике.

— Вы уж будьте переводчиком, сделайте милость,— обратился к генералу.— Я французским языком недостаточно владею.

Никифоров диванчик крякнул под Стаэле — горестно и непривычно. Она покраснела, но с любопытством уставилась белыми глазами на тощего монаха с серебряными зубами и чахоточным цветом лица. Его застенчивые глаза понравились ей. О, это не то, что глаза лейтенанта Браудо, это совсем другое и особенное, они не могут волновать, но это тоже Россия — совсем особенная, тайная. Все эти иконы на стенах, жезл в углу, на худых руках четки... (Даже свет из окон, огромных, старинных, показался Стаэле спиритуальным.)

Никифоров начал с благодарности иностранке, не погнушавшейся посетить скромную обитель. Здесь воспитываются и дети. Разумеется, в нелегких условиях.

Генерал переводил. Стаэле улыбалась и кивала. Она ответила, что искренне сочувствует русским и, чем может, готова поддержать. Разговор завязался. С внешности он походил, может быть, на беседу царя Феодора с иностранным послом — чудодейственно перенесенными во французское аббатство автомобильного века.

Котлеткина Флавиан привел вовремя. Котлеткин был в аккуратной синей курточке, причесан и несколько взволнован (чувствовал себя вроде жениха на смотринах). Чинно подошел к Никифору под благословение, поклонился Стаэле и стал в сторонке. Перед ним был Никифор, иностранка, генерал. Это не опасно. Сзади же, в три четверти направо, Флавиан ощущался нерадостно, не совсем благосклонной державой. Оттуда можно было ждать неприятностей.

Стаэле спросила Никифора, «как учится мальчик», как себя

ведет. Потом стала расспрашивать его самого — о прежней жизни. Котлеткин отвечал довольно бойко на французском языке, с которым мало стеснялся (чувствуя свою великорусскую мощь). Вздернутый его нос и умные глазенки бодро на нее глядели. Благотворительницу в душе он так определил: «Сильно нажратая буржуйка, но, видимо, соглашательница. Котлеткин, действуй». И рассказывая — уже в который раз — о бегстве с отцом через Днестр, приврал еще немного к предпоследнему рассказу.

На разных разное он произвел впечатление. «Ловчила,— подумал генерал, но без неодобрения.— Мы были одно, они другое. Новое время, новые песни».

Флавиан определил кратко: «шельма». И в самом том, что мальчишку из советской России взяли в общежитие, усмотрел новое доказательство бездарности Никифора. «Может, ничего и не бежал, а просто подослали к нам шпионить... Ну, а разве эта размазня с серебряными зубами что-нибудь в жизни смыслит?»

Стаэле же сочла Котлеткина, наоборот, представителем «новой России, страны великого социальнюго опыта». Его рыжеватые волосы, веснушки, бойкость, свежесть, самый français negre[1] произвели впечатление. Иное, чем Никифор. Не такое, как и Браудо. Но достаточное для стипендии.

После аудиенции ее повели осматривать помещение приюта: дело для нее — из-за трудности ходьбы — невеселое, но необходимое.

* * *

Олимпиада и Алик сидели под каштаном на той самой скамейке у столика, где Мельхиседек поправлял иногда ученические тетрадки. По временам Алик, держа Олимпиадину руку, наклонялся к ней, так что свисали крепкие пряди волос, и целовал ладони, а потом пальцы, один за другим.

— Фу, какой невоспитанный мальчишка,— говорила Олимпиада, не отнимая руки.— Вы кто? Вы просто мальчик, должны учить уроки, ходить в школу, за вами надо смотреть, чтобы вы чистили зубы и раз в неделю мыли голову...— а он туда же, взрослым дамам ручки целовать... Смотрите, монахи увидят, они вас и запрут в карцер. Когда мы подъезжали, я видела около Собора строеньице, вроде погреба, и надпись: Lacaux disciplinaires[2]. Вам там и быть.

---

[1] французский негра *(фр).*

[2] Образцовое содержание *(фр.).*

Алик поправил пряди волос, посмотрел на нее сквозь очки смелым и живым взглядом.

— Никуда меня не запрут. Я монахов ваших не боюсь. Все эти монастыри, монахи... за одну вашу ручку...

— Т-сс, т-с-с... нехороший!

Олимпиада заткнула ему рот этой же самой ручкой. Он вновь ее поцеловал. Олимпиада поднялась.

— Ну, ну, ну, мы пошли. Сдерживайте в себе зверя. Я хочу чистой дружбы.

И ее голос так ласково рокотал, что зверю оставалось только радоваться.

Когда они вошли в аббатство, осмотр уже кончился. Стаэле было жарко, она обмахивала раскрасневшееся лицо платочком.

— Ду-душ...ный день,— пролепетала, как бы извиняясь, и смотрела на Олимпиаду покорными, белыми глазами.— Но оч-чень интере-е-сный...

— Ну что ж, раз мы заехали сюда,— обратилась Олимпиада к генералу,— то уж надо посмотреть Собор. Madame Staële, allons visiter la Cathèdrale. Vite, vite[1].

Стаэле очень хотелось посидеть в прохладе трапезной, выпить лимонаду да опять в машину, дремать до Довилля. Но Олимпиаде она как-то не смела сопротивляться. Влюблена в нее не была, но сила, красота действовали. Стаэле покорно согласилась.

Послали за привратницей. Флавиан предложил было свои услуги. Но Олимпиада холодно на него взглянула.

— Благодарю вас, батюшка, нам и Михаил Михайлыч объяснит. А у вас и без того, наверное, много дела.

«Станет еще приставать с разными пожертвованиями...»

Здоровенная нормандка в сабо и черном платье отворила дверь Собора. Ржавый ключ в руке ее был послушен.

Ледяным погребом дохнуло из узкого, длинного нефа. Узкие колонки, будто выточенные из белого, пористого камня, бежали вверх струйками, на потолке переплетались дугами, как ветви некоего таинственного древа. Плиты пола неровны, вытерты. По стенам сбоку пятна вековой сырости, расползшиеся сложными узорами. Кой-где серебряные капли в них блестят.

— Наш Собор очень известен,— говорил генерал.— Его приезжают смотреть экскурсии и любители издалека.

Привратница вела их боковым нефом. Около абсиды зеленоватый свет лег на пола причудливым снопом сквозь витраж.

— Капелла св. Девы, барельефы одиннадцатого века, оригиналы их в музее Клюни, а это копии,— говорила привычно

[1] Мадам Стаэле, пойдемте в Собор. Скорей, скорей *(фр)*.

благоговейным тоном привратница — постукивала как подковами своими деревянными сабо. Стаэле восхищалась. Ей все хотелось узнать, есть ли здесь влияние шартрских мастеров. (Алик меньше всего думал о мастерах...)

Олимпиада много путешествовала — особенно во второй половине жизни. Достаточно видела и Соборов и древностей, вкуса же к ним не утратила: осмотры входили в ее быт туристический,— как автомобили и казино. Но сейчас, в этом мертвенно-белом, влажно-морозном Соборе ей стало не по себе. Нормандка показывала места погребения настоятелей и монахов. Какой-то епископ с посохом оказался у Олимпиады под ногой — лежит он под зашарканной плитою пола, чуть сохранившей очерк его митры...

— Вы что же, сами тоже в монахи собираетесь? — спросила она вдруг генерала.

— Я лишь учитель-с, какой я монах.

— И хорошо делаете. Но все-таки у вас такой вид...— она внимательно на него поглядела,— неплохой, но вы как-то подсохли, отошли... Ну, пусть она нас ведет теперь к выходу. Пора. Да и осетрина устала. Она к ходьбе не очень приучена. Нет, я, конечно, все это уважаю, но сейчас не хочу. Будет. Нам еще длинный путь.

...Флавиан дергал в коридоре веревочки небольших колоколов. Никифор, надев клобук, опираясь на игуменский жезл, медленно шел по коридору, в теплом свете солнца. В открытые окна видел он небо, ласточек — светлые реяния их в вечернем золоте. Он шел медленно, покашливая. И не доходя до церкви, услыхал трубный рев, гордый рев машины. Как белый, сильный зверь пролетела она внизу по улице. Пыль за ней встала облаком, вблизи расползавшимся, вдаль все густевшим и передвигавшимся в направлении большой дороги на Довилль.

* * *

«Доканчиваю письмо, его прервал приезд гостей. Посетили нас Олимпиада Николаевна, г-жа Стаэле и какой-то молодой человек. Это, конечно, некоторое событие. Г-жа Стаэле хотела посмотреть обитель и Котлеткина, будущего своего стипендиата. Все сошло хорошо. Стипендию он получает. Они осмотрели затем Собор и уехали.

Наша же жизнь продолжается обычным, будничным порядком. Считается, что монастырь — тишина, созерцание. Разумеется, в нем это есть (и особенно церковные службы вносят красоту, возвышенность). Но все-таки люди — люди. И мона-

хи в том числе. Жизнь сообща не так легка. Интриги, самолюбия...

К сожалению, здесь нет сейчас о. Мельхиседека, с ним мне легче всех. С остальными далек. Никифор очень почтенный, возможно, даже и замечательный монах. Но он игумен, недосягаемое лицо. Да и весьма болезнен. Считаю, что ему недолго жить. Авраамий веселый и приветливый... Ну что же, он совсем мужик. Напоминает Вавилу, моего денщика. Очень хороший был ефрейтор, чуть не всю войну вместе проделали, но все-таки от него пахло цигаркой и потом. Нет, я никогда не был демократом, извините меня, Дора Львовна.

Казначей Флавиан и вовсе неприятный человек. Этот уж не демократ. Но преехиднейший. Подробно писать не хочется, но вот пример: Олимпиада Николаевна не захотела идти с ним в Собор, предпочла меня. Нынче он уже дуется. Я чувствую, и меня это тоже раздражает. Весьма возможно, завтра будет придираться на моем уроке. Разумеется, я ему не спущу.

Пред вечером стало как-то грустно. Я пошел прогуляться, забрел в еловую рощицу, недалеко от реки. Солнце стояло уже низко, но все было необыкновенно прозрачно , и полно его светом. В роще же глухая тень. Голая, коричневая хвоя у корней. Ни листика, ни травинки. Только косые лучи кое-где пронзали. А в чаще сороки стрекотали. Я сел на пенек. И долго сидел, знаете, до захода солнца. Да, вот он где очутился на старости лет бывший командир корпуса Михаил Михайлович Вишневский...

Господь говорит, что надо смиряться. Значит, верно...

Напишите мне когда-нибудь. Из России писем я теперь не получаю. И не получу. Не от кого. Все кончилось. Вы добрая, пожелайте мне мира. Привет Вам и Рафаилу».

ВНОВЬ ОСЕНЬ

...Дора шла вдоль фасада. За решеткой здание Лицея с огромными окнами, бюстами писателей в нишах. Мальчики с мамашами и без мамаш, в школьных беретах, с книжками, иногда в очках, иногда в спортивных широких панталонах над серыми чулками, вливались с улицы. Дора только что тоже влила одного такого.

Рафаил Лузин вступил на новый путь — ученика младшего класса литеры В. Мальчик литеры В будет возвращаться домой уже не в тот переулок, где возрастал — и теперь без всяких генералов и Мельхиседеков: после долгих изысканий, в которые

вложила душу, Дора нашла подходящую квартирку со всеми удобствами. И несмотря на возню с мебелью, арматурой, монтерами, переездом, несмотря на усталость, она внутреннее пободрела и посвежела. Мечтания осуществлялись. Теперь устраивается она как порядочная женщина, не то что в русском доме, где все на виду. Теперь видаж и горячая вода без счетчика! Мадам Левенфиш явно завидует.

Каштаны на Avenue Henri Martin стояли коричневые. Бульвар этот темно-зеленый, почти сумрачный от пустоты тени летом, теперь посветлел, в бледно-голубом небе октябрьском плыли над ним и Парижем облачка — с рассеянным выражеиием...

Дора пересекла его по rue de la Pompe. Дора хорошо вымыта, полновата, грудь вперед, пахнет свежестью и чистотой — главное, все в порядке и никаких разглагольствований. В окне русского магазина увидала икру, вспомнила об устрицах, которых давно не ела. «Непременно надо зайти как-нибудь к Прюнье».

Не доходя до Muette, свернула в переулок налево.

Давно не приходилось ей бывать тут. И почти сразу, как вступила на привычную землю, ощутила нечто новое. Правда, cafè-tabac, где худенький гнилозубый Робер наливал (без конца-начала) un bock, un! — было все то же. И лицо прачки Мари в окне нижнего этажа так же багровело с утра. Не узнала лишь места, где сама жила. Ни каштанов Жанена, ни самого его домика нет: точно приснились лишь они.

В огромной яме, похожей на язву, наспех били сваи, возились каменщики. В дальнем углу гремела землечерпалка: железными челюстями вгрызалась в землю, отрывала ее, поворачивалась на кране и, разжав челюсти, высыпала заряд в камион.

Не было крыши и над домом русских. Часть улицы отделялась канатом. Как раз в ее прежней квартирке, развороченной, уже без потолка, стояли на стене два каменщика в синих блузах. Кирками сбивали кирпич за кирпичиком — в белой пыли штукатурки летели те вниз, в огороженное место. Сухим туманом тянуло по всему переулку.

Мари высунулась из окна, узнала Дору, взволновалась, задышала вином и как родной стала объяснять, что на месте прежнего строят теперь новый дом — многоэтажный, все из бетона и железа. «Как в Америке, мадам, совсем как в Америке!»

Тут же сообщила, что строит молодой французский инженер, qui a èpousè l'amie de cette pauvre Capa... oh, pauvre petite...[1] — и Мари совсем расчувствовалась, вспомнив о Капе, которую считала жертвой Leon'a.

---

[1] который женился на подруге этой бедной Капы... о, бедняжка... *(фр)*

Дора поблагодарила, пошла далее по переулку. Некоторая задумчивость на нее нашла. И с удивлением услыхала она звуки знакомой дудочки. Овернский пастух вел своих коз. Дойдя до стройки, козы остановились. В это время кран с грохотом стал поворачивать землечерпалку — козы метнулись назад.

«Да, все прошло. Генерал прав».

И хотя двигалась куда нужно, внутренне Дора погрузилась в иное. «И порочный, и слабый, а все-таки я его любила... За что? Ну, неизвестно. Но в том дело. Во всяком случае, ничего нет».

На улице Cortambert она вошла в подъезд великолепного дома со светлым холлом. Подъемник мягко возносил ее. В голове бродили еще, как облачка, обрывки недоизжитого.

Фанни висела на телефоне.

— Софья Соломоновна? Да, я. Ну, как вчера? А Иезекииль Лазаревич? Выиграл? Ну, так ему всегда везет. В пятницу? Я, кажется, занята. Если не ошибаюсь, бридж у Темкиных. Да, сейчас. Но я тороплюсь. Ко мне пришли делать массаж. Всего лучшего.

И, запахнув халатик, Фанни приветствовала Дору.

— Ну, вот, вот, и живенько. Дорочка, ну как вы там? Довольны квартирой? С видажем?

Через минуту она предоставила свое тело привычным рукам Доры. Но языка унять не могла.

— А как ваш знаменитый Рафаил? Чудесный мальчик. Против него нельзя устоять. Он зимою обобрал в Ницце всех знакомых дамочек и меня на какой-то там пры-ют монастырский... Я вас даже бранила тогда, что вы его в семинарию готовите, он еще всех архиереев знал...

Дора объяснила, что Рафаил уже в Лицее и до семинарии далеко.

— И вообще все теперь по-другому. От того русского дома, где мы жили, ничего не осталось. Я сейчас проходила и видела. Его разрушают и строят новый.

— Помню, помню... еще к вам ходил такой старичок монах, с седой бородой. Вроде Knechtruprecht'a[1]. Ах, Рафочка, значит, в Лицее... Хорошо, но и хлопотно. Начнется теперь эта зубровка...

«Генерал бы поправил»,— думала Дора, массируя спину. Но ничего не сказала. Из-за полнеющей спины Фанни все в тех же видениях, куда погрузилась, идя сюда, с ясностью вдруг увидала она белую бороду Мельхиседека. Нечто тихое и серебристое, почти с физической убедительностью прошло по ней. Представилось, что в метро, во втором классе он сидит сейчас,

---

[1] Рождественского Деда Мороза *(нем.)*.

и подземный поезд его мчит. Мельхиседек неподвижен, недвижно смотрит на белый свет электрической лампочки. Может быть, молится? «Странные люди, очень странные...».

— Дорочка,— сказала Фанни, когда сеанс кончился.— Я чувствую, что вы сегодня задумчивы. Что такое? Плохо с деньгами? Если нужно, я могу дать вперед.

Дора поблагодарила и отказалась.

9 дек. 1931 — 9 дек. 1933



ПОВЕСТИ
и
РАССКАЗЫ

ИЗ КНИГИ «В ПУТИ»

АННА

ГОСТИ

— Тут свинки у меня самые и есть... я не отказываюсь, потому я к свиному делу еще как малюсеньки был, то у нас около Риги ферма имелася. И тут завел, конечное дело.

Матвей Мартыныч приотворил дверь сарайчика. На дворе лошадь приезжих, в тележке, сонно жевала сено. Виднелся низенький дом, за ним сад. Несколько кур бродило у входа. Индюшка вяло подняла голову, повернула ее набок, закрыла глаза бледно-фиолетовыми веками и заунывно пискнула. Краснела рябина. По осеннему небу медленно шли облака. Матвей Мартыныч вышел без фуражки — его короткие густые волосы стояли бобриком, квадратным, крепким. Невысокого роста, он был так широк в плечах, что, чтобы войти, повернулся наискось и, приглашая Чухаева и Похлёбкина, держал волосатую руку на скобе двери.

— Все сам строил, чтобы свинкам жить удобно, чтобы свинкам хорошо, их надо в чистоте держать. Это все у нас заведено и образовано. Русские ничего не понимают, тут даже и помещики плохенько свинок держат.

— А это, и правда, немецкая морда,— сказал Похлёбкин, указывая на розовую, осклизлую пиявку с двумя ноздрями, устремленную несколько ввысь, навстречу вошедшим. Белые глазки под желтыми ресницами имели всегдашнее выражение: едва пробуждаемой, мутной сонности. В хлеве было тепло. Пахло затхло-кислым и острым. Несколько поросят сосало матку. Их нежно-розовеющие тельца, закрытые глазенки со снеговыми ресницами, смутно-сладостное чмоканье, все отзывало первобытно-утробным.

— Это свинья не немецкая, это шведская порода,— объяснил хозяин.— Шведская свинка, я люблю ее.

Чухаев, довольно плотный, в гимнастерке и военной фуражке, с фельдфебельскими рыжеватыми усиками, покровительственно хлопнул его по плечу.

— Показывай, Матвей Мартынов, все без утайки. Что у тебя имеется, мы должны в самой точности знать. Служба. Ничего не попишешь. Мы волсовет, а над нами уисполком.

Похлёбкин, брюнет с длинными усами и не вполне чистым лицом, бритый, в обмотках и заломленной фуражке, потянул носом.

— Разумеется дело, что исполком. Там смотри какие черти сидят. С ними шутки плохи.

И Матвей Мартыныч показывал все, на совесть, шведских свиней и русских, йоркширов и беркширов, поросят и совсем откормленных, розово-сальных, начинающих прозрачнеть жиром, засыпающих боровов — как бы просящихся уже под нож.

Под конец повел он гостей в подвал, гордость Мартыновки — на цементе и бетоне, с цинковой крышей, глубоко ушедшей в землю. Там хранился картофель для свиней и жмыхи.

— Оборотистый ты человек, Матвей Мартыныч,— сказал Чухаев, когда вышли на свет Божий, и корявые пальцы хозяина повернули ключ в замке.— Ты вполне основательный. Жил бы в своей Латвии, да добро наживал бы. Чего ты сюда забрался? Что у нас, тихая жизнь, что ли? У нас, брат, ре-во-лю-ция! Понимаешь? Мы с Похлёбкиным к тебе посланы твоих свинухов проведать, и тебя под наблюдением держать, там сколько ты в совет должен и, скажем, в исполком, и чтобы число твоих свиней не превышало... па-анимаешь? — как полагается для трудового хозяйства!

Матвей Мартыныч засмеялся.

— Ничего мне плохо не будет, я хороший латыш, я со всеми в миру, и с царскими был, и с советскими... я все сам, своим горбом нажил, и сам все построил... Пойдем, Иван Григорьич, закусим. У меня настоечка одна очень хорошая, мы будем с грибком пробовать.

Через большой двор, за которым глухо гудел осенний ветер в роще, направились они к низенькому неказистому домику Матвея Мартыныча.

— Марточка, вот мы пришли. Так у тебя готов ли гусь, мы уже немножечко устали, нам следует подкрепиться...

Матвей Мартыныч крикнул это из темных сенец в открытую дверь кухни, где жарко пылала печь. Отблески огня легко, таинственно лизали пол, ярко сияли в медных кастрюлях. Худая женщина, в озарении света, резала на столе печенку. Мускулистая ее рука была запачкана кровью.

— Готово, Матвей Мартыныч. Анна, неси рюмки,— обратилась она к высокой и сильной девушке, перетиравшей посуду.

Матвей Мартыныч провел приезжих через низенькую горенку

в тоже низкую и темноватую столовую. Стол под грубою скатертью был уже накрыт. Сквозь засиженное мухами оконце все тот же двор, все с той же лошадью советских. Из другой двери выглядывала двуспальная кровать. У стенки, под портретами каких-то латышей в сюртуках, под группою, изображавшей певческое общество, стоял маленький столик с засохшей чернильницей, бумагами и старыми накладными. На одной бумажке, на которую мимоходом взглянул Чухаев, было напечатано: «Хутор Мартыновка, экономия Матвея Гайлиса». Матвей Мартыныч взял эту бумажку не без гордости.

— Мой папаша был Мартын, и он меня немножко научил трудиться, и мой сынок Мартынчик, то я в честь Мартына и назвал усадьбу. Конечно, мартемьяновски мужики недовольные, мои соседи, потому что прежде это было господина Ушакова именьице, и завсегда называлось Мартемьяновка. Но я десять лет здесь живу, и я могу свой дух заводить.

Анна внесла на подносе несколько шестиугольных рюмок и два узких блюда с груздями и рыжиками.

— А вот теперь-то и за водочку мы начнем, это не то чтобы самогон, от которого глаз пропадает, это водочка из аптечного спирта, на корешке, на лимонных корочках...

Началась проба. Выпивали «раз-два по третьей, и никаких шариков», «еще по одной, и безо всяких рябчиков» — с теми сладостно-бессмысленными прибаутками, которые так любят русские пьяницы и картежники. Пили под огурчик и под груздя, под гусиный пупок. Матвей Мартыныч только фыркал, поводил щетинистыми бровями. Чухаев пил ровно. Похлёбкин быстро замаслился — завивал черный ус, чаще других обращался к Анне.

— Вы у нас редко в Серебряном бываете. А почему? Например, там в Народном доме даже очень интересно. Ставятся пьесы, ребята танцуют. Да и барышни. Даже Немешаевы, и Аркадий Иваныч заходят. А я как раз недавно сам на сцене играл, в комедии Островского. Очень смеялись.

— В этот раз не пришлось быть, а вообще бываю,— ответила Анна.— И с Немешаевыми встречаюсь, с Леночкой и Мусенькой... и с Аркадием Ивановичем.

Она произнесла эти слова как-то полно, но туго, точно бы вообще отвыкла разговаривать. Темные и довольно густые ее брови, близко сходящиеся, давали лицу несколько суровое выражение, сквозь которое прорывался, однако, яркий и тайный блеск. Карие глаза глядели замкнуто. Вряд ли в них было много откровенности. И даже смугловатый румянец на щеках не особенно веселил. «Девка первый сорт,— без слов, всем существом

подумал Похлёбкин.— Сумрачная девка, а хороша. Откуда ее, такую, раздобыл латыш?»

— Анна Ивановна, вам разрешите нацедить?

— Налейте,— сказала Анна, и протянула средней величины стаканчик. На половине его Похлёбкин приостановился.— Не жалейте, наливайте полный. Я не опьянею.

И, открыв рот с очень белыми, крепкими зубами, она медленно выпила все до дна.

— Кушайте гуся, еще по кусочку, вот тут с капусткою,— говорила гостям Марта — ее жилистые, очень сухие руки мелькали во всех концах стола. Матвей Мартыныч занялся Чухаевым. Они сидели на уголку и беседу вели серьезную.

— Ты, Матвей Мартыныч, то должóн понять, какое теперь время,— говорил Чухаев вполголоса, медленно и внушительно — он сильно уже выпил, глазки стали красны, но держался, как иногда пьяные,— еще солиднее, чем трезвый.— Ты позабывать не можешь, что теперь ре-во-лю-ция, как я тебе уже доложил. Погляди на меня. Я второй по зажиточности во всем Серебряном, у меня и землица, и пчельня, и лошадки, и живность, то-се, другое-третье, да я не дурак, чтобы всем этим гусей дразнить. Я, может, и тебя не бедней, но должон,— он совсем понизил голос,— себя пред односельчанами в аккурате держать. И держу. Все лишнее норовлю спустить — коровенку ли, лошадь, да и мучку, мед, все обменять стараюсь... ну, а знаешь, иной раз и приезжему на деньжонки продашь, а потом их в Москве на долларá обменяешь... Теперь, брат, не спекульнул — то и дурень. Ты же подумай, свиньи-то твои какие... Про тебя вся округа знает, что, мол, у мартемьяновского латыша такие свиньи, что и прежнему времени впору... Мой тебе приятельский совет, ты как-нибудь, это, тово... сокращайся, Матвей Мартыныч, ну, свинушку спустил, деньжонки под половицу или в подвале закопал, и шито-крыто...

— Выпьем еще, от хорошей водочки только умней будешь, да ты и так умный, я тебя как хороший человек всегда уважу,— говорил Матвей Мартыныч.— А я честный латыш, я против новой власти ничего не имею, я завсегда готов для ней того-другого... Я уже велел Марте в тележку один окорочек под сиденье — там крышка приподымается — гусей парочку в корзинку... а твой товарищ, кажется, охотой занимается? У меня дробь очень хороший есть, совершенно прежний дробь, и порох для патронов... Вот так, эта водочка на особом корешке. А за добрый совет спасибо.

Гусь у Марты оказался знаменитый. Трудно было оторваться. Приезжие старались на совесть. Лица раскраснелись, губы и

даже щеки лоснились, на черном усе Похлёбкина так и засела недоеденная шкурка. Сквозь два небольшие оконца глядел со двора угасающий осенний русский день, когда вечерняя заря не горит над горизонтом, ровны серые облака на небе, буреет в поле копенка вики неубранной, ветер треплет картофельную ботву, да вдалеке одинокий жеребенок, тоненький, длинноногий, призраком стоит — а вдруг тонко заржет, распустит хвост и ветерком понесется домой. Смутные сумерки обозначились, когда Анна вышла на двор, своею крепкой походкой. Взяла ведро, направилась к колодцу, куда ходила каждый вечер. Из хлевов сонно хрюкали свиньи. Куры сидели уже на насестах, гигантский вяз хмуро бурел над домиком Матвея Мартыныча. Анна шла, слегка опустив голову, нагруженная своим одиночеством. Тайно, сладостно было на сердце. Удивительно чувство укрытости. Пусть там допивают водку и заедают ее мятными пряниками, тот мир ушел, начался новый. В нем некоторые слова, предметы, дни, звуки имеют магическое значение. Одно из таких магических слов она выпустила сегодня на волю, оно странно и чудесно отдалось в столовой «экономии Матвея Гайлиса», а теперь шло за нею и с нею, как живое существо. Самый звук его был необыкновенен.

В это время приезжие грузились в свою тележку. Чухаев держался крепче, Похлёбкин едва двигал ногами. Через плечо у него был надет ягдташ, а на другом боку пороховница. В руке он держал мешочек с дробью — очень тяжелый и очень для него радостный. Он слегка раскачивал его и хлопал им себя по коленке. Матвей Мартыныч отвязал лошадь, взнуздал ее и подал вожжи уже сидевшему Чухаеву. Похлёбкин держался за Чухаева, обняв его.

— А ты хороший человек, Матвешка, ты человек сердечный, хотя и не русский,— кричал Похлёбкин.— Я тебя люблю. Я... хочу тебя целовать.

Матвей Мартыныч захохотал, Чухаев тронул лошадь.

— Я хорошим гостям завсегда рад,— говорил он, идя рядом.— А тут, Иван Григорьич, у корзиночке сзади пара лучши гусь. И окорочек.

Чухаев пожал ему руку. Тяжелобрюхий конь, конюшни Немешаевых, взял вялой рысью. Тележка пересекла большой двор, повернула направо по дороге через рощу. К ее опушке, где у канавы, окружавшей прежнее имение Ушакова — ныне хутор Мартыновку,— был колодезь, шла Анна, опустив голову, считая шаги. Через каждые пять шагов она произносила про себя одно слово. Никто не слыхал, никто не знал и не мог даже вообразить, о чем она думает. Это доставляло ей таинственную радость.

Тележка загремела совсем рядом. Чухаев слегка приостановил коня.

— Паз-звольте спросить,— произнес он не вполне твердо,— тут ка-ак будто летничек у-вас есть на Машистово, прямиком... ес-ли не ошибаюсь, налево?

Занавес поднялся, Анна опять оказалась на сцене.

— Первый поворот, около обгорелой ракиты,— сказала она.

— Покорнейше благодарим.

— Если бы не темнело, то можно и не заезжая в Машистово, там есть пешеходная тропка, по ней тоже ездят... прямо бы выехали к Серебряному...

Похлёбкин, покачиваясь, замахал ей и послал воздушный поцелуй, Чухаев стегнул коня, и тележка вновь загремела. Анна опять осталась одна. Она подошла к колодезному срубу, около которого была свеженатоптана глина, зацепила ведро за крючок и медленно стала спускать его. Ведро кое-где толкалось о сруб, позвякивало, дальше и глуше уходило в его осклизлую темь, сейчас казалось — в бездну. Потом шлепнулось о воду. «Серебряное...— шепнула Анна.— Машистово...» Ведро булькало. Она подождала минуту, потом налегла на отяжелевшую веревку, стала тащить. Заметив темный пушок на своей руке от локтя к запястью, вспомнила что-то и вновь, улыбнувшись слегка, как в колодезь, ушла в свое подземелье.

Темнело. Вдалеке громыхала еще тележка. Анна вытянула ведро, поставила его и присела рядом на срубленную осинку, от которой горько и нежно пахло свежим соком, ободранной корой. «Сейчас, наверно, Леночка и Муся играют в карты в гостиной, а Аркадий Иваныч, по обыкновению, у них, курит или играет на гитаре». Она посидела минуту, потом встала. Темнота надвигалась. Анна закрыла глаза, выпрямилась, и, взяв ведро, слегка наклоняясь вбок от его тяжести, пошла домой.

* * *

— Я очень рад, что у нас были эти советски,— говорил Матвей Мартыныч, отстегивая голубую подтяжку.— Теперича они уехали веселы, и Матвей Мартыныч так устроит, что они будут еще веселей, Матвей Мартыныч понимает, что иной раз и свинку не жаль для порядочных людей, хотя, разумеется, они и сволочь, но свинка и-всех и-делает добрыми... ха-ха-ха...

Анна убирала остатки еды. В столовой пахло водкой, гусем, скатерть залита была жирным, и воздух тускл, тоже жирен в слабом свете висевшей над столом лампы с коническим пламенем. Марта, полураздетая, возилась в спальне.

— Мы их хорошо угостили,— сказала она.— Матвей Мартыныч, как ты нашел гуся?

Матвей Мартыныч налил себе в столовой воды, икнул и жадно выпил. Бархатная, темная шерсть курчавилась под глубоко расстегнувшимся воротом его рубашки.

— Марточка, гусь был хорош. Анна, ты почему мало ел гусь? Ты здоровая девушка, ты и-должна хорошо кушать.

— Я, дядя, довольно съела. Правда, гусь отличный.

Матвей Мартыныч положил ей на плечо свою четырехугольную руку с короткими пальцами. Небольшие глазки его блеснули.

— Хороший девушка, работай, трудись. Кончится все, я тебя замуж выдам, за солидного человека, сама хозяйство будешь вести, тебя муж будет любить.

Он нагнулся к ее уху и вполголоса шепнул:

— Ты для мужчины сладкая, как гусь с брусникой.

Анна слегка усмехнулась.

— Меня только съесть не так легко, как гуся...

Матвей Мартыныч захохотал.

— Матвунчик,— крикнула из спальни Марта.— Иди взгляни, как хорошо спит Мартын.

Матвей Мартыныч вошел в спальню, где в маленькой кроватке спал законный, от честного брака, Мартынчик, такой же здоровый и веселый, как он сам, тот, для кого вот он трудится в поте лица и кому — когда «все это» кончится — передаст годами нажитое, наработанное.

Марта стояла у кроватки. Свет свечи с комода освещал мальчика со светлыми волосами, миловидного, с прозрачными, и, как это бывает у спящих детей — жалкими веками, всегда придающими грустное выражение.

— У-у, миленький Мартынчик,— сказал Матвей Мартыныч, и его квадратное лицо сразу распустилось, стало мягче и влажней.— Какой красавчик лежит, ты не находишь, Марта?

Марта взяла с комода свечку, чтобы получше осветить свое творение. Ее худое, довольно красивое лицо с темными глазами и очень крупными, малиновыми губами содрогнулось от восторга и гордости. Матвей Мартыныч нагнулся, щекоча лоб ребенка усами, дыша на него перегаром выпитого, и поцеловал в лоб. Мальчик во сне поморщился, потянулся, и, стягивая с себя одеяло, перевернулся на другой бок, обнажив плечо. Марта мгновенно укрыла его.

— Хорошо, хорошо,— сказала она мужу.— Мартынчик здоров, и все в порядке, но не мешай ему своими нежностями.

Окончив уборку, Анна поднялась наверх, в маленькую комнатку. Вот день и кончен. Она разденется, потушит свет, пере-

крестится и растянется на скромном, жестковатом своем ложе. Сон накроет ее. Настанет таинственный мир, в который мы еженочно — и так привычно, без ужаса! — погружаемся, как дай Бог погрузиться в смерть.

На этот раз она не успела еще заснуть, как на лесенке раздались осторожные шаги человека в туфлях.

— Анночка,— сказал негромкий голос, слегка глухой.— Ты уже спишь?

— Нет. А что?

— Я тебе забыл сказать... нужно будет у Серебряное съездить. Немешаевы просили двух поросеночков, там они хотят выкормить.

— В Серебряное... когда же?

— На эти дни, на эти дни...

— Завтра?

— Не так завтра, как придется этой недели.

— Зачем же ты сейчас пришел об этом говорить?

Матвей Мартыныч побурчал что-то и посопел.

— Я и думал, ты еще не спишь.

Анна привстала на постели.

— Иди, иди, ступай, выпил сегодня много.

Он слегка приблизился. В темноте она его не видела, но, найдя его руки, крепко взяла их, сжала, шепнула повелительно:

— Ступай.

В этих ее руках почувствовал Матвей Мартыныч такую силу, точно огнем прохватило его.

— Я ничего... я, не подумай, Анночка, ты не тово... я тебя редки вижу.

Анна тихо засмеялась.

— Каждый день.

— Мне не заснулось, я тольки тебя по делу и хотел видеть без никого.

— Ну вот и иди. А то Марта Бог знает что подумает. Значит, в Серебряное? Хорошо.

Когда он вышел и осторожно спустился, Анна притворила дверь, вновь легла. Ее прохватила легкая дрожь. «Вот он, дядя. Ну, да, впрочем... ничего плохого он мне и не делает».

Все-таки она несколько разволновалась, заснуть сразу, как обычно, не смогла. В голове вертелся весь нынешний день, приезжие, потом этот странный разговор сейчас — к своему удивлению, никакой неприязни к Матвею Мартынычу она не ощущала. «Мишка, медведь...— сонно подумалось.— Косолапый». Но потом иные слова встали в мозгу — ехать в Серебряное. «Серебряное, Машистово...» Да, хорошо,— вздохнула она как

бы со сладкой покорностью. Слеза поползла в темноте по загорелой щеке. Матвей Мартыныч, хутор, хозяйство — это все пустяки.

В сущности, никаким дядей Матвей Мартыныч ей не приходился. Отца она вовсе не помнила. Но знала вотчима. Мать плохо жила со вторым мужем. Анна от него не терпела, но в мещанском домике среднерусского городка, где мать служила на почте, а вотчим мелким страховым агентом, видела и ссоры, и пьянство, и даже драки. Нечем было бы ей помянуть детство! Да́ оно и рано кончилось. Мать умерла. Марта, дальняя родственница со стороны матери, тогда только что вышедшая за Гайлиса, взяла ее к себе, увезла под Ригу. Там Анна жила и училась, привыкла звать Матвея Мартыныча дядей, а Марту тетей — вошла, как-то боком, как боком жила и в детстве — в семью. Кончив школу, с ними же перебралась и сюда, когда Матвей Мартыныч снял хутор — не то родственница, не то дочь приемная, не то прислуга. Она молча работала, молча спала и молча ела, и считала, что живет так — значит, иначе и не приходится. Не о чем думать, нечего мудрить. За стенами мартемьяновского хуторка бесконечные поля, лесочки и овраги, деревни, села, города необъятной России. Мир велик, недосягаем, грозен в мрачной своей силе. Вот и сейчас долгая ночь над ним. Глухим, дочеловеческим гулом гудят березы по канаве за хутором. Спит Матвей Мартыныч, и Марта, и Анна, и свиньи в хлевах, и индюшки, и куры. Петух, тайным зовом пробужденный, прокричит в свой час ранний, горький сигнал к свету — а еще звериная темнота над землей. Люди его не услышат.

Но в городке над Окой именно вот теперь подымается, зажигает свет в своей лачужке у реки некто Трушка, известный и уважаемый человек, имеющий связи и в у-те-че-ка и в орте-че-ка, как ранний утренний петел, он начинает свой день, ибо дел много, а жизнь коротка, всех недорезанных, правда, не зарезать, и всех неограбленных не ограбить, все же нельзя лениться, ре-во-лю-ция — какое время! Грех его упустить.

СЕРЕБРЯНОЕ

Анна несколько запоздала. Уже смеркалось, латунная, холодная заря ужко лежала вдали, над синевшими лесами. Лошадь плелась рысью. В корзинке повизгивали поросята, колеса тележки шли по неровной колее, сухие травы ошмурыгивали их. Пахло горько и остро полынью, шлеей, лошадью, прохладою сумрачной осени. Над купою парка вздымалась колокольня Серебряного — перерезала зарю. Анна проехала мимо кладбища, мимо канавы

старинного парка с голыми липами, где грачи орали сложно, мучительно, взвиваясь в небе медленными водоворотами, и остановилась под елочками у большого белого дома. Его стеклянное парадное крыльцо было заперто. Анна привязала лошадь, вынула корзинку с поросятами, и, тяжело ступая грубоватыми сапогами, двинулась к черному входу, где стояла бочка, бродили утки, валялись отбросы. В кухне никого не было. Анна поставила корзинку на пол, отворила дверь в коридор и почти столкнулась с черноволосой, черноглазой девушкой в красной кофте, легкою походкой входившей в кухню.

— Аня,— засмеялась она,— в платке, высоких сапогах! Каким вы нынче героем!

— Я привезла Марье Гавриловне поросят, Матвей Мартыныч извиняется, что задержался, все некогда было...

— А-а, Мартыновы поросята... вы там все у себя свиней разводите, ха-ха-ха...— Леночка засмеялась весело и от души, точно разведение свиней вообще казалось ей очень смешным делом. Быстрой походкой подошла она к корзинке и приблизила к ней карие, несколько близорукие глаза.

— Ха-ха, вот они, Мартыновы детишки, хрюкалки! Чудные. Ну, пойдемте к нам, как раз чай подали.

И Леночка той же легкой и беззаботной походкой поправив слегка платок, накинутый сверх кофты, прошла коридором в темную и холодную прихожую, из нее толкнула дверь в большую комнату, где за чайным столом сидело несколько человек.

— Мама, Аня привезла от Мартына поросят. Знаешь, там эти мордышоны.

Анна сняла в передней свиту, сунула в карманы ее рукавички и несколько угловато вошла в комнату Марьи Гавриловны, наспех теперь обращенную в столовую. Марья Гавриловна, спокойная, кареглазая дама лет сорока пяти, с небольшой проседью, курила из мундштука, и к известию отнеслась равнодушно.

— А-а,— сказала она, и выпустила изо рта поток дыма,— давно жду. Мы их выкормим.

Самовар на столе сильно клубил. Окна начали запотевать. Однако в два большие, выходившие в сад, с далеким видом за реку, глядело умиравшее холодно-серебряное небо сквозь голубые ели у балкона — ели редкостные, калифорнийские. Спиною к заре сидел за столом высокий человек в поддевке, с длинными усами. Рядом с ним Муся и барышня с колечком зачесанными на щеки прядями.

Сердце Анны привычно похолодело, она молча поздоровалась со всеми, села к Марье Гавриловне. Но бледный, серебристо-

синеющий свет зари, удивительные колечки на щеках барышни и крупное, как показалось ей, равнодушное рукопожатие Аркадия Ивановича вдруг поразили ее.

— А вы там все со своими свиньями возитесь,— сказала Марья Гавриловна почти дружелюбно.— Вот уж ваш дядюшка поразвел... ха-ха... Ну, что ж, он с меня по знакомству, надеюсь, за поросят возьмет подешевле?

Анна с ненавистью смотрела на свои крепкие, красные руки, от которых пахло вожжами и дегтем. Никто не видел теперь ее высоких сапог, но ей казалось, что все только о них и думают.

Леночка подошла сзади к Аркадию Ивановичу и взяла его за кончики усов.

— Аня, посмотрите на размеры этих дворянских усов, это у тебя барские усы, Аркаша, ха-ха-ха... а теперь время знаешь какое, теперь нас вот, того и гляди, отсюда выставят. Могут сжечь, вообще, что угодно, потому что мы баре.

Аркадий Иваныч поймал руку Леночки и поцеловал около локтя.

— Я, милый друг, барином жил, барином помру, меня поздно переделывать. Где моя гитара? — обратился он к барышне.— Вы, малютка, кажется, ее где-то в зале оставили?

Он поднялся.

— Пока нас окончательно не доконали, я намерен жить так, как мне нравится. Зала еще есть — хорошо. Камин там топится — прекрасно. Марья Гавриловна, я знаю около трехсот романсов, главным образом цыганщина.

Он улыбнулся своим темно-загорелым лицом, привычно подкрутил ус, поправил кавказский пояс, стягивавший еще приличную талию, и вышел с барышнями в залу.

«Почему она ко мне обратилась насчет его усов? — мрачно подумала Анна.— Я тут при чем? Да хоть бы самые раздлинные, какое мне дело?»

В комнате быстро темнело. Папироса хозяйки закраснела в сумеречной мгле. Марья Гавриловна говорила привычно и длинно о том, сколько ей возни с птицей, как трудно с советом, как беззаботны девочки... впрочем, и сама она больше курила и философствовала, чем беспокоилась серьезно.

Да и как могло быть иначе? Такой тон раз навсегда был задан покойным Александром Андреичем для всей семьи. Александр Андреич случайно получил наследство. Не он строил этот дом, не он разводил парк и сажал под балконом голубые ели. Все это свалилось ему с неба. Но нельзя сказать, чтобы он не пользовался полученным. Всегда в Серебряном были

гости, шум, широкая жизнь. Даже кучера немешаевские редко бывали трезвы, и немешаевские выездные лошади, в отличных шарабанах и колясках, не раз носили, выбрасывали седоков в лощинках под разными Спицынами, Рытовками и Лунёвками. Александр Андреич любил гостей, танцы, музыку, вино, и всего этого было вдоволь. Деньги он раздавал направо и налево. В трезвом виде был общителен и весел, ходил летом в длинных чечунчовых пиджаках, широчайших коричневых штанах и дорогой панаме, напоминая президента Фальера. Читал «Русские Ведомости» и путано, умеренно свободомысленно говорил о политике. Но, выпив, становился несдержанно-дерзким. Это мешало ему в земской деятельности. Он раздражался и еще больше будировал.

Грудная жаба вовремя увела этого видного джентльмена — до революции он не дожил. Блюдо досталось Марье Гавриловне и молодежи. Захват земли, скота, переход на положение крестьян — ежеминутно могли и вовсе выгнать — все это для других обратилось бы в глубокие страданья. Немешаевым помогала беспечность.

— Большевички забирают у нас все помаленьку и полегоньку,— говорила Леночка, и хохотала, и даже находила время слегка кокетничать с заезжими коммунистами.— Скоро нас загонят в какой-нибудь хлев... ха-ха-ха...

Марья Гавриловна выражалась осторожнее, но тоже смотрела — ну что же, было богатство, считались первыми в уезде — и нет его, ничего, как-нибудь проживем. И действительно, жили. Двоюродный брат Костя, застрявший у них, основал маленькую артель, сам пахал и скородил на отведенном наделе, Леночка и Муся тоже работали больше, чем раньше, но по-прежнему хохотали. И когда приезжали оставшиеся соседи, играли в карты, дурили и танцевали — из большого дома их все еще медлили выселять.

Так протекал и сегодняшний вечер. Аркадий Иванович в прежние времена приезжал из Машистова, в двух верстах, на паре в наборной сбруе, с кучером в плисовой безрукавке. Теперь ходил пешком, но так же держался молодцевато, как и в уездном городке на земских собраниях, на обедах у предводителя и за бильярдом в гостинице.

Сейчас, в большом зале немешаевского дома, сидя на диване, окруженный барышнями, он пел «В час роковой» — небольшим, верным голосом, аккомпанируя себе на гитаре, совсем так же, как и тогда, когда чай не пили еще с сахаром вприкуску, когда не было роскошью мясо, и эта зала освещалась очень ярко. Важно лишь то, что вокруг, как и прежде, были женщины. Мусю и Леночку он знал еще детьми. Но заезжая их кузина

с колечками волос на подрумяненных щеках, в легоньких туфельках и шали, действовала освежительно.

Когда Анна вошла в залу, пение уже кончилось. Кузина держала в своей руке руку Аркадия Иваныча, рассматривала линии судьбы и, улыбаясь, говорила ему что-то.

— Ну, да все равно, от себя не уйдешь,— сказал Аркадий Иваныч.— В благодарность за гаданье разрешите вашу ручку.

И он поцеловал ее пальцы.

— Ане погляди руку,— крикнула кузине Леночка.— Вон она у нас какой герой могучий, пожалуйте-ка сюда!

Сапоги Анны довольно явственно отдавались в зале. Теперь все их действительно видели. Она покраснела и спрятала руку.

— Ну, уж мне незачем.

— Отчего же,— сказала кузина ласково.— Я с удовольствием. Дайте мне вашу руку.

— Нет, благодарю вас,— так решительно ответила Анна, и села рядом с ней на диван, слегка скрипнувший, что та с некоторым даже недоумением на нее взглянула. Аркадий Иваныч опустил глаза. Но Леночка захохотала, обняла ее.

— Аня, не мечите молний своими черными глазами, все и так знают, что вы прель-стительны... Женя,— обратилась она к кузине,— Аня у нас тут первая львица, несмотря на ее... суровый вид. Давно замечено об этих тихих омутах...

— Что вы говорите, Леночка,— сказала Анна глухо,— я просто работница...

— Ну да, однако же...— Леночка взглянула на Аркадия Иваныча и опять засмеялась.

— Да вот у нас сегодня был Похлёбкин. Прямо ваше завоевание!

* * *

Кузина села за рояль, начались танцы. Приехали еще два недорезанных помещика. Танька накрывала к ужину, Муся и Леночка танцовали. Прошелся вальсом и Аркадий Иваныч, и Костя, и кузина, смененная Марьей Гавриловной. Анна же сидела на диванчике упрямо, сумрачно, чувствуя, что давно пора ехать и нет сил встать. С Аркадием Иванычем она не сказала ни слова. Раза два пробовал он заговаривать с ней, ничего не вышло.«Ну, опять»,— подумал про себя. Анна отходила теперь от него, почти физически он ощущал в ней тучу темных, нервно-электрических сил, противостать которым невозможно. Он все знал заранее, но с какой-то горькой легкостью, будто нарочно, играл в веселость.

Было уже довольно поздно, когда Анна вышла к лошади. Кто мог бы сказать, что она поступила умно, просидев до полуночи, выезжая одна в черную, ветрено-беспросветную ночь? Но она именно так поступила, а не иначе — хотя ей и предлагали ночевать.

Лошадь тронулась. Из-под елок со стороны светившегося в темноте дома выступила высокая фигура с огоньком папироски. Большая рука взялась за крыло тележки, и знакомый, столь знакомый голос сказал:

— Подвезешь меня?

— Садитесь.— Огонек переместился, теперь он был несколько выше Анниной головы. Тележка накренилась.

Ехали дорогой мимо парка, шагом. Ветер гудел в лицах. Иногда ветка задевала за дугу, слегка хлестала сидевших. Огни усадьбы остались сзади. Колокольню церкви нельзя уж было разобрать в кромешной тьме. Но кладбище ощутила Анна горьким, широким дуновением.

— Ты все на меня сердишься? — спросил Аркадий Иваныч.— Вот народец-то! Дай мне вожжи. А сама хорошенько запахнись, и руки — рукав в рукав свиты.

— Вы вольны с кем угодно шутить и кого угодно любить.

За свою бурную, многоопытную жизнь Аркадий Иваныч не раз слыхал эти и подобные им слова. Относиться к ним привык как к неизбежному неудобству. Но сейчас стало действительно грустно.

— Аня,— повторил он мягче,— да ведь что же ты, правда... ну, я болтал там, на гитаре играл... что же такого? Правда, жизнь сейчас невеселая, неужели и похохотать нельзя?

В поле ветер задувал сильнее. Лица Анны нельзя было рассмотреть. Но сквозь свое смутное унынье ясно ощущал Аркадий Иваныч рядом с собой черную тучу. Туча молчала. Разряда не было. На каком-то толчке Аркадий Иваныч слегка охнул.

— Вот,— сказал тихо,— все в почку отдает.

— Будете с Похлёбкиным самогон пить, еще не то наживете.

Когда подъезжали к Машистову, Анна взяла у него вожжи.

— Что ж ты одна в такую темень поедешь? Я бы тебя проводил...

— Слезайте,— сказала Анна.— Ничего со мной не случится. Не маленькая.

Аркадий Иваныч вздохнул и слез. Обойдя тележку, хотел на прощание обнять и поцеловать Анну. Она его оттолкнула.

— Целуйтесь с барышнями. От меня хлевом пахнет.

— Сумасшедшая,— вслух сказал Аркадий Иваныч.— Совсем ты полоумная.

— Ну и слава Богу, что полоумная,— крикнула Анна и дернула вожжи.

Аркадий Иваныч хмуро зашагал новым садом к себе в именьице, Анна же погнала лошадь домой. Вынула кнут, несколько раз хлестанула коня. Он рванул галопом, потом пошел крупной рысью. Тележку подкидывало. Она гремела в пустынных полях, где все было — зловещий мрак. Ветер гнал ее. Анне нравился этот глухой грохот. Ей нравилось также стегать коня, она из всей силы вновь вытянула его раза два — он тяжело и свирепо брыкнул задом, опять помчал. Дух захватывало. Что же, чудесно! Пусть вывалит ее под буерак, стукнет в темноте тяжелым колесом по виску, да покрепче... Сердце болело, но в самой боли была раздирающая сладость. «Страшно, как страшно»,— могла бы сказать Анна, но мыслей и слов в голове не было, просто кипело в глуби. Так, десятилетней девочкой, после того, как вотчим схватил мать за волосы и ударил о край стола, стояла она ночью, в одной рубашонке у раскрытой в метель форточки, вдыхала ледяной воздух и молила послать ей смерть.

Никто не встретился ей в полночный час. Лишь собаки залаяли, когда взмыленный конь подкатил к Мартыновке. По двору двигался огонек фонаря.

— Я было и заснул, да и встал, что тебе долго нет,— сказал Матвей Мартыныч.— Слышу, собаки лают, думаю, наверно, это Анночка приехал.

Он помог ей распрягать лошадь. Анна говорила быстро и возбужденно. Можно было подумать, что она несколько пьяна. Когда выходили из конюшни, Матвей Мартыныч вдруг обнял ее. Анна засмеялась, слегка его отстранила. И присела на край стоявшей у ворот бочки. Он крепко поцеловал ее в шею, около уха.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Хутор Мартыновка по своему хозяйству стоял, конечно, выше окружающего — Матвей Мартыныч мог гордиться.

Земли при нем было немного, поле давало главным образом корм свиньям — всякие свеклы, картофель, красные клевера, репу. Свиней держали в большом порядке — этим заведовали Анна и Марта. Действительно, их мыли, постоянно чистили хлев и закуты, кормили с правильностью клиники — трижды в день.

Матвей Мартыныч всегда был доволен и собою, и окружающим. Он похлопывал боровов и поросных свиней с тем же ощущением полного довольства, как и свою жену. Все казалось

ему в благополучном свете. В центре мира стоял он сам, «хороший латыш», Матвей Мартыныч, который все знает и все понимает, так что спорить с ним бесполезно. С великим благодушием резал он собственноручно тех же самых боровов, за весом и здоровьем которых следил при жизни их с такой любовью. Он и резал их с любовью. Они жили для его, Матвея Мартыныча, целей, он на них трудился, пропахивал для них картофель, косил овес, просо, ездил вдаль за жмыхами — он же распоряжался и их жизнью. И это было так. Это было хорошо.

Анна и Марта выхаживали поросят. Этой осенью у каждой было по опоросившейся свинье — у Анны Матрена, у Марты свинья называлась более поэтически — Люция, это напоминало чем-то, отдаленно, Марте родину — и нравилось. Впрочем, Марта меньше всего была склонна к сентиментальности. В ее жилистых руках, красивых глазах и несколько странно-большой груди всегда Анне казался особый холод. Марта тоже иногда резала свиней, и тоже удачно. Единственный человек, которого боялся и перед кем отступал Матвей Мартыныч, была именно Марта.

— Ты, Анночка, очень хороший девушка,— говорил он,— но тебе никогда так матрешкински их не выкормить, как люцински их Марте.

— Ну и не выкормить,— отвечала Анна,— и шут с ними. Все только под нож, в одну утробу.

— А, ты не понимаешь, ты всегда со своими словами. Тебе бы только зря кормить, что тебе потом, с ними в розовую мордочку целоваться?

— Не знаю, что мне с ними делать, а только радоваться нечему. Ну, поросята и поросята. И в конце концов зарежут их.

Против этого возражать было бы трудно. Вот и теперь, розовые детишки Матрены, в первые дни своего бытия полуслепые, смутно тянувшиеся только к сосцам матери — именно они-то и предназначались к убою, и как раз их Анна отняла на четвертой неделе от матери, тогда как Мартину Люцию все еще сосали. Это произошло через несколько дней после того, как Анна возвратилась из Серебряного. Матрена, запертая в одиночестве, сумрачно хрюкала, толкалась из угла в угол, подымая белесое рыло и вопросительно поглядывая жалкими глазами с белыми ресницами. Отнятые поросята бессмысленно топтались, повизгивали в другом хлеву. Анна налила им в корытце молока с овсянкой и долго смотрела, как они беспомощно совали туда рыльца. «Ешьте, ешьте, хорошо еще, что

ничего не понимаете! Вот так-то — ну, иди».— Она слегка подтолкнула носком сапога одного отбившегося, направляя его к корыту.

Они чмокали, но вяло. Анна смотрела на них пристально, внезапная тяжесть сжала ее сердце. Не дожидаясь, пока они доедят, она вышла из закутки.

Был солнечный день, редкость в начале ноября. Бледный свет лежал на цинковой крыше Мартынова подвала, пестрою тенью одевал стоявшую телегу, растворенные ворота сарая, глубина которого была полна тьмы, лишь кое-где прорезаемой узким лучом сквозь щель. Пахло такой крепкой настойкой осени, в нежной лазури так пронзительно трепетал золотой, к удивлению еще не облетевший лист яблони за домом, что Анна на минуту приостановилась, глубоко вздохнула, потянулась. Боже мой, как хорошо! Даже слезы выступили. Как хорошо и как безмерно грустно! Разумеется, она сумасшедшая, в ней дикая кровь, что она натворила тогда, как себя вела! Все это вздор. Вот если бы он тут сейчас был, если бы взялся рукой за эту дверь, она поцеловала б место, где была рука, и, наклонившись к земле, к этой сухой уже, мертво-коричневой траве, тоже ее поцеловала бы. Что сделать в ясный, терпко-колкий день ноябрьский, когда чувствуешь, что молод, силен, любишь, когда так ужасно хочешь счастья... Закричать, запеть? Хорошо бы это приняла Марта, Матвей Мартыныч!

Марта как раз выходила от своей Люции. За руку вела маленького Мартына, шла спокойно, в теплой вязаной кофте, особенно выдававшей ее большую грудь. Карие глаза смотрели пристально, скорей сочувственно. Увидев незапертую дверь хлева с поросятами, Марта заглянула туда.

— Свинушки,— сказал мальчик, и протянул руку в сторону поросят.

— Свинушки, свинушки,— повторила мать.— Вырастешь большой, у тебя будет тоже много свинушек.

— Ба-альших! — сказал мальчик важно.

— Ба-альших! — повторила Марта. Красивые ее глаза зажглись гордостью. Мартын разрастался в них из маленького латышского мальчика в некоего героя поэмы — так могла бы объяснить Марта, если бы знала, что такое герой и что такое поэма.

Но пока что она сказала Анне:

— Там поросята не доели. Зачем же ты лишнее наливаешь? Как полагается: сколько им нужно, столько и давай.

— А? — переспросила Анна.

Марта посмотрела на нее с недоумением. Холодный огонек слегка блеснул в ее глазах.

— Ты же ведь отлично знаешь, о чем я говорю.

— Ах да, конечно...

Анна вдруг стала поправлять себе волосы — темный завиток выбился из-под туго завязанного на голове красного платочка. Черные, большие глаза были полны отраженного блеска и дрожи. В ее движениях и виде все показалось неприятным Марте, точно бы раздражало.

— Что это, правда, ты...

— Я сейчас уберу,— сказала Анна и быстро направилась вновь к хлеву.

Марта тоже действовала на нее странно, нельзя сказать, чтобы радостно, хотя дурного она ей ничего не делала. Анна привыкла считать ее не то хозяйкой, не то старшей родственницей, но жилистые, очень крепкие руки Марты и ее губы вызывали легкую как бы тошноту. Марта была чиста телом, Анне же казалось, что от нее пахнет мясом. Ощущение это было внеразумно и даже таинственно, но неприятно.

Анна быстро убрала остатки овсянки, подмела, подчистила в хлеве, довольная теперь, что она одна, довольная даже и тем, что прядь волос, слегка курчавившихся, вновь выбилась из-под платочка. Она улыбнулась — хорошо было то, что опять появился Аркадий Иваныч (он любил эту прядь!), Аркадий Иваныч во весь свой огромный рост, с большими мягкими руками, в поддевке, могучих усах, свободно присутствовал, как некий живой великан, в этом хлеве. Он зажигал удивительным светом косые полосы из оконца, благодаря нему пылинки, выплывавшие из разных закоулков, переливались поражающею радугой. В нем была крепкая настойка нынешнего дня, трепет золотого листа, пронзающая лазурь неба. Она не видела его уже с неделю. Как невозможно долго!

— Я хочу тебя видеть,— вдруг вслух сказала Анна.— Хочу тебя видеть...

Наевшиеся поросята осовели, сонно чмокали, иногда какой-нибудь из них слегка повизгивал и тыкал розовым пятачком в бок соседу. Анна в бессмысленном восторге смотрела перед собой, и, точно заклинанье, повторяла:

— Я хочу видеть.

— Вот я хочу тебя видеть.

На минуту ей стало даже жутко. Сила желания была так велика, что оно будто становилось вещественным.

Ей нечего было больше делать в хлеве. Она взялась за ручку двери, тяжело отворила ее. Знала, что сегодня *должна* его увидеть, если его нет, сама к нему пойдет, ни на кого не глядя, никого не спрашиваясь.

И, затворив дверь, обернувшись в сторону двора, Анна нисколько не удивилась, увидев въезжавшую карфажку в английской сбруе — в ней сидела Марья Гавриловна. Леночка правила. Сзади легко катили дрожки с высоким человеком в черных усах. Тяжелая, горячая волна медленно прошла по всему телу Анны.

* * *

— Вы не ждали нас, Аня,— крикнула Леночка со своей двуколки.— Да, неожиданно, мы и не собирались.

— Нет, почему же.

— Вы не знаете новость,— говорила Леночка, щуря свои карие глаза.— Вот так новость: нас выселяют!

Она произнесла это очень весело, точно дело шло о забавном происшествии.

— Мы завтра переезжаем в Красный домик!

Марья Гавриловна медленно снимала свой дорожный пыльник, неторопливо и как бы утомленно высаживалась из экипажа.

— Да,— сказала она Анне,— времена. В нашем большом доме будет совет. А мы пока во флигель... что ж тут поделаешь...

Анна улыбалась. Слова пролетали сквозь нее, ничего не задевая, ни на чем не осаждаясь. Черными, недвижными глазами она глядела на дрожки.

Леночка захохотала, обняла ее.

— Мама, Ане это малоинтересно!

Через четверть часа Марья Гавриловна сидела пред пузатым медным самоварчиком, плющившим лица окружающих, и медленно, несколько грустно рассказывала. По не совсем чистой скатерти с красной каймой ползали мухи, другая часть этого племени глухо гудела под потолком, оклеенным закоптелой бумагой. После дома в Серебряном окна казались маленькими и все убогим.

— Мне Чухаев давно говорил: Марья Гавриловна, мы ничего не можем поделать... Вам тут долго не удержаться. Я, говорит, сам буржуй и понимаю. Даже очень сочувствую, но напирают. Вас, наверно, придется отдать дом под совет. Вот он прав и оказался. Третьего дня приехали из города, и немедленное распоряжение: в двадцать четыре часа! Чухаев говорит — еще Бога благодарите, Марья Гавриловна, что удалось для вас Красный домик сохранить, могли бы прямо на улицу!

Матвей Мартыныч сидел рядом с ней, локти на столе, подпирая коротко стриженную голову грязными, волосатыми руками. Его квадратное лицо в самоваре растягивалось в чудовищное рыло. Он глядел на Марью Гавриловну с беспокойством.

— Вот каки, вот так сволочь! Свою собственный землю им отдавай, коровочек отдавай, лошадок, кур, все пригодится, так еще из дому гонят!

В маленьких, зеленоватых его глазах что-то сверкнуло.

— Так-то вот сидишь, работаешь, вдруг явятся и говорят: пожалуйте вон!

Аркадий Иванович пил чай с блюдечка, медленно дуя на него, заедая малиновым вареньем. Его усы свисали вниз, загорелое лицо с мягкими карими глазами имело утомленный, несколько болезненный вид.

— Что поделать,— сказал он,— живы, и на том спасибо. На Ефремовском хуторке на днях одинокую помещицу просто зарезали... вот как вы ваших... питомцев режете, Матвей Мартыныч. Обобрали, ограбили, что могли, а там ищи их. Все, конечно, подозрения на Трушку. Да его так боятся, что и доказывать на него никто не станет, если б и собственными глазами видел. Он прямо по округе заявил: если кто на меня докажет, я не только что его, а и всю его деревню спалю.

— Такого не пожалеешь,— сказала Анна.

Аркадий Иваныч улыбнулся.

— Вон вы какая воинственная!

— Аннушка прав.— Матвей Мартыныч хлопнул даже ладонью по столу.— Я эту госпожу Синицыну знал, Марта, смотри пожалуйста, ефремовскую барыню убили, у которой я в третьем годе сено покупал, хорошая старушка, обходительная, и сено мне не задорого продал, а теперь ее зарезали и ограбили, ну, так я спрашиваю вас, на что же это похоже, чтобы честных людей ни за что...

Марья Гавриловна вздохнула, по лицу ее прошла тень.

— Ну, что, Аркадий Иваныч, и так не сладко, а вы все какие мрачные вещи...

— Извините, кума, правда, это я зря наговариваю. Должно, нездоровье мое во мне сидит, и все мысли, знаете, в эту сторону...

Анна взглянула быстро, вопросительно.

Марья Гавриловна вновь обратилась к нему.

— Да и вот, например: у самого болезнь почек, а за нами трясется сюда, на своих дрожках...

Аркадий Иваныч слегка покраснел.

— Ну, уж это извините, Марья Гавриловна. Я в вашем доме двадцать лет околачиваюсь, а по нынешним временам отпускать дам одних...

Марья Гавриловна закурила и засмеялась.

— Леночка, смотри какой у нас Аркадий кавалер.

Леночка быстро и деловито ела варенье, низко наклонив голову к блюдечку. Она всегда утверждала, что к «Мартыну» можно ездить с единственной целью — как следует наесться. Сейчас живо подняла голову, взглянула на мать карими, несколько близорукими глазами, захохотала.

— Аркаша нас защищает от бандитов? От нападения разбойничков?

И, слегка щуря глаза, взяла руку Анны, вполголоса сказала ей:

— А я думаю, что бандиты вовсе не опасны.

— Опасны, не опасны, а темноты захватим, это уж как пить дать.

— Да,— спохватилась Марья Гавриловна,— а я еще самого главного вам не сказала... тут все свои...— Она оглянулась.— Я захватила кое-какие вещи, знаете, у нас там совет под боком, того и гляди... вы не будете добры спрятать? Ну, временно подержать у себя?

— Да, мамаша, к делу,— сказала Леночка.— Матвей Мартыныч, вы не откажете? Пойдем посмотрим.

Через несколько минут Матвей Мартыныч тащил уже по двору небольшой, но очень тяжелый чемоданчик и плед в ремнях. От напряжения на виске его надулась жила.

— Кое-что таки набралось,— говорил он довольным тоном.— Надо схоронить. Мы таки схороним. Кое-что набралось.

Ему очень нравилось, что вот у кого-то что-то есть. Марья Гавриловна вполне могла быть покойна за свое добро.

— Все с вами пересчитаем, запишем, под расписочку примем, чтобы не вышло потом чего...

Аркадий Иваныч отвязал свою лошадь и сел на дрожки.

— Я тебя подожду там на выезде, у ракиты,— шепнул он Анне.— Пройди садом.

Анна покорно кивнула, темные ее глаза покрылись влагой. Пока в столовой шел подсчет серебра, ценностей, воротников дорогих шуб, она вышла в сад.

Сад в Мартыновке находился по другую сторону дома, и это был иной мир.

Хоть и сюда доносилось хрюканье свиней, все же старый яблоневый сад, времен далеко до-мартыновских, носил облик милых русских садов — некоего скромного рая. Сейчас яблони стояли уже совсем голые. У подножия стволов чернели круги свежевскопанной земли, от них пахло терпко и прелестно. На одном аркаде сохранилось несколько бледных листиков, и на верхушке одинокое, золотистое яблочко. Изумрудно-стеклянен был вечер. Нежен, узко-серебрист месяц сквозь ветви, горек воздух. Анна шла, попирая погибшие травы.

Пройдя мимо шалаша в дальний конец, выходивший к дороге, она услыхала то медленное в вечернем воздухе позвякиванье, постукиванье, ход подкованной лошади, те мирные звуки, которые говорят о приближении друга. Никогда Трушка так не приближался. И действительно, через минуту, взбежав узенькой тропкой сквозь акации по канавке к дороге, она увидала эти простецкие дрожки, чалого коня, длинного Аркадия.

Увидев ее, он улыбнулся.

— Ты нынче не такая, как тот раз.

Анна села на дрожки боком, обняла его, прижалась щекой к его шее — ус щекотал слегка ей лоб.

— Прости меня, Аркадий, прости.

Все улыбаясь, он обернулся. Темные, сумасшедшие глаза в упор смотрели на него. Он провел рукой по ее волосам, поцеловал в лоб, сказал тихонько:

— Проводи меня до кургана.

Анна молча к нему прижалась.

— Я сегодня так хотела, чтобы ты приехал... и действительно, смотрю, вы и въезжаете. Да,— прибавила она упрямо,— да, больше я не могу.

— Что не можешь?

— Не могу тут жить, не могу без тебя...

Лошадь шла шагом. Внизу, направо, выступила в лощине деревушка Мартемьяново. Там мычали коровы. Слышен был гул молотилки. По временам бич хлопал. И-о-о! И-о-о! — равномерно покрикивал погонщик. Мартемьяново уходило в голубовато-синеющий туман вечера.

Аркадий Иваныч молчал.

— Мне писали из Тулы,— сказал он,— теперь совсем скоро развод. Как получу, обвенчаемся. Я непременно хочу обвенчаться, чтобы все как следует. Будет, довольно. Хочется, чтобы так благочинно... по-настоящему. А то вот прошла жизнь, и столько зря наделано, натрепано... ужасно много...

Все так же позвякивало что-то в дрожках, лошадь медленно ступала по сухому проселку, слегка подымавшемуся. Подъехали к кургану — небольшому, ровному холму на высоком месте. Открылся далекий вид на поля, леса, овраги, взгорья. Что в этом кургане, никто толком не знал, да может быть, и ничего не было — просто сторожевая вышка, откуда наблюдали за жутким востоком, за страшной татарщиной — заревами, дымом надвигавшейся. Аркадий Иваныч остановил коня. Они слезли и сели у канавки. Солнце садилось. Тень векового кургана их одела, над его верхушкой пылали еще лучи, небо на северо-востоке было холодное, сине-стальное. К нему снизу шли яр-

кие, густые зеленя. Их замыкал темный парк Серебряного. Белая колокольня, пересекая пейзаж, горела в последнем блеске.

— Вот там ты,— сказала Анна,— там ты живешь, твое Машистово, и там пропала моя головушка...

Она засмеялась.

— Хорошо, что пропала. Тебя тоже, наверно, скоро оттуда выгонят, это ничего, мы где-нибудь устроимся, не все ли равно. Мне с тобой хорошо. Мне с тобой очень хорошо. Но сейчас ужасно грустно.

Она опять к нему приникла.

— И все страшно... Аркадий, мне как-то очень страшно.

Аркадий Иваныч вертел в руках сухую былинку. Иногда .откусывал кусочек. Он ничего ей не ответил. В пояснице .начиналась вновь привычная, тупая боль.

— Нет,— сказала Анна,— если до Рождества развода не будет, я все равно к тебе сбегу. Это уж как хочешь.

Со стороны хутора на дороге показалась карфажка. Солнце село. Сизый, прохладный сумрак обозначился в лощинах. Аркадий Иваныч встал.

— Пора. Наши едут. Вот и застали темноты.

— У тебя есть с собой?..

Аркадий Иваныч похлопал по карману.

— Я приду в воскресенье.

Он обнял ее, поцеловал в лоб и сел на дрожки.

* * *

Было уже темно. С каждой минутой глубже погружалось заведение Матвея Мартыныча в первоначальную тьму, смывавшую дома, леса, людей, животных, чтобы возродить их утром. Зато на небе восставала своя краса. Зима близилась. Уже Орион выводил, еще невысоко над горизонтом, свой таинственный семисвечник. Под ним кипел вечно юный Сириус.

Сириус стрелял уже разноцветными лучами сквозь голые сучья сада, когда Анна вошла во двор. Дверь инструментального сарайчика была открыта. Там возился Матвей Мартыныч.

— Аннушка, это ты? — спросил он, услышав ее шаги.

— Я.

— Где же ты был?

— В поле.

Из-за темноты Анна не видела лица Матвея Мартыныча, передвигавшего какие-то ящики, но ее поразил изменившийся, задохнувшийся его голос, когда он почти крикиул:

— Ты все за этим Аркадием бегаешь... Я уже давно, уже с лета замечайл...

— Ну и что ж, что замечал?

Матвей Мартыныч выскочил из сарайчика.

— Ты понимай, что он бездельник, он только всю жизнь по ярмаркам ездил, на гитаре играл и любил девушек...

— Да тебе-то что? — вдруг грубо сказала Анна.— Ты чего раскипятился? Ты кто сам?

— Я честный латиш... я хозяин, все сам делаю... Аннушка, не сердись, я ничего, так... ты знаешь, я о тебе все думаю и беспокоюсь, ты уже большая девушка, уже на выданье...

— А-а, беспокоюсь... молчи, Матвей, я знаю, о чем ты беспокоишься...

Матвей Мартыныч взял ее за руку.

— Я о тебе беспокоюсь, потому что ты мне не чужой, ты свой, хороший... Я тебе ребенком знал, а ты теперь сделался красивый девушка...

Теплота его руки, знакомая медвежатная шерстистость хорошо подействовали на Анну. Гнев ее быстро сошел. Ей, как всегда с Матвеем Мартыновичем, стало как-то смешно, ток животной сочувственности смягчил ее. Матвей Мартыныч молча и неуклюже гладил ей руку.

— Если ты будешь ко мне приставать с Аркадием,— сказала она покойнее, и с усмешкой,— так смотри ты у меня!

— Матвунчик! — крикнула с крыльца Марта.— Куда ты там запропастился? Анна, отыскалась, наконец?

Анна слегка хлопнула Матвея Мартыновича по затылку.

— Видишь, какой ты...— шепнула ему. И потом прибавила, тоже вполголоса, но серьезно: — Ты мне не вздумай мешать. Я сама все знаю. Я, дядя, давно уж не маленькая. Я живу сама, и сама буду жить, как захочу. Меня не переделаешь.

Марта встретила их сухо, буркнув про себя что-то. Но Анна не слушала. Ей было все равно. С безразличием она ужинала. В душе прохлада, крепость и решимость. Что-то заканчивалось в ее жизни. Пока она молчала, но свое знала твердо. После ужина, как всегда, поднялась к себе в комнату. Прежде чем лечь, отворила окошко в темную, холодную ночь. Долго смотрела на звезды пылавшие. И опять, как тогда у кургана, стало ей жутко. Голова закружилась.

МАШИСТОВО

В деревне поздняя осень тяжела. Как ужасно размокают дороги! Беспросветен вечный дождичек из холодных, набухших туч, из надвигающихся сыротуманных завес, задымляющих бугры, колокольни, лесистые взгорья. Выехать — зна-

чит хлюпать в грязи по ступицу, плестись шагом, терпеть и мокнуть.

А потом все замерзнет. Тогда дорога — сухая, окостенелая пытка. Телеги грохочут, людей в них швыряет... что же поделаешь. Это Родина. Это Россия.

Михайлов день прострадали в Мартыновке в месиве мокрого снега и грязи. Матвею Мартынычу надо было б доехать в город, но время не позволяет, зарежешь лошадь. Марта и Анна ходили в подоткнутых юбках, высоких сапогах, на которые налипали целые комья — сумрачные и усталые от этих вечно чмокающих звуков,— им вторило в хлевах чавканье свиного населения.

Сухой заморозок принес некое облегчение. К ночи все стихло. Таинственные перемены совершались в облаках. На закоченелую землю Серебряного, Машистова, Мартемьянова во мгле и безвестности заструился снег — стал заравнивать выбоины дорог, белить углы крыш, медленно нарастать в разных ложочках и затишных местах.

Перед тем как лечь, Матвей Мартыныч вышел на воздух и, остановившись на каменной плите за порогом, в кромешной тьме с удовольствием ощутил на лбу, на волосатой щеке, на кончике носа холодные прикосновенья. Он выставил ладонь руки — сомнений не было.

— Ну вот, Матвей Мартыныч говорил, что и пороша, и, разумеется дело, так снежок и пошел!

Каждый год, с большой правильностью, выпадал в конце ноября снег, но Матвею Мартынычу приятно было сознавать, что вот именно он не ошибся, сказав на днях Марте, что скоро будет снег. Стал ли бы серьезный и честный латыш утверждать что-нибудь легкомысленное?

Постояв, сколько полагается, облегченный и довольный, Матвей Мартыныч вошел в дом, запер дверь и направился в спальню. Марта уже лежала. Мальчик спал. Крошечная лампочка-коптилка стояла на комоде и усиливала густой, кисловатый запах.

— Я же и говорил.— Матвей Мартыныч сел на постель со своего боку и, сняв куртку, почесал под рубашкой кустившуюся грудь.— Я же и говорил, что снежок выпадет, мы теперь и ляжем, а встанешь, то и первопуток.

— Вот и хорошо тебе в город ехать,— отозвалась вяло Марта.

— Я знал, что мне хорошо будет.

— А розвальни наладил?

— Матвей Мартыныч все наладил. Пожалуйста! Левый полозок новый сделал, оглобли перестроил...

Задув свет, он довольно грузно, так что двуспальная кровать вздохнула, завалился на спину.

— И тебе с Анночкой по снежку веселее...

— Еще бы.

— А то я третьего дня вижу, Анночка по двору шлепает, так там около подвала, вместо чтобы по досточке, прямо как в лужу ступил, чуть не по коленку в грязь...

— Ну, это уж просто по ротозейству,— ответила Марта.— Дощечка положена, нет, надо переть прямо.

— Не заметил как-нибудь, и попал...

— Не заметила... какая барыня!

Марта повернулась, легла на спину.

— Эта самая Анна дурить начинает. На наших хлебах отъелась, теперь смотри пожалуйста... то усатый сюда заедет, то она бежит в Машистово.

— Она же редки со двора уходит.

— Редки, редки! Прошлое воскресенье чуть не на заре вернулась.

Матвей Мартыныч недовольно двинулся. Некоторое время лежали молча.

— Аннушка честная девушка,— сказал Матвей Мартыныч.— Если кого полюбит, то замуж выйдет.

— Ну, да уж ты за нее горой...

— Не то чтобы горой, а правду надо сказать.

Марта вдруг вспыхнула.

— Значит, я вру? А я тебе говорю, что она с машистовским путается, и об этом все на деревне знают, кого хочешь спроси...

— Марточка, не волнуйся. Я и не говорил, что ты врешь, а что надо правду сказать...

Но Марта действительно рассердилась. Сон ее прошел. Острая электрическая сила пробежала по ее худому телу, может быть та же, что потрясала и в любви. Марта уже замечала и раньше сдержанное притяжение в муже... Как он оживлялся, как близко к сердцу принимал все, касавшееся Анны! Чувство это, отслаиваясь в дальних углах, поднакопилось — давало о себе знать смутными недовольством.

Марта села — так было удобнее — и повела наступление. Матвей Мартыныч лежал сначала смирно, потом тоже воодушевился, сел и стал защищаться в полных доспехах непорочного мужа.

— Марточка, это неправда! Я с тобой скольки лет, и я другой женщины даже и не знал, вот у нас Мартынчик растет, я для тебя и для него стараюсь, как честный латыш...

Но Марту не так легко было заговорить. Она не давала

вздохнуть. После краткого боя победа осталась за ней, хоть и обошлась недешево. Матвей же Мартыныч отступил в порядке, и вдруг занял такие позиции, куда проникнуть за ним было уже невозможно: захрапел на спине. Малые треволненья соскочили с него в ту теплую, медвежатную мглу, где столь легко сливался он со всем царством сонно-живым, покоящимся в Матери-Природе.

Марта же заснуть не могла — этим и платила за победу. Нервное волнение не покидало ее. В сущности, конечно, чепуха, она знает своего Матвунчика и в нем уверена... да и попробовал бы он! Нет, вздор, но лучше бы и этого не было. Забот и так много. Конечно, Матвей Мартыныч отличный муж, хозяин, но как легковерен, как все видит в лучшем свете! Ну, Бог с ней, с Анной, с Машистовом,— он забывает, что теперь не мир, какое время! Разводит себе, раскармливает свиней, в ус не дует, что мартемьяновские мужики как волки бродят вокруг хутора, что ведь приезжали же зачем-то Чухаев с Похлёбкиным...

Мрачные мысли разгорались. Да, хорошо говорить о ней и о сыне, но надо знать, с кем имеешь дело, надо закупать исполком, вообще надо действовать. «Вот теперь поедет по первопутку... да, непременно чтобы в город свез хоть поросят... А может быть, свинку пожертвовать? Хоть бы эту Аннину Матрену... лучше будет, как все заберут?»

Заснула она поздно. Когда проснулась, белесый отсвет лежал на стенах. Матвей Мартыныч в голубых подтяжках уже расхаживал по комнате.

— Как ты спала, Марточка? — спросил неуверенно.— Ты что-то все и-с вечера вертелси.

— Вертелась не вертелась, а надумала правильно.

По виду мужа она поняла, что вчерашнего он не забыл. Власть, как всегда, была за нею.

— Снегу много?

— Снежок ничего себе, да-таки пороша как следует, вот патронов набью, то пойду зайчиков потревожить. Мы давно зайчика не кушали.

Марта принялась одеваться.

— Ну, там зайчика не зайчика, а ты слушай, что я тебе скажу: ты когда в город собираешься?

— В город я обязательно должон. Так и думал, как и санный путь, то и тронуся.

— Тебе надо завтра ехать. И свинью захватишь.

— Как свинью?

Продолжая одеваться, Марта кратко и внушительно ему объяснила, что с пустыми руками ехать в город нельзя. Надо

повидать кого следует, подмазать. Зайчики зайчиками, баловство, успеется. А вот Аннину Матрену — свинья неважная, поросята тоже дрянь, их Анна выкармливает — эту Матрену сейчас же надо зарезать, к вечеру освежевать, приготовить, и завтра окорока прямо в город.

Матвей Мартыныч не очень ждал такой решительности. Разумеется, он предпочел бы искать по пороше зайчишек, а в город и завтра не поздно. Но уж одно то, что Марта выбрала Аннину свинью, говорило о серьезности дела. Как хозяин, Матвей Мартыныч готов был возражать. Но как муж, хорошо знающий свою жену, не решился.

Когда через несколько времени они с Мартой вышли, нагруженные инструментами, точно хирург с сестрой милосердия на операцию, первое, что ударило по ним, был удивительный воздух. Белый снег, нынче родившийся, принес с высот заоблачных такую свежесть, такое бесплотное и как бы отрешенное благоухание, будто иной, прохладный и несколько грустный в нетленности своей мир сошел на землю. Все выбоины, колеи и закостенелые неровности запушил он. Нога ступала мягко, и то, что еще вчера терзало ее, нынче было уже погребено. Матвей Мартыныч с Мартой шли, разговаривали о делах. Ни снега, ни его запаха, ни чистоты они не замечали. Да и странно было бы этого ждать от них. Они шли делать свое дело. Они поддерживали собой мир.

Понимала ли Матрена, что эти спокойные люди, которых она нередко видела, которые ей ничего дурного не делали, как и она им,— идут ее убивать? Должно быть, тоже не понимала.

Лишь когда стали связывать ей ноги, когда Матвей Мартыныч, повалив ее на бок, сел верхом, издала она раздирающий вопль.

Анна доила в это время корову. Выйдя из теплого стойла с подойником, она встретила посреди двора Марту. Та быстро шла по направлению к дому, в левой руке держала, концом вниз, узкий и длинный нож. Кровь капала с него. За углом закуты возился над неподвижной тушей Матвей Мартыныч.

— Свинью резали? — спросила Анна удивленно — обычно она знала об этом заранее.

Отсвет снега бледнил несколько лицо Марты, но и само оно было сейчас безжизненно. Только глаза блестели.

— Твою Матрешку палить будем,— ответила Марта глуховато, с усмешкой. Рука ее с ножом вздрагивала. Приподняв немного острие, она попробовала его пальцем, сразу закрасневшим.

— Теплая еще.

Едва заметная судорога, как след прошедшей под поверхностью рыбки, всколыхнула ее лицо. Анна почувствовала себя несколько задетой.

— Почему же именно Матрену? — спросила она.— И вот так сразу... Я даже не знала.

Марта усмехнулась.

— Ты что ж, помогла бы резать?

Анна ответила холодно:

— Что нужно, я все помогаю.

Они обе шли в дом. Анна не хотела больше расспрашивать. Привычно ушла она в себя. Переливая молоко, делая мелкие хозяйственные дела, легко направилась душой в Машистово.

«Наверно, на охоту теперь пойдет. Сам-то и не такой здоровый, начнет по оврагам за зайцами лазить, распотеет... а там эти почки... Ну, да разве его удержишь?»

Собственно, она думала, что удержать-то — и от вина, и от чего другого можно, но надо при нем находиться. Быть его женой, подругой... Развод же все не идет да не идет. «Аркадий тоже хочет по закону, по-хорошему». Ей было мучительно радостно, что этот немолодой барин, бывший покоритель, теперь так привязался именно к ней, хочет все «по-хорошему» — хотя именно теперь сходятся и без брака, и без любви, как звери.

Кончив работу, Анна вновь вышла на двор. Некое любопытство владело ею. Так хорош, так мил был снег, по нем жалко даже идти. Он тот же снег, что лежит сейчас и в Машистове, и по которому ходит Аркадий за зайцами,— снег друг и союзник. Все же идет она почему-то мимо свиных закут, к тому дальнему углу, где несколько в стороне от двора разбросаны клочья соломы, ржаво краснеют на снегу неприятные пятна. Матвей Мартыныч кончил уже все приготовления. Обложив тушу соломой, не очень обильно, он зажег ее. Синеющий дымок легко поплыл и заботился в воздухе, огонь запрыгал с соломинки на соломинку. Он ненасытно, весело ел золотые пучки, они корежились, тотчас чернели. А огонь ластился уже к туше, охватывал ее. Щетина трещала. Новый запах явился, смрадный. К синеве дыма прибавился серо-прогорклый оттенок.

За недлинную свою жизнь Анна достаточно видела. Ей и самой приходилось резать птицу. Но сейчас, в тихий, белоснежный день, вид палимой свиньи показался ей необыкновенно противным.

Увидав Анну, Матвей Мартыныч несколько смутился.

— Что же это ты, одним махом, и мне даже не собрался сказать... Мою матку зарезали, а мне ни слова.

Анна произнесла это тоном почти начальственным. С неко-

торого времени она вообще усвоила его с Матвеем Мартынычем. Пока не знала Аркадия так, как теперь, пока не чувствовала себя взрослой и не ощущала своей женской силы, Анна к нему относилась как к дяде и хозяину. Но сейчас этого уже не было.

— Нечего делать, Анночка, так вышло. Мне завтра в город ехать.

Анна усмехнулась.

— Что ж так скоро?

Матвей Мартыныч счел уместным переменить разговор.

— Анночка, возьмись за ейные ножки.

Обдаваемая чадом, Анна молча помогла ему. Слегка потемневший бок свиньи лег на аспидно-серебряный пепел, другой выступил в своей жалкой нетронутости: сквозь белесую щетину просвечивала розовая шкура. Жизнь ушла уже. Все-таки в этой розовости Анна признала и нечто знакомое. Это была, хоть и мертвая, все-таки та же Матрена, которую она кормила, которая узнавала ее, когда она являлась в хлев, и чьих поросят с такой предательской заботливостью она выхаживает и по сей час.

Матвей Мартыныч подкинул соломы. Вновь легкий огонь метнулся вдоль туши. Вновь затрещала щетина. Понесло паленым.

— Эх ты, воин,— сказала Анна.— А еще хозяин.

И отошла.

* * *

Все церемонии над зарезанной протекли правильно, все действия кончены, и наутро Матвей Мартыныч в жеребковой дохе, подтянув ее поясом, чем свет (а поля снежные еще налиты ночным сумраком, хмуро синеют, и в глазах при взгляде на них текут светлые запятые) — уже выехал в город.

Без него все шло так же, как и при нем, как должно было идти и как дай Бог, чтобы шло и впредь. Марта и Анна молчаливо работали, Анна особенно теперь не торопилась с разговорами. Марта ничего против не имела — считала, что так даже больше сработается.

Но на другой день произошло небольшое событие, которого Марта никак не могла предвидеть. Началось все очень обычно. Заехала в санках Леночка Немешаева. Увидев ее на дворе, Марта с неудовольствием подумала, что сейчас придется ставить самовар, доставать леденцы и варенье — вообще заниматься ненужными пустяками. «Вот делать-то кому нечего... Знай себе разъезжают!»

Но Леночка, резво пробежав по двору в ловких своих ва-

ленках, сразу сказала, что и заходить не будет. В санках же сидел Костя, в шапке с меховыми наушниками, и даже не думал устраивать лошадь надолго. Он медленно объезжал заснеженный двор, чтобы стать лицом к выезду.

Леночка быстро и оживленно сообщила, что они всего на минуту, едут в Конченку за докторшей — захворал Аркадий Иваныч, лежит, кажется, довольно серьезно.

— Он совсем один там у себя, так неудобно... У него болезнь почек, надо компрессы, даже ванны... Да, Аничка, вам от него письмецо...

И, передав письмо, Леночка быстро укатила в Конченку: надо засветло попасть домой.

Анна же прочитала, слегка насупилась, ничего не сказала. Ушла наверх в комнату, села к столу, положила на стол руки, на них голову и коротко, быстро всхлипнула. Дверь она заперла. Еще и еще раз потрясло ее рыданье. Потом она высморкалась, встала и принялась укладывать в рваный, доставшийся еще от матери и потому милый чемоданчик нехитрые, невеликие свои вещи.

Часа через два вернулся и Матвей Мартыныч. Он был не очень весел. Дорога утомила, в городе не так было гладко, как он ожидал, там сильно подголадывают, зарятся и злятся на деревню. Он сразу же залег спать. Анна спустилась с чемоданчиком, когда его храп раздавался по всему дому.

Увидев ее уже на дворе, Марта удивилась.

— Куда это ты?

— В Машистово. Аркадий Иваныч очень болен.

— В Машистово!

— Да,— ответила Анна покойнее и даже мягче, как будто говорила об обычном, самоочевидном,— иначе нельзя. Конечно... я ухожу так вот, сразу, может, это и нехорошо... но он правда болен, за ним некому и доглядеть.

Марта стояла молча.

— Я ведь его невеста,— тихо добавила Анна.

* * *

В поле она сразу почувствовала себя лучше. То, что должно было произойти, произошло, и чем проще случилось, чем скорее, тем и лучше. Аркадий болен. Вот она идет к нему по этому пустынному снегу, в надвигающихся сумерках — потому, что так надо, такова судьба ее. Анна хорошо знала дорогу. И чем далее отходила, тем яснее ощущала начинавшееся новое. Оно было и радостным, и грозным, как этот предвечерний сумрак,

залегавший свинцом у лесочков, веявший пустыней, ночью. Анна шла быстро. Чемоданчик не был тяжек для ее крепкой руки, привыкшей к полным ведрам, лоханям, корытам. Грудь широко дышала. И странное, почти восторженное ощущение пролетело по ней, обдавая спину нежным, но и жутким холодом.

Она пришла в Машистово затемно — светились уже огоньки, деревня на той стороне оврага пряталась в неисследимой бездне ночи. Усадебка Аркадия Иваныча стояла на отлете. К ней вела неширокая дорога через верх этого же оврага. По ней надо было потом подыматься — дом расположен выше всей деревни, на юру. Фруктовый сад выдвигался прямо в поле, обсажен был нестарыми березами. Этот прямоугольник берез на бугре виднелся издали, точно легкий, стройный авангард некоторых главных сил.

Главных же сил и вообще не было. Аркадий Иваныч жил в маленьком доме, часть земли — до революции — отдавал в аренду, другую кой-как сам обрабатывал. Но что можно было бы сказать о его жизни теперь? Разве то, что он все-таки существовал, что поддерживали его, по старой дружбе, и Немешаевы, и что на кухне его прозябала старуха Арина.

Анна взошла на крылечко, взялась за скобу обитой войлоком двери — дверь без труда отворилась. «Как все тут настежь...» Анна знала дом Аркадия Иваныча, и ей неприятно стало, что не заперта даже дверь. Она быстро разделась. Из кабинета слабый свет ложился на крашеные, давно не натиравшиеся половицы столовой, куда она вошла. Окна чуть запушены узором снега.

— Кто там?

Анна подошла к полуоткрытой двери, просунула голову. На тахте, у стены, завешенной ковром, по которому висели на рогах ружья, патронташи, старинная пороховница, лежал Аркадий Иваныч. Небольшая лампа с картонным абажуром давала блеклый свет.

— Это я пришла,— сказала Анна, с силой выдохнув из себя слова,— и вдруг улыбнулась, всей полнотой своего умиления и радости.— Ты болен, вот я и пришла...

Аркадий Иваныч приподнялся. В полутьме, против света, не мог разглядеть влажных глаз Анны, но ее голос и ее разряд дошли.

— Как я рад... я ужасно рад.

Она к нему подошла, поставила в сторонку чемодан. Свежим зимним воздухом на него пахнуло — здоровьем, молодостью от раскрасневшихся щек Анны.

— Ты получила мое письмо?

Анна кивнула. Глаза ее сияли. Аркадий Иваныч взглянул на чемоданчик.

— А это как же ты...

Анна засмеялась, быстро сняла шубейку.

— Не ждал гостьи. Я к тебе с вещами. Я теперь от тебя не уйду. Понимаешь?

Она подошла к тахте совсем близко — высокая, румяная, с блистающими глазами. Большие красные руки довольно ясно освещались лампой — она стояла перед ним обликом силы и молодости, свежей, страстной жизни. Аркадий Иваныч вдруг ослабел. Взял руку Анны, припал к ней лицом и глазами, поцеловал — всхлипнул.

— Как же ты,— бормотал, вздрагивая подбородком,— как же ты там своих... латышей бросила... как ты сказала, они небось рассердились?

Но Анна ничего уже не могла рассказать. Губы ее дрожали, она обняла его, припала, а вернее, притянула к себе, заполнила, закрыла, точно защищая. Она была в состоянии того счастливого бешенства, когда золотые токи пронзали всю ее, когда она себя уже не помнила, но только знала, что может сдвинуть камни, горы, и сейчас тело Аркадия казалось ей слабым и легким, она могла б его поднять, как чемодан.

— Мой, мой... никому не отдам, вылечим, опять будешь здоровый, вместе будем. Мой...

ЗИМА

В свое время Аркадия Иваныча действительно знал весь уезд. Не потому, чтобы он был богат. Именьицем владел небольшим, состоял при дворянской опеке — в учреждении вялом и невидном. Занимал пост какого-то секретаря, а жил больше у себя в Машистове. Часто разъезжал по ярмаркам, базарам, много охотился — и с Великим князем, и с покойным Немешаевым, бывал на всех дворянских и земских собраниях, играл и на биллиарде, умел закусить, выпить, расправляя свои длинные усы и молодцевато держась в черной суконной поддевке с кавказским поясом,— как же его было не знать?

В городском костюме он сильно проигрывал. Ни воротнички, ни манжеты не шли к его сильно загорелому лицу с темными пятнышками, к огромным грубоватым рукам. Прямой воротничок и белый атласный галстух стесняли его.

Он умел разговаривать и с поденщицей, и с учительницей, и с барыней. Был и женат, и не женат, смотря по взгляду. И сам бросал, и его бросали — не иссякал лишь в нем источник благоволения. Женщины это чувствовали и не были к нему суровы.

Весь первый вечер он не мог успокоиться. Говорил мало, но по его глазам, по тому, как он вертелся, как молча брал ее руку и гладил, Анна поняла, что он что-то кипит. Это и трогало ее, и волновало. «Чего это он... Что такое?»

Сама же она сразу почувствовала себя хозяйкой, госпожой этого нехитрого холостяцкого, однако же насиженного жилья. Арина сдалась ей беспрекословно. Анна везде сама чистила, убирала, привела в порядок и столовую, и кабинет, разложила даже на письменном столе в порядке старые накладные и ненужные прейскуранты. Временами, перебирая его бумаги, чувствовала некоторую боязнь (знала его характер) — не наткнуться бы на какое-нибудь письмо, на угол неизвестной и враждебной жизни. Но ничего не нашла. Зато в столовой обнаружила следы иных грехов: бутылку самогона, дар Похлёбкина.

— Вот,— сказала она, подойдя к нему и постучав пальцем по стеклу,— вот где здоровье твое — на донышке.

Аркадий Иваныч улыбнулся.

— Не судите, да не судимы будете.

Эти слова, немногие, какие знал он из Евангелия, Аркадий Иваныч вспоминал нередко — может быть, потому, что и себя ощущал небезупречным и ему нравилось, что в священной книге, которую читают в церкви,— даже и там есть снисхождение к нему.

— Судимы или не судимы, а этого зелья ты больше и запаху не услышишь.

— Жаль,— сказал Аркадий Иваныч серьезно.

— Ничего не жаль. У самого то да се, в постели лежит... Э-э, да что говорить! Поскорей бы эта докторша приехала, уж хорошенько бы узнать, что да как...

Аркадий Иваныч свернул козью ножку и закурил.

— Я лежу, но довольно хорошо чувствую себя сейчас... Ты... и на гитаре не позволишь мне попробовать?

Анна посмотрела на него. Глаза ее вздрогнули, повлажнели. Она сдержалась, молча встала, вышла в другую комнату, вернулась с гитарою и положила ее на постель.

В это время за окнами машистовского дома, над Серебряными и Мартыновками, начиналось то белое «действо», которое называется метелью, когда носятся по полям дикие косяки, стучит, ухает, наносит сугробы, задувает ложочки, наполняя воздух острым благоуханием, колюче хлещет лицо снежной пылью.

На окнах стали налипать звездисто-путаные узоры. Белый свет яснее лег в немолодые комнаты машистовского дома с топившейся голландской печью, старыми фотографиями на стенах, запахом медвежьей шкуры, ружей и лекарств.

Аркадий Иваныч взял гитару, слегка тронул струны. Они слабо, грустно ответили. Он стал подтягивать колышки.

— Вот и развлекусь немножко. Не вечно же хворать, лежать...

Анна преданными, темными глазами на него взглянула.

— Триста романсов... Меня у Яра отлично знали. Варя Панина одобряла. Все триста на память знал. Но и не одни цыганские...

Он сел повыше, подперся большой подушкой, и слабым полуголосом, полуговорком, но уверенно начал.

Кроме гитары метель ему аккомпанировала. Но в ее порывах, в безумном, сухом хлестании было что-то грозное. Временами так громыхали листы железа на крыше, ослабевшие от времени, так постукивали ставни, что почти заглушали романс. На Анну это пение нагоняло мрак.

— «И умере-еть у ваших ног. О, если б смел, о, е-е-если б мог!»

Он слегка задохнулся, отложил гитару.

— Под этот романс мы с покойным Кладкиным сколько деньжищ спустили...

— Ну, что там вспоминать, где да сколько,— сказала Анна.— Были баре, разумеется. Денег не считали... сами они к вам шли. Своим горбом мало что добывали.

— Верно.— Аркадий Иваныч произнес это вполтона.— Легко пришло, легко ушло.

Анна взяла его за руку.

— Я тебя не осуждаю. Ты как был барин, так барином и остался. Мы — другие. И теперь другая жизнь идет.

Она улыбнулась.

— Я тебя за то и люблю, что ты барин... настоящий. А что цыганок разных любил, этого не люблю.

— Цыганки бывали ничего себе... Но я ими не занимался. Кладкин вертелся немного. Да с ними и вообще не так легко. Нет, мы шальные деньги сорили, это что и говорить, я-то не так, у меня много никогда не бывало, а вот этот Кладкин, например...

Аркадий Иваныч помолчал, потом закурил.

— Его имение отсюда было верст пятнадцать, в сторону Корыстова. Как тебе сказать, не то чтобы особо знатный, родовитый, что ли, человек, скорей напротив, происхождения неопределенного, занимался подрядами, поднажился — и купил Олёсово, переехал туда с семьей, зажил, я тебе скажу, широко. Именины, или там праздник, то водчонки, вина сколько твоей душе угодно. И наши же помещики так у него перепивались, что потом их на дорожках олёсовского парка находили, или под кустами с девками-мананками...

— Мерзавцы. И ты такой был?

Аркадий Иваныч слегка выпрямился, опираясь на подушку, по старой привычке выставляя вперед грудь.

— Я, во-первых, никогда не напивался, хотя пил и много. Второе — женщины меня любили не за деньги.

Анна посмотрела на него невесело. За деньги плохо, но что его любили и не за деньги, тоже мало ей нравилось.

— Так вот этот самый Кладкин завел тут молочное хозяйство, кирпичный завод, и еще раскинулся невесть на что, и надо тебе знать, что все он говорил жене: «Надо мне, Сашенька, по делам в Москву». По этим-то делам мы с ним все к Яру и залетали. Так он к делам пристрастился, что и у Яра, и на бегах, и в разных других злачных московских местах стал своим человеком... И в три-четыре года, под такие-то романсы все его деньжонки, и коровы, и завод — и ухнули. Пытался на бирже играть — окончательно запутался. Все у него пропало. Имение продали за долги, а сам он уж не знаю где сейчас, всю семью разметало... Как и нас прочих, разумеется. Что говорить,— он вздохнул,— мало мы чем от него отличались. Может быть, меньше только пришлось развернуться... Ну, вот теперь и расплачиваемся.

— Кому ты это пел: «И умереть у ваших ног»?

— Никому. В прежней жизни я никому не пел этого так, как сейчас тебе...

Он вдруг нервно и бурно провел пальцами по струнам, вздохнул и опять взволновался.

— Хорошо,— тихо сказал,— что ты пришла ко мне. Ах, хорошо...

* * *

Сквозь шум метели Анна различала хлопанье дверей, голоса в прихожей. Заглянув туда, увидела невысокую фигуру в свите, укутанную платками, так забеленную снегом, что в полутьме резко она выделялась. Арина помогла ей раздеться. Снег мокрыми хлопьями летел с косынок, с воротника свиты. Приезжая добралась, наконец, до носового платочка и старательно обтерла им ресницы. тоже густо залепленные. Несколько оправившись, оказалось полной, довольно красивой женщиной с карими глазами и преувеличенно румяными от метели щеками.

— Меня чуть не занесло. Ну и метель... А, это вы...— Она протянула Анне руку.— Ко мне Леночка заезжала, но я была в разъездах, а потом эта метель,— только сейчас могла выбраться.

Несмотря на долгую езду в поле (под окном кучер поворачивал запотелую пару гусем в пошевнях), от Марьи Михайловны, кроме свежести молодого тела, пахло еще йодоформом — духами медицины. Поправив темные волосы, слегка покачивая полным станом, она уверенно прошла к Аркадию Иванычу — как не быть ей уверенной! — жизнь ее, земского врача, в том и состояла, что или она принимала у себя в Конченке, или ездила куда-нибудь по вызову: тем же ровным и покойным шагом входила эта румяная женщина и к помещику, и к мужику, и к мельнику, и к советскому владыке.

Увидев ее, Аркадий Иваныч слегка смутился, запахнул ворот рубашки. Но по всему лицу, как ветерок, пронеслось дуновение удовольствия: приятно было ее видеть, Анна заметила это. Привычным своим докторским взглядом заметила и Марья Михайловна, но другое: потускневший цвет его лица, вялую руку, припухлость под глазами. Разумеется, виду не подала, что заметила. Но в добросовестном сердце, тоже чужими лекарствами уж пропитавшемся, все это сложила.

Она села рядом, заняв почти все кресло. Докторский запах медленно и неукоснительно распространялся от нее. Аркадий Иваныч взял ее руку, наклонился и осторожно поднес к губам. Поцеловав, не выпустил, продолжая слегка гладить.

— Теперь надо нам заняться здоровьем, поговорить и поисследовать вас,— сказала Марья Михайловна и спокойно отняла руку.

Анна вышла. Аркадий Иваныч продолжал смотреть на приезжую тем же ласковым взором — Марья Михайловна отлично все это знала, но в теперешней обстановке даже не улыбнулась.

— Точно выпил хорошего вина. Знаете, глоток Марго...

Марья Михайловна вздохнула.

— Глотков было достаточно. Столько глотков,— прибавила, вновь всматриваясь в нездоровое тело его руки,— что и за нашим братом пришлось посылать...

Анна не входила. Исповедь телесных слабостей протекала без нее. Лишь часть того, что в нем происходило, мог рассказать словами этот длинный человек. Знал только следствия: ночью тяжко дышать. Там-то больно. Пухнут ноги... Марья же Михайловна прохладными, бесстрастными глазами точно бы производила сыск. В этих почти девических глазах была невинность, как бы равнодушие — они и открывали ей тайну тела немолодого мужчины, в безразличии, лишь легком вздохе.

Анна стояла в столовой, прислонившись лбом к стеклу. Метель лепила неустанно. Теперь почти уж ничего нельзя было разглядеть в ее вихре — иной раз мелькали мчавшиеся куда-то,

простираемые мучительно ветви березы, потом опять тонули в сухом молоке. Овчарка прокатилась по дорожке с раздутым, патлатым хвостом. Анна упорно рассматривала нараставшие хлопья на стекле... «Умирать будет, так без женщины не помрет...» Снег налипал и вкось, и прямо. Звезды сливались, образуя почти сплошной узор, сквозь который сочился белесый свет. «То говорит, что хочет все по-хорошему, по Божию, а то и больной...»

Анна резко оторвалась, подошла к двери, за которой было тихо. Вот он слегка застонал. Кровать скрипнула. «Покойнее, так, хорошо. Тут болевых ощущений нет?»

Анна затихла. Вой метели, чуть приоткрытая дверь, сдержанные голоса и все это простое, столь обычное дело представились необычайно жуткими. Холодноватая струя, тянувшая от окна, почувствовалась ледяной. «Он тяжело, он очень тяжело болен. Как у них тихо...»

Она отошла, села к столу. Подперев голову руками, уставилась на висевшее на стене деревянное блюдо с резною головою оленя. Бледный отсвет лежал на его узкой мордочке, на рогах. Глаза были полузакрыты. Мертвенная скорбь в них. «Какая я дрянь, какая дрянь!» Анна хлопнула рукою по столу.

Когда через несколько времени Марья Михайловна вышла из кабинета, ее поразил вид Анны.

— Что вы?

Анна пыталась что-то сказать, но не особенно удачно. Голубые же глаза Марьи Михайловны были, как всегда, покойны.

— Где бы мне вымыть руки?

Анна покорно повела ее в свою комнату, покорно лила из кувшина воду. Марья Михайловна сбоку на нее взглянула ровным, фарфоровым взглядом.

— Вы ему близкий человек?

— Да. Я теперь тут живу.

Марья Михайловна неторопливо хрустела мокрыми руками, потом вытирала их полотенцем. В ее коротко стриженных смоляных волосах, в этих белых руках, не знавших греха, во всем полном теле было нечто подавлявшее. Анна задохнулась.

— Вам придется с ним много... повозиться.

— Какая у него болезнь?

— Нефрит.

— Это что значит?

Марья Михайловна объяснила. И прибавила, что ему надо делать ванны. Анна вдруг перебила:

— Он умрет?

— Нет, почему же... при хорошем уходе вполне излечимо.

Анна замолчала. Ванны нет, о чем же говорить?

Остаток дня она безмолвно действовала по дому, но мысль о ванне не оставляла. Где бы достать?

Аркадий Иваныч не велел пускать домой Марью Михайловну по такой погоде. Он несколько вообще оживился. Больше обычного разговаривал.

— Куда там ехать, я вам скажу, мы с покойным Балашовым раз в такую метель чуть вовсе не пропали.

Ему приятно было вспомнить, рассказать, как, возвращаясь с дальней облавы, они заблудились у самого Машистова и проплутали всю ночь.

— ...Дорогу мы потеряли, лошадей бросили, изволите ли видеть, лошади стали, а мы шубы поснимали и в одних куртках пробивались. Кучера и потеряли — в нескольких шагах пропал! Его потом нашли в ложочке замерзшим. Балашов отморозил руку, я легче отделался... И вообразите, когда стало светать, мы оказались на плетне у крайней машистовской риги... Каких-нибудь двухсот шагов до дому-то не дотянули. Нет, куда это я вас в темнотищу отпущу. Не модель.

«...Если бы в Мартыновке была ванна, тогда что же, конечно, добежала бы. Ну, там они сердятся, не сердятся, уж достала бы. В деревнях кругом ни у кого нет. Разве у Марьи Гавриловны в Серебряном, детская...»

Марью Михайловну Анна положила на свою постель, сама легла на диване.

— Вы не волнуйтесь, заранее духом не падайте,— говорила приезжая, раздеваясь.— Постараемся все сделать, чтобы его поскорее поднять.

— Да, конечно, да...— как будто даже равнодушно ответила Анна.— Постараемся.

Марья Михайловна разделась с основательностью, спокойствием. Задула свечу, привычно легла в привычно холодную постель. Анна про себя прочла «Отче наш». Нынче чувствовала она себя особенно одинокой. Метель не унималась. То слабее, то бурней налетали ее шквалы. Не было ли это каким-то морским странствием, на немолодом корабле, поскрипывавшем, дрожавшем, в меру многих лет едва сопротивлявшемся? Впрочем, качки не чувствовалось. Анна и Марья Михайловна лежали недвижно, на спине, как в гробах.

Аркадий Иваныч сегодня заснул. Из его комнаты ни стонов, ни вздохов не слышалось. Снилось ему что-нибудь милое, прежнее? Или теперешняя Анна?

— Я ведь вас так поняла,— сказала в темноте приезжая,— что вы его невеста?

— Да. Я ушла сюда от родных.

— Вам надо быть терпеливой.

— Я знаю.

Марья Михайловна вздохнула.

— Вы еще так молоды...

— Это ничего не значит. Я его люблю,— твердо сказала Анна.

— Нам, врачам, приходится видеть много тяжелого. Не говорю уж о теперешнем времени, о революции, но и всегда-то мы окружены бедами. Иногда очень устаешь...

— У вас есть дети?

— Двое.

— Вы их очень любите?

— Понятно.

Анна помолчала, вдруг сказала:

— Любовь страшная вещь.

Марья Михайловна подняла голову. Анна зажгла спичку, закурила. Она полулежала на своем диване, подперев голову рукою. Красноватое сияние от папироски трепетало на ее лице. Что-то тяжелое, упрямое было в самой позе.

— Страшная вещь. Всего съедает. Вот как эту спичку — тлеет, золотится...— а там и вся перетлела, ничего не осталось.

Марья Михайловна усмехнулась.

— Ну уж это вы... Я сама была замужем, и тоже любила, но такого страшного ничего не испытала.

— Вы честная докторша... А заметили, что вы нравитесь Аркадию? Несмотря на болезнь?

— Что вы, о чем говорить...

— О том,— продолжала Анна.— О том самом. Ему все красивые нравятся, вот о чем. ЕМу всех подай.

Начался разговор о любви. Анна высказывала мысли странные, для Марья Михайловны совсем неприемлемые. Например, что когда ревнуешь, то вполне можно убить, и она бы не удивилась, если бы ее убили. «Странная девушка,— думала Марья Михайловна,— искаженное направление мыслей... А с виду такая здоровая». Анна уже утверждала, что она удивилась бы, даже ей было бы неприятно, если бы любимый человек, при ее измене, не убил бы ее.

Марья Михайловна не возражала. Всем своим честным телом, красивыми глазами и прохладно-гуманитарною душой она отрицала «такое». Мягко относясь к людям, подумала, что, верно, Анна многое перенесла.

— Мне одна женщина рассказывала, она очень любила. А он ей всегда изменял... он притом еще женатый был. Это

тянулось десять лет. И знаете, она все десять лет страдала, а потом он умер. Она мне и говорит: «Теперь я покойна. Под землей уж он мне не изменит». Вот что значит ревность...

— Это была сумасшедшая и злая женщина.

— Да, наверно... Все мы сумасшедшие.

Анна замолчала. Несколько времени все было тихо. Она не курила больше. Легла ничком. Вдруг привычное ухо Марья Михайловны уловило рыдания.

— Анна?

В темноте руки хлопнули по подушке. Несмотря на то, что под шубою было тепло, а в комнате холодно, Марья Михайловна добросовестно встала, подошла к дивану. Анна, действительно, плакала. Утешительница села рядом, стала гладить ей затылок, целовать его.

. . . .

— Не думайте, что я такая дрянь... Ну, я, конечно, дрянь, но все же не такая. Я вам клянусь, вот святым Божиим крестом, если б сейчас моя жизнь потребовалась для его спасения и счастья, я б минутки не подумала... Но этого не нужно. А выносить, чтобы он с другими ласков был и к другим бы стремился, я все равно не могу... такая родилась.

...Ах, я вам, почти незнакомой женщине, такие вещи рассказываю, но мне нынче очень страшно, очень грустно, так тяжело, некому сказать... Я всю жизнь одна была. Да, я много видела. И всегда мне казалось, что скоро я умру.

Она села и даже прижалась к Марье Михайловне.

— Какой ветер, какая метель! Хоронят нас. Я вспоминаю — я еще девочкой, в такую же ночь... тогда вотчим маму избил... я его хотела сначала зарезать... а потом решила — лучше сама помру... и вот так ночью в метель форточку отворила, высунулась почти голая, все думала: простужусь, помру... и выжила... а потом и мамочка умерла, я одна осталась, в чужих людях... Будто бы у дяди с тетей и сейчас живу, работаю. Нет, я это все бросила. Я Аркадия полюбила, я его навсегда полюбила, вы не слушайте, что я иной раз подлости горожу, он слабый человек, но такой хороший, такой ласковый, как никогда еще никто со мной не был. А я стерва... Что он мне плохого сделал? Я по сумасшедшему своему характеру сама все на него выдумываю. А вот теперь он болен.

Анна остановилась. Марья Михайловна чувствовала себя во второй буре. Первая бушевала за стенами, секла снегом, продувала ледяными струями старый дом, от нее зябли ноги. Вторая огнем крутила тут же рядом. От нее слезы медленно стекали по гуманитарному лицу.

Вдруг Анна схватила ее руки, стала целовать.

— Спасите его, помогите... спасите. Я знаю, он ужасно болен, но спасите...

— Успокойтесь, ничего, все обойдется.

* * *

Немешаевы разместились в Красном домике, своем бывшем флигеле, с тою простотой и непринужденностью, точно и всегда там жили. Леночка заведовала библиотекой (более финтила в большом доме с приезжими). Муся откровенно ничего не делала. Костя работал.

— Я бы, конечно, с удовольствием дала вам для Аркадия ванну,— говорила Марья Гавриловна, помешивая на печурке пшенку (лениво, но так же спокойно, точно всю жизнь этим только и занималась),— но дело в том, что наша ванна, в которой мы еще детей купали, уж не наша. Вы понимаете?

Она поправила накинутую на плечи шубенку, пустила струю табачного дыма и приветливо взглянула на Анну карими глазами.

— Вам придется обратиться к Похлёбкину. Чухаева из председателей уже выставили... слишком, оказывается, сам буржуй. А этот еще держится... Пьянствует с новым председателем да в Народном доме на сцене играет. Попробуйте к нему обратиться... Да он, кажется, к вам и не совсем равнодушен был...— Она слегка усмехнулась.— Тем лучше. Так, так... Аркадий бедный все страдает... ах-а-ха... Мне и Марья Михайловна говорила. Навещу, навещу, жаль мне его.

Выйдя во двор, Анна поднялась по ступеням стеклянного подъезда. Туда входили и выходили мужики в свитах, в бараньих тулупах, тяжелых шапках. Пузатые лошаденки, с монгольскими вихрами, патлами, жевали у комяги корм в подвешенных к мордам мешочках. Анна бывала в этом доме, еще когда Немешаевы в нем жили, когда был здоров Аркадий... И встретились-то они здесь. Да, но сейчас все другое. Некогда об этом даже думать, пришло-ушло, нужно ей только одно, свое.

Мокрые следы вели в залу. Там стоял синеватый туман, едкий запах махорки, полушубков, отсыревших валенок. В комнатах справа за столами строчили белобрысые писаря. Мужики, бабы покорно ждали.

Анна нашла Похлёбкина в дальней комнате на антресоли, он был «у себя», в своем «рабочем кабинете» (там же, впрочем, и спал). В данную минуту подзубривал роль. Вечером ему предстояло выступать в Народном доме.

Увидев Анну, искренно обрадовался.

— Редкий гость, милости прошу садиться, давненько не приходилось видеть...

Он был отчасти воодушевлен самогоном, недопитая бутылка выглядывала из-под этажерки.

— Ах, какое дело, Аркадий Иваныч больны... Жалко, жалко... Ну, Бог даст, весной с ним опять на тягу закатимся... Так вы говорите, ванну? Оно конечно...

Похлёбкин задумался.

— Ванночка тут, вне рассуждения, имеется — еще немешаевская. Дело же, однако, в том, что у нас новый председатель... он сам-то ничего, живет рядом со мной в комнате, да женат, дитя имеется, развел, знаете ли, всю эту брачную анатомию, ему для дитенка не понадобилось бы, а то, разумеется, для такого случая... с возвращением по миновании надобности...— это уже безо всяких... и никаких рябчиков.

Похлёбкин вскочил, блеснул лоснившимися, в угрях, щеками, на ловких ногах в обмотках выскочил посоветоваться с разводителем брачной анатомии.

«Артист»,— подумала Анна хмуро. Но сейчас ничто не занимало ее: ни Похлёбкин, ни тихий, белый снег, лежавший за окном в парке пухлой и такой нетленной пеленою. Ей нужна была ванна.

Артист не сразу добился просимого. Брачная анатомия сперва заупрямилась. Пришлось привести ее к себе. Анна была так покойна, так мрачна и так бесконечно уверена, что возьмет,— что молоденький председатель, только что назначенный из города, не устоял.

— Ну, ладно, Андрюшку в корыте помоем.

И через четверть часа тот же Похлёбкин погрузил небольшую ванну в салазки, попробовал, горестно хлопнул себя по боку.

— Ничего,— сказала Анна,— довезу, я сильная.

— Э-эх, была б лошаденка, я бы вам с нашим удовольствием...

В качестве артиста и любезного человека он помог, однако, и самолично: довез салазки до парка. Анна поблагодарила, дальше пошла одна. Она просто впряглась, бечевка охватывала ее живот. Наклонив верхнюю часть тела, наваливаясь, она медленно везла свой груз. Ванна подрагивала, на ухабах накатывалась, издавала иногда глухой звон. Парк Серебряного был сейчас очень серебрян, весь в инее, в тихом обворожении, густо и сонно заметены его аллеи. Где-то сквозь облака слегка сочится солнце. Не солнце, а бледный на него намек, добрый знак — не вполне мир осиротел. Но и от знака уж искрятся по полям и в тишине аллей парка удивительные алмазы, нежно и мелко

переливают. Они дают снегу тонкую, нежизненную жизнь, и загадочно стрекочут в этой жизни перепархивающие сороки.

Анна не очень-то все это замечала, все-таки тишина, блеск полей странным образом действовали на нее — погружали в особенное бытие.

Тяжко шагала она по скрипучему, иногда зеркальному накату дороги с кофейными пятнами. Режущий ветерок, ослепительность снега, далекий лай собаки... Ни Аркадия, ни себя, ни груза: так она с ним и родилась, привычно шагает.

Спустившись в ложок к мостику, она должна была подняться на крутой бок оврага. Здесь намело сугроб. Видно было, что и лошади протыкались по брюхо. Аннины салазки никак вперед не подавались, и сама она вязла. Сколько ни билась, двинуться вперед не могла. Тогда решила ждать — кто-нибудь проедет, подвезет.

Ждать пришлось недолго. Анна была несколько даже удивлена, когда на бугре, выше себя, прямо на бледном небе, точно он с него спускался, увидала знакомого гривастого коня, розвальни и доху Матвея Мартыныча.

Еще больше удивился сам Матвей Мартыныч. Он резко остановил лошадь.

— Анночка, что ты здесь делаешь? И с ванной?

Он быстро подбежал, проваливаясь на ходу в снег сугроба.

Его квадратное лицо раскраснелось от мороза, на усах ледяшки, глаза живы и возбужденны.

— ...Сама на себе тащишь эту ванну?

Анна объяснила. Он взял ее руки, стал греть в своих рукавицах. Голос его вдруг дрогнул.

— Анночка, ты от нас ушла... знаю, я ничего тебе не говорю, Анночка. Я все и-хотел к тебе заехать, да Марта говорит: ну, ушла, значит, мы ей не нужны...

— Я ушла не потому. Я тете говорила.

— Ну, знаю, знаю.

Анна устало села на край ванны.

— Я ничего против вас сделать не хотела...

— Ах, что тут сказать... ты молодая девушка, он и-всегда девушкам нравился.

Матвей Мартыныч говорил быстро, смесь волнения, грусти и почти даже восторга сквозила на его простом лице — он действительно рад был встретить Анну, это она чувствовала.

— Ладно, ладно,— говорил впопыхах,— эту ванную мы сейчас на мои санки, я коня повертаю, что тут поделаешь, я тебя у Машистово вполне доставлю.

И действительно, через несколько минут погрузили они ванну,

конь рванул, и не без труда, храпя, фыркая, чуть не порвав шлеи, вынес на изволок.

Матвей Мартыныч посадил Анну на облучок, сам шел рядом и все держал ее руку. Он был очень взволнован. Говорил торопливо, маленькие его глазки сверкали, иногда видела в них Анна, глядевшая пристально и внимательно, даже нечто похожее на слезу.

— Я без тебя совсем соскучилси... даже я не думал, что так привязалси... Я все хожу, все по свиньям хожу, и все думаю: где-то моя Анночка? Ну, конечно, я понимаю... А я хожу по свиньям, то я и думаю: почему она не меня любит?

Анна усмехнулась.

— Что вы говорите... Что бы это было, дядя! Уж и теперь Марта...

— Ну, конечное дело, Марточка моя супруга, я ведь и не говорю, я честный латыш, всегда был честный, а все ж таки в голове мысли...

— Мысли надо гнать,— сказала Анна.— Мало ли у кого какие мысли.

ПУТЬ

Марья Михайловна сидела в столовой у стола. Анна за самоваром. В окне бледно синели сумерки. Дальние снега смывались в них и как бы тяали.

От самоварного пара окно стало слегка запотевать. Угли краснели сквозь решеточку медного поддувала.

Передав чашку Марье Михайловне, Анна правой рукой взяла со стола большой конверт, повертела его, опять положила. Глаза ее были красны.

— Этот пакет пришел третьего дня. Все тут и валяется. Знаете, что в нем?

Марья Михайловна подняла глаза.

— Нет.

— Тульская консистория извещает Аркадия Ивановича, что развод окончен.

Она чуть-чуть усмехнулась.

— Мы могли бы теперь обвенчаться.

Она зажгла спичку, закурила, минуту помолчала. Огонек отсвечивал в углах глаз, где остановилось по слезе.

— Я давно чувствовала... а когда вы велели его остричь, и совсем поняла. Он для меня стриженый стал немножко другим... вроде какого-то бедного татарина. Я все на него смотрела и думала: «Это вот он и есть, Аркаша, кого люблю».

Она встала, подошла к полуоткрытой двери, прислушалась. В доме было тихо. Но особая, нечеловеческая тишина шла из этой комнаты.

Анна вернулась.

— Он был со мной как ласков! Знаете, по ночам, когда так ужасно задыхался... несмотря на эти ванны! — я ему растирала грудь, спину... будто легче становилось. Он все мне руку целовал, и так глядел на меня... Еще третьего дня, я подошла, он взял мою руку, поднес к глазам, стал по векам водить. Что это он хотел выразить? А мне сказал, тихо, но внятно: «Я очень рад, что ты здесь, со мною. Я... тебя,— Анна запнулась,— очень люблю».

— Слава Богу, что вы могли с ним теперь быть.

— Да. Я и всегда с ним буду... Да, он еще говорил, раза два, знаете, его любимое, он и здоровый это повторял нередко: «Не судите, да не судимы будете». Он все считал себя большим грешником, и что его пожалеть надо.

Вошла Арина.

— Ну, что, Анна Ивановна, я Семену говорю: дядя Семен, там сосна-то у вас срезана и досточки напилены, попроси мужичков, поклонись, что, мол, уступите нам для гробика. Он хоть барин длинный был, на него, конечно, доска идет порядочная, да и ведь и сосенка-то из ейного же сада. Понятно, сад теперь обчественный, а вы, мол, все-таки уважьте. Ну, ничего, уважили. Дядя Семен гробок ладит. Даже завтра пойдут могилу рыть.

— Его не только ваши, а и по округе мужики любили,— сказала Марья Михайловна.— Все жалеют.

— А чего он злого делал? За что его не любить? Настоящий барин, видный...

Арина слегка сапнула носом.

— Раньше своих лет скончались...

Анна встала, направилась в его комнату. Арина кивнула на нее.

— Ну, как же так не убиваться... Жениться хотел, честь честью...

Анна довольно долго пробыла там. Когда возвратилась, в столовой было почти темно. Самовар скупо бурлил. Краснели его угольки.

— Я опять у вас переночую,— сказала Марья Михайловна.

— Благодарю вас.

И они провели вместе этот зимний вечер. В комнате Аркадия Иваныча зажглись две свечи, а они долго сидели в той же столовой, затопив голландку и не зажигая огня. Анна не закрыла

дверец печки, и веселый, красно-золотой огонь танцевал, прыгал по поленьям, дрожал пятнами по железному листу, по полу, обоям. Говорили мало. Обменивались несколькими словами. Вспоминали ушедшие мелочи.

Взошел месяц. Его светлые ковры, полные легкого дыма, легли из окна, медленно переползали по полу, одели угол стола, спустились по ножкам, подбирались к шахматному столику в простенке.

Около полуночи Марья Михайловна объявила, что пора спать.

— Вам надо именно заснуть,— сказала она Анне.

Потом обняла ее, прижалась полной щекой к ее шее, шепнула:

— Я знаю, я все знаю... Все-таки надо силы беречь. Я вам дам снотворного.

— Хорошо,— покорно ответила Анна.— Но перед сном мне хочется пройтись. Я вернусь скоро.

И, надев шубейку, вышла в сени.

Дверь, как и тогда, когда впервые, с чемоданчиком вошла она в этот дом, была не заперта. Но теперь это не удивило и не огорчило ее.

Она пошла по дорожке, протоптанной в саду по тому краю, откуда снег сдувало, его было тут немного. Слабо, но таинственно гудели березы, окаймлявшие четырехугольник фруктового сада. Анна дошла до конца. Дальше начиналось поле с дорогой у самой канавы.

Тусклое поле сияло, мрело в бледно-опаловом свете. Месяц в радужном кольце недосягаемо бежал за облаками.

Было тихо. Лишь собака очень, очень далеко, точно с того света, глухо лаяла. Ясно виднелся парк Серебряного и лес направо.

Анне стало немного холодно. Не отдавая себе отчета, она обернулась. В доме светилось одно окошко.

...Может быть, он был и тут, в этом лунном дыму, может быть, чтобы достать, досягнуть до него, разлившегося неведомым светом, надо еще куда-то дальше пройти, в неизвестную комнату...

Донеслось поскрипывание полозьев. Анна вновь перевела взор на дорогу. Так когда-то ждала она его у сада в Мартыновке, осенью, но тогда слабо позвякивали дрожки. Теперь все яснее скрипели розвальни. Была видна уже лошадь, шедшая средней рысью. Анна спустилась на дорогу. Лошадь вдруг захрапела, заиграла ушами и перешла на шаг. Потом боязливо остановилась. Лежавший в розвальнях человек в тулупе с поднятым воротником очнулся и сел.

— Фу-ты ну-ты... это куда же нас занесло?

Он тронул лошадь вожжой и обратился к Анне:

— А ты что за фигура?

— Да ничего. Просто стою.

— Вижу, что стоишь... Фу, дьявольщина, задремал... да где мы это? Выселки, что ли?

— Нет. Машистово. Здесь барский сад, а там деревня.

Человек откинул ворот тулупа, обтер короткие усы, окончательно очухался и полез доставать папиросу.

— Значит, тут Аркадий Иванов живет?

— Да,— ответила Анна.— Жил. Он вчера умер.

— Умер! Скажи пожалуйста!

На проезжего это произвело неприятное впечатление. Он быстро чиркнул спичкой, сделав руки корабликом, зажег в них папиросу и взялся за рукавицы. Теперь Анна довольно ясно разглядела над короткими усами широкий нос и маленькие, острые глаза.

— А ты кто? — спросила она.

Он тронул вожжи, ухмыльнулся.

— Помер!! А я к нему все собирался. Я и тебя теперь знаю... латышова племяшка...

— Как тебя звать? — крикнула Анна, сама не зная почему.

Лошадь шла уже рысью. Проезжий обернулся и захохотал.

— Чай, не Новый год! Ну, изволь: Трофимов.

И стегнул коня. Анна постояла, медленно пошла домой. «Трушка, тот, что зарезал ефремовскую барыню!»

ОТЧИЙ ДОМ

Маленький Мартын сидел около кровати, устраивая вокруг особый свой мир. Тут была и ферма, и коровы, барашки, палисадник, который можно было раздвинуть так и этак, деревья — из них получалась, по желанию, и рощица, и ограда усадьбы. Мартын, мальчик спокойный, росший одиноко, жил очень хорошо созиданием и разрушением своих миров. Зимнее солнце ложилось на пестрое стеганое одеяло родительской кровати. На полу он воспроизводил то, что успел увидать в жизни,— играл основательно, добропорядочно, как полагалось молодому Гайлису.

Хлопнула дверь в сенцах. Потянуло холодом. Марта внесла ведро воды, тяжко поставила в кухне на пол. Матвей Мартыныч в вязаной фуфайке чинил хомут. Он сидел у стола, слегка сопел, фуфайка его теплилась в солнечных лучах, но не так горела, как пестрое одеяло над Мартыном и его подушками.

— Марточка, ты посмотри, какой у нас Мартынчик умный:

он себе и-сидит, и все у хозяйство играет, вот он вырастет, то это будет такой дельный латыш, он забьет и папашу и мамашу.

— Мамаша и так, верно, скоро ноги протянет,— сказала Марта, снимая кофту.— Коровы, свиньи, воду таскай... вчера ночью как сердце замирало...

Марта, действительно, имела вид неважный — еще худее и жилистей, чем обычно.

— Я же, конечно, понимаю...— Матвей Мартыныч туго стянул шов дратвой.— Без Анночки тебе и-плохо...

Марта ничего не ответила, устало принялась засучивать рукава.

— Мне намедни мужики говорили, но и там, на деревне... мол, Анна теперича у Конченки, у докторши приютилась, и что же это вы, латыши, свою девку в чужих людях оставляете...

Марта перевела на мужа холодный взор. Потом подошла к сыну, молча, страстно его поцеловала. Мальчик обнял ее за шею, деловито обхватил ногами талию.

— Я так считаю,— продолжал Матвей Мартыныч,— да и что ей теперь у докторши у этой делать? Аркадий Иваныч померши, все, глупости конец, а мы ей и-все-таки свои. Она, понятно, тебе то-се-другое дома подмогала бы...

Марта высоко подняла Мартына, солнце пробежало по ним обоим лучом мгновенным и золотистым. Она поставила сына на пол. Зеленоватые ее глаза блеснули.

— Ладно. Я сама поеду. Мне как и к докторше надо. От этих тяжестей еще Бог знает чего наживешь.

Матвей Мартыныч знал, что у нее женская болезнь и что, конечно, ей пора лечиться. Правильно было и то, что, если Марта за ней приедет, Анна скорее вернется. И, тем не менее, он предпочел бы съездить сам. Возражать, впрочем, не стал.

После обеда запряг лошадь в пошевни. Марта надела тулуп, рукавицы, взяла кнут и уселась поудобнее. Ноги закутал он ей тяжелым бараньим одеялом.

День был морозный, лошадь в инее, синие тени ложились от саней, от высокой фигуры Марты. Снег скрипел. Лошадь казалась лиловой. Ровной рысью вывезла она Марту, как истукана, мимо цинкового подвала из усадьбы в сверкавшее снегом поле. В таком поле в январский солнечный день слепнут глаза!

Матвей же Мартыныч остался один. Он был уверен в мудрости сына и позволил ему в одиночестве играть у постели. А сам взял двустволку, лыжи и отправился по зайчикам. Еще совсем недавно так же мог бы выйти и Аркадий Иваныч, но сейчас он безмолвно лежал в могиле близ церкви Серебряного, а Матвей Мартыныч благодаря его смерти испытывал странно-

противоречивое чувство: искренно его жалел, не меньше того искренно волновался, что теперь вернется Анна. «Марточка ее привезет, конечно, что привезет, тут и сказать нечего, вечером Анночка будет и-здесь»,— размышлял он, шагая на мохнатых лыжах, подбитых оленьим мехом, по горящему насту. Миллионы алмазиков струились и переливались в нем, режа глаз. Стеклянно-зеленое небо вставало над ложком, весь он был в синей тени. Шуршали коричневые листы дубов, кое-где уцелевшие. Матвей Мартыныч, всматриваясь в серебряные цепочки следов, держа двустволку наперевес (в том ореховом кусте отлично мог залечь беляк), был полон во всем нем разлитого волнения-счастья. Беляка в кусте не оказалось. Матвей Мартыныч пошел вверх подъемом лога — тут олений мех помогал лыжам, они не скользили назад. И когда выбрался на край, вся сияющая, слепящая в солнце снежная страна ему открылась, с зелено-ледяным небом над нею, с ломким и как бы хрустально-твердым воздухом. С дороги несся скрип саней, остро резал ухо. Но больно не было. Напротив, радостно. Направо Серебряное и Машистово, это неинтересно. А вон туда, где на горизонте голые березы большака, другое дело, там видна ветряная мельница, и за мельницей в ложочке Конченка...

Так охотился Матвей Мартыныч, искал будто бы беляков и ничего не нашел, кроме сияющего поля, кроме своего сердца, о котором не думал, но которое не спрашивало его, добропорядочного хозяина и столпа общества, как ему биться: билось по мировым законам плена, по тем самым, что на этих же местах владели Анной.

Нынешний день в Конченке был так же морозен и лучист, как и в Мартыновке. Анна шила на кухне Марьи Михайловны, в небольшом светлом доме с окнами в блистающее поле. Ледяной ветер нес с востока прозрачные уколы. Окно кухни намерзло. Рядом, в комнате Марьи Михайловны, стояла чистая белая кровать, пахло медициной, на стене висел портрет Толстого, под ним открытки Художественного театра. В столовой играли дети — мальчик и девочка. Оттуда виднелась через двор больница. У ее подъезда несколько мужицких розвальней.

Анна не удивилась, увидев Марту. Правда, она о ней вовсе не думала, но и явление Марты представилось таким простым. Марта, оледенелая и закутанная, ввалилась прямо в сени. Дети высунулись и спрятались. Марья Михайловна была в больнице.

— Ну вот,— сказала Марта, присев в столовой, снимая рукавицы около печки.— И я пожаловала. Где же твоя докторша?

Анна объяснила.

— Дойду и в больницу. Мне и там есть дело.

Анна задала несколько вопросов о Мартыновке. Марта ответила спокойно и деловито. Помолчали.

— Что ж ты тут так и поселиться собралась?

— Нет... не знаю. Пока, временно.

— Ну, а дальше?

Анна не ответила. Побелевшие от мороза щеки Марты оттаивали, но вся ее худая, сильная фигура понижала температуру. Анна ощущала равнодушие и покорность.

Марта объяснила, что за ней именно и приехала. Анна держала на коленях, скрещенными, большие красные руки. На них в задумчивости устремлен был взгляд темных глаз.

Марта держалась так деловито, уверенно, прохладно, что Анне представилось — вот ее, Анну, просто снесут, положат в сани, сани же пойдут куда приказано... и так уж и надо.

Марья Михайловна в больнице тоже не весьма удивилась Марте. Добросовестно ее осмотрела, добросовестно дала лекарств, велела приезжать еженедельно. И лишь когда вернулась с ней домой и увидала Анну, как бы грусть прошла в ее глазах.

— Так скоро? Нынче? Что вам торопиться?

— Нет, уж сразу,— отвечала Анна.— Едем.

И через час две закутанные женские фигуры заседали в пошевнях, которые бодро вез, посапывая и похрапывая, седея в инее, намерзавшем у него даже в ноздрях, конь Матвея Мартыныча. К Мартыновке подъезжали в мглистом закате, когда солнце развело последние свои туманно-багровые пожарища, а в низинах уже залегал сизый, плотный сумрак. Зима, холод, Мартыновка, все это было для Анны такое же, как и всегда.

У подъезда встретил их Матвей Мартыныч.

— Анночка приехала! Ну я же так и знал, что приедет. Я так и говорил.

Ошибиться он не мог. Анна равнодушно вылезла из саней.

* * *

В ее отсутствие для поросят отвели особый чуланчик, более теплый и светлый — одной стеной он примыкал к дому. Дети Люции и погибшей Матрены населяли его. Они попали теперь вновь в заведованье Анны. Из розово-глянцевитых обратились в живых, вострых хрячков и свинок, погрубели, обросли жестковатыми волосами, указывавшими на принадлежность их к низкому царству. Когда Анна вносила им в ведре дымившееся пойло и выливала в корыто, они визжали, радостно бросались к ее ногам, друг друга же расталкивали не без наглости. В этом бойком свином юношестве Анна не могла уж различить,

кто от Люции, кто от Матрены, да они и сами все забыли. Недалек был час, когда сын Люции с не совсем честными намерениями подошел бы к матери.

Анну, впрочем, не весьма это занимало. Безразлична она была и к выражениям радости своих питомцев. Пищу носила им добросовестно, и убирала, чистила, что надо. Вообще, жила обычно. Так же рано вставала, так же после ужина подымалась к себе в комнатку встречать наедине ночь. Над ее постелью висела фотография Аркадия Иваныча, захваченная из Машистова, с надписью, уже ослабшею рукой: «Анне, на вечную память».

Она ложилась на свою постель как бы у его ног. Она не могла пойти в Машистово и увидать его. Не он покоился сейчас, под нараставшим снегом, на кладбище Серебряного. Но все же он был тут. Не менее громадный, даже более. Да, он не мог уже теперь ни изменять ей, ни быть верным. Занимал какие-то таинственные, грозные высоты. Рассмотреть их и понять было нельзя. Господь давал ей чувствовать страшные свои тайны.

— Все Анночка скучает,— говорил Матвей Мартыныч Марте.— Значит, все забыть не может...

Марта не особенно поддерживала такие разговоры. Матвею же Мартынычу не очень сладок был мрак Анны. Странное его волнение росло.

— Анночка,— сказал он ей однажды, около колодца, когда Марты не было поблизости,— что ты? Еще такая молодая, чего тебе там... Другого полюбишь, и тебя всякий полюбит. Ну и умер Аркадий Иваныч, да ведь все помрем, а пока что ты же и у своих, и, слава Богу, все ничего, бедности нету, и разве мы с тобой плохо обращаемся?

— Нет,— отвечала Анна,— я довольна. Ты ко мне всегда хорош был.— Она чуть улыбнулась.

— Чем не хорош! Я завсегда о тебе думаю... Ну, конечно, будь я молодой, холостой... Я все понимаю, я умный латыш, Анночка. Мне недавно Марта говорит: ты какой стал, я знаю, у тебя все свое на уме... И даже заплакала. А что у меня на уме, я совсем неглупый, я теперь больше не о свиней, а о тебе думаю.

Анна вытащила из обледенелого колодца бадью, вылила в ведро, сильной рукой подняла его и двинулась. Потом остановилась.

— Ты Марту не трогай. Особенно Марту. Не обижай. А то тебе же хуже будет.

Матвей Мартыныч удивленно взглянул на нее из-под ушастой зимней шапки.

— Я и не собираюсь Марточку обижать...

— Собираешься не собираешься,— серьезно и как-то медлительно сказала Анна,— ты не знаешь. Ты сам многого не знаешь. Вот и берегись.

Эти слова произвели странное, какое-то смутное впечатление на Матвея Мартыныча. Целый день сидели они в нем, и день казался непокойным, не совсем обычным. Лежа вечером на супружеской постели рядом с Мартой, в темноте зимней ночи вдруг ощутил он страх, какую-то тоску... «И чего это она? Чего она говорит?» Вспоминая сейчас Анну, он испытывал, как всегда, сладкое волнение, но и другое...— Мрак, ночь, вот часы тикают, Марта во сне неровно дышит... «Анночка как туча... А я Марточку вовсе не собираюсь обижать, что такое,— думал он почти с раздражением.— Чего она меня учит? Я всю жизнь честно с Марточкой прожил...» Заснуть ему было трудно. Ветер гудел. Ночь разверзалась. Не было предела ее мраку.

Утром Марта встала кислая, с болями в пояснице. Она собиралась к докторше. Был сырой день, сильный ветер гнал с юга оттепель. Небо в темных облаках почти лежало на земле. По двору сразу забурели тропки, ворóны летали против ветра загзагами, садились на скользких ветвях, тужились, каркали, и ветер взлохмачивал тусклый пух на их брюхах.

Цвет лица Марты, выражение ее глаз, круги под ними, замызганная свита, которую она надела, все очень шло к сумрачному дню. Влага его еще сильнее развела все свиные запахи в Мартыновке. Когда пошевни Марты скрылись за поворотом и Анна понесла пойло поросятам, мягкая теплота и кислота его особенно пронзили ее. Особенно осклизло было и в хлеву у поросят. И они сами, в бессмысленно-животной жадности своей, показались особо мерзкими. Анна прислонилась к стенке. Ее несколько мутило. Она вспоминала о Марте — и ясно представила себе тусклое поле с ухабистою, сырой дорогой, ныряют пошевни, и каждый ухаб, наверно, отдается в утробе Марты... Нет, она ехать сейчас в Конченку вовсе бы не хотела. В этих бурных полях, оттепельно-предвесенних, с ума можно сойти. «Впрочем,— подумала Анна,— я, может быть, и вообще уже сумасшедшая». Она улыбнулась. Ей приятно стало, что ничто не связывает ее с этим хлевом, с кислым запахом, с воронами, Матвеем Мартынычем.

— Анночка,— крикнул Матвей Мартыныч,— поди, пожалуйста, помоги мне сундучок тут...

Сундук с вещами Немешаевых стоял у него в сарайчике. Теперь, из-за сырой погоды, он надумал перетащить его в подвал с цинковой крышей, где, считал, сырости быть не может, и вообще надежнее.

— Ты, Анночка, понимаешь... вещи чужие, время такое... Одно-два бревнышка выпилил, вот и уже ты в сарайчике. Ну, тут буде потрудней... У Матвея Мартыныча подвал знатный. Тут не подкопаешься... Разве что миной взрывать.

Сундук был не очень легкий. Он постукивал, погромыхивал и по ступенькам подвала, когда Анна с Матвеем Мартынычем волокли его туда. Внизу горела уже лампа. Под цементными сводами, гордостью Мартыновки, было, действительно, не сыро, и в том месте, где стояла лампа-молния, даже светло. Вдаль к углам шли тени. В аккуратных закромах лежал корм свиньям — картофель, горы свеклы, темные, вязкие как бы пряники жмыха.

— Ну вот и хорошо, что принесли,— говорил Матвей Мартыныч, отирая пот.— Вот мы немножки теперь вынем и развесим, надо бы перетряхнуть, чтобы не слеживалось, чтобы все и-в порядке было.

Анна стала вынимать вещи. К запаху картофеля и свеклы прибавился нафталин, и еще нежный запах дорогих мехов.

— Хорошо жили, важно жили,— говорил Матвей Мартыныч, вынимая шубу покойного Александра Андреича.— Барская жизнь, и все и-кончилось. Но Матвей Мартыныч не завидует, он честно все сбережет, вот он и старается, чтобы не смялось, не слежалось чужое добро, потому что он добро любит, он не мошенник какой-нибудь...

«Александра Андреича давно нет в живых,— думала Анна, перебирая руками драгоценный, черноблестящий, с нежными длинными ворсинками мех шубы.— Он лежит там же, на кладбище Серебряного, где и Аркадий... Они были приятели».

— Анночка, а я смотрю, жмыха у нас маловато, надо будет мне и-съездить...

Матвей Мартыныч озабоченно отошел в угол, едва освещаемый лампой. Тень его бессмысленно перемещалась по стенам и сводам, принимая уродливые очертанья.

Анна накинула на себя шубу. Как она легка, изящна! Мех мягко ласкал щеку. «Такая же, наверно, была и у Аркаши. И они вместе в Москву ездили. Александр Андреич тоже любил цыган». Анна на мгновение закрыла глаза. Точно знакомое и милое объятие из иной жизни обняло ее.

«Они оба лежат в Серебряном, но это не они. Где они?»

Ей казалось сейчас, сквозь закрытые глаза, с этим мехом, что и она другая, сама она не тут. Она сделала два шага вперед. Если вот так идти...

— Анночка, тебе как хорошо и в этой шубе...

Матвей Мартыныч подошел — ее глаза были уже открыты. Он взял концы рукавов и скрестил их на Анне.

— Если бы Матвей Мартыныч был богат, он бы и тебе такую шубку сделал.

— А Марте?

— Ну и Марточке бы, конечно... Анночка, ты и в этой шубе словно как царица...

— Ты цариц никогда не видел,— сказала Анна смутно, отсутствующе.— И царицы хлевов не чистят.

— Анночка, я же знаю, что тебе здесь тяжело, я-и все знаю... Ты прямо живешь через силу. Дай срок. Дай время. Матвей Мартыныч разбогатеет. Если со свинушками мешать будут эти разные советы и коммунисты, Матвей Мартыныч найдет... Он к себе уедет в свободную Латвию, что надо распродаст и там свое дело откроет. Он будет богат. Он тебя не забудет, Анночка, ты такая молодая и красивая...

— Мне никогда Аркадий не говорил, что я красивая. Он меня просто любил.

— Он не говорил — его дело. А я говорю.

— Я была с ним счастлива, ты понимаешь, медвежатина?

Все не снимая своей шубы, Анна присела на край закрома.

— У меня в столе лежит бумага Тульской консистории. Нас должны были уже повенчать — развод кончился. Ну, вот он умер, я опять у вас... что это значит?

Матвей Мартыныч подошел и припал к ней.

— Анночка, не грусти...

— Он со мной постоянно. Почему я не могла с ним жить? Где он сейчас? Куда он делся? Знаешь, его и нет, и он и есть... А ты что? Ты ко мне привалился, тебе так теплее?

Анна вдруг сняла его ушастую шапку и стала гладить рукой по его волосам.

— Ты меня любишь? И такую шубу подарить обещал... Руки целуешь, грудь целуешь... ах ты, медвежатина. От тебя тепло, ты хороший пес, шерстистый.

Матвей Мартыныч стал задыхаться.

— Захотел меня ласкать...

Анна поднялась, потянулась. Легкая судорога прошла по ее сильному телу. Она прижала к себе Матвея Мартыныча, потом легко и равнодушно оттолкнула.

— Анночка...

— Давай вещи собирать,— сурово сказала она.— Чего разнежился?

И, сняв с себя шубу, тщательно стала укладывать ее обратно в сундук.

* * *

— Ну как, Марточка, как и-съездила? — спросил Матвей Мартыныч.

— Ничего. А ты что делал?

— Так, того-другого по хозяйству... Вот мы с Анночкой немешаевски вещи перебрали...

Марта взглянула на него внимательно. Он отвел глаза, поспешно продолжал:

— Мы сундучок вниз поставили, у подвал... Как там посуше, то мы и поставили. Да, ты знаешь, Марточка, жмыха у нас маловато там... и-прямо маловато.

Разговор этот происходил на дворе, когда Матвей Мартыныч отпрягал лошадь. Вот он снял с нее хомут, шлею, накинул обратку и повел в стойло. Марта не отходила от саней. Потом пошла в кухню и через несколько минут вышла с ключами и зажженным фонарем. Облака тьмы уже сгущались. Она встретила Матвея Мартыныча около подвала.

— Ты куда?

— Пойдем поглядим, сколько жмыха.

— Я же ведь и-сказал, что мало. Мне придется опять в Гавриково ехать.

— Пойдем. Я хочу посмотреть, как вы там сундук убрали.

Звук ее голоса показался Матвею Мартынычу странным.

— Да что убрали... так и поставили.

Но Марта, держа перед собою фонарь, уже спускалась по лесенке. Тогда и он за ней направился.

— Я сегодня у докторши Похлёбкина видела,— сказала Марта, когда они спустились.— Он прямо говорит: никакой нет возможности вас отстоять. Как вам угодно, а на днях нагрянем, и чтобы свинухов ваших ни слуху, ни духу.

— Так прямо и сказал...

— Так и сказал.

Матвей Мартыныч помялся.

— Значит, опять надо у город ехать, ну, уж теперь к Ивану Кузьмичу, долларов с собой заберу, что тут поделаешь...

— Жизнь проклятая,— сказала Марта.— Для чего старались? Только болезнь себе нажила, за свиньями за этими. Вещи! Ну где же тут вещи оставлять? Надо еще куда-нибудь прятать. Сюда, понятно, с обыском в первую голову придут...

Подойдя к сундуку, Марта остановилась. На земляном полу, несколько вытоптанном в этом месте, валялся носовой платок. Марта нагнулась и подняла его. Она вдруг побледнела.

— Это Аннин платок.

Матвей Мартыныч как-то неверно двинулся.

— Должно быть, что и обронила Анночка...

Марта опять нагнулась, стала фонарем освещать пол.

— Вы тут сидели... вы тут вдвоем сидели,— сказала она глухо.— Что вы...

Матвей Мартыныч встрепенулся. Виноватые глаза, перебегавшие со свеклы к жмыху, решили дело. Лицо Марты мелко задрожало.

— Я больная, мне, может, операцию будут делать...

— Марточка, да что ты... Ну мы просто тут присели, потому что были от сундука уставши.

Марта поднесла фонарь к носу мужа, еще раз увидела его презренные, как ей казалось, глаза совсем вблизи — и плюнула ему прямо в лицо.

Матвей Мартыныч охнул и откинулся назад.

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Было около пяти. Дымно-сырой день, снежинки слегка перепархивали. Близилась свинцовая синева сумерек. Анна лежала у себя на постели. В беловатой мгле комнатки с левой стороны окно струило последнее дыхание дня. В их смутности, млечном тумане можно было еще рассмотреть справа, над кроватью, фотографию человека с длинными усами, еще можно было прочесть загробные слова: «Анне, на вечную память». Но вот-вот все это будет замыто ночью.

Оцепенение владело все эти дни Анной. Она даже меньше работала. И сейчас — вовсе не в урочный час лежала в своей комнатке. Она бессмысленно смотрела в окно. Там виднелись верхушки яблонь да снег, дорога вдоль сада, по ней уехал Матвей Мартыныч в город, за жмыхами и в последней попытке отстоять свое добро. А сейчас кто-то едет сюда. Где теперь Матвей Мартыныч? Верно, разглагольствует где-нибудь в городе, доказывает. Может, чаек тянет с блюдечка. Вспомнив подвал, Анна слегка потянулась, так что скрипнула даже постель. Потом легкая улыбка прошла по ее лицу. «Медвежатина... неужели и таких любят?» Но она помнила его объятие, и в улыбке ее была и насмешка, и сочувствие. Душевно ей было все равно. Ее повелитель, со своими длинными усами, начинал уже тонуть на стене в сумерках. Но в темной глубине тела был и теплый ответ. «Дрянь я перед Мартою или не дрянь? — подумала она.— Ведь не я же к нему лезу... да и что мне в нем!» Но ей все-таки нравилось, вечным, неистребимым чувством женщины, что она им владеет.

Внизу заскрипели сани. Видимо, ехавший по дороге оказался у них. Дверь хлопнула, мужской голос говорил что-то Марте. Слов Анна расслышать не могла. Но по тону чувствовала, что хорошего тут мало. Марта в последнее время почти с ней не разговаривала, так что спускаться не хотелось. И Анна продолжала лежать. Она уже перестала думать о Марте, Матвее Мартыныче. Открывала глаза, иногда вновь закрывала их. Разница между миром этим и тем становилась все меньше — лишь белесое пятно окна давало о себе знать. При закрытых же глазах золотые точки наполняли темный фон, плыли в нем. Иногда появлялись рожи. Или вдруг разрывался светлый сноп. Эти снопы казались Анне обликом смерти. Она считала, что именно такова и должна быть смерть: р-раз, взорвется, и дальше... что? Этого никогда, за всю свою жизнь, понять она не могла. Не понимала и теперь. Но ее влекло к этому грозному миру. Так и сейчас. Под темноту, под говор снизу залетала она в него.

Опять хлопнула дверь, заскрипели сани. «Не хочу я ничего делать, не двинусь»,— думала Анна. И не знала сама, почему так думает. Но было крепко ощущение того, что происходит нечто необычное.

— Анна! — крикнула снизу Марта.

— Я.

— Ты что там делаешь?

— Ничего.

Некоторое время Марта молчала. Слышно было, как Мартын подхлестывает кнутом своих детских лошадок. Потом Марта поднялась по лесенке. Она остановилась на пороге. Странным образом Анна довольно ясно видела худую, сухую фигуру. Всегдашний холодок прошел у нее по сердцу.

— Был Гаврюшка из Серебряного. Приехали из города, нынче в Серебряном ночуют, а завтра утром к нам, и всех свиней заберут. Так Похлёбкин велел передать.

Анна приподнялась и свесила ноги.

— Что же теперь?

Марта крепко держалась за рукоятку двери.

— Не отдам я свиней...

— Приедут,— сумрачно сказала Анна,— так отдашь.

— Не отдам.

— Что же ты будешь делать?

— Всех зарежу, не отдам.

Анна молчала.

— Ты тут валяешься, лодырничаешь, ты, вместо чтобы по подвалам шляться...— Марта задохнулась,— лучше бы мне подмогла.

Она протянула руку к комоду, нашла спички и чиркнула. Руки ее были непокойны, когда она зажигала свечку.

Ее лицо поразило Анну. Теперь, при свете, оно как бы отдавало все, что скопилось в худом теле с большой грудью за мрачные дни, тревожные ночи. Увидев маниакальный блеск ее глаз, Анна тоже ощутила нервный ток, волною пробежавший по ней. «Зарежет, да, непременно зарежет».

— Мы с Матвеем столько работали, наживали... не такая буду дура отдавать.

— Куда же ты их денешь? — спросила Анна.

Марта молча подошла к окну, открыла форточку и высунула руку. На ладони ее стали таять снежинки.

— Что смогу, светом увезу в город. Остальное пока в ложочке зароем, в снегу... Следы заметет.

Анна совсем встала, выпрямилась. Ей было глубоко безразлично хозяйство, богатство, свиньи. Но сейчас она не могла лежать. Туманная сила, точно зажженная кем-то, подымалась в ней.

— Что ж,— сказала она.— Так и так. Тогда ждать нечего.

— Они сейчас не приедут, там, в Серебряном, ревизия. А потом их напоят, самогона у Похлёбкина достаточно. Мы управимся.

— Понятно.

Анна глубоко вздохнула, взяла с комода коробочку с булавками, поиграла ею и опять поставила. Марта спустилась вниз. Анна некоторое время бессмысленно глядела на пламя свечи, потом быстро задула его и направилась за Мартой, крепкой, тяжеловатою походкой — лестница заскрипела.

А через полчаса она с Мартой уже направлялась к закутам. Марта несла фонарик. Он бросал вперед тусклое пятно света, в котором беспрерывно летели снежинки. Этот снег ложился холодными прикосновениями на руки, лоб, оседал пузом на ресницах. Он заваливал мир своей беззвучной пухлостью.

Нож был у Марты. Анна зажгла еще фонарь.

— Без мужчины трудно,— сказала Марта.

— Ничего, управимся.

Каждую свинью, дико визжавшую, приходилось связывать и выволакивать в особую закутку, где стояла лампа. Пол густо устлали соломой. Анна чувствовала в себе страшную силу. Марта молчала. Молча, точной и твердой рукой перерезала горла свинье за свиньей. Анна их потрошила. В перерывах вытаскивали солому, напитанную кровью, жгли ее в печке и клали свежую, чтобы меньше оставалось следов. Убирали и потроха. Палить туши было уже некогда. Анна взваливала их

на салазки — и одни везла к розвальням, нарочно вывезенным из сарая, складывала их там. Другие — в сугробное место у канавы сада. Тут поразрыли они с Мартой яму, недалеко от дороги, и туда легло четыре туши. Прикрыла их пятая, Люция. Свалив ее туда, Анна лопатой засыпала яму. Снег продолжал идти.

Она чувствовала то напряжение, когда жить можно только двигаясь. Она могла бы свезти на этих салазках, вдоль этого сада, где сиживала с Аркадием, еще десять туш. Все сейчас было укрыто тьмой. Гудели деревья, светился огонек на хуторе. Не увидишь ни Серебряного, ни мирных нив, ни малого кургана. Анна подняла голову. Лицо ее запотело. Снег воздушно-хладным касанием оседал на нем, таял. Ничего не было видно в беспробудной тьме. Она могла говорить что угодно, как угодно. Лишь Господь, может быть, преклонил бы к ней ухо.

Она взялась вновь за салазки, повезла их домой. «Мне недолго работать,— прошло в ее голове.— Скоро я отдохну».

В закуте сидела Марта. Перед ней на столике стоял штоф водки, лежал кусок черного хлеба с солью. Нож лежал у стены. На соломе около него кровавое пятно.

— Выпей,— сказала Марта.— Мы одни. Я устала. Я очень разволнована.

Она сказала это со странною усмешкой, и протянула Анне стакан. Глаза ее были подернуты мутью. Руки в крови — она наскоро обтерла их.

— Я бы хотела,— продолжала Марта все с той же нервной усмешкой,— чтобы здесь был Матвей Мартыныч...

Анна выпила. Марта не спускала с нее глаз. Она уже захмелела, язык не вполне ей подчинялся.

— Он сильный, это хорошо... Мужчина должен сильный быть.

Она прибавила грубое слово.

— Анка, я тебя знаю. Мало ли что твой помер... ты не такая, тебе другой нужен.

Анна налила себе еще водки. Марта вдруг несколько наклонилась к ней, дыхнула спиртом.

— Только если ты у меня под боком Матвея подобрать вздумаешь, я ни на что не посмотрю.

Марта вдруг изменилась. Лицо ее приняло осмысленно-свирепое выражение.

Она протянула руку к ножу.

Анна поставила стакан на стол.

— Не боюсь я тебя. Убирайся. Мне и Матвей твой ни на что не нужен.

— А что вы в подвале делали? Почему твой платок там валялся?

— Ничего не делали,— холодно сказала Анна.— Ты эти глупости брось. Я не маленькая.

— Не маленькая...

Марта смотрела на нее пристально. Правду она говорит, или нет? А-а, все они умеют врать, мужчины, женщины... Все-таки продолжать Марта не решилась. Они замолчали. Анна съела кусок хлеба с солью. Ей казалось, что он пахнет кровью. Она резко встала.

— Кончать так кончать.

Борова и свинью, а также поросят оставили, это все, что имели право оставить. Еще двух свиней Анна зарезала собственноручно — Марта ослабела. Все время шел снег. Все время ходили по двору с фонарем. Петухи глухо кричали.

Анна не могла бы сказать, из-за чего, собственно, кипела. Но ей страстно хотелось все так сделать, чтобы завтра, когда приедут советские, ничего нельзя было бы ни понять, ни найти. У Марты от напряжения и таскания тяжестей начались боли — она ушла в дом. Анна осталась. Она согрела воды, тщательно замыла следы просочившейся сквозь солому крови, тщательно вылила порозовевшую воду в помойку, засыпала пол опилками, замыла брызги на стенах у двери. Уцелевших свиней перевела в одну закуту, а остальные так вычистила и выскребла, точно там никого и не было. Двери их оставила настежь, чтобы продуло свежим воздухом.

За этими трудами застало ее утро. Оно упорно выкарабкивалось из аспидно-свинцового мрака. В его белесости пожелтел ночной фонарик. Анна пошла в кухню, долго мыла теплой водой руки, сняла передник и переменила платье. Но руки снова выпачкала, запрягая лошадей Марте. Впрочем, теперь от них пахло лошадью, ремнями шлеи, запахами мира и безобидности. Марту она с трудом подняла. Закрыв туши сеном, усадив ее сверху, вовремя спровадила в город.

* * *

Маленький Мартын не обращал внимания ни на что. Был ли отец в городе, уехала ли мать, как провела ночь Анна, для него не имело значения. В мире, кажущемся нам огромным, у него существовал счастливый угол. Деревянные лошадки, взвод солдат, пушка, кубики, из которых выходили преинтересные штуки: что могло с этим сравниться? И когда на вопрос, где мама? — Анна ответила, что скоро вернется, он не огорчился

и не возражал. Выпив, как обычно, чашку чаю с сахаром и густыми сливками, расставил на полу свою армию.

Анна же почувствовала необыкновенную усталость. Вот теперь она беззащитна! Не только ничего не может делать, просто двинуться трудно, подняться наверх. Ах, как она разбита! Тело ломит, в голове тьма. Фонарь, визг свиней, кровь... «Наверно, сейчас приедут из Серебряного». Из окон ложился белый и бессмертный отсвет снега. «Все занесло, теперь покойно, им удобно будет ехать». Хорошо в этом снеге лежать.

Она прилегла на диванчике. «Кажется, у меня и сейчас руки кровью пахнут». Анна поднесла ладонь к носу. Нет, пахло просто мылом.

«Хоть бы во сне Аркадия увидеть...» Она закрыла глаза и блаженно улыбнулась. Слеза остановилась под ресницами.

Маленький Мартын открыл огонь из пушки. Солдаты его падали.

ВСТРЕЧА

— Марточка,— сказал Матвей Мартыныч,— ты знаешь, мне все что-то холодно, и руки у меня невеселые... Я на себя смотрю, и я думаю: эх, Матвей Мартыныч, должно быть, ты нездоров. Не простудился ли ты, Матвей Мартыныч?

Марта взяла его за руку и посмотрела прямо в глаза.

— Конечно, болен. Нечего и говорить.

— Я так и подумал, когда мы с тобой из города возвращамшись и обоз обгонямши, я выскочил из саней, по снегу распахнутый бежал, то и распарился. Значить, меня обдуло...

— Вот и ложись. А я всю ту ночь распаривщись была, свиные туши таскала, и ничего.

Матвей Мартыныч сел на постель, снял свою куртку. Ему приятно было, что вот у него жена, сейчас она уложит его, укроет, и он согреется.

— Конечное дело, вы тогда с Анночкой молодцом работали, это что говорить. Так что энти сволоча ни с чем остались. А все ж таки свинушек жаль.

Марта сняла с гвоздя тулуп и укрыла им мужа.

— Как не жаль! Ну да хоть что-нибудь за них выручили. А то совсем зря бы пропали.

— Доллара́ у Матвея Мартыныча труднее отобрать, чем свинушек.

Марта дала ему горячего чаю. Выпил он с удовольствием, и, укрывшись по самый нос, опустился в туманную дремоту.

Нельзя сказать, чтоб эти дни после истребления своего

хозяйства он чувствовал себя особенно радостно — напротив. Но сейчас в увлажненном теплотой и покоем его мозгу представлялись приятные картины: распродав здесь все под шумок, он с Мартою и Анной переезжает границу. Доллары можно запрятать, или иначе — кое-какое добро с собой вывезешь. Граница, Латвия... Там уж никто не тронет. Опять свинок заведем, да там и скорее можно Анночку устроить. Когда дело доходило до «Анночки», Матвей Мартыныч вполне умягчался, хотя в его сердце и являлись противоречивые чувства: здравый смысл говорил, что ее просто надо выдать замуж, но этого не хотелось. Хорошо бы — Марта Мартой, но и Анночка вот пришла бы, и положила бы руку на его горячий лоб. «Анночка любила своего усатого, но теперь его нет, и Матвею Мартынычу нечего мучиться... Матвей Мартыныч сам не хуже Аркадия Ивановича». И под влиянием ли лихорадки, или от тепла и всегдашнего ощущения своей значительности, Матвей Мартыныч мечтал об Анне мажорно. Долго страдать от неразделенной любви он не мог. Все должно было повернуться в его пользу, не могло не повернуться... Если бы его всерьез спросили, может ли он, тяжело заболев, умереть, он отверг бы такой случай. Матвей Мартыныч должен всегда жить, всегда быть бодрым и счастливым.

Теперь он был уверен, что, пропотев, выспавшись, на другой день уже встанет. Но — ошибся. Грипп его оказался довольно сильным. Он не встал ни на следующий, ни на еще следующий день. Пришлось даже съездить за Марьей Михайловной. Она нашла у него осложнение с сердцем. Сердце сильное, опасности нет, но надо лежать — в общем, дело довольно длинное.

Перед отъездом Марья Михайловна поднялась наверх к Анне. Анна лежала на постели.

— Вы тоже больны? — спросила Марья Михайловна, распространяя свой обычный запах свежести и больницы.— Почему вы лежите?

— Нет, я здорова,— ответила Анна.

— Так что же?

Анна молча посмотрела на нее. Взгляд ее был диковат и пуст. «Какое странное выражение глаз,— подумала Марья Михайловна.— Что с нею?»

— Теперь у нас меньше работы, вы знаете... я не так занята по хозяйству.

Голос ее показался Марье Михайловне хуже обычного.

— И вы ничего не делаете?

— Работаю, конечно... но довольно много лежу здесь.

— Вижу, вижу.

Марья Михайловна покачала головой. Все это не нравилось ей.

— Наживете себе так настоящую неврастению.

Анна внимательно на нее посмотрела, не сразу ответила.

— Я совершенно здорова. Я только много молчу. Я теперь очень сильная.

«Странная девушка,— думала Марья Михайловна, уезжая.— Всегда мне казалась со странностями, а теперь, после этой смерти, все на одном сосредоточилось...»

Около двух Анна спустилась вниз. Матвей Мартыныч лежал в дремоте. Маленький Мартын забавлялся игрушками. Белесый отсвет снега лежал на всем в комнатах. Анне показалось, что она легче, лучше чувствует себя. Марты не было.

— Ну, как? — спросила она Матвея Мартыныча.— Скоро и на улицу?

— Скоро, Анночка, скоро.

Анна остановилась, хотела было подойти к нему, но раздумала и вышла во двор. Мелкий снежок чуть веялся с неба, и в мягком, отливающем светом, слегка сквозь облака золотящемся небе было уже начало весны. Двор, постройки, деревья, все показалось Анне удивительно пустынным. Она прошлась. У ней явилось ощущение, будто впервые она вышла после тяжкой болезни. Мир был прекрасен, беспредельно далек. Анна прошла в яблоневый сад, подняла глаза кверху. В небе сквозь туманные облака недвижно бежало страшное в безмерной своей дали солнце, солнце точно бы иного мира.

Анна сказала вслух:

— Аркадий!

Мелкое эхо в лощинке подало:

— Аркадий.

Анна повторила. Эхо еще ответило.

Может быть, она сказала бы: «Я хочу к тебе, Аркадий. Я хочу, Аркадий» — этим всем была полна Анна, но ничего не сказала, молча, в ужасе повернула назад; она без всякого чувства выздоровления, в глубокой тоске приблизилась к дому как раз в минуту, когда Марта вошла в сени, и когда за подвалом с цинковой крышей показались розвальни. Анна увидела их. Мгновенным взором успела разобрать и Трушку в меховой теплой куртке.

— Приехали,— глухо сказала она Марте, затворив дверь на щеколду.

— Кто такие?

— Трушка, известный... разве не знаешь?.. И с ним двое.

Матвей Мартыныч завозился в своей комнате. Он был очень слаб.

— Кто там приехал... Анночка, чего ты?

Анна вошла к нему в комнату.

— Где кольт?

— Зачем тебе...

Анна оглянулась, решительно отодвинула верхний ящик комода.

— Трушка зря не ездит. Знаешь его.

И, положив тяжелый кольт в карман полушубка, дулом вниз, направилась к выходу.

— Я с ним сама поговорю.

* * *

Трушка шел на своих крепких, несколько кривых ногах к дому Матвея Мартыныча. Двое других неторопливо привязывали лошадь. Трушка знал, что Матвей Мартыныч успел сбыть свиней, что вообще он все распродает, у него есть деньги, что сейчас он нездоров. Трушка был вполне спокоен. Он считал, что сюда можно было бы ехать и одному. Поэтому не стал ждать сотоварищей.

Он не удивился, когда навстречу ему вышла молодая девушка в полушубке. Трушка тотчас узнал в ней ту, кого в морозную лунную ночь встретил у берез машистовского сада. Он был настроен почти даже дружелюбно. Правда, в кармане его меховой куртки лежал браунинг. Но он не взялся за него, а по привычке громко сказал слова, столько раз оказывавшие изумительное свое действие:

— Руки вверх!

И только что произнес, по лицу и темным глазам встреченной почувствовал, что все не так. Он не успел даже додумать, чтó не так, как прямо в лицо ему блеснул огонь. Тяжелый, длинный удар охлестнул его. Он схватился за живот, упал прямо на снег.

— К Аркадию за этим шел, и к нам...

Анна держала кольт дулом вниз. Глаза ее блестели. Она тяжело дышала, не могла двинуться. В пяти шагах ничком бился на снегу Трушка. Ему все хотелось вытащить из кармана браунинг, но боль, слабость, смертная тошнота заливали — топчась головою в снег, судорожно хватаясь руками за землю, описывал он по снегу полукруг.

* * *

— Марточка, стреляют!

Матвей Мартыныч в одном белье соскочил с кровати.

— Лежи, куда ты...

Марта с двустволкою стояла в столовой. Матвей Мартыныч подскочил к окну.

— Один на снегу, Анночка сюда бежит, за нею еще двое...

Раздались снова выстрелы. В дверь постучали.

— Отоприте! — крикнул голос Анны.

Матвей Мартыныч кинулся к двери. Но его охватили руки Марты. Будь Матвей Мартыныч здоров! Но сейчас голова у него закружилась, комната повернулась на оси. Марта без труда кинула его обратно на постель.

— Марточка, они убьют ее!

Он увидел над собой зеленые, бешеные глаза Марты.

В дверь снова застучали.

— Дядя!

Марта навалилась на него всем телом. Снаружи раздались выстрелы, тяжкий стон Анны.

МАЙ

Ветер и холода первых дней обдули цветущий сад. Белые лепестки плавали в лужицах, земля влажна, дымится под солнцем. Травка совсем хорошо зазеленела, удивительно сочны золотые одуванчики с молочным соком в стеблях. Дрозды скачут в саду Матвея Мартыныча. Но уже на столе у него нет бланков: «Экономия Матвея Гайлиса». Нет ни свиней, ни даже коровы. Хлевы давно заперты, на дверях цинкового подвала замок.

Посреди двора телега. На ней сидит Леночка. Матвей Мартынович с Костей тащат через двор сундук. Раскачнувши, вскидывают на телегу. Матвей Мартыныч отирает пот с лица.

— Ну вот и вещички Марьи Гавриловны... вот и вещички. Матвей Мартыныч все сберег. Мало бы чего зимой не было, он все сохранил. Так мамаше и скажите. Да... и как слышно, то и вы сами, и мамаша из этих краев трогаетесь?

Леночка побалтывает ногами.

— Костя место в Москве получил. Я тоже надеюсь. Да, Матвей Мартыныч, мы уезжаем. Вы ведь тоже?

— Мы тоже, тоже... Нет, Матвей Мартыныч больше здесь не останется. Что тут хорошего для Матвея Мартыныча? А вы думаете, он у Латвии пропадет? Никогда не пропадет Гайлис у Латвии, он там свинок еще больше разведет, он будет богатый.

Матвей Мартыныч умолкает. Свет милого солнца блестит в его вспотевшем лбу. Поют птицы, нежны облачка в синеве, над полями в сторону Машистова стеклянное струение.

— Матвей Мартыныч был тогда нездоров. Очень от лихорадки ослабши. Он бы Анночки так не отдал.

— Да,— говорит Леночка,— какой ужас!

Слова ее грозны, но карие глаза полны веселья, света. Ее сердце не в могиле Анны, а в благоуханном свете мая. Матвей Мартыныч же сошел под землю. Минуту продолжается безмолвие. Оно полно страшных видений. Потом жизнь возвращается. И как здоровались, так же прощаются. Телега уезжает. Матвей Мартыныч медленно идет домой. Может быть, Анна присутствует? Может быть, вместе присутствуют они с Аркадием, в объятии загробном?

Из всего прежнего в Мартыновке один лишь маленький Мартын все тот же: он играет вновь в свои игрушки, созидает, разрушает созданное, для него все равно — играть ли здесь, или в Москве, или в далекой Латвии.

Париж, 1929

ИЗ КНИГИ «РЕКА ВРЕМЕН»

ЗВЕЗДА НАД БУЛОНЬЮ

ПЛАВАНИЕ

С высоты пятого этажа вижу на тротуаре Элли. Держа в руке сумку — откуда выглядывает зеленый хвостик морковки, всякое другое добро — она разговаривает со старушкой. Старушка худенькая, невысокая. Обе оживлены, иногда притрагиваются друг к другу рукой ласково.

Все это знакомо. Так полагается. Элли держит путь домой из утреннего странствия — священного обряда хозяек, каторги малой жизни.

Вокруг расстилаются наши края — черепичные крыши, сараи, склады, дома. Лишь вдали на горизонте, в сизо-голубоватом тумане видится другой мир: две башни Сан Сюльпис, еще дальше тоже две, страшные древностью своей — Нотр Дам. Кое-где пятна зелени, какой-то дальний подъем, там на закате ослепительно блестит иногда стекло. Мы же — преддверие разных заводов, мастерских, угольных складов. Мы второй сорт, пригород.

Сейчас мягко загудит подъемник, хлопнет дверь его, Элли со своей добычей водворится восвояси.

— С кем это ты разговаривала на улице?

— А это мадам Брошэ, милейший человек. Ей девяносто два года. Я ее очень люблю. Она меня тоже.

Когда идешь с Элли в наших краях, неведомые типы приветствуют ее — бабки, лавочники, дети. Иногда определяют: «dame russe du cinquième étage»[1]. Я тоже «du cinquième», но я просто инородное тело.

— Мадам Брошэ живет тут за углом, у нее свой домик, и она совсем одна. Совершенно. Я ее спрашиваю: «Мадам Брошэ, вам не скучно одной?» А она отвечает, знаешь, как тут всегда: «Non, ma pauvre dame»[2]. Так полагается уж «pauvre dame» —

---

[1] «русская дама с пятого этажа» *(фр.)*.

[2] «Нет, бедняжка» *(фр.)*.

и прачка, и торговка скажет, если сочувствуют. Мне, говорит, не может быть скучно, потому что «le bon Dieu est toujours avec moi»[1].

— Католическая бабка?

— Ну, понятно. Все меня расспрашивала, какая у нас вера. Очень довольна, что мы во Христа верим и почитаем Деву Марию.

Таково утреннее странствие Элли. Кроме свиной котлетки, моркови, апельсинов, вина, приносит она разные вести — вроде малой областной газеты. А потом у ней кухня: газ, плита, готовка. Это начало дня, он начинается, ему все равно, радостно ли тебе жить, или грустно. Он для всех один, будь ты свой, здешний, или пришлец, как мы. Он светел, равнодушен.

ДЕТИ

Темный провал отделяет его от дня следующего. Но и тот приходит. Портьеры еще задернуты, лень взглянуть на часы. Вдруг начинаешь слушать как бы щебетание. Сперва мало, отдельной струйкой. Потом струйки сливаются — нечто вроде журчанья — небольшая, негромкая речка течет за окном, по улице, звуковая речка справа налево.

Девять часов. Дети пошли в школу. Значит, взрослым неловко валяться. Все-таки спешить некуда. Слава Богу, все школы, диктанты, задачи, курьеры в мифической дали. Было время, десятилетний человек напяливал в утренних потемках длинное пальто с серебряными пуговицами, форменную фуражку. За спиной ранец, в сердце тоска, в голове латинские предлоги. Девятнадцатый век! Калуга.

Если сейчас выглянуть, то увидишь малых французских граждан, иногда с мамашами. Граждане волокут в руках сумки с книгами — не за спиной в ранцах, как носили вы,— сумки полны премудростями, тащатся чуть не по земле. Тяжело! Граждане в большинстве хилые, голые ножки с неважнецкими коленками, порода не крепкая. Да и откуда быть крепкой? Отцы, деды, может быть прадеды, бабушки этих Жаков, Пьеретт, Алэнов все со здешних Рено, Сальмсонов, с маленьких фабричек, никому не известных. Наш край выводит свое племя — в трудах, серости, некрасоте На улице семь бистро. И отцы, деды путников этих немало утешались у стоек — до войны сизым абсентом, после желтым Перно. Да и чем другим,

---

[1] «Господь всегда со мною» *(фр.)*.

собственно, было утешаться? Потомство же развели слабоватое.

Дети вольются в большой угловой дом, прогрессивные учителя, правнуки флоберовского Омэ, будут обучать их там вещам бесспорным. В половине пятого, на перекрестке вблизи школы восстанет лик власти: хранитель Дениз, Жюлей и Жаков, насытившихся наукой. Он строго раскидывает руки. Движение останавливается. Автомобили ждут, мотоциклисты замирают — царство детей. И шумящим потоком, на ходу давая подзатыльники, подставляя ножку, хохоча, растекаются они по переулкам, прочь от уродливой своей школы, сложенной неизвестным строителем из серых камней (нечем прославить ему здесь свое имя).

Дети будут обычно проводить вечер, ночью спать крепко, возрастать, меняться, на глазах наших проходить разное, от весенних сияний первого причастия, преддверия венчаний, до самых свадьб, живого обручения живому.

НАСМЕШКА

Наши края беззащитны. Что можем мы предъявить прекрасного, просто изящного? Нотр Дам, Сан Сюльпис лишь вдали видны из моего окна. А свое — фабричные трубы, заводики, склады, кое-где пустыри да зелень. Аллея платанов — единственная заступница наша. Да еще кладбище, тоже в платанах. Из окна моего в нем белеют памятники. В общем же: на чем глазу остановиться? Семь бистро? Уголок зоны с лачужками? Мелкие лавочки?

— Лишь в Австралии видал я столь некрасивую улицу,— сказал двадцать лет назад о наших местах поэт.

Что возразить ему? Он объездил весь мир. Значит, только в Австралии. Возможно, что и хватил, ближе нашлось бы, просто здесь же в Париже. Но поди, разговаривай с ним. Высокомерно сказал. С ним самим позже поговорила жизнь. И горестно. Не у нас, а в другом захолустье парижском, не лучше нашего, прожил он последние свои годы. Все увидел, без всякой Австралии, и там же скончался.

— Дорогой мой, ты поселился на Растеряевой улице,— сказал другой поэт, брезгливо оглянулся.— Глеб Успенский, совершенная Растеряева улица!

Так посмеялись поэты над неизяществом нашим. Они, собственно, правы. Но не надо смеяться. Не надо смеяться над некрасивой бабкой, над алжирцем в голубом пиджаке с красным галстуком, над воскресною чинной прогулкой семьи, задыхающейся от скуки. «Смирись, гордый человек».

ДЖУЛЬЕТТА

Во времена войны сосед наш носил на руках мальчика в погреб, когда начиналась бомбардировка. Теперь мальчик больше отца. В недалеком углу зоны, среди лачуг гнездился маленький юный идиот. Победоносно носился он по улице, как наш тульский, притыкинский «бахи-баха́», с выпяченной нижней челюстью, дегенеративными губами, чуть прорезанными глазами. Теперь он толстый молодой идиот, краса и гордость нашей местности. Некоторые даже считают, что он воспитан и хорошо одевается.

Джульетту помню маленькой девочкой, почти красивой, с несколько бараньим лбом, над ним кудряшки, с большими, упрямыми светлыми глазами навыкате. Жила она где-то неподалеку, отличалась тем, что вечно каталась на велосипеде.

— Ah, celle-ci[1],— говорила консьержка, мадам Жак, сухая, тощая и строгая.— Eiie roule tojours![2] Это не доведет до добра.

Мадам Жак была женщина раздражительная, прямая и самоуверенная. Нас всех держала сурово. Джульетту вообще не одобряла.

— Ah, vous savez, c'est une famille![3]

Семейка Джульетты, дествительно, не из важнецких. Мать умерла — кажется, после драки. Были братья, сестренки. Отец алкоголик. Многое разное говорили о нем, о его отношении к детям, к той же Джульетте. А время шло и Джульетта подрастала. Приближалась война и крашеная мадам Жак, похожая на нервную жердь, ушла из нашего дома. На прощанье едва не зарыдала, сказала вдруг мне, что мы с Элли были лучшие и единственные ее друзья — это навело меня на меланхолические размышления об одиночестве.

А Джульетта обращалась в красивую девушку. Хорошо, что мадам Жак не было уже здесь, когда появились немцы: Джульетту не раз видели с немецкими солдатами. Мадам Жак злорадствовала бы.

— Elle roulait au bicyclette comme une folle![4] Это не доводит до добра.

При «освобождении» ее не обрили, за немцев вообще над ней не издевались — не знаю почему. Вероятно, по недосмотру.

---

[1] Ах, эта *(фр.)*.

[2] Она всегда катается *(фр.)*

[3] Ах, вы знаете, это такая семья! *(фр.)*.

[4] Она каталась на велосипеде как сумасшедшая! *(фр.)*

Вместо немцев явились американцы и опять то же: шоколад, бистро, аперитивы. Но Ромео для Джульетты не нашелся. Все продолжалось, как и надо. Только умер, наконец, отец. Джульетта переехала в небольшой отельчик, неподалеку. Велосипеда давно не было. А к разгулу она привыкла.

Раз утром я сидел у себя, занимался. Элли возвратилась из плавания. Распахнув дверь, с покупками в руках, сказала:

— Помнишь ты такую Джульетту, девчонка была, все на велосипеде катала?

— Помню.

— Ну, так ее только что убили! Такой ужас. Она недалеко тут комнату снимала. По вечерам исчезала, все по каким-то бистро, кабакам. А на днях вовсе не вернулась. Нашли в Булонском лесу задушенной. Ограбили, конечно, выбросили из автомобиля. Да что на ней найти-то можно?

Был зимний день. Редкий для Парижа случай: белизна крыш заснеженных. У меня в комнате светлый их отсвет, как в Москве моей молодости. Снег шел все эти последние дни. Он завеял деревья, ветки Булонского леса. Запорошили тело Джульетты.

МАДАМ БРОШЭ

Всем было невесело, нашему краю особенно. Совсем он принизился — и без войны неказист, тут захирел вовсе. Как и не захиреть? Остались такие, кому некуда уезжать, не на что. Заводам тоже не переехать, их старались громить с неба, заодно и нас грешных. И так-то уж мы не блещем, а тут еще бомбы. Весь наш край тогда заушался, это располагало к нему. («Горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам!»).

В потемках утра Элли стояла в хвосте к молоку. Иногда я стоял. Я называл себя и сохвостников своих мизераблями долин адских. Мы, правда, похожи были на грешников Данте. Еще больше на них походили в подземелье домов при бомбардировке.

Там я и познакомился с мадам Брошэ.

Наверху выли сирены, глухо бухало. Большой подвал, куда вели коридоры, был полон жильцов. Элли сидела со мной рядом, дрожала. Я гладил ее руку. Со мной ей было легче — она приваливалась плечом ко мне, точно я мог бы защитить ее, если бы дом рухнул. (Но у меня тоже было странное чувство — мужчины, защиты... Я тоже считал, что могу защитить.)

Взрыв ахнул близко. Ребенок заплакал, стена вздрогнула. Пронеслось душное веяние из коридоров. В поднявшейся пыли вдруг явилось лицо старушки, худенькое, со слегка воспаленными глазами навыкате, древними бородавками. Оно улыбалось,

сияло добротой. Рука с артритическими узлами гладила руку Элли.

— Сейчас кончится, мадам! Это последний удар. Ничего, ничего, все будет хорошо!

Элли встрепенулась.

— Ах, мадам Брошэ, как вы сюда попали?

Мадам Брошэ никогда вниз не спускалась. А на этот раз зашла к нам в дом и пришлось спуститься — началась бомбардировка, надо было сопровождать знакомую с ребенком.

— А это мой муж,— сказала Элли.

Мадам Брошэ изъявила полное удовольствие.

— Oh, monsieur, je connais bien votre dame. Elle est très très gentille[1].

Если и не последний, то оказался предпоследний удар — дело кончилось. В общем, мадам Брошэ угадала. Да у ней и вообще был такой вид, что все ничего, если бомбардировка, то значит bon Dieu так хочет и нечего суетиться. Элли от одного вида ее подбодрилась, я же с того дня стал знакомым мадам Брошэ, le mari de la gentille dame russe[2].

Мы раскланивались, встречаясь, с видом чрезвычайной любезности, осведомляясь о здоровье, и часть ореола Элли падала на меня. Худенькая, некрасивая старушка с водянистыми глазами, бородавками на лице, ходила не быстро, но куда надо ей, добиралась: в молочную, булочную, съестную лавку.

Она вовсе не нищая. У ней собственный небольшой дом, двухэтажный. Внизу, в маленькой квартирке живет сама, остальное сдает. Рядом с ней мы с Элли безденежные. Но не это важно. Важно, что ничто не может сдвинуть ее с места. Никакие хвосты, ни рютабага, которой питаемся, ни бомбы. Мы худеем от войны, она нет — ей уж худеть некуда.

Встречная Элли, она говорит:

— J'ai toujours, une petite prière pou vous, madame! Chaque jour[3].

И улыбается. Элли тоже о ней молится, о Marie, у ней тоже «une petite prière pour madame Brochet»[4].

БАРДАДАХ

Две ужасных зимы. Как было холодно! В январе снег лежал три недели — слыханное ли в Париже дело? Мы сопротивлялись.

---

[1] О сударь, я хорошо знаю вашу жену. Она очень, очень мила *(фр.)*.

[2] мужем милой русской дамы *(фр.)*.

[3] Я всегда немного молюсь за вас! Каждый день! *(фр.)*

[4] «малснькая молитва за мадам Брошэ» *(фр.)*.

Я топил кое-чем печурку, мы жили в одной комнате, я сидел над Данте, Элли варила в ледяной кухне. Но мы держались на печурке. Без нее пропадать.

И вдруг внутренняя решетка ломается. Неловко уронил, старье развалилось. Просто переломилось. Топить нельзя.

— Надо звать Бардадаха.

Бардадах живет не в пещере, но вроде, в лачуге, стучит, гремит молотком, чинит, паяет. У него малый горн, как у Вулкана, но он не хромой и Венеры нет. Он просто мьсе Грениэ, но для нас с Элли — Бардадах — в этом его миф.

Дома он не всегда. Его дикообразный облик часто видится на столь некрасивейших улицах, у стоек бистро — самых последних.

Лишь ей ведомыми путями отыскивает его Элли. Бардадах появляется. Я показываю ему сломанную решетку. Он издает сумрачный звук — понимать его вообще трудно. На голове кепка времен Пуанкаре, из-под нее седоватые космы, борода дика, нечесана, на щеках красные пятна — давние наслоения аперитивов. И в конце концов это вроде притыкинского Климки, речь бессвязна, жизнь убога. Но у Климки не было аперитивов. Климка проводил дни, убирая конюшню, пропахивая огород, ругаясь с черной кухаркой — напивался редко: не на что было часто, к сожалению.

Бардадах постоял, повертел решетку, унес в кузницу Вулкана. Из отрывистых его рыков кое-что поняла Элли, но не я. Он ушел, я же просто подчинился. И пришлось, несмотря на холод, отворить окно — освежить воздух от Бардадаха. Он носил с собой весь свой мир.

Вечером явился с решеткой, спаял ее. Поблагодарив златницами, я поднес ему, в знак поощрения, стаканчик рому. Бардадах осклабился, мучительно закатил назад голову, глотая, крякнул. Дружественный союз был заключен. С тех пор я осознал его. Бардадах вошел для меня в пейзаж местности, это нехитрый малый дух ее. Я стал чаще замечать — не только лишь, когда из-за поломки крана, печки приходилось его звать. Убогую фигуру в кепке, с красным носом, красными щеками, дикой шевелюрой нередко приходилось видеть теперь на перепутьях мест наших. Он всегда влекся куда-то, шаркая ногами, устремлялся к новым берегам — новым починкам, новым кабакам. Встречая меня, иногда издавал сочувственный звук. Вероятно в туманном мозгу восставал мой ром. Как бы то ни было, благодаря Бардадаху мы не замерзли. Храню доброе о нем воспоминание, как и о далеком тульском гражданине Климке, облике убожества российского.

Время шло. Война кончилась. Все менялось. Бардадах исчез.

Вероятно сложил многотрудные кости после очередного coup de rouge[1]. У нас его больше нет.

На площади же Порт Сэн Клу, в газоне сквера, поставили не так давно носорога под бронзу. Рог его победоносно поднят, на ногах смешные складки вроде штанов. Местный поэт сочинил, в духе капитана Лебядкина, похвальное ему четверостишие:

Над зеленой муравой
Воздвигается герой.
Он стоит в своих штанах,
Что за славный Бардадах.

МИР

Дальше от нас, в глуби Булони, разрушения войны заметней. Долго стояли дома со снесенными этажами, дико зияющими дырами. Тут безвинно убиен русский мальчик, воздушной контузией, прямо на улице. Там рухнул целый дом — под развалинами его погибли все, и ушедшие в погреб, и не уходившие. Ничего не осталось от дома. На его месте теперь площадка, играют дети в окружении посаженных топольков. Так над костями расстрелянной молодежи в Москве, у Рогожской заставы, забавляются футболисты.

На кладбище, среди зелени, целый ряд могил — не воинов, а таких же, как мы, насельников некрасивейших улиц. И над всем этим — вот зеленеет уже травка времени, ничем не остановишь. Будни идут. Идут дни. Мертвые ушли, живые ждут.

А пока что — как и другие обитательницы — Элли снимается утром с якоря, выходит в странствие, когда надо возвращаться.

— Ты знаешь, что сказала мне сейчас мадам Брошэ? Вот чудная старушка! Когда встречаемся, мы говорим друг другу нежности. Нынче она себя превзошла. Я рассказала, что у нас есть под Парижем кладбище, русское. Она говорит: «Наверное и вы с monsieur votre mari[2] приобрели себе там место?» Я отвечаю — нет. Тут ляжем, вот рядом кладбище. Ты посмотрел бы, что с ней сделалось! Будто подарок получила. «Mais, chère madame, ma place est exactement là-bas! Nous serons dons voisins!»[3] И понимаешь, так обрадовалась, точно мы к ней в гости собрались. «Enfin, quant à vous ce n'est pas pour demain... Mais ce sera un très agréable voisinage!»[4] Так что мы с тобой теперь устроены, нескучно будет.

---

[1] глотка красного *(фр)*.

[2] мсье вашим мужем *(фр)*.

[3] «Но, дорогая, мое место именно там! Мы будем соседями» *(фр.)*.

[4] «Конечно, что касается вас, речь идет не о завтра... Но это будет очень приятное соседство!» *(фр.)*

Вижу худенькую фигурку мадам Брошэ. Вот-вот будто и развалится. Но ничего, напротив, все в порядке. Живем, помрем, места найдутся. Все правильно. Все медленно, неотвратимо ведет к миру.

ПОЯВЛЕНИЕ ЗВЕЗДЫ

Я не любил кирпичную трубу, высокую и скучную, вздымавшуюся над фабричкой, пересекавшую мне горизонт. В скромный пейзаж из моего окна входила она резким звуком.

И вот однажды утром оказалось, что труба одета сеточкой. В сеточке двигались букашки. Ага, пришел ей конец! Просто ее начали разбирать. Каждый день таял кусочек наверху, труба садилась. Правильно: фабричку отменяют, на ее месте будет дом, жилой, их теперь много принялись строить. Из окна вижу с разных сторон растущие стройки. То десятиэтажный дом, то, на месте трубы, семиэтажный. Вдали, там и сям, подъемные краны, grues[1] — у нас сооружение над колодцем в деревнях, чтобы вытаскивать бадью, называлось тоже журавлем.

Из окна своего, с пятого этажа, я все это приветствовал. Особенно же приветствовал сходящую на землю ночь. Это моя союница. Мой друг. Ночь закрывала всю некрасоту. Темная влага, в ней золото огней. Направо, со стороны возвышенности Исси, огни мерцают отдаленно, мелко. Вблизи ярче, веселее. Но дай им Бог блистать всем, кто как может. Они являют тоже мир, свидетельствуя о жизни.

И главное — передо мною небо. Там свои огни, то, что волшебно для меня с юности — в России, в тишине деревни, в захолустье так чудесен узор звезд.

Зарево Парижа несколько мешает, иногда очень. Даже из окна, при широте охвата, трудно видеть звезды. Все же именно этой зимой, поздно ночью вдруг удалось увидеть Орион с поясом царей, над кладбищем повисший Сириус. Сириус это зима, снег, мороз, в русском морозе играет он самоцветом, зацепившись за мохнатую ветвь елки. Из чащи, может быть, выйдет лось.

Но теперь, в весенне-летнем булонском небе как в лесу. Где друзья, сопутники с ранних лет — разные Капеллы, Лебеди, Плеяды, Близнецы, главное: где Лира с альфой — Вегой? Голубая звезда, с юности покровительница, столь мною воспетая.

Здесь «понимаю» только Большую Медведицу. Это налево. Ее не затмят отсветы, никакие туманы. Никогда и в России

---

[1] журавли *(фр.)*.

близка она не была. Сильна, грубовата, правда, Медведица, хоть и золотая, хоть по двум крайним ее звездам прямо докатишься ло Полярной — столпа, оси мира.

Не так давно, в три часа ночи подошел к окну, растворил. Ночь ясная, летняя, для Парижа прозрачная. Над городом слабое зарево. На улице сумрак. И дальнее легкое гуденье, точно телеграфная проволока. пустынно в общем. А со стороны Медона, с юго-запада, веет тихим благоуханием — там леса, поля. Когда тянет оттуда, воздух чудесный.

Все это знаю, ценю, нового нет. Но вот подымаю голову: высоко, прямо над головой, она, да, сомнения нет. Голубая звезда — Вега.

Я и раньше по вечерам видел ее, но уверен не был — сквозь городскую муть мелких звезд ее созвездия не различить. А теперь ясно: это она ведет золотой параллелограмм, четыре как бы сестрицы и еще одна сбоку, все вместе Лира, шестизначное созвездие. Его альфа есть голубая звезда, первой величины. Молодость неба, небесная дева Вега. Она ближе других и моложе, ее свет в меньшее время до нас доходит и он нежно-голубоват, в нем мир и успокоение.

Я видел ее в России, в счастии и беде, сквозь ветви притыкинских лип и из колодца двора Лубянки. Видел ее в Провансе, близ пустынного монастыря Торонэ, где в лесу сохранилась тропинка, по которой св. Бернард ездил на осле в аббатство. В Париже я ее потерял. Но вот в глухой утренний час она явилась мне вновь над Булонью.

МОЛЧАНИЕ

Вскоре после войны, в Страстную Пятницу, появилась на стене нашего кладбища, прямо на улицу, огромная надпись углем:

— Silence! Christ est mort[1].

Удивительно. Мы привыкли к другим надписям. Но живи и не удивляйся. Не удивляйся тому, что в Страстную Пятницу в нашем красном предместье действительно было тихо.

— Christ est mort.

Я и не удивляюсь теперь, что недалеко от нас, кроме нашей русской, еще две католические церкви, где служат молодые священники нового типа — иногда сухощавый силуэт не то в подряснике, не то в рабочей блузе, с портфелем под мышкой и тонзурой на голове, пересекает Растеряеву улицу. Как пере-

---

[1] Тишина! Христос умер *(фр.)*.

секают ее весной мальчишки с белым бантом на рукаве новеньких костюмчиков или девочки в белой фате с сияющими лицами.

И когда молодая монахиня в белом подкрахмаленном капоре, темном платье, с четками на руках катит на велосипеде и я с ней раскланиваюсь, тоже не удивляюсь: это знакомая, сестра Анжелика из St. Marie de la Présentation[1]. Ее жизнь в том и состоит, что молчаливо входит она в двери недужных и страждущих, серыми бретонскими глазами скромно улыбается, вынимает шприц, делает свое дело, впрыскивает что надо и на стальном коне катит дальше.

Не удивляюсь подземному произрастанию. В Страстную Пятницу все молчат, потому что Christ est mort.

СНОВА МАДАМ БРОШЭ

Не вечно все-таки ходить мадам Брошэ по нашей улице, встречаться дружественно со мной.

— Знаешь,— сказала раз Элли, вернувшись из плавания,— мадам Брошэ захворала. Что-то вроде удара.

В этом нет ничего удивительного, скорее то удивительно, что у нее раньше его не было. Сколько раз собирался я позвать ее к нам на чашку кофе, поговорить, расспросить о долгой жизни в мире, для меня далеком — и наверное многое она рассказала бы.

Но вот не собрался. А теперь уже поздно. Проходя в тот же вечер мимо ее двухэтажного домика с решеткой, с крыльцом и необычайной чистоты стеклом комнаты, где она жила, сразу почувствовал отсутствие. На столбике ограды сидел кот, ожидая блюдечко молока. Тишина и безмолвие. Мадам Брошэ в госпитале, остаток жизни ее теперь в других измерениях.

Она умерла через несколько дней. Весть об этом пришла по живой молве, по воздушной почте обитателей. Все так вышло, что ни я, ни Элли не были на отпевании. «J'ai une petite prière pour vous»[2].

Отпевание могло произойти только у нас в сердце. И в день похорон лишь из окна видно было, направо, вдали, как входила процессия на кладбище — была ли это она или другое погребение? Кортежи нередки здесь, но это все равно. Она ложится сюда на кладбище, нынче или завтра, какая разница. «Mais, chère madame, ce sera un très agréable voisinage![3]

Наверное она права. Мне такое соседство приятно, как и

---

[1] Введения Богородицы *(фр.)*.

[2] «Я немного молюсь за вас» *(фр)*.

[3] «Но, дорогая, это будет очень приятное соседство!» *(фр.)*

для Элли, но все же не знаешь, куда придется ложиться, до самого дня, когда ляжешь.

Тот вечер был очень тих и покоен. Когда мрак спустился, оказалось, что небо в звездах. Часов в одиннадцать я отворил окно — обычное златисто-голубоватое зарево над городом, в домах мало уже огоньков, и далекий гул, несильный, ровный. Иногда лишь его прерывает влетающая машина, гудит как несущееся ядро и, ослабевая, замирает.

Спят не уехавшие на отдых дети, кому скоро уже начинать беготню в школу, спят их мамаши, bonnes ménagères[1]— завтра тронутся они вековечно в мясные и булочные, съестные, как двинутся папы по заводам Рено и другим, как побегут к метро худенькие мидинетки, на соседнюю фабрику женщины покрепче. Все идет медленным и непрерывным ходом. Старому еврею жить недолго, молодым аббатам долго ходить по приходу, сестре Анжелике долго ездить по больным на велосипеде. В доме мадам Брошэ поселятся родственники, давно уход ее караулившие, заведут жизнь свою, думая, что навсегда. И уйдут так же.

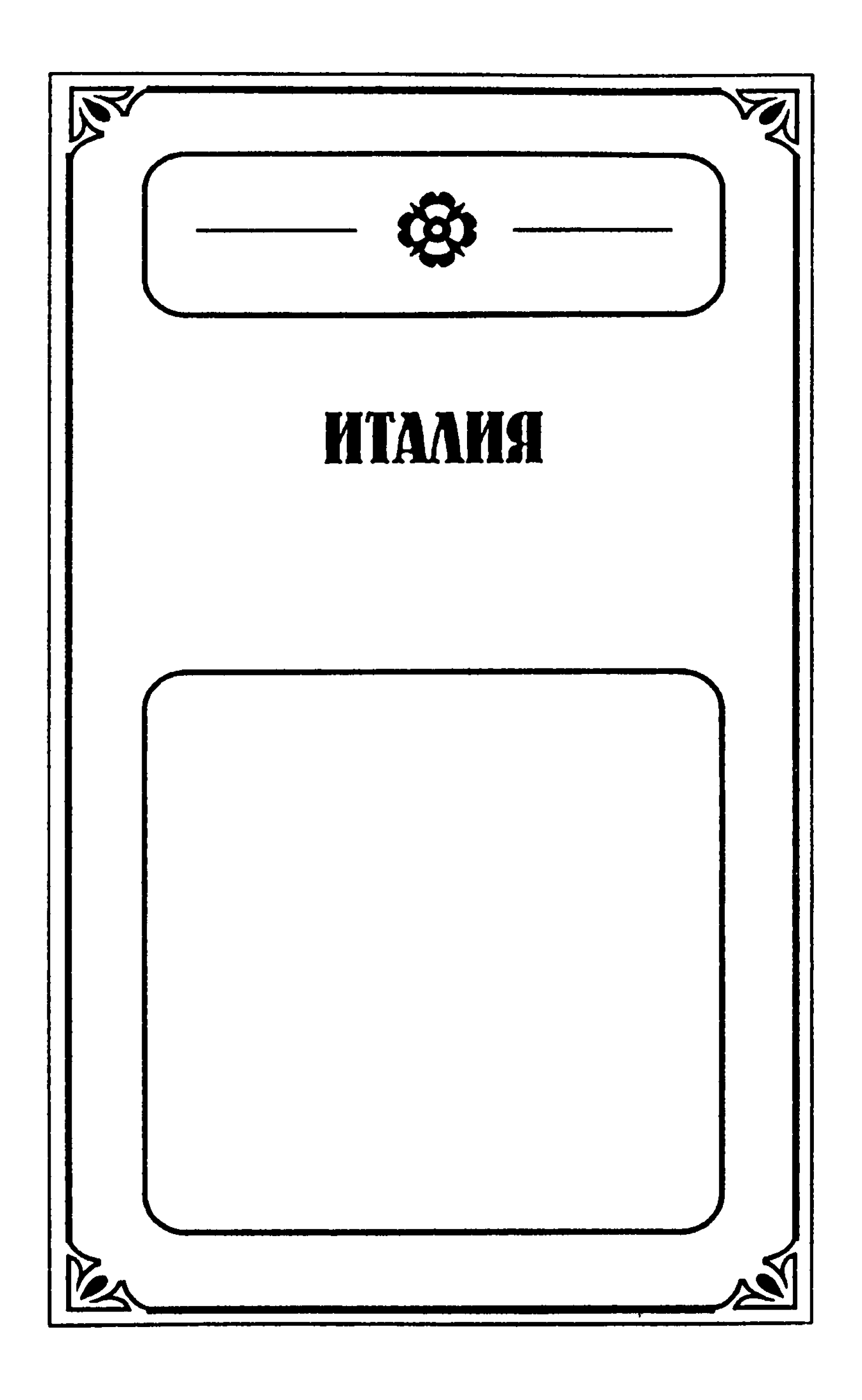
В небе тоже идет свое действо. Всматриваясь в него, видишь, как изменились сочетания звезд — одни, кого весной не было, взошли, других нет вовсе. Но они так же плывут, по тем же неизбывным законам, видя малую нашу жизнь, так же непостижимо прекрасные.

И вот, подняв совсем вверх голову, вижу над собой Лиру и звезду мою Вегу, почти зацепившуюся за край дома нашего. Голубой свет ее все такой же. Зимой не найдешь ее. Но ничего, ничего. Если даст Бог дожить до лета, она вновь будет сиять в эти часы над нашей бедной, некрасивейшей улицей.

Париж, 1955 г.

---

[1] хорошие хозяйки *(фр)*.



ИТАЛИЯ

Вере Алексеевне Зайцевой

Предлагаемая книга названа мною «Италия». Это значит лишь, что все в ней — об Италии. Но не надо ждать исчерпывающего от заметок и воспоминаний, написанных в уединении и, преимущественно, для себя.

Очерки — разного времени. Есть очень юные, большинство же недавние. Потому в книге и неровно слово, и кое-что вообще по-другому написалось бы теперь. Автор оставил, однако, почти неизмененным прежнее. Излишне говорить здесь, чем обязан он Италии.

11 сентября 1922 г.

ВЕНЕЦИЯ

На твоей зыбкой, таинственной земле, Венеция, впервые слышит путник голос, видит облик, ощущает дух Италии. К тебе приходишь ночью. Увитая туманом легким, в безоблачности каналов, ты — чудо задремавшее. Твоя стихия-божество, вода, нежно струится за веслом гондольера; узкая, черная гондола! Образ изящества, траурной женщины, темного призрака, в туман бредущего. Стройный ее повелитель, дож гондолы, налегает на корме, гибким силуэтом на весло гибкое; лишь влажное шуршание воды, да смутно проплывающие очерки домов дадут понять, что ты в движении.

Вот мостик. Мы проходим под него; по нему, слегка постукивая каблучками, пробегают ножки; увидишь две фигуры в шалях, знаменитых zendaletto. Это девушки венецианские, династия такая ж древняя, как древен гондольер. Там, неподалеку, таверна с розовыми фонарями; и заезжие матросы, рыбаки, ремесленники веселятся в ней и пляшут под раскаты тамбурина.

Снова тихо. Канал сонный; сонный плеск встречной гондолы, мягкий оклик, мягкий ответ, черный и тонкий гриф, будто приветствующий кивком плавным. Деревцо, нежданно свесившееся из расщелины; новый мост, жаркая перебранка на нем — и запах влаги, плесени, дыхание морей, тонкое плетение тумана, смутные видения домов, плывущих, все плывущих, медленно-беззвучно.

Таков первый твой покров — Ночи.

* * *

Но солнце его снимет. Солнце разоденет тебя, ранним утром, в золотые облачения, и весь день будешь ты сиять, искриться и переливаться нежно-пламенными тонами, под нежной бирюзою неба.

* * *

Утро в Венеции это — — — — — — — — — — — — —

Низкая комната старенькой гостиницы, времен Гольдони, беленькие занавески, кисейный полог над постелью; золотой луч, выбившийся в щелку жалюзи, два-три москита, севшие на кисею, жаждущие к тебе приникнуть.

Отворенное окно прямо на крышу. Старые черепицы с кустиками травы; кот, выгнувший хвост, бредущий между черепицами за утреннею птичкой. Белье, сияющее в солнце, на веревке,

на острой синеве неба. Утренняя свежесть, и прохладно-влажная голубизна воздушного напитка. Легкий очерк северной кампаниллы.

Утро продолжается. Сойдешь на площадь и под Прокурациями сядешь перед столиком кафе, на вольном воздухе, под золотым венецианским солнцем. Будешь пить там кофе из огромной чашки. Легкая толпа снует вокруг. Две стройные венецианки, все в тех же черных шалях, пробегают через площадь, к Torre del Orologio, где два великана ежечасно ударяют в колокол. Знаменитые голуби сизою стайкой толпятся перед входом ко Святому Марку, и всегдашняя иностранка, в белом платье и шляпе соломенной, кормит их. Голуби вьются легко, беззаботно! Это маленькие божества Венеции, скромные покровители города, смутно и бесконечно воркующие; мягко отблескивающие шелками крыл своих, с сухим треском взлетающие.

А за ними пятикупольный, древне-великолепный, выложенный мозаиками, золотом, драгоценностями, в голубом утреннем тумане сияет Св. Марк, полуготический, полувизантийский, запутанный, роскошный, столь венецианский... но насколько *христианский?* Это нам неведомо. Но его ризы солнечны; его камни отливают радугой; он воплощенный пышный храм, облик Венеции, древний, но и живой, лишенный холода. Все в нем живое — и сама прохлада, будто влажность воздуха под его сводами, и выхоженные мозаики полов, и в старине своей седеющие паникадила, тонущие в тяжкой роскоши; и гигантская мозаика по стенам, как ковры растопленного золота; и таинственный, и разноцветный сумрак грандиознейшей розетки.

На зыбях стоит Сан-Марко, на зыбучих хлябях. Кой-где он осел, его поддерживают. Не совсем полы ровны, и иной раз покажется — да не выступит ли влага из-под плит каменных; и не рухнет ли обветшалый старец, в ризах самоцветных и тиаре?

Но старец непоколебим. Купола его побелели, как седеют волосы. Шпили их вознеслись. Бронзовые кони на портале все летят, летят, и сквозь голубое утро все слепят в лучах мозаики фасада.

Сиятельная Венеция! Город давнего великолепия, слав отшумевших, вкушенных наслаждений, сыгранных торжеств. Светлым маревом ты вознесся над тиарами дожей, над парчой, жемчугами, пышностью Веронеза и величием Тициана.

* * *

Золотой мед с золотистых цветов собирали художники Венеции. Только и знали: негу глаза, переливы шелков, блеск

камней, теплоту тела светлого, радость и пестроблестящий наряд бытия. Если и души звучали — Джорджионе — то во мгле жаркой, златонасыщенной. И меланхолия Джорджионе вся в раме Венеции, в ее тонах, ее плывучести. Тициан непоколебим. Никакой гром не смутит его Зевесову голову, Зевесово изобилие и плодородие. Как стихийный сеятель, великан *живого* он проходит в жизни и развеивает свет свой, и свою улыбку, ясную и полновесную. Ни смерти нет, ни драмы, ни элегии. Легендарный он старик со светлыми, *прохладными* в прозрачности глазами. Веронез расстилает шелка — бледно-зеленеющие, и синеющие, персиковые, жемчуговые. И лишь Тинторетто закипает. Лишь его дух бурливый не вполне вошел в золотой дым Венеции. Кажется, чрезмерно умны дожи бородатые, и сенаторы его портретов.

* * *

На картинах Карпаччио зеленоваты воды Венеции. Гондолы у него, мост Риальто (тогда деревянный), с подземною серединой. Сколько труб над домами! В тихой комнате Академии тихий, простой и славный Карпаччио, еще не пышно процветавший, но влажный, морской, свой Венецианский Карпаччио.

Я знаю, и люблю его Георгия, разящего, в церкви S. Giorgio degli Schiavoni. За что люблю, не знаю. Мне он мил, как сама церковка, день вечереющий, светло-золотеющий, как молодость моя.

* * *

Кто бы ни писал Венецию, скромные, мощные, бурные, золотые, точные — никто не мог не писать празднеств ее и нарядов. В нарядах родилась Венеция, в нарядах смертный час свой встретит. Бедный, богатый ли, роскошь, простота — все здесь не любят, думается, *будничного.* Все живет светом, блеском; изяществом, лаской любви, песней, мгновением. Бывает дождь в Венеции; смутно купается она в тумане, но лишь затем, чтоб ярче возблеснуть при солнце. И хмурости не угнетут народа мягко-сладострастного, изящного, о, сколь живого!

Зимою месяцами длились карнавалы в Венеции умершей. Умерла, но жива. За одной выросла другая, и путешественник узнает сразу, что весь смысл, девиз и пафос города есть празднество.

Как для Венеции подходит — кого-нибудь встречать, приветствовать, устраивать банкеты, торжества, балы! Некогда дожи

выезжали на море, на Буцентавре, в драгоценных облачениях, с пестрою флотилией патрициев — обручаться с Адриатикой. Дож представлял собой Венецию. Он заключал таинственный союз с божеством влаги, именем златоволосой царицы. Теперь нет дожей, нет и обручений. Но я помню пальбу пушек, реющие флаги на белеющих крейсерах, разукрашенную набережную, разубранные катеры, и музыку, гремевшую и днем и ночью в честь сиятельных каких-то лиц, приехавших в Венецию.

Если б и никого не было, все равно — яркая, праздничная толпа без устали блуждает в Прокурациях, по Мерчерии — узенькой, живейшей улочке, перед витринами ювелиров, знаменитыми хрусталями, бокалами, кружевными сервизами; ожерельями и браслетами, зеркалами с Амурами, жемчугами, златотисненными кожами, нежносияющими раковинами. Красота, роскошь, женщина — все для нее. И верно, самый даже Дворец Дожей, в каменных сквозных узорах, так же возрастает для женщины, как и тончайшие туманы, млечные пути из кружев, что вяжутся венецианскими плетельщицами.

И вновь: златонасыщена Венеция! Какими сложными, изящными разводами вплетает она золото в шагрень, в рисунки на бокалах, в вазы хрустальные; как нежно выковала из него ухищренные ожерелья, как блестит оно на ручках кресел и в извивах рам на потускневших, все еще прекрасных зеркалах. Не им ли залиты прически тех прославленных красавиц Тициана, Пальмы, Джорджионе?

Сиять, лучиться, таять в свете! Вот дыхание Венеции. Блистать — и насладиться лучезарностью.

* * *

Если и нет пышных празднеств, то на Лидо, узенькой косе песчаной, где отмели, купальни, целый день под бело-вскипающий, темно-лазурный плеск моря та же плещет толпа, та же молодость, красота, тени шляп гигантских, кружева, белизна, смех... Мягкий ветр, мощно-соленый, душит ласково; вздымает снеговых коней, обдает тонкою пылью водной. Парус оранжевый ныряет в море. У канатов пляшут на волнах купальщики, мелькают красные чепцы, наряды женщин, бороды мужчин. В кабинки входят и выходят; и тела юные, веселясь, резво вбегают в волны, с хохотом, навстречу светлым божествам прозрачности, в царство Тритонов, Амфитрит, винокипящих Посейдонов с грозными трезубцами.

Под вечер пароходики, по водам розовеющим лагуны, от морского шума, брызг Нереид, пены шампанского в ресторане,

на пляже, от золота ликеров, блеска глаз несут к Венеции, мимо задумчивого островка Сан-Джорджио с тонкою, остроугольной кампаниллой.

И в этот вечер, как и во вчерашний, завтрашний, сине-синеющая ночь сойдет к Венеции, оденет площадь Марка, кружевной Палаццо Дожей, и всегдашний праздник засветит кафе под Прокурациями, как раму для иллюминации. Ночь. Столики полны. Беломраморна площадь, оцепленная дворцами, с уснувшим храмом Марка. Толпа легкая, беззаботная, в белых платьях, снует под синим небом со звездами, толпа полупризрачная в смешенье белых, синих, фиолетовых тонов. Музыка на эстраде.

Что ощущает человек, в синий вечер венецианский, проходя по площади Святого Марка? О чем скажет ему напев скрипок, благоухание духов, звезд мерцанье? Отчего нежная меланхолия, слабый стон все ясней слышится в словах, и горькой складкой проникает душу? Душа взволнована, легко возбуждена, но среди блеска празднества сочит сердце грусть вечную. Привет, привет! Промчатся дни, часы очарований, и от колдовской Венеции слабый след забелеет, как в небе серебро за пролетевшею кометою. А та комета — жизнь — уносит, все уносит.

О, сколь мгновенно, и сколь бледны тени, что в июньский, милый вечер ходят, разговаривая, в праздничной толпе Пьяцетты!

* * *

Давнее, всегдашнее дитя Венеции — ночная гондола.

Еще при Гете был обычай — гондольеры пели стихи Тассо, Ариосто. Они чередовались. Один подхватывал конец другого, и цепляясь цепью бесконечной, звуки отдавались из конца в конец Канале Гранде.

Этого нет больше. Но как всегда, и теперь теми ж вечерами везут влюбленных легонькие гондолы; гондольер напевает, и бывают разукрашены тела сирен скользящих — и концерты на ночной воде Венеции — не редкость.

Выплывает маленькая барка на Большой Канал. Может быть, приукрашена цветами. И наверно уж иллюминована. Разноцветные фонарики, бумажные, или стеклянные, образуют издали сиянье дымно-розовеющее, слабо отблескивающее. Скрипки, тамбурины, и напевы простых песен итальянских, столь любезных ночью, на воде, или в гитаре певца уличного, звуки нехитрые, к себе сзывают. Из далеких мест, с Риальто и Джудекки, Сан Джиорджио и Рива Скиавони выползают гондолы, стремятся к освещенному плоту. Гондольеры окликаются негромко. Молчаливы иностранцы, парами, глубоко заседающие на сиденьях. А

просмоленные бока и металлические грифы все кланяются на водах, кивают, слабо, нежно, шелестя, позванивая.

Концерт окончен. И соскочит древний комедиант с плота, с чашкою артиста странствующего, и креня гондолы, легко перебегает от одной к другой, сбирая — подаяние ль? Иль гонорар?

Но, наконец, дань собрана. Певцы уехали, разбрелись слушатели — путями водными. Если теперь сказать: «На Лидо!» или: «к Сан Джорджио!», то черно-бархатная, как бы похоронная ладья путем неверным, зыбким, станет отдаляться от Венеции, на лоно вод. От пения, огней, одушевления ничего уж не останется. Все дальше, дальше замерцают отражения огней, все шире развернется небо с звездами, и дальний, влажный донесется вздох морей — веяньем сыро-пахучим. Ничего нет! Ни дворцов, ни роскоши, ни празднеств, ни людей, ни легких их любвей, ни обаяний светлого покрова. Темною мантией ночь раскинулась. Где ж ты, прозрачная, улыбчивая?

Нет острее ночной меланхолии Венеции, как нет ярче дневного ее очарования. Нет пронзительнее контраста, между золотом Тициана и волной хаоса, меж вихрем бала, блеском роскоши и молодости, красоты, плесками пенящегося вина, игрой улыбок, нежностью движений и великой безглагольностью полночных вод.

Венеция, двуликая, остро-разящая, радостно-скорбная — memento mori[1] над всегдашним карнавалом жизни.

15 июля 1920

ГЕНУЯ

Это была великолепная Генуя

Гоголь

Смысл, сердце Генуи — море. Морю, и знаменитой гавани — ей удивлялся в своих письмах еще Эней Сильвий Пикколомини — Генуя обязана богатством, славой, благоденствием. «Она лежит на холме, над которым господствуют еще дикие горы»,— говорит Эней Сильвий. Нельзя сказать, чтобы горы вокруг были очень высоки; да не особенно они сейчас и дики. Но главное: город над полукружием залива, город-господин залива, господин своей солнечной и веселой страны — это осталось. Так в существенном не изменилась и душа города с

[1] помни о смерти *(лат.)*; форма приветствия у монахов-траппистов как напоминание о скоротечности жизни.

тех пор, как изящный гуманист, секретарь кардинала Капраника, будущий папа Пий II, видел Геную в марте 1432 года.

Старый мир не знавал еще тогда Америки, но уже в Генуе видел Пикколомини товары из Индии и Персии. Не было еще океанских гигантов, но уж он удивлялся кораблям, «огромным как горы, с тремя рядами весел». Эти корабли и море это — тогда такое же сиреневое в марте, под ясным солнцем, как теперь — эти корабли и приносили Генуе богатство. И верней, купцам генуэзским, бойкой, ловкой, грубоватой и безжалостной династии, державшейся здесь лет пятьсот, понастроившей дворцов, памятников, театров, биржу, кладбище и прочая, все во славу жизни яркой, сытой, но духовной.

Февраль, солнце. Цветет миндаль белыми, нежными цветочками на еще нагих ветвях. Цветут розовым персики. Апельсины золотеют в темно-зеленой зелени, и сладко пахнут, пригреваемые солнцем. За серебристыми оливками, змеящимися, мелко-трепещущими листвой — море сиреневое. Воздух мягкий и вольный, и синеватые тени по холмам. Тени, бредущие как облака, без конца и начала. Это Лигурия, *страна* Генуи. Войдем в самый город. Он кипит и шумит, неугомонным, мажорно-солнечным шумом. Все как будто здесь крепки и веселы. Все овеяны воздухом морей дальних, солнца, бодрости, неугасимой жизненности. Все ли тут счастливы? Вопрос странный, но он напрашивается. Не те, кому трудно, мучительно, задают тон жизни; этот тон — торжествующий и ликующий. Я ходил по тем старым, узким улицам города, что «омываются морем». Я видал тесноту городов Италии, но нельзя же не удивляться этой: четырех- пятиэтажные дома сидят друг на друге. Сыро, вонюче, и луч солнца — золотое счастье, но минутное. И я видел ремесленников, работавших в подвалах; к окнам приделаны у них отражатели, ловящие милый свет с узенького клочка голубого неба; этот свет отсылают они труженику, чинящему какой-нибудь каблук, или штопающему штаны. И труженик поет, смеется, заигрывает с проходящими девицами... он *живет,* несмотря ни на что. Зеленая плесень на стенах этих домов старых; ржавые, коричневые пятна их изъели, и на протянутых веревках сушится белье; а сверху, с четвертого этажа спускают корзиночку за припасами, за письмом от почтальона, ведро за водой. Над всем этим неумолчный говор, смех девушек, постукивающих деревянными башмачками — древнее, неугомонно-огненное сердце Италии. А еще ниже, ближе к морю — кабачки, таверны, матросы, гавань, бочки, краны подъемные, рощи мачт и рей, между ними свободные полосы, серебрящиеся будто реки, уводящие в море дальнее, беспечальное; и по ним, дымя, застилая

синеву неба сизо-темнеющими космами, медленно проплывают корабли. Глядя на раскинувшийся порт Генуи, можно мечтать об Индии, Австралии, о. Цейлоне, непонятных языках, темноцветных людях, об Азии загадочной и как мир древней, об Африке, Тунисе, Карфагене.

Желание беспредельного, географическая мечта разгорается. Недаром Колумб был отсюда родом. Верно, и его манили беспредельные эти морские дороги, протянувшиеся из генуэзского порта. И по тем самым путям, что в его время представлялись безумием, фантазмой, теперь спокойно идут корабли с эмигрантами из Генуи, с углем, хлебом — в Геную.

Но подымемся выше, от моря и старого города к городу новому, явно преуспевающему. Здесь уже нет закоулков, трущоб. Улицы ясные, широкие, звенит трамвай, толпа снует, дома богатые, не столь изящные, но прочные. Кажется, Генуя архитектурой никогда не славилась. Хотя претензии есть. Есть *шикарная,* но грубоватая биржа, есть театр, тоже пышный, но не замечательный. Бесконечные галереи, столь любимые в Неаполе, Милане — места торговли нехитрой, но оживленной. Видя дома, зажиточные и богатые, но не привлекающие; людей живых, бойких, но без того изящества породы, что в Тоскане, Лациуме; слыша язык — знакомый звук Италии, но как-то огрубленный в непонятное наречие genovese: чувствуешь, и скажешь: это Италия, все это Италия, но в одном лишь ее облике, том, что можно назвать Афродита Пандемос, Афродита простонародная. Ибо нет здесь утонченности, высокой печати духовной культуры. Пикколомини находил, что в Генуе «церкви не достойны такого города». Он был прав. В Генуе мало храмов, и они мало замечательны. Ее собор — перепев, и несильный, тосканских соборов. В ее дворцах мало сохранилось художества; генуэзские купцы, в противность флорентийским, мало занимались искусством, больше торговлей морской да нарядами своих женщин. Не слыхать также о «гуманизме в Генуе», как о гуманизме Флоренции, Феррары или Рима. Здешние корабли охотнее возили ткани, индиго, серебро, чем рукописи древних из Эллады.

Есть черты, сближающие Геную с Венецией: морская республика, дожи, торговля всесветная, борьба за господство на водах, олигархия, дух замкнутости и эгоизма — но все это грубее, простонароднее, чем в Венеции. Нет, и никогда не было над Генуей того золотистого ореола, какой дали Венеции Сан-Марко, Джиорджионе, Тициан, нежно-туманные каналы, светлая Адриатика. Нет в Генуе жемчужности, серебристой обольстительности тонов лагуны, нет вилл палладианских по окрестностям, и никакой Бембо не писал в отрогах лигурийских

гор своих Asolani. Генуэзский купец победил Пизу при Мелории, в 1284 г.; на костях гордой и мрачной гибеллинской Пизы вознесся, но никогда не досягнуть ему до венецианского патриция, какого-нибудь Марка Антонио Барбаро — дипломата, ученого придворного, друга Палладио и Веронезе. В купце генуэзском, как и вообще в генуэзце, крепко засел, вероятно, дикий лигур и дикий лангобард. Кровь яркая, горячая, детище гор и ущелий Ривьеры, заросших южной сосною, оливками, дубом, мало поддающаяся духовному возделыванию.

Ahi Genovesi, uomini diversi
D'ogni costume, e pien d'ogni magagna,
Perchи non siete voi del mondo spersi?[1]

Столь сурово окрестил их Данте. Правда, ни пизанцев, и ни флорентинцев он не пощадил; но конечно, есть нечто в сердце Генуи, что вздымало праведный его гнев.

— Мы богаты, сыты, довольны. Мера всему — деньга. Нет иного Бога, кроме оттиснутого на золотом цехине — таков как бы внутренний девиз Генуи.

— Море, корабли, гавани, дальние страны, рабы, золото Африки, слоновая кость Судана, рабы Малой Азии, попутные ветры, океан, путь в Америку — все это для нас, жестоких, жадных, сладострастных генуэзцев. Мы выстроили свой город на чудесном месте, в золотой гавани, на амфитеатре холмов. Наши женщины мало стыдливы, но прекрасны, и наряды их спорят с венецианскими. Наши дворцы богаты, наши блюда обильны. Мы хотим жить, жить, в нас безмерная, южная жажда жизни!

— А смерть? А великий мрак и хлад могилы?

— Мы богаты. Мы построим себе пышные саркофаги, мы закажем духовенству непрестанные молитвы за упокой душ наших, и мы, добрые купцы, надеемся, что и в той жизни увидим Рай и избежим Ада.

Слава купца, преклонение пред богатством в Генуе чрезвычайны. Помню памятник, на одной из площадей — памятник скромному генуэзскому поэту. Надпись такая (приблизительно): «N. N., который был хорошим поэтом и добрым негоциантом

---

[1] О генуэзцы, люди отдаленные
От всякой доблести, исполненные пороками,
Почему не изгнаны вы из мира? *(ит).*

Данте. Божественная Комедия. Ад. Песнь 33.
Перевод Б. К. Зайцева. Париж, 1961. С. 251.

Генуи». Или на Campo Santo: «X. Z., от благодарных племянников. Он был истинным христианином и отменным коммерсантом».

Генуэзское Campo Santo — Иосафатова долина смерти, погребения. В каменистой котловине, за белыми стенами и рядами кипарисов — город мертвых. Мраморные портики окаймляют этот четырехугольник. Они выше самого кладбища. На них ведут ступени. В бесконечных этих галереях море могильных плит, урн, статуй, памятников, живых и неживых цветов. Особенно запомнились тут орхидеи. Запах их сладок и зловещ, но зловещ и весь воздух: пригретый солнцем, в затишье, он к аромату бесчисленных цветов примешивает чуть слышный, тонко-тошнотворный запах тления.

Прогулка по могильным плитам, где шаги звонко отдаются под портиком, как-то угнетает. Спускаешься ниже, к середине кладбища, но и здесь не уйти от безмерного мрамора, мрамора и зелени — миртов, лавров, олеандров, и вновь памятников, решеток, оград, ангелов, простирающих крылья. А там дальше — лужайка детских могил — малые жалкие белые камни, кресты и розы, и так полно все, насыщено здесь смертию, что кажется, негде и пройти: у́же становятся узенькие дорожки, усыпанные гравием. А еще далее, в самой глубине кладбища, в поперечном портике, как вход в область Аида — огромный крематорий, где печальные человеческие останки обращаются в дым, газы.

Припекает. Тихо. Но и солнечное тепло как-то подозрительно здесь, не радует. В нем душнее благоухают кладбищенские цветы, и острей яд подземных испарений. Портики белеют мертвенно. Скульптуры говорят о мишуре ненужной. А вдали, за оградой, голые каменистые взгорья. Кой-где ослик тащит поклажу, да кипарис в безмолвии чернеет — тоже окаменелое дерево.

С тяжелым, смутным чувством оставляешь это кладбище, прославленное на весь свет! В нем нет элегии флорентинского Сан-Миниато, скромного простодушия и трогательности наших сельских кладбищ. Здесь могучие, и душные объятия смерти.

Хорошо в Генуе жить, плохо — умирать. Хочется стряхнуть с себя это видение, подняться на холмы, увидеть море, вдохнуть простора, вольности. И восходя на пригорья Генуи, когда море синим туманом возникает вдали, переселяясь от Trionfo della Morte к Trionfo della Vita[1], еще раз вздохнешь, и подумаешь: а может быть, купцы чрезмерно понадеялись? И так ли все

---

[1] От триумфа смерти к триумфу жизни *(ит.)*.

благополучно там, за гробом? Вполне ли верили они и сами? Быть может, ужас есть за пышными мавзолеями?

Недоумение остается. Но одно очевидно — соседство жизни и смерти, солнца и трагедии, и соседство это полно значительности. Чувствует ли его Генуя? Она ответа не дает. Полная своих красок, уличного шума, дыхания морей и кораблей, солнца, ласкового ветра, она ведет свою стихийную, чувственно-острую жизнь. Не до религии, не до искусства, не до философии. Живи. Этим все сказано.

Человеку нашего склада вряд ли захочется *поселиться* в Генуе. Но не пройдешь мимо нее, хоть никак она не *святилище*, как иные итальянские города. Яркий, мажорный ее ритм пленяет. Не забудешь кипения ее толпы, пестроты красок, безбрежности моря, рощ мачт, купцов, матросов, женщин, мореплавателей, прачек, башмачников, быстроногих трамов, шикарных магазинов и подумаешь: вот город, где дышится остро, весело, где труд соединен с *цветом*, где богатство откровенно счастливо, где вообще все цветет в избытке жизни. Генуя — город господин моря, но душа у ней морская. Море и солнце дали ей силу, стихию, праздничность в самом труде.

В Генуе, в ресторане, среди дамских шляп, чоканья бокалов и под *стон* скрипок я видел одного француза. Изо всей толпы огнем горел его пурпурный галстух. Ни на ком ранее я, не видал такого галстуха. Он остался в памяти огненным знаком, и вспоминая Генуя, я всегда помню пламень галстуха на неведомом французе, на другой же день, быть может, навсегда уплывшем в Индию или Китай.

Декабрь 1918 г.

ФЛОРЕНЦИЯ

1. МОЛОДОСТЬ

Уже за Сен-Готардом, пока летишь еще Швейцарией, начинается это *играние в груди:* скоро уж, скоро *она.* Вот Беллинцона, средневековые кастеллы — крепости, в лицо дует светлый итальянский ветер; в церквах с узенькими кампаниллами звонят итальянцы однозвучно и нежно; белеют виллы, рыжеют крыши черепичные — в дивном упоении стоите вы перед городом Комо. И все ниже, ниже, в долины Ломбардии! Вечер. Тучно вокруг, дышишь пшеницей и садами плодовыми, а вдали все та же звезда: чудный город Флоренция.

Но надо помучиться еще ночью от Болоньи, в тихеньком

местном поезде; впрочем, стоит он на станциях долго, и так тихо и черно ночью, так звезды весенние играют и соловьи заливаются: флорентинские уж соловьи!

А утром, на раннем рассвете, спускаетесь вы с Аппенин и мчитесь в розовато-дымную долину: там Арно, Пистойя, Флоренция и Данте, и другие. С гор стекает свежесть; облака курятся — и она ждет вас — светлая, розовая, божественная Флоренция, Киприда Ботичелли с гениями ветров и золотыми волосами. Восходящее солнце, надежды, вокзал, сутолка, факино, deposito[1] — и сразу вы в самом сердце ее, и прямо перед вами Санта Мария Новелла. Легкие, светлые улочки вокруг, с веселыми ослами, продавцами, крестьянами тосканскими; рынки с запахами овощей — и Божий воздух, изумительная легкость духа, колокольни, монастыри в цветах — вечное опьянение сердца.

Надо отыскать альберго, стащить туда вещи, выспаться сном пламенным, помолодеть,— и начать жить райской флорентийской жизнью. Эти дни будут особенны — предстоит блаженное процветание в свете, художестве, нерассказываемой прелести. Не позабудешь их.

Только что вышел из альберго, окунулся в светлый воздушный огонь; надо надвигать шляпу глубже, это уж солнце Флоренции; но оно не душит; дышится так же легко и вкусно, как и не в такой жар; напротив, так и глотаешь этот воздух живоносный и радостно-жгучий. У ликвориста Bar svizzero[2], в крошечной комнатке у прилавка можно выпить café late[3], и при этом будут забегать итальянцы, соседи заглянуть на форестьеров; вот парикмахер, он может и выбрить, и что угодно сделать, но его удивляет ваша борода: хорошо бы подстриг, подбрил, все устроил бы по-настоящему. А сам *бар* — полушвейцарец, полуитальянец, рад, что зашли форестьеры; бегает, снует, потеет.

Засиживаться у него нельзя. Уже ждут пылкие улочки Флоренции, и разные ее святые места, и тут же смешной и милый Mercato centrale[4], рынок, где рядом с великой капеллой Медичи те же самые итальянцы, потомки, может быть, медичисов и микель-анджельцы торгуются, ярятся, произносят речи в пользу головных шпилек или фунта вишен — о, за свои чентезимы они постоят! Но на этом рынке, среди улиц и стройности

---

[1] камера хранения, склад *(ит.)*.

[2] Ликворист — продавец ликеров; бар швейцарский *(ит.)*.

[3] кофе с молоком *(ит.)*.

[4] Центральный рынок *(ит.)*.

внутренней все такое не гнусно — напротив, веселое, детское, даже бессмертное есть в этих чинквинта чинкве чентезими, экко, ундичи, отто сольди, синьоре, отто сольди.

И когда из ловкой суетни уходишь прочь, в тишайший монастырь Сан Марко, как непохоже, и как родственно, духовно совместимо. Там, в полуверсте, глотку надрывали из-за полусольди, здесь вечный, благосклонный мир, но это ничего, все это детища единого духа Италии.

В Сан Марко вход по билетам, ценою в лиру; здесь в будни нет брадобреев с Mercato или Nazionale; тут место важное. Как и всегда в монастырях итальянских — квадратный внутренний двор с портиками; серо-зеленая сосна в средине, цветы, розы; на портиках фрески. В этой обители жил святой живописец Беато; он расписывал стены, внутренность келий своими фресками. Вот его художество — светлое, сладостное, как бы пропетое *медогласным* певцом; белокурые Спасители, сладко текущие краски на Распятиях и Благовещениях; пусть не особенно глубоки Христы, слишком завиты, приглажены, как и ангелы на Благовещениях; всюду мирволение и белокурость душевная, даже с розовым маслом кой-где, но и тихий, и благостный мистицизм итальянский. Те же самые купцы и торговки с Mercato проливали и будут проливать еще слезы над этими сладчайшими Богоматерями. *Сладчайший акафист* — это, кажется, Беато Анджелико.

Но Флоренция — не Сиена; в ее регистре много нот; рядом с Беато — Андреа дель Кастаньо. И уж это не то. В отдельной комнате музея «Тайная вечеря». Трудно найти вещь, где бы так резко и злобно говорили о Спасителе, его беседе и учениках; где Иуда так похож на разбойника, все искривленные, крючковатые, с клювами, в огненно-черных волосах. О, какой мрак в этой душе; какой внутренний шип издает вся картина, сколько в ней преступности.

Для Флоренции эти контрасты характерны; вот видели вы ужасного Спасителя, увидите в Уффици страшных жен-мироносиц, но рядом с «Тайной вечерей» Петрарка, Данте, Фарината и Юдифь — великое спокойствие и царственность лиц, одежд, стиля! Это все тот же Кастаньо, но в ином повороте.

И далее — выйдете на улицу, охватит она вас ритмом, стройностью — вас уже убедили, что да, так и надо, в этом божественном горне — Флоренции — сплавляется Кастаньо и Беато Анджелико. Ибо есть в ней нечто от древней, бессмертной гармонии, где все на месте, все нужно, и в мудром сочетании принимает победительный, неуязвимый оттенок. Таково впечатление: *тлен* не может коснуться этого города, ибо ка-

кая-то нетленная объединяющая идея воплотилась в нем и несет жизнь.

Называли Флоренцию Афинами; это понятно, и верно, это сродно самим богам ионическим, эллинской кругообразности, светлости мрамора; только плюс христианство, которым многое *еще* осветлено, еще оласковлено.

Выйдем на площадь Duomo[1]: это центр двухсоттысячного города; улочки узкие, но по ним носятся трамы, рядом ездят на осликах, ходят пешком, заливаются мальчишки, все кипит, журчит, но никогда дух легкости и ритма не покидает. В Париже вам угрожает опасность на каждом шагу, как переходите улицу; здесь улыбаетесь, когда по Proconsolo летит на вас трам; нет, не задавят итальянцы, покричат, похохочут и делу конец; да и тело ваше здесь подвижнее и эластичней, уклонитесь и сами.

По улице Calzaioli[2] в плавном зное попадем на площадь Синьории; каждый раз, подходя, спрашиваешь себя: где ее очарованье? в чем? И всегда сердце светлеет — что-то прекрасно-ясное есть в этой лоджии Орканья, колоссальном крытом балконе на уровне земли, с целым *народом* статуй; тут, на вольном воздухе, собрались детища великих скульпторов, отсюда приоры обращались к народу, это какая-то агора Флоренции, нечто глубоко-художественное в единении с простонародным; будто семейный очаг города. И сейчас у подножия статуй мальчики играют в палочку-постучалочку, сидят разные итальянцы, говорят вечные свои разговоры: о чинкванта чинкве чентезими[3].

Наискось дворец Синьории; и опять дух утренних холмов, прохлады, благородства в этом простом здании, дышащем средневековьем, сложенном из грубо-серых камней; в тонкой башенке наверху, в статуях у входа, геральдическом льве Marzocco, мраморном детище Донателло: лапой он придерживает щит с лилиями Флоренции. И даже огромные фонтаны, дело позднейшего, баррокко, изливают себя с той же царственно-флорентийской простотой и влагой.

Но были грозные времена; и у суровых этих стен, вместе с другими заговорщиками, качался на веревке сам архиепископ Пизы — в митре и облачении. А в двадцати шагах жгли Савонароллу. Не раз бывало во Флоренции: был властелин, завтра растерзан. Но ныне огромная медаль выбита там, и в день годовщины, в середине мая, груды венков и цветов утишают

---

[1] Собор *(ит.)*.

[2] Улица чулочников *(ит.)*.

[3] о пятидесяти пяти чентезимо *(ит.)*, т. е. о деньгах.

боль этого сердца; дивные розы Флоренции и Фьезоле окаймляют его носатый профиль; профиль того, кто при жизни топтал их, но велико погиб и вызвал удивление и восторг веков.

В двух шагах, в галерее Уффици сияет *вечным светом* другой флорентиец, друг, вернее враг Савонароллы, Сандро Ботичелли. Был он по действиям друг, а по природе недруг; ибо был великий и стихийно светлый художник, творил прозрачные тела, нетленную золотую Венеру в раковине создал, Весну и весенние существа, место которых в мире более духовном, нежели нам — был он по природе своей победителем смерти, а по мысли, в которой шел за Савонароллой, он ей поддался. В этом огромная его двойственность; неразрешимая скорбь в глазах там, где ритм фигур, эфир тел говорят о бессмертии.

Вокруг него росли художники поменьше, но характерные: Филиппо Липпи, Гирляндайо, Полайоло. В их вещах есть Флоренция того времени — длинные, плавные женщины с особенным благоуханием душевным, созданные для светлой жизни полутанца, полугимна, с округлостью самого хода линий в них, благозвучием каким-то рисунка. Их жизнь — полуосенняя кантата в прохладном воздухе.

Много чудес в этой галерее, кажется, самой славной в Европе, ибо и сама она опять кусок той же Флоренции, с видом на Арно, духом Медичи в многосолнечных залах с сияющими полотнами. Но устала голова и отказываешься воспринимать: куда тебе, бедному скифу, которого дома ждут хляби и мрак, вынести сразу всю роскошь! Пей хоть глотками. И скиф идет на отдых, в ristorante[1]. Это опять в простонародной части города, но тут премило. Зная десять итальянских слов, можно с азартом уничтожить macaroni и bifstecca con patate[2]. Этот бифштекс они жарят на вертеле, как древние; он отличен, а в стакане золотится vino toscano bianco[3]. И голова туманеет, солнечным опьянением. Вокруг галдят habitués[4], черненький Джиованни шмыгает с блюдами, острит, перешучивается со всеми; толстый доктор в углу рассолодел от кианти и храпит, полулежа; примеряют друг другу шляпы, гогочут, выкликают чинкванта чинкве чентезими — и все они Нои, упившиеся виноградным соком. Здесь, в стране с золотым виноградом, *колонами,* возделывающими те же участки, что столетия назад кормили Данте и этрусков, римлян —

---

[1] ресторан *(ит).*
[2] макароны и бифштекс с картошкой *(ит).*
[3] тосканское белое вино *(ит).*
[4] завсегдатаи *(фр).*

здесь не плохо было бы лечь всем этим итальянцам, в отрогах тех гор голубых, в тени яблонь, обвитых гирляндами — и пусть Беноццо Гоццоли пишет *уборку винограда,* солнце целует и дух бессмертия и вечной красоты царит.

Память о вечерах во Флоренции связана с лучшими часами жизни. В них есть та острая сладость, которая на грани смерти; и когда дух потрясен и расплавлен настолько, он как двугранный меч равно чуток к восторгу и гибели. «Хорошо умереть во Флоренции», ибо больше всех любил ее при жизни. И она несет тебе экстаз и тень могилы.

Солнце передвечерия играет на Санта Мария; это Санта Мария *Новелла,* хотя выстроена она в веке тринадцатом. Все еще жарко, но внутри уж, верно, холод. Разве быть жаре под готическими сводами, среди гигантских коричневых аркад, современных Джотто и Чимабуэ, Мазаччио, Орканьи? Тоненькая кампанилла сторожит эту церковь и звонит однотонным, тихим звуком. Вы спокойны и мирны; да, все это так и было в прозрачном христианстве. Вот капелла Строцци, где Орканья, в огромных фресках, с нежностью и драмой решал судьбы мира и людей. Одни спаслись, у ног Христа и Девы в стройных хорах девушки, юноши, взрослые; обаятельная рыжизна в их прическах, слабое и святое пение праведников. Профили юношей будто девичьи, глаза у всех немного узкие, с косым разрезом; и рука художника тоже полудевичья, это давно было, в четырнадцатом веке.

Прямо напротив огненные круги ада; и там всегдашняя жратва, черти, вилы, курьезные выдумки для мучений. Все это древнее-древнее, все освещается теперь бледным светом из витража разноцветного, но скромным голосом, красками тухнущими, золотом бледнеющим все говорить о том же: «о тайнах вечности и гроба». Ничего, что скрежещут грешники и безнадежен ад — в тех робких душах все было ясно и непоколебимо; все прочно, на своих местах.

И когда вы сойдете в монастырек при церкви, это былое с молитвами, восторгами и смертью тысячью малых лап возьмет вас и прильнет. Вы попираете могилы бедных монахов, отшельников и визионеров тех времен; видите наивные фрески Sepolcreto[1] — учеников Джотто; а внутри дворика разрослась трава, запущенно и буйно, розы расцвели, живопись по стенам портиков синеет, золотеет. Да, здесь у колодца, в вечерние часы, слушая

---

[1] Надгробий *(ит.).*

звон на кампанилле, перебирая четки, можно было мечтать о Деве Марии, рыдать и возноситься в «чертоги ангельские».

Звук Санта Мария прозрачный, и с золотом; ей не идет скорбный вечер в полутучах; но если хочется дышать почти деревней итальянской, надо ехать в Кашинэ, это огромнейший, длиннейший сад на окраине города; тянется вдоль Арно, по его течению. Эта зеленая река бежит внизу, у ваших ног; она уносит свои воды из Флоренции все дальше, дальше в низменности Пизы; с ее водой уходит время и история. Бродил ли Данте тут? Быть может. И как сейчас, были тогда светло-серые вечерние дымки, тополя рядами по реке, Кампанья. Это долина Флоренции; все здесь низменно, разбросаны деревушки и виллы, люди взращивают виноград, пшеницу, яблоки. Опаловое небо отразилось в Арно, густейшие вязы и буки в парке шумят, и если зайти в самый дальний его конец, где от впадения Муньоне в Арно образуется угол, можно сидеть на скамеечке навсегда потерянным, в тихом дыхании полей, что начинаются сейчас же, с синеющими далями, и вечно-милыми горами. Нынче суббота, вечер отдыха; и в те же прифлорентийские поселки, что прежде порождали гениев, бредут из города рабочие, служащие катят на бициклетах, отдохнуть от жаркого труда. Над Арно, там, где Пиза, громоздятся тучи — слабо синеют, и особая истома наполняет все собой. Соберется дождик: беззвучный, медленный, душистый. Колокольни же селений тихо звонят; они приветствуют наступление сумерек; и их angelus[1] над вечными полями так простодушен, и так трогателен.

«Слушай в час сумерек звон кампанилл. Пойми, люби, надейся».

Вот и день прощанья. Снова вечер. И *она* лежит в своей долине — тонкая и дымная. А здесь, на высоте San Miniato, воздвигнуты беломраморные усыпальницы ее детей. Черные кипарисы, мраморы, решетки, гробницы, золотые надписи, часто ангелы крылатые изображены — и все это навсегда спит, но *над* ее бессмертным телом. И цветут каждую весну розы на могилах, умирая сами; и дамы в трауре приезжают сюда, и плачут под этими кипарисами. В светлом вечере звонит колокол San Miniato, а она все лежит там у себя, туманеет вечерней дымкой, и вечно юны и древни эти острые колоколенки.

Да, там жили, думали, творили, пламенели и сгорали тысячи душ; длинными рядами шествуют они со времен Данте. Все

[1] вечерний звон, призывающий итальянцев к молитве «Аве Мария» *(ит).*

навсегда ушли отсюда. Но всегда живы, и как в дивную корону вставили сюда свои алмазы.

Несколько ниже кладбища, на площадке, лицом к Флоренции стоит Давид Микель-Анджело — бронзовая копия. Он юн и взгляд его направлен к *недостижимым горизонтам.* У его ног ходят, любуются, покупают розы у старушек, но ему не до этого. Туда, дальше, на восток, где восходит солнце, метнет он свою пращу. Что понял, что видит он? Не само ли бессмертие ему доступно? — — — — — — — — — — — — — — —
И не бессмертие ли поймано в нем гением, и над бессмертным городом поставлено? Давид видит все холмы и горы вокруг, великую Тоскану с белеющими виллами, видит Св. Марию Цветов, Святую Марию Новую, Святой Крест, Арно, башню Синьории, осьмигранную крышу Баптистерия и дальше — виноградные и кипарисные высоты Фьезоле.

Солнце заходит. Уезжают дамы, за Арно зеленеют, золотеют огоньки. Скоро будет Флоренция засыпать; но наутро пробудится — как раньше вечная и мудрая, легкая, бессмертная и стройная.

1907 г

2. ВИДЕНИЯ

То, что я вижу, то, что помню, может быть, и неважно. Но я люблю это. Мне не хотелось бы оставить непрославленным ни одного мгновения, ни одного луча, ни звука, ни движения.

И вот, я ухожу.

Утро. Золотой свет, тонкой струйкой, сквозь зеленые жалюзи. В комнате полутемно, прохладно; мягкий и зеленоватый отсвет на стенах, трюмо, на каменном полу. На столике букет фиалок. Миловидная Мадонна над постелью.

Мы в Albergo Nuovo Corona d'Italia[1] во Флоренции, на углу via Nazionale и via del Ariento.

Если откинуть жалюзи скромного Albergo, то увидишь via del Ariento. Она в голубовато-золотистом утреннем дыму; уже проворные торговцы привезли свои тележки с овощами; булочные торгуют, продают цветы, толпа снует, все движется, живет, свистит, смеется. Пахнет светом, теплом, пригретыми овощами, острым запахом рынка, Mercato Centrale, сигарой, случайным благовонием далеких гор...— и в глуби тонкой, изящной в простоте своей

[1] Гостиница «Новая корона Италии» *(ит.).*

улицы, с легкими домами, над которыми выступают карнизы — там, в глубине, в голубовато-туманном свете восстает красный купол San Lorenzo, с небольшой колоколенкой.

Вставать, вставать! Нельзя терять светлого утра, дня радости и юности.

Наскоро мы одеваемся, и в небольшом *салоне* синьора Ладзаро, нашего хозяина, пьем кофе из огромных чашек. Молоко белеет в нем, пар идет; пахнет сладковатым, и слегка мещански все в салоне, где встречаются, пьют кофе и беседуют провинциальные торговцы, адвокаты из Ареццо, нотариусы из Эмполи. Сам синьор Ладзаро приветствует нас в нижнем этаже, за своей конторкой, в неизменной каскетке, ласково улыбаясь косым глазом. Солнце сбоку ударило и по нем, и зажгло золотые пуговицы его куртки. Мы старинные знакомые. Много лет назад занес нас случай в Albergo Nuovo[1] и с тех пор, с нашей легкой руки, стада русских оживляют скромные коридоры, с красными половичками, скромного Albergo.

Легкий зной охватывает на улице. Насупротив в окне, прачки стирают, напевая песенку. Башмачник, с очками на носу, склоняется над подметкой, рядом с нашим подъездом.

— Vuole uva?[2] — спрашивает седая женщина за углом, на via del Ariento. Вокруг нее, на лотке, нехитрые обольщения природы.

Мы берем фунтик спелого винограда, и среди медников, чинящих кастрюли, парикмахеров, выбегающих наружу поболтать, с бритвою в руке, пока намыленный клиент скучает за стеклом; среди булочников и фруктовщиков, мимо огромного, железного Mercato Centrale, где торгуют мясом, мимо цветочницы и Sale e tabacchi[3] мы спешим к Сан Лоренцо, к огромному, красночерепичному куполу, вздымающемуся в глубине улицы.

Вход в церковь с небольшой площади, залитой зноем. Мы откидываем тяжелый занавес на необделанном фасаде, входим. Светло, прохладно; два ряда колонн, скамьи, орган играет и чуть голубеет ладан; стараясь не мешать молящимся, проходим мы направо, в закоулок, и каким-то проходом,— сразу мы в капелле Медичи, знаменитом детище Микель-Анджело.

Все здесь сурово, очень просто, почти бедно. Белое и коричневатое, два основных тона. Два героя в нишах, Созерцательный и Творящий, двое юношей, Лоренцо и Джулиано Медичи; вернее — их Идеи; два Образа, возникших как видения

---

[1] Гостиница «Новая» *(ит.)*.

[2] Хотите винограда? *(ит)*.

[3] Соль и табак *(ит)*.

пред Микель-Анджело. Всесветно знаменитые фигуры возлежат у ног их, на изогнутых волютах, украшая саркофаги: Ночь и День, Сумерки и Рассвет.

В капелле очень тихо. Прохладно, беловатый свет. Беспредельно-задумчив Лоренцо, под своим тяжким шлемом; молод, богоподобен Джулиано, легко несет он голову кудрявую, тонкая шея, длинная, как у Давида. Тепла, загадочна, всех обаятельней немая Ночь у его ног; самое туманное творение, самое колдовское, и жуткое; недаром маленькая сова под ногой ее... Но отчего все так бесконечно серьезно в холодноватой капелле? Кто-то безмерно меланхоличный, и безмерно горестный заключил дух свой в мраморы, и вокруг разлил вечное очарованье и волнение. Прямо, все прямо к Вечности, скорбной стезей! Там тишина, и музыка нездешняя... Здесь — восхождение от юдоли бедной. О чем задумался Pensieroso?[1] Что видела во сне Ночь? Они, правда, думают, и видят сны, это *третья жизнь* великого художества. И снова жуткое, благоговейное, холодком пробегает по спине. А из церкви слышен орган. Он покоен, и равен себе, как эта Вечность, он переливает бесконечные свои мелодии, волны одной реки, без конца и начала. Как хорошо, что он играет! Церковь, музыка, тишина, Микель-Анджело... Теперь похолодели корешки волос на голове.

Но когда мы выходим, через ту же тяжелую, кожаную портьеру у паперти, слегка замусоленную, и старушка руку протягивает за даянием — снова пред нами простая Флоренция, опять на малой площади торгуют бусами и гребешками, в отдалении висят шубы с собачьими воротниками, за тринадцать лир — зимне-осеннее одеяние флорентийских извозчиков; да над ларями с книгами букинистов восседает мраморный Джиованни делле Банде Нере. Знаменитый кондотьер бесстрастен; а у его ног, у какой-нибудь толстой, добродушной бабы в очках можно купить Тассо и Ариосто, или сонник, старинные анекдоты, вообще что угодно. Как проста, камениста, почти бедна и ободрана эта маленькая площадь; как суров необделанный фасад Сан Лоренцо, в горизонтальных ложбинах; и сколь много в сухости этой, в отсутствии пышного и ложного — сколько в этом Флоренции, легкой, сухой и ритмической.

Микель-Анджело, и грубо-шероховатая стена Сан Лоренцо, и каменистая пыль на площади, свившаяся легким вихрем, и Джиованни делле Банде Нере, и гомон торговцев, и аристократически-простонародная Флоренция, все это едино. Здесь нету плебса. Есть народ.

---

[1] Погруженный в думы *(ит.)*.

От Сан Лоренцо площадь Duomo, флорентийского Собора, недалеко. Эта площадь, как и площадь Синьории, есть средоточие Флоренции, место фатальное в том смысле, как для Рима фатален Капитолий. Вся Флоренция возросла из краев этих. Тут не случайные постройки, не случайные прелести искусства: это священно-основное, ибо Собор есть щит духовный города средневекового, как Дворец Коммуны, здесь — Pallazzo Vecchio[1] — щит гражданский.

Санта Мария дель Фиоре, Собор Флоренции, строился в четырнадцатом веке; кончен в пятнадцатом. Как все великие соборы, он детище различных архитекторов, эпох различных, детище страстей и столкновений, состязаний, интриг, побед одних и поражений для других; но его облик — могучий, потоскански пестромраморный корабль с куполом красной черепицы с кампаниллой, легкой и летящей — этот облик есть таинственный Лик самой Флоренции; художники, и зодчие, и магистраты, создавая свой Собор, дали ему свое лицо, живое и собирательное, воплощенное и идеальное, сами того не ведая. Этот Собор вполне жив. Он даже говорит, всей внешностью своей — и очень внятно. Город, над которым он вознесся, уже не может быть ни Римом, ни Венецией, и ни Миланом.

Я меньше чувствую это внутри Собора; и его внутренность люблю меньше. Там тоже много флорентийского. Там есть Кастаньо, есть и Донателло, есть бюсты знаменитых флорентинцев, есть Микелино — Данте пред кругами Ада. Все же огромные, холодновато-оголенные аркады, своды, гулкость, тишина — скорей общеготическое, даже францисканское, чем флорентийское. Внутренность Санта Кроче в этом роде.

Но какой тип осьмиугольного Сан Джиованни, древнего Баптистерия Флоренции, на той же площади, насупротив Собора? Что это: храм Марса, древне-христианское создание IV века, или церковь XI? Ученые об этом спорят, но одно бесспорно: как Собор, может быть, даже более, это священный палладиум города, уж во всяком случае первобытный соборный храм, позднее уступивший место Санта Мариа дель Фиоре. И если загадочно его происхождение, то и детали туманны; знаменитые его купели, каменные углубленья, о которых Данте поминает в XIX песне Ада, много задали труда и муки для дантологов.

Как бы там ни было, однако — из Albergo нашего никуда не выйдешь, не пересекши площади Duomo. Редко пройдешь, не задержавшись около Собора; заглянешь и внутрь, в прохладу, гулкость; поглядишь на Бонифация VIII в митре, на огромного,

---

[1] Старый дворец *(ит.)*.

на коне, Гоквуда; на изящный бюст Фичино. Прочитаешь надгробную надпись, ранее незамеченную. А потом пойдешь к Кампанилле — неизменно облегчение какое-то, и разрежение духовное от нее; можно взойти наверх, по крутой, витой лесенке. Это очень высоко; площадь как на плане оттуда виднеется, с белеющею крышей Баптистерия; совсем рядом красная, черепично-чешуйчатая громада купола соборного; а вокруг, далее, над шершаво-остро-коричневой Флоренцией с тонкими кампаниллами — голубоватые вуали воздуха, голубовато-фиолетовые горы, Арно серебряное, светлый туман, да с гор благоухание фиалок. Вольный ветер, музыка и благовоние. Светлый свет Тосканы.

Немало минут и внизу проведено, с книжечкой в руке, у дверей Баптистерия. Собственно, почему у дверей? Всесветно прославлены бронзовые рельефы их, но если сказать правду, этих рельефов так много, и так трудно все их оглядеть. Кажется, не очень много радости от сравнения стиля Пизано с Гиберти в молодости, и с Гиберти зрелым, на Porta del Paradiso[1]. Да и самая эта райская дверь, при всей тонкости и виртуозности имеет нечто холодноватое, как бы зачаток академичности.

Все же за что-то любишь их — и простого, грубоватого еще Пизано, и сухо-худощавого, изящного Гиберти. Подолгу стоишь над медальонами, и тебя обдувает ветер, иной раз легенький вихрь налетит, и повеет пылью. Рядом, в пролетках, на худых, тощих лошадях дремлют красноносные извозчики в цилиндрах, с зонтиками, прикрепленными над козлами. Увидев, что достаточно уж ты насытился Гиберти, и отходишь, красная, заспанная физиономия зашевелится, и молча приподымет указательный свой палец — как подымает его Иоанн Креститель у Леонардо. Это значит, поедем, цена — лира.

— Piazza Michel-Angelo, signore, Santa Croce, Cascine...[2]

В угловом Cafè Bottegone[3], под навесом парусинным средне-зажиточные итальянцы пьют небогатый кофе; зайдет старик благообразный, в канотье, с белыми усами и той осанкой *благородства* и *почтенности,* каких много в добродушных, недалеких итальянских стариках. Быть может, за руку ведет девочку; угостит ее шоколадом, а сам спросит малаги, выпустит яйцо в рюмку, и быстро проглотит: это перед завтраком, apperitivo благородного желудка.

---

[1] Ворота рая *(ит.).*

[2] Площадь Микеланджело, синьоры, Святой Крест, сыроварня *(ит).*

[3] Кафе «Большое» *(ит.).*

Мы же, до обеда, можем пройтись еще по кишащей Calzaioli, главной улице наших Афин. Шум, толкотня, извозчики, велосипедисты, итальянцы в канотье и синих костюмах, витрины магазинов, английские tea-room[1], вестибюли отелей, но и поступь ослика, и фартук каменщика... Мы дойдем до Or San Michele, старой церкви недалеко от площади Синьории, в древнем квартале шерстобитов. Это весьма странная церковь — по виду на храм непохожая; квадратное строение, XIV века, ранее служившее зерновым складом, среди огородов св. Михаила; лишь впоследствии обратилось в церковь, нижним этажом своим; ныне оно украшено снаружи статуями в готических, стрельчатых нишах. Здесь увидим мы Вероккио — Христос и Фома Неверный и Донателло — Св. Георгий, юноша, опирающийся на щит, юный бог и защитник, герой Флоренции. Ясный, стройный, он стоит покойно и легко; в нем юность, даже девственность искусства раннего, полуготического, тонкого, сдержанного флорентинского искусства; Донателло, как наш Пушкин, слова зря не скажет, а что скажет, то влито навеки в мрамор, в бронзу, рукой сухою и верною. В этом Георгии всегда виднеется очарованье утра, ясных далей флорентинских, тонкой красоты ее богоподобных юношей с головой легкою, на длинной шее. Св. Георгий весь — земная прелесть, светлость, обольщение Тосканы. *Остроты* Микель-Анджело в нем нет. Он ограничен. Надлом, трагедия пришли уж позже.

Стендаль презрительно отзывается об иностранцах, знакомящихся со слугами и трактирщиками. Пусть презирает нас Стендаль. В дни нашей молодости не было у нас рекомендаций к банкирам и титулованным особам; вряд ли кого-нибудь из людей солидных можно было принять в нашем Albergo. Да и сами мы не солидны, русские наши друзья — богема, и мы обедаем в скромнейшем ресторанчике Маренго, среди пехотных офицеров, мелких служащих, люда нехитрого и не из важных.

И не стесняясь этого Стендаля, великолепнейшего Гете и иных великолепных людей прошлого, помянем легкой памятью легкого Джиованни, быстроногого, быстроязычного гражданина Флоренции, столько раз подававшего нам bifstecca, frutti, fiasco chianti[2].

Джиованни мал ростом, черноволос, курчав, с небольшими усиками; он очень расторопен, боек, но и страстен; у стойки

[1] чайные *(англ.)*.

[2] бифштекс, фрукты, большая фляга кьянти *(ит.)*.

padron'ы[1], немолодой женщины, нередко он с ожесточением о чем-то спорит, сердится, глаза его блестят; но на возглас «Giovanni!»[2] уж летит его: «Pronto! Subito!»[3] — веселый, звонкий отзыв, и легко подносится он к доктору, офицеру, к нам. В нем нет совсем угодливости; он вежлив и воспитан, как полагается в Италии, и от природы не потерпит лени: весь как на пружинах, легенький, изящный, безустанный.

С нами он дружествен давно. Именно его вначале мы почти не понимали, но потом, с пятого на десятое приучились разбирать речь его — частую, как дробь отчетливую, острую. Одевались мы не очень бережно, здоровались с ним за руку, на *серьезных* иностранцев не были похожи; это нас сближало. На один вопрос мой, за кого он нас считает, Джиованни быстро взглянул, как бы проверяя себя, и сказал твердо:

— Artisti[4].

Как artisti, мы запаздывали в ресторан, заказывали не совсем толково, разговаривали с Джиованни, хохотали, прикармливали сен-бернара, прыгавшего на улицу прямо чрез окно. Вообще, как иностранцы, russi, обладали индульгенцией на маленькие странности, даже причуды (вместо вина спросить молока, не весьма аккуратно бриться, и т. п.). Джиованни видимо нам покровительствовал.

Жил он далеко. Каждое утро подкатывал на своем бициклете, в каскетке или дешевеньком канотье, аккуратно одетый в черный костюм, будто бы чем-то озабоченный; начиналась ресторанная сутолока, он входил в нее, носился, действовал, острил, язвил — все же его дело ему не нравилось; лучшие виды, дальнейшие, сохранял он под большим лбом с курчавыми волосами.

В один из наших приездов мы не нашли Джиованни в ресторанчике Маренго. Старый, прихрамывавший Пьетро объяснил, что он ушел, что теперь сам он — proprietario[5], и содержит ristorante Fenice[6]. И правда, на via de' Pucci, недалеко от нас, мы нашли Джиованни. В тесном, узеньком ресторанчике, с дверью, завешенной плетенкой, носился он, но теперь за прилавком стояла видная итальянка в серьгах, черноволосая, черноглазая, и мальчик лет двенадцати, в берете и переднике, коротеньких штанишках, помогал отцу. Мы встретились очень

[1] хозяйки *(ит.)*.
[2] Джованни *(ит.)*.
[3] Слышу! Сейчас! *(ит.)*
[4] Артисты *(ит.)*.
[5] владелец, хозяин *(ит.)*.
[6] ресторан «Феникс» *(ит.)*.

дружественно. Он благодарил за память, познакомил нас с женой, усадил в лучшем месте, всячески выказывал внимание. Как и в Маренго, все здесь казалось им наполнено; он летал всюду, всюду острил, шутил, на недовольных огрызался, и его pronto! subito! вновь оживляло тесный Fenice. Но иногда забота и тревога явственней выступала в темных, быстрых его глазах.

Мы были верными его клиентами. Мы водили к нему друзей, пропагандировали его и, казалось — Fenice идет отлично. Перед отъездом, поздно вечером, мы пригласили его выпить фиаску кианти, и когда никого уже не осталось, вместе с ним и с женой его ужинали. Пили за процветание Fenice, за то, чтобы он разросся в огромный отель, пили за Флоренцию, Италию, и, разумеется, Россию. Итальянка смущалась, ласково блестела черными глазами. Мы простились сердечно, считая, что через год, два встретимся.

Боги, тогда нам покровительствуя, довели вновь увидеть дивный город. После всегдашних обрядов встречи, мы побежали на via Pucci, к Джиованни. Вывески Fenice не оказалось. Пройдя далее, вновь возвратившись, мы заметили, что на месте Fenice теперь магазинчик. Я спросил у прохожего, где ресторан Fenice. Тот ответил, что такого нет здесь. Я прибавил, что принадлежал он Джиованни R — i.

— Non c'e piu, signore. Proprietario rovinato[1].

Владелец разорился! Я с грустью это выслушал. Не кончив брить кого-то, из парикмахерской, с бритвой и полотенцем выглянул парикмахер. И в подтверждение коротко, твердо добавил:

— Rotto[2].

Было жарко, сухой ветерок пробегал по via Pucci. Над красным куполом S. Maria del Fiore собиралось темное облако, вещая дождь.

Я медленно шел к Маренго, мимо дворца Риккарди, где некогда крошечный старичок в капелле, ныне умерший, показывал мне фрески Беноццо Гоццоли, освещая их электрическою лампочкой на длинной палке, и шамкая приговаривал:

— Tutti ritratti, signore, tutti ritratti![3]

Мимо друга моего, Джиованни делле Банде Нере, сидящего на площади Сан-Лоренцо, на своем мраморном пьедестале, среди букинистов, у которых я покупал Петрарку. Мимо знакомых и всегда волнующих меня булочников, цветочниц, кастаньяр, под окнами, в приоткрытые, зеленые жалюзи которых выглядывают

---

[1] Его больше нет, синьор. Владелец разорился *(ит.)*.

[2] Сломался *(ит.)*.

[3] Все изображения, синьоры, все, все! *(ит.)*.

итальянки, лениво болтающие. Мне было жаль исчезнувшего Джиованни.

В конце концов, мы знали его мало. Может быть, он не совсем таков, каким нам виделся. Но для меня он остался живым, легким образом светлой Флоренции, как бы благосклонным, домашним ее божеством. И не зная о нем ничего, из глубины пространств и лет, хочется послать Джиованни, гражданину Флоренции, привет дружественный. Если же лег он, защищая благословенную родину, то да будет легка ему та, дальняя родина, к которой все мы несемся неудержимо.

Вечерние часы Флоренции! Тишина парка Кашинэ, сребро-золотеющие струи Арно, дали и кипарисы Сан-Миниато в хрустальном воздухе. Глухие закоулки Monte Oliveto[1], среди садов, лужаек, где играют дети, маленьких церквей, нежно звонящих; голубые дали к Пизе, вид на бессмертную Флоренцию в бледно-лиловой дымке; юноша с девушкой, целовавшиеся за углом садовой ограды, едва не застигнутые нами.

И позже: розовато-пепельные облака, тень предвечерняя, фиолетовый сумрак узких флорентийских улиц; мальчишки, тяжелый омнибус, щелканье бича и окрик: и-о-бб! Первый, бледно-жемчужный фонарь на Понте Веккио, облепленном лавчонками; его аркады, лиловато-холодеющая даль реки, рыболовы у Понте алле Грация, средневековые закоулки у Сан-Стефано, где некогда Боккачио читал комментарии на Божественную Комедию. В теплом, нежном воздухе пахнет острыми запахами Флоренции. Люди идут насвистывая, иногда напевая; шарманка играет; мягко шуршит бициклет; наверху окна открываются, темная головка выглянет; а на углу, рядом, древняя гвельфская башня, четырехугольная, с крошечными окошечками. Вкось карнизы домов, далеко выступая над улицей; в щель между ними полоска неба, пепельно-посинелого, с одинокой звездой. Это вечер тихий, бесхитростный. Он дает покой сердцу, скромность и легкость. В этом вечере есть благоволение и любовь.

И скромно сядет путник за столик скромнейшего кафе площади Синьории, выпьет чашечку кофе, слушая разговоры мелкого люда вокруг, пред лицом великого Палаццо Веккио с тонкой, причудливой башенкой — вечным обликом Флоренции. Веттурины[2] проезжают, поет уличный певец, собирая толпу; шумит фонтан, и герцог Козимо сурово восседает на коне.

Звезды смотрят с небес.

---

[1] Оливковой горы *(ит.)*.

[2] Извозчики (*от ит.* vetturino)

И в одном из вечеров таких, в светло-сиреневом сумраке с отблеском заката, пробирается путник с Borgo degli Albizzi, где разглядывал фасад дворца, в Маренго, к Джиованни ужинать.

На площади знакомого нам S. Lorenzo — группа. Стоят в кружок около человека с девочкой. Человек немолод, бедно одет, полуслепой — в огромных, зеленеющих очках. Отирая больные глаза клетчатым платком, он чертит на земле палочкой, с жаром ораторствует.

Осада Флоренции, 1530 года! Расположение войск, описание штурмов, имена полководцев... и все это страстно, голосом хриплым, но бурным, ораторски, очень красиво, толково. Интонации, жесты, с которыми, наверно, еще древние говорили, и что теперь перешли к адвокатам и политикам Италии.

Кто он? Обнищавший ли профессор, опустившийся учитель, друг, поклонник Бахуса? Или просто странник, никому не служащий, живущий скромным гонораром скромных слушателей?

Когда последняя рулада прогремела, он окончательно отер вспотевший лоб, а девочка, с тарелкой, стала обходить толпу. Чентезими и сольди зазвенели. Бросили мы также подаяние свое — с чувством смутно-волнующим. И народ стал расходиться, и как Эдипа повела девочка за руку полуслепого отца в темнеющие переулки Флоренции. Может быть, за стаканом красного вина будет он вновь ораторствовать в траттории для извозчиков, и в распаленном мозгу встанут видения Флоренции далекой, и великой? Будет ли он, с пьяных глаз, цитировать Данте, или сонеты Микель-Анджело?

Так размышляя, мы подходим к своему Маренго. На другой стороне улицы, против его дверей, бледно-матовый шар сияет — вход в театр, Arena Nazionale. Здесь идет оперетка, здесь играет знаменитый Бенини.

Джиованни, после супа, подает нам афишку, и блестя, играя черными своими глазами, на вопрос, стоит ли сходить в театр, отвечает, что даже очень, что театр веселый. Ловко выхватывает он из жилетного кармана часы, взглядывает.

— Dieci minuti, signore, vi resta dieci minuti...[1]

Как прост, бесхитростен театр в Италии, и какую прелесть он имеет! Сколько веселья, таланта, солнца, простодушия в Гольдони, и в актере, в зрителе... То сложное, глубокое, чему столь много служит северный театр, здесь не у места. Здесь

---

[1] Десять минут, синьоры, пути осталось десять минут *(ит.)*.

не к месту и искания театра. Италия страна латинская. Дух древности, традиции, любовь к основам так же здесь сильна, как, может быть, во Франции. Вряд ли французский или итальянский театр близки нам *по духу;* но мимо итальянской легонькой комедии нам не пройти; это прелестно, в жанре пусть не нашем, но очаровательном.

Мы попадаем за несколько минут до представления. Все очень простенькое в этом театре, переделанном, кажется, из цирка. Крошечная ложи, нехитрый занавес, никаких украшений. Вольтова дуга под белым потолком шипя, потрескивая, освещает живую толпу белым своим, синеющим светом. В толпе снуют продавцы мороженого. Предлагают кофе, шоколад. Служители, с огромной стойкой подушечек, сложенных как блины, на разные голоса, с распевом и коротко, возглашают:

— Cuscini[1] — Cusci-i-ni! Cuscini! Cuscini!

Это значит — не угодно ли, за двадцать чентезимов, купить себе подушку, чтобы мягче было сидеть в партере. Нельзя без улыбки смотреть на эту торговлю, хоть и сам купишь просиженную, потертую cuscino, и с нее комфортабельней будешь слушать жиденький оркестр, жидкую музыку «Мамзель Нитуш», созерцать декорации, колеблемые током воздуха, и так написанные, что подумаешь — да правда ль ты в стране Джотто, Леонардо и Рафаэля? Но все техническое, зрительно-декоративное в театре Италии отсутствует. Как ателлана, как комедия масок, весь он основан на актере, некогда надевавшем маску, а теперь просто гримирующемся, но и как тогда — играющем наполовину собственный текст. Вряд ли актер здешний может думать, что должен *выразить автора.* Автор, комедия — это предлог, чтобы *выразить себя.* Древний дух импровизации его не оставил.

И достаточно Бенини появиться на подмостках (именно *подмостках,* а не сцене) — весь театр заливается. Он веселится не напрасно. Ибо, правда, есть глубокий комизм, и тонкое, пенящееся обаянье в самом последнем пустяке, сказанном им, в любом жесте, любой интонации. В сущности, он один все вывозит, и ему на три четверти обязаны мы тем добрым, светлым смехом, что сопутствовал нам часа три. Ныне Бенини нет в живых. Я не знаю, оставили ль его успехи след прочный в Италии. Слава актера мгновенна! — Как закипела, всклубилась, дошла до зрителя, так же и отцвела. Удивительному Бенини, блиставшему в комедиях Гольдони и в жалких фарсах, ничтожных оперетках — дань признательной благодарности из страны Гипербореев.

---

[1] Подушка *(ит.).*

Смеясь, в легкой толпе, возвращаемся мы в свой Albergo. Вся улица полна народу. Опять щелкают бичи, катят веттурины, опять шумят, свистят, кричат, напевают. Это продолжается довольно долго. Уже мы у себя в номере, уже хочется отдохнуть после дня полного, дня *прожитого,* а еще все гремит музыка в кинемо через улицу, все с улицы доносятся крики, прокатывает запоздалый веттурин, и сквозь узенькие щели жалюзи втекает воздух — милый воздух Флоренции.

В полночь становится тихо. Пустынно сейчас на улицах. Где-нибудь в отеле укладывается утомленный мим, вечный облик маски древней — Бенини, а с ним о бок дремлют творения Микель-Анджело, каменеют во тьме соборы и дворцы, и статуи. Великое Флоренции, и то мгновенное, что представляем из себя мы, люди, одинаково безмолвно в одиночестве ночном. Долго ль впивать нам свет, благоухание мира? Это неведомо; но ведь не длительный мы, на земле, той отшумевшей комедии, что шла нынче в театре, и тем жарче, страстней надлежит нам прильнуть к каждой медоносящей минуте бытия.

3. ПОЛЕТ

Нельзя расстаться со Флоренцией, не оглянув, в последний раз, стройного, легкого ее облика с выост Сан Миниато.

Там, за Арно, над башней Сан Никколо, подымается площадка, с балюстрадой. Бронзовый Давид, великолепный снимок, украшает ее; в глубине, под темной зеленью кипарисов, вязов и платанов, выше благородного Casino, где кафе, подымается фасад церкви Сан Миниато, скромный, древний, по-тоскански пестромраморный. На площадке этой всегда есть кто-нибудь. Дети играют у подножия Давида. Продают цветы. На веранде кафе тянут красно-ледяной гренадин через соломинку, пьют кофе. Иногда музыка доносится. Иной раз рваный славянин с Балкан, с медведем на цепи зайдет сюда — проделывает нехитрые забавы, смешившие нас в детстве. Странно видеть его здесь перед Флоренцией, раскинувшейся внизу, пред голубеющими холмами с белыми виллами, с синими, бегущими тенями облаков. Но и медведь вошел, в конце концов, в гармонию. Яркая голубизна воздуха, светлый ветер, веющий с Казентина — опьяняющий дух Тосканы — все это поглотило, приняло бедного комедианта с бедным зверем.

Не за кофе, не за гренадином, не за музыкой бывают люди здесь. Отсюда открывается Флоренция. И часто, вечерами, тянет к Piazzale Michelangelo, вдохнуть прозрачности, спокойствия и прелести.

Как светлая раковина, прорезанная изгибом Арно, лежит Флоренция в долине, окаймленной мягкими горами. Что-то жемчужное есть в вечернем солнце, теплеющем ее отлив, в нежной пестроте, взятой в смягченном, дымно-золотистом тумане. Нечто девичье — в легкой стройности кампанилл, что-то живое, юное, вечно-меняющееся и вечно-нестареющееся, то, что называем мы нетленным. Это волшебное Флоренции всегда пьянит, дух омывает, просветляет.

В вечере, мирно-золотеющем, уходит солнце. Вдали, на светлоозаряемых холмах сияет золотом стекло какой-нибудь из вилл, бело-горящих среди зелени. А уж внизу, над Арно, нежно-сиреневое одевает город — чешую крыш, острые кампаниллы, мягкую глубину улиц. Дымка легка, туманна! Понемногу розовым наполняется воздух, горы порозовели, золото угасло, и тихо, однозвучно звонят Angelus церкви Флоренции. В светло-туманно-огненную даль, на запад, уходит Арно, мимо сада Кашинэ, заволокнутого нежно-лиловым. Позже, когда плотней укутается город в сизо-сиреневое, и лишь Палаццо Веккио, Санта Мариа дель Фиоре да Санта Кроче еще теплятся алым, влево, вдоль бледнеющего Арно золотые огоньки означатся, тонкою цепью. Справа же, с гор Пратоманьо, поползет лиловый, клочковатый сумрак, и верхи гор заклубятся. Значит, вечер настал. Город уходит во мглу сиреневую, тает в ней, и все больше, больше золотых, дрожащих огоньков является над ним.

Купим последнюю розу у старушки на площадке, спустимся лесенкой, рубленной в почве каменистой — вниз, где течет Арно, где трамвай бежит по набережной с Bagni Ripoli[1], весь переполненный рабочим людом, operai'ей[2]. А о Флоренции можно теперь мечтать, любить ее, и вечно вспоминать.

Тебе, Флоренция! Тебе, таинственная родина души, с первого взгляда узнанная, с первого дыхания полюбленная; тебе, молодость озарившая; тебе, счастьеподательница; тебе, о ком мечта оживляет сердце — тебе привет, тебе любовь.

Великие соборы и дворцы; стройные кампаниллы, легко взбегающие, нежно звонящие. Бессмертные поэты, Орлы Трех Царств и паладины Любви. Творцы Образов, прославивших стены, вас приемлющие. Безупречные ваятели, создавшие расу выше человеческой. Площади, улицы и переулки, дома и черепицы, мосты, сады и набережные, голуби на площади Синьории и веттурины перед Баптистерием; скромные альберго и неведомые Джиованни. Бедный осел, везущий камень, собачка,

---

[1] Купальни Риполи *(ит.)*.

[2] рабочие *(ит.)*.

задремавшая средь статуй Лоджии, жалкий комедиант и голодный медведь на Piazzale. Ветры, солнца, благоухания, пыль, дождь, весна и лето, зима и осень, дни и ночи Флоренции, розы ее садов и жалкий сор мостовых —

все вы, великие и малые,
вечные и мгновенные,
древние, вчерашние, нынешние
и
завтрашние:

примите поклонение странника краев дальних. О ты, Флоренция — дева, звезда, мечта, фантасмагория.

СИЕНА

Кто хоть немного знает художника Сано ди Пьетро, видел в Шантильи его св. Франциска и трех небесных дев, слетевших к нему в серовато-зеленеющем ландшафте, среди холмов и непоражающих деревьев, тот не будет ждать от Сиены водопадов, или бурь. Там этого нет. Ни в искусстве, ни в природе. Это тотчас становится ясным, как только отъехал от Флоренции и со станции Эмполи свернул на сиенский проселок. Сразу чувствуешь, что главная дорога культуры, как и Аппенин, осталась в стороне. Магистраль пошла на Рим. Мы же углубляемся в края первобытные, и благословенные, детские.

Это странное, по-своему обаятельное, обнимает очень скоро; это идиллия. Сколько тут фруктов, как ясно-благосклонен воздух, весь он полон этих полей и пшениц простодушных; здесь есть дали, нету гор, спокойные речки текут зеленоватою водой, обсаженные тополями.

Какие могучие хлеба! Долина Эльзы плодородна; в ней работают крестьяне, люди нехитрые и славные; изсера-бледное небо висит, и нередки дожди. Вот Чертальдо, где родился Боккачио, Поджибонзи, откуда двенадцать верст на лошадях до Сан-Джиминьяно. Что можно дать, чтобы проехаться на лошадях в Италии! Но краплет дождь, и останавливаться в Поджибонзи неудобно. А в Джиминьяно есть Беноццо Гоццоли, и какие башни там!

В этой же стране, мирной и злачной, изготовляют кианти. Тут его родина настоящая. Так и станция называется — Castellina in Chiani.

Вокруг живут виноградари сада Божьего; в простоте, изяществе, как люди Библии, разводят они плоды, обрабатывают поля, осенью выжимают вино. Есть что-то вызывающее улыбку в этой жизни; далеко — даже как бы ушедшее навсегда своей

особенностью, отрезанностью от культуры *нашей.* Но нехорошо будет тому, кто осудит и недобро посмеется над этими людьми: труд, честность и большое благородство есть в их жизни. Пошлости же нет совсем.

К самой Сиене подъезжаешь как-то незаметно; она все время выше поезда, громоздится толстыми стенами, башнями; по темно-коричневому тону камня вспоминаешь terre de Sienne[1], детство, акварельные рисунки.

Но уже вокзал — надо идти; туристы настоящие, начиненные фунтами стерлингов, катят в отельных рыдванах и вид имеют серьезный: это англичане. Но ты, русский, безденежный, ты, друг Италии, друг прелести великой, пройдешься и пешком с чемоданчиком по закоулкам этого города — благо, закоулки такие, что не жаль времени. Из подвалов глядят сапожники с очками на носу; мальчишки разевают рты на нас, мы чувствуем себя странно, смешно немного и трогательно в этих каменно-серых щелях средневековых, с подъемами чуть не отвесными, где на лошади не проедешь, и расставив руки, достанешь до домов противоположных. Вдруг вид, пестрые кампаниллы; потом опять все заслоняется, лишь серое небо над нами; в него уходит город. Начался дождь; очень тихий, как бы вежливый; ему и промочить-то нас не хочется.

К счастию, перед нами albergo; albergo есть скромный дон-кихотский «постоялый двор», но все-таки чисто, имеется ресторанчик, за три лиры огромнейший номер, преданность, любезность и прочее. Гигантские постели, холодный пол, запах Италии, итальянские жалюзи в окнах и итальянские шпингалеты; за окном маленькая площадь, в углу коей дом Катерины Сиенской.

Как почти всегда в чуждом и далеком месте, в первые минуты мысль: что если останешься навсегда здесь? На мгновенье страшное и сладкое охватывает: сделаться гражданином этого города коричневого, забыть родину, семью, жить среди ремесленников, булочников, монахов, в кафе. Трудно поверить, что они здесь живут *всегда,* никуда не уедут, многие всю жизнь не выезжали и умрут в этой Сиене.

Минутный *хлад* в душе.

Чтобы попасть в Академию, надо сойти по узкому проулку вниз, шагая со ступени на ступень. Старый сторож отворил

[1] Земля Сиены *(ит.).*

дверь, вы сложите зонтик (идет теплый дождь) — пред вами картинная галерея.

Старина тут огромнейшая — есть распятия XII века. Было время, Сиена считалась не слабее Флоренции по художеству и чуть ли не древнее; во всяком случае, прародитель школы Сиенской, Дуччио Буонинсенья, равен по времени Чимабуэ. Вообще в четырнадцатом веке, вероятно, нельзя было сказать, что выше. Братья Лоренцетти, Таддео ди Бартоло, Симоне Мартини (Мемми) приблизительно равны, а частично и интересней флорентийских «джоттесков» — Гадди, Капанна и др. (но не самого Джотто). Некоторый душевный тон, живший в Сиене,— дух скромности и благочестия, бледно-золотых риз и сияний, Франциска Ассизского, идеализма тихого, бесплотного — хорошо выразился в тех формах. Как и для Флоренции, дни Данте и Джотто навсегда останутся белоснежной юностью, неповторимой и чудесной; просыпающийся народ брал душами избранников самые первые, самые утренние свои ноты. Поэты писали об Amore, как Данте, описывали сновидения, где Любовь говорила вещие слова: gentilissima[1] (Беатриче из «Vita nuova») ходила по улицам Флоренции, а молодой Данте чуть не падал в обморок, видя ее, прятался и у себя в комнатке, в слезах, писал сонеты, направляя их к *другой* (чтобы не выдать тайны!).

Трудно знать, что понимали и чувствовали тогда *эти люди;* но для нас те времена и те поэты — Гвиничелли, Кавальканти, Чино да Пистойя, Данте да Майано, в живописи «джоттески» овеяны дальним очарованием, тем, что читается с Джоттовского портрета Данте, с лиц праведников в Santa Maria Novella (фреска Орканьи), в девах Испанской капеллы и др.

Все это было близко сиенцам. В «Благовещении» Амброджио Лоренцетти те же белые лилии, золото и икона. Созерцания и тишины было достаточно; при известных условиях искусства это удовлетворяло.

Но времена изменились — наступил пятнадцатый век. Флорентийцы, оставаясь верными духу света, плавности внутренней, проявляли это уже в усложненных формах реалистических,— у Ботичелли тот же родной дух звучит очень *махрово;* целыми потоками,— не однотонной мелодией прежних лет. *Сюда* сиенцы уже не пошли. Есть что-то трогающее, быть может, прекрасное в этом консерватизме одиноком; все занимаются рисунком, анатомией, штудированием — мы запираем ворота нашей Сиены и остаемся в надменном нашем гнезде со стариной,— и не уступим ни за что. Долой реализм. Оскорбительно для святых

[1] благороднейшая *(ит.).*

и Богоматери выступать в костюмах флорентийской знати. У вас Кастаньо — у нас Сано ди Пиетро; у вас Синьорелли, Беато Анджелико — у нас Сано ди Пиетро; у вас Микель-Анджело — у нас Сано ди Пиетро! Пиетро! Пиетро!

Тут уже начинается упрямство; ибо Сано ди Пиетро человек второстепенный, воспитанный тоже на прошлом веке — но сильнее его сиенцы никого не могут выставить. И в этом их приговор: симпатичной *второстепенной* школы. Лирической и *негениальной*.

Весь день принимался и переставал дождь. Радостно было бродить в теплом воздухе, по узким улицам. Столько камня, и вдруг зелень — она прекрасна в таком месте.

Кривыми закоулками, постоянно взбираясь выше, мы достигли собора на пустыннейшей площади. Это верхний пункт, «гнездо» Сиены. По сторонам безлюдные коричневатые здания, сам собор пестрый — черный с белым мрамором. Нельзя сказать, чтобы очень он нравился, но в нем есть странное; в тринадцатом (кажется) веке решили сиенцы построить собор, колоссальный, для которого сохранившийся составлял бы одно крыло. Начали строить — не смогли. Но и до сих пор остались эти громады — арки, колонны, нелепо внедряющиеся в улицы (вернее — облепленные домиками, что ютятся тут со временем неудачи). Мы бродили по этому странному лабиринту с удивлением; как будто в опустелом гигантском улье начались новые постройки; бедные, вызывающие жалость.

Никого! Стучат каблуки по вековому камню, дождь бежит; туманы и туманы.

Я мог бы говорить о чудесных работах на полу собора — мозаики графитом, изображающие сцены Ветхого Завета, Сивилл и проч. О Пинтуриккио и его «Жизни Энея Сильвия»; о древней ратуше с сиенской волчицей и прекрасными фресками Лоренцетти, Сано ди Пиетро и др. Но все же больше остался в памяти самый город, благоуханный апрельский дождь, чувство дальнего бродяги, занесенного Бог весть куда.

Часа в четыре-пять, когда надвигался уже вечер, мы вышли за ратушу к откосу; далеко за городом видны были мирные зеленые долины; слабо ходил туман и прятал какую-то гору. Итальянские мальчики играли в мяч. Вот он целится, стреляет во врага, тоненький, ловкий, мчится через лужайку, через секунду пройдется колесом, сейчас попросит у вас сольдо, потом высунет язык — в этих невинных играх детей есть многое; не в них

ли, не в вольных ли их забавах под тихим небом — сердце этого города?

Зажелтели фонари; все окунулось во влагу. Мы опять бредем,— дальше, к каким-то казармам на окраине. Аллея, цветут белые акации, благоухая необычайно. Дождь перестал. Долины дымятся глубокой зеленью, с деревьев капли падают. Какие-то обрывы, откосы, и тишина, тишина! Сумеречный час; он полон глубины; спускает он вуали, погружает город в свою мглу. Под его десницей тихо дремлют соборы с острыми кампаниллами, давно почившие души древних; изо дня в день он одевает скромный угол забвением; века уходят, жизнь выкраивается поиному. Она ушла на бесконечность от его творцов. Работая, творя, живя, они как будто проиграли свою игру; в гибеллинстве — целиком, в соборе частью, в искусстве также. Не оставили великого. Воевали против природы, духа жизни; а теперь — кто знает их? Захолустный проселок соединил город с миром,— на духовном проселке и его искусство. Но тем острее, тоньше — больней входит в душу полузабытое. Проиграли — но были чисты перед Богом; невелики — но художники. И навсегда слабое сияние исходит из фресок полуугасших.

1908 г.

ФЬЕЗОЛЕ

Пятый час дня. Площадь собора во Флоренции, солнце, голуби у Джоттовой кампаниллы; через несколько минут наш трам уйдет. Кампанилла бежит вверх плавно, тает как звук; если взобраться туда, будет видна вся Флоренция; с гор потекут благовонные токи, запах садов, фиалок, свежести обольстительной.

Трам бежит по довольно пустой улице; синие тени от домов, в окнах жалюзи, густейшая зелень выглядывает из-за стен. Но это еще город; через четверть же часа мы тихо, гудя, поползем в гору, и как тогда развернется горизонт — виллы, сады, дали!

Против нас старая пара, англичанин с женой. Это люди чинные, здоровые, даже розовые; от них пахнет свежестью платья, мылами тонкими и прочно прожитой жизнью; верно, они снимают виллу удобную, и остаток дней продремливают в розах, среди кипарисов и чудесных синих далей.

— San Domenico!

Англичане протирают глаза. Мы тоже слезаем. Пока шел сюда трам, кружа и делая зигзаги, все шире расстилалась внизу бессмертная долина; теперь она лежит далеко. Флоренция ко-

ричневеет черепицей, и над домами выкругляется купол Собора. Бледно-фиолетовым, голубоватым все одето. Только виллы, да селенья по холмам остро белеют.

Мы решаем идти пешком к самому Фьезоле. Скоро становится круто; хочется ветра, но ветра нет; с обеих сторон за каменными стенами сады; оттуда висят розы, кипарисы темнеют, олеандры; вот маслина; она похожа на нашу иву, узловатая, сухо блестит листьями.

На полпути, откуда Тоскана видна уже широко, лепится церковь S. Ansano. В книге о монастырях, церквах Флоренции, о ней отзыв похвальный; будто два Ботичелли есть, впрочем, из числа сомнительных. Церковь же, действительно, мила; возраст ее — одиннадцатый век; маленькая, скромная, скорее большая часовня. Находим и нечто в роде Ботичелли: две аллегорические картины. Легкие девушки, типа «Весны», влекут колесницу, управляемую Целомудрием.

Прислужница, конечно, указывает на стенах и Джотто, и Беато Анджелико; но таков уж удел этих художников: находиться чуть не в каждой итальянской церкви.

Как бы то ни было, благодарим «кустоду» и подкрепленные художеством, прохладой, продолжаем путь. Теперь уж недалеко. Минуем бывшую виллу Виктории (раньше принадлежавшую Медичи), много разных других вилл и садов,— наконец, добираемся до городка. Это место еще времен римских, Faesulae[1]. Здесь была крепость, отсюда и выселились основатели Флоренции. Сейчас тут осталась развалина амфитеатра; это, кажется, и все от античного; средневековое представлено собором XI века; собор — огромный, мрачный, темный ящик; очень длинный и узкий, с двумя рядами колонн, образующих главный неф. Холодно в нем. Наверху черные поперечные балки, нищие бормочут у паперти, и так сумрачно, как ни в одном соборе, кажется. В глубине есть монумент, работы Мино да Фьезоле. Мино — один из тех скульпторов (Дезидерио да Сеттиньяно, Козимо Росселли), которые образуют группу в искусстве XV века. Их можно определить интимизмом, мягкостью, некоей женственностью. Изящно, *мило,* но не *велико.* Мино, как и все они, делал надгробные памятники; он — один из талантливейших — делал с особенной трогательностью; такова и Дева Мария во Фьезоле; мрамор становится кротким, из него создается Богородица — девушка, бесхитростная, светлая; она ласкова, в ней есть голубиное — и не очень глубокое. Может быть, глядя на нее, вспомнишь кельнскую «Богородицу с бобом».

---

[1] Фьезуле *(лат.).*

Пересекая площадь, подходим к ресторанчику; уже приехали англичане на автомобиле; мисс шестнадцатилетняя, в коричневой вуали и тупоносых ботинках щелкает кодаком. И мы сидим все на террасе, пьем гренадин со льдом из соломинок, а потом еще какую-нибудь gazzoz'у[1]. Жажда страшная. Но под тентом солнце не жжет; внизу, в цветнике, розы; опять перед глазами равнина великая — Тоскана, с городом своим Флоренцией. Город кажется отсюда туманной черепахой, с пятнами зелени и иглами кампанилл; справа выбегает сад Cascine, за ним Арно сверкает в солнце, змеевидно; оно режет глаз своим зеркалом. На подъем к нам взбирается поезд; ему трудно; он задыхается от дыма, жара, как бедное животное — потом, в белых клубах, уползает внутрь нашей горы, в туннель.

Предлагают идти пешком в Сеттиньяно. «Теперь будет под гору, жар спадает, прогулка отличная; а оттуда в город трамом».

Идем. Сначала по трамвайной линии, среди тех же панорам: зелень, виллы, дальние горизонты, голубые океаны; от ширины веселеет дух, взыгрывает светлой радостью; что-то божеское в этом ослепительном расстилании мира у ног; точно дано видеть его весь, и кажется, что стоишь на высотах не только физических. Так пьянеют, вероятно, птицы, летя с гор.

Солнце ближе к закату; розовые потоки прошли по этим пространствам; кампаниллы внизу зазвонили; из города по деревням возвращаются тропинками рабочие. Мы в это время в тени парка; вот вилла загородила вид вниз, но открылся зато сбоку, в другую сторону; туда лег уже вечер; леса потемнели в долине, только на верхушке блестит в солнце старый замок.

Здесь уже итальянская деревня. Гонят ослов, едут крестьяне в таратайках, в синих куртках; сбоку каменный парапет; он защищает яблоневый сад, засеянный пшеницей. Мы садимся на эту ограду, спустив вниз ноги; оттуда тянет влагой,— густым, славным запахом поля. Бьют кузнечики. Небеса фиолетовеют на севере, за замком; пожалуй, нельзя засиживаться. И вот, спустившись к ручью, опять поднявшись куда-то, мы в маленькой деревушке Сеттиньяно. Отсюда родом был скульптор Дезидерио, кваттрочентист. Потомки воздвигли ему памятник; мраморный Дезидерио стоит на площади, лицом к Флоренции; это юноша в художническом берете, видом как бы с фрески Гирляндайо. Но сделан плохо — вряд ли Дезидерио под этим подписался бы.

От его подножья за Флоренцией виден закат. Как пышно! Нынче ярко-багровое и кровавое залило все небо, две тучи

[1] газированную воду *(ит.)*.

замерли, с золотыми ободками; эти темно-фиолетовые. «Вечный город» скоро потемнеет; но сейчас еще виден, в красном дыму, всегда ясный, всегда тонкий и твердый, вспаиватель творцов безупречных.

Мне помнится в тот вечер ожидание трама — внизу, снова у ручья, сидя на перилах мостика. Тут же траттория, обедают рабочие. Лавочники на порогах; мальчишки скачут, в ручье занимаются девчонки. Вдруг событие. Юноша разыскал дохлую крысу. Итальянцам все занятно. Пожилые подходят, расспрашивают — крики, веселый ужас — это он за хвост размахивает крысой; синьорины в платочках врассыпную, мальчишки в восторге.

Слава Богу, гудит трам; и в летней ночи несет нас, пустой, в город. Сидя у окошка, нельзя надышаться садами; кой-где сено в них скошено; в бледной мгле вдруг взовьется фейерверк — невысоко над землей; роек летучих светляков. Взвившись, растекаются они сияющими точками. Какой запах, сено! Ночь, зелень, Италия.

1908 г.

ПИЗА

Жаль Флоренцию! Солнечное утро, дорогие кампаниллы и Duomo — все это сзади. Поезд резво выносится в равнину, к Арно, и чудесный город начинает заволакиваться: сначала розовый туман оденет, а там — «засинеет даль воспоминанья». В углу, в третьем классе плачет итальянка; молодая девушка с черносливными глазами, как всегда в Италии; но теперь они закраснели, в слезах, и все она машет платочком туда, где ее провожала другая, верно сестра, и где оставила она свою «bella citta di Firenze»[1]. А поезд мчится себе. Его путь на запад, итальянке, может быть, в Ливорно, а то и в Америку на долгие годы разлуки со своей Firenze; нам же — в Пизу.

Что такое Пиза? Воображение заранее настроено против нее. Наклонная башня, Галилей... что-то гимназическое есть в этом. Будто официальное восьмое чудо света. И когда поезд в облаке и с бешенством, перестукивая все стрелки и бросая с боку на бок, влетает в Пизу, вы готовы согласиться: место ровное,

[1] прекрасный город Фиренцы, Флоренция *(ит.)*.

башни не видать, от пыли чихаешь... Хороша была Флоренция!

Странный город, на самом деле; сдали вещи в багаж, желаете напиться кофе на вокзале. Кажется, простая вещь. Но пизанские лакеи длинны, тощи, стары и надменны; подавая кофе, имеют как бы оскорбленный и брезгливый вид: какое-то там cafe late! Видимо, это потомки тех гибеллинов, которым принадлежала некогда Пиза, которые отличались высокомерием и худосочием, носили длинные прямые мечи, умели только драться и всегда бывали биты.

Итак, первое впечатление враждебно. Что-то будет дальше.

И вот дальше оказывается, что все не так: только вы отъехали от вокзала и под солнцем июньским тронулись по пизанским улицам, сразу начинается волнение; это волнение безошибочное, художническое «возмущение духа».

В городе тишина и все чрезвычайно спокойны, но у него есть своя душа, и эту душу вы слышите, она одолевает вас. Первое, что бросается,— как бы осенняя ясность, звонкость, просторность города; идут улицы очень белые, по южному известковые; из-за стен часто сады — густейшая зелень; местами в пустынном особняке внутри атриум с бассейном, пиниями, эвкалиптами. На домах зелеными решеточками жалюзи; и сверху ярко-голубое небо, белизна и синее, темно-зеленое; но тоже верно суровые какие-нибудь гибеллины сидят вглуби, в своих садах; по улицам же просторно и как-то все гудит, звучит таким особенным звуком, только этому городу данным. Что в нем? Жизнь старая, победы, печали, разочарованья? Словами не скажешь; нужно послушать и может быть сразу тогда поймешь его судьбу: многовековую, причудливую; славу, падение, рок, стоявший над ним всегда, и теперешнее скорбное благородство.

Да, конечно, здесь гнездится дух драмы; драма и одиночество — устои этого места. Ясное дело, не все гибеллины похожи на лакеев с вокзала; гибеллин был Данте и Фарината дельи Уберти, и граф Уголино, загрызший с голода своих детей в этой башне torre del famo[1]. Мрачные, и местами величественные мысли таились в этих головах; гибеллины, партия всемирной монархии, Фарината, эпикуреец и безбожник, не разрушивший Флоренции только, кажется, из-за красоты ее; и сам все же живший тяжелой и несчастной жизнью. А войны, неудачи Пизы! Ее уничтожали на море, измаривали голодом, осаждали, быстро стерли с лица земли (политической) и только сохранили как

---

[1] голодная башня *(ит)*.

памятник художества и жизни душ того времени — времени сурового. О, — гордость, предательство, беда и даже унижение, и в то же время величие какое-то природное нигде не чувствуется так, как здесь.

Все странное, удивительное в Пизе собралось на кафедральной площади. В самом дальнем конце города светлая, многовоздушная площадь; вся поросла зеленой лужайкой; рядом городские стены, зубцы, и дальше огороды и поля, а на лужайке «жемчужины архитектуры»: собор, баптистерий, башня. Только что вы подошли к башне, неудовольствие по поводу нее проходит: нет, это славная мраморная башня, в «кружеве колонн», и когда вы взбираетесь по ней, каждый этаж дает новый — и дальше и шире — вид. Вид на Пизу сквозь эти пламенно-белые колонны прекрасен. Внизу все уменьшающаяся площадь, но рядом растет Собор, и отсюда можно ближе и родственнее рассмотреть его верх. Вы как будто сродни ему здесь, на этой высоте. Белый, белый мрамор, ажуры, статуйки на углах, грифы, химеры, апостолы — двенадцатый век! И все стоит в той же красе, «беломраморности» своей. А баптистерий: круглый, с гениально бегущим вверх и тающим куполом, певучими линиями и со всеми этими резьбами и фигурами — мало есть такого цельного и единого; баптистерий входит в мозг как дивная реализация одной идеи.

И древние нищие бродят по этой площади; сидят у собора на паперти перед дверью Иоанна Боннануса, давнишнейшего мастера XII века; на двери гиератические барельефы из Св. Писания, а калеки и убогие поют своими слепыми голосами и это так идет к старой, старой Пизе. Ведь она чего не видела! Вот вы сидите на башне, и читаете про самую башню; всегда вам думалось, что это для потехи выстроили «наклонную башню в Пизе». А здесь драма, опять. Столетия строили, и грунт оседал и оседал; о, мы видим тебя, далекий художник, несчастный друг тринадцатого века, в плаще и высокой узенькой шляпе, как тогда носили; и твое отчаянье, и мука, и бессонные ночи и одна мысль: как спасти? как спасти? В человеческих ли силах вывести ее кверху, ее, над которой бились лучшие архитекторы? Может, сам Бог против того, чтобы глядела она в небо,— и топить одну ее сторону в своих зыбях.

Да, ты разбивал свой мозг в усилиях, ты один шел против всего — и одолел. Великая Пиза, царственная и несчастная, вывела-таки свою кампаниллу на изумление всего света. Размеры колонн с одного бока увеличивали, с другого уменьшали; башня выгнулась, но стоит. Но как во всем великом каждый камешек кипит тут страданием.

Теперь широкий ветер ходит здесь пустынно и прохладно;

на все четыре стороны видны равнины и луга Пизы, с милым (по Флоренции) Арно, изливающимся луками в море. Некогда тяжкие корабли доходили по нем до города, а теперь там только, в туманном горизонте, чувствуешь влагу моря; там плавали эти пизанцы на своих судах, воевали у Палермо, и там же гибли под Мелорией. Но все это было, и было. Сейчас же пробегают по равнине поезда из Пизы, и те, кому путь на Болонью, Лукку, подбираясь к горной цепи, пропадают там. А над горами облака, бродят тени от них пестрыми узорами и дальше, там где-то, вглуби, белеют каменоломни Каррары.

В искусстве Пиза дала главнейше скульптуру; живописи не было своей. Но скульпторы — Николо Пизано, Джиованни Пизано — восстают каменными титанами. Особенно Николо-отец. Безмерно-древнее, библейское и страшное есть в его вещах; будто видна душа камня, и того именно, седого, из которого можно сделать жертвоприношение Исаака; да и сам Николо мог бы принести в жертву не хуже Авраама. Ветхий завет, гиератичность как у Боннануса; Дева Мария не из его сюжетов. Дева Мария выходит остроугольная, сухо величественная Пизанская Волчица какая-то.

Изумительна статуя Тино да Камайяно: Пиза. Прямая женщина, каменно выдвинувшая вперед голову под короной, на руках ее малые младенцы сосут грудь; у ног орел и четыре закаменелых фигуры. Для чего рождена такая? Чтоб раздавить стоящих внизу? Или чтоб молоком своим вскормить неумолимых детенышей, каких-нибудь Герардеска, или Ланфранки? А о чем ржут дикие лошади со сплошными гривами на «Поклонении Волхвов»? А низкие мужчины, коренастые, с курчавыми бородами, страшным грузом всего тела? Все это беспощадно, жутко.

Кампо-Санто Пизы вещь бесконечно знаменитая; это кладбище в виде огромного низкого здания, четырехугольных портиков; по стенам фрески и статуи, плиты пола — крышки гробов. В средине, где разбит сад, опять мрамор, розы, травы. Это меланхоличнейшее место. Верно, хорошо здесь вечером, когда уйдут все «кустоды», запрут этот могильный музей и одно небо, звезды да луна глядят в лица усопшим. Лунные вечера в Пизе, осенью, думаю, изумительны. Где найдешь такую пустоту и печаль такую?

Фрески на стенах (исключая Беноццо Гоццоли, который верен себе) — посвящены по преимуществу Смерти: Страшный суд, ад, Trionfo della morte[1]. Над беззаботными девушками, юношами

[1] Триумф смерти *(ит.)*.

с соколами и скрипкой, что собрались, как в Декамероне, для «забав и утех», в саду, злым ураганом веет *она,* та, что всех ближе была всегда этой Пизе. Традиционная коса, бурные полеты с неба на землю — и вот сейчас навеки развеют этих рыжеволосых красавиц с феорбами[1] в руках, нежнейших, может быть, влюбленных.

На одной из стен Кампо-Санто висят ржавые цепи; их история трогательна и характерна для Пизы. Ими запирали Пизанскую гавань; в 1290 году генуэзцы, окончательно разгромив флот Пизы, разрушили и ее гавань; цепи эти увезли трофеем. В те времена города были злобными врагами; но прошли года, и в девятнадцатом веке, когда Италия боролась за свободу, первый проблеск ее увидела Генуя. В память этих великих дней она вернула Пизе ее цепи: «чтобы отныне,— написано под ними,— братский союз, рожденный в борьбе за свободную Италию, был нерушим». Так Пиза, старый враг, униженный и затоптанный, был снова принят в братскую семью.

Уже день клонит к вечеру, нужно уходить; на лужайке соборной площади ослепительно светло. Белыми призраками вознеслись баптистерий, Собор; и хрустально слепит солнце, идешь мимо архиепископского палаццо совсем глухими переулками. Жар, прозрачность; в тени, на углах кое-где слепцы; они сидят на корточках у стен, позванивают чашками для подаяний; и сколько б им ни надавали, всегда они показывают, что пуста чашка.

Со смутным чувством покидаешь Пизу; кого-то полюбил здесь, что-то навсегда в ней поразило — никогда этого не забудешь. Точно заглянул в озера некие — глубокие и скорбные, на дне которых нечто нерассказываемое.

Поезд уносит к морю. Солнце садится, прощально сияют белые громады издали — и вот уже снова в лугах. Ровное, ровное место. Это преддверие морей; здесь тучнейшая земля, и трава растет колоссальная. Странно видеть: в Италии — покос. И такие же копны, стоги, как у нас. Только оттуда, где солнце садится, тянет не нашей влагой, всегда несколько жуткой и тайной влагой моря. Луга за лугами, пахнет пьяно, вдали лес завиднелся, если бы не глядеть в сторону Пизы — можно б подумать, что в Рязанской губернии все это, по Оке.

А над Пизой тонким рогом месяц поник и бледнеет в ответ мрамору соборов, башен.

1907 г.

---

[2] Возможно, от *ит.* fiore — цветок.

МАЙ В ВИАРЕДЖИО

Италия, волшебный край,
Страна высоких вдохновений!
Пушкин

К концу мая во Флоренции стало жарко. Пригревало зноем легким, горячим; знающие утверждали, что скоро наступит непроходимая духота; надо подыматься к морю.

В одно благословенное утро мы тронулись. И вот уже в светлой дымке прощально заголубел очерк бессмертного города: купол Собора, колокольня Санта Мария Новелла, башня палаццо Веккио. Мы мчались вдоль Арно. Мимо прибрежных тополей, сопровождавших бег наш, пролетая у подножия средневековых городков — чтобы в дне солнечном, блистательном, вылететь за Эмполи, в равнину, простирающуюся к Пизе. По горам пизанским, на северо-западе, ходили пестрые пятна света, темноголубой тени; иногда белел замок, иногда облако касалось вершины. Маленькие селенья, поля, виноградники, яблони, горизонт замкнутый горами — все ясное, пронизанное голубоватым; светлая Тоскана. Дневное и крепкое, то, что можно бы назвать пушкинским в Италии.

Незаметно приближалась Пиза. Ее огромный вокзал подышал запахом гари, свистками паровозов; пробежало несколько газетчиков, прокричали продавцы беглых завтраков — кусочек хлеба, ветчины, фиасочка вина — и тяжело пыхтя, загромыхал поезд далее. Из окна промелькнул направо город; толпа коричневых черепичных крыш; из них нежданно появился Собор и падающая башня, как белокружевные видения, и чрез минуту канули, как и явились; и лишь гигантская вывеска «Hôtel Nettuno» преследовала до окраин.

С окраинами, за городом, воздух стал иной, как и пейзаж переменился. Здесь откровенная низина, ветер откровенно уж доносит запах моря. Тут явно, что сама-то Пиза некогда стояла чуть что не на берегу; но минули года, отошло море, обнажив тучную, низменную, сыроватую долину. В ней пересечет поезд какой-то лес, прогрохочет мимо двух-трех станций, и станет замедлять ход перед смутно-белеющей деревней — даже городком не назовешь того, что носит пышное имя *Виареджио.* А вдали, слева, заколебалось темно-синее, одетое туманом к горизонту, мягко-громоздкое, дохнувшее влагой и беспредельностью — море. Десятки мачт, рей, подвернутых парусов в порту ведут свой медленный, однообразный танец, то кивая, то склоняясь в бок. По морю же закраснели оранжевые, уже распущенные, тугие паруса.

Надо слезать.

Станция самая обыкновенная — низенькое, розовое строение; бродить capo della stazione[1], усатый, в красном кепи; несколько носильщиков в блузах. При выходе два тощих веттурино, платаны с серо-зеленой корой в белых пятнах. Разумеется, мальчишки. Редко обходится Италия без подвижного этого, веселого, крикливого народа.

— Где тут пройти к Casa Luporini?[2]

Один толкнул другого в бок, еще один подвзвизгнул и ловко, как акробат прошелся по песку колесом.

— Casa Luporini! Casa Luporini! — пронеслось среди них, и обрадовавшись окончательно, ринулись все, ватагой, провожать тех странных форестьеров, что спрашивают не отель «Roma», а Casa Luporini.

Верно, что кроме нас, да знакомых наших русских во Флоренции, живших здесь ранее, никто из иностранцев не остановился бы у Luporini: ни в одном Бедекере их нет. Мальчишки волновались, спорили, как пройти ближе. Мы шли вдоль небольшого канала; за ним низенькие, в один и два этажа рыбацкие домишки, тоже розовые. Горячий песок, солнце, итальянки, полощущие белье в канале; глухой, мягкий плеск моря вдали, да острый, славный запах — смолы от строящихся барок, дегтя, стружек, и летнего, разнеженного, дышащего иодом и водорослями, расколыхнутого моря.

Через небольшой мостик для пешеходов переходим на тот берег, и мальчишки с торжеством подводят нас к такому же двухэтажному домику, как и другие, с вывеской над дверью: «Fiaschetteria»[3].

— Casa Luporini! Eccola casa Luporini![4]

Вышла хозяйка, дама почтенная, в темном платочке, и весьма удивилась, нас увидев. Из распивочной глянуло несколько физиономий, загорелых, с трубками и стаканчиками вина.

Но узнав, что мы от прежних ее жильцов, синьора Лупорини ласково закивала. Через минуту были мы во фиаскеттерии, где по стенам тянулись ряды оплетенных фиасок, стоял столь, за ним подкрепляющиеся рыбаки, и немного в стороне жарился в очаге, на вертеле, как и во времена хитроумного Одиссея, кусок жирной баранины. Нас провели узенькой лестницей наверх и показали комнату; там, разумеется, была гигантская постель с

[1] начальник станции *(ит)*.

[2] Дом Лупорини *(ит)*.

[3] Фиаскеттерия *(ит)*; винная лавка.

[4] Дом Лупоринн! Вот он, дом Лупорини *(ит.)*.

тюфяком, набитым морскими травами, и — также разумеется — Мадонна освящала своим ликом скромное жилье. Хозяйка отворила ставни. Солнечный, пылкий воздух пахнул. Внизу тянулся канал, за ним садики, дома, колокольня небольшой церкви; справа далекие горы, слева все то же милое, туманно-синее море, душа и божество местности.

Через час хозяйский сын привез на тачке наши вещи, из deposito. Мы поселились у синьоры Лупорини, под покровом Мадонны, простодушной и наивной, как простодушен этот розовый домик и его древний очаг.

Верно, genius loci[1] не отринул нас. Нам легко, светло было под нехитрым кровом синьоры Лупорини. Мы не думали ни о чем. Были веселы и смешливы. Райской беззаботностью проникнуты.

Съезд на купанья еще не начинался. Пляж с кабинками, против отелей и главной набережной, еще пустынен. Но туда мы не ходили. Наш край другой, рыбацкая часть Виареджио, за каналом. Там песчано, бедновато, живописно. С утра, еще лежа на кровати из морских трав, лишь приотворишь зеленую, решетчатую ставню, медленно выплывает по каналу оранжевый парус, заплатанный, пестрый, сколько видавший! Рыбаки возвращаются. Весь канал в солнце. Полуголые ребята, с загорелыми, кофейными телами валяются по набережной — те же самые мальчишки, что сопровождали нас сюда. Вот они вскакивают, как лягушки скачут в воду. Там плавают. И опять вылезают. Чуть не трехлетние лежат у самого края; кажется, вот сейчас бултыхнется; но ко всему они привыкли, да и к ним благосклонен местный бог-хранитель: никто никуда не падает. Лишь матери, издали, орут истошными голосами: «Джиованни, Джиован-ни-и-но!» А Джиованни и Джульетты равнодушны; голышом, галопом летят по набережной, не отстать им от воды, на которой выросли отцы, деды, прадеды. И не так уж страшно — получить шлепок от выведенной из себя матроны.

Утром занятые чем-нибудь, после полдня и обеда, когда свалит жар, идем купаться, но на свой, рыбацкий пляж. Итальянки сушат на веревках белье выстиранное, в кабачке под нами кто-нибудь кианти тянет; а оттуда, ближе к морю, постукивают молотки. Двигаться не легко, нога мягко вязнет в песке горячем, и сыпучем; влево, невдалеке, ярко зеленеет пинета, доносится ее смолистый запах; и беспрерывно стучат молотки конопатчиков, босых, в цветных фесочках, с трубками в зубах; они возятся над поваленным, полуодетым, но изящным остовом

---

[1] дух-хранитель *(лат)*.

шхуны будущей; в другом месте осмоляют почти готовое судно; и запах дегтя, вара, синий дымок, мешаются со знойным ветром, и с пахучим морем; с морем, серебряно-лазурным, а вдали ярко-синим. Недалеко и до простеньких кабинок, где толстая итальянка в наколке вяжет чулок, за несколько чентезими отворит дверцу. Там, в закутке, ждет уже трико. А через пять минут легкое, искристое, соленое и ласковое, примет пришельца море. В нем укрепляющая, освежительная сила. Вечно оно кипит и пенится, как божественное вино; и быть может, входя в эти солнечные, белеющие брызги, приобщаешься жизни мировой, безначальной и бесконечной. Море качает, ласкает, и поглощает как медузу, краба, из него выходишь как бы опьяненный. Но уж остаток дня проведешь с ним вместе, как на нем и в нем целую жизнь проводят рыбаки и мореходы.

К вечеру солнце склоняется к тому же морю, в розоватом тумане, уходя в сказочные края, где за Гадесом растут золотые яблоки Гесперид. Это час дальней прогулки, по пляжу, у самых шелковейных волн, мимо пустых кабинок, прибрежных вилл, в сторону другой пинеты, лежащей за городком Виареджио. Наши рыбаки, мальчишки, строящиеся шхуны — далеко. Это более важная, более богатая часть. Через месяц все здесь будет переполнено приезжими,— дамы с разноцветными зонтами, итальянцы в белых штанах, дети с няньками. Но сейчас и тут пустынно. Изредка прокатит шарабан, промчится по шоссе автомобиль с развевающейся дамскою вуалью, знаменем; он подымет пелену белой пыли, золотящейся на солнце. Над зеленым бором, пинетой, по предгорьям просвистит поезд, белый клуб его дыма катится и развевается прядями. Дальше по склонам виллы белеют, дома, а гораздо над ними выше, где как бы кончаются человеческие дела, восстали светлые и нетленные горы. Они именно восстали — круто — обрывисто, уходя прямо в небо. Они светлы потому, что долго еще будет солнце золотить их. Нетленность дается необычайною прозрачностью и ясностию красок: как глубоки, чисты фиолетовые тени их! И само небо над ними торжественнее, чем над другими местами. В нем парят орлы.

Когда солнце подойдет к горизонту, по морю протянутся широкие огненные дороги; паруса, блуждавшие весь день, станут собираться к порту, к сонному покачиванью мачт и рей. Бормотание волн слабеет. Фантастичные чертоги воздымаются в пепельно-розовеющих облаках, и как фантасмагория все это уплывает; бледно-сиреневый сумрак вдруг польется по влаге, охладелой, осребренной, от дальнего горизонта, где солнце умерло. Тогда вдали, на оконечности залива Специи, вблизи Сарцаны,

мигая крупным жемчугом, вспыхнет маяк — свет трепетный, нематериально-путеводный. Ему вторя, иные мелкие сиянья замлеют на дальнем побережье. Тихо. Сонно становится. Рыба задремывает.

Вот и день в Виареджио, что похож на вчерашний, образ завтрашнего. Может быть, завтра выпадет дождичек и придется праздник Сант Антонио ди Падова; тогда, вечером, все подоконники будут уставлены затепленными свечками, фонариками, лампионами. Мы тоже выставим в честь святого, охранителя житейского благополучия, в честь давнего отшельника, наши маленькие маяки. Или, может быть, послезавтра, в небольшом общественном саду появится кибитка странствующих комедиантов, ведущих род свой от древних коломбин, Бригелл и Скарамуччьо, и под нехитрую шарманку, к радости детей, приказчиков и рыбаков воздвигнут они милую мишуру паяцев, мимов, клоунов. Как и давно когда-то, в детстве, девушка в трико проскачет, стоя на лошади, прыгнет сквозь круг; силач подымет гири, акробат повертится на трапеции; поколотят друг друга размалеванные клоуны, и для дивертисмента разыграют немудрящую пантомиму.

Можно съездить на несколько часов в Пизу...— я не знаю, как еще возможно разнообразить жизнь во фиаскеттерии синьоры Лупорини, на берегу Лигурийского моря, в городке Виареджио. Но прошел легкий, беззаботный день, буднями или по-праздничному, его кончаешь одинаково, по одному канону: в некий час все же окажешься в приморском ресторане, где от ветра хлопают парусиновые гардины, столики пустынны, и когда зажгут белый электрический шар, свет его трепещет, очерчивая яркие, дрожащие круги. А снаружи ночь кажется еще темнее. И привычный камерьере подойдет, примет заказ, принесет фиаску красного кианти; из узкого горлышка выцедит золотистый слой оливкового масла, оботрет, нальет вино острое, чуть закипающее...— в Виареджио, кажется, лучшее вино всей Италии. Его пьешь под неумолчную музыку моря. Сперва закат за ним краснеет, а потом все сольется во тьму, и гудит глухо, но и чудно; дышит широкою своею грудью. Вот оно посылает дары; восемнадцатилетний Антиной, с голыми руками и ногами, с курчавой головой, в мокром трико, по которому струится еще вода, предлагает устрицы. Он ловил их тут же, в канале. Нырял стройным своим, юношеским телом, шарил руками вдоль стенок, и в награду получает лиру и стакан вина. Кланяется, быстро его выпивает. Тут же откупорит свои устрицы, еще проникнутые запахом морской воды, солоноватостью ее, и той особенною влагой, стихийною и соблазнительной, что всегда присуща этим странным существам.

Вино, козлятина, сыр, устрицы, и неизменные черешни на десерт, плоды, тоже дары Италии и юга; через них физически чувствуешь тело страны, ее глубокую, сколь древнюю основу! Ведь и Лигуры, и Этруски, тысячелетия назад здесь жившие, видели то же море, те же горы, пасли те же стада, возделывали те же виноградники, ели тот же сыр. Данте, гостивший у маркиза Маласпина в тех горах Луниджианы, что скрываются уж сумраком, пил то же вино, и в Лукке любовался женщинами, в которых кровь почти та же, что в молоденькой Пиерине, дочери нашей хозяйки.

За красоту, за простоту и обаяние чудесной страны подымаю бокал несуществующего вина. И пусть нет его. Италия опьяняет — одним воспоминанием о ней.

Июнь 1918 г.

РИМ

Известно, что Рим самый трудный, «медленный» город Италии. Как творение очень глубокое, с таинственным оттенком, он не сразу даст прочесть себя пришельцу. Помню ночь, показавшую мне раз навсегда Венецию. Помню блаженный день, когда узнал Флоренцию.

Не таков Рим.

Он встречает неласково. Почти сурово. Все, кто бывал в Риме, знают ощущение чуть не разочарования, когда со Stazione Termini[1] въезжаешь в этот город с шумными трамваями, бесцветными домами via Cavour, неопределенной уличной толпой, неопределенными витринами магазинов. Все что-то *неопределенное.* Не плохо и не хорошо. Если столица, то второго сорта. Если древность, искусство — где они? И главное: где лицо, дух, сердце города? В первый раз я был в Риме юношей, несколько дней. Рим мне тогда не дался. Форум, Микель-Анджело, Палатин, катакомбы, Аппиева дорога... но — целого я не почувствовал.

С тех пор мне дважды приходилось жить в Риме, и его облик, кажется, до меня теперь дошел. Я ощущаю его голос, мерный зов его руин, его равнин. Великое молчание и тишину, царящие над пестротою жизни.

Я не пытаюсь дать картину Рима, цельную и полную. Хочется вспомнить то, что знаешь, что любил. Не больше.

---

[1] Конечная станция *(ит.).*

У ВРАТ

Утро, светлое, но не весьма яркое — небо в серебряных барашках. Ровное, мягкое сияние, обещающее день погожий.

Мы входим в полупустое кафе Aragno. Еще легко можно найти свободный бархатный диванчик у стены. Нетрудно накупить пирожных за прилавком. У этого прилавка сталкивались с человеком в котелке, длинном пальто со штрипкою, рыжеватыми бакенами и быстрыми, острыми глазами. Так и летают они!

— Senta! — кричит он, и его бакены раздуваются, как жабры.— Da dove viene?[1]

И уж мы трясем друг другу руки, обнимаемся, хотя знакомы мало, и через минуту шотландско-еврейско-неаполитанско-русский журналист идет со мной к нашему столику, и по дороге на меня сыплются вопросы:

— Когда? Откуда? И надолго?

Журналист Ф. к нам присел, и сразу оказалось, что в Риме он всех, все знает, может министерство свергнуть и указать комнаты, проведет в парламент, в Associazione della Pressa[2], в кафе Greco. Нам интересны были комнаты. Мы только что в Риме, едва проспались и ищем pied à terr'a[3].

Через полчаса мы уж в конторе сдачи комнат, через час ходим с «онорабельным» старичком в потертых штанах из закоулка в закоулок Рима тесного и грязного у Корсо, по всяким via Frattina, Borgognona и др. А еще через час, с легкой руки Ф., строчащего куда-нибудь статейку из Aragno, располагаемся в большой, окнами к югу, комнате на via Belsiana.

Наши окна выходят на «Бани Бернини». С подоконников наружу вывешены ковры, с улицы долетает пение и болтовня прачек, и на полу лежат два прямоугольника света, медленно переползающего по креслам, гигантским кроватям, на стену. Солнце растопило утренних барашков. И над краснеющей террасой бань Бернини засинел угол такого неба, как в Риме полагается — в Риме осеннем солнечном, и еще теплом. Рим принял нас солнцем и темно-синим небом. Мы же начнем в нем жизнь благочестивых пилигримов.

---

[1] Подумать только, откуда он? *(ит)*

[2] Ассоциация прессы *(ит.)*.

[3] жилище, пристанище *(фр.)*.

УТРА В РИМЕ

Утром хочется все узнать, ничего не пропустить. Любопытство, жадно, не насыщено; и к самому городу еще отношение — как к музею. Утром в Соборе Петра путник разглядывает памятники пап; в Сикстинской измучивает шею, рассматривая плафон; в гигантском вихре летят над ним миры Микель-Анджело, и от титанизма их он может отдохнуть в станцах Рафаэля, перед Парнасом, Disputa, Афинской школой. В эти светлые утра узнает он музей Терм, где его сердцу откроется уголок древней Греции; где монастырский двор — как бы сад скульптуры, среди роз зелени, под тем же темноголубеющим и светящимся небом. Он увидит венецианские зеркала в залах Palazzo Colonna и небольшое ядро, пробившее некогда крышу, оставшееся на ступеньках залы. Фиолетовым отливом глянут на него окна Palazzo Doria, где, в галерее, он задержится пред папой Иннокентием, Веласкеца. Он побывает в древнехристианских базиликах и на Форуме, в катакомбах и на Фарнезине, в галереях Ватикана и в десятках мест, где Рим оставил след неизгладимый. Он ходит пешком, ездит в фиакре, на траме, как придется, побеждая пространство, в ритме островозбужденном, с тем, быть может, чувством, какое гуманист ощущал, отрывая новую статую, лаская взором список, выплывший из Эллады. Но еще он чужеземец. Рим развертывает перед ним новые богатства, величественно, но холодновато. И как бы говорит здесь:

— Все это — я. Для меня трудился первохристианский мастер, высекая рыбку, агнца, крест; язычник строил Пантеон и Форум; средневековый мозаист выкладывал абсиды храмов; я призвал на свою службу Возрождение; мне отдали себя Рафаэль, Микель-Анджело, Мелоццо, Ботичелли, Полайоло, Фра Беато; я повелел Браманте возводить дворцы; таинственной династии своих пап я заказал строить храмы и водопроводы; для меня изобретал Бернини свои затейливые затеи. Я создал всех — я, Рим, Сила, Roma, средоточие вселенной, я, озирающий круг земель; я, круглый, и потому бесконечный. Смотри на меня. Изумляйся. Задумайся.

Путник и изумится. Вряд ли он не задумается. Он увидит богатства собранного; увидит и некую косвенную роль города в вековом делании *художническом* (ибо Рим, правда, не художник, как Флоренция). Но изо дня в день сильнее будет подпадать обаянию Рима, как симфонии, величественно-героической; и тогда перестанет он быть для него музеем, а станет живым, единым. Мы пойдем теперь по бессмертному хоть и в могилах,— загадочному, великому и меланхолическому Риму.

Начинаем с античности.

ФОРУМ

Некогда центр и напряженнейшая точка города, ныне Форум-мир, ясность, строгие линии. Если здесь были страсти, если с рострг гремели ораторы и толпа стекалась к телу Цезаря, выставленному в храме его имени, то теперь Форум не будит памяти о бурях и насилиях. Все это отошло. Образ теперешнего Форума — чистый образ Античности. Форум дневное в Риме, не вечернее, и не ночное. Культура строгая и четкая запечатлена в нем. Время одело его тонкой поэзией.

В поэзии Форума нет ничего, бьющего в глаза. Если взглянуть от Капитолия, с возвышенности, Форум небольшая долина, полная обломков мрамора, фундаментов, отдельно возносящихся колонн с кусками капителей. И лишь вдали арка Тита замыкает ее неким созвучием, да за ней чернеют острые кипарисы. Но когда спустишься, и взойдешь на священную землю Форума, где протекла история Рима республиканского, то недолгого времени достаточно, чтобы полюбить это единственное в своем роде произведение, ибо Форум ныне есть произведение: искусства, времени, природы. Искусство было призвано сюда для государства. Пожалуй, оно не весьма здесь самобытно — как не было оно главнейшей силой Рима. Однако, высокое благородство, стиль строгий и изящный чувствуешь в этих трех тонких, канеллированных колоннах храма Кастора и Поллукса, с обломком архитрава на них; в атриуме Весты, храме Веспасиана, водоеме Ютурны. Время прошлось смягчающей, уравнивающей десницей. Оно сделало Форум просторнее, чем он был, многое унесло, от другого оставило обломки, безмолвно, но явственно наложило на все печать вечности. И природа поработала. Она, быть может, более всего украсила Форум — лаврами у храма Цезаря, скромным клевером у Кастора и Поллукса, розами в атриуме Весты. Эти произрастания, такие тонкие и благородные, необычайно *идут* к Форуму. В них — тихая сила и прелесть природы, и гармония со мраморами, с ветхими колоннами, кое-где замшелыми. Все растет здесь из одного лона. Дело рук человеческих как бы перестало быть человеческим. Природа приняла его, украсила, облюбовала.

Хорошо тут бродить медленно, разбирая мало заметные черты жизни римской, вникая в славные уголки Форума. Я любил рассматривать круги, радиусы, выцарапанные на полу базилики Юлии — следы какой-то римской игры; ею развлекались квириты в кулуарах этого судебного установления, в то время как Квинтилиан, или Плиний Младший разливались в речах. Таинствен, овеян духом до-историзма Lapis niger[1], пред-

[1] Черный камень *(ит.)*

полагаемая могила Ромула. Не забудешь и маленького храма Цезаря с полукругом лавров, и жилища Весталок — атриума Весты. Холодноватые и чистые, стерегут каменные весталки, на своих постаментах, дом богини. В средине атриума водоем, обложенный мрамором, обсаженный розами. Тихо здесь и благочестиво — древним, языческим благочестием, холодноватым и прямолинейным. Но кажется, что не напрасно именно на Форуме храм и монастырь Весталок. В них, и в священном их огне — символ Рима ясного, неколебимого — Roma aeterna[1]. Это Рим республиканский, а не Цезарский. И когда Цезари подымали руку на весталок, они просто насиловали облик чуждого им Рима простых и суровых людей.

Невдалеке от атриума Весты водоем Ютурны. Это место легенды, тоже республиканской. В сражении при Регилле Римляне чуть не были разбиты; вдруг два неведомых, прекрасных юноши явились в первых рядах, воодушевили уставших, и битва была выиграна. Вечером в этот день граждане в беспокойстве толпились на Форуме, ожидая известий. Вдруг увидели двух всадников, в пыли, крови. Они поили лошадей в источнике богини Ютурны, у подножия Палатина. Сообщили, что сражение выиграно, с их помощью. И так же неожиданно исчезли, как и появились. Два неизвестных были Диоскуры, укротители лошадей и покровители римского оружия. Им поставили небольшой храм, поблизости, а самый родник стал почитаемым, священным местом. Он сохранился и доселе. Какая-то подземная жила Палатина питает этот тихий, мечтательный водоем. В небольшом квадратном углублении, обложенном мрамором, квадратный камень, как бы опора статуи, или алтаря. Вокруг него вода прозрачная, легкая, подернутая той таинственностью, как и все место. Травы, мелкие водяные растения одели облупившиеся части; зелень выбилась из щелей плит. Небольшой, полурасколотый алтарь на краю водоема.

Родник Ютурны самый завораживающий уголок Форума и самый таинственный. Образы легких Диоскуров осеняют его. Долго просидишь над ним, вглядываясь в прозрачность вод, ощущая безмолвие и вечность. Можно сказать, что в сдержанном, тонком Форуме, в его ясности и дневном, родник Ютурны единственно *вечернее,* задумчивое и с тем оттенком сивиллической загадочности, какую встретим мы еще в других местах Рима.— Но тоже светлое.

---

[1] Вечный Рим *(ит..;* из элегии Тибула).

ПАЛАТИН

Если на Форуме есть Lapis niger, возводящий ко временам Ромула, то Палатин, холм соседний, не менее древен: он украшен пещерой, где волчица вскармливала Ромула и Рема; он сохранил остатки первобытных стен — vestigia Romae Quadratae[1]; в нем, наконец, указывают место ворот, чрез которые дикие пастухи, пращуры нынешних римлян загоняли из болотистых низин, на заре вечерней, стада ревущих быков: porta Mugonia.

Тем не менее, главное в Палатине связано с Цезарями, как главное Форума (где немало остатков императорского Рима) — память о республике.

Рим крепкий, суховатый, закаленный; Рим земледельческий, разумный, упорный, медленным трудом, победами и жертвами возрос в сложный организм. Из Италии шагнул во мир необъятный. Создал вельмож, рабов, хлебнул роскоши и яда Востока; довел донельзя разницу между князьями мира и отверженными; привил запутанные культы и религии Востока; бешено расцвел, показал невиданную мощь, великолепие и начал загнивать. Символом нового идолопоклонства явились Цезари, первые императоры Рима Нового, и последнего. Мы знаем их довольно. С ними пришло в Рим безумие, дух Азии, раньше неведомый. В них нет спокойной, выношенной культуры латинизма. Их жизнь, их быт, и их жилища лишь с одного конца Рим. С другого — это Вавилон. Холм Палатинский — развалины их бытия. Весь Палатин — гигантская груда сумасбродств, оправдываемых временем, природой.

Форум долина. Палатин холм. На Форуме природа сдержана, в духе картины, которую должна украсить. На Палатине буйна, разгульна; целые рощи покрывают его. Помню у стены виллы Миллье спелые, ярко-горящие в закате апельсины; один из них упал; я наступил случайно на него — какой роскошной, духовитою струей он брызнул! Эти деревья апельсинные, лимонные, зреют здесь привольно: на земле тучной, очень плодоносной они выросли! И не даром остались в роще лавров развалины храмика Кибелы, Великой Матери земли, плодородия, покровительницы наслаждений, главы культов жестоких и сладострастных,— образ Азии, но не Лациума. Ее, как и египетскую Изиду, ввезли с Востока и поклонились ей, когда простых, домашних бедных богов оказалось мало, как и тесно стало в рамках прежней жизни. Кибела видимо властвовала над Палатином. Как знало это место оргии, и опьянение, и кровь, насилия!

[1] Остатки квадратного Рима *(ит.)*.

Сейчас оно — остатки пышных обиталищ, поросшие могучей зеленью. Уже снизу, от Форума, зияют огромные углубления, пещеры подвальных этажей дворца Калигулы. Племя рабов обитало тут. Выше, над ними, шли великолепные атриумы, приемные залы, бассейны, апартаменты, изукрашенные мозаичными полами, порфировыми колоннами, цветными мраморами, золотой резьбой. Все это сгинуло, конечно. От хором остались лишь подвалы, да стены, ободранные, иногда жуткие и грозные. Здесь в ходе времени нет покойной, мягкой элегии.

Скорей оно суровый рушитель, не без усмешки указывающий перстом своим.

— Смотрите! Было. Что осталось!

Из дворцов самый покойный — Домицианов. Он в середине Палатина; менее поражает воображенье, как-то культурнее, умеренней; войдя в его базилику, где император отдавал правосудие, припомнишь на минуту, что ведь в Риме было право, знаменитые юристы... Была администрация, провинции, все эти преторы, проконсулы. А взглянув на город, открывающийся отсюда ясно и покойно, вновь подумаешь: каковы ни были бы Цезари, или Флавии, Рим опоясывает их чертою ровною, и неизменною. Ее не поколеблешь.

Высшее напряжение Палатина — дворец Септимия Севера, груда гигантских сооружений в южном углу, с видом на Авентинский холм, на дико-громадные термы Каракаллы, торчащие в камышах низменности, и на дальние Porta S. Sebastiano[1], выводящие за Рим. Там могилы Аппиевой дороги, там безмолвная, образ задумчивости, римская Кампанья со стадами, акведуками и плавною волною гор на горизонте.

Дворец Септимия Севера — позднейшее из сооружений Палатина. Едва ли не самое пышное, и едва ли не самое грозное по облику нагой смерти, царящей в нем. Снизу, когда от S. Sebastiano приближаешься к Палатину, скелет его возносится над гигантскими субструкциями, как символ одряхлевшего могущества, как сухой остов былого, и тяжкого. От дворца уцелело довольно много. Огромные стены, окна, ниши, арки, какие-то бесконечные переходы, лестницы. Помню вечер в этом дворце. Было пасмурно. Неслись хмурые облака, ветер гудел в развалинах; надвигались сумерки, тяжко ложившиеся на дальнюю Кампанью. Я сошел в нижний этаж. По каким-то лестницам, подъемам, спускам бродил, и не заметил, как стемнело. Ветер еще сильней шумел. Как стало жутко! Не сразу я нашел выход. Вдруг представилось, что если б на ночь заперли здесь, в

---

[1] Ворота св. Себастьяна *(ит.)*.

полуподземельях, и пришлось бы дожидаться света со скорпионами, летучими мышами... С облегчением вышел тогда я на свежий воздух.

Палатин вечернее в Риме, даже ночное. В его рощах, кипарисах, лужайках, дворцах, стадиях, криптопортиках есть величие сумрачное, есть грандиоз, но не из светлых. Впечатление его велико, ибо очень уж он полон, пышен, ярок. Все, что говорит он, сказано словами сильными. Но неулегшиеся страсти, отзвуки преступлений, крови живут еще на нем; и тени императоров его не кинули.

Я люблю один его уголок — не в духе целого — маленький алтарь на лужайке, у подножия холма, среди милой мелкой зелени. Облик его напоминает крестильную купель. Он из древнего, изъеденного травертина, и он очень стар. На вогнутой его поверхности курились приношения. Кому? Deo ignoto, неведомому богу, или богине, как высвечено полуистлевшими письменами. Трепет листвы, цветы, римское небо, ладан курящийся...— какому Богу? Пусть скажет сердце и душа. Но на этом жертвеннике воскуряли не мудрствуя. Верно, и божество принимало нехитрые приношения. И каким-то чудом простоял алтарь более двух тысячелетий, не тронутый ни варварами, ни ревнивыми божествами. Может быть, потому, что он скромен. И Бога своего не навязывал.

КАПИТОЛИЙ

Как полдень — высшая точка солнца над землей, так Капитолий — полдень Рима. Не знаю, был ли он наивысшим из семи холмов (площадью — самый малый). Но для Рима, как Иерусалим для христианства, это зенит, священнейший центр.

Некогда подымалась здесь, на месте нынешней церкви Ara Coeli, цитадель Рима. А невдалеке — храм Юпитера Капитолийского. Легенда говорить, что когда закладывали его фундамент, нашли окровавленную голову некоего Олеи (Caput Olei[1]). Отсюда и название холма, и пророчественный смысл его: это средоточие, *глава* мира. Но оракул не ответил, отчего была голова окровавленная? Не сказано ли этим, что на крови (и железе) оснует Рим свое господство?

Как бы то ни было, сам Капитолий — символ царственного величия Рима.

Ныне ведет к нему широкая, пологая лестница. Слева от нее, в клетке, за решеткой, живет худая и печальная волчица;

---

[1] Голова Олеи *(лат.)*.

на нее взглянет непременно проходящий. Это тоже живой символ Рима — вернее, его колыбели; представительница волчицы, вскормившей Ромула и Рема. Бронзовая ее праматерь, некогда находившаяся в храме Юпитера, ныне в Капитолийском музее. Сурова она, голодна, зла. Есть в ней terror antiquus[1]. Ее сосут два маленьких человека, но это не милые пути Луки делла Роббиа из благословенной Флоренции: это будущие владыки Рима и один из них — братоубийца; это те, кому загадочной судьбой повелено создать загадочно-великий город. Недаром древние мастера Капуи отлили из бронзы эту группу — бронзовые сердца, бронзовые и души...

Взойдя по лестнице, окажешься на небольшой площади. Группа — Диоскуры, укрощающие коней. Справа и слева благородные здания Капитолийских музеев (рука Микель-Анджело); прямо — ратуша. И посредине, перед ратушей, конная бронзовая статуя Марка Аврелия. Не удивляешься, что здесь Муниципия Рима. Строги и просты линии дворцов, с чудесными окнами, колоннами в нижнем этаже. Во дворцах скульптуры Рима античного. Но всего более возвышает это место, дает спокойное величие и простоту — образ скромнейшего и чистого правителя, мудреца, праведника — Марка Аврелия.

В волчице и Ромуле страшное, доисторическое. В них игра темных сил, кровавых и звериных. Это тучная нива, на которой произрастает земная власть и земное могущество. В Марке Аврелии идея правителя встретилась уже с идеей мудреца; и мудрец выше правителя. Спокойно едет Марк Аврелий на своем коне. Рука его протянута слегка вперед, как бы благословляя, обещая мир.

— Я император. Мне дана власть. В меру сил я proношу ее чрез жизнь. Я хотел бы в эту жизнь внести добро. Не моя вина, если вокруг столько тьмы и дикости.

В Марке Аврелии римская государственность достигла высшей культуры; философия язычества — высшего благородства. Века прошли между звероподобным Ромулом и богоподобным Императором. Оба созидали Рим гражданский, и недаром тени их присутствуют на Капитолии. Но из огромной гаммы чувств дикий Ромул не знал того, что придает особую значительность Марку Аврелию: чувства печали и обреченности. Ромул ни о чем не думал. Жадным взором он глядел на мир, страстно его хватал и пил. Марк Аврелий знал уже цену мира, преходимость и глубокую грусть сущего. С некоей высшей точки он находил даже мало значительным самый Рим и его гражданственность,

[1] древний страх, ужас *(лат.)*.

и все дела горестной земли; нравственный постулат один лишь для него непререкаем. Именем добра шествует он чрез бедный и мгновенный мир. Именем добра холодноватого и ясного, как его взор, он принуждает себя быть политиком, завоевателем, законодателем. В его образе Рим языческий дошел до крайнего своего утончения, предельной духовности...— и ощутил, что далее пути нет. Путь предлагался — христианством. Но император не пошел за ним. Он предпочел остаться скорбным полубогом мира старого.

Капитолию очень идет знойный полдень. Нередко в эти часы пересекаешь небольшую его площадь. Музеи безмолвны — в этот час почти нет посетителей. Дворцы отбрасывают коротенькую тень. Мальчишка задремал у коней Диоскуров. Чахлая зелень над волчицей, и волчица судорожно бродит по своей клетке, высунув язык, вбирая, при движении, худые ребра. Блестит полуденное солнце; лучи его встречают столь ему знакомый, полуденный Капитолий как свое, высоко-солнечное. Огненная корона неба, огненный венец земли. И медленно, ниоткуда не выехав, никуда не въезжая, мерно следует на своем коне Марк Аврелий.

ЧАС ОТДЫХА

Идущий с Капитолия минует новый, грандиозно-скучный памятник Виктору Эммануилу, минует благородный Palazzo Venezia, и уже он на Корсо, в сутолоке магазинов, пешеходов, экипажей. После великой древности, всяких возвышенностей, человек утомлен. Он должен подкрепиться. Если он русский, и из небогатых, то спешит в ресторанчик «Флора», на Via Sistina, где жил Гоголь. Откинув циновку, закрывающую дверь, он окажется в узенькой, темноватой комнате, где единственный камерьере подает минестры и бифстеки десятку посетителей, заседающих за столом длинным, узеньким — по фасону помещения.

Рядом окажется мелкий приказчик с via Tritone, два японских студента в стоячих воротничках, в очках, серьезные, быстро лепечущие на своем загадочном наречии; молодой, белокурый англичанин, тоже что-то изучающий — подле прибора его толстый, удобный томик: Opera Q. Horatii Flacchi[1]. Будут есть печенку — fegato, запивать средненьким умбрийским вином. И, доев виноград (на десерт), безмолвно разойдутся, чуть кивнув друг другу. Русский не очень привыкает к «Флоре»: все кажется

[1] Сочинения К. Горация Флакка *(лат.)*.

ему здесь чинным, не с кем поболтать, похохотать. И в другой раз пробирается он к Тибру, в захолустный закоулок, где в скромнейшем учреждении, за лиру или полторы, обедают русские эмигранты, немецкие художники и римские веттурины.

В «Piccolo Uomo»[1] садик; он увит виноградом, украшен «античными» торсами, головками, скульптурами задолжавших художников. Над столиком с пятнистой скатертью, над головою русского, немца или итальянца — кусок сапфирового неба римского. Угол красно-коричневой стены соседнего дома, балкончик, веревки с бельем, крики матрон, рев осла в ближнем переулке. Тут же колодезь... и смех, болтовня эмигрантов, рыжеватые бакенбарды Ф., изящный профиль О., засаленный передник толстого, коротенького, как и подобает быть трактирщику — Piccolo Uomo. Он суетится в кухне, зимнем помещении, у плиты, острит, отпускает блюда, дает в долг, считает лиры; потчует подзатыльником кухонного мальчишку. Эмигранты же, как птицы небесные, не пекущиеся о дне завтрашнем, в долг и на наличные едят брокколи, пьют жиденькое, светлое Фраскати; радуются солнцу, воздуху, и вновь готовы ничего не делать, как доселе ничего не делали.

А когда обед окончен, шумною гурьбой идут к Piazza Borghese. Если день пятница, накануне розыгрыша Banco Lotto (государственная лотерея), то зайдут в лавчонку, у кого есть лира, за билетом. Вдруг да завтра выиграешь! Остальные, разглагольствуя, шагают к Корсо, серединой улицы и по via Condotti к Испанской площади.

Кто бывал в яркий, осенний послеполудень на via Condotti, не забыть тому, в конце ее, двух красных башен церкви Trinita dei Monti[2], двух огневеющих факелов, вздымающихся в лазури римской, венчающих дивную испанскую лестницу. Испанская площадь, фонтан Бернини с дельфинами, с вечным плеском струй, широкие, сложные и пологие марши лестницы чуть не в ширину площади, возводящей к Trinita dei Monti — это все одно, одна чудесная декорация, величественно-живописный аллейон к церкви, а оттуда к небу, от синевы коего, рядом со знойным огнем колоколен-близнецов, светлые точки плывут в глазах. Да, римское небо особенное; в нем и бездна, и лазурное сияние, и прозрачность нечеловеческая.

На испанской лестнице явно пригревает — она обращена на юг; играют дети на ее площадках, в уголку кто-нибудь из них присядет, но это ничего: все сойдет под слепящим римским

---

[1] Малыш *(ит.)*.

[2] Церковь Святейшей (Сантиссимо) Троицы на холмах *(ит.)*.

солнцем, не убудет славного мрамора ее ступеней, выхоженного, вытертого, в оранжевых полосах и пятнах, но сколь светлого! Как во времена Гоголя некая правнучка его Аннунциаты продает розы на ступенях и, быть может, позирует немецкому художнику с Monte Mario. Розы на испанской лестнице — всегдашний привет гения местности, благоуханный орнамент — не знаю, ведомый ли самому Бернини, фантасмагористу, полуосмеянному, полупрославленному.

Входишь по лестнице медленно: точно жаль с ней расстаться. На площадке перед церковью тепло, пустынно; направо важный небольшой отель спустил жалюзи окон. Русские поговорят о том, что хорошо в таком отеле жить, с видом на дальний Ватикан, Яникул. И пойдут влево, по проезду к Монте Пинчио. Здесь встретятся слепые нищие; сидя у парапета, в тени каштана, разводят они свою бесконечную мелодию, один на скрипочке, другой на чем-то вроде фисгармонии; третий подтягивает голосом, и рукой дрожащей простирает блюдечко для подаяний. Свет зыблется над ними; недалеко, под тенью вечнозеленеющих дубов, струйка фонтана над зеркальной чашей вод; вниз за парапетом сбегает склон, к крышам домов; весь усажен он апельсинными деревьями, огородными овощами, розами, и тонкий, сладкий и пригретый воздух тянет, и плывет оттуда. Полдень Рима! Видение тишины, безмолвия, сладко-загадочного струения! И еще пройти немного, в этом же воздухе плывучем, над черепичными крышами, над колокольнями барочистых церквей, как главное видение Рима выплывает воздушно-круглый, соразмерно-вознесшийся, равный себе и вечности купол Св. Петра. Он слегка мреет в белом воздухе. Небо над ним бледнее, ибо там солнце. И как великий корабль, христианский пастырь, медленно, медленно и безостановочно он плывет куда-то, и стоит на месте.

Русские слегка разморены. Они бредут, не торопясь. И посидев на Монте Пинчио, послушав музыку, расходятся.

МОНТЕ ПИНЧИО

Монте Пинчио — один из семи холмов Рима. Некогда простирались здесь сады Лукулла, некие исторические воспоминания к нему относятся; но в общем это холм малозначительный, он больше связан с жизнью, бытом Рима, чем с великими его судьбами, как Капитолий или Палатин.

Века сменились, но сады не ушли с Пинчио. Они лишь называются теперь иначе — садами виллы Боргезе, французской Академии, но, верно, те же самые породы, что и при Лукулле, те же травы и цветы покрывают древнюю почву Пинчио.

В жизни римского пилигрима Монте Пинчио и вилла Боргезе играют роль большую. Многие из нас живут поблизости. Многие любят тихие аллеи виллы Боргезе, ее казино, лужайки, храм Фаустины, молочную ферму, где в синеющем римском вечере хорошо сидеть и пить молоко с трубочными пирожными; дышать воздухом свежим и легким, и в просветы деревьев любоваться дальним Монте Марио. Многие водили своих детей, из пансиона на via Veneto[1] или via Aurora[2], замшелыми воротами Porta Pinciana в зверинец виллы Боргезе, где смешны обезьянки и горестен орел пленный, в оранжево-зеленой заре; гуляли с ними у ипподрома, где скачут по утрам нарядные кавалеристы; катали их по Монте Пинчио на осликах, запряженных в маленькие повозки с поперечными скамеечками, куда за несколько сольди насаживаются ребята. Просто сидели над Пиацца дель Пополо, слушая музыку, наблюдая пеструю, к вечеру нарядную толпу.

Эти прогулки, чуть не ежедневные, установили связь с Монте Пинчио; точно принят уж человек под покровительство местных божеств. Способностью своею подчинять, медленно околдовывать. Монте Пинчио очень, очень полно духа Рима. И, быть может, одно из очарований места этого есть ощущение *соприсутствия Риму.* С террасы, выходящей на Пиацца дель Пополо, Рим виден. Он открыт не в том ослепительном великолепии, как с Яникула, от памятника Гарибальди или S. Pietro in Montorio.

Здесь Рим не поражает; он обычнее, но он, быть может, и значительнее, в повседневности своей; там — праздник; здесь — постоянное созерцание лица дорогого и глубокого. Если сидеть на скамейке спиной к виду, рассматривать какого-нибудь седоватого маркиза, выехавшего в шикарном кэбе, на четверке цугом; или слушать босого, длинноволосого пророка Меву, проповедника вегетарианства — то и тогда не оставляет чувство: Рим здесь, со мной. Эта связь с Римом на Монте Пинчио особенно растет с приходом вечера. Пафос места и высшая его точка это, конечно, вечер. Образ римского вечера так ярок, при заходе солнца, на террасе Монте Пинчио!

Огненный багрянец за Собором Петра; крепко, бессмертно вылепился купол его, точно залитый; далее, с ясностью почти мучительной, чертятся на пурпуре силуэты холмов с зонтиками пиний; а по via Cola di Rienzo, стрелой летящею от Собора к нам, к Пиацца дель Пополо, протянулась, в густеющей мгле

---

[1] улица Венеции *(ит.).*

[2] улица Авроры *(ит.).*

синей, золотая цепь фонарей; зеленовато-золотое ожерелье и на Пиацца дель Пополо; глухо гудят там трамы, вспыхивают искры зеленеющие, и седой туман вечерний наползает. Но у нас, на высоте, все полно еще трепетным, глубоко-оранжевым и зеленоватым светом, вином римского вечера. Какие богатства в нем смешаны! И рубины, жемчуга, и тонкая пыль золота, тебя пронизывающая, будто весь полон дрожанием световых частиц. В глазах рябит, точно на мгновение ослеп.

Но кустод запирает решетки, и мимо вечно зеленеющих, мелколиственных дубов, под тихую музыку все того же фонтана, уходишь по проезду к Trinita dei Monti. Сладко пахнут пригретые апельсины на склоне. В Hôtel de Russie[1], внизу, слышна музыка.

ВИЛЛА ДОРИА ПАМФИЛИ

Если вилла Боргезе, Испанская лестница и Пинчио каждодневны, вошли в обиход жизни в Риме, то вилла Дориа — уже путешествие, хоть и невеликое, ибо невелик площадью Вечный город; но все же странствие. С террасы Пинчио виден Яникульский холм. Вилла Дориа за холмом, на окраине города. К ней идет простенькая и прямая улица; в 48 году гарибальдийцы до конца защищали ее. И сейчас привлекает внимание небольшой дом, весь в следах пуль, с обвалившейся штукатуркой; в стене, рядом, бюст неведомого триестинского поэта; он не прославился в литературе; но за родину кровь пролил, принял здесь благородную смерть; и Италия, в словах надписи пышных, позлащенных, выбила ему славу посмертную.

В сущности вилла Дориа — крупное римское имение. Подгородная резиденция вельможи. Сразу же, от внушительного входа, отдаленно напомнившего въезд в наши барские усадьбы, ощущаешь, что здесь главное — парки, лужайки, свет, воздух, приволье. Это впечатление целиком подтверждается. Если в городе Риме, как и вообще в итальянском городе, тесновато и скученно, то как здесь просторно! Даже на нашу русскую необъятную мерку, здесь *луга лужаек,* бесконечные аллеи, нескупое благословение природы, вольности. На виллу также водят много детей; им есть где порезвиться; на лужайках растут белые анемоны, знаменитые анемоны виллы Дориа; аллеи далеки, мест для игры сколько угодно; птицы поют, солнце приветствует сиянием тихим, лучезарным. Есть именно нечто лучезарное в послеполуденном облике рощ виллы Дориа. Светлый туман

---

[1] Отель «Россия» *(ит.).*

воздуха прозрачного, вдаль голубеющего, как кристалл. Мелкий и яркий свет в листьях, в песке дорожек, в спицах проезжающего экипажа. Важные старики, не торопясь, катят в колясках — они греются; играют в мяч римские семинаристы в длинных подрясниках, в беге их подбирают, тогда видны неуклюжие ноги. С благочестивым видом, с молитвенниками в руках, шепча про себя, бредут ученики школы пропагандистов; среди них все главные народности католицизма; у каждой цвет костюма особенный: красный у немцев («вареные раки»), фиолетовый у шотландцев, и т. п.

На других лужайках — вновь игры детские; в других аллеях — пары влюбленных, а в средине светло-зачарованного леса — сам палаццо, тоже дремлющий в свете и нежности, со спущенными жалюзи.

Можно сесть на скамейке, во длинной боковой аллее, и, отвернувшись от зеленых кущ к свету — взглянуть за парк, в поле римское. Внизу, почти под нами, старая via Aurelia; по ней проезжают таратайки, везут в Рим на осликах молоко, зелень; а за нею, дальше — поле; в золотисто-сияющей тиши два вола со сказочными рогами, в ярме, пашут римскую землю, и идет за плугом римлянин, а за ним, на небесах сапфирных, воздымаются Ватиканские дворцы, сады, купол Петра; пинии дальних холмов ершатся четко. Тишина и сказка! Вот обведут эти волы священную борозду, четырехугольником, и в местах, где надлежит быть воротам, легендарный пахарь приподымет плуг. Здесь будет Roma Quadrata. Грубые пастухи и земледельцы соберутся, и таинственными велениями судьбы оснуют город мировой. Мы смотрим на первое, бедное и никому неведомое их дело. Тысячелетние волы медленно, медленно ступают. Завоеватель медленно бредет за плугом. И они мирно проводят борозду под огород, для брокколей, что будем мы есть у Piccolo Uomo; мирно же поворачивают, и ведут борозду соседнюю. О, Ватикан, декорация сельского пахаря! Ты напоминаешь сейчас угол фрески Рафаэля «Disputa». Не он ли видел эти деревца, и строящуюся громаду, и не эти ль деревца изобразил?

С виллы уходишь в светлом обаянии. Да, это нежный солнечный отдых, это улыбка рощ, лугов и анемонов, созданных для того, чтобы бедному человеку приоткрыть сон радости, видение света и великолепия. Подходя в вечереющем воздухе к Aqua Paola на Яникуле, созерцая массы ее вод, светлых, прозрачных, плавно катящихся струями, во славу Рима и папы Павла,— соединяешь их с образом виллы Дориа. Где свет, там и прозрачность. Где тишина, там мягкий плеск влаги.

ЯНИКУЛ

Каскады Aqua Paola[1] — это уж Яникул, холм, всех выше возносящийся над Римом. С давних времен вся местность эта наводнена зеленью, садами, виллами. И кардиналы, и банкиры, и вельможи строили охотно здесь дворцы. Для Агостино Киджи расписывал тут Фарнезину сам Рафаэль; невдалеке дворец Корсини, и т. п. С половины же прошлого века новая слава явилась Яникулу: слава объединенной Италии и ее героя Гарибальди.

Мы идем по Яникулу от Aqua Paola к Ватикану, по аллеям Passegiata Margherita. На одном из поворотов ее на самой высоте, открывается конная статуя. Человек в «гарибальдийской» шапочке спокойно сидит на коне, задумчиво перед собою смотрит, придерживая рукой поводья. На постаменте надпись: «Roma o morte» (Рим или смерть.) Место для памятника удачное. Гарибальди видит перед собою голубой простор, светлое мрение воздуха, и Рим — весь Рим с дворцами, храмами, руинами, садами, все это море коричневых черепиц с пятнами зелени и дальней, светло-белеющей каймою гор на горизонте — музыкальным сопровождением Рима.

Герой величествен и скромен; ничего в нем театрального; все на месте, все ясное. Один из редких образов *хорошего* победителя.

Рим нас сопровождает по пути к Ватикану. В просветы меж деревьев, за углом дома, мимо которого идешь, он неизменно и легко развертывает вечереющую свою панораму, с сияющим кое-где шпилем, или стеклом, с тем нисходящим предвечерним миром, что дает душе отзвук ясности великой. Позднее, когда солнце подойдет к закату, синеющий, туманный сумрак ляжет по низинам, окутает Велабр, дальние кипарисы у Палатина. А Монте Пинчио, с двуперстною своею церковью Trinita долго еще будет огненно розоветь. Но всех дольше сохранятся вечные вершины гор в сказочной дали. Бело-розовыми призраками будут они выступать по краям земли, волшебною чертою обводить волшебный город.

Мы же начнем спускаться. Мы пойдем теперь узкими улицами. Затибрья, крутыми, грязными, где белье висит на веревках, играют стада мальчишек, тут же присаживаются, на виду у всех, и пускают ручейки; ревут ослы, подымаясь с поклажей. У дверей сидят быстрые на язык матроны, и трещат, трещат, довязывая вязанье, подшлепывая бегущего Пеппино.

В синеющей мгле начинают вспыхивать фонари золотистым

---

[1] Фонтан Паола *(ит).*

сиянием. Сзади остался S. Onofrio, монастырь с узкой террасой, гигантским, опаленным дубом: реликвия горьких дней Тассо, кончившего здесь дни свои. Еще несколько минут,— мы на площади Собора Петра.

ВАТИКАН

Как нельзя себе представить Рима без античности, руин и акведуков, так немыслим он и вне иного древнего установления, — католицизма. Священник в черной рясе и круглой, черно-лоснящейся шляпе, худощавый, бритый, с умным, острым, несколько слащавым взглядом; картезианский монах в белом, с капюшоном за плечами; коричневый францисканец с веревкою вместо пояса, в сандалиях на босу ногу — это обычный прохожий римских улиц. Владения Господа всюду разбросаны здесь — и древнехристианская базилика, и храмы Ренессанса (их немного), и обильная роскошь церквей барокко. Их средоточие, их центр есть Ватикан, «столица пап».

Как бы ни относиться к католичеству, но *мимо* Ватикана, *мимо* папства не пройдешь. Династия, основанная две тысячи лет назад, чрез все невероятные потрясения, испытанные ею, существует и доныне. Сменялись императоры, республики, тираны, демократизмы, монархизмы, гремели революции и проклятия — а конклав за конклавом выбирал каждый раз нового преемника Апостола Петра. Сиксты, Александры грязнили образ папы злодеяниями — а капелла, расписанная Микель-Анджело, называется Сикстинской; дикие надругательства переносили папы раннего средневековья, но и до нас донесли свое упорство, дух пропаганды, делания, культуры в высшем смысле. Весь поздний Ренессанс теснейше связан с Ватиканом; папы любили, ласкали, иногда обижали художников, но не могли жить без них, ибо сами были вершинами просвещения и вкуса. Папы всегда чувствовали связь своей таинственной судьбы с судьбой Рима, и со времен древнейших, от Григория Великого, мужественно державшегося в одичалом Риме, где только что волки не бродили по улицам до Льва, отстранившего Атиллу; чрез Григория VII до пап-строителей XV—XVI веков папы грудью обороняли Рим и несли в него просвещение, культуру. Кто восстановлял великие водопроводы древности, эти Aqua Paola, Aqua Acetosa? Кто строил храмы? Собирал музеи, библиотеки? Кто, с лупою в руке, старческим взором трепетал над древним манускриптом, вывезенным из Эллады, над Эсхилами, Платонами, дошедшими до нас не без участия святейшеств?

Бесчисленны дворцы, библиотеки, галереи Ватикана. Одно

перечисление названий уж внушительно. Я буду говорить здесь лишь о самом главном памятнике Ватикана — о Соборе Петра.

Собор Петра, в его теперешнем виде, есть знамя папства торжествующе-победоносного. Он строился с XVI века, когда тесно стало папам в прежней Ватиканской базилике. Да и цветущий Ренессанс должен был дать, в области монументальной, свой высший памятник. Памятник не совсем удался; он затянулся, вышел из Ренессанса в барокко. Но пышный расцвет папства и венец Ренессанса он, все же, выразил. Его символическое величие есть его купол, видимый от Рима за десятки верст, когда нет еще города: в пустынной Кампанье, на загадочной равнине воздымается, плавный и мерный, образ гармонии и музыкальности, купол римского христианства, выросшего над язычеством. Этот купол — детище Микель-Анджело.

Внутри Собор грандиозен, но парадно-холоден. Гигантские нефы, сложные пересечения аркад, волны света, искусно пущенного с высоты; пышные статуи пап, в театральности и позе барокко; роскошные балдахины, богатейшие отделки, золото, мозаики; блистающие яшмою колонны — все имеет целию поразить, но не очаровать. И действительно, мало что можно *полюбить* в Соборе. Есть там дивная гробница Сикста IV, работы Полайоло, грозный бронзовый шедевр, неумолимый и суховатый; есть Иннокентий VIII, его же; но это уголки флорентийского кватроченто, это не стиль св. Петра. Случайность и Pietà Микель-Анджело, юношеская, нежная и тонкая его работа. Общее впечатление не в них.

Собор Петра стоит на месте цирка Нерона над могилою и местом мученичества Апостола Петра.

Он должен прославлять собой Апостола. Для христианства это столько же священно, как для античности могила Ромула. Но — храм Петра более прославляет могущество, богатство пап чинквеченто и сенченто, чем облик галилейского рыбаря. Между Собором и первохристианством связи нет, и Апостола Петра я скорее почувствую в скромной базилике Пракседы, в катакомбах или у часовенки Quo vadis[1], нежели в чертогах Ватиканского Петра. Есть, правда, в нем еще одна, как бы спасающая, чарующая точка: небольшая, очень древняя бронозовая статуя Апостола. Он сидит, в позе простой и величественной, в левой руке у него ключи, правую он приподнял, сложив пальцы для благословения; из-под одежды выставлена слегка нога — голову окружает нимб святости. К ноге его

---

[1] Куда идешь (камо грядеши; *лат.*). — из Евангелия от Иоанна, гл. 13, ст. 36.

столетиями прикладывались верующие; волна благоговения смыла часть бронзы. Губы богомольцев превозмогли вечный, казалось бы, металл. Палец ноги Апостола полустерт; это дает особенную священность благочестивой бронзе.

Если Собор Петра мало выразил первохристианство, то нельзя сказать, чтобы рядом с пышностию католичества он слабо отразил *действенность* его. Наоборот. Это именно чувствуешь под многовоздушными его сводами. В Соборе непрерывно идет деятельность духовенства: служатся службы, из придела в придел снуют клирики; в исповедальнях, небольших каютах с окошечком и надписями на различных языках, исповедуют паломников, прибывающих из Венгрии, Польши, Шотландии, Парагвая и невесть еще откуда. В сакристиях укладывают и вынимают священные одежды; и бесчисленные гиды объясняют бесчисленным доверчивым пилигримам памятники, древности, реликвии. Да, Собор — это часть Ватикана воинствующего, управляющего, сочиняющего энциклики, рассылающего миссионеров, налагающего индексы, разместившегося в зданиях и дворцах вокруг. Я не знаю и не видел деятельности коллегий, канцелярий дипломатии Ватикана. Не был и в библиотеках. Не видал и папы. Но чувствую, живо себе представляю бытие длинного ряда старцев, то принимающих посланников, то подписывающих бреве, то молящихся, то слушающих музыку; катающихся в открытой коляске по садам Ватикана, одиноко дремлющих ночью, слабым старческим сном; собирающих библиотеки и музеи — создавших знаменитое книгохранилище с тысячами древних рукописей; воздвигших музеи христианских древностей, языческих скульптур, египетских идолов; ведших высокую политику и смиренно ждавших часа смерти. Этот час не долго медлит; но вновь, как бесконечная пряжа жизни, является другой старик в покоях Ватикана, а в Соборе новая статуя прибавилась. И вновь — проповедь, политика, искусство, книги.

Никогда не был я под очарованием Ватикана и Собора Петра. Но подходя к эллиптической площади перед порталом, в сердце которой обелиск и бьют искристые, легкие, сияющие фонтаны; при виде колонн входа и колонн, полукружием обнимающих, отходя от Собора, площадь; видя столпившиеся строения, дворцы и галереи направо, вспомнишь о папах, и подумаешь: «Таинственный, вечно умирающий, вечно живой Рим! Рим — первородное и царственное существо мира».

МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО И РАФАЭЛЬ

Может быть, не случайно, что под кровлею Ватикана нашли себе место последние вершины Ренессанса, Микель-Анджело и Рафаэль.

Все мы помним Сикстинскую капеллу — длинную прямоугольную залу; стены ее сплошь расписаны фресками Перуджино, Ботичелли, Пинтуриккио, Гирляндайо и др. Но не в них дело. Не из-за них полна народу высокая зала, и почтительные туристы задирают вверх головы, вздыхают; англичанки издают неопределимо-восторженные восклицания, а служители подносят небольшие зеркала тем, у кого очень уж устала шея. Эти поклоненья человечества, эти взоры, устремленные вверх — прямо или через отражающее зеркальце, направлены на потолок, где Микель-Анджело написал знаменитую свою живопись на тему Библии: рождение мира, человека, его грех и наказание — изгнание из рая и затем потоп. Все это сделано как будто *сразу,* одним напряжением, так, как Бог творил мир. И создатель, одинокий безумец, 22 месяца бушевавший здесь на гигантских подмостках, взял сюжет как раз в рост духу своему и силам: без усилий, будто все сам видел или носит облики запечатленными в душе, пишет он Бога Отца, Свет, Тьму, Первородного Змия, Адама, Еву, Пророков, Сивилл, мрак Потопа. Все мировое, пред чем немеет и смущается обычно смертный; все, что выходит за пределы вероятий, обыденности; где дышит дух Вселенной — все это так же близко здесь Микель-Анджело, как будто бы не Бог, а сам он создал Вселенную. Микель-Анджело был натурой глубоко верующей и почтительной; но плафон Сикстинской говорит о том, что его можно было бы упрекнуть в нескромности: слишком *на равной ноге* чувствует он себя с Господом, стихиями и мировыми силами. Зевс покарал Титанов, восставших на него. Микель-Анджело не восставал; напротив, он Бога славит. Но сама сила его как-то подозрительна. В ней есть сверхчеловеческое; ей чуждо смирение.

Микель-Анджело изображает эпос, но и драму мира. Он не закончил своего цикла. В том виде, как он дошел до нас, цикл останавливается на Потопе. Получается так, что Бог создал человека, человек грешит, его карают. Что же дальше? Спасение и искупление здесь не написаны. Ветхозаветное, великое и грозное выражено могущественно. Точно бы образ Иеговы ближе художнику, чем лик Христа. Вне связи с циклом, в дальней, узкой стороне капеллы, над алтарем изображен Страшный Суд. Там есть Христос. Но и там — хаос и смятение летящих тел, и там трагедия и наказание на первом месте; а Христос сам — могучий атлет; в нем совсем нет сияния и прозрачности, тишины Евангельского Христа.

Микель-Анджело, будучи христианином, и могучей личностью, быль во многом человеком гнева; столь богата его натура, что в других вещах (Pieta, уже помянутая) выражал он нежность

(как и в «Раненом Вакхе», во Флоренции), и светлое любование милым телом; выразил глубокую задумчивость, печаль, величие в лучшем творении своем — гробнице Медичи в Новой Сакристии Сан-Лоренцо; но в Сикстинской — он судия бестрепетный. Он знал и любил Данте; дантовская суровость близка его духу, и от Страшного Суда определенно веет «Адом».

В жизни Микель-Анджело мало кого любил («и Бог меня убей, мессер Микельаньоло, если вы о ком-нибудь отозвались хорошо» — из письма к нему одного строителя). Нам известно, что *очень* он не любил Рафаэля. И если бы мы этого не знали, то достаточно представить их обоих ясно, чтобы увидеть как, и только как мог относиться «мессер Микельаньоло» к «божественному» Рафаэлю.

И в жизни и в художестве Рафаэль обладал даром *очарования*. Этим походил он на загадочного певца, и пророка древности, Орфея. В его наружности, и обращении, как и в его кисти заключался некоторый талисман, привораживающая сила. Как и Орфея, его уважали даже животные, и никогда не трогали собаки. В жизни все давалось ему легко. Слава, богатство, расположение и любовь пап, кардиналов — то, над чем мучительно трудился бы другой, приходило само, покорное зову его обольщения. Это обольщение не было колдовским, или магическим: оно имело характер светлоблагостный. Его жизнь, и его искусство было песней к Богу, песнею, радовавшейся о мире, далекой от трагизма и отчаяния; Бог тоже возлюбил его, и рано взял к себе.

Памятник Рафаэля в Ватикане — так называемые Станцы. Из них главнейшая, давняя соперница Сикстинской — станца della Segnatura[1]: это комната в папских покоях, где раньше помещалась личная библиотека Юлия II, а затем там прикладывались печати к папским breve. Рафаэль в этой светлой, тихой комнате, выложенной мозаикой, отделанной роскошными панелями, написал три фрески — «Афинскую школу», «Парнас» и «Disputa». Хотя «Disputa» значит как будто «спор», «диспут», но ее назвать правильнее «Триумф церкви». Никакой борьбы, напряжения нет. В небесах восседает Бог Отец, Христос, Мария Дева и Иоанн Креститель среди Учеников и Евангелистов. Снизу же Собор пап, епископов, учителей церкви, размышляя о догматах и обсуждая их, устремляется душою ввысь к их Истоку. В «Парнасе» Аполлон, на холме, под лаврами издает смычком божественные звуки, поэты же и поэтессы окружают его, слу-

[1] Делла Сеньятура — «самое совершенное создание золотого века Возрождения» (П. Муратов).

шают, и нежный отблеск зари золотит их. И наконец в «Афинской школе» в фантастическом, легко-гигантском храме Ап. Петр и Павел как бы объявляют истину Собору мудрецов языческих. Здесь также нету речи о борьбе, о споре. Все покойно, ясно, дух великой гармонии все проникает: и величественно шествующих Апостолов, и дальнюю, божественную перспективу храма, и мудрецов, размышляющих на переднем плане. Во всех трех фресках Бог открыто или скрыто наполняет все собою — будет ли то Бог Отец «Disputa», или языческий Аполлон, или само Веяние Господа, как в «Афинской школе». Это Бог света и мира. Ему некого и не за что карать, не на кого гневаться, ибо и так все Ему послушно; все полно к нему благоговения и радости; Он проходит в легком Ветерке мудрости, поэзии и музыки. Все Он уравновешивает; всему дает стройность и прозрачность. Мир Ему мил, Он и не думает о дьявольском. Кажется, Рафаэлю был чужд дантовский Ад, средневековые ужасы, химеры готики. Его корни — христианство и античность, особенно античность, платонизм; но и любовь к земной прелести, просветленная христианством.

Для такого духа как «мессер Микельаньоло» весь, Рафаэль и его фрески, вероятно, были слишком «примиренными». Ему чужда была женственная нежность и мягкость этого юноши, его гармония и стройность. Может быть, если бы он жил сейчас, то сказал бы о Рафаэле: «приятный художник» — и презрительно бы отвернулся. Прав, конечно, он бы не был. Но диаметральность свою с ним подчеркнул бы твердо. В те же времена мрачный Микель-Анджело с переломленным носом, испачканный красками, одичалый, одинокий, безмерно могучий и грозный в замкнутости своей, не мог не ненавидеть блистательного Орфея, одно прикосновение которого к струнам вызывало звуки нежные и обольщающие.

Судьбе угодно было, чтобы они оба отдали себя Ватикану, и навсегда остались в нем соперниками непобежденными, каждый в своем, неразрывно связанные под эгидой папства.

ВИЛЛА МАДАМА

Память о Рафаэле осталась в Риме и помимо Ватикана. В S. Maria della Pace, и капелле Киджи, он изобразил Сивилл; по заказу того же Киджи, с помощью учеников расписал Фарнезину; наконец, на холме, за Римом, выстроил кардиналу, Джулио Медичи, будущему папе Клименту, виллу.

В один из вечеров осенних мы туда отправились.

Перейдя Ponte Molle, на Фламиниевой дороге, идущей от

Piazza del Popolo, взяли налево, берегом Тибра, аллеей платанов, потом медленно стали подыматься на Monte Mario. Сиреневело в воздухе, легкой дымкою Рим затянут; недалеко уже сумерки. Надо бы поспешать, но как раз мы запутались в дорожках по огородам. Подошли к домику огородника, спросили. Старичок, возившийся с лопатой в зеленом своем царствии, длинно и учтиво объяснил, и провел прямиком, через какую-то калитку.

Помню широкий, овальный подъезд к вилле, бассейн с плавающими листьями; вход во второй этаж; огромные, пустынные залы, совсем заброшенные; впечатление одичалости, разрушения. В одной из зал какой-то хлам в углу валялся. Кучи мусора. Позже, когда стемнеет, летучие мыши, наверно, залетят в эту руину.

Но и теперь, в своей запущенности, как внутренно светла, стройна, обильна воздухом и легкостью эта вилла! Два ученика, помощники Рафаэля, трудились тут — Джулио Романо и Джиованни да Удине. Они расписывали стены фресками, тянули фризы богатейшие, наполнили деревенский дом красками яркими и радостными, дыханием природы, света, милого произрастания. На фризах все цветы, и фрукты, птицы; все живет, все преизбыточно, само в себе не умещается, и говорит о прелести природы; о прелестном солнце, об Италии, светлом воздухе, неизбытных мощных соках жизни. Сквозь тленность временного вилла Madama говорит о золотом веке явственнее, чем прославленная Фарнезина. Здесь хотелось бы жить. Здесь само чувство жизни светлее, воздушнее нашего; и невольная зависть берет — позавидуешь тем, кто так чувствовал, и так жил.

Дух Рафаэля властвует над виллой. Но слова его сказаны учениками *более по-земному,* нежели говорил он сам. Он возносился к платонизму, христианству, был творцом легких, гармонически-стройных композиций, но несколько надземных; наряду с глубоким жизненным корнем у него было обобщение, полет, ясное реяние духа. Он — велик; ученики — милы. Но Джиованни да Удине искренне любил своих животных, и свои плоды, цветы; он был ближе к жизни обычной, и, быть может, характерней отразил ту радость бытия, легкость земной поступи, какою обладали люди Возрождения. И он, и Джулио Романо ближе к среде, родившей их, чем сам Рафаэль, возвышавшийся над нею. Потому их творчество так характерно, так дает couleur locale[1] своего времени.

С огромной лоджии виллы Madama виден Рим. Нежно-сиреневая дымка сумерек затягивает его. И темней пятна парков

---

[1] местный колорит *(фр.).*

Боргезе, дальние кипарисы Палатина. Плавно круглится купол Пантеона — Рим неяркого вечера, покойный, с первым золотистым огоньком над мутным Тибром. Пора домой. Через заброшенные сады вновь спускаемся к Тибру, а вилла Мадама, если обернуться, глядит глазастым своим, ветхим деньми, но внутренно живым и светлым обликом.

У Тибра, в скромной остерии под платанами, рядом с усталыми возчиками и простым римским людом, утомленные путники спросят фиаску вина, vino dei Castelli Romani. В сиреневом вечере будут слушать кудахтанье кур, громыханье проезжающих повозок, крик осла. Рим затянется мглой, дымносизой вуалью. Ярче заблестят его огни. Темней станут ближние платаны. Возчики разъедутся.

Путь наш лежит длинною via di Porta Angelica мимо казарм к Ponte Margherita.

РИМСКИЕ ВЕЧЕРА

Вечер Риму идет. Захватил ли он вас на мосту через Тибр, когда пепельно розовеет закат над Ватиканом, а в кофейных волнах, быстрых струях, ломаются золотые отражения фонарей; или на Монте Пинчио, вечер краснеющий, с синею мглой в глубине улиц; или у Капитолия, тихий и облачный, когда стоишь над Форумом, в глуби чернеют кипарисы, Арка Тита, даль за ней смутно-фиолетовая да несколько золотых огоньков — всегда это очень сливается с Римом, всегда ощущаешь — вот это и есть стихия его, задумчиво-загадочная. Это она поглощает пестроту, шумность дня, выводит душу ночную; освобождает те великие меланхолии, которыми Рим полон. В сумерках грандиозней, молчаливей Колизей; ярче блестят глаза одичалых кошек на Форуме Траяна; величественней шум фонтана Треви, неумолчно говорящего о проходимости.

Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют окна виллы Мальтийской, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсинных дерев с яркими, сочными плодами, как на райских деревцах старинных фресок. Авентин, да и вся местность к югу от него, к стенам Аврелиана — очень странная. Это Рим, город, *но никто здесь не живет!* Таково впечатление. Тянутся сады, огороды, какие-то заборы. Среди кочнов капусты, брокколей, латуков попадаются низины, сплошь заросшие камышом. Меж этих камышей и огородов — руины циклопических стен Сервия Туллия, сложенных из гигантских глыб туфа. Да вдали вздымаются остовы Терм Каракаллы,— мрачной громадою. Разве

все это не вечер, не величественный закат? По viale di Porta S. Paolo выходишь к обрыву Палатина, видишь зияющие пещеры в субструкциях дворца Севера и по via di S. Gregorio направляешься к Колизею. Вся эта улица в тенистых деревьях. Арка Константина замыкает ее, и портал храма Григория Великого величаво выступает справа, среди садов, деревьев, тишины. Здесь влажно и безмолвно. Все необычайно, не похоже ни на что — лишь Рим способен был производить все это, и над этим задремать.

Розовеющие купы облаков на небе. Пахнет сыростью; осенняя листва шуршит под ногою — слабый аромат тления. Недвижны барельефы и триумфы Арки Константина.

Ни человека, и ни лошади, ни трама!

ВЕЧЕРА В РИМЕ

После дневных блужданий, утомленный, но и легкий, путник наверное окажется на Корсо. Может быть, выпьет чашку кофе в международном кафе Faraglia[1], на Piazza Venezia. Или же пройдет подальше, к знаменитому кафе Aragno.

В пышных и нарядных залах его в это время многолюдно. Даже на улице, на тротуаре толпа окружает столики. Особенные молодые люди — мы называли их uomini politici[2] — целым стадом стоят перед Aragno, запустив руки в карманы брюк и непрерывно вороша ими. Они надвинули на лоб канотье свои, и быстро жестикулируя, волнуясь, целыми часами болтают, спорят, горячатся, будто дело идет невесть о чем важном; оценивают женщин, слегка гогочут при случае. То же и внутри кафе; но там сидят, на бархатных диванчиках, курят, пьют кофе; и бесконечно, и бесконечно болтают. Тут журналисты, и студенты, и биржевики, и депутаты с Montecitorio, из недалекого парламента. Остряки утверждают, что министерства итальянские родятся и свергаются в кафе Aragno. Вот уголок, где заседаем «мы», русские, во второй зале, у стены. Все «мы» в довольно дружелюбных отношениях — и между собой, и с камерьерами, дающими «нам» кофе. Как везде, нас считают за второй сорт, но сама Италия в глазах порядочного европейца тоже второй сорт; нам и легче. «Мы», конечно, отличаемся от итальянцев худшею одеждой, мы волосатей и небрежней, медленнее говорим, нескладней ходим, больше пьем.

— Ancora due bicchieri per russi![3] — кинет ловкий камерьере

[1] Морская скала *(ит.)*.
[2] юноши политики *(ит.)*.
[3] — Еще два коньяка русским! *(ит.)*

на ходу своему коллеге, и мигнет в нашу сторону. Это значит, что «мы» продолжаем вдохновляться коньяком Мартелем. Синева табачного дыма, вечное движение, легко снующие камерьере, несмолкаемый, имеющий гармонию свою, ровный гомон человечества. Но вот рядом, на диванчике у стены, за мной, говор вспыхивает, собеседники хлопают по мраморному столику, бьют себя в грудь, тычут пальцами друг другу чуть что не в лицо — я оборачиваюсь; спорят молодые люди. Точно бы они поссорились, сейчас дуэль. Прислушивайтесь — дело проще: одни доказывают, что на via Babuina комнаты дешевле, чем на via Aurora. Другие не соглашаются. Наш Ф. вспыхивает и, считая себя тоже итальянцем, раздувая бакены подобно жабрам, быстро, резко ввязывается в спор. Это Италия — страна величия, поэзии, страна детей, бесхитростных uomini politici с руками в карманах брюк.

Часто случается, что из Aragno переходим в другое убежище, также недальнее — Antico Cafe Greco. Это также некая слава Рима, но в другом роде. Если Aragno шикарно и многолюдно, если оно «современно», то кафе Greco скромно и просто до предела, но гордо славою своею полуторавековой. Это кафе художников, артистов и писателей. Гете пил здесь кофе; наш Гоголь философствовал с Ивановым; и бесчисленные малые художники украшали кафе картинками, бюстами, скульптурами. Здесь невзрачно; днем темновато; все обсижено, обкурено и закоптелое. Нет претензий. Но нечто покойное, чинно-старинное живет, вызывая почтение. Вечером зажгутся рожки газовые; они горят зеленовато-золотисто; посетители тихо расселись по углам, читают газеты, играют в домино, в шахматы. Благородная эта игра прочно тут процветает. В Cafe Greco тепло, слегка пахнет кухней; на скромном диванчике в дальнем закоулке долго можно сидеть, слушая гудение газа, у надписи под портретом: «Николай Васильевич Гоголь». Вежливый камерьере принесет чашку кофе, и за скромные чентезимы нальет рюмку вермута. Можно сидеть, курить, мечтать — никто не помешает. Разве шахматисты загремят фигурками, соберут их, расставят в боевой порядок и начнут плести сеть молчаливых хитросплетений. Cafe Greco имеет простоту и тишину, нужные Риму.

Это вечера обычные. Иногда же зайдет путник в кинематограф у глянцевитого туннеля под Квириналом, и за лиру окунется в мелодраму, фарс, и в чепуху; посмеется, посмотрит итальянскую толпу. Если же серьезнее настроен, может пойти в концерт. Приятны симфонические концерты в Augusteo, близ S. Carlo. Кругообразная руина мавзолея Августа приспособлена под залу. Получился амфитеатр; его накрыли крышей стеклянною, и раз

в неделю симфонический оркестр, под управлением кого-нибудь из знаменитостей, оглашает древнюю могилу — Бетховеном, Чайковским, Листом. Бурно дирижировал там наш Сафонов. Звезды золотились через стекла над сидевшими, и над игравшими.

И еще вечер, особенный, я вспоминаю. Мы отправились на Piazza Colonna. У знакомой булочной, близ Palazzo Boccone, вдруг увидали цепь солдат. За ними, на площади, шумела толпа. Мы вошли в булочную; нам сообщили, что это демонстрация против австрийцев. В Вене побили итальянских студентов. Студенты римские не пожелали смолчать. Заварилась каша. Мы вышли — и, родившись русскими, не могли же мы не вспрянуть. Солдаты посмеивались, якобы не пускали, но настроены были явно сочувственно. Кто мог в Италии, в 1908 году, любит австрийцев? И в конце концов на площадь можно было попасть. Там орали, бегали, свистали молодые итальянцы. Ловкие, худые, быстрые, засовывали они два пальца в рот, и свист пронзительный, нечеловеческий, летел по площади, с колонной Марка Аврелия, увенчанной Апостолом. Апостол неподвижно каменел на высоте. Для него свист недосягаем. Свист направлен к Palazzo Chigi, где сидят в своем посольстве важные австрийцы. Вот толпа напрет, хлынет туда — полицейские ее оттеснят, она отпрянет; но уж молодые римляне собираются в другом углу — визг, кошачий вой, палки, камни и гнилой картофель летит в зеркальные стекла.

Было весело. Италия подвижная, живая, нервная, не терпящая рабства!

И наша булка полетела, протестуя. И мы свистали. Два окна австрийцам выбили. На другой день Титтони ездил извиняться, но извинялся он притворно. Стекла вставили за счет правительства. Рим же, простой и высший, был на стороне нашей.

ДОМАШНИЙ БЫТ

Но возвращаемся домой, к тесной и грязноватой via Belsiana, что у Корсо; есть тяготение посидеть в мягком кресле, почитать, заварить русского чаю. Войти в свой скромный, ежедневный быт.

Вот какова наша обстановка: квартира огромная. Ее хозяин — итальянский врач, не то акушер, не то гинеколог, а не то просто шарлатан. Его почти и не бывает дома. Квартира малообитаема. Длиннейший коридор ее пронизывает; тут дверь и в ванную, и в хирургическую, и в приемную, и в кабинет, в гостиную — везде полутемно, спущены жалюзи, и целый день сквозняк. Две

наши дамы — хозяйка, девочка, и кухарка Мариэтта, худенькая, востроносая дуэнья лет под пятьдесят — всю, кажется, жизнь проводит в кухне. Днем, до четырех, можно их встретить в коридоре, полуодетых, в нижних юбках и неустроенных прическах.

— Ах, scusi tanto!

И убегают. А назавтра то же самое, та же зеленая шелковая нижняя юбка, те же смоляные, никогда не моющиеся косы римские; та же худенькая девочка с грязной шеей, похожая на обезьянку. Иногда появляется, впрочем, il dottore[1] — здоровенный, с лоснящимся пробором и золотой цепочкой. Тогда в комнате рядом несмолкаемый щебет; вынимают какие-то вещи, перекладывают, считают, слышны лиры, чентезимы, идет работа. Может быть, это вовсе и не доктор, а торговец какими-нибудь контрабандными товарами или тайный процентщик. Все возможно в старом Риме с просырелыми домами — видавшем виды всякие, ничему не удивляющемся.

С нами дамы приветливы — большого мы не ждем. Если встретишь их под вечер на Корсо, она в бриллиантах, девочка разряжена и завита. Иной раз катаются они в наемной коляске, иногда чинно сидят у Aragno, пьют шоколад. Дома же единственный их друг, помощник, собеседник — Мариэтта, и в чаду кухни, над дымным очагом — их дневной клуб; вечером там же они ужинают, у того же огонька.

К вечеру в римской квартире, осенью, холодновато. Окна запотели. Мы закрываем ставни, разводим на спиртовке чай, пьем, читаем, а ноги мерзнут, и на плечи не грех накинуть что-нибудь. В десять дверь отворяется,— востроносая, быстроглазая Мариэтта.

— Occorre altro?[2]

Неизменный вопрос. Не нужно ли еще чего?

— Niente[3].

— Buona notte. Buon reposo[4].

Это формула тоже сакраментальная. Теперь ясно, что началась ночь. И скоро, правда, мы укладываемся на гигантские латинские постели, под мягкими перинами, нагружая на себя пальто, платки, что можно, чтобы было потеплее. В это время с улицы доносится:

---

[1] доктор *(ит.)*.

[2] Не нужно ли чего? *(ит.)*

[3] Ничего *(ит.)*.

[4] Доброй ночи. Хорошего отдыха *(ит.)*.

— Uno! Tre! Nove! Sei![1]

В первый раз даже вздрогнешь. Голоса хриплые, воспаленные; что-то бандитское в них есть. Но дело просто. Если встать, приотворить окно и выглянуть, то на углу увидишь человека три-четыре, быстро наклоняющихся, жестикулирующих, как бы хватающих друг друга за руки. Делается все необычайно быстро. И непрерывный аккомпанемент:

— Cinque! Tre! Sette![2]

Это игроки в *морру*, знаменитую игру Италии.

Дело в том, чтобы угадать, сколько пальцев одной, или двух рук выкинет ваш противник. Называют и выкидывают одновременно. Рядом стоящие следят, чтобы не было мошенничества, но, конечно, споры постоянны. Доходит иногда и до ножей. Морра поэтому запрещена. Поэтому, в нее играет вся Италия, но по ночам, по закоулкам, тайно.

Игроки в морру — первые петухи римской ночи; вторые позже бывают, и не столь регулярно; в час, во втором. Вдруг на улице крики, теперь уже женские, быстро близящиеся; слышен стук каблуков, шелест платьев, возгласы; и столь же живо как возникли, удаляются эти возгласы. Потом мужские голоса, топот мужских ног — и стрелой несущаяся, отдельная беглянка. Это борьба с культом Венеры, которой Рим, по традиции давней, служит не без исправности. Стая ночных нимф, пролетавшая по via Belsiana — уличные преемницы тех куртизанок, что во времена Рафаэля и Льва X писали латинские стихи и принимали во дворцах своих, на via Giulia. Их описывали и Аретино и Банделло. Их заставляли, во дни оны, во Флоренции, нашивать желтые полоски, а еще раньше — носить на капюшонах погремушки. В двадцатом веке их преследуют ночами. Но как тогда они процветали, так и теперь бесцельна борьба с Венерой, хотя бы и Венерой площадной, в стране, где самый воздух опьяняет. Где культ женщины и любви — многовековыми корнями укреплен; где женщина до небес прославлена; и если хитрость и обманы, легкомыслие и ветреность ее осмеивались иногда — то не было еще в Италии таких, кто к женщине бы относился безразлично.

Наконец, и это стихло. Наступила ночь, полная и настоящая. В ней, после дневных странствий, впечатлений, чтений, после дня яркого спишь крепко и легко, запасая силы для дня следующего, когда вновь будешь пить мир — красоту, величие его и славу — глотками жадными.

---

[1] Один! Три! Снова! Семь! *(ит.)*

[2] Пять! Три! Восемь! *(ит.)*

СЛАВА РИМА

Много слав у Рима. Некоторые мы уж знаем. Форум, Капитолий — слава древней гражданственности. Ватикан — слава католическая в союзе с Ренессансом. Мы не видели еще одной славы, тоже древней, очень скромной и прекрасной: славы первохристианства. От жизни пестрой, повседневной направимся мы в базилики, катакомбы и в окрестности, где остались нешумные, но трогательные следы времен Апостольских.

ПЕРВОХРИСТИАНСТВО, КАТАКОМБЫ

Базилик раннего христианства в Риме довольно много. Есть общее во всех них. Это храмы простые, несколько грузные, в большинстве трехнефные, с двумя рядами древних колонн. В них мало украшений. Скорее — впечатление суровости, той сдержанности — бедности строителя, когда недавни еще мученики, когда едва лишь победило христианство. Мир им еще не покорен. Главная их краса — мозаики. Ими выложена абсида; иногда тянутся они рядами над колоннами нефов. В храмах, особенно же в абсиде, не весьма светло; всегда пустынно, тихо, мало служб, и древний в них, благоговейно-застоявшийся воздух. Мозаики неясно золотеют и синеют. Христос с посохом пастыря; он суровый, изможденный; вокруг Апостолы. Иногда овечки внизу пасутся. Пахнет кипарисом, ладаном. Медленно пробредет прислужник, да паломник остановится над колодцем, в середине храма, где покоились кости мучеников. Церкви эти тесно еще связаны со временами мученичества: храм св. Пуденцианы относится к IV веку, св. Пракседы, св. Лаврентия за стенами — к V.

У св. Пракседы мы захотели войти в древнейшую капеллу св. Зенона. Эта капелла заперта. Мы попросили отворить, к нам подошел монах, заглянул неласково — спросил:

— Католики?

— Нет.

— Тогда нельзя.

И, молча повернувшись, удалился. Единственный раз, в Италии, дохнул дух древней нетерпимости.

Но к ветхому храму, в честь св. Пракседы, в доме которой останавливался Ап. Петр, это подходит. «Вы, праздные туристы, вы здесь ходите и рассматриваете, а для нас это место священного поклонения. Омойте руки у входа, помолитесь, и тогда мы пустим вас».

Многие древние церкви Рима — за городом: св. Лаврентия,

св. Павла, св. Агнесы. При последней есть катакомбы; я видел их.

Был зимний сероватый день, после дождя. Облака летели, стояли лужи, когда быстрый трам мчал нас за Porta Pia по via Nomentana, где некогда плебеи уходили на священную гору (эта «гора» — скромный холмик). Пробегали дома, дачи, сады — все современное. Наконец, мы остановились у тяжелой угловатой церкви с четвероугольной кампаниллой. Два тощих деревца росли пред ней. Ветер рябил воду в большой луже, по которой шипели колеса уходящего вагона. Вдалеке в хмурых тучах виднелись горы и синеющая, чуть туманная Кампанья.

Церковь выстроена на могиле св. Агнесы. Внутри она сильно переделана, хотя, конечно, план ее остался. Остались древние колонны, мозаики в абсиде, VII века — св. Агнеса между папами Симмахом и Гонорием. Роскошь потолка, портреты, гербы удаляют от первохристианства. Но при ней есть катакомбы, вводящие в его сердце.

Мы спускались по лестнице. Рядом, на стенах, были вырезаны имена мучеников. Проводник дал нам длинные, тоненькие свечки и пошел вперед, засветив свою. Вот они, катакомбы, царство подземное! Узенький бесконечный коридор; вдвоем трудно разминуться. Тьма полная, и лишь красноватое, неверное пламя свечей наших дает возможность увидать пористую, изрыхленную землю по бокам, и ниши, куда гроба вставлялись. Ни гробов, ни останков не существует более; это скромный, сложный, опустелый улей смерти. Кое-где проводник остановится, приблизит свечку к надписи, к высеченному на камне символу — агнца, креста, рыбки: и опять мы бредем дальше, спускаемся и подымаемся в другие галереи, как бедные тени, направляющиеся в Аид. Ну а вдруг наши свечи погаснут? Вдруг собьется проводник с пути? Все приходит в голову. Вспоминаешь из книг, что возможно,— все катакомбы Рима между собою связаны; что считают — в них было погребено до шести миллионов христиан. Вспоминаешь рассказы, как ушла группа семинаристов в катакомбах св. Калликста, да и не вернулась вовсе, заблудившись. И чувство жуткое, но величавое овладевает. Вот он *еще* Рим, новый: темный, душный, подземельный, с маленькими молельнями, с древними службами, с древней, но преодоленной смертью. Рим, напоенный таинственностью, мученичеством, светлой верой, оплакивавшей здесь покойников, но и гордившейся божественной их участью. Пусть наверху пируют и торжествуют Кесари: мы, скромные кожевники, рабы, отпущенники, дочери сенаторов, патриции и последние бедняки Субурры — все вместе низойдем в эту юдоль слепую, дабы здесь

погребать братьев наших, молиться, принять смерть. Пышности, блеску мира надземного мы предпочтем Иерусалим Небесный... А душе нашей из потемков этих он еще дороже, еще ближе.

Все же теперь, проходя по молчаливым закоулкам этим, человек начинает хотеть света, воздуха. Свечи наши потрескивают; пламя их все красней. Сильней бьется сердце, хочется вздохнуть пошире.

И когда, после получасового странствия, выходишь вновь на землю, она кажется милей и радостнее прежнего. Да и правда — разогнало тучи, солнце бледным, светлым лучом выглянуло, и разбросало волнистые свои пятна по далям Кампаньи; засветило сиянием ровным, далеким, горы Альбано. Благоуханной свежестью оттуда тянет. Слышен жаворонок — житель, певец и хвалитель Кампаньи. Сколько ни высок Иерусалим Небесный, но тут радуешься и на земной.

QUO VADIS?

Четыре часа дня — день тихий, бессолнечный, с синеюще-опаловыми далями. Мы у ворот S. Sebastiano, за городом, на Аппиевой дороге. Здесь знаменитая дорога ничего не представляет из себя особенного: она замкнута по бокам невысокими стенами, за ними огороды, виноградники, сады. В отворенную калитку увидишь зелень, работающую крестьянку; проедет в таратайке кто-нибудь, подымая пыль, женщина пройдет к городу с корзиною на голове. Путь слегка под гору, к речке Альмоне. Эта речка болотистая, заросла тростником. Легкий ветерок камыш качает, он шуршит, шуршит, без конца, без начала... Эти камыши под Римом — их немало в Кампанье — мне всегда казались удивительными. Сколько безлюдия, пустынности! И сейчас они скажут о необыкновенной, странной местности безмолвия и вечности, что опоясывают Рим. Если обернуться, то за камышами видны стены Рима, с зубцами, тяжкими башнями, тоже в зубцах. А поднявшись, от моста повыше, миновав скромную остерию, подойдем к небольшой, тоже скромной часовне. Имя ей — Quo vadis.

Здесь встретил Христа Апостол Петр. Как тогда, ночью, во дворце первосвященника, на слова: «Вот этот был с ним» — учение ушел, как бы отрекся; так теперь он убоялся мученичества, и в день, быть может, такой же бледно-сиренево-опаловый, выходил, спасаясь, за ворота Рима. Был у него мешок за плечами? Быть может, были там пшеничные лепешки и головка лука. Пыльные сандалии да посох, вот и все. Но — и того много.

Христос шел к Риму.

— Domine,— спросил Апостол.— Quo vadis?[1]

— Venio iterum crucifigi[2].

Апостол устыдился, как некогда в Иерусалиме. И как раньше, вновь пошел за Христом и пришел в Рим, и принял мученичество на месте, где теперь Собор; и в смирении, чтобы не равняться с Господом, просил распятия головой вниз, и был распят. «Ты, Петр, и на сем камне осную Церковь мою, и врата адовы не одолеют ю.»

Да, наверно, такой же опалово-сиреневый был день, и так же камыши шуршали, и молчала дальняя пустыня; и нет времени, и то, что было, длится, и Апостол, и Христос в пыльных сандалиях бредут к Риму.

Среди камней древней, грубой мостовой вставлен кусок мрамора с отпечатком ноги. Это стопа Христа. Поклонимся святому месту, пойдем далее, многие сотни христиан здесь проходили, перед вечером, в направлении катакомб. И Христос да будет с нами, как был с ними.

АППИЕВА ДОРОГА

От часовенки Quo vadis недалеко и до катакомб Калликста. Все еще по сторонам дороги каменные стены; все еще калитки. И одна из них с аллеей вдаль, по винограднику, указывает на катакомбы. В глубине группа кипарисов. Если бы мы зашли туда, то монах, более ловкий, чем у св. Агнесы, водил бы нас опять со свечками по бесконечным переходам под землей, слащаво, умиленно прославляя древние часовни, называя мучеников и епископов. Это — самое знаменитое из древних мест погребения: здесь похоронена св. Цецилия, здесь найдена была крипта первохристианских пап. Многое ушло уже; но и сейчас живо можно представить себе скромный вход, в саду какой-нибудь знатной римлянки, среди подобных же кипарисов и виноградников, в город мертвых. Таинственность спусков, иногда по откидной лестнице, с условленным паролем для собраний; тишину и благоговение подземных служб, рыдания, в сумерках, над телом мученика.

Все это волнует. И Аппиева дорога настраивает серьезно, важно, как и подобает кладбищу.

На самом деле, можно назвать ее путем гробниц. Против катакомб Калликста — катакомбы св. Претекстата; на дороге delle sette Chiese[3], пересекающей Аппиеву — св. Нерея и Ахил-

---

[1] Господи, куда идешь? *(лат.)*

[2] После пойдешь за Мною *(лат.)* Из Евангелия от Иоанна, гл. 13, ст. 36).

[3] Восьми церквей *(ит.)*.

лея; дальше еврейские катакомбы, и еще далее, за монументом Цецилии Метеллы, круглой башней восстающим на пригорке — начинаются гробницы языческие.

От Цецилии Метеллы, если обернуться, виден Рим; нечто от Иерусалима есть в облике его отсюда. Плоские крыши, невысокие дома, дальний купол, пустыня, обнимающая вокруг, горы... Священное и древнее во всем этом.

Кампанья расстилается теперь широко. Видны Альбано и Фраскати в голубеющем тумане. Небо прояснело; и мирное солнце выхватило дальним, сияющим лучом средневековый городок на возвышении — какую-нибудь Палестрину. В нежной голубизне акведуки идут по равнине, тихой и безглагольной; пасутся стада овец. Их стерегут пастухи в кожаных штанах — личности древние; свежей античностью от них веет.

И в золотящемся вечернем солнце — холмики, курганы, саркофаги, по обеим сторонам дороги. Полуразрушенные храмики. Над ними пинии. И — ни души! Разве скромная двухколеска протрусит — опять плавные ястреба в небе, звон жаворонка, легкие призраки Сабинских гор. Если смерть есть покой, то лучшего орнамента не надо ей. Ибо все здесь — вечность и безмолвие, остановившиеся облака, безбрежно-голубое небо. Язычник, иудей, христианин, легшие в эту землю — все одинаково друг другу братья. Бог, посылающий им жаворонка, свет солнца, благоухание равнин пошлет и душам отошедших мир. Аминь.

S. PAOLO FUORI LE MURA

Если Quo vadis — памятник Апостола Петра, то храм S. Paolo — пышная слава Павла.

Сама дорога к храму интересна. В Риме она идет у Тибра, мимо Авентина, золотеющего в лучах вечерних уединенными садами. Проходит далее, кварталом бедным, шумным, будто подходящим для того, чтобы всегда здесь жили мелкие ремесленники, сапожники, ткачи, среди которых проповедовал Апостол. Небольшой Monte Testaccio, создавшийся из черепков посуды битой, веками сюда кидавшейся, остается влево. Миновав загадочную пирамиду Цестия у городских ворот, мы выезжаем на дорогу в Остию. Она бедна, пыльна; какие-то домишки люда несытого, харчевни, остерии; справа Тибр вьется к морю, равниной беспредельной и пустынной. Там, куда солнце клонится — море, и туда оно уйдет. Среди болотистых низин там Остия, некогда громкий порт, ныне раскопки, да могилы, лихорадки. Из этой Остии, наверно, отходили парусные суда в дальние края к востоку; и быть может, что самих Апостолов доставило

сюда одно из судов этих. И — в том нет сомнений, что их пыльные сандалии постукивали по пути остийском. Здесь где-нибудь в корчме, под Римом, Павел ночевал; а с зарей продолжал путь к месту славы и кончины. И мы не удивимся, встретив на дороге этой, скромной и нехитрой, как само первохристианство, капеллу, на стене которой высечены две мужские фигуры: Петр и Павел. Тут в последний раз пред мученичеством Апостолы увиделись, и тут прощались. Такова легенда.

Самый храм Апостола подальше. Рим остался совсем сзади, лишь всегдашний купол S. Pietro плавно закругляется. Храм Павла испытал несчастие: в 1823 г. сгорел, и теперь отстроен заново. Лишь его план, гигантские размеры, пять нефов и четыре ряда колонн говорят о былой славе. Все-таки она сохранилась и теперь. Трудно представить себе блеск и свет этого храма, сияние колонн, чувство простора и зеркальности, какие там ощущаешь. Это, конечно, не древнехристианская базилика. Это нечто *по поводу* базилики, созданное, как и Собор Петра, папством. Но дух величия, дух грандиоза есть в храме Павла. Быть может, Піранези он понравился бы.

Помню и медальоны, где-то высоко, под потолком — бесконечный ряд пап, в мозаичных изображениях. Тут все Сильвестры и Симмахи, и Калликсты, и Григории, и Львы, и Павлы, Юлии и Александры, Пии, Бенедикты, вновь беспредельная династия двух тысяч лет. А Петр и Павел, разлучившиеся там на смерть, по дороге в Остию, здесь вознесены колоссальными статуями у входа в неф.

Солнце ударило красными шелками сквозь верхние окна, заалело на стенах, напомнило, что римский вечер наступает. Бегло мы взглядываем на дивный монастырский двор, с портиком в витых колонках, и выходим к траму. Некогда уж посетить Tre Fontane, где Апостол был казнен: это довольно далеко отсюда. По преданию, отсеченная голова его, покатившись по земле, трижды остановилась. И из каждого места забил источник.

Мы вспрыгиваем на подножку трама. В свежем вечере, оранжево-золотистом, с отблеском зеленоватого, он уносит нас обратно, в дальний Рим, равниной бедною, под тем же небом, что взирало на отрубленную голову Апостола. А прохладный ветерок из Остии доносит ту же влагу, запах соли, моля, водорослей, что и две тысячи лет назад, на заре, вдыхал Апостол, направляясь в Рим.

Benedictus est Dominus et nunc, et semper, et in saecula saeculorum[1].

---

[1] Благослови, Господи, и ныне, и присно, и во веки веков *(лат.)* — из молитвы.

ДУХ РИМА

Чтобы ощутить Рим полнее, надо побывать в его окрестностях. Мы уже были на Аппиевой дороге. Но еще и еще надо бродить, на закате, среди ее могил, под огненным солнцем, опускающимся за море, над пылающей равниной. Видеть серебряные, при луне, горы Альбано, посетить Тиволи, город таинственной Сивиллы, роскошных водопадов, диких гор и оливковых рощ; взглянуть на Рим с террасы виллы Адриана, в вечернем безмолвии пустыни; вдохнуть странный запах синих серных вод — Aque albulee[1]; посмотреть на стада, пасущиеся в Кампанье, на пастухов в кожаных штанах, с библейскими посохами. Послушать бесконечных жаворонков, заливающихся в свете, напитаться лазурною безбрежностью этого неба, к которому, плавно катясь, восходит равнина, замкнутая волною гор.

Многие из гор вулканического рождения. И вообще это край вулканический. Он носит следы давних загадочных перемещений почвы, и сама почва здесь особенная: необычайно древняя. Столь древне все под Римом, что как будто ощущаешь оцепенение веков, повисших в прошлом. Произрастания земли и жизни людей слились. Неведомая сила выдавила воронковидные, уединенные холмы, раскинутые по Кампанье, увенчанные вековыми городками — Паломбарами, Монте-Компатри. Целые океаны голубого воздуха их разделяют, напояя неземной нежностью их очертания.

Всегда мне странною казалась земля Рима. Это не Тоскана. Тоскана молодая, бодрая, живая; здесь — прах тысячелетий. Мелкая, рассыпчатая почва, крошащаяся, точно удобренная кровью поколений людских, перегорелая и отжившая; вся пронизанная катакомбами, сверху изрытая пахарями и теперь заброшенная. Если Рим столица, то почему вокруг на десятки верст пустыня? Почему окрестности мирового города возводят к Библии, равнинам Палестины, Сирии? Рим будто заколдован. Он оцеплен кольцом доисторического. Государства сменяются, народы волнуются, а Вечность дышит вокруг Рима немыми небесами, бессловесными стадами, всегдашней песнью жаворонка в голубоватых далях. Да безродные камыши, спутники болотистых низин и речек, шуршат невнятно. И лишь купол Петра, круглый шатер человека в пустыне, пред лицом Бога, говорит о Гении, о духе Единения.

В кругообразной равнине, orbis terrarum, Рим возник единящею силою. Может быть, из вида этого *круга земель* выросло

---

[1] Источник белопенный *(ит.)*.

у римлян ощущение, как позже у католиков и пап, о средоточии вселенной. Это чувство *дух делания* осуществлял. Город таинственный стал господином мира, прежде физическим, государственным, позже духовным. Городу с такой судьбой не надлежит быть простодушным.

Рим, если вглядеться, вслушаться, сохранил и поныне великую свою серьезность, важность и величие. Столь он покоен в значительности своей, что никакая суета его не поколеблет. В сущности, где бы ни находиться в Риме, всюду вам следует музыкальное сопровождение. Есть глубокая задумчивость и меланхолия в этих звуках. Есть сознание великих дел, великих чувств, страстей, молений, преступлений, откровений, пролетевших — и истаявших.

— «Да, я жил: дикий Ромул, братоубийца, обводил свою борозду на Палатин. Легендарные цари завоевали Вольсков, и Сабинян, и Этрусков. Республика создавала законы. Цезарь видел славу, гибель; императоры безумствовали; и власть моя распространялась над всем миром. Я видел странных христиан — полурабов, полуневежд, поваливших богов моих; я испытал позор и разорение от варваров; веками пребывал я в запущении; стада паслись на моем форуме, но я вновь возник, дал миру благодать искусства, бездну религии, сладость напевов христианских. Свет просвещения моего вновь пронизал мир; и как стоял вечно, так вечно и простою. Но я знаю жизнь, ее печаль и бренность, ее великую серьезность. Как полубог, окутан я легендою; треножник Пифии курится у моих ног; судьбы мои темны. Я, древний, важный, все видавший, испытавший, бесконечный Рим!»

В Риме нет ничего женственного; это воин, мужчина, делатель; мало в нем и художника. И потому любовь к нему — особенная; в ней нет той светлой нежности, воздушности, очарованья зажигающего, как в чувстве к Флоренции. Блаженно-райское мало идет к Риму. Слишком он грозен и трагичен, сложен, и меланхоличен. Рим хорош для глубокого собирания души. Недаром Гоголь так любил его. Там он читал Гомера, Библию и Данте.

И не напрасно Рим живописуя, рисовал вечер. Рим есть город вечера. Самые глубокие и острые в нем чувства — на закате. И сама ночь, сходящая столь быстро,— особенная ночь.

Ночь высвобождает его душу; в ней окончательно смолкает суетное, и яснее вечное. То, что в Риме есть от Пирамид, от Сфинксов, то звучит слышнее в час полуночный.

Если поужинать у фонтана Треви и направиться к Корсо, то Рим предстанет в полусонной летаргии. Может быть, есть

огни у Aragno; еще едут экипажи из театров, но прохожих мало, и одна за другой ставни запираются, тухнут светившиеся окна. Бледный месяц, из-за облаков, бежит беззвучно; дымное, сизеющее его сияние одевает улицы опалово-молочным. Пересекши Piazza Colonna, миновав парламент, попадаешь в угрюмые, холодновато-мертвенные переулки, что выводят к Пантеону. Одиноко, сумрачно он воздымается; гордо несет купол свой; темновато меж колонн его портала. Здесь никого не встретишь. Четко звучат шаги, плиты влажны, легкий туман встает в воздухе. Это старые кварталы Рима, с домами просырелыми, улицами узкими, с сумрачными дворцами, как крепости, вырастающими на углу. С Piazza Navona шумят фонтаны. На ней светлее, и туман прозрачный. Старый Нил — детище Бернини, беспредельно шумит струями своими, отливая серебром и жемчугом в месячном сиянии. Два сержанта в плюмажах, в белых перчатках, бродят у бассейнов, близ пыли, облака брызг. Нил не устанет изливаться. И куда бы ни зайти в пустынный час Рима пустынного, музыка вод будет сопровождать. Ибо Рим — город фонтанов. Божества влаги издавна почитались здесь, и благоволили к Риму сами. Воды летят в Риме высоко, как у Собора Петра; несутся плавными струями в Aqua Paola; журчат в бассейне на Испанской площади; ими кипит вся стена у Фонтана Треви, в сложных и рассчитанных каскадах; нежно бьет тоненькая струйка в чашу на Монте Пинчио; и бесчисленные тритоны, наяды, божества рек извергают ее из своих глоток по различным местам Рима. Музыка вод есть музыка меланхолий Рима, возводящая к беспредельности. И она, как сам Рим, слышнее ночью, когда слабенькая струя источника, чуть не на любом перекрестке, не теряется ухом.

Молчаливыми улицами, мимо дворца Фарнезе, попадаешь к via Giulia, которую папа Юлий сплошь собирался застроить дворцами. Он не осуществил намерения. Она глуха, мрачна и молчалива,— она выводит к Тибру. Вновь увидишь воды, кофейно-мутные, быстротекущие, слегка блистая рябью золотистой. Платаны набережной зашуршат от ветерка — умолкнут. Парочка притаилась на скамейке. Выгибая спину, одинокий кот пробежит по парапету, и скакнет на дерево. Издали Ватикан маячит, да угрюмо темнеет громада S. Angelo[1].

Рим — не для молодости. Но человек, видевший уже жизнь, знающий ее цену, знакомый с горем; тот, для кого недосягаема уже сияющая черта юности — тот Рим полюбит любовию ясной и глубокой. Чары Рима известны. Достаточно подпасть им, и

---

[1] Замок Святого Ангела *(ит.)*.

волшебник уж не выпустит; где б ни находился человек, все будет он вздыхать по Риму ровному, покойному, и важному, как вечность.

Сельцо Притыкино, Тульской губ.,
1919 г., декабрь месяц.

РОЖДЕСТВО В РИМЕ

Розовая девушка Джованнина, из Перуджии, просунула утром в комнату поднос: кофе. Это потому, что встаем мы поздно и к табльдоту опаздываем. Мы пьем кофе и топим камин римскими щепками. Здесь они, однако, дороги. Но римский огонь — все же огонь, и греет. Серый день, декабрь, сухая изморозь и слегка туманно. Видны белые стволы платанов. Ветер подхватывает опавший лист. У ворот виллы Боргезе извозчики играют в карты. Позже — принесут им жены завтрак, и у себя же, в пролетке, подняв верх, закусит римский гражданин козлятинкой, вином, чиполлой.

Я еду в Ватикан. Там ходим мы с знакомыми американками в апартаментах Борджиа. Три американских девицы одеты просто, просто причесаны, одна в пенсне; напоминают курсисток из Петербурга. Мы объясняемся на очень плохом французском. Если я говорю слабо, то что же за язык у них! Это меня утешает.

В комнатах Борджиа, где случались и оргии, и убийства — серый перламутр дня, золотящиеся фрески Пинтуриккио; в них много всего напутано, а в общем не очень понятно; тепло, иностранцы, стая тяжеловатых, бритых пасторов. Здесь — утро в Риме: всегдашнее долгое и прелестное пилигримство — нынче Ватикан, завтра Фарнезина, вилла Мадама, там катакомбы, гробницы латинской дороги. Я отстаю от барышень. Хожу один, смотрю, дышу, и я считаю, что живу, хотя и ничего не делаю. Но почему надо что-нибудь делать? Это еще требует доказательств.

Время близится к завтраку. Американок уже нет. Захожу поглядеть на «Афинскую школу», которую мало раньше ценил, — и домой. Спустившись мимо знаменитых папских швейцарцев, в костюмах XVI века, возвращаюсь вдоль набережной кофейного Тибра, минуя коричневую, мрачную башню св. Ангела — Римом простым и таинственным — дневным, серым Римом, которого, однако, не раскусишь.

Дома одевается к завтраку моя жена. Джованнина понарядней. Мы все сходимся в столовой госпожи Фрапани. Госпожа Фрапани

немолода. Она строга, что непохоже на Италию, и грубовата. Мы немного все ее боимся. Нам готовит ее муж, служащий у папы — говоря попросту — камер-лакеем. Он росл, высок, и великий кулинар. Нельзя сказать, чтобы мы недоедали.

Нас четверо русских, наиболее бестолковые из пансиона. Затем американки, уже знакомые; спят ночью с открытыми окнами, и днем нажаривают комнату. Еще американец, старый, бритый, с тоненькой, изящной, нервною женой, плачущей по ночам. Как необычайно тонка у ней талия! Моя соседка — немка из Кельна, лет пятидесяти, грязноватая, и масляная, сильно выпивающая. В Риме по каким-то странным делам. И — голландский барон, grand mangeur[1], как он говорит, худой, знающий все отели мира, любящий карты и живительную влагу, но, под контролем висбаденской дамы, это не очень легко.

Наши разговоры всем известны: каков Рим, что хорошего в Висбадене; правда ли, что в Петербурге прислуга кланяется в ноги, и спит на пороге комнаты «госпожи». Американка учит меня произношению, разевая рот до золотых пломб. Старый американец молчалив. Лишь иногда, если прислуживающая Джованнина ошибется, он на нее посмотрит, издаст звук, вроде гудка, и кивнет. Она его боится. Был случай, что от такого сигнала выронила она все тарелки.

Нынче для разговоров еще тема: завтра Новый Год. Можно узнать о Святках в Германии, Америке, России. Был бы с нами филолог, мог бы он вспомнить про древние Сатурналии, праздновавшиеся в Риме как раз в это время. Праздник был символом этого века: на неделю рабы считались свободными, все веселились, делали подарки, особенно рабам и детям — дарили восковые свечи, игрушки, орехи. Кто в туманный декабрьский день бывал на piazza Navona, древнем стадии Домициана, когда бернинием фонтаны покрыты рождественским инеем и между лавчонками снует веселая толпа — помнит море игрушек, выставленных там — самых простых, сусальных, балаганных. Но страшно милых. Две тысячи лет назад нечто подобное дарили здесь детям. И наша русская елка, если ее шевельнуть, окажется родом из города городов. Нельзя сказать, чтобы Рим устроился со вчерашнего дня.

Новый год мы хотели встречать с русскими — племенем, столь резко отличным от Рима, итальянцев, настоящих иностранцев. Да, мы хуже одеты, беспокойны, нервны, невоспитанны. В нас нет весу и значительности. Мы — шумная, бестолковая, бродячая Русь, не то скифы, не то цыгане, не то

[1] большой едок, обжора *(ит.)*.

художники, не то революционеры, но никак не порядочные люди. На моих гостей, которые шли не в салон, а прямо в комнату, одетые в плащи и разные каскетки, без особого почтения смотрела госпожа Фрапани.

Мы условились встретиться к одиннадцати в ресторанчике, где заседают более чем скромные римляне и не менее скромные русские. Ресторанчик находится на улице Monte Brianzo. Начиная отсюда, тянется до Кампо-ди-Фиори, до театра Марцелла старый, мрачный Рим средневековых закоулков, запутанных и полутемных улиц, отзывающих старинными разбоями, глухими убийствами из-за угла; здесь действовали наемные шпаги; и маскированные люди в туманную ночь не растащили в этих лабиринтах тело; мутный Тибр его брал.

Сам ресторанчик — тоже в старинном доме, выходящем в переулок, где направо живет какой-нибудь медник или кузнец с горном, а налево cantina — сырой и холодный винный погреб. Летом здесь есть садик, увитый виноградом, где стоят античные обломки и статуэтки — дары обедающих художников. Нынче же пир в зимнем помещении, низенькой комнате с висячими лампами, за столами с твердыми скатертями, где наскоро похлебает минестру римский веттурин, молодой немецкий художник с Monte Mario, да русский изгнанник в бархатной куртке.

Новый год встретили мы шумно, весело, но не без нервности. Пили в честь Сатурна. Моя соседка пикировалась с писателем, неизвестно почему. Пьяный немец за соседним столом загляделся на нашу даму и чуть не вызвал ссоры. Явилась цыганка. Мы ее усадили; конечно, поили. Конечно, несла она всякую чушь, потом переселилась за другой столик, там проделывала то же. Подошло двенадцать. Откупорили Asti, закипело оно в бокалах, встали, чокались, целовались. Пили за Россию, за Италию и Рим. Чокались с итальянцами. В кабачке же становилось жарче. Быстрей носился маленький толстяк хозяин; красней казались лица, громче смех. Римляне рядом резались в карты и приглашали нас. Кой-где тоже орали, и не удивительно бы было, если б в углу произошла coltellata[1].

Средину очистили, на пустом месте открылись танцы под жиденькую скрипочку. Помню, отчаянно и залихватски плясала матрона-прачка с квиритом, может быть, потомком некоего трибуна.

Празднество кончилось поздно. Возвращались мы гурьбой, посреди улицы, по пустынному темному Риму. Изредка попадались ватаги таких же гуляк. В общем, Рим спал. И странно

---

[1] поножовщина *(ит.)*.

было ежеминутно наталкиваться на битое стекло, горлышки фиасок, пузырьков. Но таков обычай в эту ночь — бросать на улицу бутылки, склянки, банки, будто отделываясь от ненужностей прожитого.

Есть во встрече Нового года всегда нечто волнующее,— и острое, и горькое — некий памятник уходящей жизни, открывающийся горизонт новой. Подводишь счет ранам, радостям. Ждешь новых, и ясней, чем когда-либо, ощущаешь таинственный, печальный и радостный полет времени. Это чувство сильней вне родины. Еще сильней оно именно в Риме, городе, правда, сивиллическом.

И расстались мы у испанской лестницы более серьезно. Туман затягивал башни Trinita dei Monti. Ступени дивной лестницы влажны. Если обернуться назад, то черной стрелой, окаймленной золотом фонарей, уходит via Condotti. Глуха, молчалива via Sistina, куда мы вышли,— священная для русских именем Гоголя. А на нашей via di Porta Pinciana все так же чернеет одинокий кипарис, все так же безмолвны стены, где Велизарий отбивал готов — с аркадами, зубцами, плющом, все так же поздний прохожий слышит «меланхолический плеск одного из бесчисленных фонтанов Рима».

Мы заснули не скоро. А утром снова просовывала Джованнина кофе, поздравляла с Новым годом, затапливала камин. День шел, как обычно.

Лишь перед обедом г-жа Фрапани разоделась, нацепила, как порядочная итальянка, бриллианты, и со своим здоровенным мужем выехала кататься на собственной лошади, в двухколеске. По праздникам ездили они всегда. Кто желал бы видеть образцовых мещан, доставляющих себе достойное и приличное развлечение, пусть взглянет на них. У нас, русских, мало выработаны еще эти люди. Запад дает их в изобилии.

За обедом мы нашли у своих приборов зеленые ветви того английского рождественского деревца, имя которого мне неизвестно. К индейке подали бутылку Asti, вошла г-жа Фрапани, и, разлив вино по бокалам, поздравила с Новым годом. Мы чокались. Американец издал краткий гудок, его нервная подруга кивнула усталыми серыми глазами. Голландский барон, grand mangeur, расправил рыжие усы и приложился; видимо, не одну бутылку он бы опорожнил, если бы дали, и если б не жена, следившая строго: бедный барон мало имел злата из собственного кармана. Но г-жа Фрапани выставила еще бутылку, и еще. Крашеная немка стала вспоминать Кельн, и залоснилась.

Обед кончился — появился горбатенький музыкант со скрипкой — г-жа Фрапани явно задавала нам бал. В углу зажгли

свечи на елочке, стол отодвинули, и начались танцы — не далекий ли отголосок давних празднеств, справлявшихся здесь же, в садах Лукулла? Танцевали американские барышни, мы, русские, барон, немецкая девица. Позже, в этот же вечер, мы были в гостях у американок. У них было очень натоплено.

Они сидели на кровати, угощали, нас конфетами. Я читал Пушкина — «Для берегов отчизны дальней», а они кивали в знак одобрения. В это время барон сидел в салоне и болтал. Ему хотелось еще выпить и сыграть в карты — но не выходило. Крашеная немка собиралась куда-то: каждый вечер она пропадала — как полагали, довольно таинственно. Говорила же всегда, что «едет на Авентин».

Так начался, Новый 1912 год, и быстро замелькали его дни. В Крещенье итальянцы вновь тряхнули стариной — по всему Риму шлялись банды молодых людей с трубами, трещотками, барабанами. Вой стоял необычайный. На piazza Navona — нечто вроде Вербы. Продавали морских жителей, швырялись серпантинами, орали. Бедных наших американок, забредших туда, окружили римские юноши, и гудели в трубы со всех сторон до изнеможения. Трудно, говорили они, было вырваться. И всю ночь слышали мы эти барабаны, рожки. Это не было плохо — немножко смешно.

А через несколько дней надо было уезжать. По старинному, вековому обычаю пилигримов, заходили мы в последний вечер, с друзьями, к фонтану Треви, ужинали в маленьком ресторанчике, где славится вино Фраскати, и девочка поет со стариком на romanesco, римском диалекте. А потом вышли на поклон фонтану. Бросили монетки в светлый его бассейн — дар Божеству Рима и залог возможности вновь увидеть его. Дамы всплакнули, сидя над водой. Гигантский фонтан шумел звучно, бесконечно.

По пустынным туманным улицам мы возвращались, прощались и целовались на углу via Veneto.

А на заре следующего дня, в туманно-розовом, холодном утре, покинули пансион Фрапани, пинчианский холм — сады Лукулла — и в купе скорого поезда вылетели из Рима, объятого молчаливой и загадочной Кампаньей, чья земля подобна праху, чья душа — душа древних Сивилл, и чья прелесть нерасколдована. Волнение, печаль, надежда — вот чувства, с которыми покидаешь Рим. Был десятый час, когда я сказал жене, устало лежавшей на диване:

— Чивиттавеккиа[1].

---

[1] Город-порт в провинции Рим.

Налево серо-зеленое море, с оранжевым, далеким парусом — море Энея. Направо скалы, станция, городок. Впереди путь к Чечине и Корнето, пустынный и суровый край, о зверях которого сказал поэт:

Quelle fiere selvagge, che in odio hanno
Fra Cecina e Corneto i luoghi colti[1].

RIVIERA DI LEVANTE

УТРО В КАВИ

Всю ночь ветер выл. Да шумело море, шумом тяжким, мощным. Как *полны* эти звуки! Они все насыщают. Но приятны. Нравится их безначальность, бесконечность. Вечность.

Распахнувши ставни, видишь крыши итальянские, под черепицею; балкончики, веревки для белья; деревья в садиках и огненные апельсины; вдали же насыпь железнодорожную — за нею море.

«Mar grosso»[2], — скажет Мариэттина, девочка лет пятнадцати, нам услужающая. Значит, ветрено, море надулось, нахохлилось; ухает без перерыва мягкою тяжестью волны о берег.

Через полчаса в комнатках наших — мы снимаем три в нехитром домике синьора Джулио — все уберут, и мы будем пить кофе в столовой, выбеленной известкой, как и все жилье наше. Тюфяки на морской траве взбиты, простыни вытряхнуты в окно Мариэттиной, как взбивают и вытряхивают их в час этот все Кави, все Мариэттины и Марии, и Джульетты, здесь живущие.

Из окна столовой я увижу дворик, дальше сад по взгорью, где копается с лопатой черный итальянец, и над ними, дальше, шире — горы, сплошь в лесах. Облака космами зацепляют за верха. Сумрачно. И благоуханием оттуда веет, сладким благовонием сосны, цветов, и апельсиновых деревьев.

Жена с Мариэттиною отправится сейчас на кухню, через сени, и займется там стряпней, станет жарить котлеты с соусом из помидоров — удивление для итальянцев. Мариэттина, ост-

---

[1] Терцина из »Божественной Комедии» (Ад) Данте в переводе Б. К. Зайцева звучит так

Нет столь колючих и густых чащ
У диких зверей, которым ненавистны
Обитаемые места между Чечиной и Корнето.

[2] «Море толстое» *(ит.)*.

ролицая, с профилем древне-этрусским, изящная по-итальянски, затрещит на жаргоне своем: несколько слов по-русски, несколько по-флорентийски, остальное на смутном наречии gonovese[1]. Они с женой будут смеяться, раздувать очаг, возиться с вертелами в холодноватой кухне. А потом придет бабушка Мариэттины, старуха сгорбленная, с седоватой бороденкой, и с ней без умолку затараторит девочка по-дженовезски.

Я же сяду работать О, как покойны, и как благосклонны эти утра Италии! Можно думать, что сам воздух, солнце, море посылают нам гениев светлых, помогающих и ободряющих.

Когда я окончу, то крутою, темной лесенкой с котами, сыростью, спущусь вниз. Пойду — надо мной будет навес, увитый виноградом; далее розовые стены садиков, у одной из которых статуя св. Франциска, в нише; и узеньким переулочком, перейдя главную улицу Кави нашего, сойду под насыпь к морю.

Здесь, на туманном, в теплых брызгах пляже, хорошо бродить, слегка развеять светлое волнение работы. Пройти по морскому тому песку, что у самых волн, дышать ветром влажным, теплооживляющим; в нем задыхаешься, но чувствуешь, как бодрость он наносит, крепость.

Облака разорвутся, глянут клочья лазури; солнце выхватит кампаниллу церкви нашей. Часы на ней, в ярком блеске, два укажут.

Домой, домой! Котлеты с помидорами готовы, и стоит фиаска красного вина.

ДЕНЬ, ЛЮДИ

Обедаем втроем: мы с женою и эмигрантка, с нами живущая. Вернее, мы у ней, в ее квартире. Русские ее, прямые, честные глаза на меня смотрят ровно, грустно. «Не выдаст»,— про нее подумаешь. Тяжко ей жить. Все курит. Читает беспрерывно. Много пьет.

А к концу обеда к нам заходит, очень часто, эсер Ерохин, крепкий, круглый, с малыми, простонародными глазами, крепким словом, рукой тяжкою. Коренной, густо заквашенный русак. Наша хозяйка молча ему руку подает, курит, курит все, и пьет, да из-под большого лба глазами ясными все смотрит.

Скоро и он выпьет, и гремит:

— Николашке через три года висеть на перекладине!

Или к жене:

---

[1] генуэзском *(ит.)*.

— Ваську Розанова вашего сотру, каналью! Слизь! Живого места не оставлю.

Или, если в настроении потише, то начнет рассматривать с женою карточки детей своих, и станет мягче, нежность в нем проступит.

— Во — Маруся, а во, глядите, Аннушка... Что, видите, какая девочка? А то-то ж... Да. А Ваську Розанова мне не поминайте. Я бы ему, разбойнику...

Если теперь заглянуть вниз, в проулочек, то наверное увидишь русского, в крылатке или куртке, торопливо с палкою шагающего. Это изгнанники спешат узнать на почте, каковы дома дела, нет ли революции случайно, денег не прислали ли, и нет ли просто весточек о близких.

И мы спустимся. Через два дома, в тесненькой конторке старый итальянец разбирает трудные фамилии. Сын, плотный, элегантный и блондинистый, видимо наш «джентльмен», помогает. Джентльмен вежлив, снисходителен. Впрочем, по лире в ручку получает, не сморгнув. Кажется, письма вскрывает и слегка шпионит.

— Niente per russi![1] — изящно говорит он, и кивает стриженою головою. Перстень отсверкнул на пальце. Как мало он похож на крепкого эсера нашего! Тот в черной шляпе, в синей блузе, с палкою, верней — дубинкою в руке.

— Ну, и к чертям! Господа хорошие, вместо чего прочего, пойдемте в Сестри, кофе пить.

Это одобрено.

И завернув в лавочку Кармелы, где достанем шоколаду для приободрения, мы отправимся в наш путь.

Идти сначала через мостик, над ручьем, где итальянки с бельем возятся. Знакомым, влажным благовонием дохнет ущелье, все в лесах. Мы станем подыматься по дорожке между рощ оливковых. Здесь тень, но пестрая, узорная, и сыровато; когда солнышко проглянет, ярче засинеет море чрез просветы, меж деревьев узловатых, в листве мелкой, серебристой. Итальянцы в рабочих куртках и в шляпах собирают оливки; девушки смеются.

Но мы скоро их минуем; тропинка подымается все выше; мы проходим мимо виноградников; видим, как их удобряют сгнившим мусором, тряпьем из Генуи; видим, как неутомимые работники выкалывают в скалах участки для культур, натаскивают землю, снизу подпирают все стеною. А далее — мы просто уж в лесах, где тихо, цветет вереск, сосны воздымаются,

---

[1] Ничего для русских *(ит.)*.

парят орлы, да слабо гудит проволока: телеграф. Справа книзу — обрывы. Чем мы выше, тем обрывы круче, к нижнему шоссе на Сестри. Мы же все восходим, древнею тропою, по которой много сотен лет ходили скромные лигуры в город.

Но подъем окончен. Ветер набежал из Сестри, и слегка поют вершинами зелеными прямые сосны. Только сосны! Воздух, солнце, мирно греющее, блеск морей туманно-синих, ящерицы да развалины монастыря Сант Анна, маленькое зданьице, прилепленное на утесе. Отдыхаем. Видно побережье — вправо к Киавари холмы голубоватые, с белеющей каймой прибоя, с кружевами моря, ясною полудугой лобзающего их. Раппалло чуть белеет в тумане брызг; и далеко в море выдался за ним мыс Портофино.

Налево — Сестри, окаймляя полукружия залива, а над ним, левее, горы и холмы, пересекаясь, то долинами синея, то громоздясь вершинами, уходят к Парме, столь прославленной фиалками. И в этот час послеполуденный, на высоте Сант Анны, пригретый солнцем, пред туманноблескным морем с снеговым отливом к горизонту; с шорохами ветра, напевом сосен, бегом ящериц — впиваешь благоухание пространств, морей, лесов и, может быть, фиалок, уже млеющих на горных склонах.

В Сестри же колышатся в заливе шхуны, поезд выбегает из туннеля, апельсины зреют в садах вилл.

Нам сходить по лесной, старой римской дороге, выложенной огромнейшими плитами.

СЕСТРИ

Сестри нехитрый городок, и курорт генуэзской Ривьеры. Для нас, жителей Кави, это метрополия. Утром старуха, бабушка Мариэттины, пробирается туда за курами, за мясом; днем ходят за всяким пустяком женщины и мужчины наши: купить отделку к платью, достать гребень, завернут к нотариусу, доктора позвать. Ежечасно выезжает от нас старый омнибус, парою лошадей, с кучером на вершине, набитый гражданами — рыбаками и ремесленниками, буржуазными дамами в черных шелковых платьях; старики в канотье, с белыми усами, ездят в нем, и кухарки с цыплятами в корзине; иной раз целый теленок мычит под козлами кучера; из-под картонок дам вдруг выбивается петух, крылами пестрыми, и вопит истошным, петушиным голосом.

В этой кукуке ехать нескучно, иногда и смешно, но не весьма быстро: ибо кучер, какой-нибудь Пьетро, не раз по дороге остановится, подождет седока, или просто поговорит со знакомым, покурить, и потом, щелкнув бичом своим, трусцой покатит дальше по шоссе у моря.

Мы же, русские, птицы небесные, в Сестри бываем и без дела: погулять, посмотреть залив милый, посидеть в кафе, газету почитать. Есть в этом городе ясное и приветное. Ясно и уютно он рисуется с высоты Сант Анны, окаймляя полукружие залива домиками белыми, что разбегаются потом по склонам окружающих холмов, средь тонких кампанилл и зелени. Далеко выдается в море мыс — пинии виллы Пиума; быстро катится белый клуб поезда из туннеля; шхуны мерно покачиваются в заливе; и когда вечер сиреневый спустится, бледно-жемчужные огоньки засияют на них; а кой-где — красный, зеленеющий фонарь.

В Сестри, за столиком крошечного кафе — при лавке мелочных товаров — хорошо пить на воздухе темную малагу. Полная итальянка, лавочница, мать десятерых детенышей, не устает подавать вам кофе, наливать вино. С дальней полки раздобудет старую бутылку славного портвейна, всю в пыли.

Мимо вас проходят незначительные итальянцы; вон, напротив, парикмахер, там молочница, там служащий в конторе, или ваш знакомый, il dottore С., итальянец красивый, с глазами миндальными, несколько сладостный. В тележке везут рыбу, детишки лавочницы возятся, ленивый веттурин проезжает — мелкая жизнь городка маленького! В ней есть свое очарованье; и глядя на закат, над морем бледно-золотеющий, слушая музыку в отеле Иенч, близкий плеск моря утишенного, можешь сидеть в мечтательности, странно сливаясь с жизнью, тебе чужой, где ты лишь странник, но к которой расположена твоя душа.

Сумерки с облаками розовыми, лиловеющими, с золотом заката в Сестри, со свистками паровозов, с мыслями, как облака — продлитесь! Длитесь.

Мы вернемся в Кави смутным вечером, при блеске волн.

ВНОВЬ О ЛЮДЯХ

Жизнь у эмигрантки нашей, в маленькой ее квартирке, быстро сблизила со всеми жителями Кави — русскими. Их было там порядочно; сплошь эмигранты. Уже на улице резко отличны — «мы» от итальянцев. И одеяния, и манеры, и прически, все иное. Как *они* на нас смотрели? Кави очень скромное местечко. Здесь народ нехитрый, простенький, нет важных, и поэтому к нам отношение не из плохих. Все-таки *мы* удивляем: безделием и безалаберностью, непорядком. Все наперерыв ходят друг к другу в гости. Женщины курят. Много читают. Все без денег,— но и не работают. Все должны Кармеле; в Кармела все-таки дает и верит; кое-кто ей возвращает.

Джентльмен с почты знает, что из писем большая часть —

русским; русские в своих широкополых шляпах, жены их с растрепанными волосами, в скромных кофточках, сбитых ботинках, больше всех посланий отправляют. Русские — или писатели, или стать ими собираются. Если поздно ночью, над заснувшим Кави, раздаются хоровые песни — это русские; если в полночь бредут двое и орут неистово, вдрызг перепившись, то кавиец про себя подумает: о, sono russi!

И вряд ли ошибется.

Помню я день, и скалы над дорогой в Сестри, народ туда бежавший... На утесах, высоко над морем, среди скал отвесных — двое наших, Зандер с Антоновичем, орут. Шляпами размахивают. Празднуется восхождение на гору, на утес, доселе неприступный. Наши же полезли с моря, прямо по отвесу — и добрались.

— А вот дьяволы,— говорит Ерохин,— куда забрались, собачьи дети. Это Антонович все, и Зандера подбил. Взгляните-ка на милость, чуть не половина Кави тут, сбежались, думают — несчастие какое.

Эмигрантка спокойно покуривает.

— Нарезались, и все тут. Русь ведь мы.

Старый эмигрант Манухин, из дворян, суховатый, с седенькой бородкой, хмыкнул хмуро:

— Русь! Хулиганство, и ничего больше.

Половину жизни просидел Манухин в тюрьмах за народ, свободу и другие вещи. На шестом десятке — одинокий, умный, в серенькой крылатке, с острым и породистым лицом,— он убедился, что вообще-то большинство людей прохвосты.

— Антонович ваш апаш,— говорит он, закуривая дешевенькую сигаретку.— Форменный апаш с rue St. Jacques.

Он сердит на Антоновича за то, что тот увез жену его знакомого — так, ради авантюры...

В тот же день, под вечер, к нам зашел наш единственный «европеец», польский еврей X.; Иуда дель Кастаньо, как жена его прозвала, за сходство профиля с кастаньевским Иудой. Худой, черный, сгорбленный, потрясался он жестокою чахоткой, закрывал платком рот, вылеживался в лонгшезах, прятался от проносившихся автомобилей страха ради пыли.

— Это же нь'евозможно,— говорил он, блестя черными глазами, кашляя грудью, некогда проломленною николаевским жандармом,— но вы согласитесь же, что это антикультурно, что такими и подобными поступками мы только подрываем наш престиж колонии...

Эмигрантка смотрит на него глазами ясными, покойными, из-подо лба. Папироску в мундштуке посасывает.

— Да вам-то что? Россию вы не любите, и русских тоже. Ну, и пусть скандалят.

Иуда ядовито прихихикивает.

— Россию я, будучи поляком, любить не в состоянии.

Эмигрантка, сквозь зубы:

— Ну, и евреем будучи...

— Но всь'е-таки, я член колонии, меня это касается отчасти.

И Иуда, европейский социал-демократ, длинно и горячо говорит о невежестве нашем, кашляет, плюется, задыхается; и его слова, будто бы верные, все же неверны, чахлы и унылы, как тощая его фигура в пальтеце с поднятым воротом, вся брезгливая, раздраженная, с жилистыми, потными руками.

— Ну, уж вы свою машинку заведете, так и все подбреете, точно как косилкой,— Ерохин хлопает черной своей шляпой по коленке.— Ну, мальчишки, безобразники, конечно... что же касательно России и вообще нас, русских, то быть может, подождем еще-с.

И он глазами делает знак грозный, выразительный.

— Я никак ведь всех русских и не разум'ел, как типичность...

Но дверь распахивается — перед нами Зандер, один из *них*, виновников раздора. Он в бархатно-поэтической куртке, с летящим галстухом, бритый, с крупными чертами; крупен нос с большой горбинкой, тоже вдаль стремящийся; глаза красивы, серые — весь он движение, неврастеничность и подъем. Чуть что не мальчиком, умным и с вызовом, угодил он на каторгу, много блуждал и жил, многое видал, бежал, и вряд ли остановится когда.

— Вот и извольте его допросить, для чего он со скал орет...— говорит глухо Ерохин.

— Да, черт, ну это, конечно, глупо, ну просто перепились, и что ж там разговаривать, конечно... Это все не то, понятное дело.

— Я же повторяю,— загорается опять Иуда,— что — в России все так. Нету дисциплины, выдержки и планом'ерности. Отсюда и вся идеолог'ья партии эсэров, например. Террористические акты — это же романтизм, чистейший романтизм и карбонарство.

— Что? Террористические акты? Кто против террора?

И бледнея, с побелевшими зрачками, задыхаясь от волненья, наш воевода кидается в сраженье, будто бы он яростный тираноборец, искупавшийся в крови. Иуда европейский горячится, вновь закашливается, и его крючкоподобный нос грозит, и все грозится доказать, установить и опровергнуть.

И пока Восток тягается с Европой, беззаботно входит к нам Италия. Доктор Каноцци, эскулап из городишки Сестри, наш

приятель. Он не станет спорить о терроре, или счастье человечества. Он красив, покоен, у него миндалевидные глаза, он любит женщин, он поет романсы, под аккомпанемент гитары, под аккомпанемент того же моря, на котором вырос. Сладостен и мягок взор Каноцци, как призывно сладостны напевы песен, им поющихся.

В его присутствии спор умолкает. Крючконосая Европа, подняв воротничок пальто, дыша в платок, чтобы не наглотаться пыли от автомобиля пролетающего, отступает. У себя на вилле, на лонгшезе будет она возлежать, глядя на море, вдыхая легкими замученными те остатки жизни, что в ней теплятся еще. Доктор же Каноцци приглашает нас на вечер нынешний, на виллу Бокки, по наказу русских, там живущих. У длиннобородого философа бывают вечера, там собирается немало наших и dottore там поет.

ФИЛОСОФ

Я не знаю, где сейчас философ в мягкой шляпе, с длинной бородой, голубоватыми глазами, парящий в имманентах, трансцендентах, Гуссерлях, Когенах. Кажется, он долго прожил в Кави, на вилле Бокки, где бывали мы у них на вечеринках эмигрантов.

Я помню их стеклянную террасу, в сад с пальмами и олеандрами, его жену, веселую и круглолицую, гостей — Русь кочевую — пианино, медогласного Каноцци, вечера душные, иногда с грозою зеленою за стеклом террасы. «О, Maria, o Maria...» — звон струн гитары Каноцци, аккомпанемент хозяйки на пианино, синие разрывы молний, освещающих горы и леса вдали, раскаты грома по ущельям и напоры ветра с моря черно-грозного, в фосфорической зелени зарниц... Но не боясь громов, в залитой светом комнате, при черноте ночи за стеклами, сладостно, сантиментально зазвучит:

O Maria, o Mar-i-a .

Философ слушает серьезно, слегка всклокочивая волосы свои, быть может, позабыв об имманентах. Русь кочевая тоже призадумалась, готова впасть в чувствительность. И лишь две итальянки молодые, дщери Бокки, равнодушно и блистательно сияют красотой, огромными, туманно-черными глазами, матово-темным румянцем щек своих. Темные, густые ореолы их волос увенчивают маленькие головы.

И когда буря пролетит, прошумит дождь вечерний, перед полуночью все мы пойдем провожать доктора к Сестри, берегом

темнокипучего моря. Красный фонарь посветит у туннеля, где сторожит будочница Тереза, разводя огородик, гоняя детишек своих с рельс. Влажно, черно и благоуханно! Лужицы по шоссе. Наши скалы, что на повороте, до которого идем, все выкупаны влагой, скользки, хмуры. Звезда повисла над сосной, склоняющейся с высоты утеса. Огни Сестри красные, зеленые, в ряби волн задрожали.

Ночной певец садится на велосипед, как Ивик устремляется в тьму ночи, мягко шипя шинами. Тихо и пустынно ему ехать! Море обовьет туманом благовеющим, влагою смоль дохнут леса; вряд ли побоится он кого из встречных, одиноких. Был, однако, случай, что сама гора сползла пред ним в тишине ночи. Чуть не погребла она в тот вечер медогласного певца. И пришлось вернуться, разбудить Терезу, и с фонариком брести через туннель.

А что же философ? Вряд ли выйдет из квартиры виллы Бокки. Может быть, в поздний сей час он не спит еще, но верно размышляет о Когенах, Гуссерлях, о Фихте.

ВИЛЛА БОККИ

Двухэтажный дом, с квартирою философа, фасадом на шоссе и море; жалюзи зеленые; сад с пальмами и олеандрами, дорожками, усыпанными гравием; окна — одни на море, а другие — в горы — это зажиточная вилла в Кави, вилла Бокки, куда мы перебрались после Рождества.

Хозяйка — бывшая красавица и львица; ныне стареющая, мать двух красавиц дочерей. Он — внизу, рядом с философом; мы наверху. Он весь день в хозяйстве, в хлопотах, уборке, в поклонении кроватям и перинам, платьям, серебру и безделушкам. Целые дни моют, чистят, вытряхивают утварь, поют, стрекочут на наречии своем и наполняют виллу духом дела и семейственности. А когда из Пизы приезжает друг синьоры, остается ночевать, то уж девицы не присядут целый день, и только к вечеру оденутся, наденут кольца, бриллианты. Принарядится и мамаша. Но как обычно — не преминет прохватить их сколько может и за что попало. Толстая их mamma прикрашена и ядовита. «Nannina, vieni qui! Giulitte... Nannina...»[1] — разносится по всему дому.

Но если деловиты и трудолюбивы нижние, то мы, живущие над ними — мы другие. Кто бы мы ни были, но жизнь наша на вилле — жизнь художников бездомных, бесхозяйственных,

---

[1] Наннина, иди сюда! Джульетта Наннина... (*um*).

беззаботных. Утром светит для нас солнце, море ярко голубеет и цветет миндаль цветами белыми на обнаженном деревце; цветами розовыми — персик. Светлым парусом ополоснет по волнам из-за тучки солнце. Птицы проиграют свет и радость. Если растворить широко окна, то светящий день войдет стопою легкой, опьяняющей. Вот станет он за твоим стулом, и повеет опьянением Италии на лист бумаги, на перо, на слово, над которым так отрадно здесь работать. Мягкий ветер с моря, полный влаги, света, пронесется сквозняком сквозь комнаты, смеясь над деловитостью, хозяйками, порядком. Солнце изогнулось уж на весну; весенним плеском одевает море, паруса ладьей, в нем плавающих, стайки птиц, над ним летящих; и ярче изумруды волн, пеной вскипающих.

О свет, о нежная улыбка нежной нимфы, ясный день блистательной Психеи!

И снова, кончив труд свой утренний и пообедав у соседей, русских, запасшись шоколадом у Кармелы — снова тянешься в лес, на взгорья Сант Анна, дышать смолой, глядеть на вереск зацветающий, насобирать фиалок, нежно выбившихся; слушать звон сосен в ветре солнечном, и как мираж — справа иметь туманно-снеговое, сребродышащее море бескрайное.

Нимфа летит. Психея проходит, сея и вея.

ГОРЕСТИ ВИЛЛЫ

Соседи мало почитают Бокку. Неблестящая у ней слава. Есть сведения, что некогда, красавицею юною, обольстила она генуэзского богача, разорила и бросила; а на его погибшей жизни возвела свое благополучие. Хищности и скопидомства не прощают ей; быть может, и завидуют богатству; но во всяком случае любому маленькому горю у синьоры Бокки радуются все здесь.

В феврале много деревенских вечеринок в Кави; молодежь снимает помещенье, и во славу молодости, юга и веселья веселятся целыми ночами дети рыбаков и виноградарей. С ними иногда и наши — Зандер с Антоновичем. И на рассвете постучать в ставни Бокки, опрокинуть кадку с пальмой, кроликов выпустить, сломать калитку — дело молодецкое, похвальное. Бокка же баррикадируется. Ей мерещатся повсюду воры, злоумышленники и враги. По ночам кто-то в саду ходит; самый свист ветра весеннего, бой взбушевавшегося моря ей рисуются грозяще, жутко. И мучительней дрожит львица стареющая за свое добро, за сундуки, шкафы, argenteri'ю[1], за предметы быта тем-

[1] изделия из серебра (*ит.*).

ного, ничтожного. Этою тревогой даже дочери заражены — наследницы шкафов и бриллиантов. И когда нет мамаши, если уехала она — в Пизу ли, в Геную, то крепче запираются девицы, приглашают нашу Мариэтту, чтобы веселее было.

Раз, в одну из ночей бурных, когда море колотило с глухой яростью, и в нижних помещениях проступала из-под почв вода, мы же, жители верхние, беззаботно себе спали, в пол к нам раздался снизу стук: стучали палкою. Стук был тревожный, даже судорожный. Я проснулся. Кое-как одевшись, захвативши спички, сбежал вниз.

— Ах, ради Бога... ходят... Здесь есть человек.

И наперебой три девушки, путая французский с итальянским, объясняют мне, что всю ночь кто-то ходит по саду, поскрипывает гравием, стучит, а теперь, через дверь балконную, проник в квартиру и находится в передней, там в углу за лестницей, где машина электрическая, где вода выступила. Ясно они слышали, как чмокала вода под башмаками.

Бледные, растерянные лица; глаза, еще темней блестящие; прерывающиеся голоса — все будто бы грозит бедой. Но зажигаем свечку, и с Мариэттой — посмелей она — спускаемся в тот закоулок, сзади лестницы, где должен быть злодей. Злодея нет.

— Ну, мы все ведь слышали...

— А как ломился.

— Всю ночь, всю ночь ходил, стучал. Ведь он же знает... мы одни...

Но, видимо, им легче. Присутствие мужчины и отсутствие злодея подымает несколько их дух.

— Но, signore, как только вы уйдете, он ворвется вновь...

Я всячески стараюсь убедить их, что врываться, собственно, ведь некому; что если страшно, пусть идут наверх, к нам ночевать. Бушует ветер за окном, грохочет ставнями; ставнями, видимо, их и пугает; тусклая свечечка освещает огромную комнату, с огромной развороченной постелью, где дрожали три красавицы, ожидая часа смерти. Я улыбаюсь.

— Право же, идем наверх...

— Ma no, signore, ma nostra argenteria... Lui verra subito, ma no, no, impossibile...[1]

Так и не тронулись Бокки юные, опасаясь за свою *арджентерию*, и Мариэттина не посмела их оставить. Я ушел наверх, спал крепко, о разбойниках не думая минуты.

А когда день настал, Мариэттина нам сообщила, что несчас-

---

[1] Да нет же, синьор, на наше серебро... Оно досталось неожиданно, да нет нет, невозможно... *(ит.)*

тие случилось, все же, ночью: у синьоры Бокки утащили курицу.

— Бокка возвратилась, кричит, плачет... grida, piange..[1] в полицию заявила.

Мариэтта обо всем рассказывает уже весело, ибо несчастьям Бокки радоваться — тон хороший.

А потом она прибивала, с большою простотой, что forse il signor Antonovitsch abbia rubato la gallina[2].

Днем Наннина и Джульетта, как всегда, выколачивали ковры, развешивали на солнце платья, а под вечер старая Бокка пригласила меня вниз, в салон. Жалюзи спущены, лишь в одно окно ложится свет; зеленоватый полусумрак в комнате. Бокка, в светлом своем пеньюаре, с лицом подпудренным, сидит в легком плетеном кресле и беседует с молодым человеком. Он в каскетке, с лицом серым, угреватым и ничтожным. Это сыщик, *spia*. Разговор — о курице погибшей и о мерах, как ее вернуть.

Бокка поблагодарила меня за ночную помощь, познакомила со spi'ей. Тараторит быстро, жалуется и волнуется, готова в слезы. Spia же серьезен. Тоном Холмса задает мне несколько вопросов.

— Что у вас было в руках, когда вы спускались?

— Значит, у вас не было оружия?

— Слышали вы шаги в аллее? И откуда?

Spia будто удивляется, что я сходил к девицам безоружный. Он записывает. Но делу показания мои не помогли. Курица сгинула. Бандиты остались непойманными, премия, Боккой обещанная,— невыданной.

И — к пущему веселию Кави — через два дня вновь украли у ней кролика.

Его оплакивали и мамаша, и Джульетта, и Наннина.

АНТОНОВИЧ

Я мало удивился мнению Мариэттины, что, быть может, Антонович стащил курицу у Бокки. Вряд ли имел он цель корыстную, но произвесть дебош, дезордр, вызвался бы охотно. Таким мы знали его все; так увозил он эмигрантскую жену, так с Зандером орал на скалах, достигнувши вершины.

Высокий, тонкий и по-своему изящный; в каскетке, куртке и обмотках на ногах; с небольшой плешью, вид бывалый, и то дерзкий, то ленивый — кто такой? Максималист ли русский,

---

[1] Крики, рыдания (*um*)

[2] Возможно, синьор Антонович зарезал украденную курицу (*um*).

герой Фонарнаго и всяческих экспроприаций, французский ли апаш, дитя Парижа, где он долго прожил? Писатель с томиком ненапечатанных стихов? Авантюрист, повеса и танцор на вечеринках у кавийцев, Дон Жуан и неоплатный всем должник? С юности выброшенный за границу, сын видного отца, от него отказавшегося; прошедший сквозь все тернии, теснины жизни, ныне утрепывающий за кавийками, быть может, по ночам пугающий молодых Бокк, быть может, курицу у них таскающий — во имя разрушения собственности.

Я помню яркий день, утесы на дороге в Сестри, Антоновича в каскетке, лихо призаломленной назад. Вокруг мальчишки. Море бьет волною синей, белопенной. Он выравнивает их, строит в ряды. Вокруг зеваки. Раз, два, три! Мальчишки все пускаются бежать. «Это куда же»,— спрашиваю. Он улыбается красивыми и серыми, холодноватыми глазами. «В Сестри, назад. Там у меня контрольный пункт. Кто первый прибежит — тому пять лир».

И, сняв каскетку, он, как командир, прохаживается поперек дороги, тонкий и широкоплечий, на сухих ногах в обмотках, с светом солнца в лысине. И глаза его не то дерзки, не то бессмысленны, как будто бы и сам не знает он, для чего все затеял, и нужны ли самому ему ристания такие, или это блажь.

Мальчишки возвращаются; бегут усердно, задыхаясь, высунувши языки, поджавши к бокам локти. Он им улюлюкает; торопит, гонит, по часам глядит. И запоздавших подбодряет хлыстиком, с видом холодным, и жестоким даже.

Странно все это. Очень все странно, и ненужно. Но холодные его глаза, и руку с хлыстиком я запомнил.

ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Так, средь малых дел, сияний солнца, плеска моря, среди работы и благоуханий горных сосен, в зрелище жизни то забавной, то простой и милой, то ничтожной — проходит время в славной Лигурии, на берегах моря Колумба.

Я мог бы рассказать о том, как возятся на рельсах, пред туннелем, дети будочницы Терезы, бегущей с флажком к поезду; как рыбаки вытаскивают свои сети — в них блестят серебряные рыбки, и за лиру покупаем мы *петуха-рыбу;* как собираем ракушки, играем в шахматы с Манухиным и ходим к Санта Джулиа, в селение над Кави и над морем, на высоте огромной. Но всего не перечислишь; обо всем не скажешь. Вспоминаю все же об Иуде, памятью летящею и беглой — за проломленную грудь и за чахотку, и за то, что мало кто любил его при жизни.

ВИЛЛА У МОРЯ

Там, где белое шоссе на Киавари подымается вверх, минуя церковь справа, кладбище нехитрое и сосны, что над ними — слева от дороги, к морю выступает двухэтажный дом. Он расположен на горе, и окна первого из этажей, с одного боку, прямо на земле; фасад же его — к морю, и второй этаж в нем занят нашим иудеем в облике поляка, европейцем Иудой.

В четырех маленьких комнатках, с женой и мальчиком, с остатком легкого кашляет здесь и мучится Иуда. Большеголовая жена его за ним ходит без устали. Музыкантша, очень некрасива, склонна к черной меланхолии. Вместе с больным своим объехала все санатории Европы. Вид угнетенный, но самоуверенный. Еще самоувереннее мальчик — косенький, сухой, со щелкающим голосом. По Кави он нередко бегает с каким-то знаменем, наверно — революции.

— Ты в Бога веруешь? — спросила как-то у него жена.

Он посмотрел своим косящим глазом, и сухим, нерусским голосом с акцентом иностранным так ответил:

— Я со-ци-а-лист.

«Драть бы тебя еще»,— подумала жена. А он спросил в свою очередь:

— А вы *доверяете,* что Мария была Божьей Матерью?

И свистнув, замахав своим флажком, помчался с уличными мальчиками.

На этой вилле у Иуды мы бывали, все же, не один раз. Нас угощали чаями и вареньями. Приходил седой, сухенький Манухин — начинались разговоры о политике, терроре. Вновь все горячились. Но Иуда твердо на своем стоял: против террора.

А потом мы выходили на террасу с парусиной, на море; Иуда возлегал на кресло, где лежал часами, и притаскивал мне книги о Франциске Ассизском, говорил, что им он занимается, и любит, и работает. И снова горбился, и поникал горбатым профилем — что общего с Франциском у марксиста бешеного? — кашлял, и платок прикладывал к губам, едва автомобиль заметит. А сумерки сиреневые сходят уж над морем; прямо перед нами, в заливе, Сестри вновь белеет, но уже скоро в смутно-лиловеющую мглу окунется, и лишь засветят с рей на шхунах птицы золотые, красные, зеленые. Мягкий ветерок дохнет, друг Франциска и кротости. Мягкостью елея в грудь прольется изнемогшему Иуде.

А Иуда долго на балконе будет возлежать, глотая воздух надморской, соленый, живоносный. И все он будет и питаться,

и лечиться, и за жизнь цепляться — за кусочек неба италийского, за вздох волны, за блеск звезды.

Святой Франциск пройдет над водами.

ЧАУ, ЧАУ!

Так прожили мы дни в деревне Кави, на заливе Генуэзском, с севера имея Геную, с юга Сарцану, Пизу. Дни возрождались, угасали; весна пришла; легкое время, косою легкою, дни скашивало. И скосив последний, запахнуло книгу мирной жизни, поэзии благоуханной, утр, трудов, веселых отдыхов. Мир им! Далекому прибрежью, горам, морю, соснам над Сант Анной, эмигрантам, эмиграпткам, бедному Иуде, успокоившемуся, наконец, в земле — как поезду, быстро летящему по рельсам вблизи моря: чау, чау! *Прощай* по-генуэзски.

1920—21 гг.

АССИЗИ

Нищ и светел..
Вяч. Иванов

Слава Ассизи — святой Франциск, святая бедность, религиозный восторг; светлое, тихое безумие, что осенило семь веков назад сына ассизского суконщика Пьетро Бернардоне, и от жизни веселой, довольной, сытой увело к подвигу кротости и нищеты. Его безумие — его гений. Некий голос, выведший за стены древнего городка на горе, из тесных закоулков обыденщины на путь величия мирового.

Всем известен облик святого. Менее известно место, где он родился, где прожил юность, и которое обессмертил.

После нелегкого пути от Римини я оказался вечером на станции Ассизи. Болела голова; неопределенное раздражение, признак усталости, овладевало. Казалось — не к чему ехать; не хотелось двинуть рукою — шевельнуть мыслью. Все не по тебе, все бы осудил.

Первая же насмешливая улыбка — отелю «Джотто».

— Ну, конечно, итальянцы всем воспользуются! Самого Франциска вытащат, не то что Джотто!

Так садился я в крытый небольшой дилижанс, на верхнем краю которого, правда, была надпись: «Hôtel Giotto» — золотом. Дилижанс покатил. Огни станции остались сзади, шоссе медленно подымалось; мы поворачивали вправо, влево, ехали мимо

темных садов, виноградников, каменных оград, и золотые огоньки внизу, где свистели паровозы, становились меньше, а огни небесные — звезды, ярко стоявшие в осеннем небе — выше. Легкий туман заволакивал землю. В странах Божиих же было чисто.

Мы подъехали, наконец, ко рву, перебрались чрез него по мосту, угрюмые громады нависали сверху, с боков — городские стены, башни. Кое-где светились в них окна. Нас не окликнули; мы погрузились в недра средневековых ворот, и через минуту шагом подымались в гору, уже довольно круто, среди темных, сонных, старых домов, стоявших тесно, улицей узенькой, кривой.

У подъезда с ярким светом мы остановились. Помню, что ступенька вела вниз, а не вверх от входной двери, и почему-то сразу это мне понравилось. Может быть, тут была некогда лавка суконная, и вот так же покупатель, входя, слегка спускался. Облик старого дома сохранился здесь, в отеле «Джотто», в толщине стен, в арках, в особенном каком-то запахе, хотя, конечно, англичанин молодой, болезненного вида, возлежал в лонгшезе, пил кофе и читал книжку.

Наверху, в комнате, мне отведенной, я отворил дверь и вышел на балкон. Передо мной открылся край, казалось, бескрайний. Ибо туман легким, невесомым пологом завесил все, и лишь слегка, едва мерцая, светилась вдалеке внизу станция. Но глубокое, громадное пространство было за этим туманом, недвижимое, немое, полное тишины безмерной! Сверху звезды смотрят; вблизи, у самых ног, крыши какие-то, зубчатые башни, да готическая кампанилла. Да еще — нежный и слабый, неизвестно откуда плывущий перезвон, двухнотный: та-та, та-та, голос церковного колокола, таящегося в тумане.

Это была страна Святого, безбрежная и кроткая тишина, что составляет душу Ассизи; что вводит весь строй человека в ту ясность, легкость и плывучесть, когда уходят чувства мелкие и колющие — дальнее становится своим, любимым. Да, позабудешь все тревоги, огорчения, надломы, только смотришь, смотришь!

С этой минуты, открывшей мне Ассизи, я его полюбил навсегда, без оговорок, без ограничений, без косых взглядов на отель «Джотто» — хотя в тот ночной час я Ассизи, собственно, не *видел*. Я его *познавал*.

Утром его нежность, сверхземное успокоение открылись и глазам моим. Теперь, с высоты того же балкончика, я увидел то, что так таинственно *молчало* вчера. Я увидел деятеля этого молчания, это была воздушная бездна, утопавшая в бледных, перламутрово-сиреневых тонах, замкнутая глубоко вдали грядою

гор. Священная долина Умбрии! Тонкий туман стелется в ней по утрам, заволакивая скромные селенья, из которых узенькими струйками восходит, или кадит, дым: те как бы библейские Бетонны и Беваньи, близ которых Святой проповедовал птицам и возвещал миру новую радость, обручаясь с бедностью. На дорогах этой долины, среди этих же посевов, яблонь, виноградников лобызал он прокаженного, молился, плакал слезами счастия.

Первое паломничество в Ассизи — храм св. Франциска, где покоятся его останки. Храм этот недалеко; надо пройти немного вниз по улочке, выложенной крупными плитами, и подняться, сразу попадая к монастырскому двору; в глубине его остроугольное, тяжкое, но столь близкое сердцу здание готического San Francesco. Время его построения 1228 г. San Francesco родной брат флорентийского Santa Groce, S. Maria Novella, это основоположный факт готики итальянской, героический ее момент. Грузность, мешковатость не страшит — ни зрителя, ни художника, именно оттого, что это *героическое.* Храм поставлен во славу Святого. Здесь не место мирскому, легкому изяществу. Как целен Святой, так же целен, в величии своем, и памятник ему. И пожалуй, что San Francesco *готичнее* самих Santa Groce и S. M. Novella. Она скупее и строже. Там есть, все-таки, фасады — прелестный Леона Баттиста Альберти, и посредственный в S. Groce — наслоение позднейшего. Кроме того, в тех храмах нет единства цели. Вспоминая их, вспоминаешь многое: и испанскую капеллу, и фрески Гирляндайо, и Чимабуэ, и Джотто, и гробницы пантеонного характера. В храме же Франциска цель единая — св. Франциск; все ему служит, и все, в сущности, одного стиля, одного времени, одного настроения.

Это чувство *густоты* францисканско-готического особенно испытываешь в церкви нижней, более древней, чем верхняя. Нижние церкви (напр., св. Климента в Риме) всегда имеют несколько катакомбный характер. Он есть и здесь. Низкие своды, крестообразными дугами, все расписанные древними фресками, темная синева фонов, золото, узкие окна с витражами, полумрак, сдавленность некая, сияние свеч. Тихое мерцание крипты, где покоятся останки Святого — все это иной мир, в которой сразу окунаешься со света дня. Эту церковь украшал великий Джотто, тот, кто живописи итальянской возгласил: «Да будет свет!» И стал свет. Джотто написал здесь аллегории «Бедность», «Послушание», «Целомудрие», сцены из жизни Христа и Франциска. Это не есть важнейшее, что он сделал. В его творчестве Ассизи — не венец. Но он задал тон. Росписи его учеников и подражателей дают ту цельность, о которой говорилось выше.

Как архитектура, как и живопись, легенда о самом святом в Ассизи есть кардинальный факт духовной жизни Италии XIII—XIV вв., и лишь Данте недостает в S. Francesco, чтобы дать полное созвучие *мистического средневековья* Италии.

Верхняя церковь светлее, обширнее; тоже чисто готическая, но здесь уже более дневное, трезвое. Стены ее целиком расписаны сценами из жизни Святого, начиная с Франциска-юноши до посмертных явлений и чудес. (Также Джотто.)

Когда выходишь из священных дверей San Francesco и по каменной лестнице спускаешься вниз, теплый ассизский день обнимает мягкостью, тишиной; два монаха идут, бредет благообразная англичанка, голуби воркуют, веселятся воробьи. Им, здесь же, мог бы сказать св. Франциск: «Сестры мои птицы, многим вы обязаны Богу, вашему Создателю, и всегда, и во всяком месте должны славословить Его: за то, что Он дал вам свободу летать на просторе, а также дал вам двойную и даже тройную одежду... вам не нужно ни сеять, ни жать, и сам Бог пасет вас и дает вам реки и источники для питья, и дает вам горы и долины, как убежище, и высокие деревья для ваших гнезд; и зная, что вы не умеете прясть и шить, Бог сам одевает вас и ваших детей...» Птицы, как известно, выразили великую радость, вытягивали шейки, топорщили крылышки и внимательно смотрели на него. Он благословил их и они улетели.

Средневековый городок Ассизи в этот час предобеденный так же покоен и благообразен, как, верно, был и много лет назад; так же вздымается над черепичными его крышами древняя крепостца Rocca Maggiore[1], так же желтеет и коричневеет за ней гора Субазио, где есть пещера Святого. Так же голубой, светлый воздух Умбрии овевает это скромное место, и немногочисленные горожане постукивают каблуками по плитам уличек — неровных, то спускающихся, то идущих вверх, то круто загибающих. Не знаю, чем теперь занимаются эти жители. Но по облику их и их жилищ можно думать, что не весьма далеко отошли они от *святой бедности,* sancta povertade, какую проповедовал учитель.

На небольшой улице заходим в лавочку с нехитрою стеклянной дверью: там продаются священные книги, реликвии, изображения Франциска. Мы тут достанем Fioretti, знаменитые *«Цветочки Фр. Ассизского».* Издание бедное, напечатано в самом Ассизи, внизу надпись: Tipografia Metastasio, в честь литературной знаменитости Ассизи XVIII века — Метастазио. Книжечку можно положить в карман. Пройдем мимо старинного собора

---

[1] Скала Большая *(ит.).*

с розетками над порталом — его строил Джиованни да Губбио — как густо по-средневековому звучит это имя! (А еще лучше: Джакомо ди Лапо, зодчий церкви св. Франциска.)

И вот мы вблизи небольшой капеллы S. Francesco il Piccolo, над дверью которой надпись:

> Hoc oratorium fuit bovis et asini stabulum
> In quo natus est Franciscus, mundi speculum[1].

Здесь, по преданию, родился св. Франциск. Мать его, *Дама Пика,* никак не могла разрешиться от бремени; вдруг странник постучался в дверь дома, и сказал открывшей ему служанке, что родильница тогда родит, когда из роскошной комнаты ее перенесут в конюшню; там, на соломе, все произойдет благополучно. Так будто бы и случилось. Мы же стоим сейчас пред местом, где, по-видимому, находился отчий дом Франциска, дом, который он так неожиданно и безвозвратно бросил.

Близится полдень. Можно взглянуть еще на портик Минервы, отголосок Ассизи языческого, так мало связанного с общим обликом города, но говорящим, что мы на земле Италии, где христианство возрастает над язычеством. Можно взглянуть на монастырь св. Клары, первой сподвижницы Святого из женщин, первой Жены Мироносицы его: и неторопливо — Ассизи не располагает к спешке — мы сойдем пониже, к нам знакомой уже двери отеля «Джотто».

Табльдот в покойном и степенном отеле — большая, светлая зала с окнами на долину Тибра. Два полнокровных французских аббата беседуют кругло, вкусно; и основательно пьют красное вино; вечный тип художника, которого еще Гоголь видел в Риме: в тальмочке, с полуголодным взором и «ван-диковской бородкой». Только у теперешнего на ногах грубые башмаки с гвоздями и суконные обмотки до колен. Вчерашний худосочный молодой англичанин, с дамой, пьет содовую воду, растерян, смирен, видимо, полубольной. Да изящный поляк, не лишенный элегии, с двумя барышнями, одну из которых, кажется, любит. Белые стены, негромкий разговор, позвякивание посуды в руках камерьере; за окном бледно-голубеющие горы и великая долина Умбрии... Время идет тихо и беззвучно.

Под вечер встречаемся с аббатом в читальне. Сквозь очки, деловито и прочно он читает. Открываю свои *Fioretti.* Св. Клара является вкушать трапезу в Св. Марию Ангельскую, ко Франциску. «И когда пришел обеденный час, садятся вместе св.

---

[1] «Здесь был молитвенный дом быка и прибежище осла, зеркальное подобие того, где рожден Франциск» (*лат.).*

Франциск и св. Клара, и один из товарищей св. Франциска со спутницей св. Клары, а затем и все другие товарищи смиренно подсели к трапезе. И за первым блюдом св. Франциск начал беседовать о Боге столь сладостно и столь возвышенно, и столь чудесно, что сошла на них в изобилии благодать Божия, и все они были восхищены в Боге. И когда они были так восхищены и сидели, вознеся очи и воздев руки к небу, жители Ассизи и Беттоны и окрестностей видели, что св. Мария Ангельская, вся обитель и лес, окружавший ее, ярко пылали, и казалось, что великое пламя охватило сразу и церковь, и обитель, и лесть. Поэтому ассизцы с великою поспешностью побежали туда тушить огонь, в твердой уверенности, что все там горит. Но дойдя до обители и найдя, что ничего не горит, они вошли внутрь и обрели св. Франциска со св. Кларой и со всеми их сотрапезниками, сидящими за той смиренной трапезой, и поглощенными созерцанием Бога».

Окно библиотеки открыто. Ветерок налетает, чуть веет светлым благоуханием. Там, внизу, эта самая Беттона, жители которой бежали тушить огонь. А св. Мария Ангельская — и совсем близко, у станции. Ныне здесь церковь, в ней капелла, называемая Порциункула, построенная св. Франциском; первая часовня францисканства, драгоценнейшая и древнейшая его реликвия. Сейчас св. Мария Ангельская не пылает. День мягкий, слегка облачный; бесконечная долина в синевато-опаловых, нежных горах. Над горами, вдалеке, лиловеет облако, и под ним беззвучной сеткой висит дождь, изливающийся за десятки верст. А правее солнце, выбившись из-за облака, золотисто выхватило возвышенность, где, короной, красуется далекая Перуджия, заволокнутая легкой дымкой, жемчужиною. «Однажды в зимнюю пору св. Франциск, идя с братом Львом из Перуджии к св. Марии Ангельской, и сильно страдая от жестокой стужи, окликнул брата Льва, шедшего немного впереди, и сказал так: — брат Лев, дай Бог, брат Лев, чтобы меньшие братья, в какой бы стране ни находились, подавали великий пример святости и доброе назидание; однако запиши и отметь хорошенько, что не в этом совершенная радость». Из дальнейшего видно, что совершенная радость состоит не в том, чтобы изгонять бесов, исцелять расслабленных, пророчествовать, узнавать все сокровища земные, говорить языком ангельским и обращать в веру Христову неверных. А вот если в бурю и непогоду, промоченные дождем, придут они к св. Марии Ангельской и рассерженный привратник выгонит их, приняв за бродяг и воришек, на холод, они же терпеливо перенесут оскорбления и ярость и смиренно будут думать, «что этот привратник на самом-то деле знает

нас, а что Бог понуждает его говорить против нас, запиши, брат Лев, что тут и есть совершенная радость». И еще далее говорится, как они продолжают стучать, а рассерженный привратник выскочит, «и схватит нас за шлык, и швырнет нас на землю в снег, и обобьет об нас эту палку; если мы все это перенесем с терпением и радостью, помышляя о муках благословенного Христа, каковые мы и должны переносить ради Него; о, брат Лев, запиши, что в этом будет совершенная радость». Как просто, и по-человечески! Как трудно зимой голодным, холодным, оскорбляемым! Сколь это древняя, и вечная история. Здесь она лишь возведена на высоты христианского смирения.

Так читаешь, и мечтаешь в тихой читальне отеля «Джотто», выходящей на долину Тибра. Невидимо идет время, очень легко, светло, но это вообще свойство Ассизи — давать жизни какую-то музыкальную, мечтательную прозрачность. Поистине дух монастыря, самого возвышенного и чистого, сохранялся здесь. Кажется, тут трудно гневаться, ненавидеть, делать зло. Здесь нет богатого красками, яркого зрелища жизни. Тут если жить — то именно, как в монастыре: трудясь над ясною, далекой от земной сутолки работой, посещая службы, совершая прогулки по благословенным окрестностям. И тогда Ангел тишины окончательно сойдет в душу, даст ей нужное спокойствие и чистоту.

Среди вечерних прогулок Ассизи хорошо посещение крепостцы, разрушенной Rocca Maggiore, куда взбираешься по дикой круче, среди камней и чахлых кустиков. Rocca господствует над Ассизи. Отсюда еще шире вид, еще безмернее воздушный, тихий океан, еще ближе небо, столь близкое Святому; ближе орлы, парящие над горою Субазио, где у Франциска была пещера. Вид пустынной и голой горы Субазио говорит об отшельничестве, о каких-то отрешенных, отданных одному Богу часах Святого.

В развалинах крепости мы встретим — с зонтом, пюпитром, красками, кистями все того же художника «с ван-диковской бородкой», которого некогда видел Гоголь в Риме, и который ныне живет в отеле «Джотто». Он что-то нервно, «гениально» пишет. На него взглянешь, станет грустно. Сколько этих «художников» рассеяно по Италии, и где-где не видел вот таких же шляп, галстухов, измазанных курток! Бог искусства требует все новых, новых, никому не ведомых жертв, чтобы из тысяч их дать одного Джотто.

Другой путь из Ассизи вниз. Когда садится солнце, выходишь из ворот S. Pietro, и мимо виноградников, возделанных полей, спускаешься в долину. Справа монастырь св. Франциска. Отсюда

видны огромные столбы со сводами, «субструкции», на которых покоится здание. Они напоминают несколько аркады римских акведуков. Бледно-лиловеют и розовеют в закате дальние горы. Долина начинает чуть туманиться. В монастыре и в S. Pietro мелодичный, славный перезвон, столь знакомый передвечерний Angelus.

Встречаешь по дороге крестьян, возвращающихся с работы. Они имеют утомленный вид, но с отпечатком того изящества и благородства, какой покоится на земледельце Италии. Почти все они кланяются. Я не вижу в этом отголоска рабства и боязни. Некого здесь бояться; и не пред скромным пилигримом, странником по святым местам унижаться гражданину Умбрии. Мне казалось, что просто это дружественное приветствие, символ того, что в стране Франциска люди друг другу братья.

Так идут дни в Ассизи — легко, бездумно, как светлые облака — и так же невозвратно уплывают. И в одно солнечное утро у отеля «Джотто» веттурин, наши вещи погружены, и, пощелкивая бичом, итальянец везет нас вниз, по неровным плитам Ассизской мостовой, завинчивая слегка свой тормаз. Наш путь — мимо знакомой нам св. Марии Ангельской, чрез полотно железной дороги, по плодоносящей, фруктообильной долине к Перуджии. Ассизи остается сзади. Вот прилепилось оно к своей горе, как священное гнездо. Долго видны его кампаниллы, стены, огромные субструкции монастыря. Солнце сегодня яркое, и яркие, голубоватые тени облаков бегут по рядам яблонь, спелой пшенице и гирляндам виноградников, по белому шоссе. Ассизи окунается в светло-голубеющий туман.

Pero chi d'esso loco fa parole,
Non dica Ascesi, chè direbbe corto,
Ma Oriente, se proprio dir vuole[1].

Мало, для Данте, сказать: Ассизи. Говори — Восток, Восход, откуда солнце некое взошло над миром.

Невдалеке от Перуджии, куда легко катил нас наш возница, есть этрусский ипогей; мы заезжали туда. Это древние этрусские гробницы в холме, темные пещеры, которые проводник освещает факелом. Там белые, каменные саркофаги, на крышках которых, как обычно в этрусских погребениях, возлежат умершие. Они в спокойных, важных позах, полуоблокотясь; иногда это целые

---

[1] Чтоб это место имя обрело,
«Ашези» — слишком мало бы сказало;
Скажи «Востоко», чтоб точно подошло.
Данте. Божественная Комедия. Рай Песнь XI.
Пер М. Лозинского.

семейные группы. Как всегда смерть в античности — здесь она покойна, очень важна и строга. Она действует, она возвышенна. Но вспоминая недалекое Ассизи, понимаешь ясней разницу в смерти у язычников и христиан. Для этруска *весь* этот мир ушел уже, и нет надежды, остается каменное изваяние, слабая попытка задержать вечность, закрепить в ней мимолетный образ. Отсюда строгость и печаль. Для Франциска же смерть, сколь ни горька она (сам Святой умирал мучительно) — есть разрешение, лишь приобщение мирам светлейшим, высшим, самому Христу. И его радость солнцу, птицам и природе — радость откровениям Божественной высоты, некоего райского состояния, куда был он «восхищен» во время трапезы со св. Кларой. Жизнь его была непрестанное «восхищение», доколе Смерть не восхитила его к высшему истоку сущего — Божеству.

Хорошо жить в Ассизи. Смерть грозна, и страшна везде для человека, но в Ассизи принимает очертания особые — как бы легкой, радужной арки в Вечность.

Сельцо Притыкино, дек. 1918 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭТТОРЕ ЛО ГАТТО

БОРИС ЗАЙЦЕВ

В 1923 году я являлся секретарем Института Восточной Европы, созданного Отделом Печати Министерства Иностранных Дел. В этом качестве (а также как исследователь русской литературы и директор журнала «Russia») я пригласил в Рим группу русских интеллектуалов, покинувших родину и находившихся в Берлине в ожидании выбора постоянного места жительства в Западной Европе. Группа эта была разнородная: в нее входили три философа — Николай Бердяев, Семен Франк и Борис Вышеславцев; уже тогда очень известный биолог, бывший ректор Московского университета, Михаил Новиков; социолог Александр Чупров; журналист Михаил Осоргин; искусствовед Павел Муратов и, наконец, приобретший уже известность на родине писатель Борис Зайцев. К ним присоединился Евгений Шмурло, историк, живший уже около двадцати лет в Риме в качестве представителя русской Академии наук при Ватикане.

Целый интеллектуальный мир, в котором можно было столько узнать и о прошлом, и о настоящем России. И лекции оправдали ожидания, особенно, как мне кажется, прочитанные Зайцевым и Муратовым. Единственным, кто не читал лекции, был Осоргин, представлявший группу. Со всеми у меня сложились в те дни сердечные отношения, но особенно тесные — с Зайцевым, Муратовым и Осоргиным, с ними они продолжались и позже и со временем перешли в дружбу.

С группой философов, к сожалению, особой близости не возникло: все трое принадлежали к различным течениям одного и того же направления в русской мысли,— гносеологическому, эпическому, историософскому — которое связывалось с полу-

богословскими концепциями славянофилов и Владимира Соловьева; в интерпретации восточного христианского православия они чувствовали себя свободными от догматических пут, подвергая анализу и углубленно исследуя западных философов, акт познания они видели в самоуглублении, приближающемся к мистическому. Вышеславцев говорил о «русском национальном характере»; Франк анализировал фундаментальную идею русской философии; Бердяев развил «русскую религиозную идею», как он ее называл. Из этих троих единственным, кто получил позже всемирную известность и за пределами узкого круга философов, был именно Бердяев, с которым впоследствии я не раз встречался, не выходя, впрочем, за рамки воспоминаний о днях, проведенных в Риме.

Впоследствии в Праге мне представилась возможность часто встречаться с Новиковым и Чупровым. Это были типично русские люди, сентиментальные, под покровом научных и, я бы сказал, социологических теорий; первый основал в Праге свободный университет, а второй подвизался там в качестве доцента. Оценку Чупрова я нашел позже у художника Кандинского, который писал, что Чупров — чрезвычайно одаренный ученый, одна из самых исключительных личностей, с какими он когда-либо встречался,— слова, под которыми я с волнением поставил бы свою подпись и тогда, и теперь.

Тогда я еще не бывал в Советском Союзе: от приглашения участвовать в столетии со дня рождения Достоевского, которое привез мне лично критик Петр Коган, я вынужден был отказаться по семейным обстоятельствам. Горький в то время был в Берлине, только спустя год он переселился в Сорренто, и между нами установились отношения, о которых я пишу дальше. Меня не просто интересовало, я жаждал из первых рук узнать что-либо о ситуации в России еще и потому, что письма писателя Короленко комиссару по просвещению Луначарскому о положении в культуре в результате революции, которые я опубликовал в «Russia», являлись, благодаря их автору, незамутненным зеркалом событий.

В своей лекции о «Современной русской литературе» Зайцев остановился в основном на предреволюционном периоде, то есть на той литературе, к которой принадлежал сам, но кроме того, нарисовал нам волнующую картину послереволюционных лет, рассказывая не только о первых произведениях искусства и о первых литературных группировках, но и об исключительной самоотверженности тех, кто продолжал писать, сочинять стихи, творить, невзирая на голод, холод, гражданскую войну. В 1921 году его избрали в Москве председателем Всероссийского Союза

писателей, и тогда ничто еще не предвещало, что он станет изгнанником. Естественно, что именно его рассказ побудил меня к более глубоким исследованиям, завершившимся беседами с Горьким в Сорренто, когда я поехал в Москву,— к поискам книжной лавки, в которой писатели сами стояли за прилавками, продавая все то, что не было принесено в жертву в моменты, когда холод пересиливал любовь к книге. В этой лавке на Кузнецком мосту я приобрел известные журналы первого десятилетия нашего века, составляющие сейчас ценнейшую часть моей библиотеки: «Золотое руно», «Мир искусства», «Весы» и «Аполлон». Зайцеву я косвенным образом обязан и тем, что впоследствии мои студенты в университете занимались тем чудесным периодом, когда эти журналы завоевали себе популярность.

Борис Константинович Зайцев был первым уже известным русским писателем, с которым я подружился. В старости (он умер в Париже в возрасте более девяноста лет) он часто говорил, улыбаясь, что я единственный его иностранный друг, с которым он на «ты». Говорил «иностранный», а не «итальянский», что было бы, по-моему, более верно, поскольку, называя на «ты» меня, он выражал этим свою любовь к Италии, как бы к ней обращаясь на «ты». Допустив столь оригинальное отождествление, возможно, неосознанное, добавлю, что Зайцев, будучи, в сущности, романтиком, не отличался особой эмоциональностью. Я бы сказал, напротив, он был весьма суров по отношению к себе и к другим. Но Италию он любил нежно, когда мы познакомились, он рассказывал, что был в Италии до революции и написал об этом. Я читал книгу, которую писатель, уже постоянно проживавший в Париже, опубликовал под ностальгическим названием — «Италия», в ней были собраны старые и новые его работы. Тончайший писатель, которого хочется, как Чехова, назвать импрессионистом, выражавший в импрессионистических зарисовках свое видение реальности, Зайцев приезжал в Италию не для изучения ее искусства, как Муратов, о котором я расскажу позже. Описывая этапы своего путешествия по Италии, он побывал в Венеции, Флоренции, Сиене, Ассизи и в других городах. Зайцев дал поэтическую картину окружавшей жизни; знание искусства помогало ему лучше чувствовать ее пульс. Несомненно, он читал «Образы Италии» Муратова, но при этом открыл, что тот шел от жизни к искусству, а не наоборот. Во время многочисленных наших бесед Италия была постоянной темой, разумеется, для него, что касается меня, то я и от него, и от других русских собеседников старался получить оценку событий, особенно литературных, русской жизни. Очень

возможно, что своим спокойствием Зайцев был обязан Италии (не важно даже, если это была Италия его фантазии, а не та, которую он знал), так или иначе, искусство его было спокойным. Как-то писатель обратил мое внимание на слова, написанные о нем в 1958 году русским советским писателем Константином Паустовским, долго гостившим у него в Париже. Паустовский написал, что среди книг, из которых он черпал душевное спокойствие, наряду с «Вешними водами» Тургенева, «Тристаном и Изольдой» и «Манон Леско», была «Голубая звезда» — одна из самых чарующих повестей Зайцева. Каждый раз, приезжая в Париж, я навещал друга (в моей душе остался живой след от этих визитов, а память сохранила не только образ Бориса Константиновича, но и его жены Веры Алексеевны — то была на редкость чувствительная и деликатная истинно русская женская душа). Мы говорили с ним обычно о новых его работах, так что представление о его литературной карьере сложилось у меня на основе того, что я слышал из его собственных уст. Его развитие было спокойным, как его душа, наиболее важные этапы творчества связаны между собой зачастую второстепенными произведениями, но всегда свидетельствующими о главном для него — как человека и как писателя — принципе: человеческая жизнь есть путешествие по звездам («По звездам»). Наиболее значительными произведениями Зайцева являются «Путешествие Глеба» — своего рода автобиографическая хроника, дополненная, в определенном смысле, книгами: «Италия», последовавшей за ней «Москвой» и всеми парижскими рассказами, все они представляют как бы фон, на котором проходила жизнь писателя, достойное место среди них занимает короткий роман «Дом в Пасси». Сами по себе заглавия ни о чем не говорили бы, если бы за ними не стояла религиозно-православная духовность, в самом глубоком и чистом смысле этого слова, о чем свидетельствуют страницы «Острова Валаама», «Горы Афон» и «Преподобного Сергия Радонежского».

О религиозных чувствах Зайцева говорили еще до его изгнания (то есть до написания им вышеперечисленных работ), определяя их как пантеизм, и сам он, казалось, не отвергал такого определения, вокруг которого впоследствии развернулась полемика. Я затронул эту тему в разговоре с писателем, и он ответил, что, возможно, в его идеях есть нечто похожее на пантеизм, но по духу он истинно религиозен в том смысле, что принимает законно созданную церковь (как известно, он был тверд в православии, и это важно знать, чтобы понять его истинное положение среди эмиграции). Нельзя, разумеется, считать элементом пантеизма тот факт, что в человеке вообще,

следовательно, и во всех его ипостасях при ближайшем рассмотрении всегда можно найти что-то от святого — эта мысль пришла мне в голову после одного из разговоров с писателем.

Именно на основании такого подхода различные моменты творчества Зайцева вырисовываются не только как воскрешение прошлого, но и как поэтическое преображение настоящего: и в том и в другом случае у Зайцева есть великолепное подспорье — природа, которую он описывает скупыми штрихами, но благодаря которой характеристики живущих среди нее персонажей обретают большую выразительность. Весьма проблематично, правда, связывать преображение настоящего с природой, поскольку Зайцев всегда, или почти всегда, описывает русскую природу (исключения, описания итальянской и французской природы,— не могут служить образцом).

Помню, говорили мы в связи с описаниями природы о Бунине; они с Зайцевым были близкими друзьями, что, впрочем, вовсе не означало, как ошибочно кем-то утверждалось, будто Зайцев испытывал на себе влияние Бунина. Реализм Бунина, в том числе и в описании природы, не был созвучен романтическому духу Зайцева. У Бунина природа в своем чрезмерном порой изобилии красок, звуков, запахов играет почти самостоятельную роль, меж тем как у Зайцева она подчинена чувствам героев, зачастую имеющих автобиографическую ценность.

Довольно часто наши разговоры с Борисом Константиновичем касались истории литературы. Хорошо помню: он никогда не мог мне простить, что в разделе моей «Storia della letteratura russa»[1], касающемся его творчества, я применил к его первым рассказам термины «реализм» и «натурализм». Признаюсь, напиши я заново о нем в шестом издании, которого не увижу, я не использовал бы больше термин «натурализм», настолько рассказы и короткие романы зрелого периода выявили настоящего Зайцева — его импрессионистичность. И все же я и сейчас утверждаю, как делал это в разговоре с писателем, что за импрессионизмом *á la* Чехов кроются ростки реализма, хотя и менее выраженные, чем у Чехова.

Я не считаю, что термин «реализм», предполагающий реальное описание действительности, ее внешней формы, мелочей обыденной жизни, исключает лирическое состояние того, кто наблюдает и описывает эту действительность. Субъективность не всегда исключает объективность описания, лиризм вполне может сочетаться с реальностью; иначе — что говорить о поэтах, а ведь известно, что и прозаик может быть поэтом, он

---

[1] «История русской литературы» *(ит)*.

только более свободен в смысле формы. Возможно, в творчестве Зайцева в зрелый период сказалось то, что вначале он был элегическим прозаиком и писал рассказы-излияния.

Зайцев любил рассказывать о себе, и потому с легкостью признался в одной из наших бесед, что выбор им писателей, так же, как и выбор тем для рассказов, обусловлен его личным пристрастием. Всю жизнь работая над биографиями поэта Василия Жуковского, прозаиков Ивана Тургенева и Антона Чехова — сказал Зайцев — он видел в них свое отражение. К этому можно добавить, что биографии написаны с тем же изяществом, с каким и собственные его произведения.

Биографии Жуковского присуща лиричность, биографии Тургенева — описательность, Чехова — некая ритмичность — помню, что говоря о Чехове, Зайцев заметил, что ритмы прозы различны у разных авторов, и более сложны, чем ритмы в стихах. Сомнительно, чтобы он изначально сознавал ритмичность собственной прозы, но когда я сказал ему об этом, он согласился.

Если в биографиях выбранных им авторов Зайцев — по его признанию — видел свое отражение, то на книгах о любимых странах лежит отпечаток его личности: я имею в виду книгу «Москва» — о России, и книгу «Италия» — об Италии. Он и после 1923 года много раз возвращался в Италию и писал о ней в статьях, собранных в томе «Далекое», выражением любви Зайцева к Италии был перевод им дантова «Ада», так же как моей любви к России — перевод пушкинского «Онегина».

В 1923 году говорить с друзьями о журнале «Russia» и знакомить их с вышедшими номерами было более чем естественно, так же, как естественно было гордиться этим. О журнале писали все трое так называемых «итальянистов»: кроме Зайцева — Муратов и Осоргин. Зайцев написал о нем в берлинском библиографическом журнале «Новая русская книга». Что касается отношения Европы к русским проблемам, он был оптимистом. Осоргин же был настроен пессимистически, о чем буду говорить в воспоминаниях о нем. Когда в декабре 1922 года возобновилось издание «Russia», Зайцев писал:

«Есть теперь в Европе некая эксплуатация моды на Россию. Есть оборотистое отношение к ней в Америке. Но из-за шума дел корыстных и рекламных слышатся и голоса серьезные: внимания, любви настоящей. Очень яркий образец перед нами: журнал «Russia» посвящен литературе, искусству и истории России. Вот уж где корысти нет! Вот про что можно сказать: если пишу, то потому, что увлечен, люблю — не почему иному. Журнал уже существовал, погиб за недостатком средств и после

перерыва вновь возобновился. Создан любовью и энергией одного человека, проф. Этторе Ло Гатто. Он тратил средства на него, он и редактор и сотрудник главный, переводчик, агитатор и боец... Итак, главная задача — осведомление. Так книга и составлена. Скорее, сведения о культуре, нежели над нею суд (оценка)... Вся эта изящная книжка говорит об одном: о бескорыстном энтузиазме, направленном на родное наше, то в нем, что значительно и ценно. Не к бравадам и не к самомнению настраивает она. Нет — просто радостна для всякого русского. А для тех — в России нередких — для кого сама Италия давно стала как бы второй духовною родиной, кто перед нею в долгу неоплатном — эта зеленая книжка о русском духе, написанная так осведомленно, так серьезно, интересно и любовно — весть трогательная, впечатление волнующее...»

Я уже говорил, что кроме прекрасной книги «Италия» Зайцев оставил замечательный перевод дантова «Ада» как свидетельство любви к Италии. Не скажу, что благодаря своему «ритмическому» переводу «Ада» Борис Константинович занял видное место среди почитателей и переводчиков Данте, особенно после перевода в терцинах всей «Божественной Комедии» Михаилом Лозинским, который в наше время стал для Данте тем, чем Борис Пастернак — для Шекспира и Гёте. Я вспоминаю перевод Зайцева потому, что он был предметом наших бесед с писателем, особенно одной, посвященной, можно сказать, только Данте. Речь шла в основном о том, каким языком должны пользоваться переводчики произведений далекого прошлого. Именно Зайцев познакомил меня с переводом «Ада» XIX века некоего М. Голованова с солидным приложением, содержащим довольно интересную полемику. В этом приложении переводчик, полемизируя с Д. Мином, самым известным переводчиком Данте того времени, сделавшим перевод, как и он сам, в терцинах, утверждал принцип, отвергнутый и Зайцевым, и Лозинским, а именно возможность, вернее, необходимость использовать архаизмы и славянизмы по примеру Литтре, попытавшегося, как известно, перевести Данте на древний французский язык XIII века. В нашей интересной беседе Зайцев защищал свой выбор не только современного русского языка, но и формы ритмической прозы, следующей стиху, утверждая, что она лучше воспроизводит дух и структуру перевода в терцинах, неизбежно удаляющийся от оригинала, неточный. Я, как и Борис Константинович, знал уже, что критик К. Н. Державин, не итальянист, представляя перевод Лозинского, хвалил переводчика за то, что он преодолел труд-

ности поэтической техники, не изменив оригинала и используя богатство русского языка даже для воспроизведения оттенков народной речи, которой пользовался Данте. Зайцев обратил мое внимание на то, как вычурны и искусственны многие рифмы Лозинского, как мало передают они дантовские. Я же напомнил ему, что еще в докладе при вручении «Пушкинской премии» Академии наук переводчику Мину было замечено, что русские рифмы бедны и что на эту бедность в свое время сетовал Пушкин в «Онегине».

Не стоит задерживаться на этой дискуссии, я вспомнил о ней лишь в связи с итальянскими пристрастиями Зайцева, который в своей последней книге «Далекое» писал:

«Большая часть книги — о России. Но в конце и об Италии. Без нее трудно обойтись автору, слишком она в него вошла, да и не в него одного. С давнего времени — с эпохи Гоголя, Жуковского, Тютчева, Тургенева и до наших дней тянется вереница русских, прельщенных Италией, явившейся безмолвно и нешумно в русскую литературу и культуру — по некоему странному, казалось бы, созвучию, несмотря на видимую противоположность стран. Как бы то ни было, автору хотелось оставить о России, а частично и об Италии, некоторые черты виденного и пережитого — с благодарной памятью, иногда и преклонением».

ПРИМЕЧАНИЯ

Золотой узор

Впервые — в ежемесячном общественно-политическом и литературном журнале «Современные записки». Париж, 1923, № 15—17; 1924, № 18, 19, 22; 1925, № 23, 24. Первое книжное издание — Прага: Пламя, 1926. Печ. по этому изд. Переведен иа чешский, итальянский, испанский, немецкий и французский языки. Роман автобиографичен (как и «Дальний край», «Дом в Пасси», тетралогия «Путешествие Глеба»). И литературно-художественная Москва начала века, и путешествие по Италии, и учеба в Александровском юнкерском училище, и кровавые события 1917 г.: расстрел большевиками сына героини, смерть ее отца, директора завода Гужона (в действительности это был отец писателя), и казематы Лубянки, и грозившее смертельным исходом заболевание тифом, и неожиданное разрешение на отъезд за границу «для поправки здоровья» в 1922 г — все это факты из жизни самого Зайцева. В автобиографии 1943 г. он дал такую характеристику своей книге: «Первою крупиою вещью в эмиграции был роман «Золотой узор». Он полон откликов «Ада» жизни тогдашней. В нем довольно ясна религиозно-философская подоплека — иекий суд и над революцией и над тем складом жизни, теми людьми, кто от нее пострадал. Это одновременно и осуждение и покаяние — признание вины. <...> Вообще годы оторванности от России оказались годами особенно тесной с ней связи в писании. За ничтожными исключениями все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россней и дышит. В произведениях моих первых лет зарубежья много отголосков пережитого в революцию. Далее — тон большего спокойствия и объективности» («О себе»). С каким замыслом, во имя чего писался «Золотой узор», Зайцев выразил устами Маркела, в его письме Наташе, завершающем роман:

«То, что произошло с Россией, с нами,— не случайно. Поистине и мы, и все пожали лишь свое, нами же и посеянное. Россия несет кару искуплеиия так же, как и мы с тобой. Ее дитя убили — небреженное русское дитя распинают и сейчас. Не надо жалеть о прошедшем. Столько грешного и недостойного в нем!<...>

Мы на чужбине, и надолго (а в Россию верю!). И мы столько видели, и

столько пережили, столько настрадались. Нам предстоит жить и бороться, утверждая *наше*. И сейчас особенно я знаю, да, важнейшее для нас есть общий знак — креста, наученности, самоуглубления. Пусть будем в меньшинстве, гонимые и мало видные. Быть может, мы сильней как раз тогда, когда мы *подземельней*.

Светлый друг! Я знаю всю горячую и страстную твою природу, и я видел все узоры твоей жизни — воздушные и золотистые, и страшные. Да продолжают быть — яблонка цветущая и ветер покровителями для тебя, но от моей дальней, и мужниной любви желаю лишь тебе сияние Вечного Солнца над путем... ну ты поймешь».

С. 21. *...водил меня к Борису и Глебу...*— Имеется в виду несохранившаяся церковь св. Бориса и Глеба, построенная у Арбатских ворот в 1764 г. по проекту архитектора К. И. Бланка.

С. 24. *Мы переехали на Спиридоновку, в тот дом, что на углу Гранатного. Он мне напоминая корабль...*— Зайцев описывает дом, в котором жил он сам с женой Верой Алексеевной (ныне — угловой дом ул. Спиридоновки, 9 и Гранатного пер., 2).

...особняк Леонтьевых с колоннами...— Этот дом в Гранатном пер., 4, построенный в 1804—1805 гг., принадлежал Голицыным, а затем П. Н. Зубову и его наследникам Леонтьевым.

С. 26. *«Разочарованному чужды все обольщенья прежних дней».*— Из романса М. И. Глинки (1804—1857) «Разуверение» («Не искушай меня без нужды...») на слова Е. А. Баратынского (1800—1844).

С. 28. *...дом с бюстом Юпитера Отриколийского в прихожей...*— В римской мифологии Юпитер (у древних греков Зевс) — царь богов Олимпа, бог неба, «отец дня». «Юпитер Отриколы» — одна из копий античной культовой скульптуры из г. Отрикола в окрестностях Рима.

...где висел недурной Каналетто...— Джованни Антонио Каналетто (1697—1768) — итальянский живописец, мастер архитектурного пейзажа, писавший виды Венеции, Рима, Лондона.

...Прозерпина в изобилии и отдыхе...— Прозерпина (у древних греков — Персефона) — в римской мифологии богиня царства мертвых.

С. 35. *Ну, Биарриц... ну. римский Форум...*— Биарриц — климатический и бальнеологический курорт на берегу Бискайского залива во Франции. Форум — в Древнем Риме рыночная площадь, являвшаяся центром политической жизни.

С. 37. *Ах, Кассандра вы какая...*— В греческой мифологии Кассандра, дочь царя Приама и Гекубы, наделенная даром прорицания, которым, однако, никто не верил: так наказал ее бог Аполлон за то, что она отвергла его любовь.

С. 40. *...отправились на вечер в клуб литературный, очень тогда модный.*— Имеется в виду Литературно-художественный кружок, организованный в октябре 1899 г. в Москве Николаем Николаевичем Баженовым (1857—1923), известным психиатром, первым председателем Русского союза невропатологов и психиатров.

В мемуарной книге «Москва» Зайцев вспоминал: «Врос кружок в жизнь Москвы с достоинствами своими и недостатками, с шумом, оживлением, дебатами об Арцыбашеве и Каменском, концертами и лекциями. Вечером, заглянув туда, встретишь знакомых и друзей, просмотришь новости в читальне — вряд ли минуешь ресторанный зал. С молодым еще (но уже академиком) Буниным займешь стол, наш обычный, направо от двери. К полуночи подойдет Юлий Бунин (старший брат писателя.— *Т. П.*) с какого-нибудь заседания — в том же кружке, где с Валерием Брюсовым обсуждали они вопрос, скажем, о поваре (Брюсов во всем был дотошный и неутомимый: переводить ли Вергилия, спорить ли о дежурном блюде). <...> Шмелев, Телешов, покойный Грузинский подсядут к нам. Встретишь приезжего из Петербурга — Георгий Чулков. Из молодых московских — Ходасевич, Муни, Койранский и Стражев. <...> Ко времени драм российских кружок был учреждение цветущее, с библиотекой в двадцать тысяч томов, штатом служащих, канцеляриями, запасным капиталом. Мог жертвовать на просвещение, стипендии, помогал нуждающимся, выдавал ссуды, издавал журнал (небольшой), собирал многосотенные аудитории — литературно-музыкальные. В залах его устраивались выставки».

С. 41. *...папкам Вермеера...*— Ян Вермер Дельфтский (1632—1675) — голландский живописец; крупнейший пейзажист, портретист, создатель жанровой картины нового типа.

С. 42. *«Уймитесь, волнения страсти...»* — Романс М. И. Глинки «Сомнение» на слова Н. В. Кукольника (1809—1868).

С. 44. *Ипекакуана для него в аптеке...*— Корни латиноамериканского кустарника ипекакуаны используются в медицине как отхаркивающее и рвотное средство («рвотный корень»).

...летели в санках к Яру...— «Яр» — знаменитый московский ресторан в Петровском парке, 9 (ныне Ленинградский пр., 32), в котором пели лучшие цыганские хоры.

...лихач гнал за Триумфальной аркой...— Имеется в виду Триумфальная арка на площади Тверской заставы (ныне площадь Белорусского вокзала), разобранная в 1936 г. (восстановлена в 1968 г. на Кутузовском пр., близ музея-панорамы «Бородинская битва»).

С. 45. *...голова Минервы в шлеме.*— В римской мифологии Минерва (у греков — Афина Паллада) первоначально считалась богиней войны (отсюда — ее изображения в шлеме), затем — покровительницей искусств и ремесел; почиталась также врачами, учителями и музыкантами.

С. 50. *В папке гравюры: Терборх...*— Герард Терборх (1617—1681) — голландский живописец.

С. 52. *...Тритон наш русский...*— В греческой мифологии Тритон — морское божество.

С. 56. *...Дианы, Нимфы, Психеи.*— Диана у римлян, Артемида у греков — богиня растительности, родовспомогательница, олицетворение луны. Нимфы (девы) — в греческой мифологии древнейшие божества природы; среди них: водные — океаниды, нереиды, наяды, лимнады; деревьев — дриады; гор —

агростины и т. д. Психея — в греческой мифологии супруга Эрота, олицетворение души, дыхания.

С. 57. *...забьет всех Ренуаров...*— Пьер Огюст Ренуар (1841—1919) — великий французский живописец, график и скульптор; представитель импрессионизма.

С. 58. *Не нравился его рамолисмент.*— Рамолисмент — производное от «рамоли» (фр. ramolli), состояние старческой расслабленности.

С. 61. *...памятник великого Конде...*— Луи II Бурбон, принц Конде (1621—1686) — французский полководец, прославившийся победами в Тридцатилетней войне 1618—1648 гг.

С. 63. *...стал как бы Вергилием моим.*— Данте Алигьери (1265—1321) в «Божественной Комедии» своим спутником по кругам Ада избрал Марона Публия Вергилия (70—19 до н. э), великого поэта Древнего Рима, автора героической поэмы «Энеида» о странствиях троянца Энея.

...бродили и по Авентину, и на Форуме сидели у Кастора и Поллукса...— Авентин — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. Кастор и Поллукс (у греков — Кастор и Полидевк) — сыновья-близнецы Юпитера (Зевса), из которых первый считался смертным, второй — бессмертным.

Облик Цицерона... его жизнь, и философия, и гибель.— О великом римском ораторе, писателе и политике Марке Туллии Цицероне (106—43 до н. э.), о его трагическом конце рассказал в «Жизнеописаниях» Плутарх (ок. 45 — ок. 127). По приказу полководца Антония, врага Цицерона, оратору отрубили голову и руки, затем выставили их на трибуне; как пишет историк,— «зрелище, от которого римляне содрогнулись, думая про себя, что они видят не лицо Цицерона, а образ души Антония».

Я люблю Сенеку.— Луций Анней Сенека (ок. 4 до н. э.—65 н. э.) — римский философ, писатель, политик; проповедовал свободу от страстей (стоицизм) и презрение к смерти; по приказу императора Нерона (37—68), своего воспитанника, покончил жизнь самоубийством.

С. 66. *...в бронзовой статуэтке Марка Аврелия...*— Римский император Марк Аврелий (121—180) был также философом-стоиком, автором знаменитой книги «Размышления».

...станцы Рафаэля...— В числе шедевров итальянского живописца и архитектора Высокого Возрождения Рафаэля Санти (1483—1520) — его цикл росписей парадных залов, так называемых станц, выполненных в Ватиканском дворце.

С. 68. *И Горацию, конечно, приходилось... петь Мецената, чтобы получить виллу за Тиволи.*— Римский поэт Квинт Гораций Флакк (65 до н. э.—8 до н. э.) был введен в литературный кружок Мецената (между 74 и 64—8 до н. э.), одного из приближенных императора Августа, стал «Августовым певцом» (так назвал его Пушкин) и был пожалован Сабинским имением, в котором провел большую часть жизни. Имя покровителя поэтов Мецената стало нарицательным.

...во времена Лукулла, великого завоевателя и насадителя вишен в Риме...— Римский полководец Лукулл (ок. 117— ок. 56 до н. э.) славился несметным

богатством, страстью к роскоши и пышным пирам («лукулловы пиры»); по версии Плиния Старшего, именно он первым завез в Италию вишневые деревья.

С. 69. *...напомнила мне Витторию Колонну.*— Виттория Колонна, маркиза Пескара (1490—1547) — поэтесса; обменивалась стихотворными посланиями с Леонардо да Винчи. По словам Дж. Вазари, «бесчисленное их множество посылал он светлейшей маркизе Пескара и получал от нее ответы в стихах и прозе, будучи влюблен в ее добродетели, равно как и она была влюблена в его добродетели... Микеланджело нарисовал для нее чудеснейшее Оплакивание Христа, лежащего на коленях у Богоматери с двумя ангелочками, и Христа, распятого на кресте и предающего, воздев голову к небу, дух свой Отцу — творение божественное, а также и Христа с самаритянкой у колодца» (Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 5 т. Т. 5. М.: Искусство, 1971. С. 304).

С. 71. *...посмотреть Фраскати.*— Фраскати — город в Римской провинции, где расположены развалины древнего Тускулума.

...это место называлось Тускулум...— Тускулум (Тускул) — город в Албанских горах, застроенный виллами знатных римлян, среди которых — Цицерон, Лукулл, Меценат. В своих «Тускуланских беседах» Цицерон называет этот город местом покоя и размышлений.

...вилла... в стиле знаменитого Палладио...— Андреа Палладио (1508—1580) — итальянский архитектор Высокого Возрождения, создатель нового монументального стиля в церковном и дворцовом строительстве. В Виченце он построил театр Олимпико, базилику и виллу «Ротонда», а в Венеции — церковь Сан Джорджо Маджоре.

С. 72. *...на тускулумской земле Роспильози.*— Роспильози — родовитое римское семейство, один из которого стал папой Климентом IX; владельцы дворцовой виллы в Тускулуме.

С. 75. *Палаццо Барберини* — дворец, построенный архитектором Карло Мадерно (1556—1629), который прославился также тем, что завершил возведение знаменитого собора св. Петра в Риме.

С. 76. *...вынюхивал треббиано и орвиетто...*— «Требьяно» и «орвиетто» — сорта вин с виноградников городков-крепостей Castelli Romano (букв. «Старые замки») в окрестностях Рима.

С. 77. *...на дороге Тибуртинской.*— Дорога к дачному пригороду античного Рима — Тибуру (ныне Тиволи), где размещалась знаменитая вилла римского императора Адриана (76—138) — монументальный ансамбль II века н. э. с дворцами, библиотеками, театрами, термами.

С. 94. *...завел... о Гучкове и Голицыне...*— А. И. Гучков (1862—1936) — лидер партии октябристов, в 1910 г.— председатель Государственной Думы; в 1917-м — военный и морской министр; с 1920 г. в эмиграции. Н. Д. Голицын (1850—1925) — князь, с 1915 г.— председатель комиссии по оказанию помощи русским военнопленным; с 27 декабря 1916 г. по 27 февраля 1917 г.— председатель Совета Министров.

С. 110. *Мона Лиза* — знаменитый портрет красавицы флорентийки Леонардо да Винчи (1452—1519), воспевающий возвышенный идеал женственности.

С. 116. *«Скажи-ка, дя-дя, ведь не-едаром...»* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино», положенного на музыку 23 композиторами; как военная строевая песня «Бородино» исполнялось с музыкой Н. П. Брянского.

С. 120. *...на бульваре против дома с доской Гоголя...*— Имеется в виду бывший дом Талызина на Никитском бульваре в Москве, где скончался Н. В. Гоголь.

С. 124. *...читать Апокалипсис...*— Апокалипсис (Откровение Иоанна) — одна из книг Нового Завета, в котором содержатся пророчества о «конце света» и Страшном суде.

С. 157. *«Боже! Ты знаешь безумие мое...»* — Здесь и далее Маркел читает из Библии Псалтирь: 68-й псалом Давида о спасении, ст. 6—8, 30, 31.

С. 160. *«Вакханка» Бруни* — картина русского (итальянца по происхождению) живописца Федора (Фиделио) Антоновича Бруни (1799—1875).

Так началась vita nuova.— «Vita nuova» («Новая жизнь») — автобиографическое повествование Данте в стихах и прозе, посвященное памяти его возлюбленной Беатриче. Выражение «vita nuova» стало нарицательным, означающим завершение одного и начало другого в судьбе человека.

С. 165. *...подымались в горку у Андрония...*— Имеется в виду Спасо-Андроников монастырь (ок. 1360), расположенный на левом (высоком) берегу Яузы.

С. 170. *...на молитве Троичной.*— Имеется в виду молитва, славящая Бога в трех неслиянных и нераздельных ликах — Отца, Сына и Духа Святого; читается в большой православный праздник Святой Троицы, приходящийся на 50-й день после Пасхи.

С. 183. *Мы зачерпнули уже смерти, как два Лазаря.*— Имеется в виду библейская назидательная притча о богатом и нищенствующем Лазаре, о загробной участи грешных и праведных (Евангелие от Луки, гл. 16, ст. 19—31).

Дом в Пасси

Современные записки. Париж, 1933, № 51—54. Первое книжное издание — Берлин: Парабола, 1935. В дальнейшем роман не переиздавался. Печ. по этому изд.

С. 224. *Ларошфуко* Франсуа (1613— 1680) — французский писатель, автор знаменитых книг философско-этической афористики «Мемуары» и «Максимы».

...продаем ему Фрагонара...— Оноре Фрагонар (1732—1806) — французский живописец и график, виртуозный мастер в изображении бытовых и галантных сцен.

С. 231. *Царь Салимский, священник Бога Всевышнего.*— Салим — город в Палестине, между озером Геннисаретским и Мертвым морем. Царем Салимским (см. в Библии: Бытие, гл. 14, ст. 18) был Мелхиседек, который, встречая Авраама, возвращающегося после победы над семью царями, «вынес хлеб и вино,— он был священник Бога Всевышнего».

Анна

Журнал «Современник». Париж, 1928, № 36, 37; 1929, № 38. Печ. по изд.: Зайцев Б. В пути. Париж: Возрождение, 1951.

С. 358. *...напоминая президента Фальера.*— К.-А. Фальер (1841—1931) был президентом Франции в 1906—1913 гг.

...он пел «В час роковой...» — романс А. Д. Шишкина.

С. 381. *Варя Панина одобряла.*— Варвара Васильевна Панина (1872—1911) — популярная исполнительница романсов и цыганских песен.

...под кустами с девками-мананками...— Мананка — крестьянка-поденщица, сезонная работница.

Звезда над Булонью

Новый журнал. Нью-Йорк, 1955, № 43. Печ. по изд.: Река времен: Сборник. Нью-Йорк: Русская книга, 1968.

С. 416. *...правнуки флоберовского Омэ...*— Аптекарь *Оме,* самодовольный краснобай,— персонаж романа французского классика Гюстава Флобера (1821—1880) «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы» (1857).

...поселился на Растеряевой улице...— Имеется в виду улица, на которой поселил героев своей первой очерковой книги «Нравы Растеряевой улицы» (1866) Глеб Иванович Успенский (1847—1902): тульских мастеровых, предпринимателей, лавочников, чиновный люд.

С. 420. *...кепка времен Пуанкаре...*— Раймон Пуанкаре (1860—1934) — президент Франции в 1913—1920 гг., премьер-министр в 1912—1913, 1922—1924 и 1926—1930 гг.

Италия

Печ. по первому и единственному изд.: Зайцев Б. Собр. соч. Кн. 7. Берлин; Пб.; М., 1923. Очерки, составившие книгу, писались в 1907—1920 гг. и впервые публиковались в московских изданиях — еженедельнике литературы и искусства «Литературно-художественная неделя», «Московском альманахе», сборнике «Слово», альманахе «Кольцо», а также в берлинской газете А. Ф. Керенского «Дни» и др. П. П. Муратов, посвящая свой знаменитый трехтомник «Образы Италии» Зайцеву («в воспоминанье о счастливых днях»), в предисловии написал:

«В одном из русских писателей новейшего времени, Б. Зайцеве, Италия и особенно Флоренция пробудила строй мыслей и чувств, напоминающих по своей напряженности, по высоте звучащей в них душевной ноты разве только одного Гоголя из всей нашей литературы. Зайцев писал об Италии в рассказе «Спокойствие» и в очерках «Флоренция», «Сиена», «Пиза», «Фьезоле», рассеянных в разных журналах. И во всем, что он писал, есть, по его же словам, «вечное опьянение сердца» Италией.

Как и Гоголь, еще проезжая Швейцарией, он уже чувствует «играние в груди» и повторяет: «Скоро уж, скоро она». Как и для Гоголя, для него светел первый итальянский вечер, и воздух Италии — это «дивный Божий воздух,

изумительная легкость духа». И только «звезда» его это не Рим, а «чудный город Флоренция», «светлая, розовая, божественная Флоренция, Киприда Боттичелли с гениями ветров и золотыми волосами». Дни во Флоренции — это особенные дни для него: «предстоит блаженное процветание в свете, художестве и нерассказываемой прелести. Не позабудешь их».— «Тлен не может коснуться этого города, ибо какая-то нетленная объединяющая идея воплотилась в нем и несет жизнь».— «Память о вечерах во Флоренции связана с лучшими часами жизни. В них та острая сладость, которая на грани смерти; и когда человеческий дух потрясен и расплавлен настолько, что он, как двугранный меч, равно чуток к восторгу и гибели. «Хорошо умереть во Флоренции», ибо больше всего любил ее при жизни. И она несет тебе экстаз и тень могилы».

Путешественник по Италии встретит многое из того, о чем писал Зайцев. Он разделит это чувство осенней ясности, звонкости и просторности, внушенное улицами Пизы, и его думы об исторической судьбе этого старого города. «О, гордость, предательство, беда и даже унижение, и в то же время величие какое-то природное нигде не чувствуется так, как здесь».

«Со смутным чувством покидаешь Пизу; кого-то полюбил здесь и что-то навсегда в ней поразило — никогда этого не забудешь. Точно заглянул в озера некие — глубокие и скорбные, на дне которых нечто нерассказываемое». Он испытывает вместе с ним, как на высотах Фьезоле «от ширины веселеет дух, взыгрывает светлой радостью; что-то божеское в этом ослепительном расстилании мира у ног; точно дано видеть его весь, и кажется, что стоишь на высотах не только физических. Так пьянеют, вероятно, птицы, летя с гор». И вместе с героем его «Спокойствия» он узнает близость чужой страны, Италии, говоря вместе с ним: «Да, я чужой, но и в своей стране,— потому что все страны одного хозяина, и везде он является моему сердцу. И здесь я его чувствую» (Муратов П. П. Образы Италии. Т. 1. М.: Научное слово, 1911. С. 14—15, а также: М.: Галарт, 1993. Т. 1. Предисловие к первому изданию. С. 14—15).

О Зайцеве и его «Италии» не менее восторженные воспоминания оставил известный итальянский славист Этторе Ло Гатто (1890—1983) в мемуарах «Мои встречи с Россией» (его очерк публикуется в Приложении). Зайцев и после выхода книги писал об Италии; пять своих новых очерков он включил во вторую часть мемуаров «Далекое» (1965): «1908 — Рим», «Латинское небо», «Конец Петрарки», «Повесть о двух городах» и «Чего уже не увидишь» (они будут опубликованы в дополнительном томе нашего собрания «Мои современники»). К семидесятилетию Зайцева Литературный фонд в Нью-Йорке издал в 1951 г. новую книгу «Италия», в которой факсимильно воспроизведены три очерка: «Венеция», «Флоренция» и «Вновь в Риме».

Венеция

С. 429. *...времен Гольдони...*— Карло Гольдони (1707—1793) — классик итальянской драматургии, создатель национальной комедии, написавший 267 пьес.

С. 430. *...под Прокурациями...*— Старые и Новые Прокурации — трехэтажные

арочные здания в Венеции, построенные в XV—XVI вв. для прокураторов — смотрителей собора св. Марка и ответственных за расходование его казны.

...пышностью Веронеза и величием Тициана.— Паоло Веронезе (наст. имя Кальяри; 1528—1588) — итальянский живописец эпохи Возрождения; его картины, панно и росписи изысканны, праздничны. Тициан (Тициано Вечеллио; ок. 1476—1477 или 1489—1490—1576) —вождь венецианской школы Высокого и Позднего Возрождения.

С. 431. *Джорджионе* — Джорджоне (наст. имя и фам. Джорджо Барбарелли да Кастельфранко; 1476 или 1477—1510) — представитель венецианской школы живописи, один из основоположников искусства Высокого Возрождения.

И лишь Тинторетто закипает...— Якопо Тинторетто (наст. фам. Робусти; 1518—1594) — представитель венецианской школы Позднего Возрождения.

На картинах Карпаччио зеленоваты воды Венеции.— Витторе Карпаччо (ок. 1455— ок. 1526) — представитель венецианской школы живописи Раннего Возрождения.

С. 432. *...дожи выезжали на море, на Буцентавре...*— Обладавшие некогда неограниченной властью дожи к XIV в. ее растеряли: венецианцы поручили им представительствовать только в отношениях с... морем. Средневековая Венеция ежегодно справляла обряд обручения с морем, дававшим ей жизнь. В этот день «дож всходил на роскошно изукрашенный корабль, называвшийся «Буцентавр», выплывал в открытое море и с борта бросал в волны драгоценный перстень, произнося при этом по-латыни сакраментальную фразу: «Мы обручены с тобой, море, в знак истинной и вечной власти» (Федорова Е. В. Знаменитые города Италии. М.: МГУ, 1985. С. 271.).

...красавиц... Пальмы...— Якопо Пальма Старший (наст. фам. Негретти; ок. 1480—1528) — живописец венецианской школы; семь написанных им мадонн хранятся в крупнейших музеях мира, в том числе в Санкт-Петербурге (Эрмитаж).

...в царство Тритонов, Амфитрит, винокипящих Посейдонов...— Амфитрита и ее супруг Посейдон — властелины моря; их сын Тритон, являвшийся морским божеством, изображался с рыбьим хвостом вместо ног, с трезубцем и раковиной в руках.

С. 433. *...в праздничной толпе Пьяцетты!* — Пьяцетта — небольшая прибрежная площадь в Венеции, примыкающая к Дворцу Дожей.

Еще при Гете был обычай — гондольеры пели стихи Тассо, Ариосто.— Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт Возрождения и барокко. Лудовико Ариосто (1474—1533) — итальянский поэт Возрождения, автор героической рыцарской поэмы «Неистовый Роланд». В автобиографической книге «Итальянское путешествие» Гете рассказывает: «На сегодняшний вечер я заказал для себя прославленное пение гондольеров, которые поют Тассо и Ариосто на собственные мелодии. Это пение поневоле приходится заказывать, ибо оно стало редкостью, сродни наполовину отзвучавшим преданиям старины. При лунном свете я сел в гондолу, один певец встал впереди, другой сзади. Они

затянули свою песню и пели поочередно, строфу за строфой. <...> Это песнь одинокого человека, несущаяся вдаль и вширь, дабы другой, тоже одинокий, услышал ее и на нее ответил» (Гете И. В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М., 1980. С. 47—48).

Генуя

С. 436. *...Колумб был отсюда родом.*— Знаменитый мореплаватель Христофор Колумб (1451—1506) родился в Генуе.

...никакой Бембо не писал... своих Asolani.— Пьетро Бембо (1470—1547) — итальянский поэт, прозаик, историк, кардинал; автор книги «Азоланские беседы» (1505), в которой нашел отражение круг интересов элитарного придворного общества эпохи Высокого Возрождения. Изысканный язык книги напомнил его современникам прозу великого Джованни Боккаччо (1313—1375) и его новеллический шедевр «Декамерон».

С. 437. *Генуэзский купец победил Пизу при Мелории, в 1284 г.*— В этой битве флотов пизанцы потерпели жестокое поражение, после которого ее торговля пришла в упадок.

...не досягнуть ему до... Марка Антонио Барбаро — дипломата, ученого придворного, друга Палладио и Веронезе...— Имеется в виду не только Маркантонио Барбаро, но и его более знаменитый брат Даниеле Барбаро (1513—1570), математик, философ, поэт, историк, дипломат, для которого Палладио построил, а Веронезе расписал виллу Мазер, принадлежащую братьям.

С. 438. *Иосафатова долина смерти* — место предполагаемого погребения царя Иосафата (между Иерусалимом и Масличной горой); в древние времена долина служила кладбищем для низших классов. По мнению пророка Иоиля, именно Иосафатова долина будет местом последнего Страшного суда: «Я (Иегова) соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд» (Книга пророка Иоиля, гл. 3, ст. 2).

Флоренция

С. 440. *...Киприда Ботичелли с тенями ветров и золотыми волосами.*— Имеется в виду шедевр флорентийского живописца эпохи Раннего Возрождения Сандро Боттичелли (1445—1519) — картина «Рождение Венеры», «лучшая из всех картин на свете» (Муратов П. П. Образы Италии. Т. 1. М., 1993. С. 189). Киприда — одно из прозвищ богини сладострастной любви Венеры (у греков — Афродиты).

С. 441. *В этой обители жил святой живописец Беато.*— Беато Анджелико — прозвище флорентийского живописца Раннего Возрождения Фра Джованни да Фьезоле (ок. 1400—1455), жившего в монастыре Сан Марко и украсившего его своими светлыми, лиричными фресками.

Андреа дель Кастаньо (ок. 1421—1457) — живописец эпохи Раннего Возрождения, представитель флорентийской школы, создатель фресок «Девять знаменитых людей» и «Тайная вечеря» (ныне в монастыре Сант-Аполлония во Флоренции).

С. 441. *Уффици* — картинная галерея во Флоренции, крупнейшее в мире собрание итальянской живописи XIII—XVIII вв.

...рядом с «Тайной вечерей» — Петрарка, Данте, Фарината и Юдифь — великое спокойствие и царственность лиц...— Названы фреска «Тайная вечеря» Кастаньо (в музее его имени) и изображенные в полный рост на других его фресках — «Девять знаменитых людей»: поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения Франческо Петрарка (1304—1374); патриот Фарината дельи Уберти (ум. 1264), один из мучеников дантовского «Ада» (песнь X), мужественный вождь гибеллинов, не позволивший своим союзникам разрушить Флоренцию, свою родину; Данте Алигьери; Юдифь (на фресках Кастаньо ее нет) — в ветхозаветных апокрифах благочестивая красавица, убившая Олоферна, полководца царя Навуходоносора, и этим спасшая свой город от нашествия ассирийцев. Кроме названных на фреске изображены герои и покровители Флоренции: создатель «Декамерона» Джованни Боккаччо, Никколо Аччайуоли, Филиппо Сколари (Пиппо Спано), сивилла-пророчица Кумская (Куманская), царица амазонок Томири (Фамарь) и тираноубийца Эсфирь (очевидно, ее Зайцев ошибочно принял за Юдифь).

С. 442. *...что-то прекрасно-ясное есть в этой лоджии Орканья*..— Андреа Орканья (впервые упоминается в 1343 или 1344 г.— ум. 1368) — живописец, скульптор и архитектор; представитель флорентийской школы треченто, предвосхитившей культуру Возрождения. Предполагается, что по его рисунку на площади Синьории во Флоренции, рядом с Палаццо Веккьо (Старый Дворец), построена парадная трехарочная лоджия для официальных церемоний, которая до XIV в. называлась Лоджия делль Орканья, а затем Лоджия деи Ланци.

...это какая-то агора Флоренции...— У древних греков агорой называли народные собрания и места, где они происходили; обычно это центр города, застраиваемый храмами, госучреждениями и торговыми лавками.

Наискось дворец Синьории.— Правительственное здание Флоренции, одно из названий которого дворец Синьории, с 1550 г. называется Палаццо Веккьо.

...геральдическом льве Marzocco, мраморном детище Донателло...— Гербовый «лев Флоренции» Мардзокко поддерживает щит с надписью «Gloria tuam» («Слава твоя»). Во Флоренции установлена мраморная копия Мардзокко, созданная Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди; ок. 1386—1466), великим итальянским скульптором эпохи Раннего Возрождения.

А в двадцати шагах жгли Савонаролу.— Джироламо Савонарола (1452—1498), настоятель флорентийского монастыря доминиканцев Сан Марко; пламенный обличитель пороков общества, папской церкви и современного ему искусства; организатор публичного сожжения произведений живописи. Из любимца публики Савонарола превратился в ненавистного еретика: он был отлучен от церкви, затем по приговору приората повешен, а труп его вселюдно сожгли на костре. Боттичелли создал гравюру «Триумф веры фра Джироламо Савонаролы из Феррары», «приверженцем секты которого он стал в такой степени, что бросил живопись» (В а з а р и. Жизнеописания Т. 2. С. 529).

С. 443. *...художники поменьше, но характерные: Филиппо Липпи, Гирляндайо, Полайоло.*— Фра Филиппо Липпи (ок. 1406—1469) — монах-кармелит, ставший художником, представителем флорентийской школы; создал алтарные композиции и фресковые циклы, отличающиеся проникновенным лиризмом. Доменико Гирландайо (1449—1494) — живописец эпохи Раннего Возрождения; представитель флорентийской школы. Антонио Поллайоло (1433—1498) — живописец, скульптор, ювелир и гравер; представитель флорентийской школы.

С. 444. *Беноццо Гоццоли пишет уборку винограда...*— Беноццо Гоццоли (1420—1497) — живописец эпохи Раннего Возрождения; представитель флорентийской школы.

...аркад... Джотто и Чимабуэ, Мазаччио...— Джотто ди Бондоне (1266 или 1267—1337) — живописец эпохи Проторенессанса, оказавший огромное влияние на становление искусства Раннего и Высокого Возрождения. Чимабуэ (наст. имя Ченни ди Пепо; ок. 1240—ок. 1302) — живописец, положивший начало искусству Проторенессанса. Мазаччо (наст. имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи; 1401—1428) — представитель флорентийской школы живописи; один из первых реалистов эпохи Раннего Возрождения.

...фрески Sepolcreto...— Имеются в виду фрески надгробий (ит. Sepolcro — гробница, могила).

С. 446. *...лицом к Флоренции стоит Давид Микель-Анджело — бронзовая копия.*— Одно из величайших творений мирового искусства — гигантская скульптура «Давид», созданная в 1501—1504 гг. Микеланджело Буонаротти (1475—1564), первоначально была торжественно установлена на площади Синьории во Флоренции, у входа в Палаццо Веккьо; в 1873 г. «Давида» перевезли в галерею Академии, установив на прежнем месте мраморную копию. Бронзовая копия «Давида» включена в композицию монумента в честь Микеланджело, воздвигнутого на высоком берегу Арно.

С. 447. *Два героя в нишах, Созерцательный и Творящий... Лоренцо и Джулиано Медичи...*— Имеется в виду так называемая Капелла Медичи, построенная Микеланджело для погребения в ней членов правящей семьи Флоренции. В капелле скульптор создал гробницы Лоренцо (герцога Урбинского, внука Лоренцо Медичи Великолепного) и Джулиано (герцога Немурского, сына Лоренцо Великолепного). Микеланджело изобразил их сидящими в нише друг против друга: задумчиво-пассивный Лоренцо символизирует жизнь созерцательную, в то время как Джулиано олицетворяет творчески созидательную активность. Однако и тот и другой похоронены были не здесь, а под простой плитой, на которой Микеланджело изваял статую Мадонны с младенцем.

С. 449. *...есть и Донателло, есть Микелино — Данте пред кругами Ада...*— Донателло (наст. имя Донато ди Никколо ди Бетто Барди; ок. 1386—1466) — скульптор эпохи Раннего Возрождения; представитель флорентийской школы. Доменико ди Микелино (жил в первой половине XV в.) — автор знаменитой фрески во флорентийском соборе Санта Мария Новелла, на которой Данте в алой тоге и увенчанный лаврами стоит перед городскими воротами; он со своей

«Божественной Комедией» в левой руке и поднятой правой указывает флорентийцам на распахнутые ворота Ада, а на втором плане фрески — гора Чистилища и сияющие над нею небесные сферы.

С. 449. *...древнего Баптистерия Флоренции...*— Баптистерий (греч. купель) — помещение для крещения в христианском храме. Баптистерий св. Иоанна Крестителя (Сан Джованни Баттиста), построенный в V в. и много раз перестраивавшийся, был до середины XII в. главной церковью Флоренции.

С. 450. *...поглядишь... на изящный бюст Фичино.*— Марсилио Фичино (1433—1499) — философ-неоплатоник, глава флорентийской Платоновской академии философов и поэтов, действовавшей под покровительством Лоренцо Медичи Великолепного.

...От сравнения стиля Пизано с Гиберти в молодости...— Андреа Пизано (ок. 1290—1348 или 1349) — скульптор и архитектор рельефов южных дверей флорентийского баптистерия и статуй в кампаниле собора. Лоренцо Гиберти (ок. 1381—1455) — скульптор и ювелир эпохи Раннего Возрождения, создавший рельефы северных и восточных дверей флорентийского баптистерия с многофигурными композициями на библейские сюжеты. Автор книги «Комментарии. Записки об итальянском искусстве» (в рус. пер.: М., 1938).

С. 451. *Здесь увидим мы Вероккио — Христос и Фома Неверный и Донателло — св. Георгий, юноша, опирающийся на щит...*— Андреа дель Верроккьо (наст. имя Андреа ди Микеле Чони; 1435 или 1436—1488) — скульптор, живописец и ювелир Раннего Возрождения; представитель флорентийской школы. Мраморная статуя св. Георгия (ок. 1416), созданная Донателло, находится в национальном музее Флоренции.

С. 454. *...где некогда Боккачио читал комментарии на Божественную Комедию.*— Боккаччо в последние годы своей жизни увлекся изучением и толкованием Данте, в частности составил подробный комментарий к его «Божественной Комедии» и взялся писать книгу «Жизнь Данте» (завершить ее не успел). В 1373 г. он по просьбе властей Флоренции прочитал цикл лекций о Данте.

...герцог Козимо сурово восседает на коне.— Козимо Старший Медичи (1389—1464), правитель Флоренции, покровитель искусств; правительственным указом на его надгробии начертано: «Pater Patriae» («Отец Отечества»).

С. 459. *Сано ди Пьетро* — живописец XV в. из Сиены эпохи Раннего Возрождения.

С. 461. *...прародитель школы Сиенской, Дуччио Буонинсенья...*— Дуччо ди Буонинсенья (ок. 1255—1319), основоположник сиенской школы живописи XIV в.

Братья Лоренцетти, Таддео ди Бартоло, Симоне Мартини (Мемми) приблизительно равны...— Братья Лоренцетти Пьетро (ок. 1280—1348) и Амброджо (ум. 1348), Таддео ди Бартоло (1362 или 1363—1422), Симоне Мартини (1284—1344) — живописцы сиенской школы.

... интересней флорентийских «джоттесков» — Гадди, Капанна и др.— Таддео, Гадди (ум. 1366), ученик Джотто. Пуччо Капанна — сиенский живописец

середины XIV в.; был ли он учеником Джотто («джоттеском»), достоверных сведений нет.

С. 461. *...поэты — Гвиничелли, Кавальканти, Чино да Пистойя, Данте из Майано...*— Гвидо Гвиницелли из Болоньи (между 1230 и 1240—1276) — родоначальник поэзии «дольче стиль нуове» («сладостного нового стиля») — итальянской поэтической школы конца XIII в. Его последователями стали флорентиец Гвидо Кавальканти (1255 или 1259—1300), Чино да Пистоя (между 1265 и 1270—1336 или 1337) и Данте Алигьери раннего периода — до смерти в 1290 г. Беатриче, которой посвящены его юношеские стихи, а также первая в европейской литературе автобиографическая повесть «Новая жизнь» («Vita Nuova»).

С. 462. *Синьорелли Лука* (ок. 1445 и 1450—1523) — живописец эпохи Возрождения.

О Пинтуриккио и его «Жизни Энея Сильвия»...— Бернардино ди Бетто ди Бьяджо, прозванный Пинтуриккьо (ок. 1454—1613),— живописец умбрийской школы из Перуджи; автор десяти картин о жизни и деяниях Энея, ставшего папой Пием II.

Фьезоле

С. 464. *...монумент, работы Мино да Фьезоле.*— Мино ди Джованни Мини (1430 или 1431—1484) — флорентийский скульптор.

Дезидерио да Сеттиньяно...— Дезидерио ди Бартоломео из Сеттиньяно (между 1428 и 1431—1464) — флорентийский скульптор.

Козимо Росселли (1439—1507) — флорентийский живописец.

Пиза

С. 467. *...гибеллин был Данте...*— В Италии XII—XV вв. гибеллины и гвельфы — политические противники в борьбе за власть между сторонниками римских пап (гвельфами) и теми, кто выступал на стороне императоров Священной Римской империи (гибеллинами). Данте был не гибеллином, а гвельфом, но «белым» (в конце 1390-х гг. они раскололись на «белых» — противников пап и «черных» — папистов). Когда во Флоренции победили «черные», монархист Данте 10 марта 1302 г. был приговорен к сожжению. Спасла поэта эмиграция, где он стал, по его словам, «сам себе партией».

С. 469. *...скульпторы — Никколо Пизано, Джиованни Пизано...*— Никколо Пизано (ок. 1220 — между 1278 и 1284) — один из основоположников Проторенессанса. Его сын и помощник Джованни Пизано (ок. 1245 и 1250 — после 1314) — скульптор и архитектор.

..принести в жертву не хуже Авраама.— Авраам — родоначальник еврейского народа. В Библии рассказывается, что однажды Бог решил испытать его веру и повелел ему, чтобы тот принес в жертву сына Исаака на горе Мории. Однако, когда Авраам занес руку с ножом над сыном, она была остановлена ангелом (Бытие, гл. 22, ст. 1—12). Этот библейский сюжет был использован многими живописцами.

С. 469. *Изумительна статуя Тино да Камайяно: Пиза.*— Тино да Камаино (ок. 1285—1337) — сиенский скульптор и архитектор, работавший также в Пизе, Флоренции и Неаполе.

...чтоб молоком своим вскормить... каких-нибудь Герардеска, или Ланфранки? — Уголино Герардеска — вождь гибеллинов в Пизе, генерал-лейтенант республики, был вместе с семьей замурован в Голодной башне замка Гваланди и там погиб. Об Уголино-мстителе, гложущем затылок архиепископа Руджеро, его погубившего, Данте рассказал в «Божественной Комедии» («Ад», песнь 33). Из Ланфранков Зайцев, очевидно, имеет в виду Джованни Ланфранко (1580—1647), живописца болонской школы, вошедшей в историю искусства под именем «второго ренессанса». Молва приписывает Ланфранко, непримиримо враждовавшему с другими художниками, отравление одного из них, Доменикино.

...о чем ржут дикие лошади... на «Поклонении Волхвов»? — Имеется в виду скульптурный рельеф «Поклонение волхвов», выполненный Никкола Пизано для кафедры пизанского баптистерия. За спинами волхвов скульптор изобразил лошадей с поникшими головами.

Май в Виареджо

С. 472. *...ни в одном Бедекере их нет.*— Под словом «Бедекер» понимаются путеводители по странам мира, которые выпускает с 1827 г. немецкая фирма «К. Бедекер» (ныне она в составе издательской группы «Лагеншейдт»).

С. 474. *...где за Гадесом растут золотые яблоки Гесперид.*— Имеется в виду одиннадцатый подвиг Геракла, похитившего золотые яблоки из сказочного сада Гесперид, трех нимф — хранительниц плодов вечной молодости; их яблоневый сад расположен на краю мира, «за Гадесом», то есть за царством мертвых.

С. 475. *...комедиантов, ведущих род свой от древних коломбин, Бригелл и Скарамуччьо...*— Традиционные персонажи итальянской комедии: Коломбина — служанка, возлюбленная Арлекина; Бригела — комический слуга из Бергамо и Скарамуш (Scaramuccia).

...восемнадцатилетний Антиной...— Фаворит римского императора Адриана (76—138) Антиной в 130 г. утонул в Ниле (по некоторым версиям — принесен в жертву). В честь Антиноя, считавшегося идеально красивым юношей, сооружен храм, основан город Антинополь, изваяны скульптуры, отчеканены монеты.

С. 476. *...Лигуры, и Этруски, тысячелетия назад здесь жившие...*— В доантичные времена лигуры занимали территорию между Альпами, р. По и Лигурийским заливом. Этруски жили в Средней Италии, между Тибром и горами севернее Арно (современная Тоскана).

Рим

С. 477. *...ходим с «онорабельным» старичком...*— «Онорабельный»: от ит. onores — почтенный.

С. 478. *...задержится пред папой Иннокентием, Веласкеца.*— Диего Веласкес

(наст. имя Родригес де Сильва Веласкес; 1599—1660) — великий испанский живописец; совершенствованию его мастерства содействовали две поездки в Италию, где он создал несколько значительных полотен, в том числе и портрет папы Иннокентия X (1650, галерея Дориа-Памфили в Риме).

С. 478. *...мне отдали себя... Мелоццо... Полайоло... Браманте...*— Мелоццо из Форли (Марко ди Джулиано дельи Амброджи да Форли; 1438—1494) — выдающийся живописец XV в. Антонио ди Якопо Бенчи, прозванный Поллайоло (1429 или 1433—1498) — флорентийский живописец, скульптор, гравер и ювелир, много работавший и в Риме вместе с братом Пьеро ди Якопо Поллайоло (1443—1496). Донато Браманте (наст. имя Паскуччо д'Антонио; 1444—1514) — архитектор, один из крупнейших мастеров эпохи Высокого Возрождения; автор первого проекта (неосуществленного) собора св. Петра в Риме.

...изобретал Бернини свои затейливые затеи.— Джованни Лоренцо Бернини (1598—1680) — архитектор и скульптор, крупнейший представитель барокко, изобретательно сочетавший архитектурные и скульптурные нововведения; его работам свойствен необычайный динамизм, размах пространственных форм, парадная пышность.

С. 479. *...архитрава на них...*— В архитектуре архитрав — главная (несущая) балка, обычно лежащая на капителях колонн.

...в атриуме Весты, храме Веспасиана, водоеме Ютурны.— Веста — римская богиня домашнего очага; ее атрий с очагом (лат. Atrium — помещение, почерневшее от копоти) располагается в храме Весты на римском Форуме. Тит Флавий Веспасиан (9—79 н. э.) — римский император, при котором были возведены многие известные постройки, в том числе знаменитый Колизей. Признательные римляне возвели в его честь мраморный храм на Форуме (сохранились три угловые колонны и перекрытие на них, богато украшенное резьбой). Ютурна — в римской мифологии нимфа ручья у храма Весты.

Квириты — граждане Древнего Рима, наделенные полными правами.

Квинтилиан или Плиний Младший разливались в речах...— Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35 — ок. 96) — римский оратор, автор трактата «Наставление оратору» в 12 книгах, самого полного из сохранившихся курсов античной риторики (книга 10 является содержательным очерком истории греческой и римской литературы). Плиний Младший (61 или 62 — ок. 113 н. э.) — римский писатель, оратор, адвокат и консул; автор «Писем» в 10 книгах и единственной сохранившейся речи в честь императора Траяна, ставшей общепризнанным образцом похвальной речи.

...овеян духом до-историзма Lapis niger, предполагаемая могила Ромула.— Один из почитаемых в Риме памятников — древний «Черный камень» (Lapis niger) на могиле основателя Рима Ромула (считается, что он правил 38 лет, до 715 г. до н. э.). О его кончине Тит Ливий пишет: «...Когда Ромул... производил смотр войску, внезапно с громом и грохотом поднялась буря, которая окутала царя густым облаком, скрыв его от глаз сходки, и с той поры не было Ромула на земле. Когда же непроглядная мгла вновь сменилась мирным сиянием дня и общий ужас наконец улегся, все римляне увидели царское кресло пустым;

хотя они и поверили отцам, ближайшим очевидцам, что царь был унесен вихрем, все же, будто пораженные страхом сиротства, хранили скорбное молчание. Потом сперва немногие, а за ними все разом возглашают хвалу Ромулу, богу, богом рожденному, царю и отцу города Рима, молят его о мире, о том, чтобы, благой и милостивый, всегда хранил он свое потомство» (Ливий Т. История Рима от основания города: В 3 т. Т. 1. М.: Наука, 1989. С. 24).

С. 481. *...Палатин... сохранил остатки первобытных стен — vestigia Romae Quadratae...*— На одном из главных римских холмов — Палатинском — перед храмом Аполлона некогда было заложено камнем по квадрату основание города (лат. Vestigia Romae Quadratae — следы квадратного Рима); отсюда выражение «квадратный Рим».

Ее (Кибелу), *как и египетскую Изиду, ввезли с Востока...*— Культ Кибелы в Рим пришел из Фригии в Малой Азии, где она почиталась как «великая мать богов», олицетворение природы. Изида (Исида) — в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, олицетворение материнства и супружеской верности, изображавшаяся в виде коровы, несущей между рогами диск солнца; у римлян стала вседержавной богиней неба, земли и воды.

С. 484. *...милые путти Луки делла Роббиа из благословенной Флоренции...*— Путти (ит. Putti) — младенцы. Лука делла Роббиа (1399 или 1400—1482) — флорентийский скульптор эпохи Возрождения.

С. 485. *...на Via Sistina, где жил Гоголь.*— В Риме Гоголь жил на Виа Феличе, то есть на Счастливой улице (теперь она называется Виа Систина, дом 126).

С. 493. *...дивная гробница Сикста IV, работы Полайоло...*— Флорентийский скульптор Антонио Поллайоло в Риме создал гробницы пап Сикста IV и Иннокентия VIII.

...Pieta Микель-Анджело, юношеская, нежная и тонкая его работа.— «Оплакивание», или «Пьета» (Pieta),— скульптура, созданная Микеланджело для собора св. Петра в Риме (она там и поныне). Джорджо Вазари, современник великого скульптора, живописца, архитектора и поэта, о его «Пьете» написал так: «Поистине повергаешься в изумление, как могла рука художника в кратчайшее время так божественно и безукоризненно сотворить столь дивную вещь; и, уж конечно, чудо, что камень, лишенный первоначально всякой формы, можно было когда-либо довести до того совершенства, которое и природа с трудом придает плоти. В это творение Микеланджело вложил столько любви и трудов, что только на нем (чего он в других своих работах больше не делал) написал он свое имя» (Вазари. Жизнеописания. Т. 5. С. 223). В конце своей жизни Микеланджело создал еще одно «Оплакивание» для собственного надгробия, но разбил его («Пьета» восстановлена его учеником Кальканьи и находится во флорентийской галерее Академии художеств).

...чинквеченто и сейченто...— Этими терминами обозначаются этапы в развитии художественной культуры Италии: чинквеченто (ит. cinquecento, букв. пятьсот) — между 1500—1600, а также культуры Высокого (1490—1520) и

Позднего (с середины XVI в.) Возрождения; сейченто (ит. seicento, букв. шестьсот) — XVII в.

С. 495. *...помним Сикстинскую капеллу... стены ее сплошь расписаны фресками Перуджино... Пинтуриккио...*— Памятник итальянского искусства эпохи Возрождения Сикстинская капелла в Ватикане построена в 1473—1481 гг. Ее стены расписаны фресками, изображающими эпизоды из жизни и деяний Иисуса Христа и Моисея. Пьетро Перуджино (между 1445 и 1452—1523) и Пинтуриккьо (наст. имя Бернардино ди Бетто ди Бьяджо; ок. 1454—1513) — живописцы Раннего Возрождения. Микеланджело в Сикстинской капелле создал величественные росписи на своде и стенах, а на алтарной стене поместил свою знаменитую живописную композицию «Страшный суд».

С. 501. *...наш Гоголь философствовал с Ивановым...*— Александр Андреевич Иванов (1806—1858) — живописец, на мировоззрение которого оказали огромное воздействие дружеские беседы с Н. В. Гоголем во время встреч с ним в Риме. Гениальным свершением художника стала его картина «Явление Христа народу», над которой он работал двадцать лет.

С. 502. *Бурно дирижировал там наш Сафонов*— Василий Ильич Сафонов (1852—1918) — пианист, дирижер; профессор и директор Московской консерватории.

С. 504. *Их описывали и Аретино, и Банделло.*— Пьетро Аретино (1492—1556) — итальянский писатель Возрождения; автор политических памфлетов и сатирических комедий. Маттео Банделло (ок. 1485—1561) — итальянский поэт и прозаик; прославился как выдающийся новеллист.

Рождество в Риме

С. 514. *В комнатах Борджиа... золотящиеся фрески Пинтуриккио...*— Имеются в виду так называемые «апартаменты Борджа» — шесть жилых комнат, с необыкновенным изяществом расписанных фресками Пинтуриккьо по заданию Александра VI Борджа (одного из самых порочных и алчных римских пап).

Riviera di Levante

С. 521. *Ваську Розанова вашего сотру, каналью!* — Василий Васильевич Розанов (1856—1919) — выдающийся философ, прозаик и публицист Серебряного века.

С. 524. *...за сходство профиля с кастаньевским Иудой.*— Андреа дель Кастаньо на стене капеллы в Санта Мариа Нуова написал маслом «Успение Богоматери», «а в кругу, у края картины,— как пишет Вазари,— самого себя в виде Иуды Искариота, каковым он и был и по наружности и по поступкам» (Вазари. Жизнеописания. Т. 2. С. 347).

С. 526. *...парящих в имманентах, трансцендентах, Гуссерлях, Когенах.*— Имманентный (от лат. immanentis — свойственный, присущий) — внутренне присущий какому-либо явлению или предмету. Трансцендентный (от лат. transcendentis — выходящий за пределы) — в философии: недоступный познанию. Эдмунд Гуссерль (1859—1938) — немецкий философ, основатель феноменологии.

Герман Коген (1842—1918) — немецкий философ, развивший учение Канта о трансцендентном методе.

С. 527. *...размышляет... о Фихте.*— Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814) — немецкий философ.

Ассизи

С. 533. *Слава Ассизи — святой Франциск, святая бедность...*— Основатель нищенствующего ордена францисканцев Франциск Ассизский (наст. имя Джованни Бернардоне; 1182—1226), проповедовавший учение о бедности как идеале «евангельского совершенства». Большую популярность и в Европе и в России завоевала книга рассказов о «народном святом» — Fioretti (в рус. пер.: Цветочки Франциска Ассизского. М., 1913; репринт — М., 1990).

С. 535. *Там есть... фасады — прелестный Леона Баттиста Альберти...*— Имеется в виду мраморный фасад церкви Санта Мария Новелла, выполненный в 1470 г. по проекту Леона Баттиста Альберти (1404—1472), архитектора, ученого, писателя и музыканта Раннего Возрождения. Альберти — автор «Десяти книг о зодчестве» (рус. пер.: М., 1935—1937) и др.

С. 536. *«Сестры мои птицы...»* — цитата из книги «Цветочки Франциска Ассизского», с. 52.

С. 537. *...тип художника... с полуголодным взором и «ван-диковской бородкой»* — «Художник с бородкой» — Антонис Ван Дейк (1599—1641), фламандский живописец, выдающийся портретист.

С. 537. *«И когда пришел обеденный час...»* — цитата из книги «Цветочки Франциска Ассизского», с. 47.

С. 538. *«Однажды в зимнюю пору св. Франциск, идя с братом Львом...»* — цитата из книги «Цветочки Франциска Ассизского», с. 27.

Этторе Ло Гатто. Борис Зайцев.

Печ. по изд.: Ло Гатто Э. Мои встречи с Россией. М.: Кругъ, 1992. Этторе Ло Гатто (1890—1983) — выдающийся итальянский славист, автор семитомной «Истории русской литературы», переводчик на итальянский язык стихов и прозы А. С. Пушкина.

С. 545. *...три философа — Николай Бердяев, Семен Франк и Борис Вышеславцев.*— Николай Александрович Бердяев (1874—1948), Семен Людвигович Франк (1877—1950), Борис Петрович Вышеславцев (1877—1954) — выдающиеся русские философы, высланные в 1922 г. по распоряжению Ленина в вечное изгнание.

Новиков Михаил Михайлович (1876—1965) — профессор биологии; с октября 1917 г. ректор Московского университета, дважды арестовывался большевиками и в 1922 г. выслан ими в изгнание. Автор более 120 научных трудов.

Чупров Александр Александрович (1874—1926) — статистик, экономист, математик; один из основоположников экономической статистики В мае 1917 г. выехал в командировку в Стокгольм, откуда вернуться уже не смог.

С. 545. *...журналист Михаил Осоргин.*— Михаил Андреевич Осоргин (наст. фам. Ильин; 1878—1942) — прозаик, публицист; один из организаторов Всероссийского союза писателей, председателем которого был избран Зайцев.

Шмурло Евгений Францевич (1853—1934) — историк, открывший для русской истории архивы Италии.

С. 546. *...письма писателя Короленко комиссару по просвещению Луначарскому о положении в культуре в результате революции...*— Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) в 1920 г. написал шесть писем наркому и писателю Анатолию Васильевичу Луначарскому (1875—1933), в которых подверг обоснованной критике максималистские лозунги большевиков, выразил протест против их «массовых бессудных расправ» во имя «классовых интересов». Не ответив на письма (они были опубликованы в Париже: Современные записки, 1922, кн. 9), Луначарский назвал их автора «прекраснодушным Дон Кихотом».

С. 548. *...страницы «Острова Валаама», «Горы Афон»...*— Неточно названы книги паломнических странствий Зайцева «Валаам» (1936) и «Афон» (1928)

С. 550. *Когда в декабре 1922 года возобновилось издание «Russia», Зайцев писал..*— Этторе Ло Гатто издавал журнал «Russia» («Россия») с 1921 по 1926 г. На возобновление выхода журнала в 1922 г. Зайцев отозвался рецензией «Russia. Rivista di letteratura, arte, storia», опубликованной в берлинском ежемесячном критико-библиографическом журнале «Новая русская книга», 1923, № 3—4.

С. 551. *...после перевода в терцинах всей «Божественной Комедии» Михаилом Лозинским...*— Творческий подвиг Михаила Леонидовича Лозинского (1886—1955) — перевод «Божественной Комедии» Данте, изданный в 1939—1945 гг. Лозинский переводил также Шекспира, Сервантеса, Мольера, Корнеля, Киплинга, Лопе де Вега, Шеридана и др.

...Зайцев познакомил меня с переводом... некоего М. Голованова...— Перевод Н. Н. Голованова вышел в 1899—1902 гг. Однако лучшим в XIX в. считается перевод Д. Мина (под этим псевдонимом скрывался поэт Дмитрий Дмитриевич Минаев; 1835—1889), издававшийся в 1855 и 1902—1906 гг.

...по примеру Литтре...— эмиль Литтре (1801—1881) — французский писатель-энциклопедист, философ, лингвист, историк, переводчик, публицист.

...критик К. Н. Державин, не итальянист...— Константин Николаевич Державин (1903—1956) — литературовед и переводчик, автор монографий «Сервантес», «Вольтер» и др.

СОДЕРЖАНИЕ

Тимофей Прокопов. Легкозвонный стебель. Лиризм Б. К. Зайцева как эстетический феномен 3

Золотой узор. *Роман* 13
Дом в Пасси. *Роман* 201

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Из книги «В пути»

Анна 347

Из книги «река времен»

Звезда над Булонью 414

ИТАЛИЯ

Венеция 429
Генуя 434
Флоренция 439
Сиена 459
Фьезоле 463
Пиза 466
Май в Виареджио 471
Рим 476
Рождество в Риме 514
Riviera di Levante 519
Ассизи 533

ПРИЛОЖЕНИЕ

Этторе Ло Гатто. Борис Зайцев 545

ПРИМЕЧАНИЯ 553

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Собрание сочинений

Том 3

ЗВЕЗДА НАД БУЛОНЬЮ

Романы. Повести. Рассказы. Книга странствия

Редактор В. П. Шагалова
Художественный редактор Г. Л. Шацкий
Технический редактор И. И. Павлова
Корректоры Н. Д. Бучарова, А. З. Лазуткина

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96

Подписано в печать 28.05.99. Формат 84×108 1/32. Бумага писчая. На вкл.—мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 30,35 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 35,99 (в т. ч. вкл. 0,03). Тираж 5000 экз. С — 10. Зак. 815. Изд. инд. ЛХ-163

Издательство «Русская книга» Комитета Российской Федерации по печати.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, Новгородский пр., 32, тел. 65-37-65.